

Arizona Lopez

Антон Павлович Чехов
Рассказы. Повести.
Юморески. 1880—1882
Серия «Полное собрание
сочинений и писем», книга 1

*Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор» (ФЭБ)*

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=289672

*Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Том 1.: Наука; Москва;
1974*

Содержание

От редакции	10
Рассказы. Повести. Юморески.	16
Письмо к ученому соседу	16
Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?	23
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь	25
Каникулярные работы институтки Наденьки	32
N	
Папаша	36
Мой юбилей	45
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь	47
За яблочки	53
Перед свадьбой	63
По-американски	70
Жены артистов	74
Петров день	94
Темпераменты	113
В вагоне	119
Салон де варьете	128
Суд	135
Контора объявлений Антоши Ч.	142
И то и се	149

И то и се	153
Грешник из Толедо	158
Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи, предлагаемые Антошей Чехонте	167
На волчьей садке	169
Комические рекламы и объявления	176
Задачи сумасшедшего математика	183
Забыл!!	185
Жизнь в вопросах и восклицаниях	192
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя	197
Встреча весны	208
Календарь «Будильника» на 1882 год.	213
Зеленая коса[148]	242
Глава I	242
Глава II	248
«Свидание хотя и состоялось, но...»	264
Корреспондент	272
Сельские эскулапы	297
Пропащее дело	306
Летающие острова	313
Глава I	313
Глава II	314
Глава III	317
Глава IV	318
Глава V	321

Глава VI	322
Заключение	323
Скверная история	324
Двадцать девятое июня	338
Который из трех?	350
Он и она	360
Ярмарка	372
Барыня	382
I	382
II	395
III	401
Ненужная победа	413
Глава I	413
Глава II	423
Глава III	477
Глава IV	485
Глава V	501
Глава VI	508
Глава VII	512
Глава VIII	526
Глава IX	532
Живой товар	542
I	542
II	558
III	582
Цветы запоздалые	593

I	593
II	606
III	631
Речь и ремешок	653
Нарвался	656
Неудачный визит	660
Два скандала	661
Идиллия – увы и ах!	677
Барон	681
Добрый знакомый	692
Мечь	694
Пережитое	704
Философские определения жизни	706
Мошенники поневоле	708
Гадальщики и гадалщицы	713
Кривое зеркало	716
Два романа	720
I. Роман доктора	720
II. Роман репортера	722
Неопубликованное. Неоконченное	724
Роман	724
Письмо в редакцию	725
Рекламы и объявления	727
Тайны ста сорока четырех катастроф, или	729
Русский Рокамболь	
Глава I	729

Глава II	732
Глава III	735
Гречневая каша сама себя хвалит	739
Примечания	741
Письмо к ученому соседу	758
Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?	762
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь	763
Папаша	765
Мой юбилей	767
Тысяча одна страсть, или Страшная ночь	768
За яблочки	770
Перед свадьбой	771
По-американски	772
Жены артистов	773
Петров день	776
Темпераменты	777
В вагоне	779
Салон де варьете	780
Суд	782
Контора объявлений Антоши Ч...	784
И то и се (Поэзия и проза)	785
И то и се (Письма и телеграммы)	786
Грешник из Толедо	787
Дополнительные вопросы к личным картам	790

статистической переписи...	
Комические рекламы и объявления	792
Задачи сумасшедшего математика	793
Забыл!!	794
Жизнь в вопросах и восклицаниях	795
Исповедь, или Оля, Женя, Зоя	797
Встреча весны	798
Календарь «Будильника» на 1882 год	799
Зеленая коса	802
«Свидание хотя и состоялось, но ...»	803
Корреспондент	804
Сельские эскулапы	805
Пропащее дело	806
Летающие острова	807
Скверная история	809
Двадцать девятое июня	810
Который из трех?	811
Он и она	812
Ярмарка	814
Барыня	815
Ненужная победа	817
Живой товар	821
Цветы запоздалые	822
Речь и ремешок	824
Нарвался	826
Неудачный визит	828

Два скандала	829
Идиллия – увы и ах!	831
Барон	832
Добрый знакомый	834
Мечь	835
Пережитое	836
Философские определения жизни	837
Мошенники поневоле	838
Гадальщики и гадальщицы	839
Кривое зеркало	840
Два романа	842
Роман	843
Письмо в редакцию	844
Рекламы и объявления	846
Тайны ста сорока четырех катастроф, или	847
Русский Рокамболь	
Гречневая каша сама себя хвалит	854

Антон Павлович Чехов

РАССКАЗЫ. ПОВЕСТИ.

ЮМОРЕСКИ.

1880—1882

От редакции

Полное собрание сочинений и писем Антона Павловича Чехова в тридцати томах – первое научное издание литературного наследия великого русского писателя.

Оно ставит перед собой задачу дать с исчерпывающей полнотой всё, созданное Чеховым. При этом основные тексты произведений сопровождаются публикацией ранних редакций и вариантов.

При жизни автора собрание его сочинений было выпущено в десяти томах (изд. А. Ф. Маркса, 1899—1902; том XI, с повестями и рассказами последних лет, вышел посмертно – в 1906 г.). Это издание не только не было полным, хотя в переписке и личных бумагах Чехова иногда именуется так, но и не называлось собранием сочинений. По настоянию автора книги выходили под титулами: «Рассказы», «Повести и рассказы», «Пьесы».

Для книгоиздательства А. Ф. Маркса Чехов отобрал лишь часть своих сочинений, заново отредактировав их тексты. В архиве писателя сохранились вырезки из журналов и газет, а также рукописные копии рассказов и юморесок, на которых рукою автора помечено: «В полное собрание не войдет». Некоторые рассказы (около 20) Чехов исключил после того, как они были им выправлены и набраны. Однако нет оснований считать, что состав и композиция первого собрания сочинений вполне соответствовали авторской воле: связанный договором, Чехов должен был считаться как с интересами издателя, так и с требованиями цензуры. К тому же Чехову не удалось собрать всего опубликованного им в журналах и газетах 80-х годов. В результате в издание А. Ф. Маркса не вошла почти половина того, что было создано Чеховым за четверть века его литературного труда.

Не приходится сомневаться в том, что впоследствии сам Чехов изменил бы состав своего собрания сочинений. Известный библиограф П. В. Быков писал в 1910 г. М. П. Чеховой: «Есть свидетели, при которых Антон Павлович сказал, что „со временем все его вещи должны увидеть свет...“ (Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина).

При жизни Чехова такое издание осуществлено не было. В 1903 году А. Ф. Маркс повторил – в виде приложения к журналу «Нива» – первое издание, механически разбив его на шестнадцать томов. Авторизованным здесь был лишь том

XII, куда вошли повести и рассказы, приготовленные Чеховым, но не включенные в предыдущее издание¹, и произведения последних лет.

В 1911 г. были выпущены шесть дополнительных томов под редакцией П. В. Быкова – новым приложением к журналу «Нива», а в 1916 г. – еще один том, двадцать третий. Состав издания сочинений Чехова был тем самым существенно пополнен, хотя и не стал исчерпывающим.

С матриц типографии А. Ф. Маркса сочинения А. П. Чехова были перепечатаны в 1918 году Литературно-издательским отделом Комиссариата народного просвещения.

Первая попытка выверить тексты Чехова по первоисточникам была предпринята в 12-томном издании Полного собрания сочинений под редакцией А. В. Луначарского и С. Д. Балухатого, вышедшем в 1929 г., к 25-й годовщине смерти писателя, в виде приложения к журналу «Огонек». С дополнением произведений, оставшихся в рукописях, 12-томник был повторен Государственным издательством в 1930—1933 годах.

Эпистолярное наследие Чехова, впервые собранное в 6 томном издании М. П. Чеховой (1912—1916), было значительно пополнено и опубликовано в 20-томном собрании сочинений и писем, выпущенном Государственным издательством художественной литературы в 1944—1951 годах. Сочинения составили здесь двенадцать томов, письма – восемь. Издание ставило своей целью «дать выверенный по рукопи-

сям и печатным изданиям полный свод сочинений Чехова, дополненный существенными текстовыми вариантами и сопровождаемый историко-литературными комментариями». Оно явилось важным событием для своего времени и справедливо считалось до сих пор наиболее полным по составу и сопроводительному аппарату. Однако текстологический уровень этого издания оказался недостаточно высоким. В текстах сочинений были допущены ошибки и опечатки, а в письмах сделаны неоправданные купюры.

В новых собраниях сочинений (12 томов, 1954—1957 и 1960—1963) Гослитиздат отказался от принятой в 20-томнике композиции – деления произведений Чехова на два разряда: включенное и не включенное в издание А. Ф. Маркса. Многие ошибки 20-томника были в этих изданиях исправлены.

Сказанным определяется одна из главных задач настоящего издания – напечатать все известные произведения и письма Чехова, заново и сплошь проверив тексты по сохранившимся источникам, освободив их от разного рода искажений (цензурных, типографских, редакторских).

Вышедший к 100-летию юбилею А. П. Чехова том «Литературного наследия» (т. 68, 1960) и публикации самых последних лет показали, что полный объем творческого наследия писателя окончательно еще не установлен. Обнаружены неизвестные ранее юморески, фельетоны, письма. Эта работа продолжалась и в процессе подготовки данного 30-

томника: проведено изучение архивных фондов, сплошное обследование не только тех журналов и газет, которые традиционно связывались с именем Чехова, но и тех, где писатель мог печататься под нераскрытыми псевдонимами или анонимно. Учтены в издании и вновь найденные рукописи Чехова: автографы пьесы «Три сестры» и шутки «Юбилей», рассказов «Невеста», «Попрыгунья», «Дама с собачкой», «Шведская спичка», «Происшествие», новый список пьесы «Иванов», неопубликованные записные книжки и дневниковые записи. Впервые в истории изданий Чехова дается исчерпывающий свод первоначальных редакций и всех вариантов текста.

Издание делится на две серии: Сочинения (тома I—XVIII) и Письма (тома I—XII).

Серия сочинений строится по жанрово-хронологическому принципу. В одиннадцати томах собрана художественная проза. Рассказы, повести, юморески, очерки, литературные пародии располагаются здесь в хронологическом порядке по времени написания (или первой публикации, если дату создания не удастся установить). Исключение сделано для особого жанра – подписей к рисункам: по соображениям полиграфического порядка они собраны в третьем томе (1885 – дата последней из юморесок этого рода). В трех томах (XII—XIV) помещены драматические произведения. В отдельные тома выделяются: книга «Остров Сахалин» (т. XV); статьи, рецензии, заметки (т. XVI); записные книжки и дневнико-

вые записи (т. XVII). Серия сочинений завершается томом, куда входят: гимназические сочинения, альбомные записи, стихи – всё то, что не предназначалось Чеховым для печати; произведения, в отношении которых авторство Чехова нельзя считать вполне установленным (*Dubia*), а также написанные в соавторстве; тексты других авторов, отредактированные Чеховым (сохранилось всего несколько рукописей). Здесь же помещен сводный указатель имен, встречающихся в сочинениях Чехова.

В самостоятельных разделах каждого тома даны произведения, оставшиеся незавершенными, а также первоначальные редакции и варианты.

Тексты настоящего издания печатаются по правилам современной орфографии и пунктуации, с сохранением индивидуальных особенностей, свойственных языку Чехова.

Историко-литературные и текстологические комментарии содержат сведения об истории создания и о цензурной истории произведений Чехова, об источниках текста, об исправлениях, внесенных в основной текст по рукописям и авторизованным печатным изданиям. В примечаниях приводятся отзывы прижизненной критики и суждения современников о произведениях Чехова, даются сведения о творческой и сценической истории его пьес, о переводах его сочинений на иностранные языки.

Рассказы. Повести. Юморески.

Письмо к ученому соседу

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка.

Максим... (забыл как по бабушке, извините великодушно!) Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я всё еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих героглифиф познаться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т. е. плебейским элементом. Давно искал я случая познаться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, всё одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых, увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенно-

го мира сего видимого и невидимого т. е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимум понтифекс¹ отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира видимого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на щот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских пле-

¹ Верховный жрец (*лат.* pontifex maximus).

мен мартышек орангуташек и т. п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друг друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и неумеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Извените меня неучка за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме

своим и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне т. е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т. е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недостижимости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятны, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятны, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятны, если они не сторают? Может быть по-вашему и рыбы живут на солнце?

Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т. е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо со-

гревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофе для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне дорогой соседусшко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насщот этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемониться. Если доставит позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хва-

тает. Извените меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной
урядник из дворян, ваш сосед

Василий Семи-Булатов.

Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?

Граф, графиня со следами когда-то бывшей красоты, сосед-барон, литератор-либерал, обеднявший дворянин, музыкант-иностранец, тупоумные лакеи, няни, гувернантки, немец-управляющий, эсквайр и наследник из Америки. Лица некрасивые, но симпатичные и привлекательные. Герой – спасающий героиню от взбешенной лошади, сильный духом и могущий при всяком удобном случае показать силу своих кулаков.

Высь поднебесная, даль непроглядная, необъятная... непонятная, одним словом: природа!!!

Белокурые друзья и рыжие враги.

Богатый дядя, либерал или консерватор, смотря по обстоятельствам. Не так полезны для героя его наставления, как смерть.

Тетка в Тамбове.

Доктор с озабоченным лицом, подающий надежду на кризис; часто имеет палку с набалдашником и лысину. А где доктор, там ревматизм от трудов праведных, мигрень, воспаление мозга, уход за раненым на дуэли и неизбежный совет ехать на воды.

Слуга – служивший еще старым господам, готовый за господ лезть куда угодно, хоть в огонь. Остряк замечательный.

Собака, не умеющая только говорить, попка и соловей.

Подмосковная дача и заложенное имение на юге.

Электричество, в большинстве случаев ни к селу ни к городу приплетаемое.

Портфель из русской кожи, китайский фарфор, английское седло, револьвер, не дающий осечки, орден в петличке, ананасы, шампанское, трюфели и устрицы.

Нечаянное подслушивание как причина великих открытий.

Бесчисленное множество междометий и попыток употребить кстати техническое словцо.

Тонкие намеки на довольно толстые обстоятельства.

Очень часто отсутствие конца.

Семь смертных грехов в начале и свадьба в конце.

Конец.

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Пробило 12 часов дня, и майор Щелколовов, обладатель тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и громко выругался. Вчера, проходя мимо беседки, он слышал, как молодая жена его, майорша Каролина Карловна, более чем мило-стиво беседовала со своим приезжим кузеном, называла своего супруга, майора Щелколобова, бараном и с женским легкомыслием доказывала, что она своего мужа не любила, не любит и любить не будет за его, Щелколобова, тупоумие, мужицкие манеры и склонность к умопомешательству и хроническому пьянству. Такое отношение жены поразило, возмутило и привело в сильнейшее негодование майора. Он не спал целую ночь и целое утро. В голове у него кипела непривычная работа, лицо горело и было краснее вареного рака, кулаки судорожно сжимались, а в груди происходила такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слышал.² Выглянув из-под одеяла на свет божий и выругавшись, он спрыгнул с кровати и, потрясая кулаками, зашагал по комнате.

² ...такая возня и стукотня, какой майор и под Карсом не видал и не слышал. – В войне 1877—1878 годов турецкая крепость Карс после длительной осады и штурма была взята русскими войсками.

– Эй, болваны! – крикнул он.

Затрещала дверь, и пред лицо майора предстал его камердинер, куафер и поломойка Пантелей, в одежонке с барского плеча и с щенком под мышкой. Он уперся о косяк двери и почтительно замигал глазами.

– Послушай, Пантелей, – начал майор, – я хочу с тобой поговорить по-человечески, как с человеком, откровенно. Стой ровней! Выпусти из кулака мух! Вот так! Будешь ли ты отвечать мне откровенно, от глубины души, или нет?

– Буду-с.

– Не смотри на меня с таким удивлением. На господ нельзя смотреть с удивлением. Закрой рот! Какой же ты бык, братец! Не знаешь, как нужно вести себя в моем присутствии. Отвечай мне прямо, без запинки! Колотишь ли ты свою жену или нет?

Пантелей закрыл рот рукою и преглупо ухмыльнулся.

– Кажинный вторник, ваше в е! – пробормотал он и захихикал.

– Очень хорошо. Чего ты смеешься? Над этим шутить нельзя! Закрой рот! Не чешишь при мне: я этого не люблю. (Майор подумал.) Я полагаю, братец, что не одни только мужики наказывают своих жен. Как ты думаешь относительно этого?

– Не одни, ваше в —е!

– Пример!

– В городе есть судья Петр Иванович... Изволите знать? Я у

них годов десять тому назад в дворниках состоял. Славный барин, в одно слово, то есть... а как подвыпимши, то бережись. Бывало, как придут подвыпимши, то и начнут кулачищем в бок барыню подсаживать. Штоб мне провалиться на этом самом месте, коли не верите! Да и меня за компанию ни с того ни с сего в бок, бывало, саданут. Бьют барыню да и говорят: «Ты, говорят, дура, меня не любишь, так я тебя, говорят, за это убить желаю и твоей жисти предел положить...»

– Ну, а она что?

– Простите, говорит.

– Ну? Ей-богу? Да это отлично!

И майор от удовольствия потер себе руки.

– Истинная правда-с, ваше в—е! Да как и не бить, ваше в—е? Вот, например, моя... Как не побить! Гармонийку ногой раздавила да барские пирожки поела... Нешто это возможно? Гм!..

– Да ты, болван, не рассуждай! Чего рассуждаешь? Ведь умного ничего не сумеешь сказать? Не берись не за свое дело! Что барыня делает?

– Спят.

– Ну, что будет, то будет! Поди, скажи Марье, чтобы разбудила барыню и просила ее ко мне... Постой!.. Как на твой взгляд? Я похож на мужика?

– Зачем вам походить, ваше в—е? Откудова это видно, штоб барин на мужика похож был? И вовсе нет!

Пантелей пожал плечами, дверь опять затрещала, и он вы-

шел, а майор с озабоченной миной на лице начал умываться и одеваться.

– Душенька! – сказал одевшийся майор самым что ни на есть разъехидственным тоном вошедшей к нему хорошенькой двадцатилетней майорше, – не можешь ли ты уделить мне часок из твоего столь полезного для нас времени?

– С удовольствием, мой друг! – ответила майорша и подставила свой лоб к губам майора.

– Я, душенька, хочу погулять, по озеру покататься... Не можешь ли ты из своей прелестной особы составить мне приятнейшую компанию?

– А не жарко ли будет? Впрочем, изволь, папочка, я с удовольствием. Ты будешь грести, а я рулем править. Не взять ли нам с собой закусок? Я ужасно есть хочу...

– Я уже взял закуску, – ответил майор и ощупал в своем кармане плетку.

Через полчаса после этого разговора майор и майоршаплыли на лодке к середине озера. Майор потел над веслами, а майорша управляла рулем. «Какова? Какова? Какова?» – бормотал майор, свирепо поглядывая на замечтавшуюся жену и горя от нетерпения. «Стой!» – забасил он, когда лодка достигла середины. Лодка остановилась. У майора побагровела физиономия и затряслись поджилки.

– Что с тобой, Аполлоша? – спросила майорша, с удивлением глядя на мужа.

– Так я, – забормотал он, – баааран? Так я... я... кто я?

Так я тупоумен? Так ты меня не любила и любить не будешь?
Так ты... я...

Майор зарычал, простер вверх длани, потряс в воздухе плетью и в лодке... о tempora, о mores!³ поднялась страшная возня, такая возня, какую не только описать, но и вообразить едва ли возможно. Произошло то, чего не в состоянии изобразить даже художник, побывавший в Италии и обладающий самым пылким воображением... Не успел майор Щелколов почувствовать отсутствие растительности на голове своей, не успела майорша воспользоваться вырванной из рук супруга плетью, как перевернулась лодка и...

В это время на берегу озера прогуливался бывший ключник майора, а ныне волостной писарь Иван Павлович и, в ожидании того блаженного времени, когда деревенские молодухи выйдут на озеро купаться, посвистывал, покуривал и размышлял о цели своей прогулки. Вдруг он услышал раздрающий душу крик. В этом крике он узнал голос своих бывших господ. «Помогите!» – кричали майор и майорша. Писарь, не долго думая, сбросил с себя пиджак, брюки и сапоги, перекрестился трижды и поплыл на помощь к середине озера. Плавал он лучше, чем писал и разбирал писанное, а потому через какие-нибудь три минуты был уже возле погибавших. Иван Павлович подплыл к погибавшим и стал втупик.

«Кого спасать? – подумал он. – Вот черти!» Двоих спасать ему было совсем не под силу. Для него достаточно было и

³ о времена, о нравы! (лат.)

одного. Он скорчил на лице своем гримасу, выразившую величайшее недоумение, и начал хвататься то за майора, то за майоршу.

– Кто-нибудь один! – сказал он. – Обоих вас куда мне взять? Что я, кашалот, что ли?

– Ваня, голубчик, спаси меня, – пропищала дрожащая майорша, держась за фалду майора, – меня спаси! Если меня спасешь, то я выйду за тебя замуж! Клянусь всем для меня святым! Ай, ай, я утопаю!

– Иван! Иван Павлович! По-рыцарски!.. того! – забасил, захлебываясь, майор. – Спаси, братец! Рубль на водку! Будь отцом-благодетелем, не дай погибнуть во цвете лет... Озолочу с ног до головы... Да ну же, спасай! Какой же ты, право... Женюсь на твоей сестре Марье... Ей-богу, женюсь! Она у тебя красавица. Майоршу не спасай, чёрт с ней! Не спасешь меня – убью, жить не позволю!

У Ивана Павловича закружилась голова, и он чуть-чуть не пошел ко дну. Оба обещания казались ему одинаково выгодными – одно другого лучше. Что выбирать? А время не терпит! «Спасу-ка обоих! – порешил он. – С двоих получать лучше, чем с одного. Вот это так, ей-богу. Бог не выдаст, свинья не съест. Господи благослови!» Иван Павлович перекрестился, схватил под правую руку майоршу, а указательным пальцем той же руки за галстух майора и поплыл, кряхтя, к берегу. «Ногами болтайте!» – командовал он, гребя левой рукой и мечтая о своей блестящей будущности. «Бары-

ня – жена, майор – зять... Шик! Гуляй, Ваня! Вот когда пирожных наемся да дорогие цыгары курить будем! Слава тебе, господи!» Трудно было Ивану Павловичу тянуть одной рукой двойную ношу и плыть против ветра, но мысль о блестящей будущности поддержала его. Он, улыбаясь и хихикая от счастья, доставил майора и майоршу на сушу. Велика была его радость. Но, увидев майора и майоршу, дружно вцепившихся друг в друга, он... вдруг побледнел, ударил себя кулаком по лбу, зарыдал и не обратил внимания на девок, которые, вылезши из воды, густою толпой окружали майора и майоршу и с удивлением посматривали на храброго писаря.

На другой день Иван Павлович, по проискам майора, был удален из волостного правления, а майорша изгнала из своих апартаментов Марью с приказом отправляться ей «к своему милому барину».

– О, люди, люди! – вслух произносил Иван Павлович, гуляя по берегу рокового пруда, – что же благодарностию вы именуете?

Каникулярные работы институтки Наденьки N

По русскому языку.

а) Пять примеров на «Сочетание предложений».

1) «Недавно Росия воевала с Заграницей, при чем много было убито турков».⁴

2) «Железная дорога шипит, везет людей и зделана из железа и матерьялов».

3) «Говядина делается из быков и коров, баранина из овец и баранчиков».

4) «Папу обошли на службе и не дали ему ордена, а он рассердился и вышел в отставку по домашним обстоятельствам».

5) «Я обожаю свою подругу Дуню Пешеморепереходященскую за то, что она прилежна и внимательна во время уроков и умеет представлять гусара Николая Спиридоныча».

б) Примеры на «Согласование слов».

1) «В великий пост священники и дьяконы не хотят венчать новобрачных».

⁴ «Недавно Росия воевала с Заграницей ~ убито турков». – Имеется в виду Русско-турецкая война 1877—1878 годов.

2) «Мужики живут на даче зиму и лето, бьют лошадей, но ужасно не чисты, потому что закапаны дегтем и не нанимают горничных и швейцаров».

3) «Родители выдают девиц замуж за военных, которые имеют состояние и свой дом».

4) «Мальчик, почитай своих папу и маму – и за это ты будешь хорошеньким и будешь любим всеми людьми на свете».

5) «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел».⁵

в) *Сочинение.*

«Как я провела каникулы?»

Как только я выдержала экзамены, то сейчас же поехала с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии, на дачу. К нам съехались: Катя Кузевич с мамой и папой, Зина, маленький Егорушка, Наташа и много других моих подруг, которые со мной гуляли и вышивали на свежем воздухе. Было много мужчин, но мы, девицы, держали себя в стороне и не обращали на них никакого внимания. Я прочла много книг и между прочим Мещерского, Майкова, Дюму, Ливанова, Тургенева и Ломоносова.⁶ Природа была в вели-

⁵ «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел». – Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Крестьянин и работник».

⁶ Я прочла много книг и между прочим Мещерского, Майкова, Дюму, Ливанова, Тургенева и Ломоносова. – Наряду с романами А. Дюма, повестями и романами И. С. Тургенева, стихами М. В. Ломоносова и А. Н. Майкова здесь подразумеваются романы и повести из великосветской жизни издателя «Гражданина» В. П. Мещерского («Женщины петербургского большого света», СПб., 1876; «Тайны современного Петербурга», СПб., 1877), а также рассказы и хроники из быта раскольников и сельского духовенства Ф. В. Ливанова («Раскольники и острож-

колепии. Молодые деревья росли очень тесно, ничей топор еще не коснулся до их стройных стволов, не густая, но почти сплошная тень ложилась от мелких листьев на мягкую и тонкую траву, всю испещренную золотыми головками куриной слепоты, белыми точками лесных колокольчиков и малиновыми крестиками гвоздики (похищено из «Затишья» Тургенева).⁷ Солнце то восходило, то заходило. На том месте, где была заря, летела стая птиц. Где-то пастух пас свои стада и какие-то облака носились немножко ниже неба. Я ужасно люблю природу. Мой папа всё лето был озабочен: негодный банк ни с того ни с сего хотел продать наш дом, а мама всё ходила за папой и боялась, чтобы он на себя рук не наложил. А если же я и провела хорошо каникулы, так это потому, что занималась наукой и вела себя хорошо. Конец».

Арифметика.

Задача. Три купца внесли для одного торгового предприятия капитал, на который, через год, было получено 8000 руб. прибыли. Спрашивается: сколько получил каждый из них, если первый внес 35 000, второй 50 000, а третий 70 000?

Решение. Чтобы решить эту задачу, нужно сперва узнать,

ники», СПб., 1868; «Жизнь сельского священника», М., 1877).

⁷ Молодые деревья ~ крестиками гвоздики. – Цитата из гл. IV «Затишья».

кто из них больше всех внес, а для этого нужно все три числа поочередно вычитать одно из другого, и получим, следовательно, что третий купец внес больше всех, потому что он внес не 35 000 и не 50 000, а 70 000. Хорошо. Теперь узнаем, сколько из них каждый получил, а для этого разделим 8000 на три части так, чтоб самая большая часть пришлась третьему. Делим: 3 в восьми содержится 2 раза. $3 \cdot 2 = 6$. Хорошо. Вычтем 6 из восьми и получим 2. Сносим нолик. Вычтем 18 из 20 и получим еще раз 2. Сносим нолик и так далее до самого конца. Выйдет то, что мы получим $2666 \frac{2}{3}$, которая и есть то, что требуется доказать, то есть каждый купец получил $2666 \frac{2}{3}$ руб., а третий, должно быть, немножко больше».

Папаша

Тонкая, как голландская сельдь, мамаша вошла в кабинет к толстому и круглому, как жук, папаше и кашлянула. При входе ее с колен папаши спорхнула горничная и шмыгнула за портьеру; мамаша не обратила на это ни малейшего внимания, потому что успела уже привыкнуть к маленьким слабостям папаши и смотрела на них с точки зрения умной жены, понимающей своего цивилизованного мужа.

– Пампушка, – сказала она, садясь на папашины колени, – я пришла к тебе, мой родной, посоветоваться. Утри свои губы, я хочу поцеловать тебя.

Папаша замигал глазами и вытер рукавом губы.

– Что тебе? – спросил он.

– Вот что, папочка... Что нам делать с нашим сыном?

– А что такое?

– А ты не знаешь? Боже мой! Как вы все, отцы, беспечны! Это ужасно! Пампушка, да будь же хоть отцом наконец, если не хочешь... не можешь быть мужем!

– Опять свое! Слышал тысячу раз уж!

Папаша сделал нетерпеливое движение, и мамаша чуть было не упала с колен папаши.

– Все вы, мужчины, таковы, не любите слушать правды.

– Ты про правду пришла рассказывать или про сына?

– Ну, ну, не буду... Пампуша, сын наш опять нехорошие

отметки из гимназии принес.

– Ну, так что ж?

– Как что ж? Ведь его не допустят к экзамену! Он не перейдет в четвертый класс!

– Пускай не переходит. Невелика беда. Лишь бы учился да дома не баловался.

– Ведь ему, папочка, пятнадцать лет! Можно ли в таких летах быть в третьем классе? Представь, этот негодный арифметик опять ему вывел двойку... Ну, на что это похоже?

– Выпороть нужно, вот на что похоже.

Мамаша мизинчиком провела по жирным губам папаши, и ей показалось, что она кокетливо нахмурила бровки.

– Нет, пампушка, о наказаниях мне не говори... Сын наш не виноват... Тут интрига... Сын наш, нечего скромничать, так развит, что невероятно, чтобы он не знал какой-нибудь глупой арифметики. Он всё прекрасно знает, в этом я уверена!

– Шарлатан он, вот что-с! Ежели б поменьше баловался да побольше учился... Сядь-ка, мать моя, на стул... Не думаю, чтоб тебе удобно было сидеть на моих коленях.

Мамаша спорхнула с колен папаши, и ей показалось, что она лебединым шагом направилась к креслу.

– Боже, какое бесчувствие! – прошептала она, усевшись и закрыв глаза. – Нет, ты не любишь сына! Наш сын так хорош, так умен, так красив... Интрига, интрига! Нет, он не должен оставаться на второй год, я этого не допущу!

– Допустишь, коли негодяй скверно учится... Эх, вы, матери!.. Ну, иди с богом, а я тут кое-чем должен... позаняться...

Папаша повернулся к столу, нагнулся к какой-то бумажке и искоса, как собака на тарелку, посмотрел на портьеру.

– Папочка, я не уйду... я не уйду! Я вижу, что я тебе в тягость, но потерпи... Папочка, ты должен сходить к учителю арифметики и приказать ему поставить нашему сыну хорошую отметку... Ты ему должен сказать, что сын наш хорошо знает арифметику, что он слаб здоровьем, а потому и не может угождать всякому. Ты принудь учителя. Можно ли мужчине сидеть в третьем классе? Постарайся, пампуша! Представь, Софья Николаевна нашла, что сын наш похож на Париса!

– Для меня это очень лестно, но не пойду! Некогда мне шляться.

– Нет, пойдешь, папочка!

– Не пойду... Слово твердо... Ну, уходи с богом, душенька... Мне бы заняться нужно вот тут кое-чем...

– Пойдешь!

Мамаша поднялась и возвысила голос.

– Не пойду!

– Пойдешь!! – крикнула мамаша, – а если не пойдешь, если не захочешь пожалеть своего единственного сына, то...

Мамаша взвизгнула и жестом взбешенного трагика указала на портьеру... Папаша сконфузился, растерялся, ни к се-

ду ни к городу запел какую-то песню и сбросил с себя сюртук... Он всегда терялся и становился совершенным идиотом, когда мамаша указывала ему на его портьеру. Он сдался. Позвали сына и потребовали от него слова. Сынок рассердился, нахмурился, насупился и сказал, что он арифметику знает лучше самого учителя и что он не виноват в том, что на этом свете пятерки получают одними только гимназистками, богачами да подлипалами. Он разрыдался и сообщил адрес учителя арифметики во всех подробностях. Папаша побрился, поводитил у себя по лысине гребнем, оделся поприличнее и отправился «пожалеть единственного сына».

По обыкновению большинства папашей, он вошел к учителю арифметики без доклада. Каких только вещей не увидишь и не услышишь, вошедши без доклада! Он слышал, как учитель сказал своей жене: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!» И видел, как учительша бросилась на шею к учителю и сказала: «Прости меня! Ты мне дешево стоишь, но я тебя дорого ценю!» Папаша нашел, что учительша очень хороша собой и что будь она совершенно одета, она не была бы так прелестна.

– Здравствуйте! – сказал он, развязно подходя к супругам и шаркая ножкой. Учитель на минуту растерялся, а учительша вспыхнула и с быстротою молнии шмыгнула в соседнюю комнату.

– Извините, – начал папаша с улыбочкой, – я, может быть, того... вас в некотором роде обеспокоил... Очень хорошо

понимаю... Здоровы-с? Честь имею рекомендоваться... Не из безызвестных, как видите... Тоже служака... Ха-ха-ха! Да вы не беспокойтесь!

Г-н учитель чуточку, приличия ради, улыбнулся и вежливо указал на стул. Папаша повернулся на одной ножке и сел.

– Я, – продолжал он, показывая г. учителю свои золотые часы, – пришел с вами поговорить-с... Мм-да... Вы, конечно, меня извините... Я по-ученому выражаться не мастер. Наш брат, знаете ли, всё спроста... Ха-ха-ха! Вы в университете обучались?

– Да, в университете.

– Так-sss!.. Н-ну, да... А сегодня тепло-с... Вы, Иван Федорыч, моему сынишке двоек там наставили... Мм... да... Но это ничего, знаете... Кто чего достоин... Ему же дань – дань, ему же урок – урок... Хе-хе-хе!.. Но, знаете ли, неприятно. Неужели мой сын плохо арифметику понимает?

– Как вам сказать? Не то, чтобы плохо, но, знаете ли, не занимается. Да, он плохо знает.

– Почему же он плохо знает?

Учитель сделал большие глаза.

– Как почему? – сказал он. – Потому, что плохо знает и не занимается.

– Помилуйте, Иван Федорыч! Сын мой превосходно занимается! Я сам с ним занимаюсь... Он ночи сидит... Он всё отлично знает... Ну, а что пошаливает... Ну, да ведь это молодость... Кто из нас не был молод? Я вас не обеспокоил?

– Помилуйте, что вы?.. Очень вам благодарен даже... Вы, отцы, такие редкие гости у нас, педагогов... Впрочем, это показывает на то, как вы сильно нам доверяете; а главное во всем – это доверие.

– Разумеется... Главное – не вмешиваемся... Значит, сын мой не перейдет в IV класс?

– Да. У него ведь не по одной только арифметике годовая двойка?

– Можно будет и к другим съездить. Ну, а насчет арифметики?.. Хххе!.. Исправите?

– Не могу-с! (Учитель улыбнулся.) Не могу-с!.. Я желал, чтобы сын ваш перешел, я старался всеми силами, но ваш сын не занимается, говорит дерзости... Мне несколько раз приходилось иметь с ним неприятности.

– М-молод... Что поделаешь?! Да вы уж переправьте на троечку!

– Не могу!

– Да ну, пустяки!.. Что вы мне рассказываете? Как будто бы я не знаю, что можно, чего нельзя. Можно, Иван Федорыч!

– Не могу! Что скажут другие двоечники? Несправедливо, как ни поверните дело. Ей-ей, не могу!

Папаша мигнул одним глазом.

– Можете, Иван Федорыч! Иван Федорыч! Не будем долго рассказывать! Не таково дело, чтобы о нем три часа балясы точить... Вы скажите мне, что вы по-своему, по-учено-

му, считаете справедливым? Ведь мы знаем, что такое ваша справедливость. Хе-хе-хе! Говорили бы прямо, Иван Федорыч, без экивок! Вы ведь с намерением поставили двойку... Где же тут справедливость?

Учитель сделал большие глаза и... только; а почему он не обиделся – это останется для меня навсегда тайною учительского сердца.

– С намерением, – продолжал папаша. – Вы гостя ожидаете. Ха-хе-ха-хе!.. Что ж? Извольте-с!.. Я согласен... Ему же дань – дань... Понимаю службу, как видите... Как ни прогрессируйте там, а... все-таки, знаете... ммда... старые обычаи лучше всего, полезнее... Чем богат, тем и рад.

Папаша с сопеньем вытащил из кармана бумажник, и двадцатипятирублевка потянулась к кулаку учителя.

– Извольте-с!

Учитель покраснел, съежился и... только. Почему он не указал папаше на дверь – для меня останется навсегда тайной учительского сердца...

– Вы, – продолжал папаша, – не конфузьтесь... Ведь я понимаю... Кто говорит, что не берет, – тот берет... Кто теперь не берет? Нельзя, батенька, не брать... Не привыкли еще, значит? Пожалуйте-с!

– Нет, ради бога...

– Мало? Ну, больше дать не могу... Не возьмете?

– Помилуйте!..

– Как прикажете... Ну, а уж двоечку исправьте!.. Не так

я прошу, как мать... Плачет, знаете ли... Сердцебиение там и прочее...

– Вполне сочувствую вашей супруге, но не могу.

– Если сын не перейдет в IV класс, то... что же будет?..

Ммда... Нет, уж вы переведите его!

– Рад бы, но не могу... Прикажете папиросу?

– Гранд мерси... Перевести бы не мешало... А в каком чине состоите?

– Титулярный... Впрочем, по должности VIII-го класса. Кгм!..

– Так-ссс... Ну, да мы с вами поладим... Единым почерком пера, а? идет? Хе-хе!..

– Не могу-с, хоть убейте, не могу!

Папаша немного помолчал, подумал и опять наступил на г. учителя. Наступление продолжалось еще очень долго. Учителю пришлось раз двадцать повторить свое неизменное «не могу-с». Наконец папаша надоел учителю и стал больше невыносим. Он начал лезть целоваться, просил проэкзаменовать его по арифметике, рассказал несколько сальных анекдотов и зафамильярничал. Учителя затошнило.

– Ваня, тебе пора ехать! – крикнула из другой комнаты учительша. Папаша понял, в чем дело, и своею широкою фигуркой загородил г. учителю дверь. Учитель выбился из сил и начал ныть. Наконец ему показалось, что он придумал гениальнейшую вещь.

– Вот что, – сказал он папаше. – Я тогда только исправлю

вашему сыну годовую отметку, когда и другие мои товарищи поставят ему по тройке по своим предметам.

– Честное слово?

– Да, я исправлю, если они исправят.

– Дело! Руку вашу! Вы не человек, а – шик! Я им скажу, что вы уже исправили. Идет девка за парубка! Бутылка шампанского за мной. Ну, а когда их можно застать у себя?

– Хоть сейчас.

– Ну, а мы, разумеется, будем знакомы? Заедете когда-нибудь на часок попросту?

– С удовольствием. Будьте здоровы!

– О ревуар!⁸ Хе-хе-хе-хмы!.. Ох, молодой человек, молодой человек!.. Прощайте!.. Вашим господам товарищам, разумеется, от вас поклон? Передам. Вашей супруге от меня почтительное резюме... Заходите же!

Папаша шаркнул ножкой, надел шляпу и улетучился.

«Славный малый, – подумал г. учитель, глядя вслед уходящему папаше. – Славный малый! Что у него на душе, то и на языке. Прост и добр, как видно... Люблю таких людей».

В тот же день вечером у папаши на коленях опять сидела мамаша (а уж после нее сидела горничная). Папаша уверял ее, что «сын наш» перейдет и что ученых людей не так уломаешь деньгами, как приятным обхождением и вежливым наступлением на горло.

⁸ До свидания! (франц. au revoir).

Мой юбилей

Юноши и девы!

Три года тому назад я почувствовал присутствие того священного пламени, за которое был прикован к скале Прометей... И вот три года я щедрою рукою рассылаю во все концы моего обширного отечества свои произведения, прошедшие сквозь чистилище упомянутого пламени. Писал я прозой, писал стихами, писал на всякие меры, манеры и размеры, задаром и за деньги, писал во все журналы, но... увы!!!... мои завистники находили нужным не печатать моих произведений, а если и печатать, то непременно в «почтовых ящиках». Полсотни почтовых марок посеял я на «Ниве», сотню утопил в «Неве», с десятков пропалил на «Огоньке», пять сотен просадил на «Стрекозе».⁹ Короче: всех ответов из всех

⁹ Полсотни почтовых марок посеял я на «Ниве» ~ пять сотен просадил на «Стрекозе». – Помимо «Стрекозы» – «еженедельного юмористического журнала с карикатурами», – где Чехов, по его словам, начал свою литературную работу, а в 1880 г. деятельно сотрудничал и где в «почтовых ящиках» много раз появлялись ответы ему, здесь названы популярные петербургские журналы конца 70-х – начала 80-х годов, с которыми у автора «Моего юбилея» не было, видимо, никаких отношений. «Нива» – «иллюстрированный еженедельный журнал литературы, политики и современной жизни» – издавалась т-вом А. Ф. Маркса с 1870 г. «Нева» – «газета для всех и обо всем» – выходила в 1879—1887 гг. под редакцией П. М. Дмитриева; издатели – А. О. Бауман и П. Н. Подлигайлов. «Огонек» – «иллюстрированный журнал литературы, науки и искусств» – выходил в 1879—1883 гг. под редакцией Н. П. Аловерта, издатель – Г. Д. Гоппе. В журнале печатались А. А. Потехин, В. В. Крестовский, Г. П. Данилевский, гр. Е. А. Салиас;

редакций получил я от начала моей литературной деятельности до сего дня ровно две тысячи! Вчера я получил последний из них, подобный по содержанию всем остальным. Ни в одном ответе не было даже и намека на «да». Юноши и девы! Материальная сторона каждой моей посылки в редакцию обходилась мне, по меньшей мере, в гривенник; следовательно, на литературное препровождение времени просадил я 200 руб. А ведь за 200 руб. можно купить лошадь! Доходов в год я имею 800 франков, только... Поймите!!! И я должен был голодать за то, что воспевал природу, любовь, женские глазки, за то, что пускал ядовитые стрелы в корыстолюбие надменного Альбиона; за то, что делился своим пламенем с... гг., писавшими мне ответы... Две тысячи ответов – двести с лишним рублей, и ни одного «да»! Тьфу! и вместе с тем поучительная материя. Юноши и девы! Праздную сегодня свой юбилей получения двухтысячного ответа, поднимаю бокал за окончание моей литературной деятельности и почиваю на лаврах. Или укажите мне на другого, получившего в три года столько же «нет», или становите меня на незыблемый пьедестал!

Прозаический поэт

помещались переводные романы и повести. Ни публикаций Чехова, ни ответов ему в «почтовых ящиках» в этих журналах не обнаружено.

Тысяча одна страсть, или Страшная ночь

Посвящаяю Виктору Гюго

(Роман в одной части с эпилогом)

На башне св. Ста сорока шести мучеников пробила полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку и вышел с ним на улицу. Небо было темно, как типографская тушь. Было темно, как в шляпе, надетой на голову. Темная ночь – это день в ореховой скорлупе. Мы закутались в плащи и отправились. Сильный ветер продувал нас насквозь. Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии. Молния, несмотря на зимнее время, бороздила небо по всем направлениям. Гром, грозный, величественный спутник прелестной, как миганье голубых глаз, быстрой, как мысль, молнии, ужасающе потрясал воздух. Уши Теодора засветились электричеством. Огни св. Эльма с треском пролетали над нашими головами. Я взглянул наверх. Я затрепетал. Кто не трепещет пред величием природы? По небу пролетело несколько блестящих ме-

теоров. Я начал считать их и насчитал 28. Я указал на них Теодору.

– Нехорошее предзнаменование! – пробормотал он, бледный, как изваяние из каррарского мрамора.

Ветер стонал, выл, рыдал... Стон ветра – стон совести, утонувшей в страшных преступлениях. Возле нас громом разрушило и зажгло восьмиэтажный дом. Я слышал вопли, вылетающие из него. Мы прошли мимо. До горевшего ли дома мне было, когда у меня в груди горело полтораста домов? Где-то в пространстве заунывно, медленно, монотонно звонил колокол. Была борьба стихий. Какие-то неведомые силы, казалось, трудились над ужасающей гармонией стихии. Кто эти силы? Узнает ли их когда-нибудь человек?

Пугливая, но дерзкая мечта!!!

Мы крикнули кошэ¹⁰. Мы сели в карету и помчались. Кошэ – брат ветра. Мы мчались, как смелая мысль мчится в таинственных извилинах мозга. Я всунул в руку кошэ кошелек с золотом. Золото помогло бичу удвоить быстроту лошадиных ног.

– Антонио, куда ты меня везешь? – простонал Теодор. – Ты смотришь злым гением... В твоих черных глазах светится ад... Я начинаю бояться...

Жалкий трус!! Я промолчал. Он любил *ее*. Она любила страстно его... Я должен был убить его, потому что любил больше жизни *ее*. Я любил *ее* и ненавидел его. Он должен был

¹⁰ Кошэ – извозчик (*франц. cocher*).

умереть в эту страшную ночь и заплатить смертью за свою любовь. Во мне кипели любовь и ненависть. Они были вторым моим бытием. Эти две сестры, живя в одной оболочке, производят опустошение: они – духовные вандалы.

– Стой! – сказал я кошэ, когда карета подкатила к цели.

Я и Теодор выскочили. Из-за туч холодно взглянула на нас луна. Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения. Она должна была быть свидетелем смерти одного из нас. Пред нами была пропасть, бездна без дна, как бочка преступных дочерей Даная.¹¹ Мы стояли у края жерла потухшего вулкана. Об этом вулкане ходят в народе страшные легенды. Я сделал движение коленом, и Теодор полетел вниз, в страшную пропасть. Жерло вулкана – пасть земли.

– Проклятие!!! – закричал он в ответ на мое проклятие.

Сильный муж, ниспровергающий своего врага в кратер вулкана из-за прекрасных глаз женщины, – величественная, грандиозная и поучительная картина! Недоставало только лавы!

Кошэ. Кошэ – статуя, поставленная роком невежеству. Прочь рутина! Кошэ последовал за Теодором. Я почувствовал, что в груди у меня осталась одна только любовь. Я пал лицом на землю и заплакал от восторга. Слезы восторга – ре-

¹¹ ...бочка преступных дочерей Даная. – По древнегреческому мифу, бездонная бочка, которую приговорены были наполнить в Аиде дочери аргосского царя (Данаиды), наказанные богами за умерщвление своих мужей.

зультат божественной реакции, производимой в недрах любящего сердца. Лошади весело заржали. Как тягостно быть не человеком! Я освободил их от животной, страдальческой жизни. Я убил их. Смерть есть и оковы и освобождение от оков.

Я зашел в гостиницу «Фиолетового гиппопотама» и выпил пять стаканов доброго вина.

Через три часа после мщения я был у дверей ее квартиры. Кинжал, друг смерти, помог мне по трупам добраться до ее дверей. Я стал прислушиваться. Она не спала. Она мечтала. Я слушал. Она молчала. Молчание длилось часа четыре. Четыре часа для влюбленного – четыре девятнадцатых столетия! Наконец она позвала горничную. Горничная прошла мимо меня. Я демонически взглянул на нее. Она уловила мой взгляд. Рассудок оставил ее. Я убил ее. Лучше умереть, чем жить без рассудка.

– Анета! – крикнула *она*. – Что это Теодор нейдет? Тоска грызет мое сердце. Меня душит какое-то тяжелое предчувствие. О, Анета! сходи за ним. Он наверно кутит теперь вместе с безбожным, ужасным Антонио!.. Боже, кого я вижу?! Антонио!

Я вошел к ней. Она побледнела.

– Подите прочь! – закричала она, и ужас искажил ее благородные, прекрасные черты.

Я взглянул на нее. Взгляд есть меч души. Она пошатнулась. В моем взгляде она увидела всё: и смерть Теодора, и де-

моническую страсть, и тысячу человеческих желаний... По-за моя – было величие. В глазах моих светилось электричество. Волосы мои шевелились и стояли дыбом. Она видела пред собою демона в земной оболочке. Я видел, что она залюбовалась мной. Часа четыре продолжалось гробовое молчание и созерцание друг друга. Загремел гром, и она пала мне на грудь. Грудь мужчины – крепость женщины. Я сжал ее в своих объятиях. Оба мы крикнули. Кости ее затрещали. Гальванический ток пробежал по нашим телам. Горячий поцелуй...

Она полюбила во мне демона. Я хотел, чтобы она полюбила во мне ангела. «Полтора миллиона франков отдаю бедным!» – сказал я. Она полюбила во мне ангела и заплакала. Я тоже заплакал. Что это были за слезы!!! Через месяц в церкви св. Тита и Гортензии происходило торжественное венчание. Я венчался с *ней*. *Она* венчалась со мной. Бедные нас благословляли! *Она* упросила меня простить врагов моих, которых я ранее убил. Я простил. С молодой женой я уехал в Америку. Молодая любящая жена была ангелом в девственных лесах Америки, ангелом, пред которым склонялись львы и тигры. Я был молодым тигром. Через три года после нашей свадьбы старый Сам носился уже с курчавым мальчишкой. Мальчишка был более похож на мать, чем на меня. Это меня злило. Вчера у меня родился второй сын... и сам я от радости повесился... Второй мой мальчишка протягивает ручки к читателям и просит их не верить его папаше, потому что у

его папаши не было не только детей, но даже и жены. Папа-ша его боится женитьбы, как огня. Мальчишка мой не лжет. Он младенец. Ему верьте. Детский возраст – святой возраст. Ничего этого никогда не было... Спокойной ночи!

За яблочки

Между Понтом Эвксинским и Соловками¹², под соответственным градусом долготы и широты, на своем черноземе с давних пор обитает помещичек Трифон Семенович. Фамилия Трифона Семеновича длинна, как слово «естествоиспытатель», и происходит от очень звучного латинского слова, обозначающего единую из многочисленнейших человеческих добродетелей. Число десятин его чернозема есть 3000. Имение его, потому что оно имение, а он – помещик, заложено и продается. Продажа его началась еще тогда, когда у Трифона Семеновича лысины не было, тянется до сих пор и, благодаря банковскому легковерию да Трифона Семеновича изворотливости, ужасно плохо клеится. Банк этот когда-нибудь да лопнет, потому что Трифон Семенович, подобно себе подобным, имя коим легион, рубли взял, а процентов не платит, а если и платит кое-когда, то платит с такими церемониями, с какими добрые люди подают копеечку за упокой души и на построение. Если бы сей свет не был сим светом, а называл бы вещи настоящим их именем, то Трифона Семеновича звали бы не Трифоном Семеновичем, а иначе; звали бы его так, как зовут вообще лошадей да коров. Говоря откровенно, Трифон Семенович – порядочная таки скотина. Приглашаю его самого согласиться с этим. Ес-

¹² *Понт Эвксинский* – Черное море (древнегреч.).

ли до него дойдет это приглашение (он иногда почитывает «Стрекозу»), то он, наверно, не рассердится, ибо он, будучи человеком понимающим, согласится со мною вполне, да, пожалуй, еще пришлет мне осенью от щедрот своих десятков антоновских яблочков за то, что я его длинной фамилии по миру не пустил, а ограничился на этот раз одними только именем и отчеством. Описывать все добродетели Трифона Семеновича я не стану: материя длинная. Чтобы вместить всего Трифона Семеновича с руками и ногами, нужно просидеть над писанием по крайней мере столько, сколько просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным жидом».¹³ Я не коснусь ни его плутней в преферансе, ни политики его, в силу которой он не платит ни долгов, ни процентов, ни его проделок над батюшкою и дьячком, ниже? прогулок его верхом по деревне в костюме времен Каина и Авеля, а ограничусь одной только сценкой, характеризующей его отношения к людям, в похвалу которых его тричетвертивекковой опыт сочинил следующую скороговорку: «Мужички, простачки, чудачки, дурачки проигрались в дурачки».

В одно прекрасное во всех отношениях утро (дело происходило в конце лета) Трифон Семенович прогуливался по длинным и коротким аллеям своего роскошного сада. Всё, что вдохновляет господ поэтов, было рассыпано вокруг него

¹³ ...просидел Евгений Сю над своим толстым и длинным «Вечным жидом». – Переведенный на многие европейские языки роман Э. Сю (1804—1857) «Juif Errant» вышел в 1844—1845 гг. в десяти томах.

щедрую рукою в огромном количестве и, казалось, говорило и пело: «На, бери, человек! Наслаждайся, пока еще не явилась осень!» Но Трифон Семенович не наслаждался, потому что он далеко не поэт, да и к тому же в это утро душа его с особенною жадностью вкушала хладный сон¹⁴, как это делала она всегда, когда хозяин ее чувствовал себя в проигрыше. Позади Трифона Семеновича шествовал его верный вольнонаемник, Карпушка, старикашка лет шестидесяти, и посматривал по сторонам. Этот Карпушка своими добродетелями чуть ли не превосходит самого Трифона Семеновича. Он прекрасно чистит сапоги, еще лучше вешает лишних собак, обворовывает всех и вся и бесподобно шпионит. Вся деревня, с легкой руки писаря, величает его «опричником». Редкий день проходит без того, чтобы мужики и соседи не жаловались Трифону Семеновичу на нравы и обычаи Карпушки; но жалобы эти оставляются втуне, потому что Карпушка незаменим в хозяйстве Трифона Семеновича. Трифон Семенович, когда идет гулять, всегда берет с собою верного своего Карпа: и безопаснее и веселее. Карпушка носит в себе неистощимый источник разного рода рассказней, прибауток, побасенок и обладает неумением молчать. Он всегда рассказывает что-нибудь и молчит только тогда, когда слушает что-нибудь интересное. В описываемое утро шел он позади своего барина и рассказывал ему длинную историю о

¹⁴ ...душа его с особенною жадностью вкушала сладкий сон. – Видоизмененная цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Поэт».

том, как какие-то два гимназиста в белых картузах ехали с ружьями мимо сада и умоляли его, Карпушку, пустить их в сад поохотиться, как прельщали его эти два гимназиста полтинником, и как он, очень хорошо зная, кому служит, с негодованием отверг полтинник и спустил на гимназистов Каштана и Серка. Кончив эту историю, он начал было в ярких красках изображать возмутительный образ жизни деревенского фельдшера, но изображение не удалось, потому что до ушей Карпушки из чащи яблонь и груш донесся подозрительный шорох. Услышав шорох, Карпушка удержал свой язык, навострил уши и стал прислушиваться. Убедившись в том, что шорох есть и что этот шорох подозрителен, он дернул своего барина за полу и стрелой помчался по направлению к шороху. Трифон Семенович, предчувствуя скандалчик, встрепенулся, засеменил своими старческими ножками и побежал вслед за Карпушкой. И было зачем бежать...

На окраине сада, под старой ветвистой яблоней, стояла крестьянская девка и жевала; подле нее на коленях ползал молодой широкоплечий парень и собирал на земле сбитые ветром яблоки; незрелые он бросал в кусты, а спелые любовно подносил на широкой серой ладони своей Дульцинее. Дульцинея, по-видимому, не боялась за свой желудок и ела яблочки не переставая и с большим аппетитом, а парень, ползая и собирая, совершенно забыл про себя и имел в виду исключительно одну только Дульцинею.

– Да ты с дерева сорви! – подзадоривала шёпотом девка.

– Страшно.

– Чего страшно?! Опришник, небось, в кабаке...

Парень приподнялся, подпрыгнул, сорвал с дерева одно яблоко и подал его девке. Но парню и его девке, как и древле Адаму и Еве, не посчастливилось с этим яблочком. Только что девка откусила кусочек и подала этот кусочек парню, только что они оба почувствовали на языках своих жестокую кислоту, как лица их искривились, потом вытянулись, побледнели... не потому, что яблоко было кисло, а потому, что они увидели перед собою строгую физиономию Трифона Семеновича и злорадно ухмыляющуюся рожицу Карпушки.

– Здравствуйте, голубчики! – сказал Трифон Семенович, подходя к ним. – Что, яблочки кушаете? Я, бывает, вам не помешал?

Парень снял шапку и опустил голову. Девка начала рассматривать свой передник.

– Ну, как твое здоровье, Григорий? – обратился Трифон Семенович к парню. – Как живешь-можешь, паренек?

– Я только один, – пробормотал парень, – да и то с земли...

– Ну, а твое как здоровье, дуся? – спросил Трифон Семенович девуку.

Девка еще усерднее принялась за обзор своего передника.

– Ну, а свадьбы вашей еще не было?

– Нет еще.. Да мы, барин, ей-богу, только один, да и то... так...

– Хорошо, хорошо. Молодец. Ты читать умеешь?

– Не... Да ей-богу ж, барин, мы только вот один, да и то с земли.

– Читать ты не умеешь, а воровать умеешь. Что ж, и то слава богу. Знания за плечами не носить. А давно ты воровать начал?

– Да разве я воровал, што ли?

– Ну, а милая невеста твоя, – обратился к парню Карпушка, – чего это так жалостно призадумалась? Плохо любишь нешто?

– Молчи, Карп! – сказал Трифон Семенович. – А ну-ка, Григорий, расскажи нам сказку...

Григорий кашлянул и улыбнулся.

– Я, барин, сказок не знаю, – сказал он. – Да нешто мне яблоки ваши нужны, што ли? Коли я захочу, так и купить могу.

– Очень рад, милый, что у тебя денег много. Ну, расскажи же нам какую-нибудь сказку. Я послушаю, Карп послушает, вот твоя красавица-невеста послушает. Не конфузьясь, будь посмелей! Воровская душа должна быть смела. Не правда ли, мой друг?

И Трифон Семенович уставил свои ехидные глаза на попавшегося парня... У парня на лбу выступил пот.

– Вы, барин, заставьте-ка его лучше песню спеть. Где ему, дураку, сказки рассказывать? – продребезжал своим гаденьким тенорком Карпушка.

– Молчи, Карп, пусть сперва сказку расскажет. Ну, рассказывай же, милый!

– Не знаю.

– Неужели не знаешь? А воровать знаешь? Как читается восьмая заповедь?

– Да что вы меня спрашиваете? Разве я знаю? Да ей-богу-с, барин, мы только один яблоч съели, да и то с земли...

– Читай сказку!

Карпушка начал рвать крапиву. Парень очень хорошо знал, для чего это готовилась крапива. Трифон Семенович, подобно ему подобным, красиво самоуправничает. Вора он или запирает на сутки в погреб, или сечет крапивой, или же отпускает на свою волю, предварительно только раздев его донага... Это для вас ново? Но есть люди и места, для которых это обыденно и старо, как телега. Григорий косо посмотрел на крапиву, помялся, покашлял и начал не рассказывать сказку, а молоть сказку. Кряхтя, потея, кашляя, поминутно сморкаясь, начал он повествовать о том, как во время оно богатыри русские кощеев колотили да на красавицах женились. Трифон Семенович стоял, слушал и не спускал глаз с повествователя.

– Довольно! – сказал он, когда парень под конец уж совершенно замолелся и понес чепуху. – Славно рассказываешь, но воруешь еще лучше. А ну-ка ты, красавица... – обратился он к девке, – прочти-ка «Отче наш»!

Красавица покраснела и едва слышно, чуть дыша, прочла

«Отче наш».

– Ну, а как же читается восьмая заповедь?

– Да вы думаете, мы много брали, што ли? – ответил парень и отчаянно махнул рукой. – Вот вам крест, коли не верите!..

– Плохо, родимые, что вы заповедей не знаете. Надо вас поучить. Красавица, это он тебя научил воровать? Чего же ты молчишь, херувимчик? Ты должна отвечать. Говори же! Молчишь? Молчание – знак согласия. Ну, красавица, бей же своего красавца за то, что он тебя воровать научил!

– Не стану, – прошептала девка.

– Побей немножко. Дураков надо учить. Побей его, моя дуся! Не хочешь? Ну, так я прикажу Карпу да Матвею тебя немножко крапивой... Не хочешь?

– Не стану.

– Карп, подойди сюда!

Девка опрометью подлетела к парню и дала ему пощечину. Парень преглупо улыбнулся и заплакал.

– Молодец, красавица! А ну-ка еще за волоса! Возьми-ка, моя дуся! Не хочешь? Карп, подойди сюда!

Девка взяла своего жениха за волосы.

– Ты не держись, ему так больней! Ты потаскай его!

Девка начала таскать. Карпушка обезумел от восторга, заливался и дребезжал.

– Довольно, – сказал Трифон Семенович. – Спасибо тебе, дуся, за то, что зло покарала. А ну-ка, – обратился он к пар-

ню, – поучи-ка свою молодайку... То она тебя, а теперь ты ее...

– Выдумываете, барин, ей-богу... За что я ее буду бить?

– Как за что? Ведь она тебя била? И ты ее побей! Это ей принесет свою пользу. Не хочешь? Напрасно. Карп, крикни Матвея!

Парень плюнул, крякнул, взял в кулак косу своей невесты и начал карать зло. Карая зло, он, незаметно для самого себя, пришел в экстаз, увлекся и забыл, что он бьет не Трифона Семеновича, а свою невесту. Девка заголосила. Долго он ее бил. Не знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы из-за кустов не выскочила хорошенькая дочка Трифона Семеновича, Сашенька.

– Папочка, иди чай пить! – крикнула Сашенька и, увидав папочкину выходку, звонко захохотала.

– Довольно! – сказал Трифон Семенович. – Можете теперь идти, голубчики. Прощайте! К свадьбе яблочков пришло.

И Трифон Семенович низко поклонился наказанным.

Парень и девка оправились и пошли. Парень пошел направо, а девка налево и... по сей день более не встречались. А не явись Сашенька, парню и девке, чего доброго, пришлось бы попробовать и крапивы... Вот как забавляет себя на старости лет Трифон Семенович. И семейка его тоже недалеко ушла от него. Его дочери имеют обыкновение гостям «низкого звания» пришивать к шапкам луковицы, а пьяным гостям того же звания – писать на спинах мелом крупными буквами:

«асел» и «дурак». Сыночек же его, отставной подпоручик, Митя, как-то зимою превзошел и самого папашу: он вкупе с Карпушкой вымазал дегтем ворота одного отставного солдата за то, что этот солдатик не захотел Мите подарить волчонка, и за то, что этот солдатик вооружает якобы своих дочек против пряников и конфет господина отставного подпоручика...

Называй после этого Трифона Семеновича – Трифоном Семеновичем!

Перед свадьбой

В четверг на прошлой неделе девица Подзатылкина в доме своих почтенных родителей была объявлена невестой коллежского регистратора Назарьева. Сговор сошел как нельзя лучше. Выпито было две бутылки ланинского шампанского, полтора ведра водки; барышни выпили бутылку лафита. Папаши и мамы жениха и невесты плакали вовремя, жених и невеста целовались охотно; гимназист восьмого класса произнес тост со словами: «O tempora, o mores!»¹⁵ и «Salvete, boni futuri conjuges!»¹⁶ – произнес с шиком; рыжий Ванька Смыслomalов, в ожидании вынуждения жребия ровно ничего не делающий, в самый подходящий момент, в «самый раз» ударился в страшный трагизм, взъерошил волосы на своей большой голове, трахнул кулаком себя по колену и воскликнул: «Чёрт возьми, я любил и люблю ее!», чем и доставил невыразимое удовольствие девицам.

Девица Подзатылкина замечательна только тем, что ничем не замечательна. Ума ее никто не видал и не знает, а потому о нем – ни слова. Наружность у нее самая обыкновенная: нос папашин, подбородок мамашин, глаза кошачьи, бюстик посредственный. Играть на фортепьяне умеет, но без нот; мамаше на кухне помогает, без корсета не ходит, пост-

¹⁵ «О времена, о нравы!» (лат.)

¹⁶ «Да здравствуют будущие добрые супруги!» (лат.)

ного кушать не может, в уразумении буквы «?» видит начало и конец всех премудростей и больше всего на свете любит статных мужчин и имя «Роланд».

Господин Назарьев – мужчина роста среднего, лицо имеет белое, ничего не выражающее, волосы курчавые, затылок плоский. Где-то служит, жалованье получает тщедушное, едва на табак хватяющее; вечно пахнет яичным мылом и карболкой, считает себя страшным волокитой, говорит громко, день и ночь удивляется; когда говорит – брызжет. Франтит, на родителей смотрит свысока и ни одну барышню не пропустит, чтобы не сказать ей: «Как вы наивны! Вы бы читали литературу!» Любит больше всего на свете свой почерк, журнал «Развлечение»¹⁷ и сапоги со скрипом, а наиболее всего самого себя, и в особенности в ту минуту, когда сидит в обществе девиц, пьет чай внакладку и с остервенением отрицает чертей.

Вот каковы девица Подзатылкина и господин Назарьев!

На другой день после сговора, утром, девица Подзатылкина, восстав от сна, была позвана кухаркой к мамаше. Мамаша, лежа на кровати, прочла ей следующую нотацию:

– С какой это стати ты нарядилась сегодня в шерстяное платье? Могла бы нонче и в барежевом походить. Голова-то как болит, ужась! Вчера лысая образина, твой отец то есть, изволил пошутить. Нужны мне его шутки дурацкие! Подносит это мне что-то в рюмке... «Выпей», говорит. Думала,

¹⁷ «Да здравствуют будущие добрые супруги!» (лат.)

что в рюмке вино, – ну, и выпила, а в рюмке-то был уксус с маслом из-под селедок. Это он пошутил, пьяная образина! Срамить только, слюнявый, умеет! Меня сильно изумляет и удивляет, что ты вчера веселая была и не плакала. Чему рада была? Деньги нашла, что ли? Удивляюсь! Всякий и подумал, что ты рада родительский дом оставить. Оно, должно быть, так и выходит. Что? Любовь? Какая там любовь? И во все ты не по любви идешь за своего, а так, за чином его погналась! Что, разве неправда? То-то, что правда. А мне, мать моя, твой не нравится. Уж больно занослив и горделив. Ты его осади... Что-о-о-о? И не думай!.. Через месяц же драться будете: и он таковский, и ты таковская. Замужество только девицам одним нравится, а в нем ничего нет хорошего. Сама испытала, знаю. Поживешь – узнаешь. Не вертись так, у меня и без того голова кружится. Мужчины все дураки, с ними жить не очень-то сладко. И твой тоже дурак, хоть и высоко голову держит. Ты его не больно-то слушайся, не потакай ему во всем и не очень-то уважай: не за что. Обо всем мать спрашивай. Чуть что случится, так и иди ко мне. Сама без матери ничего не делай, боже тебя сохрани! Муж ничего доброго не посоветует, добру не научит, а всё норовит в свою пользу. Ты это знай! Отца также не больно слушай. К себе в дом не приглашай жить, а то ты, пожалуй, чего доброго, слудру... и ляпнешь. Он так и норовит с вас стянуть что-нибудь. Будет у вас сидеть по целым дням, а на что он вам сдался? Водки будет просить да мужнин табак курить. Он скверный

и вредный человек, хоть и отец тебе. Лицо-то у него, негодника, доброе, ну, а душа зато страсть какая ехидная! Занимать денег станет – не давайте, потому что он жулик, хоть он и тютюлярный советник. Вон он кричит, тебя зовет! Ступай к нему, да не говори ему того, что я тебе сейчас про него говорила. А то сейчас пристанет, изверг рода христианского, горой его положь! Ступай, покедова у меня сердце на месте!.. Враги вы мои! Умру, так попомните слова мои! Мучители!

Девушка Подзатылкина оставила мать свою и отправилась к папаше, который сидел в это время у себя на кровати и посыпал свою подушку персидским порошком.

– Дочь моя! – сказал ей папаша. – Я очень рад, что ты намерена сочетаться с таким умным господином, как господин Назарьев. Очень рад и вполне одобряю сей брак. Выходи, дочь моя, и не страшись! Брак это такой торжественный факт, что... ну, да что там говорить? Живи, плодись и размножайся. Бог тебя благословит! Я... я... плачу. Впрочем, слезы ни к чему не ведут. Что такое слезы человеческие? Одна только малодушная психиатрия и больше ничего! Выслушай же, дочь моя, совет мой! Не забывай родителей своих! Муж для тебя не будет лучше родителей, право, не будет! Мужу нравится одна только твоя материальная красота, а нам ты вся нравишься. За что тебя будет любить муж твой? За характер? За доброту? За эмблему чувств? Нет-с! Он будет любить тебя за приданое твое. Ведь мы даем за тобой, душенька, не копейку какую-нибудь, а ровно тысячу

рублей! Ты это понять должна! Господин Назарьев весьма хороший господин, но ты его не уважай паче отца. Он прилепится к тебе, но не будет истинным другом твоим. Будут моменты, когда он... Нет, умолчу лучше, дочь моя! Мать, душенька, слушай, но с осторожностью. Женщина она добрая, но двулично-вольнодумствующая, легкомысленная, жеманственная. Она благородная, честная особа, но... шут с ней! Она тебе того посоветовать не может, что советует тебе отец твой, бытия твоего виновник. В дом свой ее не бери. Мужья тещей не обожают. Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки, отчего выходили весьма презентабельные проферансы. Подпоручик Зюмбумбунчиков военным судом за тещу судился. Разве не помнишь сего факта? Впрочем, тебя еще тогда на свете не существовало. Главное во всем и везде отец. Это ты знай и одного его только и слушай. Потом, дочь моя... Европейская цивилизация породила в женском сословии ту оппозицию, что будто бы чем больше детей у особы, тем хуже. Ложь! Баллада! Чем больше у родителей детей, тем лучше. Впрочем, нет! Не то! Совсем наоборот! Я ошибся, душенька. Чем меньше детей, тем лучше. Это я вчера читал в одной журналистике. Какой-то Мальтус сочинил. Так-то... Кто-то подъехал... Ба! Да это жених твой! С шиком, канашка, шельмец этакой! Ай да мужчина! Настоящий Вальтер Скотт! Пойди, душенька, прими его, а я пока оденусь.

Прикатил господин Назарьев. Невеста встретила его и сказала:

– Прошу садиться без церемоний!

Он шаркнул два раза правой ногой и сел возле невесты.

– Как вы поживаете? – начал он с обычную развязностью. – Как вам спалось? А я, знаете ли, всю ночь напролет не спал. Зола читал да о вас мечтал. Вы читали Зола? Неужели нет? Ай-я-яй! Да это преступление! Мне один чиновник дал. Шикарно пишет! Я вам прочитать дам. Ах! Когда бы вы могли понять! Я такие чувствую чувства, каких вы никогда не чувствовали! Позвольте вас чмокнуть!

Господин Назарьев привстал и поцеловал нижнюю губу девицы Подзатылкиной.

– А где ваши? – продолжал он еще развязнее. – Мне их повидать надо. Я на них, признаться, немножко сердит. Они меня здорово надули. Вы заметьте... Ваш папаша говорили мне, что оне надворный советник, а оказывается теперь, что оне всего только титулярный. Гм!.. Разве так можно? Потом-с... Оне обещали дать за вами полторы тысячи, а маменька ваша вчера сказали мне, что больше тысячи я не получу. Разве это не свинство? Черкесы кровожадный народ, да и то так не делают. Я не позволю себя надувать! Всё делай, но самолюбия и самозабвения моих не трогай! Это не гуманно! Это не рационально! Я честный человек, а потому не люблю нечестных! У меня всё можно, но не хитри, не язви, а делай так, как совесть у человека! Так-то! У них и лица

какие-то невежественные! Что это за лица? Это не лица! Вы меня извините, но родственных чувств я к ним не чувствую. Вот как повенчаемся, так мы их приструним. Нахальства и варварства не люблю! Я хоть и не скептик и не циник, а все-таки в образовании толк понимаю. Мы их приструним! Мои родители у меня давно уж ни гу-гу. Что, вы уж пили кофей? Нет? Ну, так и я с вами напьюсь. Пойдите мне на папироску принесите, а то я свой табак дома забыл.

Невеста вышла.

Это перед свадьбой... А что будет после свадьбы, я полагаю, известно не одним только пророкам да сомнамбулам.

По-американски

Имея сильнейшее поползновение вступить в самый законнейший брак и памятуя, что никакой брак без особы полагенского не обходится, я имею честь, счастье и удовольствие покорнейше просить вдов и девиц обратить свое благосклонное внимание на нижеследующее:

Я мужчина – это прежде всего. Это очень важно для бабынь, разумеется. 2 аршина 8 вершков роста. Молод. До пожилых лет мне далеко, как кулику до Петрова дня. Знатен. Некрасив, но и недурен, и настолько недурен, что неоднократно в темноте по ошибке за красавца принимаем был. Глаза имею карие. На щеках (увы!) ямочек не имеется. Два коренных зуба попорчены. Элегантными манерами похвалиться не могу, но в крепости мышц своих никому сомневаться не позволю. Перчатки ношу № 7¾. Кроме бедных, но благородных родителей, ничего не имею. Впрочем, имею блестящую будущность. Большой любитель хороших вообще и горничных в особенности. Верю во всё. Занимаюсь литературой и настолько удачно, что редко проливаю слезы над почтовым ящиком «Стрекозы». Имею в будущем написать роман, в котором главной героиней (прекрасной грешницей) будет моя супруга. Сплю 12 часов в сутки. Ем варварски много. Водку пью только в компании. Имею хорошее знакомство. Знаком с двумя литераторами, одним

стихотворцем и двумя дармоедами, поучающими человечество на страницах «Русской газеты».¹⁸ Любимые мои поэты Пушкирев и иногда я сам.¹⁹ Влюбчив и не ревнив. Хочу жениться по причинам, известным одному только мне да моим кредиторам. Вот каков я! А вот какова должна быть и моя невеста:

Вдова или девица (это как ей угодно будет) не старше 30 и не моложе 15 лет. Не католичка, т. е. знающая, что на свете нет непогрешимых, и во всяком случае не еврейка. Еврейка всегда будет спрашивать: «А почему ты за строчку пишешь? А отчего ты к папыньке не ходил, он бы тебя наживать деньги научил?», а я этого не люблю. Блондинка с голубыми глазами и (пожалуйста, если можно) с черными бровями. Не бледна, не красна, не худа, не полна, не высока, не низка, симпатична, не одержима бесами, не стрижена, не болтлива и домоседка. Она должна:

Иметь хороший почерк, потому что я нуждаюсь в пере-

¹⁸ ...поучающими человечество на страницах «Русской газеты». – «Политическая, общественная, экономическая и литературная Русская газета» выходила в Москве в 1877—1882 гг. В 1880 г. редакторами-издателями этого монархического органа были И. И. Смирнов, Н. И. Пастухов, И. М. Желтов, А. А. Александровский.

¹⁹ *Любимые мои поэты Пушкирев и иногда я сам.* – Стихи Николая Лукича Пушкирева (1841—1906) печатались преимущественно в издававшихся им журналах – «Свет и тени» и «Мирской толк». Позднее Чехов сотрудничал в изданиях Пушкирева и был дружен с ним; 25 декабря 1882 г., советуя брату Александру обращаться в редакцию «Мирского толка» через него, Чехов писал: «Кумовство важный двигатель, а я кум».

писчице. Работы по переписке мало.

Любить журналы, в которых я сотрудничаю, и в жизни своей направления оных придерживаться.

Не читать «Развлечения», «Еженедельного Нового времени», «Нана», не умиляться передовыми статьями «Московских ведомостей» и не падать в обморок от таковых же статей «Берега».²⁰

Уметь: петь, плясать, читать, писать, варить, жарить, поджаривать, нежничать, печь (но не распекать), занимать мужу деньги, со вкусом одеваться на *собственные средства* (NB) и жить в абсолютном послушании.

Не уметь: зудеть, шипеть, пищать, кричать, кусаться, скалить зубы, бить посуду и делать глазки друзьям дома.

Помнить, что рога не служат украшением человека и что чем короче они, тем лучше и безопаснее для того, которому с удовольствием будет заплачено за рога.

²⁰ Не читать «Развлечения», «Еженедельного Нового времени», «Нана»... «Московских ведомостей» ~ «Берега». – О журнале «Развлечение» см. на стр. 564. «Еженедельное Новое время» – «литературно-научный журнал» – выходил в Петербурге в 1879—1881 гг. Издатель – А. С. Суворин, редактор – М. П. Федоров. В журнале печатались исторические романы Д. Л. Мордовцева, стихи и проза К. К. Случевского, переводы Э. Гонкура, А. Дюма-сына, Э. Золя. По своему направлению журнал был близок к реакционной газете Суворина «Новое время». Роман Э. Золя «Нана», вышедший в 1880 г., в том же году был переведен в России. Редактором «Московских ведомостей» был (с 1863 г.) М. Н. Катков; при нем газета стала трибуной реакции и откровенных политических доносов. Ежедневная политическая и литературная газета «Берег» выходила в Петербурге в 1880 г. под редакцией П. П. Цитовича. Этот консервативный орган субсидировался правительством и пропагандировал политику К. П. Победоносцева.

Не называться Матреной, Акулиной, Авдотьей и другими сим подобными вульгарными именами, а называться как-нибудь поблагороднее (например, Олей, Леночкой, Маруськой, Катей, Липой и т. п.).

Иметь свою маменьку, сиречь мою глубокоуважаемую тещу, от себя за тридевять земель (а то, в противном случае, за себя не ручаюсь) и

Иметь minimum 200 000 рублей серебром.

Впрочем, последний пункт можно изменить, если это будет угодно моим кредиторам.

Жены артистов

(Перевод... с португальского)

Свободнейший гражданин столичного города Лиссабона, Альфонсо Зинзага, молодой романист, столь известный... только самому себе и подающий великие надежды... тоже самому себе, утомленный целодневным хождением по бульварам и редакциям и голодный, как самая голодная собака, пришел к себе домой. Обитал он в 147 номере гостиницы, известной в одном из его романов под именем гостиницы «Ядовитого лебедя». Вошедши в 147 номер, он окинул взглядом свое коротенькое, узенькое и невысокое жилище, покрутил носом и зажег свечу, после чего взорам его представилась умильная картина. Среди массы бумаг, книг, прошлогодних газет, ветхих стульев, сапог, халатов, кинжалов и колпаков, на маленькой, обитой сизым коленкором кушетке спала его хорошенькая жена, Амаранта. Умиленный Зинзага подошел к ней и, после некоторого размышления, дернул ее за руку. Она не просыпалась. Он дернул ее за другую руку. Она глубоко вздохнула, но не проснулась. Он хлопал ее по плечу, постукал пальцем по ее мраморному лбу, потрогал за башмак, рванул за платье, чхнул на всю гостиницу, а она... даже и не пошевелилась.

«Вот спит-то! – подумал Зинзага. – Что за чёрт? Не приняла ли она яду? Моя неудача с последним романом могла

сильно повлиять на нее...»

И Зинзага, сделав большие глаза, потряс кушетку. С Амаранты медленно сползла какая-то книга и, шелестя, шлепнулась об пол. Романист поднял книгу, раскрыл ее, взглянул и побледнел. Это была не какая-то и отнюдь не какая-нибудь книга, а его последний роман, напечатанный на средства графа дон Барабанта-Алимонда, – роман «Колесование в Санкт-Московске сорока четырех двадцатиженцев», роман, как видите, из русской, значит самой интересной жизни – и вдруг...

– Она уснула, читая мой роман!?! – прошептал Зинзага. – Какое неуважение к изданию графа Барабанта-Алимонда и к трудам Альфонсо Зинзаги, давшего ей славное имя Зинзаги!

– Женщина! – гаркнул Зинзага во всё свое португальское горло и стукнул кулаком о край кушетки.

Амаранта глубоко вздохнула, открыла свои черные глаза и улыбнулась.

– Это ты, Альфонсо? – сказала она, протягивая руки.

– Да, это я!.. Ты спишь? Ты... спишь?.. – забормотал Альфонсо, садясь на дрябло-хилый стул. – Что ты делала перед тем, как уснула?

– Ходила к матери просить денег.

– А потом?

– Читала твой роман.

– И уснула? Говори! И уснула?

– И уснула... Ну, чего сердиться, Альфонсо?

– Я не сержусь, но мне кажется оскорбительным, что ты так легкомысленно относишься к тому, что если еще и не дало, то даст мне славу! Ты уснула, потому что читала мой роман! Я так понимаю этот сон!

– Полно, Альфонсо! Твой роман я читала с большим наслаждением... Я приковалась к твоему роману. Я... я... Меня особенно поразила сцена, где молодой писатель, Альфонсо Зензегга, застреливается из пистолета...

– Эта сцена не из этого романа, а из «Тысячи огней»!

– Да? Так какая же сцена поразила меня в этом романе? Ах, да... Я плакала на том месте, где русский маркиз Иван Иванович бросается из ее окна в реку... реку... Волгу.

– Ааааа... Гм!

– И утопает, благословляя виконтессу Ксению Петровну... Я была поражена...

– Почему же ты уснула, если была поражена?

– Мне так хотелось спать! Я ведь всю ночь прошлую не спала. Всю ночь напролет ты был так мил, что читал мне свой новый, хороший роман, а удовольствие слушать тебя я не могла променять на сон...

– Аааа... Гм... Понимаю! Дай мне есть!

– А разве ты еще не обедал?

– Нет.

– Ты же, уходя утром, сказал мне, что будешь сегодня обедать у редактора «Лиссабонских губернских ведомостей»?

– Да, я полагал, что мое стихотворение будет помещено в

этих «Ведомостях», чтобы чёрт их взял!

– Неужели же не помещено?

– Нет...

– Это несчастье! С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов! И ты голоден?

– Голоден.

– Бедняжка Альфонсо! И денег у тебя нет?

– Гм... Что за вопрос?! Ничего нет поесть?

– Нет, мой друг! Мать меня только покормила, а денег мне не дала.

– Гм...

Стул затрещал. Зинзага поднялся и зашагал... Пошагав немного и подумав, он почувствовал сильнейшее желание во что бы то ни стало убедить себя в том, что голод есть малодушие, что человек создан для борьбы с природой, что не единым хлебом сыт будет человек, что тот не артист, кто не голоден, и т. д., и, наверное, убедил бы себя, если бы, размышляя, не вспомнил, что рядом с ним, в 148 номере «Ядовитого лебеда», обитает художник-жанрист, итальянец, Франческо Бутронца, человек талантливый, кое-кому известный и, что так немаловажно под луной, обладающий умением, которого никогда не знал за собой Зинзага, – ежедневно обедать.

– Пойду к нему! – решил Зинзага и отправился к соседу.

Вошедши в 148 номер, Зинзага увидел сцену, которая привела его в восторг, как романиста, и ущемила за сердце, как голодного. Надежда пообедать в обществе Франческо

Бутронца канула в воду, когда романист среди рамок, подрамников, безруких манекенов, мольбертов и стульев, увешанных полинялыми костюмами всех родов и веков, усмотрел своего друга, Франческо Бутронца... Франческо Бутронца, в шляпе à la Vandic и в костюме Петра Амьенского, стоял на табурете, неистово махал муштабелем и гремел. Он был более чем ужасен. Одна нога его стояла на табурете, другая на столе. Лицо его горело, глаза блестели, эспаньолка дрожала, волосы его стояли дыбом и каждую минуту, казалось, готовы были поднять его шляпу на воздух. В углу, прижавшись к статуе, изображающей безрукого, безносого, с большим угловатым отверстием на груди Аполлона, стояла жена горячего Франческо Бутронца, немочка Каролина, и с ужасом смотрела на лампу. Она была бледна и дрожала всем телом.

– Варвары! – гремел Бутронца. – Вы не любите, а души-те искусство, чтобы чёрт вас взял! И я мог жениться на тебе, немецкая холодная кровь?! И я мог, глупец, свободно, как ветер, человека, орла, серну, одним словом, артиста, привязать к этому куску льда, сотканному из предрассудков и мелочей... Diabolo!!!²¹ Ты – лед! Ты – деревянная, каменная говядина! Ты... ты дура! Плачь, несчастная, переваренная немецкая колбаса! Муж твой – артист, а не торгаш! Плачь, пивная бутылка! Это вы, Зинзага? Не уходите! Подождите! Я рад, что вы пришли... Посмотрите на эту женщину!

²¹ Дьявол! (исп.)

И Бутронца левой ногой указал на Каролину. Каролина заплакала.

– Полноте! – начал Зинзага. – Что вы ссоритесь, дон Бутронца? Что сделала вам донна Бутронца? Зачем вы доводите ее до слез? вспомните вашу великую родину, дон Бутронца, вашу родину, страну, в которой поклонение красоте тесно связано с поклонением женщине! вспомните!

– Я возмущен! – закричал Бутронца. – Вы войдите в мое положение! Я, как вам известно, принялся по предложению графа Барабанта-Алимонда за грандиозную картину... Граф просил меня изобразить ветхозаветную Сусанну... Я прошу ее, вот эту толстую немку, раздеться и стать мне на натуру, прошу с самого утра, ползаю на коленях, выхожу из себя, а она не хочет! Вы войдите в мое положение! Могу ли я писать без натуры?

– Я не могу! – зарыдала Каролина. – Ведь это неприлично!

– Видите? Видите? Это – оправдание, чёрт возьми?

– Я не могу! Честное слово, не могу! Велит мне раздеться да еще стать у окошка...

– Мне так нужно! Я хочу изобразить Сусанну при лунном свете! Лунный свет падает ей на грудь... Свет от факелов сбежавшихся фарисеев бьет ей в спину... Игра цветов! Я не могу иначе!

– Ради искусства, донна, – сказал Зинзага, – вы должны забыть не только стыдливость, но и все... чувства!..

– Не могу же я пересилить себя, дон Зинзага! Не могу же

я стать у окна напоказ!

– Напоказ... Право, можно подумать, донна Бутронца, что вы боитесь глаз толпы, которая, так сказать, если смотреть на нее... Точка зрения искусства и разума, донна... такова, что...

И Зинзага сказал что-то такое, чего умному человеку нельзя ни в сказке сказать, ни пером написать, – что-то весьма приличное, но крайне непонятное.

Каролина замахала руками и забегала по комнате, как бы боясь, чтобы ее насильно не раздели.

– Я мою его кисти, палитры и тряпки, я пачкаю свои платья о его картины, я хожу на уроки, чтобы прокормить его, я шью для него костюмы, я выношу запах конопляного масла, стою по целым дням на натуре, всё делаю, но... голый? голый? – не могу!!!

– Я разведусь с тобой, рыжеволосая гарпигия!²² – крикнул Бутронца.

– Куда же мне деваться? – ахнула Каролина. – Дай мне денег, чтобы я могла доехать до Берлина, откуда ты увез меня, тогда и разведись!

– Хорошо! Кончу Сусанну и отправлю тебя в твою Пруссию, страну тараканов, испорченных колбас и трихины! – крикнул Бутронца, незаметно для самого себя толкая локтем в грудь Зинзагу. – Ты не можешь быть моей женой, если

²² ...рыжеволосая гарпигия! – По-видимому, от гарпия. Гарпии по древнегреческому мифу – крылатые женщины-чудовища, демоны бури.

не можешь жертвовать собою для искусства! Ввввв... Ррр...
Диабло!

Каролина зарыдала, ухватилась за голову и опустилась на стул.

– Что ты делаешь? – заорал Бутронца. – Ты села на мою палитру!!

Каролина поднялась. Под ней действительно была палитра со свежеразведенными красками... О, боги! Зачем я не художник? Будь я художником, я дал бы Португалии великую картину! Зинзага махнул рукой и выскочил из 148 номера, радуясь, что он не художник, и скорбя всем сердцем, что он романист, которому не удалось пообедать у художника.

У дверей 147 номера его встретила бледная, встревоженная, дрожащая жилица 113 номера, жена будущего артиста королевских театров, Петра Петрученца-Петрурио.

– Что с вами? – спросил ее Зинзага.

– Ах, дон Зинзага! У нас несчастье! Что мне делать? Мой Петр ушибся!

– Как ушибся?

– Учился падать и ударился виском о сундук.

– Несчастный!

– Он умирает! Что мне делать?

– К доктору, донна!

– Но он не хочет доктора! Он не верит в медицину и к тому же... он всем докторам должен.

– В таком случае сходите в аптеку и купите свинцовой

примочки. Эта примочка очень помогает при ушибах.

– А сколько стоит эта примочка?

– Дешево, очень дешево, донна.

– Благодарю вас. Вы всегда были хорошим другом моего Петра! У нас осталось еще немного денег, которые выручил он на любительском спектакле у графа Барабанта-Алимонда... Не знаю, хватит ли?... Вы... вы не можете дать немного взаймы на эту оловянную примочку?

– Свинцовую, донна.

– Мы вам скоро отдадим.

– Не могу, донна. Я истратил свои последние деньги на покупку трех стоп бумаги.

– Прощайте!

– Будьте здоровы! – сказал Зинзага и поклонился.

Не успела отойти от него жена будущего артиста королевских театров, как он увидел пред собою жилищу 101 номера, супругу опереточного певца, будущего португальского Оффенбаха, виолончелиста и флейтиста Фердинанда Лай.

– Что вам угодно? – спросил он ее.

– Дон Зинзага, – сказала супруга певца и музыканта, ломая руки, – будьте так любезны, уймите моего буяна! Вы другого... Может быть, вам удастся остановить его. С самого утра бессовестный человек дерет горло и своим пением жить мне не дает! Ребенку спать нельзя, а меня он просто на клочки рвет своим баритоном! Ради бога, дон Зинзага! Мне соседней даже стыдно за него... Верите ли? И соседские дети не

спят по его милости. Пойдемте, пожалуйста! Может быть, вам удастся унять его как-нибудь.

– К вашим услугам, донна!

Зинзага подал жене певца и музыканта руку и отправился в 101 номер. В 101 номере между кроватью, занимающей половину, и колыбелью, занимающей четверть номера, стоял пюпитр. На пюпитре лежали пожелтевшие ноты, а в ноты глядел будущий португальский Оффенбах и пел. Трудно было сразу понять, что и как он пел. Только по вспотевшему, красному лицу его и по впечатлению, которое производил он на свои и чужие уши, можно было догадаться, что он пел и ужасно, и мучительно, и с остервенением. Видно было, что он пел и в то же время страдал. Он отбивал правой ногой и кулаком такт, причем поднимал высоко руку и ногу, постоянно сбивал с пюпитра ноты, вытягивал шею, щурил глаза, кривил рот, бил кулаком себя по животу... В колыбели лежал маленький человечек, который криком, визгом и писком аккомпанировал своему расходившемуся папаше.

– Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? – спросил Лая вошедший Зинзага.

Лай не слышал.

– Дон Лай, не пора ли вам отдохнуть? – повторил Зинзага.

– Уберите его отсюда! – пропел Лай и указал подбородком на колыбель.

– Что это вы разучиваете? – спросил Зинзага, стараясь перекричать Лая. – Что вы разу-чи-ва-ете?

Лай поперхнулся, замолк и уставил глаза на Зинзагу.

– Вам что угодно? – спросил он.

– Мне? Гм... Я... то есть... не пора ли вам отдохнуть?

– А вам какое дело?

– Но вы утомились, дон Лай! Что это вы разучиваете?

– Кантату, посвященную ее сиятельству графине Барабанта-Алимонда. Впрочем, вам какое дело?

– Но уже ночь... Пора, некоторым образом, спать...

– Я должен петь до десяти часов завтрашнего утра. Сон нам ничего не даст. Пусть спят те, кому угодно, а я для блага Португалии, а может быть и всего света, не должен спать.

– Но, мой друг, – вмешалась жена, – мне и ребенку нашему хочется спать! Ты так громко кричишь, что нет возможности не только спать, но даже сидеть в комнате!

– Коли захочешь, так заснешь!

Сказавши это, Лай ударил ногой такт и запел.

Зинзага заткнул уши и как сумасшедший выскочил из 101 номера. Пришедши в свой номер, он увидел умильную картину. Его Амаранта сидела за столом и переписывала начисто одну из его повестей. Из ее больших глаз капали на черновую тетрадку крупные слезы.

– Амаранта! – крикнул он, хватая жену за руку. – Неужели жалкий герой моей жалкой повести мог тронуть тебя до слез? Неужели, Амаранта?

– Нет, я плачу не над твоим героем...

– Чего же? – спросил разочарованный Зинзага.

– Моя подруга, жена твоего друга-скульптора, Софья Фердрабантеро-Неракруц-Розга, разбила статую, которую готовил ее муж для поднесения графу Барабанта-Алимонда, и... не перенесла горя мужа... Отравилась спичками!

– Несчастная... статуя! О, жены, чтобы чёрт вас взял, вместе с вашими всезацепляющими шлейфами! Она отравилась? Чёрт возьми, тема для романа!!! Впрочем, мелка!.. Всё смертно на этом свете, мой друг... Не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра, твоя подруга, всё одно, должна была умереть... Утри свои слезы и лучше, чем плакать, выслушай меня...

– Тема для нового романа? – спросила тихо Амаранта.

– Да...

– Не лучше ли будет, мой друг, если я выслушаю тебя завтра утром? Утром мозги свежей как-то...

– Нет, сегодня выслушай. Завтра мне будет некогда. Приехал в Лиссабон русский писатель Державин, и мне нужно будет завтра утром сделать ему визит. Он приехал вместе с твоим любимым... к сожалению, любимым, Виктором Гюго.

– Да?

– Да... Выслушай же меня!

Зинзага сел против Амаранты, откинул назад голову и начал:

– Место действия весь свет... Португалия, Испания, Франция, Россия, Бразилия и т. д. Герой в Лиссабоне узнаёт из газет о несчастьи с героиней в Нью-Йорке. Едет. Его хва-

тают пираты, подкупленные агентами Бисмарка. Героиня – агент Франции. В газетах намеки... Англичане. Секта поляков в Австрии и цыган в Индии. Интриги. Герой в тюрьме. Его хотят подкупить. Понимаешь? Далее...

Зинзага говорил увлекательно, горячо, махая руками, сверкая глазами... говорил долго, долго... ужасно долго!

Амаранта два раза засыпала и два раза просыпалась, на улицах потушили фонари и взошло солнце, а он всё говорил. Пробило шесть часов, желудок Амаранты ущемила тоска по утреннем чае, а он всё говорил.

– Бисмарк подает в отставку, и герой, не желая долее скрывать своего имени, называет себя Альфонсо Зунзуга и умирает в страшных муках. Тихий ангел уносит в голубое небо его тихую душу...

Так кончил Зинзага, когда пробило семь часов.

– Ну? – спросил он Амаранту. – Что скажешь? Не находишь ли ты, что сцену между Альфонсо и Марией не пропустит цензура? А?

– Нет, сценка мила!

– Вообще хорошо? Ты говори откровенно. Ты женщина, а большинство моих читателей – женщины, потому мне необходимо знать твое мнение.

– Как тебе сказать? Мне кажется, что я твоего героя где-то уже встречала, не помню только, где именно...

– Не может быть!

– Право. С твоим героем я встречалась в одном романе,

и, надо тебе сказать, в глупейшем романе! Когда читала этот роман, я удивлялась, как это могут печатать подобную чушь, а когда прочла его, то решила, что автор должен быть, по меньшей мере, глуп как пробка... Чушь печатают, а тебя мало печатают. Удивительно!

– Не припомнишь ли хотя название этого романа?

– Названия не помню, но имя героя помню. Это имя врезалось мне в память, потому что имеет в себе четыре «р» подряд... Глупое имя... Карррро!

– Не в романе ли «Сомнамбула среди океана»?

– Да, да, да, в этом самом. Как хорошо ты помнишь нашу литературу! В этом самом... Твой герой очень похож на Карррро, но твой, разумеется, умней. Что с тобой, Альфонсо?

Альфонсо вскочил.

– «Сомнамбула среди океана» – мой роман!!! – крикнул он.

Амаранта покраснела.

– Значит, это мой роман глупейший, мой? – крикнул он так громко, что даже у Амаранты заболело горло. – Ах, ты, безмозглая утка! Так-то вы, сударыня, смотрите на мои произведения? Так-то, ослица? Проговорились? Больше меня уж вы не увидите! Прощайте! Гм... бррр... идиотка! Мой роман глупейший?! Граф Барабанта-Алимонда знал, что издавал!

Бросив презрительный взгляд на жену, Зинзага нахлобу-

чил на глаза шляпу, хлопнул дверью и вышел из 147 номера.

Амаранта вздохнула, но не заплакала и в обморок не упала. Она знала, что Альфонсо Зинзага воротится в 147 номер, как бы сильно ни был сердит. Оставить навсегда 147 номер для романиста значит то же самое, что начать жить, а следовательно, и писать и иметь даровую переписчицу на лиссабонских бульварах, под голубым португальским небом. Это знала Амаранта и не сильно волновалась по уходе супруга. Она только вздохнула и принялась утешать себя. Обыкновенно после частых ссор с мужем она утешала себя чтением старого газетного листка, который хранился у нее в жестяной коробочке из-под монпансье, рядом с крошечной бутылочкой из-под духов. Старый газетный листок между объявлениями, телеграммами, политикой, хроникой и другими рук человеческих делами заключал в себе перл, известный в газетах под именем смеси. В этой смеси, под рассказом о том, как американец перехитрил американца и как известная певица мисс Дубадолла Свист съела бочку устриц и прошла, не замочив ботинок, Анды, помещался рассказец, весьма годный для утешения Амаранты и других жен артистов. Привожу дословно этот рассказ:

«Внимание португальцев и их дочерей. В одном из городов Америки, открытой Христофором Колумбом, человеком крайне энергичным и отважным, жил-был себе доктор Таннер. Этот Таннер был более артистом в своем роде, чем ученым, а потому известен земному шару и Португалии не

как ученый, а как артист в своем роде. Будучи американцем, он в то же самое время был и человеком, а если он был человеком, то рано или поздно он должен был влюбиться, что и сделал он однажды. Влюбился он в одну прекрасную американку, влюбился до безумия, как артист, влюбился до того, что однажды вместо aquae distillatae²³ прописал argentum nitricum²⁴, – влюбился, предложил руку и женился. Жил он с прекрасной американкой на первых порах весьма счастливо, так счастливо, что медовый месяц²⁵ тянулся, вопреки естеству этого месяца, не месяц, а шесть месяцев²⁶. Нет сомнения, что Таннер, будучи человеком ученым, а следовательно, и самым уживчивым, прожил бы с женой счастливо до самой могилы, если бы не усмотрел за нею одного страшного порока. Порок madame Таннер заключался в том, что она ела по-человечески. Этот порок жены кольнул Таннера в самое сердце. «Я перевоспитаю ее!» – задал он себе задачу и начал развивать m-me Таннер. Сперва отучил он ее завтракать и ужинать, потом чай пить. Через год после свадьбы m-me Таннер приготавливала к обеду уже не четыре, а только одно блюдо, через два же года после подписания свадебного контракта она умела уже довольствоваться баснословным коли-

²³ дистиллированной воды (лат.)

²⁴ ляпис (лат.)

²⁵ Медовый месяц меньше лунного. Содержит он в себе 20 дней, 5 часов, 15 минут, 16 секунд. – Примеч. переводчика.

²⁶ Невероятно! – Примеч. переводчика.

чувством пищи.

А именно, в одни сутки поела и выпивала она следующее количество питательных веществ:

1 gr. солей

5 gr. белковых веществ

2 gr. жира

7 gr. воды (дистиллированной)

1/23 gr. венгерского вина.

Итого 1 51/23 гран.

Газов мы не считаем, потому что наука еще не в состоянии точно определять количеств потребляемых нами газов. Таннер торжествовал, но недолго. На четвертый год его брачной жизни его начала терзать мысль, что m-me Таннер поедает много белковых веществ. Он еще с большей энергией принялся за дрессировку и, пожалуй, достиг бы сокращения 5 гран до одного или нуля, если бы не почувствовал, что он разлюбил свою жену. Будучи эстетиком, он не мог не разлюбить своей жены. M-me Таннер, вместо того, чтобы до глубокой старости быть американской красавицей, вздумала ни с того ни с сего обратиться в подобие американской щепки, лишиться своих прекрасных форм и умственных способностей, чем и показала, что она хотя и годится еще для дальнейших дрессировок, но стала уже совершенно негодной для супружеской жизни. D-r Таннер потребовал развода. Явились в его дом ученые эксперты, осмотрели со всех сторон m-me Таннер, посоветовали ей ехать на воды, делать гимнастику,

прописали ей диету и нашли требование своего уважаемого коллеги вполне законным. D-г Таннер дал своим коллегам-экспертам по доллару, угостил их хорошим завтраком и... с этих пор Таннер живет в одном месте, а жена его в другом. Печальная история! Женщины, как часто вы бываете причиной несчастий великих людей! Женщины, не вы ли виновницы того, что великие люди очень часто не оставляют после себя потомства? Португальцы, на вашей совести лежит воспитание ваших дочерей! Не делайте из ваших дочерей разорительниц домашних очагов и гнезд!! Мы кончили. Завтрашний номер, по случаю дня рождения редактора, не выйдет. Португальцы! Кто из вас не внес подписных денег сполна, тот пусть поспешит доплатить!»

– Бедная m-me Таннер! – прошептала Амаранта, пробежав этот рассказец. – Бедная! Как она несчастлива! О, как я счастлива сравнительно с нею! Как я счастлива!

Амаранта, обрадованная тем, что есть на этом свете люди несчастнее ее, старательно сложила газетный лист, положила его в коробочку и, радуясь, что она не m-me Таннер, разделась и легла спать.

Спала она до тех пор, пока не разбудил ее ужаснейший голод в лице Альфонсо Зинзаги.

– Я хочу есть! – сказал Зинзага. – Оденься, моя дорогая, и ступай к своей *madre* за деньгами. А *propos*²⁷: я извиняюсь перед тобой. Я был неправ. Я сейчас только узнал от русско-

²⁷ Кстати (*франц.*)

го писателя Державина, который приехал вместе с Лермантофф, другим русским писателем, что есть два романа, совершенно не похожие друг на друга и носящие одно и то же имя: «Сомнамбула среди океана». Иди, мой друг!

И Зинзага рассказал Амаранте, пока она одевалась, один случай, который он намерен описать, сказав между прочим, мимоходом, что описание этого, трогającego за душу и тело, случая потребует у нее некоторой жертвы.

– Жертва, мой друг, будет невелика! – сказал он. – Ты должна будешь писать это описание под мою диктовку, что отнимет у тебя не более семи-восьми часов, и переписать его начисто и между прочим, этак мимоходом, изложить на бумаге и свое мнение относительно всех моих произведений... Ты женщина, а большинство моих читателей составляют женщины...

Зинзага немножко солгал. Не большинство, а всех его читателей составляла одна только женщина, потому что Амаранта была не «женщины», а только всего «женщина».

– Согласна?

– Да, – сказала тихо Амаранта, побледнела и упала без чувств на растрепанный, вечно валяющийся, пыльный энциклопедический словарь...

– Удивительный народ эти женщины! – воскликнул Зинзага. – Прав был я, когда назвал женщину в «Тысяче огней» существом, которое вечно будет загадкой и удивлением для рода человеческого! Малейшая радость способна повалить

ее на пол! О, женские нервы!

И счастливый Зинзага опустился на колени перед несчастной Амарантой и поцеловал ее в лоб...

Такие-то дела, читательницы!

Знаете что, девицы и вдовы? Не выходите вы замуж за этих артистов! «Цур им и пек, этим артистам!», как говорят хохлы. Лучше, девицы и вдовы, жить где-нибудь в табачной лавочке или продавать гусей на базаре, чем жить в самом лучшем номере «Ядовитого лебедя», с самым лучшим протеже графа Барабанта-Алимонда.

Право, лучше!

Петров день

Наступило утро желанного, давно снившегося дня, наступило – урааа, господа охотники!! – 29-е июня... Наступил день, в который забываются долги, жучки, дорогие харчи, тещи и даже молодые жены, – день, в который г. уряднику, за-прещающему стрелять, можно показать двадцать кукишей...

Побледнели и затуманились звезды... Кое-где слышались голоса... Из деревенских труб повалил сизый, едкий дым. На серой колокольне показался не совсем еще проснувшийся пономарь и ударил к обедне... Слышалось храпенье растянувшегося под деревом ночного сторожа. Проснулись щуры, закопошились, залетали с одного конца сада на другой и подняли свое невыносимое, надоедливое чириканье... В терновнике запела иволга... Над людской кухней засуетились скворцы и удода... Начался даровой утренний концерт...

К развалившемуся, живописно обросшему колючей крапивой крыльцу дома отставного гвардии корнета Егора Егорыча Обтемперанского подъехали две тройки. В доме и во дворе поднялась страшная кутерьма. Всё живущее вокруг Егора Егорыча заходило, забегало и застучало по всем лестницам, сараям и конюшням... Переменили одного коренного. У кучеров слетели с голов картузы, у лакея, Катькина прихвостня, засиял под носом красный фонарь, кухарок

назвали «стервозами», послышалось имя сатаны и аггелов его... В пять минут тарантасы наполнились коврами, пологьями, кульками с провизией, ружейными чехлами.

– Готово-с! – пробасил Аввакум.

– Пожалуйте! Готово! – крикнул сладеньким голоском Егор Егорыч, и на крыльце показалась многочисленная публика. Первый вскочил в тарантас молодой доктор. За ним вполз архангельский мещанин Кузьма Больва, старичок в сапогах без каблуков, в рыжем цилиндре, с двадцатипятифунтовой двустволкой и с желто-зелеными пятнами на шее. Больва – плебей, но гг. помещики, из уважения к его преклонным летам (он родился в конце прошлого столетия) и уменью попадать в подброшенный двугривенный, не брезгают его плебейством и берут с собой на охоту.

– Пожалуйте, ваше превосходительство! – обратился Егор Егорыч к маленькому седому толстячку в белом со светлыми пуговицами кителе и с аннинским крестом на шее. – Подвиньтесь, доктор!

Отставной генерал крикнул, стал одной ногой на подножку и, поддерживаемый Егором Егорычем, толкнул животом доктора и грузно уселся возле Больвы. За генералом вскочили генеральский щенок Тщетный и легавый Егора Егорыча, Музыкант.

– М-м-м... того, братец... Ваня! – обратился генерал к своему племяннику, юноше-гимназисту с длинной одностволкой через спину. – Ты можешь сесть здесь, возле ме-

ня. Иди сюда! Н-да... Вот здесь. Не шали, мой друг! Лошадь может испугаться!

Пустив еще раз в нос коренному табачного дыма, Ваня вскочил в тарантас, отодвинул Большу от генерала и, повертевшись, сел. Егор Егорыч перекрестился и сел рядом с доктором. На козлах, рядом с Аввакумом, примостился длинный и сухой преподаватель математики и физики в Ваниной гимназии, г. Манже.

Первый тарантас наполнился. Началась нагрузка второго тарантаса.

– Готово! – крикнул Егор Егорыч, когда во второй тарантас, после долгих споров и беганья вокруг и около, поместились остальные восемь человек и три собаки.

– Готово! – крикнули гости.

– Ну? Итак, значит, трогать, ваше превосходительство? Господи благослови, – трогай, Аввакумка!

Первый тарантас покачулся и тронулся с места. Второй, вмещавший в себе самых ярых охотников, покачулся, отчаянно скрипнул, взял немного в сторону и, очутившись впереди первого, покатил к воротам. Охотники улыбнулись все разом и захлопали от восторга в ладоши. Все почувствовали себя на седьмом небе, но... злая судьба!.. не успели они выехать со двора, как случился скандал...

– Стой! Подожди! Стой!!! – раздался сзади троек пронзительный тенор.

Охотники оглянулись и побледнели. За тройками гнал-

ся невыносимейший в мире человек, известный всей губернии скандалист, брат Егора Егорыча, отставной капитан 2-го ранга Михай Егорыч... Он отчаянно махал руками. Тройки остановились.

– Что тебе? – спросил Егор Егорыч.

Михай Егорыч подбежал к тарантасу, стал на подножку и замахнулся на Егора Егорыча. Охотники зашумели.

– Что такое? – спросил покрасневший Егор Егорыч.

– То такое, – закричал Михай Егорыч, – что ты Иуда, скотина, свинья!.. Свинья, ваше превосходительство! Ты отчего не разбудил меня? Отчего ты не разбудил меня, осел, я тебя спрашиваю, подлеца этакого? Позвольте, господа... Я ничего... Я его только поучить хочу! Ты почему не разбудил меня? Не хочешь брать с собой? Я помешаю тебе? Напоил меня вчера вечером нарочно и думал, что я просплю до двенадцати часов! Каков молодец! Позвольте, ваше превосходительство... Я его только раз... смажу... Позвольте!

– Чего вы лезете? – крикнул генерал, растопыривая руки. – Разве не видите, что нет места? Вы уж слишком... позволяете...

– Напрасно ты бранишься, Михай, – сказал Егор Егорыч. – Я не разбудил тебя потому, что тебе незачем ехать с нами... Ты не умеешь стрелять. Зачем тебе ехать? Мешать? Ведь ты не умеешь стрелять!

– Не умею? Не умею я стрелять? – закричал Михай Егорыч так громко, что даже Больва заткнул уши. – Но, в таком

случае, за каким чёртом доктор едет! Он тоже не умеет стрелять! Он лучше меня стреляет?

– Он прав, господа, – сказал доктор. – Я не умею стрелять, не умею ружья даже держать... Я терпеть не могу стрельбы... Я не знаю, зачем вы берете меня с собой... За каким дьяволом? Пусть он садится на мое место! Я остаюсь!.. Есть место, Михей Егорыч!

– Слышишь, слышишь? Зачем же ты его берешь?

Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантаса. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз.

– Но... не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит... Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня... Я не в духе и могу неприятностей наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорыч! Садитесь на мое место, Михей Егорыч! Я спать пойду!

– Вы должны ехать, доктор! – сказал Егор Егорыч, не выпуская фалды. – Вы дали честное слово, что поедете!

– Это было вынужденное честное слово. Ну, для чего мне ехать, для чего?

– А для того, – запищал Михей Егорыч, – чтобы вы не остались с его женой! Вот для чего! Он ревнует к вам, доктор. Не езжайте, голубчик! Назло не езжайте! Ревнует, ей-богу ревнует!

Егор Егорыч густо покраснел и сжал кулаки.

– Эй, вы! – крикнули с другого тарантаса. – Михей Его-

рыч, будет вам ерундить! Идите сюда, нашлось место!

Михей Егорыч ехидно улыбнулся.

– А что, акула? – сказал он. – Чья взяла? Слышал? Нашлось место! Назло поеду! Поеду и буду мешать! Честное слово, буду мешать! Ни черта не убьешь! А вы, доктор, не езжайте. Пусть лопнет от ревности.

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками. Глаза его налились кровью.

– Негодяй! – сказал он, обращаясь к брату. – Ты не брат мне! Недаром прокляла тебя матушка покойница! Батюшка скончался во цвете лет чрез твое безнравственное поведение!

– Господа... – вмешался генерал. – Я полагаю... достаточно. Братья, рродные братья!

– Он родной осел, ваше превосходительство, а не брат! Не езжайте, доктор! Не езжайте!

– Трогай, чтобы чёрт побрал вас... А-а-а... Чёрт знает, что такое! Трогай! – крикнул генерал и ударил кулаком в спину Аввакума. – Тррогай!

Аввакум ударил по лошадям, и тройка тронулась с места. Во втором тарантасе писатель, капитан Кардамонов, взял себе на колени двух собак, а на их место усадил ретивого Михея Егорыча.

– Счастье его, что нашлось место! – сказал Михей Егорыч, усаживаясь в тарантасе, – а то бы я его... Опишите-ка этого разбойника, Кардамонов!

Кардамонов послал в прошлом году в «Ниву» статью под заглавием: «Интересный случай многоплодия среди крестьянского народонаселения», прочел в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.

Согласно предначертанному плану действий, решено было ехать прежде всего на крестьянский сенокос, находящийся в семи верстах от имения Егора Егорыча, – ехать на перепелов. Приехавши на сенокос, охотники вылезли из тарантасов и разделились на две группы. Одна группа, имея во главе генерала и Егора Егорыча, направилась направо; другая, с Кардамоновым во главе, пошла налево. Больва отстал и пошел сам по себе. На охоте он любил тишину и молчание. Музыкант с лаем побежал вперед и через минуту согнал перепела. Ваня выстрелил и не попал.

– Высоко взял, чёрт возьми! – проворчал он. Щенок Тщетный, взятый «приучаться», услышав первый раз в жизни выстрел, залаял и, поджав хвост, побежал к тарантасам. Манже выстрелил в жаворонка и попал.

– Нравится мне эта птичка! – сказал он, показывая доктору жаворонка.

– Проваливайте... – сказал тот. – Вообще я просил бы вас не беседовать со мною... Я сегодня не в духе. Отойдите от меня!

– Вы скептик, доктор!

– Я-то? Гм... А что значит скептик?

Манже задумался.

– Скептик значит человеко... человеко... нелюбец, – сказал он.

– Врете. Не употребляйте тех слов, которых вы не понимаете. Отойдите от меня! Я могу наделать неприятностей, сам того не желая... Я не в духе...

Музыкант сделал стойку. Генерал и Егор Егорыч побледили и притаили дыхание.

– Я выстрелю! – прошептал генерал. – Я... я... позвольте! Вы во второй раз уж того...

Но не удалась стойка. Доктор от нечего делать пустил камешком в Музыканта и попал между ушей... Музыкант взвизгнул и подскочил. Генерал и Егор Егорыч оглянулись. В траве послышался шорох и взлетел крупный стрепет. Во второй группе зашумели и указали на стрепета. Генерал, Манже и Ваня прицелились. Ваня выстрелил, у Манже осеклось... Поздно было! Стрепет полетел за курган и опустился в рожь.

– Полагаю, доктор, что... не время теперь шутить! – обратился генерал к доктору. – Не время-с!

– А?

– Не время теперь шутить.

– Я не шучу.

– Неловко, доктор! – заметил Егор Егорыч.

– Не брали бы... Кто вас просил брать меня? Впрочем... не желаю объясняться... Я не в духе сегодня...

Манже убил другого жаворонка. Ваня согнал молодого

грача, выстрелил и не попал.

– Высоко взял, чёрт возьми! – проворчал он.

Послышались два подряд выстрела: Больва уложил за курганом своей тяжелой двустволкой двух перепелов и положил их в карман. Егор Егорыч согнал перепела и выстрелил. Подстреленная перепелка упала в траву. Торжествующий Егор Егорыч поднял ее и поднес генералу.

– В крылышко, ваше превосходительство! Жива еще-с!

– Н-да... Жива... Надо предать скорой смерти.

Сказавши это, генерал поднес перепелку ко рту и клыками перегрыз ей горло. Манже убил третьего жаворонка. Музыкант сделал другую стойку. Генерал сбросил с головы фуражку, навел ружье... «Пиль!» Взлетел крупный перепел, но... мерзавец доктор торчал как раз в области выстрела, почти перед дулом!

– Прочь! – крикнул генерал.

Доктор отскочил, генерал выстрелил, и, разумеется, дробь опоздала.

– Это низко, молодой человек! – крикнул генерал.

– Что такое? – спросил доктор.

– Вы мешаете! Чёрт вас просит мешать! По вашей милости я промахнулся! Чёрт знает что такое – из рук вон!

– Да вы-то чего кричите? Пфф... не боюсь! Я генералов не боюсь, ваше превосходительство, а в особенности отставных. Потихе, пожалуйста!

– Удивительный человек! Ходит и мешает, ходит и меша-
ет, – ангел выйдет из терпения!

– Не кричите, пожалуйста, генерал! Кричите вот на Ман-
же! Он, кстати, боится генералов. Хорошему охотнику никто
не помешает. Скажите лучше, что стрелять не умеете!

– Довольно-с! Вам слово – вы десять... Ваничка, дай-ка
сюда пороховницу! – обратился генерал к Ване.

– Для чего ты пригласил на охоту этого бурбона? – спро-
сил доктор Егора Егорыча.

– Нельзя, брат! – ответил Егор Егорыч. – Нельзя было не
взять. Ведь я ему того... восемь тысяч... Э-хе-хе, братец! Не
будь этих проклятых долгов...

Егор Егорыч не договорил и махнул рукою.

– Правда, что ты ревнуешь?

Егор Егорыч отвернулся и прицелился в высоко летевше-
го коршуна.

– Ты его потерял, молокосос! – раздался громовый голос
генерала. – Ты потерял его! Он сто рублей стоит, поросенок!

Егор Егорыч подошел к генералу и осведомился, в чем
дело. Оказалось, что Ваня потерял генеральский патронташ.
Начались поиски за патронташем, и охота была прервана.
Поиски продолжались час с четвертью и увенчались успе-
хом. Нашедши патронташ, охотники сели отдохнуть.

Во второй группе перепелиная охота была тоже не совсем
удачна. В этой группе Михей Егорыч был тем же, чем док-
тор в первой, даже хуже. Он выбивал из рук ружья, бранил-

ся, бил собак, рассыпал порох, словом – выделял чёрт знает что... После неудачных выстрелов по перепелам, Кардамонов со своими собаками погнался за молодым коршуном. Коршуна подстрелили и не нашли. Капитан 2-го ранга убил камнем суслика.

– Господа, давайте анатомировать суслика! – предложил письмоводитель предводителя дворянства, Некричихвостов.

Охотники сели на траву, вынули перочинные ножи и занялись анатомией.

– Я в этом суслике ничего не нахожу, – сказал Некричихвостов, когда суслик был изрезан на мелкие кусочки. – Даже сердца нет. Вот кишки так есть. Знаете что, господа? Поедемте-ка на болота! Что мы тут можем убить? Перепела – не дичь; то ли дело кулички, бекасы... А? Едем!

Охотники поднялись и лениво направились к тарантасам. Приближаясь к тарантасам, они сделали залп по своим голубям и убили одного.

– Ваше превосход... Егорыгорч! Ваше... Егорч... – закричала вторая группа, увидев отдыхающую первую. – Ау, ау!

Генерал и Егор Егорыч оглянулись. Вторая группа замала фуражками.

– Зачем? – крикнул Егор Егорыч.

– Дело есть! Дрохву убили! Скорей сюда!

Первая группа дрохве не поверила, но к тарантасам пошла. Усевшись в тарантасы, охотники порешили оставить перепелов в покое и согласно маршруту проехать еще пять

верст – к болотам.

– Я ужасно горяч на охоте, – обратился генерал к доктору, когда тройки отъехали версты на две от сенокоса. – Ужасно! Отца родного не пощажу. Уж вы того... извините старику!

– Гм...

– Каким добряком, шельмец, стал! – шепнул Егор Егорыч доктору на ухо. – Что значит мода пошла дочек за докторов отдавать! Хитер его превосходительство! Хе-хе-хе...

– А просторней стало! – заметил Ваня.

– Да.

– Отчего бы это? Совсем просторно...

– Господа, а Больва где? – хватился Манже.

Охотники посмотрели друг на друга.

– Где Больва? – повторил Манже.

– Должно быть, на той тройке. Господа, – крикнул Егор Егорыч, – Больва с вами?

– Нет, нету! – крикнул Кардамонов.

Охотники задумались.

– Ну, чёрт с ним! – порешил генерал. – Не ворочаться же за ним!

– Надо бы, ваше превосходительство, воротиться. Слаб уж очень! Без воды умрет. Не дойдет.

– Захочет, так дойдет.

– Умрет старичок. Ведь ему девяносто!

– Пустяки.

Подъехав к болотам, наши охотники вытянули физионо-

мии... Болота были запружены охотниками, и вылезать из тарантасов поэтому не стоило. Немного подумав, охотники порешили проехать еще пять верст, к казенным лесам.

– Кого же вы там стрелять будете? – спросил доктор.

– Дроздов, орлиц... Ну, тетеревов.

– Так-с. Ну, а что поделявают теперь мои несчастные больные? И зачем вы меня взяли с собой, Егор Егорыч? Эх!

Доктор вздохнул и почесал затылок. Подъехав к первому попавшемуся леску, охотники повылезли из тарантасов и начали совещаться: кому идти направо и кому налево?

– Знаете что, господа? – предложил Некричихвостов. – В силу того закона, так сказать, в некотором роде природы, что дичь от нас не уйдет... Гм... Дичь от нас не уйдет, господа! Давайте-ка прежде всего подкрепимся! Винца, водочки, икорки... балычка... Вот тут, на травке! Вы какого мнения, доктор? Вам лучше это знать: вы доктор. Ведь нужно подкрепиться?

Предложение Некричихвостова было принято. Аввакум и Фирс разостлали два ковра и разложили вокруг них кульки со свертками и бутылками. Егор Егорыч порезал колбасу, сыр, балык, Некричихвостов раскупорил бутылки, Манже нарезал хлеба... Охотники облизнулись и возлегли.

– Ну-с, ваше превосходительство! По маленькой...

Охотники выпили и закусили. Доктор тотчас же налил себе другую и выпил. Ваня последовал его примеру.

– А ведь тут, надо полагать, и волки есть, – глубокомыс-

ленно заметил Кардамонов, поглядывая искоса на деревья.

Охотники подумали, поговорили и минут через десять порешили, что волков, надо полагать, нет.

– Ну-с? По другой? Пропустим-ка! Егор Егорыч вы чего смотрите?

Выпили по другой.

– Молодой человек! – обратился Егор Егорыч к Ване. – Вы-то чего думаете?

Ваня замотал головой.

– Но при мне можешь, – сказал генерал. – Без меня не пей, но при мне... Выпей немножко!

Ваня налил рюмку и выпил.

– Ну-с? По третьей? Ваше превосходительство...

Выпили по третьей. Доктор выпил шестую.

– Молодой человек!

Ваня замотал головой.

– Пейте, Амфитеатров! – сказал покровительственным тоном Манже.

– При мне можешь, но без меня... Выпей немного!

Ваня выпил.

– Чего это небо сегодня такое синее? – спросил Кардамонов.

Охотники подумали, потолковали и через четверть часа порешили, что неизвестно, отчего это небо сегодня такое синее.

– Заяц... заяц... заяц!!! Держи!!!

За бугром показался заяц. За ним гнались две дворняги. Охотники повскакали и ухватились за ружья. Заяц пролетел мимо, помчался в лес, увлекая за собой дворняг, Музыканта и других собак. Тщетный подумал, посмотрел подозрительно на генерала и тоже помчался за зайцем.

– Крупный!.. Вот его бы того... Как это мы... прозевали?

– Да. Чего же эта бутылка тут того... Это вы не выпили, ваше высокопревосходительство? Э-э-э-э... Так вот вы как? Хо-ро-шо-с!

Выпили по четвертой. Доктор выпил девятую, с остервенением крикнул и отправился в лес. Выбрав самую широкую тень, он лег на травку, подложил под голову сюртук и тотчас же захрапел. Ваню развезло. Он выпил еще рюмочку, принялся за пиво, и в нем взыграла душа. Он стал на колени и продекламировал 20 стихов из Овидия.

Генерал заметил, что латинский язык очень похож на французский... Егор Егорыч согласился с ним и добавил, что при изучении французского языка необходимо знать похожий на него латинский. Манже не согласился с Егором Егорычем, заметив, что не место толковать там про языки, где сидит физико-математик и стоит так много бутылок, добавив, что ружье его прежде дорого стоило, что теперь нельзя найти хорошего ружья, что...

– По восьмой, господа?

– Не много ли будет?

– Ну-у-у... Что вы! Восемь, и много?! Вы, значит, не пили

никогда!

Выпили по восьмой.

– Молодой человек!

Ваня замотал головой.

– Полно! Ну-ка, по-военному! Вы так хорошо стреляете...

– Выпейте, Амфитеатров! – сказал Манже.

– При мне пей, но без меня... Выпей немного!

Ваня отставил в сторону пиво и выпил еще рюмочку.

– По девятой, господа, а? Какого мнения? Терпеть не могу числа восемь. Восьмого числа у меня умер отец... Федор... то есть, Иван... Егор Егорыч! Наливайте!

Выпили по девятой.

– Жарко, однако.

– Да, жарко, но это не помешает нам выпить по десятой!

– Но...

– Плевать на жару! Докажем, господа, стихиям, что мы их не боимся! Молодой человек! Покажите-ка пример... Пристыдите вашего дядюшку! Не боимся ни хлада, ни жары...

Ваня выпил рюмочку. Охотники крикнули «ура» и последовали его примеру.

– Солнечный удар может приключиться, – сказал генерал.

– Не может.

– Не может... при нашем климате? Гм...

– Однако бывали же случаи... Мой крестный умер от солнечного удара...

– Вы, доктор, как думаете? Может ли при нашем климате

удар приключиться... солнечный, а? Доктор!

Ответа не последовало.

– Вам не приходилось лечить, а? Мы про солнечный...
Доктор, где же доктор?

– Где доктор? Доктор!

Охотники посмотрели вокруг себя: доктора не было.

– Где же доктор? Исчезоша? Яко воск от лица огня! Ха-ха-ха.

– К Егоровой жене отправился! – ляпнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч побледнел и уронил бутылку.

– К жене его отправился! – продолжал Михей Егорыч, кушая балык.

– Чего же вы врете? – спросил Манже. – Вы видели?

– Видел. Ехал мимо мужик на таратайке... ну, а он сел и уехал. Ей-богу. По одиннадцатой, господа?

Егор Егорыч поднялся и потряс кулаками.

– Я спрашиваю: куда вы едете? – продолжал Михей Егорыч. – За клубникой, говорит. Рожки шлифовать. Я, говорит, уж наставил рожки, а теперь шлифовать еду. Прощайте, говорит, милый Михей Егорыч! Кланяйтесь, говорит, свояку Егору Егорычу! И этак еще глазом сделал. На здоровье... хе-хе-хе.

– Лошадей!! – крикнул Егор Егорыч и, покачиваясь, побежал к тарантасу.

– Скорей, а то опоздаешь! – крикнул Михей Егорыч.

Егор Егорыч втащил на козлы Аввакума, вскочил в таран-

тас и, погрозив охотникам кулаком, покати́л домой...

– Что же всё это значит, господа? – спросил генерал, когда скрылась с глаз белая фуражка Егора Егорыча. – Он уехал... На чем же, чёрт возьми, я уеду? Он на моем тарантасе уехал! То есть не на моем, а на том, на котором мне нужно уехать... Это странно... Гм... Дерзко с его стороны...

С Ваней сделалось дурно. Водка, смешанная с пивом, подействовала как рвотное... Нужно было везти Ваню домой. После пятнадцатой охотники порешили тройку уступить генералу, с тем только условием, чтобы он, приехавши домой, немедленно выслал свежих лошадей за остальной компанией.

Генерал стал прощаться.

– Передайте ему, господа, – сказал он, – что... что так делают одне только свиньи.

– Вы, ваше превосходительство, векся его протестуйте! – посоветовал Михей Егорыч.

– А? Векся? Нда-с... Пора уже ему... Нужно честь знать... Я ждал, ждал и наконец утомился ждать... Скажите ему, что протест... Прощайте, господа! Прошу ко мне! А он свинья-с!

Охотники простились с генералом и положили его в тарантас рядом с заболевшим Ваней.

– Трогай!

Ваня и генерал уехали.

После восемнадцатой охотники отправились в лес и, по-

стреляв немного в цель, улеглись спать. Перед вечером приехали за ними генеральские лошади. Фирс вручил Михею Егорычу письмо с передачей «братцу». В этом письме была просьба, за неисполнение которой грозились судебным приставом. После третьей (проснувшись, охотники повели новый счет) генеральские кучера уложили охотников в тарантасы и развезли их по домам.

Егор Егорыч, приехавши домой, был встречен Музыкантом и Тщетным, для которых заяц был только предлогом, чтобы удрать домой. Посмотрев грозно на свою жену, Егор Егорыч принялся за поиски. Были обысканы все кладовые, шкафы, сундуки, комоды, – доктора не нашел Егор Егорыч. Он нашел другого: под жениной кроватью обрел он псаломщика Фортунатова...

Было уже темно, когда проснулся доктор... Поблуждав немного по лесу и вспомнивши, что он на охоте, доктор громко выругался и принялся аукать. Ответа на ауканье, разумеется, не последовало, и он порешил отправиться домой пешечком. Дорога была хорошая, безопасная, светлая. Двадцать четыре версты он отмахал в какие-нибудь четыре часа и к утру был уже в земской больнице. Побранившись всласть с фельдшерами, акушеркой и больными, он принялся сочинять огромное письмо к Егору Егорычу. В этом письме требовалось «объяснение неблагоприятных поступков», бранились ревнивые мужья и давалась клятва не ходить никогда более на охоту, – никогда! даже и двадцать девятого июня.

Темпераменты

(По последним выводам науки)

Сангвиник. Все впечатления действуют на него легко и быстро: отсюда, говорит Гуфеланд²⁸, происходит легкомыслие... В молодости он bébé²⁹ и Spitzbube³⁰. Грубит учителям, не стрижется, не бреется, носит очки и пачкает стены. Учится скверно, но курсы оканчивает. Родителей не почитает. Когда богат, франтит; будучи же убогим, живет по-свински. Спит до двенадцати часов, ложится в неопределенное время. Пишет с ошибками. Для любви одной природа его на свет произвела³¹: только тем и занимается, что любит. Всегда не прочь нализаться до положения риз; напившись вечером до зеленых чёртиков, утром встает как встрепанный, с чуть заметной тяжестью в голове, не нуждаясь в «similia similibus»

²⁸ ...говорит Гуфеланд... – Христофор Вильгельм Гуфеланд (1762—1836), немецкий биолог и врач, автор книги «Макробиотика, или Искусство продления человеческой жизни» (1805), выдержавшей большое число изданий и переведенной на многие европейские языки.

²⁹ малыш (франц.)

³⁰ плут (нем.)

³¹ Для любви одной ~ произвела... – Перефразировка слов Елены из оперетты Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена».

curantur»³². Женится нечаянно. Вечно воюет с тещей. С родней в ссоре. Врет напрапалу. Ужасно любит скандалы и любительские спектакли. В оркестре он – первая скрипка. Будучи легкомысленен, либерален. Или вовсе никогда ничего не читает, или же читает запоем. Газеты любит и сам не прочь погазетничать. Почтовый ящик юмористических журналов выдуман исключительно для одних только сангвиников. Постоянен в своем непостоянстве. На службе он чиновник особых поручений или что-либо подобное. В гимназии преподает словесность. Редко дослуживается до действительного статского советника; дослужившись же, делается флегматиком и иногда холериком. Шалопаи, прохвосты и брандахлысты – сангвиники. Спать в одной комнате с сангвиником не рекомендуется: всю ночь анекдоты рассказывает, а за неимением анекдотов, ближних осуждает или врет. Умирает от болезней органов пищеварения и преждевременного истощения.

Женщина-сангвиник – самая сносная женщина, если она не глупа.

Холерик. Желчен и лицом желто-сер. Нос несколько крив, и глаза ворочаются в орбитах, как голодные волки в тесной клетке. Раздражителен. За укушение блохи или укол булавкой готов разорвать на клочки весь свет. Когда говорит, брызжет и показывает свои коричневые или очень белые зубы. Глубоко убежден, что зимой «чёрт знает как холодно»,

³² «подобное лечится подобным» (лат.)

а летом «чёрт знает как жарко...». Ежедневно меняет кушарок. Обедая, чувствует себя очень скверно, потому что всё бывает пережарено, пересолено... Большею частью холостяк, а если женат, то запирает жену на замок. Ревнив до чёртиков. Шуток не понимает. Всё терпеть не может. Газеты читает только для того, чтобы ругнуть газетчиков. Еще во чреве матери был убежден в том, что все газеты врут. Как муж и приятель – невозможен; как подчиненный – едва ли мыслим; как начальник – невыносим и весьма нежелателен. Нередко, к несчастью, он педагог: преподает математику и греческий язык. В одной комнате спать с ним не советую: всю ночь кашляет, харкает и громко бранит блох. Услышав ночью пение котов или петухов, кашляет и дребезжащим голосом посылает лакея на крышу поймать и, во что бы то ни стало, задушить певца. Умирает от чахотки или болезней печени.

Женщина-холерик – чёрт в юбке, крокодил.

Флегматик. Милый человек (я говорю, разумеется, не про англичанина, а про русского флегматика). Наружность самая обыкновенная, топорная. Вечно серьезен, потому что лень смеяться. Ест когда и что угодно; не пьет, потому что боится кондрашки, спит 20 часов в сутки. Непременный член всевозможных комиссий, заседаний и экстренных собраний, на которых ничего не понимает, дремлет без зазрения совести и терпеливо ожидает конца. Женится в 30 лет при помощи дядюшек и тетушек. Самый удобный для же-

нитьбы человек: на всё согласен, не ропщет и покладист. Жену величает душенькой. Любит поросеночка с хреном, певчих, всё кисленькое и холодок. Фраза «Vanitas vanitatum et omnie vanitas»³³ (Чепуха чепух и всяческая чепуха) выдуманна флегматиком. Бывает болен только тогда, когда его избирают в присяжные заседатели. Завидев толстую бабу, кряхтит, шевелит пальцами и старается улыбнуться. Выписывает «Ниву» и сердится, что в ней не раскрашивают картинок и не пишут смешного. Пишущих считает людьми умнейшими и в то же время вреднейшими. Жалеет, что его детей не секут в гимназии, и сам иногда не прочь посечь. На службе счастлив. В оркестре он – контрабас, фагот, тромбон. В театре – кассир, лакей, суфлер и иногда *pour manger*! актер. Умирает от паралича или водянки.

Женщина-флегматик – это слезливая, пучеглазая, толстая, крупичатая, сдобная немка. Похожа на куль с мукою. Родится, чтобы со временем стать тещей. Быть тещей – ее идеал.

Меланхолик. Глаза серо-голубые, готовые прослезиться. На лбу и около носа морщинки. Рот несколько крив. Зубы черные. Склонен к ипохондрии. Вечно жалуется на боль под ложечкой, колотье в боку и плохое пищеварение. Любимое занятие – стоять перед зеркалом и рассматривать свой вялый язык. Думает, что слаб грудью и нервен, а потому ежедневно пьет вместо чая декокт и вместо водки – жизненный

³³ «Суета сует и всяческая суета» (лат.)

эликсир. С прискорбием и со слезами в голосе уведомляет своих ближних, что лавровишневые и валериановые капли ему уже не помогают... Полагает, что раз в неделю не мешало бы принимать слабительное. Давно уже порешил, что его не понимают доктора. Знахари, знахарки, шептуны, пьяные фельдшера, иногда повивальные бабки – первые его благодетели. Шубу надевает в сентябре, снимает в мае. В каждой собаке подозревает водобоязнь, а с тех пор, как его приятель сообщил ему, что кошка в состоянии задушить спящего человека, видит в кошках непримиримых врагов человечества. Духовное завещание у него давно уже готово. Божится и клянется, что ничего не пьет. Изредка пьет теплое пиво. Женится на сиротке. Тещу, если она у него есть, величает прекраснейшей и мудрейшей особой; наставления ее выслушивает молча, склонив голову набок; целовать ее пухлые, потные, пахнущие огуречным рассолом руки считает своей священнейшей обязанностью. Ведет деятельную переписку с дяденьками, тетеньками, крестной мамашей и друзьями детства. Газет не читает. Читал когда-то «Московские ведомости», но, чувствуя при чтении этой газеты тяжесть под ложечкой, сердцебиение и муть в глазах, он бросил ее. Втихомолку читает Дебе и Жозана.³⁴ Во время ветлянской чумы³⁵ пять раз говел. Страдает слезотечением и кошмарами.

³⁴ *Втихомолку читает Дебе и Жозана.* – Труды О. Дебе и Э. Жозана по физиологии и гигиене брака были популярны в России в 70-х – 80-х годах XIX века.

³⁵ *Во время ветлянской чумы...* – Вспышка чумной эпидемии в станице Вет-

На службе не особенно счастлив: далее помощника столоначальника не дотянет. Любит «Лучинушку». В оркестре он – флейта и виолончель. Вздыхает день и ночь, а потому спать с ним в одной комнате не советую. Предчувствует потопа, землетрясение, войну, конечное падение нравственности и собственную смерть от какой-нибудь ужасной болезни. Умирает от пороков сердца, лечения знахарей и зачастую от ипохондрии.

Женщина-меланхолик – невыносимейшее, беспокойнейшее существо. Как жена – доводит до отупения, до отчаяния и самоубийства. Тем только и хороша, что от нее избавиться нетрудно: дайте ей денег и спровадьте ее на богомолье.

Холерико-меланхолик. Во дни юности был сангвиником. Черная кошка перебежала дорогу, чёрт ударил по затылку, и сделался он холерико-меланхоликом. Я говорю о известнейшем, бессмертнейшем соседе редакции «Зрителя». Девяносто девять процентов славянофилов – холерико-меланхолики. Непризнанный поэт, непризнанный *pater patriae*³⁶, непризнанный Юпитер и Демосфен... и т. д. Рогатый муж. Вообще всякий крикливый, но не сильный.

лянской, Астраханской губ. (1878 г.). Ал. П. Чехов писал о ней в 1879 г. брату Антону в Таганрог: «У нас в Москве всё тихо, о чуме говорить перестали. Рыбные торговцы пострадали. Покупая на масляной икру, я спросил у торговца: „Что она у вас, не из Ветлянки?“ – „А бог ее знает“, – ответил он. – „Вот те клюква! – удивился я. – а чума-то?“ – „Эх-ма, – заявил купчина, – если бы икра была чумная, так мы первые давно переколели бы!“ – Резонт действительно убедительный» (Письма Ал. Чехова, стр. 53—54).

³⁶ отец отечества (*лат.*)

В вагоне

Почтовый поезд номер такой-то мчится на всех парах от станции «Веселый Трах-Тарарах» до станции «Спасайся, кто может!». Локомотив свистит, шипит, пыхтит, сопит... Вагоны дрожат и своими неподмазанными колесами воют волками и кричат совами. На небе, на земле и в вагонах тьма... «Что-то будет! что-то будет!» – стучат дрожащие от старости лет вагоны... «Огого-гого-о-о!» – подхватывает локомотив... По вагонам вместе с карманолюбцами гуляют сквозные ветры. Страшно... Я высовываю свою голову в окно и бесцельно смотрю в бесконечную даль. Все огни зеленые: скандал, надо полагать, еще не скоро. Диска и станционных огней не видно... Тьма, тоска, мысль о смерти, воспоминания детства... Боже мой!

– Грешен!! – шепчу я. – Ох, как грешен!..

Кто-то лезет в мой задний карман. В кармане нет ничего, но все-таки ужасно... Я оборачиваюсь. Предо мной незнакомец. На нем соломенная шляпа и темно-серая блуза.

– Что вам угодно? – спрашиваю я его, ощущая свои карманы.

– Ничего-с! Я в окно смотрю-с! – отвечает он, отдергивая руку и налегая мне на спину.

Слышен сиплый пронзительный свист... Поезд начинает

идти всё тише и тише и наконец останавливается. Выхожу из вагона и иду к буфету выпить для храбрости. У буфета теснится публика и поездная бригада.

– Гм... Водка, а не горько! – говорит солидный обер-кондуктор, обращаясь к толстому господину. Толстый господин хочет что-то сказать и не может: поперек горла остановился у него годовалый бутерброд.

– Жиндаррр!!! Жиндаррр!! – кричит кто-то на платформе таким голосом, каким во время оно, до потопа, кричали голодные мастодонты, ихтиозавры и плезиозавры... Иду посмотреть, в чем дело... У одного из вагонов первого класса стоит господин с кокардой и указывает публике на свои ноги. С несчастного, в то время когда он спал, стащили сапоги и чулки...

– В чем же я поеду теперь? – кричит он. – Мне до Ррревеля ехать! Вы должны смотреть!

Перед ним стоит жандарм и уверяет его, что «здесь кричать не приходится»... Иду в свой вагон № 224. В моем вагоне всё то же: тьма, храп, табачный и сивушный запахи, пахнет русским духом. Возле меня храпит рыженький судебный следователь, едущий в Киев из Рязани... В двух-трех шагах от следователя дремлет хорошенькая... Крестьянин, в соломенной шляпе, сопит, пыхтит, переворачивается на все бока и не знает, куда положить свои длинные ноги... Кто-то в углу закусывает и чамкает во всеуслышание... Под скамьями спит богатырским сном народ. Скрипит дверь. Входят две

сморщенные старушонки с котомками на спинах...

– Сядем сюда, мать моя! – говорит одна. – Темень-то какая! Искушение да и только... Никак наступила на кого... А где Пахом?

– Пахом? Ах, батюшты! Где ж это он? Ах, батюшты!

Старушонка суетится, отворяет окно и осматривает платформу.

– Пахо-ом! – дребезжит она. – Где ты? Пахом! Мы тутотко!

– У меня беда-а! – кричит голос за окном. – В машину не пущают!

– Не пущают? Который это не пущает? Плюнь! Не может тебя никто не пустить, ежели у тебя настоящий билет есть!

– Билеты уже не продают! Касс заперли!

По платформе кто-то ведет лошадь. Топот и фырканье.

– Сдай назад! – кричит жандарм. – Куда лезешь? Чего скандалишь?

– Петровна! – стонет Пахом.

Петровна сбрасывает с себя узел, хватает в руки большой жестяной чайник и выбегает из вагона. Бьет второй звонок. Входит маленький кондуктор с черными усиками.

– Вы бы взяли билет! – обращается он к старцу, сидящему против меня. – Контролер здесь!

– Да? Гм... Это нехорошо... Какой?.. Князь?

– Ну... Князя сюда и палками не загонишь...

– Так кто же? С бородой?

– Да, с бородой...

– Ну, коли этот, то ничего. Он добрый человек.

– Как хотите.

– А много зайцев едет?

– Душ сорок будет.

– Ннно? Молллодцы! Ай да коммерсанты!

Сердце у меня сжимается. Я тоже зайцем еду. Я всегда езжу зайцем. На железных дорогах зайцами называются гг. пассажиры, затрудняющие разменом денег не кассиров, а кондукторов. Хорошо, читатель, ездить зайцем! Зайцам полагается, по нигде еще не напечатанному тарифу, 75% уступки, им не нужно толпиться около кассы, вынимать ежеминутно из кармана билет, с ними кондуктора вежливее и... всё что хотите, одним словом!

– Чтоб я заплатил когда-нибудь и что-нибудь!? – бормочет старец. – Да никогда! Я плачу кондуктору. У кондуктора меньше денег, чем у Полякова!³⁷

Дребезжит третий звонок.

– Ах, матушки! – хлопчет старушонка. – Где ж это Петровна? Ведь вот уж и третий звонок! Наказание божие... Осталась! Осталась бедная... А вещи ее тут... Што с вещами-то делать, с сумочкой? Родимые мои, ведь она осталась!

Старушонка на минуту задумывается.

³⁷ У кондуктора меньше денег, чем у Полякова! – Железнодорожный магнат С. С. Поляков был строителем и концессионером Харьковско-Азовской, Курско-Харьковской и Фастовской железных дорог.

– Пушай с вещами остается! – говорит она и бросает сумочку Петровны в окно.

Едем к станции Халдеево, а по путеводителю «Фрум – Общая Могила». Входят контролер и обер-кондуктор со свечой.

– Вашшш... билеты! – кричит обер-кондуктор.

– Ваш билет! – обращается контролер ко мне и к старцу.

Мы ёжимся, сжимаемся, прячем руки и впиваемся глазами в ободряющее лицо обер-кондуктора.

– Получите! – говорит контролер своему спутнику и уходит. Мы спасены.

– Ваш билет! Ты! Ваш билет! – толкает обер-кондуктор спящего парня. Парень просыпается и вынимает из шапки желтый билетик.

– Куда же ты едешь? – говорит контролер, вертя между пальцами билет. – Ты не туда едешь!

– Ты, дуб, не туда едешь! – говорит обер-кондуктор. – Ты не на тот поезд сел, голова! Тебе нужно на Живодерово, а мы едем на Халдеево! Вааазьми! Вот не нужно быть никогда дураком!

Парень усиленно моргает глазами, тупо смотрит на улыбающуюся публику и начинает тереть рукавом глаза.

– Ты не плачь! – советует публика. – Ты лучше попроси! Такой здоровый болван, а ревешь! Женат небось, детей имеешь.

– Вашшш... билет!.. – обращается обер-кондуктор к ко-

сарю в цилиндре.

– Га?

– Вашшш... билеты! Поворачивайся!

– Билет? Нешто нужно?

– Билет!!!

– Понимаем... Отчего не дать, коли нужно? Даадим! – Косарь в цилиндре лезет за пазуху и со скоростью двух с половиною вершков в час вытаскивает оттуда засаленную бумагу и подает ее контролеру.

– Кого даешь? Это паспорт! Ты давай билет!

– Другого у меня билета нету! – говорит косарь, видимо встревоженный.

– Как же ты едешь, когда у тебя нет билета?

– Да я заплатил.

– Кому ты заплатил? Что врешь?

– Кондухтырю.

– Какому?

– А шут его знает какому! Кондухтырю, вот и всё... Не бери, говорил, билета, мы тебя и так провезем... Ну, я и не взял...

– А вот мы с тобой на станции поговорим! Мадам, ваш билет!

Дверь скрипит, отворяется, и ко всеобщему нашему удивлению входит Петровна.

– Насилу, мать моя, нашла свой вагон... Кто их разберет, все одинаковые... А Пахома так и не впустили, аспиды... Где

моя сумочка?

– Гм... Искушение... Я тебе ее в окошко выбросила! Я думала, что ты осталась!

– Куда бросила?

– В окно... Кто ж тебя знал?

– Спасибо... Кто тебя просил? Ну да и ведьма, прости господи! Что теперь делать? Своей не бросила, паскуда... Морду бы свою ты лучше выбросила! Аааа... штоб тебе повылазило!

– Нужно будет со следующей станции телеграфировать! – советует смеющаяся публика.

Петровна начинает голосить и нечестиво браниться. Ее подруга держится за свою суму и также плачет. Входит кондуктор.

– Чьи веш-ш-ш... чи! – выкрикивает он, держа в руках вещи Петровны.

– Хорошенькая! – шепчет мне мой vis-à-vis старец, кивая на хорошенькую. – Г-м-м-м... хорррошенькая... Чёрт подери, хлороформу нет! Дал бы ей понюхать, да и целуй во все лопатки! Благо все спят!..

Соломенная шляпа ворочается и во всеуслышание сердится на свои непослушные ноги.

– Ученые... – бормочет он. – Ученые... Небось, против естества вещей и предметов не пойдешь!.. Ученые... гм... Небось не сделают так, чтоб ноги можно было отвинчивать и привинчивать по произволению!

– Я тут ни при чем... Спросите товарища прокурора! – бредит мой сосед-следователь.

В дальнем углу два гимназиста, унтер-офицер и молодой человек в синих очках при свете четырех папирос жарят в картеж...

Направо от меня сидит высокая барыня из породы «само собою разумеется». От нее разит пудрой и пачулями.

– Ах, что за прелесть эта дорога! – шепчет над ее ухом какой-то гусь, шепчет приторно до... до отвращения, как-то французисто выговаривая буквы г, н и р. – Нигде так быстро и приятно не бывает сближение, как в дороге! Люблю тебя, дорога!

Поцелуй... Другой... Чёрт знает что! Хорошенькая просыпается, обводит глазами публику и... бессознательно кладет головку на плечо соседа, жреца Фемиды... а он, дурак, спит!!

Поезд останавливается. Полустанок.

– Поезд стоит две минуты... – бормочет сиплый, надтреснутый бас вне вагона. Проходят две минуты, проходят еще две... Проходит пять, десять, двадцать, а поезд всё еще стоит. Что за чёрт? Выхожу из вагона и направляюсь к локомотиву.

– Иван Матвеич! Скоро ж ты, наконец? Чёрт! – кричит обер-кондуктор под локомотив.

Из-под локомотива выползает на брюхе машинист, красный, мокрый, с куском сажи на носу...

– У тебя есть бог или нет? – обращается он к обер-кондуктору. – Ты человек или нет? Что подгоняешь? Не видишь, что ли? Ааа... чтоб вам всем повылазило!.. Разве это локомотив? Это не локомотив, а тряпка! Не могу я везти на нем!

– Что же делать?

– Делай что хочешь! Давай другой, а на этом не поеду! Да ты войди в положение...

Помощники машиниста бегают вокруг неисправного локомотива, стучат, кричат... Начальник станции в красной фуражке стоит возле и рассказывает своему помощнику анекдоты из превеселого еврейского быта... Идет дождь... Направляюсь в вагон... Мимо мчится незнакомец в соломенной шляпе и темно-серой блузе... В его руках чемодан. Чемодан этот мой... Боже мой!

Салон де варьете

– Извозчик! Спишь, чёрт! В Салон де варьете!

– В Солёный вертеп? Тридцать копеек!

Подъезд и одинокий городской, торчащий у подъезда, освещены фонарями. Рубль двадцать за вход и двадцать копеек за хранение платья (последнее, впрочем, не обязательно). Вы заносите ногу на первую ступень, и вас обдает уже сильнейшими запахами грошового будуара и предбанника. Слегка подпившие посетители... А *propos*³⁸: не ходите в Salon, если вы не того... Быть немножко «подшофе» – более чем обязательно. Это принцип. Если входящий посетитель улыбается и мигает маслянистыми глазками, то это хороший признак: он не умрет от тоски и даже вкусит некоторое блаженство. Горе же ему, если он трезв! Ему не понравится Salon des variétés, и он, пришедши домой, высечет своих детей, чтобы они, выросши, не ходили в Salon... Слегка подпившие посетители ковыляют вверх по лестнице, вручают привратнику свои билеты, входят в комнату, увешанную изображениями великих, потягиваются и храбро устремляются в круговорот. По всем комнатам снуют взад и вперед, из двери в дверь, жаждущие сильных впечатлений, – снуют, мнутя, слоняются из угла в угол, как будто бы чего-то ищут... Что за смесь племен, лиц, красок и запахов!

³⁸ Кстати (*франц.*)

Дамы красные, синие, зеленые, черные, разноцветные, пестрые, точно трехкопеечные лубочные картинки...

Этих дам мы видели здесь и в прошлом году и в позапрошлом. Вы увидите их здесь и в будущем году. Декольте ни одной: и платья нет, и... груди нет. А какие чудные имена. Бланш, Мими, Фанни, Эмма, Изабелла

и... ни одной Матрены, Мавры, Палагеи! Пыль ужаснейшая! Частицы румян и пудры, пары алкоголя взвешены в воздухе... Тяжело дышать, и хочется чихнуть...

– Как вы невежливы, мужчина!

– Я-с? А... гм... так-с! Позвольте вам выразиться прозой, что мы очень хорошо понимаем ваши женственные идеи! Позвольте вам предложить ручку-с!

– Это с какой стати? Вы сперва познакомьтесь... Угостите сперва чем-нибудь!!

Подлетает офицер, берет даму за плечи и поворачивает ее спиной к молодому человеку... Последнему это не нравится... Немножко подумав, он вламывается в амбицию, берет даму за плечи и поворачивает ее в свою сторону...

Сквозь толпу пробирается громаднейший немец с тупой, пьяной физией и во всеуслышание страдает отрыжкой; за ним семенит маленький рябой человечек и пожимает его ру-

ку....

– Э... эк! Гек!

– Покорнейше благодарю за благородную отрыжку! – говорит человек.

– Ничаво... Э...эк!

Возле входа в зал толпа... В толпе два молодых купчика усердно жестикулируют руками и ненавидят друг друга. Один красен как рак, другой бледен. Оба, разумеется, пьяны как стельки.

– А ежели в морррдуду?

– Асел!!

– А ежели... Ты сам асел! Филантроп!!

– Сволочь! Чего руками махаешь? Вдарь! Да ты вдарь!

– Господа! – слышится из толпы женский голос. – Можно ли так браниться при дамах?

– И дам к свиньям! Чёрта лысого мне в твоих дамах! Тыщу таких кормлю! Ты, Катька, не того... не мешайся! Зачем он меня обидел? Ведь я его не трогал!

К бледному купчику подлетает фронт с огромнейшим галстухом и хватает его за руку.

– Митя! Тятенька здесь!

– Ннно?..

– Ей-богу! С Сонькой за столом сидит! Чуть было ему на глаза не попался! Старый чёрт... Уходить надо! Скорей!!

Митя пускает последний пронзительный взгляд на врага, грозит ему кулаком и стушевывается...

– Цвиринтелкин! Ступай туда! Там тебя Раиса ищет!

– Чёрт с ней! Не желаю! Она на щеколду похожа... Я себе другую мадаму выбрал... Луизу!

– Что ты? Эту пушку?

– В том-то и вся, брат, суть, что пушка... По крайности, баба! Не обхватишь!

Фрейлейн Луиза сидит за столом. Она высока, толста, потна и неповоротлива, как улитка... Перед ней на столе бутылка пива и шапка Цвиринтелкина... Контуры корсета грубо вырисовываются на ее большущей спине. Как хорошо она делает, что прячет свои ноги и руки! Руки ее велики, красны и мозолисты. Еще в прошлом году она жила в Пруссии, где мыла полы, варила герру пастору *Viersoupe*³⁹ и нянчила маленьких Шмидтов, Миллеров и Шульцев... Но судьбе угодно было нарушить ее покой: она полюбила Фрица, Фриц полюбил ее... Но Фриц не может жениться на бедной; он назовет себя дураком, если женится на бедной! Луиза поклялась Фрицу в вечной любви и поехала из милого фатерланда⁴⁰ в русские холодные степи заработать приданое... И теперь она каждый вечер ходит в *Salon*. Днем она делает коробочки и вяжет скатерть. Когда соберется известная сумма, она уедет в Пруссию и выйдет за Фрица...

³⁹ суп из пива (*нем. и франц.*)

⁴⁰ отечества (*нем. Vaterland*).

– Si vous n’avez rien a me dire,⁴¹ – несется из залы...

В зале гвалт... Аплодируют всякому, кто бы ни появился на сцене... Канканчик бедненький, плохонький, но в первых рядах слюноотечение от удовольствия... Взгляните на публику в то время, когда голосят: «Долой мужчин!» Дайте в это время публике рычаг, и она перевернет землю! Орут, голосят, визжат...

– Шш... ш... ш... – шикает в первых рядах офицерик какой-то девице...

Публика неистово протестует шиканью, и от аплодисментов содрогается вся Большая Дмитровка. Офицерик поднимается, поднимает вверх голову и важно, с шумом и звоном, выходит из зала. Достоинство, значит, поддержал!..

Гремит венгерский оркестр. Какие все эти венгерцы карапузики, и как они плохо играют! Конфузят они свою Венгрию!

За буфетом стоят сам г. Кузнецов и мадам с черными бровями; г. Кузнецов виночерпствует, мадам получает деньги. Рюмки берутся приступом.

– Рррюмку водки! Послушайте! Вводки!

– Царапнем, Коля? Пей, Мухтар!

Человек со стриженной головой тупо смотрит на рюмку, пожимает плечами и с остервенением глотает водку.

⁴¹ Если вам нечего мне сказать (*франц.*)

– Не могу, Иван Иванович! У меня порок сердца!

– Плюнь! Ничего твоему пороку не поделается, ежели выпьешь!

Юноша с пороком сердца выпивает.

– Еще рюмку!

– Нет... У меня порок сердца. Я и так уж семь выпил.

– Плюнь!

Юноша выпивает...

– Мужчина! – умоляет девочка с острым подбородком и кроличьими глазками: – угостите ужином!

Мужчина ломается...

– Есть хочу! Одну только порцию...

– Пристала... Челаэк!

Подается кусок мяса... Девочка ест, и... как ест! Ест ртом, глазами, носом...

У стрельбы в цель идет ожесточенная стрельба... Тирольки, не отдыхая, заряжают ружья... А две тирольки недурны немножко... В стороне стоит художник и рисует на обшлаге тирольку.

– До свидания... Будьте здоговы! – кричат тирольки.

Бьет два часа... В зале танцы. Шум, гвалт, крик, писк, канкан... Духота страшная... Зарядившиеся вновь заряжаются у буфета, и к трем часам готов уже кавардак.

В отдельных кабинетах...

Впрочем, уйдемте! Как приятен выход! Будь я содержателем Salon des variétés, я брал бы не за вход, а за выход...

Суд

Изба Кузьмы Егорова, лавочника. Душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают... Облака табачного дыму, но пахнет не табаком, а соленой рыбой. В воздухе, на лицах, в пении комаров тоска.

Большой стол; на нем блюдечко с ореховой скорлупой, ножницы, баночка с зеленой мазью, картузы, пустые штофы. За столом восседают: сам Кузьма Егоров, староста, фельдшер Иванов, дьячок Феофан Манафуилов, бас Михайло, кум Парфентий Иваныч и, приехавший из города в гости к тетке Анисье, жандарм Фортунатов. В почтительном отдалении от стола стоит сын Кузьмы Егорова, Серапион, служащий в городе в парикмахерской и теперь приехавший к отцу на праздники. Он чувствует себя очень неловко и дрожащей рукой теревит свои усики. Избу Кузьмы Егорова временно нанимают для медицинского «пункта», и теперь в передней ожидают расслабленные. Сейчас только привезли откуда-то бабу с поломанным ребром... Она лежит, стонет и ждет, когда, наконец, фельдшер обратит на нее свое благосклонное внимание. Под окнами толпится народ, пришедший посмотреть, как Кузьма Егоров своего сына пороть будет.

– Вы всё говорите, что я вру, – говорит Серапион, – а потому я с вами говорить долго не намерен. Словами, папаша, в девятнадцатом столетии ничего не возьмешь, потому что

теория, как вам самим небезызвестно, без практики существовать не может.

– Молчи! – говорит строго Кузьма Егоров. – Материй ты не разводи, а говори нам толком: куда деньги мои девал?

– Деньги? Гм... Вы настолько умный человек, что сами должны понимать, что я ваших денег не трогал. Бумажки свои вы не для меня копите... Грешить нечего...

– Вы, Серапион Косьмич, будьте откровенны, – говорит дьячок. – Ведь мы вас для чего это спрашиваем? Мы вас убедить желаем, на путь наставить благой... Папашенька ваш ничего вам, кроме пользы вашей... И нас вот попросил... Вы откровенно... Кто не грешен? Вы взяли у вашего папаши двадцать пять рублей, что у них в комодке лежали, или не вы?

Серапион сплевывает в сторону и молчит.

– Говори же! – кричит Кузьма Егоров и стучит кулаком о стол. – Говори: ты или не ты?

– Как вам угодно-с... Пускай...

– Пущай, – поправляет жандарм.

– Пущай это я взял... Пущай! Только напрасно вы, папаша, на меня кричите. Стучать тоже не для чего. Как ни стучите, а стола сквозь землю не провалите. Денег ваших я никогда у вас не брал, а ежели брал когда-нибудь, то по надобности... Я живой человек, одушевленное имя существительное, и мне деньги нужны. Не камень!..

– Поди да заработай, коли деньги нужны, а меня обирать нечего. Ты у меня не один, у меня вас семь человек!

– Это я и без вашего наставления понимаю, только по слабости здоровья, как вам самим это известно, заработать, следовательно, не могу. А что вы меня сейчас куском хлеба попрекнули, так за это самое вы перед господом богом отвечать станете...

– Здоровьем слаб!.. Дело у тебя небольшое, знай себе стриги да стриги, а ты и от этого дела бегаешь.

– Какое у меня дело? Разве это дело? Это не дело, а одно только поползновение. И образование мое не такое, чтоб я этим делом мог существовать.

– Неправильно вы рассуждаете, Серапион Косьмич, – говорит дьячок. – Ваше дело почтенное, умственное, потому вы служите в губернском городе, стрижете и бреете людей умственных, благородных. Даже генералы, и те не чуждаются вашего ремесла.

– Про генералов, ежели угодно, я и сам могу вам объяснить.

Фельдшер Иванов слегка выпивши.

– По нашему медицинскому рассуждению, – говорит он, – ты скипидар и больше ничего.

– Мы вашу медицину понимаем... Кто, позвольте вас спросить, в прошлом годе пьяного плотника, вместо мертвого тела, чуть не вскрыл? Не проснись он, так вы бы ему живот распорили. А кто касторку вместе с конопляным маслом мешает?

– В медицине без этого нельзя.

– А кто Маланью на тот свет отправил? Вы дали ей слабительного, потом крепительного, а потом опять слабительного, она и не выдержала. Вам не людей лечить, а, извините, собак.

– Маланье царство небесное, – говорит Кузьма Егоров. – Ей царство небесное. Не она деньги взяла, не про нее и разговор... А вот ты скажи... Алене отнес?

– Гм... Алене!.. Постыдились бы хоть при духовенстве и при господине жандарме.

– А вот ты говори: ты взял деньги или не ты?

Староста вылезает из-за стола, зажигает о колено спичку и почтительно подносит ее к трубке жандарма.

– Ффф... – сердится жандарм. – Серы полный нос напустил!

Закурив трубку, жандарм встает из-за стола, подходит к Серапиону и, глядя на него со злобой и в упор, кричит пронзительным голосом:

– Ты кто таков? Ты что же это? Почему так? А? Что же это значит? Почему не отвечаешь? Неповиновение? Чужие деньги брать? Молчать! Отвечай! Говори! Отвечай!

– Ежели...

– Молчать!

– Ежели... Вы потише-с! Ежели... Не боюсь! Много вы об себе понимаете! А вы – дурак, и больше ничего! Ежели папаше хочется меня на растерзание отдать, то я готов... Терзайте! Бейте!

– Молчать! Не ра-а-азговаривать! Знаю твои мысли! Ты вор? Кто таков? Молчать! Перед кем стоишь? Не рассуждать!

– Наказать-с необходимо, – говорит дьячок и вздыхает. – Ежели они не желают облегчить вину свою сознанием, то необходимо, Кузьма Егорыч, посечь. Так я полагаю: необходимо!

– Влепить! – говорит бас Михайло таким низким голосом, что все пугаются.

– В последний раз: ты или нет? – спрашивает Кузьма Егоров.

– Как вам угодно-с... Пушай... Терзайте! Я готов...

– Выпороть! – решает Кузьма Егоров и, побагровев, вылезает из-за стола.

Публика нависает на окна. Расслабленные толпятся у дверей и поднимают головы. Даже баба с переломленным ребром, и та поднимает голову...

– Ложись! – говорит Кузьма Егоров. Серапион сбрасывает с себя пиджачок, крестится и со смирением ложится на скамью.

– Терзайте, – говорит он.

Кузьма Егоров снимает ремень, некоторое время глядит на публику, как бы выжидая, не поможет ли кто, потом начинает...

– Раз! Два! Три! – считает Михайло низким басом. – Восемь! Девять!

Дьячок стоит в уголку и, опустив глазки, перелистывает книжку...

– Двадцать! Двадцать один!

– Довольно! – говорит Кузьма Егоров.

– Еще-с!.. – шепчет жандарм Фортунатов. – Еще! Еще!

Так его!

– Я полагаю: необходимо еще немного! – говорит дьячок, отрываясь от книжки.

– И хоть бы пискнул! – удивляется публика.

Больные расступаются, и в комнату, треща накрахмаленными юбками, входит жена Кузьмы Егорова.

– Кузьма! – обращается она к мужу. – Что это у тебя за деньги я нашла в кармане? Это не те, что ты давеча искал?

– Оне самые и есть... Вставай, Серапион! Нашлись деньги! Я положил их вчерась в карман и забыл...

– Еще-с! – бормочет Фортунатов. – Влепить! Так его!

– Нашлись деньги! Вставай!

Серапион поднимается, надевает пиджачок и садится за стол. Продолжительное молчание. Дьячок конфузится и сморкается в платочек.

– Ты извини, – бормочет Кузьма Егоров, обращаясь к сыну. – Ты не того... Чёрт же его знал, что они найдутся! Извини...

– Ничего-с. Нам не впервой-с... Не беспокойтесь. Я на всякие мучения всегда готов.

– Ты выпей... Перегорит...

Серапион выпивает, поднимает вверх свой синий носик и богатырем выходит из избы. А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза, и говорит:
– Еще! Еще! Так его!

Контора объявлений Антоши Ч.

для удобства гг. публикующих арендовала в «Зрителе» на 1881 год отдел для помещений реклам и публикаций разного рода

АРТЕЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ БАРЫШНИКОВ

Сим имеет честь уведомить, что, для удобства публики, она избрала своим местопребыванием портерную, *близ театра*. Ввиду предстоящего приезда знаменитой Сары Бернар⁴², вошла в соглашение с кем следует и предлагает услуги.

ДОКТОР ЧЕРТОЛОБОВ

Специалист по женским, мужским, детским, грудным, спинным, шейным, затылочным и многим другим болезням. Принимает ежедневно с 7 ч. утра до 12 ч. ночи. Бедных лечит 30-го февраля, 31-го апреля и 31-го июня бесплатно и 29-го февраля с большой уступкой. Молчановка, Гавриков пер., собственный дом.

⁴² ...предстоящего приезда знаменитой Сары Бернар... – Сара Бернар (1844—1923), французская драматическая актриса, гастролировала в Москве в ноябре 1881 г. Чехов посвятил этим гастролям фельетоны «Сара Бернар» и «Опять о Саре Бернар» (т. XVI наст. изд.).

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ «НОВОГО ВРЕМЕНИ»

поступили в продажу следующие книги:

В интересном положении.⁴³ Роман в 4 ч. Морского. Цена 5 р. 23 к.

Памяти д-ра Дебе, брошюра, его же.

Свиной хлев, устройство оногo и его обитатели, соч. ригора Ев. Львова.

Я не был на юбилее, лирическое стихотворение, его же.

Туда ему и дорога! Ода иезуита Тараканчио и социуса его Цитовича.⁴⁴ Ц. 30 к.

В облаках, роман Андрея Печерского в 14 ч. (Продолжение «На горах» и «В лесах».)

Газетчики и кумовство, соч. прогоревшего редактора.

Славянофило-русский словарь. 40 000 слов, необходимых для чтения «Руси».⁴⁵

⁴³ *В интересном положении. Роман в 4 ч. Морского.* – Н. Морской – псевдоним беллетриста Н. К. Лебедева (1846—1888). Роман Н. Морского «Купленное счастье» печатался в 1880 г. в «Ниве». Резко критический отзыв об этом романе см. в статье Н. К. Михайловского. О порнографии. – Н. К. Михайловский. Сочинения, т. v, «Записки современника», СПб., 1897.

⁴⁴ *...социуса его Цитовича.* – П. П. Цитович, публицист, автор реакционной брошюры «Что делали в романе „Что делать?“» (Одесса, 1879); в 1880 г. – редактор газеты «Берег».

⁴⁵ *Славянофило-русский словарь ~ для чтения «Руси».* – Газета И. С. Аксакова «Русь» (1880—1886) выходила в Москве два раза в месяц. Ссылки на эту газету, много раз встречающиеся в рассказах и фельетонах Чехова, содержат неизменно критическую ее оценку (см. «Календарь „Будильника“ на 1882 год», стр. 152, а

!!!ДЕСЯТЬ ПРОЦЕНТОВ!!!

из 10 000 годового дохода гг. врачам, желающим войти со мною в комиссию.

ГРОБОВЫХ ДЕЛ МАСТЕР ЧЕРЕПОВ

Имеются готовые *гробы* всевозможных сортов. Для умирающих оптом уступка. Прошу гг. умирающих остерегаться подделок.

НУЖНА КУХАРКА

трезвая, умеющая стирать и не сотрудничающая в одном *Листке*. Большая Ордынка, Замоскворецкий пер., д. поручика Негодяева.

ТРИХИНЫ БЕЗ КОЛБАС

можно получать в магазине купца Махаметова, в Охотном ряду.

также «Мысли читателя газет и журналов», 1883; «Съезд естествоиспытателей в Филадельфии», 1883; «Добродетельный кабатчик», 1883; «Осколки московской жизни», 1883—1885).

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ И. Н. МОШЕННИКОВ

ведет дела. На случай обвинительного приговора предлагает залог.

Потеряв всякую надежду выйти замуж, продаю свое приданое.

Егорушка! иди, возьми меня! Девица Невиннова.

ЯСНОВИДЯЩАЯ С ЦВЕТНОГО БУЛЬВАРА

имеет честь уведомить гг. редакторов, что ей известно, сколько имеют и сколько будут иметь подписчиков любой журнал в будущем 1882 году. Плата за одно слово – рубль.

ДУШЕПРИКАЗЧИКИ КУПЦА ВИСЛЯЕВА

имеют честь уведомить, что 10 рублей, оставленные покойным для выдачи тому, кто напишет невозможно глупую комедию, выданы 15 ноября автору комедии «Город упраздняется».⁴⁶

⁴⁶ ...автору комедии «Город упраздняется». – В. А. Крылову (псевдоним – Викт. Александров). Отдельное издание комедии вышло в 1882 г., СПб.

Тысяча сто сорок четыре издателя «Русской газеты» с глубоким прискорбием извещают своих дядюшек, тетушек, читателей и сотрудников об безвозвратной кончине своего любезного детища «Русской газеты», последовавшей после тяжкого и продолжительного тления. Погребения, за неимением благодетелей, не будет. Тело покойной сдано в анатомический театр. Вскрытие обнаружило атрофию мозга и голодную смерть. Бренные остатки наспиртованы и отправлены, как препарат, в секретное отделение музея Винклера, на Цветном бульваре.

В МУЗЕЕ ВИНКЛЕРА,⁴⁷

на Цветном бульваре,

кроме всевозможной чепухи стран Старого и Нового Света, показываются еще и следующие редкости:

1) **Театральная карета**, сооруженная в 1343 году. Вмещает в себе 26 балерин, 8 благородных отцов и 5 комических старух. Никуда не годна, но величественна. Верх проломан, на прошлой неделе, перед репетицией, воробьем, севшим на карету, дабы воспользоваться ватой, выпавшей из шапки возницы.

2) **Две театральные лошади**, впряженные в означен-

⁴⁷ В музее Винклера ~ следующие редкости... – В. Винклер был содержателем зверинца, а также «музея и выставки механических восковых фигур в рост человека». «Зверинец и обезьянный театр В. Винклера на Цветном бульваре» рекламировался в газете «Московский листок».

ную карету, неопределенной масти, безгривые, бесхвостые, с винтообразными ногами. Одной 84 года, другой – 67. На одной из них в 1812 году был взят в плен французский генерал, маркиз Бланманже. Питаются соломой и бурьяном. Говорят, что это лучшие из театральных лошадей. Для скачек едва ли годны... Театральное дело любят и (о, equina simplicitas!!)⁴⁸ считают себя непремненными членами артистической корпорации.

3) **Портрет иезуита Цитовича** в монашеской одежде. Уста раскрыты, и правая рука внушительно поднята вверх. Под ним подпись: «veni, vidi, non vici⁴⁹, взял и... разумеется, ушел. homo maximissimus».⁵⁰

4) **Аполлон Бельведерский**. Перл искусства. Приобретен за 10 000 руб. Принимая во внимание, что наш музей посещают иногда mesdames, mesdemoiselles и юноши моложе 25 лет, мы, в видах нравственности, по совету г. инспектора училища живописи, нарядили статую в фрачную пару. Одевал Айе, цилиндр от Поша и обувь от Львова.

5) **Сети**, в кои увлекла развратного Антония прекрасная Клеопатра.

6) **Белая крыса** (stultum animal)⁵¹, 1¼ фута роста. Редкий экземпляр. Найдена в 1880 году запеченной в филиппо-

⁴⁸ о, лошадиная простота!! (лат.)

⁴⁹ Пришел, увидел, но не победил (лат.)

⁵⁰ Величайший человек (лат.)

⁵¹ глупое животное (лат.)

вском калаче. Наспиртованный препарат. Новинка для молодых зоологов.

УБНОЙ ВРАЧ ЛУМПЕНМАК

Показывает публике зубы. Ахахаевский проезд, дом № 35½.

И то и се

Поэзия и проза

Прекрасный морозный полдень. Солнце играет в каждой снежинке. Ни туч, ни ветра. На бульварной скамье сидит парочка.

– Я вас люблю! – шепчет он.

На ее щечках играют розовые амурчики.

– Я вас люблю! – продолжает он... – Увидев впервые вас, я понял, для чего я живу, я узнал цель моей жизни! Жизнь с вами – или абсолютное небытие! Дорогая моя! Марья Ивановна! Да или нет? Маня! Марья Ивановна... Люблю... Манечка... Отвечайте, или же я умру! Да или нет?

Она поднимает на него свои большие глаза. Она хочет сказать ему: «да». Она раскрывает свой ротик.

– Ах! – вскрикивает она.

На *его* белоснежных воротничках, обгоняя друг друга, бегут два большущие клопа... О, ужас!!...

* * *

«Милая маменька, – писал некий художник своей маменьке. – Еду к Вам! В четверг утром я буду иметь счастье прижимать Вас к своей полной любовью груди! Чтобы продолжить сладость свидания, я везу с собой... Кого? Угадайте! Нет, не угадаете, маменька! Не угадаете! Я везу с собой чудо красоты, перл человеческого искусства! Везу я (вижу Вашу улыбку) Аполлона Бельведерского!..»

«Милый Колечка! – отвечала маменька. – Очень рада, что ты едешь. Господь тебя благословит! Сам приезжай, а господин Бельведерского не вези с собой, нам и самим есть нечего!..»

* * *

Воздух полон запахов, располагающих к неге: пахнет сиренью, розой; поет соловей, солнце светит... и так далее.

В городском саду, на скамеечке, под широкой акацией сидит гимназист восьмого класса, в новеньком мундирчике, с пенсне на носу и с усиками. Возле него хорошенькая.

Гимназист держит ее за руку, дрожит, бледнеет, краснеет и шепчет слова любви.

– О, я люблю вас! О, если б вы знали, как я люблю вас!

– И я люблю! – шепчет она.

Гимназист берет ее за талию.

– О, жизнь! Как хороша ты! Я утону, захлебнусь в счастье!

Прав был Платон, сказавший, что... Один только поцелуй!

Оля! Поцелуй – и больше ничего на свете.

Она томно опускает глазки... О, и она жаждет поцелуя!

Его губы тянутся к ее розовым губкам... Соловей поет еще громче...

– Идите в класс! – раздается дребезжащий тенор над головою гимназиста.

Гимназист поднимает голову, и с его головы сваливается кепи... Перед ним инспектор...

– Идите в класс!

– Кгм... Теперь большая перемена, Александр Федорович!..

– Идите! У вас теперь латинский урок! Останетесь сегодня на два часа!

Гимназист встает, надевает кепи и идет... идет и чувствует на своей спине ее большие глаза... Вслед за ним семенит инспектор...

* * *

На сцене дают «Гамлета».

– Офелия! – кричит Гамлет. – О, нимфа! помяни мои грехи...

– У вас правый ус оторвался! – шепчет Офелия.

– Помяни мои грехи... А?

– У вас правый ус оторвался!

– Пррроклятие!.. в твоих святых молитвах...

* * *

Наполеон I приглашает на бал во дворец маркизу де Шальи.

– Я приеду с мужем, ваше величество! – говорит m-me Шальи.

– Приезжайте одни, – говорит Наполеон. – Я люблю хорошее мясо без горчицы.

И то и се

(Письма и телеграммы)

Телеграмма

Целую неделю пью за здоровье Сары. Восхитительно! Стоя умирает. Далеко нашим до парижан. В кресле сидишь, как в раю. Маньке поклон. Петров.

Телеграмма

Поручику Егорову. Иди возьми у меня билет. Больше не пойду. Чепуха. Ничего особенного. Пропали только деньги.

От доктора медицины Клонзона к доктору медицины Ферфлюхтеривейн

Товарищ! Вчера я видел С. Б. Грудь паралитическая, плоская. Костный и мышечный скелеты развиты неудовлетворительно. Шея до того длинна и худа, что видны не только *venae jugulares*⁵², но даже и *arteriae carotides*⁵³. *Musculi sterno-*

⁵² яремные вены (лат.)

cleido-mastoidei⁵⁴ едва заметны. Сидя во втором ряду, я слышал анемические шумы в ее венах. Кашля нет. На сцене ее кутали, что дало мне повод заключить, что у нее лихорадка. Констатирую anaemia⁵⁵ и atrophia musculorum⁵⁶. Замечательно. Слезные железы у нее отвечают на волевые стимулы. Слезы капали из ее глаз, и на ее носу замечалась гиперемия, когда ей, согласно театральным законам, нужно было плакать.

От Нади Н. к Кате Х.

Милая Катя! Вчера я была в театре и видела там Сару Бирнар. Ах Катечка сколько у нее бриллиантов! Я всю ночь проплакала от мысли, что у меня никогда не будит столько бриллиантов. О платъи ее передам на словах... Как бы я желала быть Сарой Бирнар. На сцене пили настоящее шинпанское! очень странно Катя я говорю отлично по французски но ничего не поняла что говорили на сцене актеры говорили как то иначе. Я сидела... в галерке мой урод не мог достать другого билета. Урод! жалею что я в понедельник была холодна с С. тот бы достал в партер. С. за поцелуй готов на всё. На зло уроду завтра же у нас будет С. достанет билет тебе и мне.

Твоя Н.

⁵³ сонные артерии (лат.)

⁵⁴ Мышцы грудно-ключично-сосковые (лат.)

⁵⁵ малокровие (лат.)

⁵⁶ истощение мышц (лат.)

От редактора к сотруднику

Иван Михайлович! Ведь это свинство! Шляетесь каждый вечер в театр с редакционным билетом и в то же время не несете ни одной строчки. Что же вы ждете? Сегодня Сара Бернар злоба дня, сегодня про нее и писать нужно. Поспешите, ради бога!

Ответ: Я не знаю, что вам писать. Хвалить? Подождем, пока что другие напишут. Время не уйдет.

Ваш Х.

Буду сегодня в редакции. Приготовьте денег. Если вам жалко билета, то пришлите за ним.

Письмо 2-жи N. к тому же сотруднику

Вы душка, Иван Михайлыч! Спасибо за билет. На Сару посмотрелась и приказываю вам ее похвалить. Спросите в редакции, можно ли и моей сестре сходить сегодня в театр с редакционными билетами?! Премного обяжете.

Примите и проч.

Ваша N.

Ответ. Можно... за плату, разумеется. Плата невелика: позволение явиться к вам в субботу.

К редактору от жены

Если ты не пришлешь мне сегодня билета на Сару Бернар, то не приходи домой. Для тебя, значит, твои сотрудники лучше, чем жена. Чтоб я была сегодня в театре!

От редактора к жене

Матушка! Хоть ты не лезь! У меня и без тебя ходором ходит голова с этой Сарой!

Из записной книжки капельдинера

Нонче впустил четверых. Читирнадцать руб.

Нонче впустил пятерых. Пятнацать р.

Нонче впустил трех и одну мадам. Пятнацать руб.

...Хорошо, что я не пошел в театр и продал свой билет. Говорят, что Сара Бернард играла на французском языке. Всё одно – ничего не понял бы...

Майор Ковалев.

Митя! Сделай милость, попроси как-нибудь помягче свою жену, чтобы она, сидя с нами в ложе, потише восхищалась платьями Сары Бернар. В прошлый спектакль она до того

громко шептала, что я не слышал, о чем говорилось на сцене.
Попроси ее, но помягче. Премного обяжешь.

Твой У.

От слависта Х. к сыну

Сын мой!.. Я открыл свои глаза и увидел знамение раз-
врата... Тысячи людей, русских, православных, толкующих
о соединении с народом, толпами шли к театру и клали свое
золото к ногам еврейки... Либералы, консерваторы...

Душенька! Ты мне лягушку хоть сахаром обсыпь, так я ее
всё равно есть не стану...

Собакевич.

Грешник из Толедо

(Перевод с испанского)

«Кто укажет место, в котором находится теперь ведьма, именуемая себя Марией Спаланцо, или кто доставит ее в заседание судей живой или мертвой, тот получит отпущение грехов».

Это объявление было подписано епископом Барцелоны и четырьмя судьями в один из тех давно минувших дней, которые навсегда останутся неизгладимыми пятнами в истории Испании и, пожалуй, человечества.

Объявление прочла вся Барцелона. Начались поиски. Было задержано шестьдесят женщин, походивших на искомую ведьму, были пытаемы ее родственники... Существовало смешное и в то же время глубокое убеждение, что ведьмы обладают способностью обращаться в кошек, собак или других животных и непременно в черных. Рассказывали, что очень часто охотник, отрезав лапу у нападавшего животного, уносил ее как трофей, но, открывая свою сумку, находил в ней только окровавленную руку, в которой узнавал руку своей жены. Жители Барцелоны убили всех черных кошек и собак, но не узнали в этих ненужных жертвах Марии Спаланцо.

Мария Спаланцо была дочерью одного крупного барцелонского торговца. Отец ее был французом, мать испанкой. От отца получила она в наследство галльскую беспечность и

ту безграничную веселость, которая так привлекательна во француженках, от матери же – чисто испанское тело. Прекрасная, вечно веселая, умная, посвятившая свою жизнь веселому испанскому ничегонеделанию и искусствам, она до двадцати лет не пролила ни одной слезы... Она была счастлива, как ребенок... В тот день, когда ей исполнилось ровно двадцать лет, она выходила замуж за известного всей Барселоне моряка Спаланцо, очень красивого и, как говорили, ученейшего испанца. Выходила она замуж по любви.

Муж поклялся ей, что он убьет себя, если она не будет с ним счастлива. Он любил ее без памяти.

На второй день свадьбы участь ее была решена.

Под вечер отправилась она из дома мужа к матери и заблудилась. Барселона велика, и не всякая испанка сумеет указать вам кратчайшую дорогу от одного конца города до другого. Ей встретился молодой монах.

– Как пройти на улицу св. Марка? – обратилась она к монаху.

Монах остановился и, о чем-то думая, начал смотреть на нее... Солнце уже успело зайти. Взошла луна и бросала свои холодные лучи на прекрасное лицо Марии. Недаром поэты, воспевая женщин, упоминают о луне! При луне женщина во сто крат прекраснее. Прекрасные черные волосы Марии, благодаря быстрой походке, рассыпались по плечам и по глубоко дышавшей, вздымавшейся груди... Поддерживая на шее косынку, она обнажила руки до локтей...

– Клянусь кровью св. Януария, что ты ведьма! – сказал вдруг ни с того ни с сего молодой монах.

– Если бы ты не был монахом, то я подумала бы, что ты пьян! – сказала она.

– Ты ведьма!!

Монах сквозь зубы пробормотал какое-то заклинание.

– Где собака, которая бежала сейчас впереди меня? Собака эта обратилась в тебя! Я видел!.. Я знаю... Я не прожил еще и двадцати пяти лет, а уже уличил пятьдесят ведьм! Ты пятьдесят первая! Я – Августин...

Сказавши это, монах перекрестился, повернул назад и скрылся.

Мария знала Августина... Она многое слышала о нем от родителей... Она знала его как ревностнейшего истребителя ведьм и как автора одной ученой книги. В этой книге он проклинал женщин и ненавидел мужчину за то, что тот родился от женщины, и хвалился любовью ко Христу. Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека? Прошедши полверсты, Мария еще раз встретилась с Августином. Из ворот одного большого дома с длинной латинской надписью вышли четыре черные фигуры. Эти четыре фигуры пропустили ее мимо себя и последовали за ней. В одной из них она узнала того же Августина. Они проводили ее до самого дома.

Через три дня после встречи с Августином к Спаланцо явился человек в черном, с опухшим бритым лицом, по

всем признакам судья. Этот человек приказал Спаланцо идти немедленно к епископу.

– Твоя жена ведьма! – объявил епископ Спаланцо.

Спаланцо побледнел.

– Поблагодари бога! – продолжал епископ. – Человек, имеющий от бога драгоценный дар открывать в людях нечистого духа, открыл нам и тебе глаза. Видели, как она обратилась в черную собаку и как черная собака обратилась в твою жену...

– Она не ведьма, а... моя жена! – пробормотал ошеломленный Спаланцо.

– Она не может быть женою католика! Она жена сатаны! Неужели ты до сих пор не замечал, несчастный, что она не раз уже изменяла тебе для нечистого духа? Иди домой и приведи ее сейчас сюда...

Епископ был очень ученый человек. Слово «femina» производил он от двух слов: «fe» и «minus», на том якобы законном основании, что женщина имеет меньше веры...

Спаланцо стал бледнее мертвеца. Он вышел из епископских покоев и схватил себя за голову. Где и кому сказать теперь, что Мария не ведьма? Кто не поверит тому, во что верят монахи? Теперь вся Барселона убеждена в том, что его жена ведьма! Вся! Нет ничего легче, как убедить в какой-нибудь небывальщине глупого человека, а испанцы все глупы!

– Нет народа глупее испанцев! – сказал когда-то Спаланцо его умирающий отец, лекарь. – Презирай испанцев и не верь

в то, во что верят они!

Спаланцо верил в то, во что верят испанцы, но не поверил словам епископа. Он хорошо знал свою жену и был убежден в том, что женщины делаются ведьмами только под старость...

– Тебя хотят монахи сжечь, Мария! – сказал он жене, пришедши домой от епископа. – Они говорят, что ты ведьма, и приказали мне привести тебя туда... Послушай, жена! Если ты на самом деле ведьма, то бог с тобой! – обратись в черную кошку и убеги куда-нибудь; если же в тебе нет нечистого духа, то я не отдам тебя монахам... Они наденут на тебя ошейник и не дадут тебе спать до тех пор, пока ты не наврешь на себя. Убегай же, если ты ведьма!

Мария в черную кошку не обратилась и не убежала... Она только заплакала и стала молиться богу.

– Послушай! – сказал Спаланцо плачущей жене. – Мой покойный отец говорил мне, что скоро настанет время, когда будут смеяться над теми, которые веруют в существование ведьм. Мой отец был безбожник, но всегда говорил правду. Нужно, значит, спрятаться куда-нибудь и выждать то время... Очень просто! В гавани починяется корабль моего брата Христофора. Я спрячу тебя в этот корабль, и ты не выйдешь из него до тех пор, пока не настанет время, о котором говорил мой отец. Время это, по его словам, настанет скоро...

Вечером Мария сидела уже на самом дне корабля и, дрожа

от холода и страха, прислушивалась к шуму волн и с нетерпением ожидала того невозможного времени, о котором говорил отец Спаланцо.

– Где твоя жена? – спросил Спаланцо епископ.

– Она обратилась в черную кошку и убежала от меня, – соврал Спаланцо.

– Я ожидал, предвидел это! Но ничего. Мы найдем ее... Великий дар у Августина! О, чудный дар! Иди с миром и другой раз не женись на ведьмах! Были примеры, что нечистые духи переселялись из жен в мужей... В прошлом году я сжег одного благочестивого католика, который через прикосновение к нечистой женщине против воли отдал душу свою сатане... Ступай!

Мария долго просидела в корабле. Спаланцо посещал ее каждую ночь и приносил ей всё необходимое. Просидела она месяц, другой, просидела третий, но не наступало желаемое время. Прав был отец Спаланцо, но месяцев мало для предрассудков. Они живучи, как рыбы, и им нужны целые столетия... Мария привыкла к своему новому житью-бытью и уже начала посмеиваться над монахами, которых называла воро?нами... Она прожила бы еще долго и, пожалуй, уплыла бы вместе с починенным кораблем, как говорил Христофор, в далекие страны, подальше от глупой Испании, если бы не случилось одного страшного, непоправимого несчастья.

Объявление епископа, ходившее по рукам барселонцев и наклеенное на всех площадях и рынках, попало и в ру-

ки Спаланцо. Спаланцо прочел это объявление и задумался. Его заняло отпущение грехов, обещанное в конце объявления.

– Хорошо бы получить отпущение грехов! – вздохнул Спаланцо.

Спаланцо считал себя страшным грешником. На его совести лежала масса таких грехов, за которые пошло на костер и умерло на пытке много католиков. В юности Спаланцо жил в Толедо. Толедо в то время был сборным пунктом магов и волшебников... В XII и XIII столетиях там больше, чем где-либо в Европе, процветала математика. От математики в испанских городах до магии один только шаг... Спаланцо под руководством отца тоже занимался магией. Он вскрывал внутренности животных и собирал необыкновенные травы... Однажды он толкал что-то в железной ступе, и из ступы с страшным треском вышел нечистый дух в виде синеватого пламени. Жизнь в Толедо состояла сплошную из подобных грехов. Оставив Толедо после смерти отца, Спаланцо почувствовал вскоре страшные угрызения совести. Один старый, очень ученый монах-доктор сказал ему, что его грехи не простятся ему, если он не получит отпущения грехов за какой-нибудь недюжинный подвиг. За отпущение грехов Спаланцо готов был отдать всё, лишь бы только освободить свою душу от воспоминаний о позорном толедском житье и избежать ада. Он отдал бы половину своего состояния, если бы тогда продавались в Испании индульгенции... Он отпра-

вился бы пешком в святые места, если бы его не удерживали его дела.

«Не будь я ее мужем, я выдал бы ее...» – подумал он, прочитав объявление епископа.

Мысль, что ему стоит только сказать одно слово, чтобы получить отпущение, застряла в его голове и не давала ему покоя ни днем, ни ночью... Он любил свою жену, сильно любил... Не будь этой любви, этой слабости, которую так презирают монахи и даже толедские доктора, пожалуй, можно было бы... Он показал объявление брату Христофору...

– Я выдал бы ее, – сказал брат, – если бы она была ведьма и не была бы такой красивой... Отпущение вещь хорошая... Впрочем, мы не будем в убытке, если подождем смерти Марии и выдадим ее тем воронам мертвую... Пусть сожгут мертвую... Мертвым не больно. Она умрет, когда мы будем стары, а в старости-то нам и понадобится отпущение...

Сказавши это, Христофор захохотал и ударил брата по плечу.

– Я могу умереть раньше ее, – заметил Спаланцо. – Но, клянусь богом, я выдал бы ее, если бы не был ее мужем!

Через неделю после этой беседы Спаланцо ходил по палубе корабля и бормотал:

– О, если бы она была мертвой! Живую я ее не выдам, нет! Но я выдал бы ее мертвой! Я обманул бы тех старых проклятых ворон и получил бы от них отпущение!

И глупый Спаланцо отравил свою бедную жену...

Труп Марии был отнесен Спаланцо в заседание судей и предан сожжению.

Спаланцо получил отпущение толедских грехов... Его простили за то, что он учился лечить людей и занимался наукой, которая впоследствии стала называться химией. Епископ похвалил его и подарил ему книгу собственного сочинения... В этой книге ученый епископ писал, что бесы чаще всего вселяются в женщин с черными волосами, потому что черные волосы имеют цвет бесов.

Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи, предлагаемые Антошей Чехонте

16) *Умный* вы человек или *дурень*?

17) Вы *честный человек*? *мошенник*? *разбойник*? *каналья*? *адвокат* или?

18) Какой фельетонист вам более по душе? *Суворин*? *Буква*? *Амикус*? *Лукин*? *Юлий Шрейер* или?⁵⁷

19) *Иосиф* вы или *Калигула*? *Сусанна* или *Нана*?⁵⁸

20) Жена ваша *блондинка*? *брюнетка*? *шантретка*? *рыжая*?

21) *Бьет* вас жена или *нет*? Вы *бьете* ее или *нет*?

22) Сколько вы весили фунтов, когда вам было десять лет?

⁵⁷ Какой фельетонист вам более по душе? ~ *Буква*? *Амикус*? *Лукин*? *Юлий Шрейер*... – *Буква* – псевдоним редактора «Стрекозы» И. Ф. Василевского (1850—1920). Так он подписывал свои воскресные фельетоны в «Биржевых ведомостях». *Амикус* – псевдоним П. А. Монтеверде (1839—1915), фельетониста «С.-Петербургских ведомостей» и «Петербургской газеты», в которой с 1881 г. он был редактором. А. П. Лукин (ум. 1905) был сотрудником газет «Русские ведомости» (псевдоним – «Скромный наблюдатель») и «Новости», где постоянно вел московский фельетон. Ю. О. Шрейер (1835—1887) – историк и журналист, в 1871—1873 гг. редактор, позднее – фельетонист газеты «Новости».

⁵⁸ *Иосиф* вы или *Калигула*? *Сусанна* или *Нана*? – *Иосиф* (библ.) считался олицетворением кротости, римский император *Калигула* – жестокости; целомудренная *Сусанна* (библ.) сравнивается с куртизанкой *Нана*, героиней романа Э. Золя.

23) Горячие напитки употребляете? *да* или *нет*?

24) О чем вы думали в ночь переписи?

25) Сару Бернар *видели*? *нет*?

На волчьей садке

Говорят, что теперь девятнадцатое столетие. Не верьте, читатель.

В среду, шестого января, в европейском и даже в столичном городе Москве, в галереях летнего конского бега, тесно прижавшись друг к другу, теснясь и наступая друг другу на ноги, сидели люди и наслаждались зрелищем. Не только это зрелище, но даже и описание его есть анахронизм... Нам ли, нервным, слезливым фрачникам, променявшим мускул на идею, театралам, либералам *et tutti quanti*⁵⁹, описывать травлю волков?! Нам ли?!

Выходит так, что нам... Делать нечего, будем описывать.

Прежде всего, я не охотник. Я во всю жизнь мою ничего не бил. Бил разве одних блох, да и то без собак, один на один. Из всех огнестрельных орудий мне знакомы одни только маленькие оловянные пистолетики, которые я покупал своим детям к елке. Я не охотник, а посему прошу извинения, если я перевру. Врут обыкновенно все неспециалисты. Постараюсь обойти те места, где бы мне можно было похвастать незнанием охотничьих терминов; буду рассуждать так, как рассуждает публика, т. е. поверхностно и по первому впечатлению...

Первый час. Позади галереи толпятся кареты, роскошные

⁵⁹ и всяким иным, подобным (*итал.*)

сани и извозчики. Шум, гвалт... Экипажей так много, что приходится толпиться... В галереях конского бега, в ено-тах, бобрах, лисицах и барашках, заседают жеребятники, кобелятники, борзятники, перепелятники и прочие лятники, мерзнут и сгорают от нетерпения. Тут же заседают, разумеется, и дамы... Без дам нигде дело не обходится. Хорошеньких, сверх обыкновения, почему-то очень много... Дам столько же, сколько и мужчин... Они тоже сгорают от нетерпения. На верхних скамьях мелькают гимназические фуражки. И гимназисты пришли поглазеть, и они тоже сгорают от нетерпения и постукивают калошами. Любители, ценители и критиканы, приперевшие на Ходынку пехтурой и не имеющие рубля, толпятся у заборов, по колена в снегу, вытягивают шеи и тоже сгорают от нетерпения. На арене несколько возов. На возах деревянные ящики. В ящиках наслаждаются жизнью герои дня – волки. Они, по всей вероятности, не сгорают от нетерпения...

Публика, пока еще не началась травля, любитесь российскими красавицами, разъезжающими по арене на хороших лошадках... Самые ужасные, отчаянные охотники критикуют собачню, приготовленную для травли. У всех в руках афиши. В дамских ручках афиши и бинокли.

– Самое приятное занятие-с, – обращается к своему соседу старичок с ошипанной бородой, в фуражке с кокардой, по всем признакам, давным-давно уже промотавшийся дворянин. – Самое приятное занятие-с... Бывало, выедешь это

с компанией... Выедешь чуть свет... И дамы тоже.

– С дамами не стоит ездить, – перебивает старичка сосед.

– Почему ж?

– А потому, что при дамах ругаться нельзя. А нешто можно на охоте не ругаться?

– Невозможно. Но у нас были такие дамы, что сами ругались... Бывало, Марья Карловна, если изволите знать-с, барона Глянсера дочь... ругалась страсть как! И ты, кричит, чёрт, сатана, такой-сякой... И так далее-с... Многоточие-с... Первая гроза для нижних чинов была. Чуть что – сейчас нагайкой.

– Мама, волки в ящиках? – спрашивает гимназист в огромнейшем башлыке, обращаясь к даме с большими красными щеками.

– В ящиках.

– А они не могут выскочить?

– Отстань! Вечно ты с вопросами... Утри нос! Спрашивай о чем-нибудь умном... Чего о глупостях спрашивать?

На арене замечается усиленное движение... Человек шесть, посвященных в таинства охоты, несут один ящик и ставят его посреди арены... В публике волнение.

– Господин! Чьи собаки сейчас пойдут?

– Можаровские! Мм... Нет, не можаровские, а шереметьевские!

– И вовсе не шереметьевские! Борзые Можарова! Вон он, черный Можарова! Видите? Или разве шереметьевские. Да,

да, да... Так, так, так... Господа, шереметьевские! Шереметьевские, можаровские вон они.

По ящику стучат молотком... Нетерпение достигает *maximum'a*... От ящика отходят... Один дергает за веревку, стены темницы падают, и глазам публики представляется серый волк, самое почтенное из российских животных. Волк оглядывается, встает и бежит... За ним мчатся шереметьевские собаки, за шереметьевскими бежит не по уставу можаровская собака, за можаровской собакой борзятник с кинжалом...

Не успел волк отбежать и двух сажен, как он уже мертв... Отличились и собаки и борзятник... и «бравооо! – кричит публика. – Брааво! Bravo! Зачем Можаров спустил не в очередь? Можаров, шшш!.. Бра... ввво!» То же самое проделывается и с другим волком...

Раскрывается третий ящик. Волк сидит и ни с места. Перед его мордой хлопают бичом. Наконец он поднимается, как бы утомленный, разбитый, едва влача за собою задние ноги... Осматривается... Нет спасения! А ему так жить хочется! Хочется жить так же сильно, как и тем, которые сидят на галерее, слушают его скрежет зубовный и глядят на кровь. Он пробует бежать, но не тут-то было! Свечинские собаки хватают его за шерсть, борзятник вонзает кинжал в самое сердце и – *vae victis!*⁶⁰ – волк падает, унося с собою в могилу плохое мнение о человеке... Не шутя, осрамился человек

⁶⁰ горе побежденным! (*лат.*)

перед волками, затеяв эту quasi-охоту!.. Другое дело – охота в степи, в лесу, где людскую кровожадность можно слегка извинить возможностью равной борьбы, где волк может защищаться, бежать...

Публика неистовствует, и так неистовствует, как будто бы на нее самое спустили всех собак со всего света...

– Зарежьте в ящике! Хороша охота! Скверно!

– Зачем же вы кричите, если вы не понимаете? Ведь вы никогда не были на охоте?

– Не был.

– Зачем же вы кричите? Что вы понимаете? По-вашему, значит, отдать волку собак, пусть их рвет? Так, по-вашему? Так?

– Да послушайте! Какое же удовольствие видеть зарезанного волка? Собакам не дают разбежаться!

– Ш-ш-ш... Фюйт!

– Чьи это собаки? – неистовствует барин в енотовой шубе. – Мальчик, поди справься, чьи это собаки!

– Лебушевские! Шереметьевские! Можаровские!

– Чей кобель?..

– Можарова! Славный кобель!.. Можарова!..

– В ящике нарежьте!..

Публике не нравится, что волка так рано зарезали... Нужно было волка погонять по арене часа два, истукать его собачьими зубами, истоптать копытами, а потом уже зарезать... Мало того, что он уже был раз травлен, словлен и отсидел ни

за что ни про что несколько недель в тюрьме.

Собаки и борзятник Стаховича берут волка живьем... Счастливого волка сажают опять в ящик. Один волк перескакивает через барьер. За ним гонятся собаки, борзятники. Сумей он вбежать в город, Москве посчастливилось бы узреть на своих улицах и переулках бесподобную травлю!..

В антрактах, полных томительного ожидания, публика хочет и (не верите?) кричит, браво: ей нравится десятикопечная лошадка, на которой увозят опустевшие ящики с середины арены на прежнее место. Лошадка не идет, а подпрыгивает, подпрыгивает не ногами, а всем корпусом и в особенности головой. Это нравится публике, и она неистовствует.

Счастливая лошадка! Думала ли когда-нибудь она или ее родители, что ей когда-нибудь будут аплодировать?

Слышится отрывистый лай, и на сцену появляется стая гончих... Большой волк отдается им на растерзание. Гончие рвут, а борзые, которых не пускают, визжат от зависти.

– Брааво! браваао! – кричит публика. – Браво, Николай Яковлевич!

Николай Яковлевич раскланивается перед публикой с шиком, которому позавидовал бы любой артист-бенефициант.

– Подавай лисицу! – кричит он в исступлении.

На середину арены выносят маленький ящик и выпускают из него хорошенькую лисичку. Лисичка бежит, бежит... за ней бегут гончие. Никто не видел, где собаки схватили лису.

– Ушла лиса! – кричит публика. – Упустили! Ушла!

Николай Яковлевич показывается с лисицей в руке, и публика конфузится. Чтобы собрать гончих в стаю, требуется немало людей и времени. Собаки непослушные, дисциплина плохая... Гончие не нравятся публике.

Вообще публика страшно мерзнет, но очень довольна. Дамы в восторге.

– Хорошо за границей, – говорит одна дамочка. – Там есть бой быков, бой петухов... Отчего у нас не введут этого, в России?

– А потому, сударыня, что за границей есть быки, а у нас их не водится!.. – отвечает даме старичок с кокардой.

Наконец выпускают последнего волка. Этого волка закалывают, и публика, рассуждая о том, какие собаки хороши, а какие плохи, разъезжается по домам.

В заключение вопросик: какова цель всей этой кукольной комедии? Собаками похвастаться нельзя, потому что места мало; удаль показать также негде. Какова мораль?

Мораль самого скверного свойства. Пощекотали женские нервы и больше ничего! Сбор, впрочем, тысячный. Но не смею думать, чтобы всё это делалось для сбора. Сбором можно окупить все расходы, но нельзя окупить тех маленьких разрушений, которые, быть может, произведены этой травлей в маленькой душе вышеупомянутого гимназистика.

Комические рекламы и объявления

(Сообщил Антоша Чехонте)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗУБНОГО ВРАЧА ГВАЛТЕРА ⁶¹

До сведения моего досло, что мои пациенты принимают недавно прибывшего зубного врача Гвалтера за меня; а потому имею честь известить, что я живу в Мошкве и просу моих пациенты не смешивать меня с Гвалтером. Не он Гвалтер, а я – Гвалтер. Вставляю зубья, продаю социненный мною толченый мел для циски зубьев и имею самую большую вывеску. Вижиты делаю с белым галстухом.

Зубной врач при зверинце Винклера – Гвалтер.

⁶¹ *Заявление зубного врача Гвалтера...* – В «Московском листке», 1882, № 30, было напечатано и затем повторялось в нескольких номерах «Заявление зубного врача Григория Николаевича Вальтера» («До сведения моего дошло, что мои пациенты принимают недавно прибывшего зубного врача Вальтера за меня»), вызванное московской рекламой А. А. Вальтера («Специальное лечение. Александр Александрович Вальтер, состоящий при Министерстве внутренних дел» – «Московский листок», 1882, № 43). Имя «Вальтер» было знакомо Чехову уже в Таганроге («Американский зубной врач Иосиф Александрович Вальтер прибыл в Таганрог...» – «Азовский вестник», 13 июля 1875 г.).

В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ ЛЕУХИНА⁶²

продаются следующие ужасные книги:

Самоучитель пламенной любви, или Ах, ты, скотина! Сочинение Идиотова, цена 1 р. 80 к.

Собрание писем. Соч. доктора сквернословия Мерзавцева, ц. 4 р.

Таинственные тайны таинственной любви, или Портфель любовных наслаждений, ц. 5 р.

Словарь всех неприличных слов, употребляемых во всех странах света. Ц. 7 р.

Записки женского чулка, или Ай да невинность! Ц. 1 р. 50 к.

Способ совращать, обольщать, портить, разжигать и проч. Настольная книга для молодых людей. Цена 6 р. за 4 тома.

Тайны природы, или Что такое любовь? Книга для детей младшего возраста с политипажамми в тексте. Ц. 3 р. 50 к.

Выписывающим 25% уступка. Покупающие более чем на

⁶² В книжном магазине Леухина ~ ужасные книги: – Книжный магазин книгопродавца-издателя С. И. Леухина действительно рекламировал книги, названия которых уже и сами по себе звучали пародийно: «Великий маг и чародей, сокровищница всех волшебных, таинственных и магических наук»; «10 000 анекдотов всех веков и народов»; «Тайны ада и его обитатели», «Портфель секретных развлечений и тайны любовной школы», «Цветы любви, или Адская почта любовных наслаждений» и т. п. – «Московский листок», 1881, № 137 и след. В 1884 г. Чехов снова высмеял «перлы леухинского объявления» в «Осколках московской жизни».

50 р. получают бесплатно 50 фотографических карточек и часовой ключик с панорамой.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1882 ГОД

на большую ежедневную политическую, литературную, коммерческую и удивительную газету «НОВОСТИ И БИРЖЕВАЯ ГАЗЕТА»⁶³

издаваемую акционерным товариществом с основным капиталом 3 000 000 финск. мар., или около 1 200 000 р., разделенных на 3 000 акций по 1 000 ф. м. каждая.

Газета «Новости» имеет:

собственные две писчебумажные фабрики, собственного очень остроумного редактора, собственную типографию, собственный книжный магазин

и, с 1882 года, будет иметь:

собственный дом, собственную конюшню для собственных ослов, собственный дом для умалишенных, собственное долговое отделение и собственную портерную.

Газета печатается на акциях вышеупомянутого товарищества.

⁶³ ...«Новости и Биржевая газета» ~ две писчебумажные фабрики ~ остроумного редактора... – Издателем-редактором этой ежедневной газеты, начавшей выходить 1 июля 1880 г., был драматург и фельетонист О. К. Нотович. Газета финансировалась акционерным товариществом писчебумажных фабрик (с сентября 1881 по январь 1882 г.). позднее – акционерным обществом печатного дела в СПб. «Гутенберг».

СБЕЖАЛИ ПОДПИСЧИКИ.

Кто найдет их, тот пусть доставит в редакцию «Минуты». Вознаграждение – рукопожатие редактора.⁶⁴

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ СЛЕДУЮЩИЕ СОЧИНЕНИЯ ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО СМИРНОВА:⁶⁵

Кулачное право. Перевод с татарского. Для студентов-юристов. Ц. 1 р.

Бить или не бить? Ц. 3 р.

Физиология кулака. Ц. 1 р.

Книгопродавцам и присяжным поверенным – уступка.

В МОСКВУ ПРИБЫЛИ:⁶⁶

⁶⁴ ...в редакцию «Минуты» ~ рукопожатие редактора. – Редактором ежедневной петербургской газеты «Минута» в 1882 г. был И. А. Баталин (1844—1918). Упоминается и в «Календаре „Будильника“» (стр. 152).

⁶⁵ Поступили в продажу ~ присяжного поверенного Смирнова. – В 1882 г. в московских газетах шумно обсуждалась кулачная дуэль между адвокатом М. Н. Смирновым и председателем совета присяжных поверенных в Окружном суде.

⁶⁶ В Москву прибыли ~ Нана Сухоровская... – Пародийное сочетание названия картины и фамилии живописца М. Т. Сухоровского. Объявления о выставке картины «Нана», открывшейся в Петровских торговых линиях, печатались «Московским листком». Об этой выставке фельетонист журнала «Москва» Козьма Стручков писал: «Картина „Нана“, за созерцание коей взимается по 50 коп.

Французская подданная Нана Сухоровская из Петербурга. Остановилась в Петровских линиях.

ИЗ МОСКВЫ ВЫБЫЛИ:

Корреспондент Молчанов в Южный полюс.⁶⁷

Сто сорок пять адвокатов в Таганрог.⁶⁸

МУЗЫКАЛЬНО-ВОКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНО-ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР С УЧАСТИЕМ Г-ЖИ НАНЫ СУХОРОВСКОЙ

в пользу пострадавших от Везувия жителей Геркуланума и Помпеи, в Славянском базаре, 29-го февраля.

Программа:

«Холодно, страннички, холодно!» Проплачет г. Иванов-Козельский.⁶⁹

сер. с человека, принадлежит к тому роду каскадной живописи, до коей очень падки облысевшие, вылинявшие старички... Смеем уверить почтенных художников, что не дешевенькая мораль и не ханжество подсказывают нам настоящее к ним обращение, а полное убеждение в негодности их труда» (1882, № 25, стр. 197).

⁶⁷ *Из Москвы выбыли: Корреспондент Молчанов в Южный полюс.* – А. Н. Молчанов (1847—1919) был иностранным корреспондентом «Нового времени».

⁶⁸ *Сто сорок пять адвокатов в Таганрог.* – В Таганроге начинался судебный процесс по делу М. Вальяно, обвинявшегося в контрабанде и таможенных махинациях.

⁶⁹ *Проплачет г. Иванов-Козельский.* – Критический отзыв Чехова об игре М. Т. Иванова-Козельского (1850—1898) дан также в фельетоне «Гамлет на Пушкинской сцене», 1882; «Все первое действие г. Иванов-Козельский прохныкал» (наст. изд., т. XVI).

«Где же у нас таланты?!? Чёрт возьми!» Пронегодует г. Аверкиев.⁷⁰

«Голова голове головою голову пробил». Прошипит редактор Ланин.⁷¹

«Виновата ли я...» Споеет т-те Бренко.⁷²

«Нужда скачет, нужда пляшет...» Цыганский танец, исполнят артисты Пушкинского театра.

«А вот Николай-покойник да я...» Увертюра, исполнит г. Шостаковский.⁷³

«Не всяк тот нищ, кто наг!» Пропоет, танцуя, г-жа Нана Сухоровская.

⁷⁰ *Пронегодует г. Аверкиев.* – Исторические драмы и «повести из современного быта» малодаровитого беллетриста и поэта Д. В. Аверкиева (1836—1905) отличались выпяченной риторичностью стиля.

⁷¹ *Прошипит редактор Ланин.* – Издатель-редактор газеты «Русский курьер» Н. П. Ланин (1832—1895) был владельцем фирмы шампанского и шипучих вод. «Ланинское шампанское» упомянуто у Чехова в юмореске «Перед свадьбой» (см. в этом томе стр. 46).

⁷² *«Виновата ли я...» Споеет т-те Бренко.* – Актриса А. А. Бренко (1849—1934) в 1880 г. основала «театр близ памятника Пушкину» (Пушкинский театр); в 1882 г. из-за материальных затруднений театр перешел в руки Ф. А. Корша. Заметка «Падение театра Бренко» появилась в «Московском листке» 7 февраля. М. П. Чехов писал: «...антрепренерша мадам Бренко, про которую Антон Чехов как-то сострил, что она производит свою фамилию от немецкого глагола „brennen“, что значит „гореть, прогорать“» (Вокруг Чехова, стр. 190—191).

⁷³ *«А вот Николай-покойник да я...» исполнит Г. Шостаковский.* – П. А. Шостаковский (1851—1917), основатель Московского филармонического общества и Музыкальной школы, пианист и дирижер (см. ниже комментарий к рассказу «Два скандала»), находился во враждебных отношениях с Н. Г. Рубинштейном (1835—1881), главой Русского музыкального общества.

«Для чего скромничать? Пушкин первый, Лермонтов второй, а я, Величков, – третий...» За не умеющего читать г. Величкова⁷⁴ прочтут его друзья.

«Завтра, завтра, не сегодня – так ленивцы говорят!» Споеет редактор «Слепца»...⁷⁵

Начало в 7½ час.

На случай обмороков от духоты (45° R) имеется врач и даровой нашатырный спирт.

⁷⁴ *За неумеющего читать г. Величкова...* – Подразумевается, очевидно, издатель-редактор литературного листка для легкого чтения «Спутник».

⁷⁵ *«Завтра, завтра ~ Споеет редактор „Слепца“...* – Намек на В. В. Давыдова, издателя-редактора журнала «Зритель», выходявшего с опозданиями и перерывами. М. П. Чехов по этому поводу вспоминал: «Дело погибало, и, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить положение, Давыдов напечатал сообщение, что у художника Н. П. Чехова заболели глаза, что он почти ослеп и по этому поводу выход журнала в свет временно приостанавливается» (Вокруг Чехова, стр. 102).

Задачи сумасшедшего математика

1) За мной гнались 30 собак, из которых 7 были белые, 8 серые, а остальные черные. Спрашивается, за какую ногу укусили меня собаки, за правую или левую?

2) Автолимед родился в 223 году⁷⁶, а умер после того, как прожил 84 года. Половину жизни провел он в путешествиях, треть жизни потратил на удовольствия. Сколько стоит фунт гвоздей, и был ли женат Автолимед?

3) Под Новый год из маскарада Большого театра было выведено 200 человек за драку. Если дравшихся было двести, то сколько было бранившихся, пьяных, слегка пьяных и желавших, но не находивших случая подраться?

4) Что получается по сложению сих чисел?

5) Куплено было 20 цибиков чая. В каждом цибике было по 5 пудов, каждый пуд имел 40 фунтов. Из лошадей, везших чай, две пали в дороге, один из возчиков заболел, и 18 фунтов рассыпалось. Фунт имеет 96 золотников чая. Спрашивается, какая разница между огуречным рассолом и недоумением?

6) Английский язык имеет 137 856 738 слов, французский в 0,7 раз больше. Англичане сошлись с французами и соединили оба языка воедино. Спрашивается, что стоит тре-

⁷⁶ Автолимед родился в 223 году... – Вымышленное имя. Повторено в «Календаре „Будильника“ на 1882 год» (стр. 143).

тий попугай и сколько понадобилось времени, чтобы покорить сии народы?

7) В среду 17-го июня 1881 года в 3 часа ночи должен был выйти со станции А поезд железной дороги, с тем, чтобы в 11 час. вечера прибыть на станцию В; но при самом отправлении поезда получено было приказание, чтобы поезд прибыл на станцию В в 7 часов вечера. Кто продолжительнее любит, мужчина или женщина?

8) Моей теще 75 лет, а жене 42. Который час?

Сообщил Антоша Чехонте

Забыл!!

Когда-то ловкий поручик, танцор и волокита, а ныне толстенный, коротенький и уже дважды разбитый параличом помещик, Иван Прохорыч Гауптвахтов, утомленный и замученный жениными покупками, зашел в большой музыкальный магазин купить нот.

– Здравствуйте-с!.. – сказал он, входя в магазин. – Позвольте мне-с...

Маленький немец, стоявший за стойкой, вытянул ему навстречу свою шею и состроил на лице улыбающийся вопрошительный знак.

– Что прикажете-с?

– Позвольте мне-с... Жарко! Климат такой, что ничего не поделаешь! Позвольте мне-с... Мммм... мне-е... Мм... Позвольте... Забыл!!

– Припомните-с!

Гауптвахтов положил верхнюю губу на нижнюю, сморщил в три погибели свой маленький лоб, поднял вверх глаза и задумался.

– Забыл!! Экая, прости господи, память демонская! Да вот... вот... Позвольте-с... Мм... Забыл!!

– Припомните-с...

– Говорил ей: запиши! Так нет... Почему она не записала? Не могу же я всё помнить... Да, может быть, вы сами знаете?

Пьеса заграничная, громко так играется... А?

– У нас так много, знаете ли, что...

– Ну да... Понятно! Мм... Мм... Дайте припомнить... Ну, как же быть? А без пьесы и ехать нельзя – загрызет Надя, дочь то есть; играет ее без нот, знаете ли, неловко... не то выходит! Были у ней ноты, да я, признаться, нечаянно керосином их облил и, чтоб крику не было, за комод бросил... Не люблю бабьего крику! Велела купить... Ну да... Ффф... Какой кот важный! – И Гауптвахтов погладил большого серого кота, валявшегося на стойке... Кот замурлыкал и аппетитно потянулся.

– Славный... Сибирский, знать, подлец!.. Породистый, шельма... Это кот или кошка?

– Кот.

– Ну чего глядишь? Рожа! Дурак! Тигра! Мышей ловишь? Мяу, мяу? Экая память анафемская!.. Жирный, шельмец! Котеночка у вас от него нельзя достать?

– Нет... Гм...

– А то бы я взял... Жена страсть как любит ихнего брата – котов!.. Как же быть теперь? Всю дорогу помнил, а теперь забыл... Потерял память, шабаш! Стар стал, прошло мое время... Помирать пора... Громко так играется, с фокусами, торжественно... Позвольте-с... Кгм... Спою, может быть...

– Спойте... oder...⁷⁷ oder... или посвистайте!..

⁷⁷ или (нем.)

– Свистеть в комнате грех... Вон у нас Седельников свистел, свистел да и просвистелся... Вы немец или француз?

– Немец.

– То-то я по облику замечаю... Хорошо, что не француз... Не люблю французов... Хрю, хрю, хрю... свинство! Во время войны мышей ели... Свистел в своей лавке от утра до вечера и просвистел всю свою бакалию в трубу! Весь в долгах теперь... И мне двести рублей должен... Я иногда певал себе под нос... Гм... Позвольте-с... Я спою... Стойте. Сейчас... Кгм... Кашель... В горле свербит...

Гауптвахтов, щелкнув три раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой:

– То-то-ти-то-том... Хо-хо-хо... У меня тенор... Дома я больше всё дишкантом... Позвольте-с... Три-ра-ра... Кгррм... В зубах что-то застряло... Тьфу! Семечко... О-то-о-о-уу... Кгррм... Простудился, должно быть... Пива холодного выпил в биргалке... Тру-ру-ру... Всё этак вверх... а потом, знаете ли, вниз, вниз... Заходит этак бочком, а потом берется верхняя нота, такая рассыпчатая... то-то-ти... рууу. Понимаете? А тут в это время басы берут: гу-гу-гу-туту... Понимаете?

– Не понимаю...

Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки.

– Не понимаете? Жаль... Впрочем, я не так пою... Забыл совсем, экая досада!

– Вы сыграйте на рояли... Вы играете?

– Нет, не играю... Играл когда-то на скрипке, на одной струне, да и то так... сдуру... Меня не учили... Брат мой Назар играет... Того учили... Француз Рокат, может быть, знаете, Венедикт Францыч учил... Такой потешный французишка... Мы его Буонапартом дразнили... Сердился... «Я, говорит, не Буонапарт... Я республик Франце»... И рожа у него, по правде сказать, была республиканская... Совсем собачья рожа... Меня покойный мой родитель ничему не учил... Дед, говаривал, твоего Иваном звали, и ты Иван, а потому ты должен быть подобен деду своему во всех своих поступках: на военную, прохвост! Пороху!! Нежностей, брат... брат... Я, брат... Я, брат, нежностей тебе не позволяю! Дед, в некотором роде, кониной питался, и ты оной питайся! Седло под головы себе клади вместо подушки!.. Будет мне теперь дома! Заедят! Без нот и приезжать не велено... Прощайте-с, в таком случае! Извините за беспокойство!.. Сколько эта рояля стоит?

– Восемьсот рублей!

– Фу-фу-фу... Батюшки! Это называется: купи себе роялю и без штанов ходи! Хо-хо-хо! Восемьсот руб... лей!!! Губа не дура! Прощайте-с! Шпрехензи! Гебензи...⁷⁸ Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца... После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры, как сказать по-немецки: «Покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль»? А он мне и

⁷⁸ Говорите! Дайте... (нем. sprechen Sie, geben Sie).

говорит... и говорит... Позвольте-с... И говорит: «Их либе дих фон ганцен герцен!» А это что значит?

– Я... я люблю тебя, – перевел немец, стоявший за стойкой, – от всей сердца!

– Ну вот! Я подошел к хозяйской дочке, да так прямо и сказал... С ней конфуз... Чуть до истерики дело не дошло... Комиссия! Прощайте-с! За дурной головой и ногам больно... Так и мне... С дурацкой памятью беда: раз двадцать сходишь! Будьте здоровы-с!

Гауптвахтов отворил осторожно дверь, вышел на улицу и, прошедши пять шагов, надел шляпу.

Он ругнул свою память и задумался...

Задумался он о том, как приедет он домой, как выскочат к нему навстречу жена, дочь, детишки... Жена осмотрит покупки, ругнет его, назовет каким-нибудь животным, ослом или быком... Детишки набросятся на сладости и начнут с остервенением портить свои уже попорченные желудки... Выйдет навстречу Надя в голубом платье с розовым галстуком и спросит: «Купил ноты?» Услышавши «нет», она ругнет своего старого отца, запрется в свою комнатку, разревется и не выйдет обедать... Потом выйдет из своей комнаты и, заплаканная, убитая горем, сядет за рояль... Сыграет сначала что-нибудь жалостное, пропоет что-нибудь, глотая слезы... Под вечер Надя станет веселей, и наконец, глубоко и в последний раз вздохнувши, она сыграет это любимое: то-то-ти-то-то...

Гауптвахтов треснул себя по лбу и, как сумасшедший, побежал обратно к магазину.

– То-то-ти-то-то, огого! – заголосил он, вбежав в магазин. – Вспомнил!! Вот самое! То-то-ти-то-то!

– Ах... Ну, теперь понятно. Это рапсодия Листа, номер второй...⁷⁹ *Hongroise*...⁸⁰

– Да, да, да... Лист, Лист! Побей меня бог, Лист! Номер второй! Да, да, да... Голубчик! Оно самое и есть! Родненький!

– Да, Листа трудно спеть... Вам какую же, *original*⁸¹ или *facilitá*?⁸²

– Какую-нибудь! Лишь бы номер второй, Лист! Бедовый этот Лист! То-то-ти-то... Ха-ха-ха! Насилу вспомнил! Точно так!

Немец достал с полки тетрадку, завернул ее с массой каталогов и объявлений и подал сверток просиявшему Гауптвахтову. Гауптвахтов заплатил восемьдесят пять копеек и вы-

⁷⁹ ...*рапсодия Листа, номер второй*... – С этой рапсодией связано воспоминание М. П. Чехова, относящееся к 1882 г.: «На Всероссийской выставке был особый музыкальный отдел, на котором были выставлены разными фирмами музыкальные инструменты, главным образом рояли П. А. Шостаковский впервые сыграл в этом музыкальном отделе известную рапсодию Листа. Она так увлекла моих братьев Николая и Антона, что с тех пор эту рапсодию можно было слышать по нескольку раз в день у нас дома в исполнении Николая» (Вокруг Чехова, стр. 135).

⁸⁰ Венгерская... (*франц.*)

⁸¹ оригинальную (*франц.*)

⁸² облегченную? (*франц.*)

ШЕЛ, ПОСВИСТЫВАЯ.

Жизнь в вопросах и восклицаниях

Детство. Кого бог дал, сына или дочь? Крестить скоро? Крупный мальчик! Не урони, мамка! Ах, ах! Упадет!! Зубки прорезались? Это у него золотуха? Возьмите у него кошку, а то она его оцарапает! Потяни дядю за ус! Так! Не плачь! Домовой идет! Он уже и ходить умеет! Унесите его отсюда – он невежлив! Что он вам наделал?! Бедный сюртук! Ну, ничего, мы высушим! Чернило опрокинул! Спи, пузырь! Он уже говорит! Ах, какая радость! А ну-ка, скажи что-нибудь! Чуть извозчики не задавили!! Прогнать няньку! Не стой на сквозном ветре! Постыдитесь, можно ли бить такого маленького? Не плачь! Дайте ему пряник!

Отрочество. Иди-ка сюда, я тебя высеку! Где это ты себе нос разбил? Не беспокой мамашу! Ты не маленький! Не подходи к столу, тебе после! Читай! Не знаешь? Пошел в угол! Единица! Не клади в карман гвоздей! Почему ты мамаша не слушаешься? Ешь как следует! Не ковыряй в носу! Это ты ударил Митю? Пострел! Читай мне «Демьянову уху»! Как будет именительный падеж множественного числа? Сложи и вычти! Вон из класса! Без обеда! Спать пора! Уже девять часов! Он только при гостях шалит! Врешь! Причешись! Вон из-за стола! А ну-ка, покажи свои отметки! Уже порвал сапоги?! стыдно реветь такому большому! Где это ты мундир запачкал? На вас не напасешься! Опять единица? Когда, на-

конец, я перестану тебя пороть? Если ты будешь курить, то я тебя из дома выгоню! Как будет превосходная степень от *facilis*?⁸³ *Facilissimus*? Врете! Кто это вино выпил? Дети, обезьяну на двор привели! За что вы моего сына на второй год оставили? Бабушка пришла!

Юношество. Тебе еще рано водку пить! Скажите о последовательности времен! Рано, рано, молодой человек! В ваши лета я еще ничего такого не знал! Ты еще боишься при отце курить? Ах, какой срам! Тебе кланялась Ниночка! Возьмите Юлия Цезаря! Здесь *ut consecutivum*?⁸⁴ Ах, душка! Оставьте, барин, а то я... папеньке скажу! Ну, ну... шельма! Браво, у меня уже усы растут! Где? Это ты нарисовал, а не растут! У Nadine прелестный подбородок! Вы в каком теперь классе? Согласитесь же, папа, что мне нельзя не иметь карманных денег! Наташа? Знаю! Я был у нее! Так это ты? Ах ты, скромник! Дайте покурить! О, если б ты знал, как я ее люблю! Она божество! Кончу курс в гимназии и женюсь на ней! Не ваше дело, татап! Посвящаю вам свои стихи! Оставь покурить! Я пьянею уже после трех рюмок! *Bis! bis!* Браааво! Неужели ты не читал Борна?⁸⁵ Не косинус, а синус! Где тангенс? У Соньки плохие ноги! Можно поцеловать? Вы-

⁸³ легкий? (*лат.*)

⁸⁴ ...*ut consecutivum*? – В латинском языке грамматический оборот, употребляемый в придаточном предложении следствия.

⁸⁵ ...*не читал Борна*? – Под этим псевдонимом печатался немецкий романист Георг Фюльборн (1837—1902). В 1882 г. в русском переводе появился его исторический роман «Евгения, или Тайны французского двора».

пьем? Ураааа, кончил курс! Запишите за мной! Займите четвертную! Я женюсь, отец! Но я дал слово! Ты где ночевал?

Между 20 и 30 годами. Займите мне сто рублей! Какой факультет? Мне всё одно! Почему лекция? Дешево, однако! В Стрельну и обратно! Бис, бис! Сколько я вам должен? Завтра придете! Что сегодня в театре? О, если бы вы знали, как я вас люблю! Да или нет? Да? О, моя прелесть! В шею! Челаэк! Вы херес пьете? Марья, дай-ка огуречного рассольцу! Редактор дома? У меня нет таланта? Странно! Чем же я жить буду? Займите пять рублей! В Salon! Господа, светает! Я ее бросил! Займите фрак! Желтого в угол! Я и так уже пьян! Умираю, доктор! Займи на лекарство! Чуть не умер! Я похудел? К Яру⁸⁶, что ли? Стоит того! Дайте же работы! Пожалуйста! Эээ... да вы лентяй! Можно ли так опаздывать? Суть не в деньгах! Нет-с, в деньгах! Стреляюсь!! Шабаш! Чёрт с ним, со всем! Прощай, паскудная жизнь! Впрочем... нет! Это ты, Лиза? Песнь моя уже спета, маман! Я уже отжил свое! Дайте мне место, дядя! Ma tante⁸⁷, карета подана! Merci, mon oncle!⁸⁸ Не правда ли, я изменился, mon oncle? Пересобачился? Ха-ха! Напишите эту бумагу! Жениться? Никогда! Она – увы! – замужем! Ваше превосходительство! Представь меня

⁸⁶ В Стрельну ~ В Salon! ~ К Яру... – Стрельна и Яр – московские загородные рестораны. О Салоне де варьете, ночном увеселительном заведении в Москве, см. очерк и примечания к нему в этом томе (стр. 90 и 569).

⁸⁷ Тетя (франц.)

⁸⁸ Благодарю, дядя! (франц.)

своей бабушке, Серж! Вы очаровательны, княжна! Стары? Полноте! Вы напрашиваетесь на комплименты! Позвольте мне кресло во второй ряд!

Между 30—50 годами. Сорвалось! Есть вакансия? Девять без козырей! Семь червей! Вам сдавать, votre excellence⁸⁹. Вы ужасны, доктор! У меня ожирение печени? Чушь! Как много берут эти доктора! А сколько за ней приданого? Теперь не любите, со временем полюбите! С законным браком! Не могу я, душа моя, не играть! Катар желудка? Сына или дочь? Весь в отца! Хе-хе-хе... не знал-с! Выиграл, душа моя! Опять, чёрт возьми, проиграл! Сына или дочь? Весь в... отца! Уверю тебя, что я ее не знаю! Перестань ревновать! Едем, Фани! Браслет? Шампанского! С чином! Мерси! Что нужно делать, чтобы похудеть? Я лыс?! Не зудите, теща! Сына или дочь? Я пьян, Каролинхен! Дай я тебя поцелую, немочка! Опять этот каналья у жены! Сколько у вас детей? Помогите бедному человеку! Какая у вас дочь миленькая! В газетах, дьяволы, пропечатали! Иди, я тебя высеку, скверный мальчишка! Это ты измял мой парик?

Старость. Едем на воды? Выходи за него, дочь моя! Глуп? Полно! Плохо пляшет, но ноги прелестны! Сто рублей за... поцелуй?! Ах, ты, чертенок! Хе-хе-хе! Рябчика хочешь, девочка? Ты, сын, того... безнравствен! Вы забываетесь, молодой человек! Пст! пст! пст! Люблю музыку!

⁸⁹ ваше превосходительство (*франц.*)

Шям... Шям... панского! «Шута» читаешь?⁹⁰ Хе-хе-хе! Вну-
чатам конфеток несую! Сын мой хорош, но я был лучше! Где
ты, то время? Я и тебя, Эммочка, в завещании не забыл! Ишь
я какой! Папашка, дай часы! Водянка? Неужели? Царство
небесное! Родня плачет? А к ней идет траур! От него пахнет!
Мир праху твоему, честный труженик!

⁹⁰ «Шута» читаешь? – «Шут. Художественный журнал с карикатурами» начал
выходить в Петербурге в 1879 г. Заполнялся анекдотами, «семейными» сценками
и фривольными рисунками. Издатель-редактор – Д. А. Есипов.

Исповедь, или Оля, Женя, Зоя

(Письмо)

Вы, ma chère⁹¹, мой дорогой, незабвенный друг, в своем милом письме спрашиваете меня между прочим, почему я до сих пор не женат, несмотря на свои 39 лет?

Моя дорогая! Я всей душой люблю семейную жизнь и не женат потому только, что каналье судьбе не угодно было, чтобы я женился. Жениться собирался я раз 15 и не женился потому, что всё на этом свете, в особенности же моя жизнь, подчиняется случаю, всё зависит от него! Случай – деспот. Привожу несколько случаев, благодаря которым я до сих пор влачу свою жизнь в презренном одиночестве...

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ

Было восхитительное июньское утро. Небо было чисто, как самая чистая берлинская лазурь. Солнце играло в реке и скользило своими лучами по росистой траве. Река и зелень, казалось, были осыпаны дорогими алмазами. Птицы пели, как по нотам... Мы шли по аллежке, усыпанной жёлтым песком, и счастливыми грудями вдыхали в себя ароматы июнь-

⁹¹ моя милая (*франц.*)

ского утра. Деревья смотрели на нас так ласково, шептали нам что-то такое, должно быть, очень хорошее, нежное... Рука Оли Груздовской (которая теперь за сыном вашего исправника) покоилась на моей руке, и ее крошечный мизинчик дрожал на моем большом пальце. Щечки ее горели, а глаза... О, та chère, это были чудные глаза! Сколько прелести, правды, невинности, веселости, детской наивности светилось в этих голубых глазах! Я любовался ее белокурыми косами и маленькими следами, которые оставляли на песке ее крошечные ножки...

– Жизнь свою, Ольга Максимовна, посвятил я науке, – шептал я, боясь, чтобы ее мизинчик не сполз с моего большого пальца. – В будущем ожидает меня профессорская кафедра... На моей совести вопросы... научные... Жизнь трудовая, полная забот, высоких... как их... Ну, одним словом, я буду профессором... Я честен, Ольга Максимовна... Я не богат, но... Мне нужна подруга, которая бы своим присутствием (Оля сконфузилась и опустила глазки; мизинчик задрожал)... которая бы своим присутствием... Оля! взгляните на небо! Оно чисто... но и жизнь моя так же чиста, беспредельна...

Не успел мой язык выкарабкаться из этой чуши, как Оля подняла голову, рванула от меня свою руку и захлопала в ладоши. Навстречу нам шли гуси и гусята. Оля подбежала к гусям и, звонко хохоча, протянула к ним свои ручки... О, что это были за ручки, та chère!

– Тер... тер... тер... – заговорили гуси, поднимая шеи и искоса поглядывая на Олю.

– Гуся, гуся, гуся! – закричала Оля и протянула руку за гусенком.

Гусенок был умен не по летам. Он побежал от Олиной руки к своему папаше, очень большому и глупому гусаку, и, по-видимому, пожаловался ему. Гусак растопырил крылья. Шалунья Оля потянулась за другим гусенком. В это время случилось нечто ужасное. Гусак пригнул шею к земле и, шипя, как змея, грозно зашагал к Оле. Оля взвизгнула и побежала назад. Гусак за ней. Оля оглянулась, взвизгнула сильнее и побледнела. Ее красивое девичье личико исказилось ужасом и отчаянием. Казалось, что за ней гналось триста чертей.

Я поспешил к ней на помощь и ударил по голове гусака тростью. Негодяю-гусаку удалось-таки ущипнуть ее за кончик платья. Оля с большими глазами, с исказившимся лицом, дрожа всем телом, упала мне на грудь...

– Какая вы трусиха! – сказал я.

– Побейте гуску! – сказала она и заплакала...

Сколько не наивного, не детского, а идиотского было в этом испугавшемся личике! Не терплю, та chere, малодушная! Не могу вообразить себя женатым на малодушной, трусливой женщине!

Гусак испортил всё дело... Успокоивши Олю, я ушел домой, и малодушное до идиотства личико застряло в моей голове... Оля потеряла для меня всю прелесть. Я отказался от

нее.

СЛУЧАЙ ДРУГОЙ

Вы, конечно, знаете, мой друг, что я писатель. Боги зажгли в моей груди священный огонь, и я считаю себя не вправе не братья за перо. Я жрец Аполлона... Все до единого биения сердца моего, все вздохи мои, короче – всего себя я отдал на алтарь муз. Я пишу, пишу, пишу... Отнимите у меня перо – и я помер. Вы смеетесь, не верите... Клянусь, что так!

Но вы, конечно, знаете, *ma chère*, что земной шар – плохое место для искусства. Земля велика и обильна, но писателю жить в ней негде. Писатель – это вечный сирота, изгнанник, козел отпущения, незащитное дитя... Человечество разделяю я на две части: на писателей и завистников. Первые пишут, а вторые умирают от зависти и строят разные пакости первым. Я погиб, погибаю и буду погибать от завистников. Они испортили мою жизнь. Они забрали в руки бразды правления в писательском деле, именуют себя редакторами, издателями и всеми силами стараются утопить нашу братию. Проклятие им!!

Слушайте...

Некоторое время я ухаживал за Женей Пшиковой. Вы, конечно, помните это милое, черноволосое, мечтательное дитя... Она теперь замужем за вашим соседом Карлом Ивано-

вичем Ванце (à propos⁹²: по-немецки Ванце значит... клоп. Не говорите этого Жене, она обидится). Женя любила во мне писателя. Она так же глубоко, как и я, верила в мое назначение. Она жила моими надеждами. Но она была молода! Она не могла понимать еще упомянутого разделения человечества на две части! Она не верила в это разделение! Не верила, и мы в один прекрасный день... погибли.

Я жил на даче у Пшиковых. Меня считали женихом, Женю – невестой. Я писал, она читала. Что это за критик, та chère! Она была справедлива, как Аристид, и строга, как Катон.⁹³ Произведения свои посвящал я ей... Одно из этих произведений сильно понравилось Жене. Женя захотела видеть его в печати. Я послал его в один из юмористических журналов. Послал первого июля и ответа ожидал через две недели. Наступило 15 июля. Мы с Женей получили желанный номер. Поспешно распечатали его и прочли в почтовом ящике ответ. Она покраснела, я побледнел. В почтовом ящике напечатано было по моему адресу следующее: «Село Шлендово. Г. М. Б—у. Таланта у вас ни капельки. Чёрт знает что нагородили! Не тратьте марок понапрасну и оставьте нас в покое. Займитесь чем-нибудь другим».

⁹² кстати: (франц.)

⁹³ ...справедлива, как Аристид, и строга, как Катон... – Справедливость полководца и государственного деятеля древних Афин Аристида (ок. 540—467 до н. э.) и строгость древнеримского государственного деятеля Марка Порция Катона Старшего (234—149 г. до н. э.), отстаивавшего суровую чистоту нравов, вошли в поговорку.

Ну, и глупо... Сейчас видно, что дураки писали.

– Ммммммм... – промычала Женя.

– Ка-кие мерр-зав-цы!!! – пробормотал я. – Каково? И вы, Евгения Марковна, станете теперь улыбаться моему разделению?

Женя задумалась и зевнула.

– Что ж? – сказала она. – Может быть, у вас и на самом деле нет таланта! Им это лучше знать. В прошлом году Федор Федосеевич со мной целое лето рыбу удил, а вы всё пишете, пишете... Как это скучно!

Каково? И это после бессонных ночей, проведенных вместе над писаньем и читаньем! После обоюдного жертвоприношения музам... А?

Женя охладела к моему писательству, а следовательно, и ко мне. Мы разошлись. Иначе и быть не могло...

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ

Вы, конечно, знаете, мой незабвенный друг, что я страшно люблю музыку. Музыка моя страсть, стихия... Имена Моцарта, Бетховена, Шопена, Мендельсона, Гуно – имена не людей, а гигантов! Я люблю классическую музыку. Оперетку я отрицаю, как отрицаю водевиль. Я один из постояннейших посетителей оперы. Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Кор-

сов...⁹⁴ дивные люди! Как я жалею, что я не знаком с певцами! Будь я знаком с ними, я в благодарностях излил бы пред ними свою душу. В прошлую зиму я особенно часто ходил на оперу. Ходил я не один, а с семейством Пепсиновых. Жаль, что вы не знакомы с этим милым семейством! Пепсиновы каждую зиму абонируют ложу. Они преданы музыке всей душой... Украшением этого милого семейства служит дочь полковника Пепсинова – Зоя. Что это за девушка, моя дорогая! Одни ее розовые губки способны свести с ума такого человека, как я! Стройна, красива, умна... Я любил ее... Любил бешено, страстно, ужасно! Кровь моя кипела, когда я сидел с нею рядом. Вы улыбаетесь, *ma chère*... Улыбайтесь! Вам незнакома, чужда любовь писателя... Любовь писателя – Этна плюс Везувий. Зоя любила меня. Ее глаза всегда покоились на моих глазах, которые постоянно были устремлены на ее глаза... Мы были счастливы. До свадьбы был один только шаг...

Но мы погибли.

Давали «Фауста». «Фауста», моя дорогая, написал Гуно,

⁹⁴ *Хохлов, Кочетова, Барцал, Усатов, Корсов...* – Известные оперные артисты. П. А. Хохлов (1854—1949) – баритон, солист Большого театра в Москве в 1879—1900 гг. З. Р. Кочетова (ум. 1892) – драматическое сопрано, с 1881 г. солистка Московской оперы. А. И. Барцал – тенор, был преподавателем в Музыкальной школе П. А. Шостаковского. Д. А. Усатов (1847—1913) – тенор, артист Большого театра, учитель Ф. И. Шаляпина. Б. Б. Корсов (род. 1845) – баритон, с 1882 г. солист Московской оперы. В 1883 г. Чехов посвятил несколько фельетонов «Осколков московской жизни» судебному процессу между Корсовым и другим оперным певцом – Закжевским, обвиненным Корсовым в клевете.

а Гуно – величайший музыкант. Идя в театр, я порешил дорогой объяснить с Зоей в любви во время первого действия, которого я не понимаю. Великий Гуно напрасно написал первое действие!

Спектакль начался. Я и Зоя уединились в фойе. Она сидела возле меня и, дрожа от ожидания и счастья, машинально играла веером. При вечернем освещении, та сhège, она прекрасна, ужасно прекрасна!

– Увертюра, – объяснялся я в любви, – навела меня на некоторые размышления, Зоя Егоровна... Столько чувства, столько... Слушаешь и жаждешь... Жаждешь чего-то такого и слушаешь...

Я икнул и продолжал:

– Чего-то такого особенного... Жаждешь неземного... Любви? Страсти? Да, должно быть... любви... (Я икнул.) Да, любви...

Зоя улыбнулась, сконфузилась и усиленно замахала веером. Я икнул. Терпеть не могу икоты!

– Зоя Егоровна! Скажите, умоляю вас! Вам знакомо это чувство? (Я икнул.) Зоя Егоровна! Я жду ответа!

– Я... я... вас не понимаю...

– На меня напала икота. Пройдет... Я говорю о том всеобъемлющем чувстве, которое... Чёрт знает что!

– Вы выпейте воды!

«Объяснюсь, да тогда уж и схожу в буфет», – подумал я и продолжал:

– Я скажу коротко, Зоя Егоровна... Вы, конечно, уж заметили...

Я икнул и с досады на икоту укусил себя за язык.

– Конечно, заметили (я икнул)... Вы меня знаете около года... Гм... Я честный человек, Зоя Егоровна! Я труженик! Я не богат, это правда, но...

Я икнул и вскочил.

– Вы выпейте воды! – посоветовала Зоя.

Я сделал несколько шагов около дивана, подавил себе пальцами горло и опять икнул. *Ma chère*, я был в ужаснейшем положении! Зоя поднялась и направилась к ложе. Я за ней. Впуская ее в ложу, я икнул и побежал в буфет. Выпил я воды стаканов пять, и икота как будто бы немножко утихла. Я выкурил папиросу и отправился в ложу. Брат Зои поднялся и уступил мне свое место, место около моей Зои. Я сел и тотчас же... икнул. Прошло минут пять – я икнул, икнул как-то особенно, с хрипом. Я поднялся и стал у дверей ложи. Лучше, *ma chère*, икать у дверей, чем над ухом любимой женщины! Икнул. Гимназист из соседней ложи посмотрел на меня и громко засмеялся... С каким наслаждением он, каналья, засмеялся! С каким наслаждением я оторвал бы ухо с корнем у этого молокососа-мерзавца! Смеется в то время, когда на сцене поют великого «Фауста»! Кошунство! Нет, *ma chère*, когда мы были детьми, мы были много лучше. Кляня дерзкого гимназиста, я еще раз икнул... В соседних ложах засмеялись.

– Bis! – прошипел гимназист.

– Чёрт знает что! – пробормотал полковник Пепсинов мне на ухо. – Могли бы и дома поикать, сударь!

Зоя покраснела. Я еще раз икнул и, бешено стиснув кулаки, выбежал из ложи. Начал я ходить по коридору. Хожу, хожу, хожу – и всё икаю. Чего я только не ел, чего не пил! В начале четвертого акта я плюнул и уехал домой. Приехавши домой, я, как назло, перестал икать... Я ударил себя по затылку и воскликнул:

– Икай теперь! Теперь можешь икать, освищенный жених! Нет, ты не освищенный! Ты не освищал себя, а... обьикал!

На другой день отправился я, по обыкновению, к Пепсиновым. Зоя не вышла обедать и велела передать мне, что видеться со мною по болезни не может, а Пепсинов тянул речь о том, что некоторые молодые люди не умеют держать себя прилично в обществе... Болван! Он не знает того, что органы, производящие икоту, не находятся в зависимости от волевых стимулов.

Стимул, *ma chère*, значит двигатель.

– Вы отдали бы свою дочь, если бы таковая имелась у вас, – обратился ко мне Пепсинов после обеда, – за человека, который позволяет себе в обществе заниматься отрыжкой? А? Что-с?

– Отдал бы... – пробормотал я.

– Напрасно-с!

Зоя для меня погибла. Она не сумела простить мне икоты.

Я погиб.

Не описать ли вам еще и остальные 12 случаев?

Описал бы, но... довольно! Жилы надулись на моих висках, слезы брызжут, и ворочается печень... Братья писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое!⁹⁵ Позвольте, ма chère, пожелать вам всего лучшего! Жму вашу руку и шлю поклон вашему Полю. Он, я слышал, хороший муж и хороший отец... Хвала ему! Жаль только, что он пьет горькую (это не упрек, ма chère!). Будьте здоровы, ма chère, счастливы и не забывайте, что у вас есть покорнейший слуга

Макар Балдастов.

⁹⁵ *Братья-писатели, в нашей судьбе что-то лежит роковое!* – Цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «В больнице».

Встреча весны

(Рассуждение)

Борей сменили зефиры. Дует ветерок не то с запада, не то с юга (я в Москве недавно и здешних стран света еще достаточно не уразумел), дует легонько, едва задевая за фалды... Не холодно, и настолько не холодно, что можно смело ходить в шляпе, пальто и с тросточкой. Мороза нет даже ночью. Снег растаял, обратился в мутную водицу, с журчаньем бегущую с гор и пригорков в грязные канавы; не растаял он только в переулках и мелких улицах, где безмятежно покоится под трехвершковым бурым, землистым слоем и будет покоиться вплоть до мая... На полях, в лесах и на бульварах робко пробивается зеленая травка... Деревья еще совершенно голы, но выглядывают как-то бодрей. Небо такое славное, чистое, светлое; лишь изредка набегают тучи и пускают на землю мелкие брызги... Солнце светит так хорошо, так тепло и так ласково, как будто бы славно выпило, сытно закусило и старинного друга увидело... Пахнет молодой травкой, навозом, дымом, плесенью, всевозможной дрянью, степью и чем-то этаким особенным... В природе, куда ни взглянешь, приготовления, хлопоты, бесконечная стряпня... Суть в том, что весна летит.

Публика, которой ужасно надоело тратить деньги на дрова, ходить в тяжелых шубах и десятифунтовых калошах, ды-

шать то жестким, холодным, то банным, квартирным воздухом, радостно, стремительно и став на носки протягивает руки навстречу летящей весне. Весна желанная гостья, но добрая ли? Как вам сказать? По-моему, не то, чтобы слишком уж добрая, и нельзя сказать, чтобы слишком уж и злая. Какая бы она ни была, но ждут ее с нетерпением.

Поэты старые и молодые, лучшие и худшие, оставив на время в покое кассиров, банкиров, железнодорожников и рогатых мужей, строчат на чем свет стоит мадригалы, дифирамбы, приветственные оды, баллады и прочие стихоплетные штуки, воспевая в них все до единой весенние прелести... Воспевают по обыкновению неудачно (я не говорю о присутствующих). Луна, воздух, мгла, даль, желания, «она» – у них на первом плане.

Прозаики тоже настроены на поэтический лад. Все фельетоны, ругательства и хваления начинаются и оканчиваются у них описанием собственных чувств, навеянных приближающейся весной.

Барышни и кавалеры того... Страждут смертельно! Пульс их бьёт 190 в минуту, температура горячечная. Сердца полны самых сладких предчувствий... Весна несет с собой любовь, а любовь несет с собой: «Сколько счастья, сколько муки!»⁹⁶ На нашем рисунке весна держит амурчика на веревочке. И хорошо делает. И в любви нужна дисциплина, а что

⁹⁶ ...а любовь несет с собой: «Сколько счастья, сколько муки!» – Перефразировка цыганского романа «В час роковой».

было бы, если бы она спустила Амура, дала ему, каналье, волю? Я пресерьезный человек, но и ко мне по милости весенних запахов лезет в голову всякая чертовщина. Пишу, а у самого перед глазами тенистые аллейки, фонтанчики, птички, «она» и всё такое прочее. Теща уже начинает поглядывать на меня подозрительно, а женушка то и дело торчит у окна...

Медицинские люди очень серьезные люди, но и они не спят спокойно... Их душит кошмар и снятся самые обольстительные сны. Щеки докторов, фельдшеров, аптекарей горят лихорадочным румянцем. И недаром-с! Над городами стоят зловонные туманы, а туманы эти состоят из микроорганизмов, производящих болезни... Болят груди, горла, зубы... Разыгрываются старинные ревматизмы, подагры, невралгии. Чахоточных тьма-тьмуца. В аптеках толкотня страшная. Бедным аптекарям некогда ни обедать, ни чая пить. Бертолетову соль, Доверов порошок, грудные специи, иод и дурацкие зубные средства продают буквально пудами. Я пишу и слышу, как в соседней аптеке звенят пятаками. У моей тещи флюс на обеих сторонах: урод уродом!

Мелкие коммерсантики, ссудосберегатели, практические людоедишки, жидки и кулаки пляшут от радости качучу. Весна и для них благодетельница. Тысяча шуб идут в ссудные кассы на съедение голодной моли. Всё теплое, еще не переставшее быть ценным, несется к жидкам благодетелям. Не понеси шубу в ссуду, останешься без летнего платья, будешь щеголять на даче в бобрах и енотах. За мою шубу, ко-

торая стоит минимум 100 рублей, мне дали в ссуде 32 рубля.

В Бердичевах, Житомирах, Ростовах, Полтавах – грязь по колена. Грязь бурая, вязкая, вонючая... Прохожие сидят дома и не показывают носа на улицу: того и гляди, что утонешь чёрт знает в чем. Оставляешь в грязи не только калоши, но даже и сапоги с носками. Ступай на улицу, коли необходимость, или босиком, или же на ходулях, а лучше всего и вовсе не ходи. В матушке Москве, надо отдать справедливость, сапог в грязи не оставишь, но в калоши непременно наберешь. С калошами можно распрощаться навсегда только в весьма немногих местах (а именно: на углу Кузнецкого и Петровки, на Трубе и почти на всех площадях). От села до села не проедешь, не пройдешь.

Всё собирается гулять и ликовать, кроме отроков и юношей. Молодежь и не увидит за экзаменами весны. Весь май пойдет на получение пятерок и единиц. Для единичников весна не желанная гостья.

Погодите немножко, дней через 5—6, много через неделю, коты запоют под окнами громче, жидкая грязь станет густою, почки на деревьях станут пушистыми, травка выгянет повсюду, солнце запечет – и весна установится самая настоящая. Из Москвы потянутся обозы с мебелью, цветами, тюфяками и горничными. Закопшатся огородники, садовники... Охотники начнут заряжать ружья.

Подождите недельку, потерпите, а пока накладывайте на ваши груди прочные бинты, дабы не выскочили из грудей ва-

ши разбушевавшиеся, не терпящие отлагательств сердца...

Между прочим, как прикажете изобразить на бумаге весну? В каком виде? В былые времена ее изображали в виде прекрасной девицы, сыплющей на землю цветы. Цветы – синоним радостей... Теперь иные времена, иные нравы, иная и весна. У нас она изображена тоже дамочкой. Цветов не сыплет, ибо нет цветов и руки в муфте. Следовало бы изобразить ее тощей, худой, скелетообразной, с чахоточным румянцем, но пусть она будет комильфо!⁹⁷ Делаем ей эту уступку только потому, что она дама.

⁹⁷ как следует (*франц.* comme il faut).

Календарь «Будильника» на 1882 год. март – апрель

(В тексте таблица: 1 – Число и день; 2 – Выдающиеся события, метеорология, пророчества, всеобщая история, коммерция, советы, рецепты и пр.; 3 – Обеды.)

8 Понедельник

Родится великий человек. Затмение солнца, видимое только в одном г. Бахмуте, Екатер. губернии. На о. Мадагаскаре волнение умов. Солнце вступает в ? в 7 ч. 35 м. в. Мороз и снег. Среди комет и планет особенного ничего не произойдет. Вчера было новолуние. Восх. солнца 6 ч. 1 м. Зах. его же 6 ч. 14 м. В сей день Автолимед II был побежден персидским царем Додоном IV (342 г.)⁹⁸ и произошел суд Париса.

Обеды:

- 1) Суп с апельсинами.
- 2) Газетная утка-фри.
- 3) Каша с репейным маслом.
- 4) Желе из каштанов.

9 Вторник

⁹⁸ ...Автолимед II... Додон IV... – Имена вымышленные.

Начало весны. Юноши и девы, в томительном ожидании счастливых дней, заболевают нервным сердцебиением (*affectio cordis*;⁹⁹ средства излечения: *kalium bromatum*, *valeriana*¹⁰⁰ и лед). Ярмарка в с. Вознесенском. Затмения солнца не будет. Оттепель и снег. В Испании родится великий писатель, который умрет на 7-й день после рождения. Восх. сол. 5 ч. 58 м. Зах. его же 6 ч. 16 м. В сей день некогда произошло возрождение наук (1441 г.).

Обеды:

- 1) Гороховый суп с фасолью.
- 2) Жареный гусь а la князь Мещерский.
- 3) Жареные лимоны под соусом.
- 4) Кишмиш в уксусе.

10 Среда

Все будут счастливы. В г. Лебедяни, Тамбовской губ., видна будет звезда с двумя хвостами и одним крылом: признак неурожая на картофель. Мороз. В Алжире град. Будет пойман некий кассир. Ярмарки: в Алапаевске, Пермской губ. (ситец, колеса, иголки, деготь и изюм), в Самаре, Самарской губ. (кумыс, сукно и гитары), и в Ржеве, Тверской губ. (тарелки, ножи, вилки, солонки и табакерки). Восх. сол. 5 ч. 55 м. Зах. его же 6 ч. 19 м. В сей день произошла смерть пана

⁹⁹ сердечный припадок; (*лат.*)

¹⁰⁰ бромистый калий, валериановые капли (*лат.*)

Твардовского в трактире «Рим» (1811)¹⁰¹, а Цезарь перешел Рубикон (54 г.).

Обеды:

- 1) Малороссиянские щи.
- 2) Жареные устрицы.
- 3) Соус из соловьиных языков.
- 4) Девичья кожа.

11 Четверг

На К. Х. А. ж. дороге¹⁰², близ станции «Разбейся!», снегом занесет поезд. Метель. В г. Конотопе, Черниговской губ., появится самозванец, выдающий себя за Гамлета¹⁰³, принца датского. Астрономы открывают на луне нечто сверхъестественное. На о. Борнео дифтерит. Восх. сол. 5 ч. 52 м. Зах. его же 6 ч. 21 м. В сей день в Клеопатру влюбился Антоний (42 г.), а Александр Филиппович Македонский ездил на Буцефале на богомолье (312).

Обеды:

¹⁰¹ ...смерть пана Твардовского в трактире «Рим». – Вероятно, подразумевается популярная опера А. Н. Верстовского «Пан Твардовский» (1828) – о польском колдуне XVI в. Отдельные сцены и хоры из нее разыгрывались на ярмарках в балаганах. Существовала также одноименная лубочная повесть Миши Евстигнеева (в 1882 г. вышла четвертым изданием).

¹⁰² На К. Х. А. ж. дороге... – Имеется в виду Курско-Харьковско-Азовская железная дорога.

¹⁰³ ...самозванец, выдающий себя за Гамлета... – П. И. Вейнберг, напечатавший под псевдонимом «Гамлет» («Стрекоза», 1882, № 10) чужое стихотворение (см. письмо в редакцию «Стрекозы», 1882, № 27).

- 1) Суп с мокрой курицей.
- 2) Каракатица с начинкой.
- 3) Раковые мозги с грибами.
- 4) Белозерские снетки с ванилью.

12 Пятница

В Шанхае произойдет падение нравственности. Оттепель. Московским присяжным поверенным приснится Фемида с длинными ножницами, употребляемыми в клинике профессора Склифасовского для отрезывания опухших языков; присяжные поверенные побледнеют и почувствуют угрызения совести. В Сызрани ярмарки нет. В Нахичевани всемирный потоп. В Таганроге сквозной ветер. В Шуе, Владим. губ., землетрясение, которое будет вскоре прекращено старанием местных властей. Восх. сол. 5 ч. 48 м. Зах. его же в 6 ч. 24 м. В сей день, в 148 г., Муций Сцевола проиграл в стуколку свое имущество.

Обеды:

- 1) Солянка из электрических угрей.
- 2) Поросенок с хреном.
- 3) Поросенок без хрена.
- 4) Хрен без поросенка.
- 5) Жареные ананасы со спаржей.
- 6) Канифолевое мороженое.

13 Суббота

Родится великий человек. Гладстон будет обедать у короля ашантиев¹⁰⁴ и будет говорить с ним о положении дел в Китае; король ашантиев ответит двусмысленно. В Бухаре потонет 25 кораблей. В Карфагене всеобщее недоумение. Все Африканы именинники. По мнению артистов Малого театра, в сей день в г. Полтаве, Полтавской губ., произойдет северное сияние. Восх. сол. 5 ч. 45 м. Зах. его же 6 ч. 26 м. Извержение Везувия в 8 ч. 32 м.

Обеды:

- 1) Консоме с шафраном.
- 2) Вареная свинья с рахат-лукумом.
- 3) Лавровый лист с подливкой.
- 4) Дули.

14 Воскресенье

Правление К. Х. А. железной дороги пошлет нарочного на станцию «Разбейся!» узнать, не растаял ли снег, засыпавший поезд 11 числа? Родится великая женщина. В редакции «Гражданина» затмение солнца и засуха. В Томском клубе произойдет ученый спор о том, «какое море самое большое» и «какой город самый маленький»? Спор окончится подня-

¹⁰⁴ ...Гладстон будет обедать у короля ашантиев... – В течение всего XIX в. южноафриканский народ ашанти вел борьбу за национальную независимость против английских колонизаторов. В 1895 г. страна была объявлена английских протекторатом. Уильям Юарт Гладстон (1809—1898), в 1880 г. вновь ставший премьер-министром Англии, стремился проводить колониальную политику мирными средствами.

тиями рук и вмешательством полиции. Восх. сол. 5 ч. 42 м. Зах. его же 6 ч. 29 м. В сей день Отелло задушил жену свою, Дездемону (1112 г.), а король лангобардов Авторис пожал мизинец своей невесты, стыдливой Теоделинды (728 г.).¹⁰⁵

Обеды:

- 1) Бульон из слоновой кости.
- 2) Горох à la «Шут», на сале.
- 3) Акриды с гвоздикой.
- 4) Лавровишневые капли с маком.

Примечания к календарю

1) Все врут календари, за исключением нашего.
2) Календарь будет тянуться в продолжение всего 1882 г. Начали мы его с 8-го марта потому, что предвидели, что в январе, феврале и в начале марта решительно ничего не произойдет, кроме всем надоевших вторников, четвергов и пр. По причинам, неизвестным заведующему календарем, в истекшем феврале не было даже 29 и 30-го чисел.

3) Желательно было бы по возможности скорей собрать в каком-нибудь городе календарный конгресс, чтобы на оном:
а) присутствовал со стороны России г. Сталинский. Сей последний укажет конгрессу мотивы, по которым он, Сталинский, один из нумеров покойного «Харькова», в 1880 г.,

¹⁰⁵ ...стыдливой Теоделинды... – Жена лангобардского короля Аутари (Авариса).

пометил тридцатым февралем;¹⁰⁶

б) присутствовали бы родившиеся 29-го февраля, чтобы узнать от конгресса, можно ли благородному человеку не праздновать дня своего рождения ежегодно. Конгресс или даст право на ежегодное существование упомянутым числам или же укажет число, в которое родившиеся 29-го февраля могли бы праздновать день своего рождения ежегодно.

4) Нашедшие в нашем календаре какую-либо неправду или желающие поделиться с нами плодами своего умения предсказывать и предугадывать благоволят обращаться с своими указаниями (письменно) в редакцию «Будильника», на имя заведующего календарем.

5) Для составления календаря наняты два профессора черной магии и один профессор белой магии. Для той же цели заведующий календарем подыскивает сомнамбулу, или ясновидящую. Жалованье последней 1200 руб. в год.

Заведующий календарем «Будильника» – *Антоша Чехонте*.¹⁰⁷

15 Понедельник

Северного сияния не будет. В г. Нежине, Полтавской гу-

¹⁰⁶ ...г. Сталинский ~ пометил тридцатым февралем... – Е. С. Сталинский был издателем-редактором политической и литературной ежедневной газеты «Харьков» (1877—1880). 30-м февраля помечен № 563 газеты. Об этом же Чехов писал в 1883 г. в «Осколках московской жизни».

¹⁰⁷ Части «Календаря», помещенные в трех последующих номерах журнала «Будильник», печатаются без повторения общего заглавия.

бернии, утонут в грязи два хохла, а в остальных городах Российской империи, кроме понедельника, ничего не произойдет. На о. Мадагаскаре родится великий акушер. Две замоскворецкие купчихи съедят от скуки один пуд гречневой крупы и заболеют (средство излечения: *Ol. ricini*¹⁰⁸ 300,0 *gradosi*¹⁰⁹, *Nux vomica*¹¹⁰ и диета). Ярмарки: в Стокгольме, Стокгольмской губ. (шведские спички, шведки, картон) и в Пинеге (сметки и деготь). Туман. Восх. сол. 5 ч. 39 м. Зах. его же 6 ч. 31 м. В сей день в 132 году Менелай познакомился в афинском клубе с Аяксами, а немцы выдумали обезьяну (1201 г.).

Обеды:

- 1) Спарганская похлебка.
- 2) Жареная селезенка селезня.
- 3) Вареный аист.
- 4) Потроха его же.
- 5) Пряничные лошадки.

16 Вторник

Сего дня на А. Б. В. ж. дороге кондуктора и стрелочники почему-то будут трезвы. День рождения Петра Боборыкина.¹¹¹ Курские соловьи летят в Курск из-за границы. В неко-

¹⁰⁸ касторовое масло (*лат.*)

¹⁰⁹ в один прием (*лат.*)

¹¹⁰ рвотный орех (*лат.*)

¹¹¹ День рождения Петра Боборыкина. – В действительности П. Д. Боборыкин

торых местах Донской области начинаются посе­вы. Астроном Бредихин в математическом обществе делает сообщение о двух ев­реях, ви­денных им на планете Сатурн, которые, по его мнению, бежали на эту планету от воинской повинности. В Тамбове извержение вулкана. Столкновение кометы с г. Лентовским.¹¹² Снежище. Ярмарка: в Макарьеве, Костромской губ. (деревянные ложки. Выручено будет 7 р. 12 к.). Восх. сол. 5 ч. 36 м. Зах. его же 6 ч. 32 м. В сей день Архимед перевернул бы землю, если бы ему дали точку опоры (312).

Обеды:

1) Щи с щеглами.

2) Дубоносы фри.

3) Чижы под соусом.

4) Грудной чай с медом.

5) Мороженое из снегирей. (Сей обед в книге г-жи Ольги

Молоховец¹¹³ называется «обедом певчих».)

родился 15 августа (1836 г.).

¹¹² *Столкновение кометы, с г. Лентовским.* – М. В. Лентовский (1843—1906) основал в Москве театры «Эрмитаж» и «Скоморох». Постановки Лентовского осуществлялись при участии талантливых художников, в частности близкого знакомого Чеховых, Ф. О. Шехтеля. Это были «головокружительные феерии, которых до него не знал еще ни один театр» (Вокруг Чехова, стр. 279). О Лентовском и его театре см. пародию Чехова «Нечистые трагики и прокаженные драматурги» (1884), фельетоны «Фантастический театр Лентовского» (1882), «Мамаша и г. Лентовский» (1883), «Осколки московской жизни» (1883—1885).

¹¹³ ...в книге г-жи Ольги Молоховец... – Популярная поваренная книга Е. И. Молоховец «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению расходов

17 Среда

В редакции «Калужских губ. ведомостей» произойдет прохождение Венеры через диск солнца. Именинники: гг. Потехин, Суворин¹¹⁴ и богатырь Алеша-Попович. Блюх почувствует угрызение совести¹¹⁵, но краденого в сей день и в предбудущие не воротит. Московское общество акклиматизации присудит пекарю Филиппову медаль за разведение лучшей породы мышей и прусаков. На Московско-Брестской ж. д. произойдет столкновение... обер-кондуктора с начальником станции. Восх. сол. 5 ч. 33 м. Зах. его же 6 ч. 36 м. Абстракция. В Бердичеве произойдет преломление света. В сей день персидский царь Кардашон LX был побежден полководцем Кучелебой¹¹⁶ (803).

в домашнем хозяйстве».

¹¹⁴ *Именинники: гг. Потехин, Суворин...* – У Потехина и Суворина было одинаковое имя – Алексей.

¹¹⁵ *Блюх почувствует угрызение совести...* – Сигизмунд Блюх основал в 1871 г. в Москве банкирскую контору. В 1881 г. контора потерпела крах, а Блюх скрылся за границу. В газетах 1881—1882 гг. периодически печатались известия о тяжелых последствиях этого краха: самоубийства разоренных вкладчиков, письма с требованием выслать деньги и т. п. 13 апреля 1882 г. «Московский листок» сообщил, что С. А. Блюх, побывав в Лионе и Константинополе, тщетно изыскивал средства поправить свое состояние и вернулся в Россию, где тотчас попал в долговую тюрьму.

¹¹⁶ *...персидский царь Кардашон LX ~ полководцем Кучелебой...* – Пародийные имена. Кучелаба – бытовое название стрихнина (Ал. П. Чехов. Из детских лет А. П. Чехова. – В кн. «Чехов в воспоминаниях современников», ГИХЛ, 1954, стр. 31).

Обеды:

- 1) Суточные щи с дупелями.
- 2) Расстегай из муки Нестле.
- 3) Гороховая колбаса с луком.
- 4) Баранья голова с бараньими мозгами.
- 5) Отличное бланманже.

18 Четверг

Гладстон рассердится на короля ашантиев; король ашантиев скажет горячую речь. В «Донской пчеле» горячая передовая статья по поводу перехода израильтян через Чермное море. В Тирасполе борьба стихий. Именинник наш подписчик № 18007. Великий океан очистится ото льда; открытие навигации. Ярмарка в Австралии. Холодно до чёртиков. Восх. сол. 5 ч. 30 м. Зах. его же 6 ч. 38 м. В сей день в г. Саратове, Саратовской губ., произошло убийство Коверлей (807; зри драму «Убийство Коверлей»).¹¹⁷

Обеды:

- 1) Суточные щи с дупелями.

¹¹⁷ ...зри драму «Убийство Коверлей»... – Мелодрама в 5 действиях; была переведена с французского и поставлена на сцене Народного театра артистом Н. П. Киреевым («Московский листок», 1882, 8 мая, № 124). М. П. Чехов о ранних театральных увлечениях брата вспоминал: «В эти три года он часто посещал театр, любил французские мелодрамы вроде „Убийство Коверлей“...» (Вокруг Чехова, стр. 74). У Чехова в рассказе 1884 г.: «Гром, молния, иней, убийство Коверлей, великое переселение народов, кораблекрушение и сбор всех частей» («Нечистые трагики и прокаженные драматурги»). Драма «Коверлей» упоминается также в рассказе «Критик» (1887).

- 2) Расстегай из муки Нестле.
- 3) Гороховая колбаса с луком.
- 4) Баранья голова с бараньими мозгами.
- 5) Отличное бланманже.

19 Пятница

В Зоологическом саду умрут три зверя от «не тетки».¹¹⁸

В цирке Саламонского смятение умов. В г. Кинешме родится от одной благородной дамы шесть близнецов, из коих все шесть будут со временем профессорами черной магии. Землетрясение на луне. Ярмарок, к сожалению, нигде нет. Восх. сол. 5 ч. 27 м. Зах. его. же 6 ч. 41 м. Буран, метель и ветры. В сей день Ганнибал играл со своим дядей Гамилькаром в шашки (303).

Обеды:

- 1) Ленивые щи по-швабски.
- 2) Кашалот с начинкой.
- 3) Уксус фри.
- 4) Пудинг из грибов.

20 Суббота

Получ. кап. по выш. в тир. 5% обл. англо-голл. займа, обл. шуйско-иван. и рязанско-козл. ж. д. Выйдет в тираж директор некоего банка. Варш. гор. кред. общ. обл. и акц. Потти-Тифл. ж. д. Отрезывание купонов в конторе Блюиха. День

¹¹⁸ умрут три зверя от «не тетки». – По русской пословице «Голод – не тетка».

рождения г. Лохвицкого.¹¹⁹ Утром туман. В редакции «Костромских ведомостей» оттепель. Восх. сол. 5 ч. 24 м. Зах. его же 6 ч. 43 м. В сей день в 703 г. китайцы разбили шведов на о. Исландии.

Обеды:

- 1) Суп с начинкой.
- 2) Барашковые котлеты с начинкой.
- 3) Сыр бри с начинкой.
- 4) Раковое желе с начинкой.

21 Воскресенье

Концерт в театре, концерт в Благородном собрании, концерт в манеже и т. д.: 23 концерта. День светлый. Благорасстворение воздушных. Пахнет весной. Ярмарка: в Валдае (валдайские колокольчики, бубенчики). Король ашантиев будет обедать у Эдисона; Эдисон скажет свое мнение и подаст в отставку.¹²⁰ На о. Формозе схватка инсургентов с эмигрантами. В Рыбинске недоумение. Восх. сол. 5 ч. 21 м. Зах. его же 6 ч. 45 м. В сей день Савонаролла предсказал московским присяжным поверенным рождение д-ра Лохвицкого (1708 г.). Конец недели. Выход 12 № «Будильника».

¹¹⁹ *День рождения г. Лохвицкого...* – А. В. Лохвицкий (1830—1894), известный московский адвокат.

¹²⁰ *Эдисон скажет свое мнение и подаст в отставку.* – Томас Альва Эдисон (1847—1931), американский ученый и изобретатель. В русской периодической печати того времени печатались материалы об опытах Эдисона с электрической лампой (см., например, «Нива», 1880, № 8).

Обеды:

- 1) Чечевица с бобами.
- 2) Начинка.
- 3) Подливка.
- 4) Гарнир.
- 5) Компот из Адамовых яблок.

Примечания к календарю

1) Ежедневные события: утро, полдень, вечер, концерты, отравление рыбой, пожар, скандал с конкой, передовые статьи, блестящее представление в цирке, интендантский процесс и плоская острога кн. Мещерского.

2) Г-же Ольге Молоховец: вы пишете нам, что наши обеды просто объедение, и просите у нас, чтобы мы позволили вам перепечатать эти обеды в своей «Подарок молодым хозяйкам». Сделайте одолжение!

3) Нашедшие в нашем календаре какую-либо неправду или желающие поделиться с нами плодами своего умения предсказывать и предугадывать, благоволят обращаться с своими указаниями (письменно) в ред. «Будильника», на имя заведующего календарем.

4) Петербург. Редакция «Добряка».¹²¹ Главному повару. – Никуда не годится. Слишком пресно, протухло и неудобова-

¹²¹ Редакция «Добряка»... – «Добряк», юмористический еженедельник с карикатурами, выходил в Петербурге в 1882 г. как приложение к газете «Гражданин» кн. Мещерского.

римо. Посолите и убавьте чесноку.

5) В редакцию «Руси». – Мерсі. Квас прелестен. Порекормендуем. Вы пишете, что квас без тараканов – иноземщина. Мы не согласны с вами. Процедить нужно. Прикажите помыть жбаны: запах от них тлетворнее Запада!

Заведующий календарем «Будильника» – *Антоша Чехонте*.

22 Понедельник

Певцы, певицы, пьянисты, начальники хоров, театральные шарманщики и музыкальные подрядчики набивают свои чемоданы золотом, вырученным за великий пост; великая радость объемлет их великие сердца. «Стрельне» – аревуар¹²² до будущей зимы. Погода теплая: + 6 по R. + 7,5 по Ц. и 42° по Ф. Секретарь редакции «Калужских ведомостей» потеряет свою шапку. Восх. сол. 5 ч. 18 м., зах. его же 6 ч. 48 м.

Обеды:

- 1) Ля-супе-деликатес.
- 2) Страсбургский пирог с капустой.
- 3) Лебединые шеи под соусом.
- 4) Ванилевое желе с соей.

23 Вторник

Пахнет весной и чёрт знает чем. Москва количеством лишних вод напоминает собой Венецию. Рекомендуем упра-

¹²² до свиданья (*франц.* au revoir).

ве катание на лодках на Кузнецком мосту с благотворительной целью. День рождения Миши Евстигнеева.¹²³ Именинницы наши подписчицы: № 19012 и 13444. Ярмарка в г. Красноборске, Вологодской губ. (щеколды и самоварные трубы). Восх. сол. 5 ч. 15 м., зах. его же 6 ч. 50 м. В сей день Диоген, в присутствии китайского посланника, учинил неблагопристойность (303).

Обеды:

- 1) Консоме с редькой.
- 2) Кайенский перец с изюмом.
- 3) Жареный пух.
- 4) Компот из форелей.

24 Среда

Донецкая Каменноугольная ж. д., возящая вместо каменного угля «зайцев», будет переименована в Донецкую-Зайцевскую. Родится 121 великий человек. Ярмарка в Велиже, Витебской губ. (оглобли, стамески и куклы). Зола, Щедрин и Боборыкин, разбитые архичудаком И. Н. Павловым¹²⁴, бро-

¹²³ *День рождения Миши Евстигнеева.* – М. Е. Евстигнеев, автор лубочных поестей, песенников, пьес. «На каждой ярмарке и по всему лицу земли родной можно было встретить произведения М. Евстигнеева, продававшиеся прямо с рогожки, и купить за пятак любое из них, вроде „Улыбки в пять рублей“ или „Мосье фон герр Петрушка“» (Вокруг Чехова, стр. 106). Чехов писал Н. А. Лейкину 31 декабря 1883 г.: «Пристаю к Мише Евстигнееву, чтоб он написал свою автобиографию... Редкое „житие“! Пристаю уже год и думаю, что он сдастся».

¹²⁴ *...разбитые архичудаком И. Н. Павловым...* – Ипполит Николаевич Павлов (1839—1882), сын писателя Н. Ф. и поэтессы К. К. Павловых, публицист и кри-

сят писательство в займутся бакалейной торговлей. Восх. сол. 5 ч. 12 м., зах. его же 6 ч. 53 м. В г. Звенигороде, Московской губ., падение наук и искусств. В сей день россияне, на удивление всех иностранцев, выдумали самовар (1402).

Обеды:

- 1) Кислые щи с фазаном.
- 2) Майонез из золотых рыбок.
- 3) Суслики фри.
- 4) Квас à la «Русь» (раз двадцать процеженный).

25 Четверг

День хороший. Все будут счастливы, кроме кн. Мещерского и Баталина, которые всегда несчастливы.¹²⁵ В г. Сызрани в сей день начнется период свайных построек. «Русь» начнет печататься с титлами. Гг. Садовский, Музиль и Прав-

тик славянофильской ориентации, редактор журнала «Кругозор» (1880 г.), сотрудник «Руси» и «Русского вестника». См. о нем в «Московских ведомостях», 1882, № 234 (некролог). М. Е. Салтыков-Щедрин отзывался о Павлове в «Письмах к тетеньке», XIII: «Один из Иванов-Непомнящих, которых так много развелось нынче в литературе, взойдя на кафедру и обращаясь к сонмищу благородных слушательниц, восклицал: „Нам говорят, что, при современных условиях, нельзя жить – однако ж мы живем и, право, живем совсем не дурно!“» (Полн. собр. соч., т. XIV, Л., 1936, стр. 482).

¹²⁵ ...кроме кн. Мещерского и Баталина, которые всегда несчастливы. – По-видимому, намек на непопулярность и отсюда малое число подписчиков у газеты В. П. Мещерского «Гражданин» и газеты И. А. Баталина «Минута». Аналогично в «Комических рекламах и объявлениях» (стр. 123): «Сбежали подписчики. Кто найдет их, тот пусть доставит в редакцию „Минуты“».

дин¹²⁶ переводятся в Петербург. В театрах полы метут и замки чистят. В г. Житомире, по случаю грязи, приостановилось движение... умов. Восх. сол. 5 ч. 9 м., зах. его же 6 ч. 55 м. В сей день в 132 г. в Португалии ничего особенного не произошло.

Обеды:

- 1) Щи с попугаями.
- 2) Язык с горохом.
- 3) Гусь лапчатый фри.
- 4) Сахарная вода.
- 5) Водица.

(Сей обед у г-жи Ольги Молоховец носит наименование «обеда адвокатов».)

26 Пятница

Тещи, жены, маменьки, тетеньки и бабушки пекут куличи и пасхи, кричат, ссорятся, требуют у мужского пола денег и гонят всех из дома. Джентльмены, денди и кабалеро гуляют по Кузнецкому, ибо дома приборка. Утром морозец, но днем тепло. Именинники: поэт Хрущов-Сокольников¹²⁷, наш подписчик № 17037 и покойник Державин. Ярмарка в сельце

¹²⁶ Гз. Садовский, Музиль и Правдин... – Артисты московского Малого театра.

¹²⁷ Именинники: поэт Хрущов-Сокольников... – Гавриил Александрович Хрущов-Сокольников (1845—1890), посредственный поэт; сотрудничал в московских журналах «Мирской толк», «Свет и тени» и был хорошо знаком Чехову. Стихами Хрущова-Сокольникова был заполнен художественный альманах журнала «Свет и тени», изданный в 1882 г.

Трофимове, Лондонской губ. Секретарь редакции «Калужских ведомостей» найдет свою шапку, утерянную 22-го числа. Восх. сол. 5 ч. 6 м., зах. его же 6 ч. 57 м. В сей день Александр Пушкин и Виссарион Белинский, за неспособность к изучению российской словесности, получили по единице.

Обеды:

- 1) Уха из морских звезд.
- 2) Саланга по-китайски.
- 3) Акула фри.
- 4) Леденцы.

27 Суббота

В кухнях вредными и невредными красками живописуют яйца. Нескончаемые приготовления к завтрашнему дню. В прачечных, портняжных и у madames – дым коромыслом. Горе мужьям-колпакам и почтительным зятьям: зачахнут, бегаючи! Редакторы просмотрят последнюю корректуру и до вторника почиют на лаврах. В г. Кинешме, Костромской губ., за неимением товаров, ярмарки не будет. Сильная продажа копеечных марок. День рождения г. Гладстона. Восх. сол. 5 ч. 3 м., зах. его же 7 ч. В г. Архангельске метелица. В сей день Сирены завлекали своим пением царя Одиссея (812).

Обеды:

- 1) Рюмка водки.
- 2) Суточные щи с вчерашней кашей.

3) 2 рюмки водки.

4) Поросенок с хреном.

5) 3 рюмки водки.

6) Хрен, кайенский перец и соя.

7) 4 рюмки водки.

8) 8 бутылок пива. (Сей обед во всех поварских книжках называется «обедом журналистов».)

28 Воскресенье

День сугубо светлый, блестящий, длиннейший, праздничнейший... Звон, поцелуи, гости, закуски, выпивка. Все гуляют, кроме почтальонов, которые... бегают. Почтамт разошлет 106 пуд. визитных карточек. Много пьяных, мало трезвых. Сильные отдыхают, слабые высовывают языки от утомления, расписываясь в передних сильных. Небо чисто, небо ясно. Поручик Ахахаев, христосуясь с купчихой Балдастовой, поцарапает последней своими усами губы, чем и произведет уродство. Восх. сол. 5 ч., зах. его же 7 ч. 2 м.

Вместо обеда полагается вседневное, грандиозное, колоссальное, хаотическое жевание и глотание яиц, окороков, куличей, закусок, вин, водок et caetera... Едят до изжоги, икоты и отрыжки. Некоторые заболевают расширением желудка.

Примечания к календарю

1) Сотрудники «Будильника», в предупреждение могущих, произойти недоразумений, сим имеют честь уведо-

мить, что они будут христосоваться только с хорошенькими, а заведующий «Календарем» – исключительно с одними блондинками.

2) В текущую неделю войны испанцев с австрийцами не будет.

3) Г-ну NN. – Вы пишете, что кашалот с начинкой не помещается на стол. Что ж? Купите себе стол побольше!

4) Петербург, редакция «Новостей». – Мясоед скоро. Плодите уток.

5) Такие-то дела, читатель!

Заведующий календарем «Будильника» – *Антоша Чехонте*.

29, понедельник. – Второй день праздника. Изжога, икота, отрыжка. (Средства излечения: *magnesia alba*¹²⁸, *ol. ricini*, диета.) Отдыхают после вчерашних визитов и объедения. Не будет ни дождя, ни снега. На бульварах сильное движение. В Зоологическом саду «праздник». Штык-юнкер Франторознов, рассматривая список расписавшихся вчера в его передней, не найдет имени поручика Ахахаева и даст себе слово погубить последнего. Именинник поэт М. Ярон.¹²⁹ Восх. сол.

¹²⁸ магнезия (*лат.*)

¹²⁹ ...поэт М. Ярон. – М. Г. Ярон, сотрудник малой прессы (псевдонимы: Этоя, Максим Яд, Маркярон). Чехов отзывался о нем резко отрицательно в письме к брату Александру (20-е числа февраля 1883 г.) и в «Осколках московской жизни» (1884).

4 ч. 47 м., зах. его же 7 ч. 5 м. В сей день писатель Вильям Шекспир воскликнул: О, женщины, женщины! (1640).

30, вторник. – Родится великий глупец; «Русский сатирический листок» подаст в отставку.¹³⁰ Рабочие в типографиях и литографиях пьяны – как стельки, метранпажи – как сапожники. Именинник Кифа Мокиевич.¹³¹ Кречинский¹³² и Хлестаков выходят из «Нового времени», чтобы издавать собственную газету «Благонамеренные козлы». Концерт чуть не в каждом переулке. В Малом театре дают «Синичкина».¹³³ Восх. сол. 4 ч. 54 м., зах. его же 7 ч. 7 м. В сей день произошло великое переселение народов (707), а Кюннер сочинил латинскую грамматику.¹³⁴

31, среда. – Кроме среды и ярмарки, в г. Орле, Орловской губернии, ничего не произойдет. Восх. сол. 4 ч. 51 м., зах. его же 7 ч. 10 м. В сей день Эфиальт предал персам отече-

¹³⁰ «Русский сатирический листок» подаст в отставку. – Еженедельный юмористический журнал либерального направления, выходивший в Москве с 1882 г. Издатель-редактор – Н. А. Полушин. В апреле журнал был приостановлен (всего вышло 12 номеров) и возобновился в начале 1883 г. Просуществовал до 1889 г.

¹³¹ ...Кифа Мокиевич. – Персонаж «Мертвых душ» Гоголя.

¹³² Кречинский... – Персонаж пьесы А. В. Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского».

¹³³ ...дают «Синичкина». – «Лев Гурыч Синичкин», водевиль Дм. Тим. Ленского.

¹³⁴ ...Кюннер сочинил латинскую грамматику. – Р. Кюннер (1802—1878), немецкий философ и педагог, автор трудов по грамматике древних языков.

ство¹³⁵ (803), князь Мещерский впервые изобрел «Гражданина», Цитович научился писать, родился г. Баталин.

Апрель.

Месяц, имеющий 30 дней, 30 ночей, 720 часов, 43 200 минут, 2 592 000 секунд. Месяц дождливый, туманный и грязный. Вырастет трава, позеленеют деревья, потеплеет. В коммерции затишье. Замуж выходить и жениться не возбраняется. Шапки дарятся дворникам и лакеям, а вместо шапок на головы накладываются шляпы. Шубы несутся в ссуду под залог. Концертов тьма-тьмушая; между ними преобладают, разумеется, кошачьи. В сей месяц рождается очень много великих людей. Все будут счастливы и проживут до девяноста лет. Размножение блох. Пора подумать о даче!

1, четверг. – Можно надувать всех. Кто врет – тот следует обычаю. Мы изменяем сегодня себе и тоже врем. – «Жить на этом свете весьма приятно. Боборыкин и Маркевич великие писатели.¹³⁶ Умер Лохвицкий. Курс с каждым днем по-

¹³⁵ ...Эфиальт предал персам отечество... – Эфиальт, политический деятель древних Афин (ок. 500—461 г. до н. э.). Упомянут в рассказе «Толстый и тонкий» (1883, т. ii).

¹³⁶ ...тоже врем ~ Боборыкин и Маркевич великие писатели. – Чехов неизменно критически отзывался о сочинениях П. Д. Боборыкина и Б. М. Маркевича. См. в письме от 14 января 1887 г. о Боборыкине: «Я не знаю, у кого плохой вкус: у греков ли, которые не стыдились воспевать любовь такую, какова она есть на самом деле в прекрасной природе, или же у читателей Пьера Бобо?» – и в письме от 30 января 1884 г. о Маркевиче: «Знаю я и автора, и его друзей, которых он

вышается. Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить»... И так далее. Это – день адвокатов, газет и И. А. Хлестакова. Тепло. Кто не врет, тому в Малом театре – «Синичкин», в Большом – «Ариффа».¹³⁷ Скучно. Многие Маши именинницы. Восх. сол. 4 ч. 48 м., зах. его же 7 ч. В сей день Лукулл проел и пропил 400 000 франков (43).

2, пятница. – Всё обстоит благополучно. Титы – именинники и бушуют. День рождения г-жи Ментер.¹³⁸ В г. Ярославле скандал: кто-то кого-то по мордасам. Прилетают вальдшнепы и дупеля. В Малом театре «Город упраздняется», в Большом «Дева ада».¹³⁹ Затмения солнца и луны, видимые одновременно во всех частях мира сего. Восх. сол. 4 ч. 45 м., зах. его же 7 ч. 14 м. Извержение Этны на Везувии. В сей день Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем, а Акакий Акакиевич сшил себе новую шинель (1842 г.).

3, суббота. – Азовское море потонет в таганрогской грязи, Черное море засыплется одесскою пылью. Именинники: редактор «Современных известий» г. Гиляров и покойный

нешадно третирует своей сплетней в „Безднах“ и „Переломках“.

¹³⁷ ...в Большом – «Ариффа». – «Ариффа, жемчужина Адена», балет, музыка Ю. Г. Гербера.

¹³⁸ День рождения г-жи Ментер. – С. Ментер (1846—1918), немецкая пианистка, в 1883—1887 гг. профессор Санкт-Петербургской консерватории.

¹³⁹ ...в Большом «Дева ада». – Балет, музыка Нефкура.

Н. И. Крылов.¹⁴⁰ Г. Аверкиев начнет восемнадцатиактную драму, в стихах, «Битва русских с кабардинцами».¹⁴¹ Восх. сол. 4 ч. 42 м., зах. его же 7 ч. 17 м. Прохождение Венеры Медицейской через диск солнца. Луну видно только в четвертом часу утра. Ночи темные, звездные, тихие. В сей день Навуходоносор, будучи зверем, скушал пуд сена (813).

4, воскресенье. – Красная горка. Разгар дешёвки. В пассаже толкотня ужасная. В сей день можно купить сорочку за 13 коп., ситец 2 коп. за арш., дюжину чепчиков за 35 к., женское платье за 1 р. и т. д. Уже можно венчаться. Выход 13 № «Будильника». Восх. сол. 4 ч. 39 м., зах. его же 7 ч. 20 м. Можно ходить без галош. В сей день Агафья Федосьевна откусила ухо у заседателя¹⁴² (1854 г.), Одиссей вздул женихов Пенелопы (1030 г.), а Собакевич наступил на ногу губернатору.

¹⁴⁰ *Именинники: редактор «Современных известий» г. Гиляров и покойный Н. И. Крылов.* – Имеются в виду редактор консервативной московской газеты «Современные известия» Никита Петрович Гиляров-Платонов (1834—1887) и профессор Московского университета по кафедре истории Никита Иванович Крылов (1807—1879). Оба они сотрудничали в одних и тех же изданиях, начиная с монархической «Русской беседы» (1856—1860).

¹⁴¹ ...«*Битва русских с кабардинцами*». – Пародийное название драмы. Использовано название лубочной повести Н. Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа».

¹⁴² ...«*Агафья Федосьевна откусила ухо у заседателя*... – Персонаж Н. В. Гоголя («Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»).

5, понедельник. – Наводнение в прессе. Венки и фрак покойного Н. Г. Рубинштейна заложатся в ссуде. Имениник наш сотрудник, Агафопод Единицын (автор «Ракеты пяти чувств»)¹⁴³ В Большом театре «Ариффа», в Малом «Город упраздняется». Дождь утром, ясно в полдень, дождь вечером. Перемена климата ежечасная. Восх. сол. 4 ч. 36 м., зах. его же 7 ч. 22 м. В сей день Пифагор сочинил Пифагоровы штаны. (Это было тем более кстати, что в то время у Пифагора не было штанов.)

6, вторник. – Поминование дедушек и бабушек. На кладбищах гулянья. Ярмарки нигде нет. Турки поступают по-свински. Гладстон в недоумении. В Монако мобилизация войск. На политическом горизонте дождевая туча. В Лондоне голод. Восх. сол. 4 ч. 33 м., зах. его же 7 ч. 25 м. Два мужа, разорившиеся на дешёвке, вешаются. Вечная им память! Сара Бернар требует развода. В сей день Аливемелех, царь никомидийский¹⁴⁴, подрался с театральными барышниками.

7, среда. – Именинницы все Акулины. Сара Бернар выходит замуж за негра. В Большом театре «Дева ада», в Малом «Л. Г. Синичкин». В г. Славяносербске волнение среди композиторов. Восх. сол. в 4 ч. 30 м., зах. его же 7 ч. 37 м.

¹⁴³ ...Агафопод Единицын (автор «Ракеты пяти чувств»)... – Ал. П. Чехов.

¹⁴⁴ ...Аливемелех, царь Никомидийский... – Пародийное имя (в Библии – Авимелех).

Полнолуние. Дождя не будет: можно ходить без галош. В сей день (в 1843 г.) скончалась Пульхерия Ивановна.

8, четверг. – Солнце вступает в 1. jrg в 7 ч. 30 м. у. Именинницы все Павселины. В Охотном ряду охотники, ездившие вчера и позавчера на охоту, покупают дичь. В Большом театре «Ариффа», в Малом «Город упраздняется». Лентовский утром едет в Америку, вечером обратно. Восх. сол. 4 ч. 27 м., зах. его же 7 ч. 30 м. В Красноярске поднесение благодарственного адреса артисту художеств, г. Юханцеву.¹⁴⁵ В сей день на солнце появилось первое пятно (18 г.), а Архимед крикнул: Эврика!!!

9, пятница. – Через Москву-реку проходит минимум. Передовая статья «Современных» пугает жупелом. В Большом театре «Дева ада», в Малом «Л. Г. Синичкин». В Славянске начало сезона. Восх. сол. 4 ч. 24 м., зах. его же 7 ч. 32 м. В г. Волоколамске конец периода свайных построек. В сей день Ксантиппа вылила ушат помоев на умную голову Сократа, сказавшего: «Я знаю только то, что я ничего не знаю!»

10, суббота. – Все Африканы и Зионы именинники. Сара Бернар требует развода. В г. Нахичевани смешение языков. В Большом театре «Ариффа», в Малом «Город упразд-

¹⁴⁵ ...*артисту художеств, г. Юханцеву.* – Подразумевается крупная растрата, совершенная Юханцевым в Обществе взаимного кредита.

няется». Ярмарка в Париже. (Сочинения Понсон-де-Терайля¹⁴⁶, кружева и эти дамы. Выручено будет 1 000 005 франков.) Восх. сол. 4 ч. 21 м., зах. его же 7 ч. 35 м. Радуга. Из рукава г. Геймана выскочит Вельзевул¹⁴⁷ и испугает публику. В сей день родился первый портной (12 г.).

11, воскресенье. – Младенцы, отроки и юноши зубрят и бледнеют при мысли об экзаменах. Турки нанимают г. Лохвицкого. В редакции «Гражданина» введение телесного наказания. В Большом театре «Дева ада», в Малом «Л. Г. Синичкин». Сара Бернар выходит замуж за помощника секретаря китайского посольства. Восх. сол. 4 ч. 19 м., зах. его же 7 ч. 37 м. На юге цветет сирень. В сей день произошло рождение маркизы Помпадур.

Примечания

1) В прошлом номере не было календаря по милости наших профессоров черной магии, которые были пьяны.

2) Заведующий календарем приглашает для совокупного бумагомарательства многознающего, трезвого и благомыслящего историка. Историк, принявший приглашение, благо-

¹⁴⁶ ...Сочинения Понсон-де-Терайля... – ponson du terrail (1829—1871), французский беллетрист, автор многотомных «уголовных» романов («Похождения Рокамболя», «Воскресший Рокамболь» и др.).

¹⁴⁷ Из рукава г. Геймана выскочит Вельзевул... – Пианист-виртуоз Карл Гейман концертировал в Москве в марте 1882 г.

волит обращаться письменно на имя заведующего. За каждое сообщенное им событие – пятак звонкою монетой.

3) Г-же Н. Н. Вы спрашиваете, что вам делать, чтобы муж ваш не торчал постоянно в кухне и не мешал вам стряпать? Вы вот что сделайте: рассчитайте кухарку... Наверное она у вас хорошенькая?

За заведующего календарем «Будильника» – *Г. Балдастов.*

Зеленая коса¹⁴⁸

(*Маленький роман*)

Глава I

На берегу Черного моря, на местечке, которое в моем дневнике и в дневниках моих героев и героинь значится «Зеленой Косой», стоит прелестная дача. С точки зрения архитектора, любителей всего строгого, законченного, имеющего стиль, может быть, эта дача никуда не годится, но с точки зрения поэта, художника она дивная прелесть. Она мне нравится за свою смиренную красоту, за то, что она своей красотой не давит окружающей красоты, за то, что от нее не веет ни холодом мрамора, ни важностью колонн. Она глядит приветливо, тепло, романтично... Из-за стройных сребристых тополей, со своими башенками, шпицами, зазубринами, шестью, выглядывает она чем-то средневековым. Когда смотрю на нее, я припоминаю сентиментальные немецкие романы с их рыцарями, замками, докторами философии, с таинственными графинями... Эта дача стоит на горе; вокруг да-

¹⁴⁸ К рисунку художника Чехова.

чи густой-прегустой сад с аллеями, фонтанчиками, оранжереями, а внизу, под горой – суровое голубое море... Воздух, сквозь который то и дело пробегает влажный кокетливый ветерок, всевозможные птичьи голоса, вечно ясное небо, прозрачная вода – чудное местечко!

Хозяйка дачи – жена не то грузина, не то черкеса-князька, Марья Егоровна Микшадзе, дама лет 50, высокая, полная и во время оно, несомненно, слывшая красавицей. Дама она добрая, милая, гостеприимная, но слишком уж строгая. Впрочем, не строгая, а капризная... Она нас отлично кормила, превосходно поила, занимала нас во все лопатки деньги и в то же время ужасно терзала. Этикет – ее конек. Что она жена князя – это ее другой конек. Катаясь на этих двух коньках, она вечно и ужасно пересаливает. Она никогда, например, не улыбается, вероятно, потому, что считает это для себя и вообще для *grandes-dames*¹⁴⁹ неприличным. Кто мо- ложе ее хоть на один год, тот молокосос. Знатность, по ее мнению, – добродетель, перед которой всё остальное – самая ерундистая чепуха. Она враг ветрености и легкомыслия, любит молчание и т. д. и т. д. Иногда мы едва умели выносить эту барыню. Если бы не дочь ее, то, пожалуй, едва ли мы устроили бы себя теперь воспоминаниями о Зеленой Косе. Добрая женщина составляет самое серое пятно в наших воспоминаниях. Украшение Зеленой Косы – дочь Марьи Егоровны, Оля. Оля – маленькая, стройная, хорошенькая блон-

¹⁴⁹ благородных дам (*франц.*)

диночка лет 19. Она бойка и не глупа. Хорошо рисует, занимается ботаникой, отлично говорит по-французски, плохо по-немецки, много читает и пляшет, как сама Терпсихора. Музыка училась в консерватории и играет очень недурно. Мы, мужчины, любили эту голубоглазую девочку, не «влюбились», а любили. Она для нас всех была что-то родное, свое... Зеленая Коса без нее для нас немислима. Без нее поэзия Зеленой Косы была бы неполной. Она – хорошенькая женская фигурка на прелестном ландшафте, а я не люблю картин без людских фигур. Плеск моря и шёпот деревьев сами по себе хороши, но если к ним присоединяется еще сопрано Оли с аккомпанементом наших басов, теноров и рояля, то море и сад делаются земным раем... Мы любили княжну; иначе и быть не могло. Мы величали ее дочерью нашего полка. И Оля любила нас. Она тяготела к нашей мужской компании и только среди нас чувствовала себя в своей родной стихии. Когда нас не было возле нее, она худела и переставала петь. Наша компания состоит из гостей, летних обитателей Зеленой Косы, и соседей. К первым принадлежат: доктор Яковкин, одесский газетчик Мухин, магистр физики (ныне доцент) Фивейский, три студента, художник Чехов¹⁵⁰, один харьковский барон-юрист и я, бывший репетитор Оли (научивший ее плохо говорить по-немецки и ловить щеглят). Мы ежегодно в мае съезжались на Зеленой Косе и захватывали на целое лето лишние комнаты средневеко-

¹⁵⁰ ...художник Чехов... – Н. П. Чехов (1858—1889).

вого замка и все флигеля. Каждый март нас приглашали на Зеленую Косу два письма: одно важное, строгое, полное нотаций – от княгини, другое очень длинное, веселое, полное всевозможных проектов – от соскучившейся об нас княжны. Мы приезжали и гостили до сентября. Соседями, ежедневно приезжавшими к нам, были отставной поручик-артиллерист Егоров¹⁵¹, молодой человек, два раза державший экзамен в Академию и два раза провалившийся, очень развитой, начитанный малый; студент-медик Коробов с женой Екатериной Ивановной¹⁵², помещик Алеутов и многое множество помещиков, отставных, неотставных, веселых и скучных, шалопаев и брандахлыстов... Вся эта банда бесконечно, день и ночь, круглое лето, ела, пила, играла, пела, пускала фейерверки, острила... Оля любила эту банду без памяти. Она кричала, вертелась и шумела больше всех. Она была душой компании.

Каждый вечер княгиня собирала нас в гостиную и с багровым лицом упрекала нас в «бессовестном» поведении, сты-

¹⁵¹ ...*поручик-артиллерист Егоров...* – Е. П. Егоров «был близким приятелем братьев Чеховых и упомянут Антоном Павловичем в его рассказе „Зеленая ко-са“. Впоследствии этот Е. П. Егоров вышел в отставку с таким же желанием „работать, работать и работать“, как барон Тузенбах в „Трех сестрах“, и оказал немалую услугу населению Нижегородской губернии в 1892 году. К нему ездил туда брат Антон, и оба они принимали там участие в обеспечении крестьян рабочими лошадьми» (Вокруг Чехова, стр. 133).

¹⁵² ...*студент-медик Коробов с женой Екатериной Ивановной...* – Н. И. Коробов (1860—1919), врач. Окончил медицинский факультет Московского университета в один год с А. П. Чеховым. Н. И. Коробову был посвящен рассказ «Цветы запоздалые» (см. стр. 392).

дила нас и клялась, что по нашей милости у нее голова болит. Она любила читать нотации; читала их искренно и глубоко была убеждена в том, что ее нотации послужат нам в пользу. Больше всех доставалось от нее Оле. По ее мнению, во всем была виновата Оля. Оля боялась матери. Она ее боготворила и выслушивала ее нотации стоя, молча, покраснев. Княгиня считала Олю дитятей. Она ставила ее в угол, оставляла без завтрака, без обеда. Заступаться за Олю значило подливать масло в огонь. Если бы можно было, то она и нас бы ставила в угол. Она посылала нас ко всенощной, приказывала вслух читать «Четьи-Минеи»¹⁵³, считала наше белье, вмешивалась в наши дела... Мы то и дело заносили куда-нибудь ее ножницы, забывали, где ее спирт, не умели найти ей наперстка.

– Разиня! – то и дело кричала она. – Прошел мимо, уронил и не поднимаешь! Подними! Сейчас подними! Наказал меня господь вами... Отойди от меня! Не стой на сквозном ветру!

Иногда для потехи кто-нибудь из нас провинится в чем-нибудь и по донесении призывается к старухе.

– Это ты на грядку наступил? – начинается суд. – Как ты смел?

– Я нечаянно...

– Молчи! Как ты смел, я тебя спрашиваю?

Суд оканчивался помилованием, целованием руки и, по выходе из комнаты судьи, гомерическим смехом. Ласкова с нами княгиня никогда не была. Ласковые слова говорит она

¹⁵³ ...читать «Четьи-Минеи»... – Сборник житий святых.

только старухам и маленьким детям.

Я ни разу не видал ее улыбки. Старичка-генерала, который по воскресеньям приезжал к ней играть в пикет, она шёпотом уверяла, что мы, доктора, магистры, частью бароны, художники, писатели, погибли бы без ее ума-разума... Мы и не старались разубеждать ее... Пусть, думали, тешится... Княгиня была бы сносна, если бы не требовала от нас, чтоб мы вставали не позже восьми часов и ложились не позже 12. Бедная Оля шла ложиться спать в 11 ч. Прекословить нельзя было. Да и издевались же мы над старухой за это незаконное посягательство на нашу свободу! Мы гурьбой ходили просить у нее прощение, сочиняли ей поздравительные стихи ломоносовского пошиба, рисовали геральдическое древо князей Микшадзе и т. д. Княгиня принимала всё это за чистую монету, а мы хохотали. Княгиня любила нас. Она глубоко, очень искренно вздыхала, когда выражала нам сожаление, что мы не князья. Она привыкла к нам, как к детям...

Не любила она одного только поручика Егорова. Она его ненавидела всей душой, питала к нему невозможнейшую антипатию. Принимала его только потому, что имела с ним денежные дела и этикетничала. Поручик прежде был ее любимцем. Он красив, удачно острит, много молчит и военный (это княгиня высоко ценила). Но иногда на Егорова что-то находит... Он садится, подпирает кулаками голову и начинает ужасно злословить. Злословит всех и всё, не щадя ни живых, ни мертвых. Княгиня выходила из себя и прогоняла

из комнат всех нас, когда он начинал говорить злые слова.

Однажды за обедом Егоров подпер голову кулаком и завел ни к селу ни к городу речь о кавказских князьях, потом вытащил из кармана «Стрекозу» и имел дерзость в присутствии княгини Микшадзе прочесть следующее: «Тифлис хороший город. К числу достоинств прекрасного города – в котором „князья“ даже улицы метут и сапоги в гостиницах чистят – принадлежит...» и т. д. Княгиня встала из-за стола и молча вышла. Она возненавидела Егорова еще сильнее, когда он в ее поминальнике около наших имен написал наши фамилии. Эта ненависть была тем более нежелательна и некстати, что поручик мечтал о женитьбе на Оле, а Оля была влюблена в поручика. Поручик ужасно мечтал, хоть и плохо верил в исполнение своих мечтаний. Оля любила тайком, украдкой, про себя, робко, чуть заметно... Любовь для нее была контрабандой, чувством, на которое было наложено жестокое veto¹⁵⁴. Ей не позволено было любить.

Глава II

В средневековом замке чуть было не разыгралась одна из глупых средневековых историй.

Лет семь тому назад, когда еще был жив князь Микшадзе, на Зеленую Косу приехал погостить князь Чайхидзев, екатеринославский помещик, друг и приятель Микшадзе. Это

¹⁵⁴ запрещение (лат.)

был очень богатый человек. Он всю жизнь свою кутил, бешено кутил и, несмотря на это, до конца дней своих был богачом. Микшадзе во время оно был его собутыльником. Вместе с Микшадзе он увез из родительского дома девушку, которая впоследствии стала княгиней Чайхидзевой. Это обстоятельство связало обоих князей прочнейшими узами дружбы. Чайхидзев приехал погостить вместе со своим сыном, пучеглазым, узкогрудым, черноволосым юношей, гимназистом. Чайхидзев первым долгом вспомнил старину и закутил с Микшадзе, а юноша заухаживал за Олей, тринадцатилетней девочкой. Ухаживание было замечено. Родители подмигнули и заметили, что из юноши и Оли вышла бы недурная парочка. Пьяные князья приказали детям поцеловаться, пожали друг другу руки и сами поцеловались. Микшадзе даже заплакал от умиления. – Так богу угодно! – сказал Чайхидзев. – У тебя дочь, у меня сын... Так богу угодно!

Детям дали по кольцу и сняли их на одной карточке. Эта карточка висела в зале и долгое время не давала покоя Егорову. Она была мишенью для бесчисленного множества острот. Княгиня Марья Егоровна важно благословила будущих супругов. Ей понравилась от скуки идея отцов. Через месяц после отъезда Чайхидзевых Оля получила по почте роскошный подарок. Такие подарки она получала потом ежегодно. Молодой Чайхидзев взглянул на дело, сверх ожидания, серьезно. Это был довольно ограниченный мальчик. Он ежегодно приезжал на Зеленую Косу и гостил целую неде-

лю, причем всё время молчал и посылал из своей комнаты Оле любовные письма. Оля прочитывала письма и конфузилась. Умная девочка удивлялась, как это может такой большой человек писать такие глупости! А он писал глупости... Два года тому назад умер Микшадзе. Умирая, он сказал Оле следующее: «Смотри, не выйди замуж за какого-нибудь дурака! Выходи за Чайхидзева. Он умный и достойный человек». Оля знала ум Чайхидзева, но отцу не противоречила. Она дала ему слово, что выйдет за Чайхидзева.

– И это воля папы! – говорила она нам, и говорила с некоторою гордостью, как будто бы совершала какой-нибудь громаднейший подвиг. Она гордилась тем, что отец унес с собой в могилу ее обещание. Это обещание было так необыкновенно, романтично!

Но природа и рассудок брали свое: отставной поручик Егоров вертелся пред глазами, а Чайхидзев с каждым годом в ее глазах становился всё глупее и глупее...

Когда однажды поручик осмелился намекнуть ей про свою любовь, она попросила его не говорить ей более о любви, напомнила об обещании, данном отцу, и всю ночь проплакала. Княгиня каждую неделю писала письма Чайхидзеву в Москву, где он учился в университете, и приказывала ему поскорей оканчивать курс. «У меня гостят не такие бородатые, как ты, а давно уже курс покончили», – писала она ему. Чайхидзев отвечал ей почтительнейше на розовой бумаге и на двух листах доказывал, что курса ранее определен-

ного срока кончить нельзя. Ему писала и Оля. Письма Оли ко мне далеко лучше писем ее к этому жениху. Княгиня верила в то, что Оля будет женой Чайхидзева, иначе же не пускала бы свою дочь гулять и «заниматься пустяками» в компании забияк, ветреников, безбожников и «некнязей»... Она не могла допустить и сомнения... Воля мужа для нее – священная воля... Оля тоже верила в то, что она со временем будет расписываться Чайхидзевой...

Но не тут-то было. Идея двух отцов порвалась у самого исполнения. Роман Чайхидзева не удался. Этому роману суждено было окончиться водевилем.

В прошлом году Чайхидзев приехал на Зеленую Косу в конце июня. Он приехал на этот раз уже не студентом, а действительным студентом. Княгиня встретила его важными, торжественными объятиями и длинной нотацией. Оля оделась в дорогое платье, сшитое специально для встречи жениха. Из города привезли шампанского, зажгли фейерверк, а на другой день утром вся Зеленая Коса в один голос толковала о свадьбе, назначенной якобы в конце июля. «Бедная Оля! – шептали мы, слоняясь из угла в угол, злобно поглядывая на окна, которые выходили в сад из комнаты ненавистного нам восточного человека. – Бедная Оля!» Оля ходила по саду, бледная, худая, полумертвая. «Так угодно папе и маме!» – говорила она, когда мы начинали приставать к ней с дружескими советами. «Да ведь это глупо! дико!» – кричали мы ей. Она пожимала плечами и отворачи-

вала от нас свое полное скорби лицо; жених сидел в своей комнате, посылал Оле с лакеями нежные письма и, глядя в окно, удивлялся смелости, с которой мы говорили и держали себя с Олей. Выходил он из своей комнаты только затем, чтобы пообедать. Обедал он молча, ни на кого не глядя, сухо отвечая на наши вопросы. Раз только он осмелился рассказать анекдот, да и тот оказался до пошлости старым. После обеда княгиня усаживала его рядом с собой и учила его играть в пикет. Чайхидзев играл серьезно, много думая, опустив нижнюю губу и вспотев... Такое отношение к пикету нравилось княгине.

Однажды после обеда Чайхидзев улизнул от пикета и побежал за Олей, которая отправилась в сад.

– Ольга Андреевна! – начал он. – Я знаю, вы меня не любите. Сватовство наше, правда, странно, глупо. Но я, но я надеюсь, что вы меня полюбите...

Он сказал это, сильно сконфузился и пошел боком из сада в свою комнату.

Поручик Егоров сидел у себя в имении и никуда не показывался. Он не мог переварить Чайхидзева.

В воскресенье (второе после приезда Чайхидзева), кажется, 5 июля, рано утром явился в наш флигель студент, племянник княгини, и передал нам приказ. Приказ княгини состоял в том, чтобы мы к вечеру были все в порядке: одеты во всё черное, белые галстуки, перчатки; были бы серьезны, умны, остроумны, послушны и завиты, как пудели; чтобы мы

не шумели; чтобы в комнатах у нас было благоприлично. На Зеленой Косе затевалось нечто вроде сговора. Из города привезли вин, водок, закусок... Наши прислужники были взяты от нас на кухню. После обеда начали съезжаться гости и съезжались до позднего вечера. В восемь часов, после катанья на лодках, начался бал.

До бала у нас, мужчин, была сходка. На этой сходке мы единогласно порешили во что бы то ни стало избавить Олю от Чайхидзева, избавить, хотя бы даже стоило это нам крупнейшего скандала. После сходки я бросился искать поручика Егорова. Он жил в своем именье, в 20 верстах от Зеленой Косы. Я помчался к нему и застал его, но как застал! Поручик был пьян как стелька и спал мертвецки. Я растолкал поручика, умыл, одел его и, несмотря на его брыкательства и ругань, повез его на Зеленую Косу.

В десять часов бал был в разгаре. Танцевали в четырех комнатах под игру двух прекрасных роялей. В антрактах в саду на горке играл третий рояль. Даже сама княгиня восхищалась нашими фейерверками. Фейерверки мы сожигали в саду, на берегу и далеко в море на лодках. На крыше замка разноцветные бенгальские огни сменяли друг друга и освещали всю Косу. Пьянствовали в двух буфетах: один буфет был в беседке в саду, другой в доме. Героем вечера, по-видимому, был Чайхидзев. С розовыми пятнышками на щеках, с вспотевшим носом, затянутый в тесный фрак, он плясал с Олей, болезненно улыбался и чувствовал, что он неловок.

Он плясал и следил за каждым своим «па». Ему страстно хотелось блеснуть хоть чем-нибудь, но не сумел он блеснуть ничем. Оля говорила мне впоследствии, что ей в этот вечер было очень жаль бедного князька. Он казался ей жалким. Он как будто бы предчувствовал, что у него отнимут невесту, о которой он, бывало, думал во время каждой лекции, ложась и просыпаясь... Когда он глядел на нас, глаза его были полны мольбы. Он предчувствовал в нас сильных и безжалостных соперников.

По приготовлениям высоких бокалов и по поглядываниям княгини на часы мы заключили, что торжественно-официальная минута приближается, что, по всей вероятности, Чайхидзев в 12 часов получит позволение поцеловать Олю. Нужно было действовать. В половине двенадцатого я попудрился, чтоб казаться бледным, своротил в сторону галстух и с озабоченным лицом и с всклокоченными волосами подошел к Оле.

– Ольга Андреевна, – начал я, схватив ее за руку, – ради бога!

– Что такое?

– Ради бога... Вы не пугайтесь, Ольга Андреевна... Иначе и быть не могло. Это и нужно было ожидать...

– В чем дело?

– Вы не пугайтесь... Того... Ради бога, моя дорогая! Евграф...

– Что с ним?

Оля побледнела и вскинула на меня свои большие, доверчивые, дружеские глаза...

– Евграф умирает...

Оля пошатнулась и пальцами провела по побледневшему лбу.

– Случилось то, чего я ожидал, – продолжал я. – Он умирает... Спасите его, Ольга Андреевна!

Оля схватила меня за руку.

– Он... он... Где?

– Здесь в саду, в беседке. Ужасно, моя дорогая! Но... на нас смотрят. Пойдемте на террасу... Он не обвиняет вас... Он знал, что вы его...

– Что... что с ним?

– Худо, очень худо!!

– Пойдемте... Я пойду к нему... Я не хочу, чтоб он благодаря мне... благодаря мне...

Мы вышли на террасу. У Оли подгибались колени. Я сделал вид, что отер слезу... Мимо нас по террасе то и дело пробегали бледные, встревоженные члены нашей банды с озабоченными, испуганными лицами.

– Кровь остановилась... – шепнул мне магистр физики так, чтобы услышала Оля.

– Идемте! – шепнула Оля и взяла меня под руку.

Мы спустились вниз по террасе... Ночь была тихая, светлая... Звуки рояля, шёпот темных деревьев, трещанье кузнечиков ласкали слух; внизу тихо плескалось море.

Оля едва шла... Ноги ее подгибались и путались в тяжелом платье. Она дрожала и со страха жалась к моему плечу.

– Но ведь я же не виновата... – шептала она. – Клянусь вам, что я не виновата. Так угодно было папе... Он должен это понять... Опасно?

– Не знаю... Михаил Павлович сделал всё возможное. Он хороший доктор и любит Егорова... Мы подходим, Ольга Андреевна...

– Я... я не увижу ничего ужасного? Я боюсь... Я не могу видеть... И для чего это он вздумал?

Оля залилась слезами.

– Я не виновата... он должен был понять. Я ему объясню. Мы подошли к беседке.

– Здесь, – сказал я.

Оля закрыла глаза и обеими руками ухватилась за меня.

– Я не могу...

– Не пугайтесь... Егоров, ты еще не умер? – крикнул я, обращаясь к беседке.

– Пока еще нет... А что?

У входа в беседку показался освещенный луною поручик, растрепанный, бледный от перепоя, с расстегнутым жилетом...

– А что? – повторил он.

Оля подняла голову и увидела Егорова... Она посмотрела на меня, потом на Егорова, потом опять на меня... Я засмеялся... Лицо ее просияло. Она вскрикнула от радости, сде-

лала шаг вперед... Я думал, что она на нас рассердится... Но эта девочка не умела сердиться... Она сделала шаг вперед, подумала и бросилась к Егорову. Егоров быстро застегнул жилет и растопырил руки. Оля упала ему на грудь. Егоров засмеялся от удовольствия, повернул в сторону голову, чтоб не дышать на Олю, и забормотал какую-то чепуху.

– Вы не имеете права... Я не виновата, – залепетала Оля. – Так угодно папе, маме и т. д.

Я повернул назад и быстро зашагал к освещенному замку.

В замке между тем публика готовилась к поздравлению жениха и невесты и нетерпеливо поглядывала на часы... В передних толпились лакеи с подносами; на подносах стояли бутылки и бокалы. Чайхидзев нетерпеливо мял правую руку в левой и глазами искал Олю. Княгиня ходила по комнатам и искала Олю, чтоб дать ей наставление, как держать себя, что ответить матери и т. д. Наши улыбались.

– Не знаешь, где Оля? – спросила меня княгиня.

– Не знаю.

– Поди поищи.

Я сошел в сад и, заложив руки назад, обошел раза два вокруг дома. Наш художник заиграл на трубе. Это значило: «Держи, не выпускай!» Егоров отвечал из беседки криком совы. Это значило: «Хорошо! Держу!»

Походив немного, я вошел в дом. В передних лакеи поставили подносы на столы и, стоя с пустыми руками, тупо поглядывали на публику. Публика, в свою очередь, с недо-

умением поглядывала на часы, на которых большая стрелка показывала уже четверть. Рояли замолкли. Во всех комнатах царил глубокая, томительная, глухая тишина.

– Где Оля? – спросила меня багровая княгиня.

– Не знаю... В саду нет.

Княгиня пожала плечами.

– Разве она не знает, что уже давно пора? – спросила она, дернув меня за рукав.

Я пожал плечами. Княгиня отошла от меня и зашептала что-то Чайхидзеву. Чайхидзев тоже пожал плечами. Княгиня и его дернула за рукав.

– Дурралей! – заворчала она и забегала по всему дому. Горничные и гимназисты, родственники княгини, с шумом сбежали по лестнице и отправились в глубину сада искать исчезнувшую невесту. Я тоже пошел в сад. Я боялся, что Егоров не сумеет задержать Олю и испортит задуманный нами скандал. Я направился к беседке. Напрасно я боялся! Оля сидела возле Егорова, водила перед его глазами своими пальчиками и шептала, шептала... Когда Оля переставала шептать, начинал бормотать Егоров. Он внушал ей то, что княгиня называет «идеями»... Каждое свое слово он подслащивал поцелуем. Он говорил, лез ежесекундно целоваться и в то же время отворачивал в сторону свой рот, боясь, чтобы Оля не почувала водочного запаха. Оба они были счастливы, забыли, по-видимому, всё на свете и не замечали времени. Я постоял немного у входа в беседку, возрадовался духом и,

не желая нарушать счастливого покоя, пошел к замку.

Княгиня выходила из себя и нюхала спирт. Она терялась в догадках, сердилась, стыдилась гостей, жениха... Она никогда не дерется, но дала горничной пощечину, когда та доложила ей, что княжны нет нигде. Гости, не дождавшись шампанского и поздравлений, заулыбались, зашплетничали и опять взялись за танцы.

Пробил час, Оля не показывалась. Княгиню разбирало бешенство.

– Это всё ваши штуки! – шипела она, проходя мимо кого-либо из нас. – Будет ей на орехи! Где она?

Наконец нашелся благодетель, который сообщил ей, где Оля... Этим благодетелем оказался маленький пузатый гимназистик, племянник княгини. Гимназистик прибежал из сада, как угорелый, подскочил к княгине, сел ей на колени, пригнул к себе ее голову и зашептал ей на ухо... Княгиня побледнела и до крови укусила себя за губу.

– В беседке? – спросила она.

– Да.

Княгиня поднялась и с гримасой, похожей на официальную улыбку, объявила гостям, что у Оли болит голова, что она просит извинить и т. д. Гости изъявили сожаление, наскоро поужинали и начали разъезжаться.

В два часа (Егоров поусердствовал и задержал Олю до двух) я стоял у входа на террасу за стеной из олеандровых деревцов и ждал возвращения Оли. Мне хотелось посмот-

реть на Олино лицо. Я люблю женские счастливые лица. Мне хотелось посмотреть, как любовь к Егорову и в то же время страх перед матерью совместятся на одном и том же лице; и что сильнее: любовь или страх? Я недолго дышал запахом олеандров. Оля скоро показалась. Я впился глазами в лицо ее. Она шла медленно, приподняв немного платье и показывая свои маленькие башмачки. Лицо ее было хорошо освещено луной и фонариками, висевшими на деревьях и своим мельканьем портившими лунный свет. Лицо было серьезно, бледно. Чуть-чуть улыбались одни только губы. Глаза задумчиво смотрели в землю; с такими глазами решают обыкновенно трудные задачи. Когда Оля ступила на первую ступень, ее глаза засуетились, забежали: она вспомнила мать. Оля слегка коснулась рукой помятой прически, некоторое время постояла нерешительно на первой ступени и, потряхнув головой, смело пошла к двери... Но тут суждено было мне увидеть картину.. Распахнулась дверь, и бледное лицо Оли осветилось ярким светом. Оля вздрогнула, сделала шаг назад и слегка присела... Ее как будто что-то приплюснуло... На пороге, подняв голову, стояла княгиня, красная, дрожащая от гнева и стыда... Минуты две длилось молчание.

– Дочь князя, – заговорила княгиня, – и невеста князя ходит на свидания с поручиком!? С Евграшкой! Мерзкая!

Оля съежилась в три погибели и, трепещущая, змейкой проскользнула мимо княгини и полетела в свою комнату. Она села на свою постель, и глаза, полные ужаса и тревоги,

не спускала с окна в продолжение всей ночи...

В третьем часу ночи у нас опять была сходка. На этой сходке мы посмеялись над опьяневшим от счастья Егоровым и снарядили харьковского барона-юриста к Чайхидзеву. Князь еще не спал Харьковский барон-юрист должен был «дружески» указать Чайхидзеву на неловкость его, Чайхидзева, положения, попросить его, чтоб он, князь, как развитой человек, взял бы на себя труд уяснить себе эту неловкость, и попросить его, между прочим, чтоб он извинил нас за наше вмешательство, извинил бы «по-дружески», как развитой человек... Чайхидзев ответил барону, что он «всё это хорошо понимает», что он не придает значения отцовскому завещанию, но любит Олю, а потому и был так настойчив... Он с чувством пожал барону руку и обещал завтра же уехать.

На следующее утро Оля явилась к чаю бледная, разбитая, полная самых отчаянных ожиданий, ей было и страшно и стыдно... Но лицо ее просияло когда она в столовой увидела и услышала нас. Мы всей компанией стояли перед княгиней и кричали. Кричали все разом. Мы сбросили наши маленькие маски и громко внушали старой княгине «идеи», очень похожие на те, которые внушал вчера Оле Егоров. Мы говорили о личности женщины, о законности свободного выбора и т. д. Княгиня молча, угрюмо слушала нас и читала письмо, присланное ей Егоровым, – это письмо было сочинено всей компанией и было переполнено словами: «по малолетству», «по неопытности», «вашими благословениями» и т. д.

Княгиня выслушала нас до конца, до конца прочла длинное письмо Егорова и сказала:

– Не вам, молокососам, учить меня, старуху. Знаю, что делаю. Выпивайте чай и поезжайте отсюда кружить другие головы. Вам не жить со мной, со старухой... Вы люди умные, а я дура. С богом, сударики!.. Век вам буду благодарна!

Княгиня нас гнала. Мы написали ей благодарственное письмо, приложились к ее руке и, скрепя сердца, выехали в тот же день в имение Егорова. С нами выехал и Чайхидзев. У Егорова мы занимались только тем, что кутили, скучали об Оле и утешали Егорова. Прожили мы у него недели две. На третьей неделе наш барон-юрист получил от княгини письмо. Княгиня просила барона приехать на Зеленую Косу и написать ей какую-то бумагу. Барон поехал. Дня через три после отъезда поехали и мы туда же, якобы за бароном. На Зеленую Косу приехали мы перед обедом. В дом мы не входили, а слонялись по саду, поглядывая на окна. Княгиня увидела нас в окно.

– Это вы приехали? – крикнула она.

– Мы.

– Дело есть, что ли?

– За бароном.

– Барону некогда с вами, висельниками, фордыбасничать!

Он пишет.

Мы сняли шляпы и подошли к окну.

– Как ваше здоровье, княгиня? – спросил я.

– Чего слоняетесь? – ответила княгиня. – Идите в комнаты!

Мы вошли в комнаты и смиренно расселись по стульям. Княгине, страшно соскучившейся об нашей компании, понравилось это смирение. Она нас оставила обедать. За обедом одного из нас, уронившего ложку, она выбрала разиней и упрекнула нас, что мы не умеем держать себя за столом. Мы погуляли с Олей, остались переночевать... Переночевали и другую ночь и застряли на Зеленой Косе до самого сентября. Мир склеился сам собой.

Вчера получил письмо от Егорова. Поручик пишет, что всю зиму он «подмазывался» к княгине и успел гнев княгини переложить на милость. Он уверяет, что летом будет его свадьба.

Вскоре я должен получить два письма: одно строгое, официальное от княгини, другое длинное, веселое, полное проктов от Оли. В мае я еду опять на Зеленую Косу.

«Свидание хотя и состоялось, но...»

Выдержав экзамен, Гвоздиков сел на конку и за шесть копеек (он ездил всегда «на верхотуре») доехал до заставы. От заставы до дачи, версты три, он пропер пехтурой. У ворот встретила его хозяйка дачи, молодая дамочка. Сынка этой дамочки он обучал арифметике, за что и получал стол, квартиру на даче и пять рублей в месяц деньгами.

– Ну что, как? – спросила его хозяйка, протягивая руку. – Благополучно? Выдержали экзамен?

– Выдержал.

– Bravo, Егор Андреевич! Много получили?

– По обыкновению... Пять... Гм...

Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но... но почему же не соврать, если можно? Экзаменующиеся так же охотно врут, как и охотники. Войдя к себе в комнату, Гвоздиков на своем столе нашел маленькое письмецо с розовой облаточкой. Письмецо пахло резедой. Гвоздиков разорвал конверт, скушал облатку и прочел следующее:

«Так и быть. Будьте ровно в 8 часов около канавы, в которую вчера упала с головы ваша шляпа. Я буду сидеть под деревом на скамеечке. И я вас люблю, только не будьте таким неповоротливым. Надо быть бойким. Жду вечера с нетерпением. Я вас ужасно люблю. Ваша С.

Р. С. Маман уехала, и мы будем гулять до полночи. Ах, как я счастлива! Бабушка будет спать, не заметит».

Прочитав это письмо, Гвоздиков широко улыбнулся, высоко подпрыгнул и, торжествующий, зашагал по комнате.

– Любим! Любим!! Любим!!! Как я счастлив, чёрт возьми! О-о-о! Тру-ля-ля!

Гвоздиков прочитал письмо еще раз, поцеловал его, бережно сложил и спрятал в анатомический стол. Ему принесли обедать. Он, отуманенный письмом и забывший всё на свете, съел всё, что ему принесли: и суп, и мясо, и хлеб. Пообедав, он лег и замечтал о всякой всячине: о дружбе, о любви, о службе... Образ Сони носился перед его глазами.

«Как жаль, что у меня часов нет! – думал он. – Будь у меня часы, я мог бы высчитать, сколько осталось до вечера. Время, как назло, протянется чертовски медленно».

Когда ему надоело лежать и мечтать, он поднялся, пошагал и послал кухарку за пивом.

«Пока суть да дело, – подумал он, – а мы выпьем. Время быстрее покажется».

Принесли пиво. Гвоздиков сел, поставил перед собой рядком все шесть бутылок и, любовно поглядывая на них, принялся пить. Выпив три стакана, он почувствовал, что в его груди и голове зажгли по лампе: стало так тепло, светло, хорошо.

«Она составит мне мое счастье! – подумал он, принимаясь за другую бутылку. – Она... она именно та, о которой я

мечтал... О да!»

После второй бутылки он почувствовал, что в его голове потушили лампу, и стало темновато. Но зато как весело стало! Хорошо жить на этом свете после второй бутылки! Принимаясь за третью бутылку, Гвоздиков махал перед своим носом рукой и клялся, что счастливее его никого нет на этом свете. Клятву давал он самому себе и верил этой клятве безапелляционно.

– Я знаю, что? она во мне полюбила! – забормотал он. – Знаю-с! Она полюбила во мне недюжинного человека! Так-то! Знает, кого полюбить и за что полюбить... Недюжинного человека! Я не какой-нибудь там... этакий... Я Гвозд... Я...

Принимаясь за четвертую бутылку, он воскликнул:

– Да-с! Не какой-нибудь! Полюбила она во мне... гения! Ге-ни-я! Мирового гения! Кто я? И что я? Вы думаете – Гвоздиков? Да, я Гвоздиков, но какой Гвоздиков? Как вы думаете?

Дойдя до половины четвертой бутылки, он ударил кулаком по столу, взъерошил волосы и сказал:

– Я им покажу, кто я таков! Пусть только кончу курс! Дайте мне только позаниматься! Я жрец науки...

Она полюбила во мне жреца науки. И я докажу, что она права! Вы мне не верите? Прочь! И она не верит? Она? Соня? Прочь и ее в таком случае! Я докажу! Сейчас же начну заниматься!.. Допью только стакан... Все вы подлецы!

Гвоздиков рассердился, допил стакан, достал с полки лек-

ции, открыл и начал читать с середины:

«При... причиной вывиха нижней челюсти может также служить па... падение, удар при открытом рте...»

– Чепуха! Челюсть... Удар... То да се... Чепуха!

Гвоздиков закрыл лекции и принялся за пятую бутылку. Выпив, наконец, пятую и шестую, он пригорюнился и задумался о ничтожестве вселенной вообще и человека в частности... Думая, он машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком, стараясь ударить ею в зеленое пятнышко, мелькавшее перед его глазами. Черные, зеленые и синие пятнышки забегали перед его глазами, когда он попал пробкой в зеленое пятно. Одно из пятен, буро-красное с зелеными иглами, улыбаясь, полетело к его глазам и испустило из себя что-то вроде клея... Гвоздиков почувствовал, что у него слипаются глаза...

«У меня в глазах кто-то... пищит! – подумал он. – Надо выйти на воздух, а то я ослепну. Надо по... погулять... Здесь душно. Печи всё топят... О, о-ослы!! Пищат и печи топят! Дураки!» Гвоздиков надел шляпу и вышел из комнаты. На дворе уже стемнело. Был десятый час. На небе мерцали звездочки. Луны не было, и ночь обещала быть темна. На Гвоздикова пахнуло майской свежестью леса. Встретили его все атрибуты любовного rendez-vous¹⁵⁵: и шёпот листьев, и песнь соловья, и... даже задумчивая, белеющая во мраке «она». Он, сам того не замечая, дошел до места, о котором упоми-

¹⁵⁵ свидания: (франц.)

налось в письме.

Она поднялась со скамьи и пошла к нему навстречу.

– Жорж! – сказала она, чуть дыша. – Я здесь.

Гвоздиков остановился, прислушался и начал смотреть вверх, на верхушки деревьев. Ему показалось, что его имя произнесли где-то вверху.

– Жорж, это я! – повторила она, ближе подойдя к нему.

– А?

– Это я.

– Что? Кто тут? Кого?

– Это я, Жорж... Идите... Сядемте.

Жорж протер глаза и уставился на нее...

– Чего надо?

– Смешной! Не узнаете, что ли? Неужели вы ничего не видите?

– А-а-а-а... Позвольте... Вы какое же имеете пра... пра... вво в ночное время ходить по чужому саду? Милостивый государь! Отвечайте, милостивый государь, в противном же случае я ввам дам... в мор... мор...

Жорж протянул вперед руку и схватил ее за плечо. Она захохотала.

– Какой вы смешной! Ха-ха-ха... Как вы хорошо представлять умеете! Ну, пойдете... Давайте болтать...

– Кого болтать? Что? Вы почему? А я почему? Смеетесь?

Она громче захохотала, взяла его под руку и потянулась вперед. Он попятился назад. Он изображал из себя упрямого

коренника, а она бьющуюся вперед пристяжную.

– Мне... мне спать хочется... Пустите... – забормотал он. – Я не желаю заниматься пустяками...

– Ну, будет, будет... Отчего вы опоздали на полчаса? Занимались?

– Занимался... Я всегда занимаюсь... При... чи... ной вывиха нижней челюсти может быть падение, удар при открытом рте. Челюсти вышибают всё больше в трактирах, в кабаках... Я хочу пива... Трехгорного.

Он и она дотащились до скамьи и сели. Он подпер лицо кулаками, уперся локтями в колена и зафыркал. Шляпа сползла с его головы и упала на ее руки. Она нагнулась и посмотрела ему в лицо.

– Что с вами? – тихо спросила она.

– И не ваше, не ваше дело... Никто не имеет права вмешиваться в мои дела... Все они дураки и вы... дураки.

Немного помолчав, Гвоздиков прибавил:

– И я дурак...

– Вы получили письмо? – спросила она.

– Получил... От Сонь... ки... От Сони... Вы – Соня? Ну и что ж? Глупо... Слово «нетерпение» в слове «не» пишется не чрез «ять», а чрез «е». Грамотеи! Чёрт бы вас взял совсем!..

– Вы пьяны, что ли?

– Нннет... Но я справедлив! Какое вы имеете пра... пр... пр... От пива нельзя быть пьяным... А? Который?

– А зачем же вы, бессовестный, чепуху мелете, если вы не

пьяный?

– Ннет... Именительный – меня, родительный – тебя, дательный, именительный... Processus condyloideus et musculus sterno-cleido-mastoideus¹⁵⁶.

Гвоздиков захохотал, свесил голову к коленям...

– Вы спите? – спросила она.

Ответа не последовало. Она заплакала и начала ломать руки.

– Вы спите, Егор Андреевич? – повторила она.

В ответ на это послышался громкий сиплый храп. Соня поднялась.

– Мер-р-зкий!! – проворчала она. – Негодный! Так вот ты какой? Так на же, вот тебе! На тебе! На тебе!

И Соня своей маленькой ручкой раз пять коснулась до затылка Гвоздикова, и как коснулась! Ноги ее заходили по его шляпе. Мстительны женщины!

На другой день Гвоздиков послал Соне письмо следующего содержания:

«Прошу прощения. Не мог вчера явиться, потому что был ужасно болен. Назначьте другое время, хоть сегодняшний вечер, например.

Любящий Егор Гвоздиков».

Ответ на это письмо был таков:

¹⁵⁶ Яремный отросток и грудно-ключично-сосковая мышца (лат.)

«Шляпа ваша валяется около беседки. Можете ее
взять там. Пиво пить приятнее, чем любить, а потому
пейте пиво. Не хочу вам мешать.

Уже не ваша С...

P. S. Не отвечайте мне. Я вас ненавижу».

Корреспондент

Музыкантов было восемь человек. Главе их, Гурию Максиму, было заявлено, что если музыка не будет играть неумолкаемо, то музыканты не увидят ни одной рюмки водки и благодарность за труд получают с великой натяжкой. Танцы начались ровно в восемь часов вечера. В час ночи барышни обиделись на кавалеров; полупьяные кавалеры обиделись на барышень, и танцы расстроились. Гости разделились на группы. Старички заняли гостиную, в которой стоял стол с сорока четырьмя бутылками и со столькими же тарелками; барышни забились в уголок, зашептали о безобразиях кавалеров и стали решать вопрос: как это так выходит, что невеста с первого же раза начинает говорить на жениха «ты»? Кавалеры заняли другой угол и заговорили все разом, каждый про свое. Гурий, первая и плохая скрипка и дирижер, заиграл со своими семью черняевский марш...¹⁵⁷ Играл он неумолкаемо и останавливался лишь только тогда, когда хотел выпить водки или подтянуть брюки. Он был сердит: вторая и самая плохая скрипка была донельзя пьяна и чертовски фантазировала, а флейтист ежеминутно ронял на пол флейту, не смотрел в ноты и без причины смеялся. Шум под-

¹⁵⁷ ...черняевский марш... – Военный марш, названный по имени генерала М. Г. Черняева (1828—1898), главнокомандующего в сербско-турецкой войне 1875—1876 гг. Имя композитора не установлено.

нялся страшный. С маленького столика попадали бутылки... Кто-то ударил по спине немца Карла Карловича Фюнф... С криком и со смехом выскочило несколько человек с красными физиономиями из спальни; за ними погнался встревоженный лакей. Дьякон Манафуилов, желая блеснуть перед пьяной и почтеннейшей публикой своим остроумием, наступил кошке на хвост и держал ее до тех пор, пока лакей не вырвал из-под его ног охрипшей кошки и не заметил ему, что «это одна только глупость». Городской голова вообразил, что у него пропали часы; он страшно перепугался, вспотел и начал браниться, доказывая, что его часы стоят сто рублей. У невесты разболелась голова... В прихожей уронили что-то тяжелое, раздался треск. В гостиной, около бутылок, старички вели себя не по-старчески. Они вспоминали свою молодость и болтали чёрт знает что. Рассказывали анекдотцы, прохаживались насчет любовных походов хозяина, острили, хихикали, причем хозяин, видимо довольный, сидел, развалившись на кресле, и говорил: «И вы тоже хороши, сукины сыны; знаю я вас хорошо и любашкам вашим не раз презенты подносил»... Пробыло два часа. Гурий в седьмой раз заиграл испанскую серенаду. Старички вошли в азарт.

– Погляди, Егорий! – зашамкал один старичок, обращаясь к хозяину и указывая в угол. – Что это там за егоза сидит?

В углу, возле этажерки с книгами, смиренно, поджав ноги под себя, сидел маленький старичок в темно-зеленом поношенном сюртуке со светлыми пуговицами и от нечего делать

перелистывал какую-то книжку. Хозяин посмотрел в угол, подумал и усмехнулся.

– Это, братцы мои, – сказал он, – газетчик. Нешто вы его не знаете? Великолепный человек! Иван Никитич, – обратился он к старичку со светлыми пуговицами, – что же ты там сидишь? Подходи сюда!

Иван Никитич встрепнулся, поднял свои голубые глазки и страшно сконфузился.

– Это, господа, сам писатель, журналист! – продолжал хозяин. – Мы пьем, а они, видите ли, сидят в уголку, по-умному думают, да на нас с усмешкой посматривают. Стыдно, брат. Иди выпей – грех, ведь!

Иван Никитич поднялся, смиренно подошел к столу и налил себе рюмочку водки.

– Дай бог вам... – пробормотал он, медленно выпивая рюмку, – чтоб всё... этак хорошо... обстоятельно.

– Закуси, брат! Кушай!

Иван Никитич замигал глазками и скушал сардинку. Толстяк, с серебряною медалью на шее, подошел к нему сзади и высыпал на его голову горсть соли.

– Солоней будет, червячки не заведутся! – сказал он.

Публика захохотала. Иван Никитич замотал головой и густо покраснел.

– Да ты не обижайся! – сказал толстяк. – Зачем обижаться? Это шутка с моей стороны. Чудак ты этакой! Смотри, я и себе насыплю! – Толстяк взял со стола солонку и сыпнул

себе соли на голову.

– И ему, ежели хочешь, посыплю. Чего обижаться? – сказал он и посолил хозяйскую голову. Публика захохотала. Иван Никитич тоже улыбнулся и скушал другую сардинку.

– Что ж ты, политикан, не пьешь? – сказал хозяин. – Пей. Давай пить со мной! Нет, со всеми выпьем!

Старички поднялись и окружили стол. Рюмки наполнились коньяком. Иван Никитич кашлянул и осторожно взялся за рюмку.

– С меня бы довольно, – проговорил он, обращаясь к хозяину. – Я уже и так пьян-с. Ну, дай бог вам, Егор Никифорыч, чтобы... всё... хорошо и благополучно. Да чего вы все на меня так смотрите? Чудной нешто я человек? Хи-хи-хи-с. Ну, дай бог вам! Егор Никифорыч, батюшка, будьте столь достолюбезны и снисходительны, прикажите Гурию, чтоб Григорий барабанить перестал. Замучил совсем, хам. Так барабанит, что в животе бурлит... За ваше здоровье!

– Пущай барабанит, – сказал хозяин. – Нешто музыка без барабана может существовать? И того не понимаешь, а еще сочинения сочиняешь. Ну, теперь со мной выпей!

Иван Никитич икнул и засеменял ножками. Хозяин налил два стакана.

– Пей, приятель, – сказал он, – а прятаться не смей. Будешь писать, что у Л—ва все пьяны были, так про себя пропишешь. Ну? Желаю здравствовать. Да ну же, умница! Экой ты ведь конфузный какой! Пей!

Иван Никитич кашлянул, высморкнулся и чокнулся с хозяином.

– Желаю вам зла-погибели и бед всяческих... избежать! – сострил купчик; старший зять хозяина захохотал.

– Ура-а-а газетнику! – крикнул толстяк, обхватил Ивана Никитича и поднял его на воздух. Подскочили другие старички, и Иван Никитич очутился выше своей головы, на руках, головах и плечах почтеннейшей и пьяной т—й интеллигенции.

– Кач... ка-ча-а-ай! Качай его, шельмеца! Неси егозу! Тащи его, темно-зеленого прохвоста! – закричали старички и понесли Ивана Никитича в залу. В зале к старичкам присоединились кавалеры и начали подбрасывать под самый потолок бедного газетчика. Барышни захлопали в ладоши, музыканты замолкли и положили свои инструменты, лакеи, взятые шика ради из клуба, заудивлялись «безобразности» и преглупо захихикали в свои аристократические кулаки. У Ивана Никитича отскочили от сюртука две пуговицы и развязался ремень. Он пыхтел, кряхтел, пищал, страдал, но... блаженно улыбался. Он ни в каком случае не ожидал такой чести для себя, «нолика», как он выражался, «между чело-веками еле видимого и едва заметного»...

– Гаа-га-га-га! – заорал жених и, пьяный как стелька, вцепился в ноги Ивана Никитича. Иван Никитич закачался, выскользнул из рук т—й интеллигенции и ухватился за шею толстяка с серебряною медалью.

– Убьюсь, – забормотал он, – убьюсь! Позвольте-с! Чутьочку-с! Вот так-с... Ох, нет, не так-с!

Жених выпустил ноги, и он повис на шее толстяка. Толстяк мотнул головой, и Иван Никитич упал на пол, застонал и с хихиканьем поднялся на ноги. Все хохотали, даже цивилизованные лакеи из нецивилизованного клуба снисходительно морщили носы и улыбались. Лицо Ивана Никитича сильно поморщилось от блаженной улыбки, из влажных голубых глаз его посыпались искорки, а рот покривился набок, причем верхняя губа покривилась направо, а нижняя вытянулась и искривилась налево.

– Господа почтенные! – заговорил он слабым тенорком, расставя руки и поправляя ремешок, – господа почтенные! Дай бог вам всего того, чего вы от бога желаете. Спасибо ему, благодетелю, ему... вот ему, Егору Никифоровичу... Не пренебрег мелким человечиком. Встретились это мне позавчера в Грязном переулке, да и говорят: «Приходи же, Иван Никитич. Смотри же, непременно приходи. Весь город будет, ну и ты, сплетня всероссийская, приходи!» Не пренебрегли, дай бог им здоровья. Осчастливили вы меня своею лаской искреннею, не забыли газетчика, старикашку рваного. Спасибо вам. И не забывайте, господа почтенные, нашего брата. Наш брат человек маленький, это действительно, но душа у него не вредная. Не пренебрегайте, не брезгуйте, он чувствовать будет! Между людьми мы маленькие, бедненькие, а между тем соль мира есмы, и богом для полезности отечественной

созданы, и всю вселенную поучаем, добро превозносим, зло человеческое поносим...

– Чего мелешь-то? – закричал хозяин. – Замолол, шут Иванович! Ты речь читай!

– Речь, речь! – заголосили гости.

– Речь? Эх-эх-гем. Слушаю-с. Позвольте подумать-с!

Иван Никитич начал думать. Кто-то всучил ему в руки бокал шампанского. Немного подумав, он вытянул шею, поднял вдруг бокал и начал тенорком, обращаясь к Егору Никифоровичу:

– Речь моя, милостивые государыни и милостивые государи, будет коротка и длиннотою своею не будет соответствовать настоящему, весьма трогательному для нас, событию. Эх-эх-гем. Великий поэт сказал: блажен, кто смолоду был молод!¹⁵⁸ В истине сего я не сомневаюсь и даже полагаю, что не ошибусь, если прибавлю к нему в мыслях еще кое-что и языком воспроизведу следующее обращение к молодым виновникам сего торжества и события: да будут наши молодые молоды не только теперь, когда они по естеству своему физически молоды еще, но и в старости своей, ибо блажен тот, кто смолоду был молод, но в стократ блаженнее тот, кто молодость свою сохранил до самой могилы. Да будут они, виновники настоящего словоблудия моего, в старости своей стары телом, но молоды душою, то есть живопарящим духом. Да

¹⁵⁸ ...блажен, кто смолоду был молод! – А. С. Пушкин. Евгений Онегин, гл. восьмая, строфа X.

не оскудевают до самой доски гробовой идеалы их, в чем истинное блаженство человеков и состоит. Жизнь их обоюдная да сольется во едино чистое, доброе и высокочестное, и да послужит нежно любящая... хи-хи-хи-с... так сказать, октавой для своего мужа, мужа крепкого в мыслях, и да составят они собою сладкозвучную гармонию! Виват, живио и ура-а-а!

Иван Никитич выпил шампанское, стукнул каблуком об пол и победителем посмотрел на окружающих.

– Ловко, ловко, Иван Никитич! – закричали гости.

Жених подошел, шатаясь, к Ивану Никитичу, попытался расшаркаться, но не расшаркался, чуть не упал, схватил оратора за руку и сказал:

– Боку... боку мерси.¹⁵⁹ Ваша речь очен-н-но о-чень хороша и не лишена некоторой тен-тенденции.

Иван Никитич подпрыгнул, обнял жениха и поцеловал его в шею. Жених страшно сконфузился и, чтобы скрыть замешательство, начал обнимать тестя.

– Ловко вы объяснять чувства можете! – сказал толстяк с медалью. – У вас такая фигура, что... никак не ожидал! Право... извините-с!

– Ловко? – запищал Иван Никитич. – Ловко? Хе-хе-хе. То-то. Сам знаю, что ловко! Огня только мало, ну да где его взять, огня-то этого? Время уж не то, господа почтенные! Прежде, бывало, как скажешь что иль напишешь, так сам

¹⁵⁹ Премного благодарен (*франц.* merci beaucoup).

в умилительное состояние души приходишь и удивляешься таланту своему. Эх, было времечко! Выпить бы нужно, фраздьяволо, за это времечко! Давайте, други, выпьем! Времечко было страсть какое авантажное!

Гости подошли к столу и взяли по рюмке. Иван Никитич преобразился. Он налил себе не рюмку, а стакан.

– Выпьем, господа почтенные, – продолжал он. – Обласкали вы меня, старика, почтите уж и время, в которое я великим человеком был! Славное было времечко! Mesdames, красоточки мои, чокнитесь с аспидом и василиском, который красоте вашей изумляется! Цок! Хе-хе-хе. Амурчики мои. Было время, сакраменто!¹⁶⁰ Любил и страдал, побеждал и побеждаем неоднократно был. Ура-а-а!

– Было время, – продолжал вспотевший и встревоженный Иван Никитич, – было время, сударики! И теперь время хорошее, но для нашего брата, газетчика, то время лучше было, по той самой причине, что огня и правды в людях больше было. Прежде что ни писака был, то и богатырь, рыцарь без страха и упрека, мученик, страдалец и правдивый человек. А теперь? Взгляни, русская земля, на пишущих сынов твоих и устыдися! Где вы, истинные писатели, публицисты и другие ратоборцы и труженики на поприще... эх... эх... гем... гласности? Ниг-де!!! Теперь все пишут. Кто хочет, тот и пишет. У кого душа грязнее и чернее сапога моего, у кого сердце не в утробе матери, а в кузнице фабриковалось, у кого правды

¹⁶⁰ клянусь! (*итал.* sacramento).

столько имеется, сколько у меня домов собственных, и тот дерзает теперь ступить на путь славных, – путь, принадлежащий пророкам, правдолюбцам да среброненавистникам. Судари вы мои дорогие! Путь этот нонче шире стал, да ходить по нем некому. Где таланты истинные? Поди ищи: ей-богу, не сыщешь!.. Всё ветхо стало да обнищало. Кто из прежних удалцов и молодцов жив остался, и тот теперь обнищал духом да зарпортовался. Прежде гнались за правдой, а нонче пошла погоня за словцом красным да за копейкой, чтоб ей пусто было! Дух странный повеял! Горе, друзья мои! И я тоже, окаянный, не устыдился седин своих и тоже стал за красным словцом гоняться! Нет, нет, да и норовлю в корреспонденцию что-нибудь этакое вковырнуть. Благодарю господу, творца неба и земли, не корыстолюбив я и от голода не дерзаю писать. Теперь кому кушать хочется, тот и пишет, а пишет что хочет, лишь бы сбоку на правду похоже было. Хотите денежки из редакции получить? Желаете? Ну, коли хотите, то и валяйте, что в нашей Т. такого-то числа землетрясение было да баба Акулина, извините меня, mesdames, бесстыдника, намедни единым махом шестерых ребят родила... Сконфузились, красоточки! Простите великодушно невежду! Доктор сквернословия есмь и в древности по сему предмету неоднократно в трактирах диссертации защищал да на диспутах разнородных прощелыг побеждал. Простите, родные! Ох-хо-хо... так-то, пиши что хочешь, всё с рук сойдет. Прежде не то было! Мы если и писали ложь, так по тупоумию

и глупости своей, а орудием ложь не имели, потому что то, чему работали, святыней почитали и оной поклонялись!

– Зачем это вы светлые пуговицы носите? – перебил Ивана Никитича какой-то франт с четырьмя хохлами на голове.

– Светлые пуговицы? Действительно, что они светлые... По привычке-с... В древности, лет 20 тому назад, я заказал портному сюртучишко; ну, а он, портной-то, по ошибке пришел вместо черных пуговок светлые. Я и привык к светлым пуговкам, потому что тот сюртучишко лет семь таскал... Ну, так вот-с, сударики мои, как прежде было... Слушают красоточки, голубчики, слушают меня старикашку, родненькие... Хи-хи-хи-с... Дай бог вам здоровья! Красавицы мои неземные! Жить бы вам сорок лет тому назад, когда молод был и пламенем огненным сердца зажигать в состоянии был. Рабом был бы, девицы, и на коленях дырки бы себе... Смеются, цветики!.. Ох, вы, мои... Почтили старца вниманием своим.

– Вы теперь пишете что-нибудь? – перебила расходившегося Ивана Никитича курносенькая барышня.

– Пишу ли? Как не писать? Не зарюю, царица души моея, таланта своего до самой могилы! Пишу! Разве не читали? А кто, позвольте вас спросить, в семьдесят шестом году корреспонденцию в «Голосе» поместил?¹⁶¹ Кто? Не читали

¹⁶¹ ...в семьдесят шестом году корреспонденцию в «Голосе» поместил... – «Голос» – ежедневная политическая и литературная газета; выходила в Петербурге в 1863—1884 годах. Издатель-редактор – А. А. Краевский (с 1871 г. – вместе с В. А. Бильбасовым). Один из наиболее популярных органов русской либеральной прессы (тираж в 1876 г. – 22 000 экз.), «Голос» в 70-х годах пропагандировал

разве? Славная корреспонденция! В семьдесят седьмом году писал в тот же «Голос» – редакция уважаемой газеты нашла статью мою для печатания неудобной... Хе-хе-хе... Неудобной... Экася!.. Статья моя с душком была, знаете ли, с душком некоторым. «У нас, – пишу, – есть патриоты видимые, но темна вода во облацех касательно того, где патриотизм их помещается: в сердцах или карманах?» Хе-хе-хе... Душок-с... Далее: «Вчера, – пишу, – была отслужена соборная панихида по под Плевной убиенным.¹⁶² На панихиде присутствовали все начальствующие лица и граждане, за исключением господина исправляющего должность т—го полицеймейстера, который блистал своим отсутствием, потому что окончание преферанса нашел для себя более интересным, чем разделение с гражданами общероссийской радости». Не в бровь, а в глаз! Хо-хо-хо! Не поместили! А я уж постарался тогда, друзья мои! В прошедшем, семьдесят девятом, году посылал корреспонденцию в газету ежедневную «Русский курьер»¹⁶³, в Москве издающуюся. Писал я, други мои, в Москву о школах уезда нашего, и корреспонденция моя была помещена, и теперь я даром «Курьера русского» получаю. Вона как!

всеобщее школьное образование, разоблачал взяточничество и казнокрадство в армии во время русско-турецкой войны.

¹⁶² ...панихида по под Плевной убиенным ~ общероссийской радости... – Сражения под Плевной и блокада ее в конце 1877 г. закончились капитуляцией турецкой армии.

¹⁶³ «Русский курьер» – Либерально-буржуазная газета, начавшая выходить в Москве в 1879 г.

Удивляетесь? Гениям удивляйтесь, а не полям! Нолик есмь! Эхе-хе-х! Пишу редко, господа почтенные, очень редко! Бедна наша Т. событиями, кои бы описать я мог, а ерундистики писать не хочется, самолюбив больно, да и совести своей опасаюсь. Газеты вся Россия читает, а для чего России Т.? Для чего ей мелочами надоедать? Для чего ей знать, что в нашем трактире мертвое тело нашли? А прежде-то как я писал, прежде-то, во времена оны, во времена... Писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын отечества», в «Московские»...¹⁶⁴ Белинского современником был, Булгарина единожды в скобочках ущипнул... Хе-хе-хе... Не верите? Ей-богу! Однажды стихотворение насчет воинственной доблести написал... А что я, други мои, потерпел в то время, так это одному только богу Саваофу известно... Вспоминаю себя тогдашнего и в умиление прихожу. Молодцом и удальцом был! Страдал и мучился за идеи и мысли свои; за поползновение к труду благородному мучения принимал. В сорок шестом году за корреспонденцию, помещенную мною в «Московских ведомостях», здешними мещанами так избит был, что три месяца после того в больнице на черных хлебах пролежал. Надо полагать, враг мой дорого мещанам за жесто-

¹⁶⁴ Писал я тогда в «Северную пчелу», в «Сын отечества», в «Московские»... – «Северную пчелу» (1825—1864), ежедневную политическую и литературную газету, издавали в Петербурге Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч, с 1860 г. – П. С. Усов. Как и упомянутые далее газеты «Сын отечества» (СПб., 1862—1901) и «Московские ведомости», «Северная пчела» защищала охранительные и благонамеренные идеи.

косердие заплатил: так отдубасили раба божия, что даже и теперь последствия указать могу. А однажды это призывает меня, в 53-м году, городничий здешний, Сысой Петрович... Вы его не помните, и радуйтесь, что не помните. Воспоминание о сем человеке есть горчайшее из всех воспоминаний. Призывает он меня и говорит: «Что это ты там в в „Пчеле“ наклеузничал, а?» А как я там наклеузничал? Писал я, знаете ли, просто, что у нас шайка мошенников завелась и притонном своим трактирчик Гуськова имеет... Трактирчика этого теперь и следа уже нет, в 65-м году снят был и место свое бакалейному магазину господина Лубцоватского уступил. В конце корреспонденции я чуточку душка подпустил. Взял да и написал, знаете ли: «Не мешало бы, в силу упомянутых причин, полиции обратить внимание на трактир г. Г.». Заорал на меня и затоптал ногами Сысой Петрович: «Без тебя не знаю, что ли? Указывать ты мне, морда, станешь? Наставник ты мой, а?» Кричал, кричал, да и засадил меня, трепещущего, в холодную. Три дня и три ночи в холодной просидел, Иону с китом припоминая, унижения всяческие претерпевая... Не забыть мне сего до помрачения памяти моей! Ни один клоп, никакая, с позволения, вошка – никакое насекомое, еле видимое, не было никогда так уничижено, как унизил меня Сысой Петрович, царство ему небесное! А то как отец благочинный, отец Панкратий, коего я юмористически в мыслях своих отцом перочинным называл, где-то по складам прочел про какого-то благочинного и вообразить изво-

лил, что будто это про него написано и будто я по легкомыслию своему написал; а то вовсе не про него было написано и не я написал. Иду я однажды мимо собора, вдруг как свистнет меня кто-то сзади по спине да по затылку палкой, знаете ли; раз свистнет, да в другой раз, да и в третий... Тьфу ты, пропасть, что за комиссия? Оглядываюсь, а это отец Панкратий, духовник мой... Публично!! За что? За какую вину? И это перенес я со смирением... Много терпел я, друзья мои!

Стоявший возле именитый купец Грыжев усмехнулся и похлопал по плечу Ивана Никитича.

– Пиши, – сказал он, – пиши! Почему не писать, коли можешь? А в какую газету писать станешь?

– В «Голос», Иван Петрович!

– Прочесть дашь?

– Хе-хе-хе... Всенепременно-с.

– Увидим, каких делов ты мастер. Ну, а что же ты писать станешь?

– А вот если Иван Степанович что-нибудь на прогимназию пожертвуют, то и про них напишу!

Иван Степанович, бритый и совсем не длиннополый купец, усмехнулся и покраснел.

– Что ж, напиши! – сказал он. – Я пожертвую Отчего не пожертвовать? Тысячу рублей могу...

– Нуте?

– Могу.

– Да нет?

– Ну вот еще... Разумеется, могу.

– Вы не шутите?.. Иван Степанович!

– Могу... Только вот что... Ммм... А если я пожертвую, да ты не напишешь?

– Как это можно-с? Слово твердо, Иван Степаныч...

– Оно-то так... Гм... Ну, а когда же ты напишешь?

– Очень скоро-с, даже очень скоро-с... Вы не шутите, Иван Степаныч?

– Зачем шутить? Ведь за шутки ты мне денег не заплатишь? Гм... Ну, а если ты не напишешь?

– Напишу-с, Иван Степаныч! Побей меня бог, напишу-с!

Иван Степанович наморщил свой большой лоснящийся лоб и начал думать. Иван Никитич засеменил ножками, заикал и впился своими сияющими глазками в Ивана Степановича.

– Вот что, Никита... Никитич... Иван, что ля? Вот что... Я дам... дам две тысячи серебра, и потом, может быть, еще что-нибудь... этакое. Только с таким условием, братец ты мой, чтоб ты взаправду написал...

– Да ей-богу же напишу! – запищал Иван Никитич.

– Ты напиши, да прежде чем посылать в газету – дашь мне прочитать, а тогда я и две тысячи выложу, ежели хорошо будет написано...

– Слушаю-с... Эк... эк-гем... Слушаю и понимаю, благородный и великодушный человек! Иван Степанович! Будьте столь достолюбезны и снисходительны, не оставьте ваше

обещание без последствий, да не будет оно одним только звуком! Иван Степанович! Благодетель! Господа почтенные! Пьяный я человек, но постигаю умом своим! Гуманнейший филантроп! Кланяюсь вам! Потщитесь! Послужите образованию народному, излейте от щедрот своих... Ох, господи!

– Ладно, ладно... Увидишь там...

Иван Никитич вцепился в полу Ивана Степановича.

– Великодушнейший! – завизжал он. – Присоедините длань свою к дланям великих... Подлейте масла в светильник, вселенную озаряющий! Позвольте выпить за ваше здоровье. Выпью, милостивый, выпью! Да здравств...

Иван Никитич закашлялся и выпил рюмку водки. Иван Степанович посмотрел на окружающих, мигнул глазами на Ивана Никитича и вышел из гостиной в залу. Иван Никитич постоял, немного подумал, погладил себя по лысине и чинно прошел, между танцующими, в гостиную.

– Оставайтесь здоровы, – обратился он к хозяину, расшаркиваясь. – Спасибо за ласки, Егор Никифорович! Век не забуду!

– Прощай, братец! Заходи и вдругорядь. В магазин заходи, коли время: с молодцами чайку попьешь. На женины именины приходи, коли желаешь, – речь скажешь. Ну, прощай, дружок!

Иван Никитич с чувством пожал протянутую руку, низко поклонился гостям и засеменил в прихожую, где, среди множества шуб и шинелей, терялась и его маленькая поношен-

ная шинелька.

– На чаек бы с вашего благородия! – предложил ему любезно лакей, отыскивая его шинель.

– Голубчик ты мой! Мне и самому-то впору на чаек просить, а не токмо что давать...

– Вот она, ваша шинель! Это она, ваше полублагородие? Хоть муку сей! В этой самой шинели не по гостям ходить, а в свинюшнике препровождение иметь.

Сконфузившись и надевши шинель, Иван Никитич подсучил брюки, вышел из дома т—го богача и туза, Егора Л—ва, и направился, шлепая по грязи, к своей квартире.

Квартировал он на самой главной улице, во флигеле, за который платил шестьдесят рублей в год наследникам какой-то купчихи. Флигель стоял в углу огромнейшего, поросшего репейником, двора и выглядывал из-за деревьев так смиренно, как мог выглядывать... один только Иван Никитич. Он запер на щеколду ворота и, старательно обходя репейник, направился к своему серому флигелю. Откуда-то заворчала и лениво гавкнула на него собака.

– Стамеска, Стамеска, это я... свой! – пробормотал он. Дверь во флигеле была не заперта. Вычистивши щеточкой сапоги, Иван Никитич отворил дверь и вступил в свое логовище. Крякнув и снявши шинель, он помолился на икону и пошел по своим, освещенным лампадкою, комнатам. Во второй и последней комнате он опять помолился иконе и на цыпочках подошел к кровати. На кровати спала хорошенькая

девушка лет 25.

– Маничка, – начал будить ее Иван Никитич, – Маничка!

– Ввввв...

– Проснись, дочь моя!

– А ня... ня... ня... ня...

– Маничка, а Маничка! Пробудись от сна!

– Кого там? Че... го, а? а?

– Проснись, ангел мой! Поднимись, кормилица моя, музыкантша моя... Дочь моя! Маничка!

Манечка повернулась на другой бок и открыла глаза.

– Чего вам? – спросила она.

– Дай мне, дружок, пожалуйста, два листика бумаги!

– Ложитесь спать!

– Дочь моя, не откажи в просьбе!

– Для чего вам?

– Корреспонденцию в «Голос» писать.

– Оставьте... Ложитесь спать! Там я вам ужинать оставила!

– Друг мой единственный!

– Вы пьяны? Прекрасно... Не мешайте спать!

– Дай бумаги! Ну что тебе стоит встать и уважить отца?

Друг мой! Что же мне, на колена становиться, что ли?

– Аааа... чёррт! Сейчас! Уходите отсюда!

– Слушаю.

Иван Никитич сделал два шага назад и спрятал свою голову за ширмы. Манечка спрыгнула с кровати и плотно оку-

талась в одеяло.

– Шляется! – проворчала она. – Вот еще наказание-то! Матьер божия, скоро ли это кончится, наконец! Ни днем, ни ночью покоя! Ну, да и бессовестный же вы!..

– Дочь, не оскорбляй отца!

– Вас никто не оскорбляет! Нател!

Манечка вынула из своего портфеля два листа бумаги и швырнула их на стол.

– Мерси, Маничка! Извини, что обеспокоил!

– Хорошо!

Манечка упала на кровать, укрылась одеялом, съежилась и тотчас же заснула.

Иван Никитич зажег свечу и сел у стола. Немного подумав, он обмакнул перо в чернила, перекрестился и начал писать.

На другой день, в восемь часов утра, Иван Никитич стоял уже у парадных дверей Ивана Степановича и дрожащей рукой дергал за звонок. Дергал он целых десять минут и в эти десять минут чуть не умер от страха за свою смелость.

– Чево надоть? Звонишь! – спросил его лакей Ивана Степановича, отворяя дверь и протирая фалдой поношенного коричневого сюртука свои заспанные и распухшие глаза.

– Иван Степанович дома?

– Барин? А где ему быть-то? А чево надоть?

– Вот... я к нему.

– Из почты, что ль? Спит он!

– Нет, от себя... Собственно говоря...

– Из чиновников?

– Нет... но... можно обождать?

– Отчего не можно? Можно! Идите в переднюю! Иван Никитич бочком вошел в переднюю и сел на диван, на котором валялись лакейские лохмотья.

– Аукрррмм... Кгмбрррр... Кто там? – раздалось в спальне Ивана Степановича. – Сережка! Пошел сюда!

Сережка вскочил и как сумасшедший побежал в хозяйскую спальню, а Иван Никитич испугался и начал застегиваться на все пуговицы.

– А? Кто? – доносилось до его ушей из спальни. – Кого? Языка у тебя, скотины, нету? Как? Из банка? Да говори же! Старик?

У Ивана Никитича застучало в сердце, помутилось в глазах и похолодело в ногах. Приближалась важная минута!

– Зови его! – послышалось из спальни. Явился вспотевший Сережка и, держась за ухо, повел Ивана Никитича к Ивану Степановичу. Иван Степаныч только что проснулся: он лежал на своей двухспальной кровати и выглядывал из-под ситцевого одеяла. Возле него, под тем же самым одеялом, храпел толстяк с серебряною медалью. Ложась спать, толстяк не нашел нужным раздеться: кончики его сапогов выглядывали из-под одеяла, а серебряная медаль-сползла с

шеи на подушку. В спальне было и душно, и жарко, и накурено. На полу красовались осколки разбитой лампы, лужа керосина и ключья женской юбки.

– Чего тебе? – спросил Иван Степанович, глядя в лицо Ивана Никитича и морща лоб.

– Извиняюсь за причиненное беспокойство, – отчеканил Иван Никитич, вынимая из кармана бумагу. – Высокопочтенный Иван Степанович, позвольте...

– Да ты, послушай, соловьев не разводи, у меня им есть нечего: говори дело. Чего тебе?

– Я вот, с тою целью, чтоб эк... эк-гем почтительнейше преподнести...

– Да ты кто таков?

– Я-с? Эк... эк... гем... Я-с? Забыли-с? Я корреспондент.

– Ты? Ах да. Теперь помню. Зачем же ты?

– Корреспонденцию обещанную на прочтение преподнести пожелал...

– Уж и написал?

– Написал-с.

– Чего так скоро?

– Скоро-с? Я до самой сей поры писал!

– Гм... Да нет, ты... не так... Ты бы подольше пописал.

Зачем спешить? Поди, братец, еще попиши.

– Иван Степанович! Ни место, ни время стеснить таланта не могут... Хоть год целый дайте мне – и то, ей-богу, лучше не напишу!

– А ну-ка, дай сюда!

Иван Никитич раскрыл лист и обеими руками поднес его к голове Ивана Степановича.

Иван Степанович взял лист, прищурил глаза и начал читать: «У нас, в Т..., ежегодно воздвигается по несколько зданий, для чего выписываются столичные архитекторы, получают из-за границы строительные материалы, затрачиваются громадные капиталы – и всё это, надо признаться, с целями меркантильными... Жалко! Жителей у нас 20 тысяч с лишком, Т. существует уже несколько столетий, здания воздвигаются; а нет даже и хижины, в которой могла бы приютиться сила, отрезающая корни, глубоко пускаемые невежеством... Невежество...» Что это написано?

– Это-с? *Horribile dictu...*¹⁶⁵

– А что это значит?..

– Бог его знает, что это значит, Иван Степанович! Если пишется что-нибудь нехорошее или ужасное, то возле него и пишется в скобочках это выражение.

– «Невежество...» Мммм... «залегает у нас толстыми слоями и пользуется во всех слоях нашего общества полнейшим правом гражданства. Наконец-таки и на нас повеяло воздухом, которым дышит вся образованная Россия. Месяц тому назад мы получили от г. министра разрешение открыть в нашем городе прогимназию. Разрешение это было встречено у нас с неподдельным восторгом. Нашлись люди, которые не

¹⁶⁵ Страшно сказать... (лат.)

ограничились одним только изъявлением восторга, а пожела-
ли еще также выказать свою любовь и на деле. Наше ку-
печество, никогда не отвечающее отказом на приглашения –
поддержать денежно какое-либо доброе начинание, и теперь
также не кивнуло отрицательно головою...» Чёрррт! Скоро
написал, а как важно! Ай да ты! Ишь! «Считаю нужным на-
звать здесь имена главных жертвователей. Вот их имена: Гу-
рий Петрович Грыжев (2000), Петр Семенович Алебастров
(1500), Авив Инокентиевич Потрошилов (1000) и Иван Сте-
панович Трамбонов (2000). Последний обещал...» Кто это
последний?

– Последний-с? Это вы-с!

– Так я по-твоему, значит, последний?

– Последний-с... То есть... эк... эк... гем... в смысле...

– Так я последний?

Иван Степаныч поднялся и побагровел.

– Кто последний? Я?

– Вы-с, только в каком смысле?!

– В таком смысле, что ты дурак! Понимаешь? Дурак! На
тебе твою корреспонденцию!

– Ваше высокостеп... Батюшка Иван... Иван...

– Так я последний! Ах ты, прыщ ты этакой! Гусь! – Из уст
Ивана Степановича посыпались роскошные выражения, од-
но другого непечатнее... Иван Никитич обезумел от страха,
упал на стул и завертелся.

– Ах ты, ссвинья! Последний?!? Иван Степанов Трамбо-

нов последним никогда не был и не будет! Ты последний! Вон отсюда, чтобы и ноги твоей здесь не было!

Иван Степанович с остервенением скомкал корреспонденцию и швырнул комком в лицо корреспондента газет московских и Санкт-Петербургских... Иван Никитич покраснел, поднялся и, махая руками, засеменил из спальни. В передней встретил его Сережка: с глупейшей улыбкой на глупом лице он отворил ему дверь. Очутившись на улице, бледный, как бумага, Иван Никитич побрел по грязи на свою квартиру. Часа через два Иван Степанович, уходя из дома, увидел в передней, на окне, фуражку, забытую Иваном Никитичем.

– Чья это шапка? – спросил он Сережку.

– Да того миздрюшки, что наемдни прогнать изволили.

– Выбрось ее! Чево ей здесь валяться?

Сережка взял фуражку и, вышедши на улицу, бросил ее в самую жидкую грязь.

Сельские эскулапы

Земская больница. Утро.

За отсутствием доктора, уехавшего с станковым на охоту, больных принимают фельдшера: Кузьма Егоров и Глеб Глебыч. Больных человек тридцать. Кузьма Егоров, в ожидании, пока запишутся больные, сидит в приемной и пьет цикорный кофе. Глеб Глебыч, не умывавшийся и не чесавшийся со дня своего рождения, лежит грудью и животом на столе, сердится и записывает больных. Записывание ведется ради статистики. Записывают имя, отчество, фамилию, звание, место жительства, грамотен ли, лета и потом, после приемки, род болезни и выданное лекарство.

– Чёрт знает что за перья! – сердится Глеб Глебыч, выводя в большой книге и на маленьких листочках чудовищные мыслете и азы. – Что это за чернила? Это деготь, а не чернила! Удивляюсь я этому земству! Велит больных записывать, а денег на чернила две копейки в год дает! – Подходи! – кричит он.

Подходят мужик с закутанным лицом и «бас» Михайло.

– Кто таков?

– Иван Микулов.

– А? Как? Говори по-русски!

– Иван Микулов.

– Иван Микулов! Не тебя спрашиваю! Отойди! Ты! Звать

как?

Михайло улыбается.

– Нешто не знаешь? – спрашивает он.

– Чего же смеешься? Чёрт их знает! Тут некогда, время дорого, а они с шутками! Звать как?

– Нешто не знаешь? Угорел?

– Знаю, но должен спросить, потому что форма такая... А угореть не отчего... Не такой пьяница, как ваша милость. Не запоем пьем... Имя и фамилия?

– Зачем же я стану тебе говорить, ежели ты сам знаешь? Пять лет знаешь... Аль забыл на шестой?

– Не забыл, но форма! Понимаешь? Или ты не понимаешь русского языка? Форма!

– Ну, коли форма, так чёрт с тобой! Пиши! Михайло Федотыч Измученко...

– Не Измученко, а Измученков.

– Пущай будет Измученков... Как хочешь, лишь бы вылечил... Хоть Шут Иваныч... Всё одно...

– Сословия какого?

– Бас.

– Лет сколько?

– А кто ж его знает! На крестинах не был, не знаю.

– Сорок будет?

– Может, и будет, а может, и не будет. Пиши как знаешь.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на Михайлу, думает и пишет 37. Потом, подумав, зачеркивает 37 и пишет 41.

– Грамотен?

– А нешто певчий может быть неграмотный? Голова!

– При людях ты должен мне «вы» говорить, а не кричать так. Следующий! Кто таков? Как звать?

– Микифор Пуголова, из Хапловой.

– Хапловских не лечим! Следующий!

– Сделайте такую божескую милость... Ваше высокоблагородие. Верстов двадцать пешком шел...

– Хапловских не лечим! Следующий! Отойди! Не курить здесь!

– Я не курю, Глеб Глебыч!

– А что это у тебя в руке?

– Это у меня палец завязан, Глеб Глебыч!

– А не сигарка? Хапловских не лечим! Следующий!..

Глеб Глебыч оканчивает записывание. Кузьма Егоров напивается кофе, и начинается прием. Первый берет на себя фармацевтическую часть – и идет в аптеку, второй – терапевтическую – и надевает клеенчатый фартук.

– Марья Заплаксина! – вызывает по книге Кузьма Егоров.

– Здесь, батюшка!

В приемную входит маленькая, в три погибели сморщенная, как бы злым роком приплюснутая, старушонка. Она крестится и почтительно кланяется эскулапствующему.

– Кгм... Затвори дверь!.. Что болит?

– Голова, батюшка.

– Так... Вся или только половина?

– Вся, бабушка... как есть вся...

– Головы так не кутай... Сними эту тряпку! Голова должна быть в холоде, ноги в тепле, корпус в посредственном климате... Животом страдаешь?

– Страдаю, бабушка...

– Так... А ну-ка потяни себя за нижнюю веку! Хорошо, довольно. У тебя малокровие... Я тебе капель дам... По десяти капель утром, в обед и вечером.

Кузьма Егоров садится и пишет рецепт:

«Rp. Liquor ferri¹⁶⁶ 3 гр. того, что на окне стоит, а то, что на полке Иван Яковлич не велели без него распечатывать по десяти капель три раза в день Марьи Заплаксиной».

Старуха спрашивает, на чем принимать капли, кланяется и уходит. Кузьма Егоров бросает рецепт в аптеку через окошечко, сделанное в стене, и вызывает следующего больного.

– Тимофей Стукотей!

– Здесь!

В приемную входит Стукотей, тонкий и высокий, с большой головой, очень похожий издалика на палку с набалдашником.

– Что болит?

– Сердце, Кузьма Егорыч.

– В каком месте?

Стукотей показывает под ложечку.

– Так... Давно?

¹⁶⁶ Раствор железа (лат.)

– С самой Святой... Давеча пешком шел, так разов десять садился... Знобит, Кузьма Егорыч... В жар бросает, Кузьма Егорыч.

– Гм... Еще что болит?

– Признаться сказать, Кузьма Егорыч, всё болит, ну, а уж вы лечите одно сердце, а насчет другого прочего – не беспокойтесь... Другое пусть бабы лечат... Вы мне спиртику какого-нибудь дайте, чтоб к сердцу не подкатывало. К сердцу всё это так подкатывает, подкатывает, а потом как подхватит, значит, вот в это самое место, как подхватит, так и... того... Спину дерет... В голове точно камень... И кашель тоже.

– Аппетит есть?

– Ни боже мой...

Кузьма Егоров подходит к Стукоतेю, нагинаят его и давит ему кулаком под ложечку.

– Этак больно?

– Ой... ой... ввв... Больно!

– А этак больно?

– Ввв... Смерть!!

Кузьма Егоров задает ему несколько вопросов, думает и зовет на помощь Глеба Глебыча. Начинается консилиум.

– Покажи язык! – обращается Глеб Глебыч к больному.

Больной широко раскрывает рот и вываливает язык.

– Высунь больше!

– Больше невозможно, Глеб Глебыч.

– На этом свете всё возможно.

Глеб Глебыч смотрит некоторое время на больного, о чем-то мучительно думает, пожимает плечами и молча выходит из приемной.

– Должно быть, катар! – кричит он из аптеки.

– Дайте ему *olei ricini*¹⁶⁷ и *ammonii caustici*!¹⁶⁸ – кричит Кузьма Егоров. – Растирать живот утром и вечером! Следующий!

Больной выходит из приемной и идет к окошечку, ведущему из коридора в аптеку. Глеб Глебыч наливает треть чайного стакана касторки и подает Стукотею. Стукотей медленно выпивает, облизывается, закрывает глаза и трет палец о палец, т. е. просит заесть чем-нибудь.

– Это тебе спирт! – кричит Глеб Глебыч, подавая ему склянку с нашатырным спиртом. – Растирать живот суконной тряпкой утром и вечером... Посуду возвратить! Не облакачиваться! Отойди!

К окошечку, закрывая рот шалью и ухмыляясь, подходит кухарка отца Григория, Пелагея.

– Что вам угодно-с? – спрашивает ее Глеб Глебыч.

– Кланялись вам, Глеб Глебыч, Лизавета Григорьевна и просили у вас мятных лепешек.

– С удовольствием-sss... Для прекрасных особ женского пола на всё готов-с!

Глеб Глебыч достает с полки банку с мятными лепешками

¹⁶⁷ касторового масла (лат.)

¹⁶⁸ нашатырного спирта (лат.).

и полбанки высыпает в платок Пелагее.

– Скажите им, – говорит он, – что Глеб Глебыч улыбался от чувств, когда лепешки давал. Письмо мое получили?

– Получили и порвали. Лизавета Григорьевна любовью не занимается.

– Какая же она гризетка! Скажите ей, что она гризетка!

– Михайло Измученков! – вызывает Кузьма Егоров.

В приемную входит «бас» Михайло.

– Михайлу Федотычу! Наше глубочайшее! Что болит?

– Горло, Кузьма Егорыч! Пришел к вам, собственно говоря, чтоб вы, с вашего позволения, относительно моего здоровья того... Не так больно, как убыточно... Через болезнь петь не могу, а регент за каждую обедню сорок копеек вычитает. За всюнощную вчера четвертак вычел. Нонче у господ панихида была, певчим дадено было три рубля, и на мою долю чрез болезнь ничего не досталось. И, с вашего позволения, относительно глотки могу вам предположить, что очень уж дерет и хрипит. Точно у тебя в горле какой-то кот сидит и лапами того... Кгм... Кгм...

– От горячих напитков, стало быть?

– Не могу сказать, отчего собственно болезнь моя произошла, но могу выразиться вам, что, с вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов несколько. Бас от напитков, Кузьма Егорыч, гуще делается и представительнее... На бас действует простуда больше.

Из окошечка высовывается голова Глеба Глебыча.

– Чего старухе-то дать? – спрашивает Глеб Глебыч. – Железо, что на окне стояло, вышло. Я распечатаю то, что на полке.

– Нет, нет! Не приказывал Иван Яковлич! Сердиться будет.

– Чего же ей дать?

– Чего-нибудь!

«Дать чего-нибудь» на языке Глеба Глебыча значит: «дать соды».

– Горячих напитков употреблять не следует.

– Я и так уже три дня не употребляю... У меня от простуды... Действительно, водка хрипоту придает басу, но от хрипоты октава, Кузьма Егорыч, как вам известно, лучше... Без водки нельзя нашему брату... Что за певчий, ежели он водки не употребляет? Не певчий, а одна только, с вашего позволения, ирония!.. Не будь у меня такой должности, я и в рот бы ее, проклятой, не взял. Водка есть кровь сатаны...

– Вот что... Я дам вам порошок... Вы разведите его в бутылке и полощите себе горло утром и вечером.

– Глотать можно?

– Можно.

– Очень хорошо... Досадно бывает, ежели глотать нельзя. Полощешь, полощешь, да и выплюнешь – жалко! И вот о чем я хотел вас, собственно говоря, спросить... А к тому, как я животом слаб, и по этой самой причине, с вашего позволения, каждый месяц кровь себе пушаю и травку пью, то

можно ли мне в законный брак вступить?

Кузьма Егоров некоторое время думает и говорит:

– Нет, не советую!

– Чувствительно вам благодарен... Славный вы у нас целитель, Кузьма Егорыч! Лучше докторов всяких! Ей-богу! Сколько душ за вас богу молится! И-и-и!.. Страась!

Кузьма Егоров скромно опускает глазки и храбро прописывает *Natri bicarbonici*, т. е. соды.

Пропавшее дело

(Водевильное происшествие)

Ужасно плакать хочется! Заревя я, так, кажется, легче бы стало.

Был восхитительный вечер. Я нарядился, причесался, надушился и дон Жуаном покатил к ней. Живет она на даче в Сокольниках. Она молода, прекрасна, получает в приданое 30 000, немножко образованна и любит меня, автора, как кошка.

Приехав в Сокольники, я нашел ее сидящей на нашей любимой скамье под высокими, стройными елями. Увидев меня, она быстро поднялась и, сияющая, пошла мне навстречу.

– Как вы жестоки! – заговорила она. – Можно ли так опаздывать? Ведь вы знаете, как я скучаю! Экой вы!

Я поцеловал ее хорошенькую ручку и, трепещущий, пошел вместе с ней к скамье. Я трепетал, ныл и чувствовал, что мое сердце воспалено и близко к разрыву. Пульс был горячий.

И немудрено! Я приехал решить окончательно свою судьбу. Пан, мол, или пропал... Всё зависело от этого вечера.

Погода была чудесная, но не до погоды мне было. Я не слу-

шал даже певшего над нашими головами соловья, несмотря на то, что соловья обязательно слушать на всяком мало-мальски порядочном rendez-vous¹⁶⁹.

– Чего же вы молчите? – спросила она, глядя мне в лицо.

– Так... Чудный вечер такой... Маман ваша здорова?

– Здорова.

– Гм... Так... Я, видите ли, Варвара Петровна, хочу с вами поговорить... Для того только я и приехал... Я молчал, молчал, но теперь... слуга покорный! Я не в состоянии молчать.

Варя нагнула голову и дрожащими пальчиками затерзала цветок. Она знала, о чем я хотел говорить. Я помолчал и продолжал:

– Для чего молчать? Как ни молчи, как ни робей, а рано или поздно придется дать волю... чувству и языку. Вы, может быть, оскорбитесь... может быть, не поймете, но... что ж?

Я умолк. Нужно было составить подходящую фразу.

«Да говори же! – протестовали ее глазки. – Мямля! Чего мучаешь?»

– Вы, конечно, давно уже догадались, – продолжал я, помолчав, – зачем я каждый день хожу сюда и своим присутствием мозолю ваши глаза. Как не догадаться? Вы, наверное, давно уже, со свойственной вам проницательностью, угадали во мне то чувство, которое... (Пауза.) Варвара Петровна!

Варя еще ниже нагнулась. Пальчики ее заплясали.

¹⁶⁹ свидании (франц.)

– Варвара Петровна!

– Ну?

– Я... Да что говорить?! Понятно и без того... Люблю, вот и всё... Чего ж тут еще говорить? (Пауза.) Ужасно люблю! Я вас так люблю, как... Одним словом, соберите все на этом свете существующие романы, вычитайте все находящиеся в них объяснения в любви, клятвы, жертвы и... вы получите то, что... теперь в моей груди того... Варвара Петровна! (Пауза.) Варвара Петровна!! Чего же вы-то молчите?!

– Что вам?

– Неужели... нет?

Варя подняла головку и улыбнулась.

«Ах, чёрт возьми!» – подумал я. Она улыбнулась, шевельнула губками и чуть слышно проговорила: «Почему же нет?»

Я схватил отчаянно руку, отчаянно поцеловал, бешено схватил за другую руку... Она молодец! Пока я возился с ее руками, она положила свою головку мне на грудь, причем я в первый только раз уразумел, какую роскошью были ее чудные волосы.

Я поцеловал ее в голову, и в моей груди стало так тепло, как будто бы в ней поставили самовар. Варя подняла лицо, и мне ничего не оставалось, как только поцеловать ее в губки.

И вот, когда Варя была уже окончательно в моих руках, когда решение о выдаче мне тридцати тысяч готово уже было к подписанию, когда, одним словом, хорошенькая жена, хорошие деньги и хорошая карьера были для меня почти обес-

печены, чёрту нужно было дернуть меня за язык...

Мне захотелось перед моей суженой порисоваться, блеснуть своими принципами и похвастать. Впрочем, сам не знаю, чего мне захотелось... Вышло страсть как скверно!

– Варвара Петровна! – начал я после первого поцелуя. – Прежде чем взять с вас слово быть моею женою, считаю священнейшим долгом, во избежание могущих произойти недоразумений, сказать вам несколько слов. Я буду короток... Знаете ли вы, Варвара Петровна, кто я и что я? Да, я честен! Я труженик! Я... я горд! Мало того... У меня есть будущее... Но я беден... Я ничего не имею.

– Я это знаю, – сказала Варя. – Не в деньгах счастье.

– Да... Кто же говорит о деньгах? Я... я горд своею бедностью. Копейки, которые я получаю за свои литературные работы, я не променяю на те тысячи, которые... которыми...

– Понятно. Ну-с...

– Я привык к бедности. Мне она ничего. Я в состоянии неделю не обедать... Но вы! Вы! Неужели вы, которая не в состоянии пройти двух шагов, чтобы не нанять извозчика, надевающая каждый день новое платье, бросающая в стороны деньги, не знавшая никогда нужды, вы, для которой не модный цветок есть уже большое несчастье, – неужели вы согласитесь расстаться для меня с земными благами? Гм...

– У меня есть деньги. У меня приданое!

– Пустое! Для того чтобы прожить десяток, другой тысяч, достаточно только несколько лет... А потом? Нужда? Слезы?

Верьте, дорогая моя, моему опыту! Знаю-с! знаю, что говорю! Для того чтобы бороться с нуждой, нужно иметь сильную волю, нечеловеческий характер!

«Да и чепуху же я мелю!» – подумал я и продолжал:

– Подумайте, Варвара Петровна! Подумайте, на какой шаг вы решаетесь! Шаг бесповоротный! Есть у вас силы – идите за мной, нет сил бороться – откажите мне! О! Лучше пусть я буду лишен вас, чем... вы вашего покоя! Те сто рублей, которые дает мне ежемесячно литература, ничто! Их не хватит! Подумайте же, пока не поздно!

Я вскочил.

– Подумайте! Где бессилие – там слезы, упреки, ранние седины... Предупреждаю вас, потому что я честный человек. Чувствуете ли вы себя настолько сильной, чтобы разделить со мной жизнь, которая своею внешнею стороною не похожа на вашу, чужда вам? (Пауза.)

– У меня же есть приданое!

– Сколько? Двадцать, тридцать тысяч! Ха-ха! Миллион? И потом, кроме этого, позволю ли я себе присваивать то, что... Нет! Никогда! Я горд!

Я прошелся несколько раз около скамьи. Варя задумалась. Я торжествовал. Меня, значит, уважали, коли задумались.

– Итак, жизнь со мной и лишения или же жизнь без меня и богатство... Выбирайте... Есть силы? У моей Вари есть силы?

И говорил в таком роде очень долго. Я незаметно увлекся.

Говорил я и в то же время чувствовал в себе раздвоение. Одна половина меня увлекалась тем, что я говорил, а другая мечтала: «А вот подожди, матушка! Заживем на твои 30 000 так, что небу жарко станет! Надолго хватит!»

Варя слушала, слушала... Наконец она поднялась и протянула мне руку.

– Благодарю вас! – сказала она и сказала таким голосом, который заставил меня вздрогнуть и взглянуть на ее глаза. На ее глазах и щеках сверкали слезы...

– Благодарю вас! Вы хорошо сделали, что были со мной откровенны... Я неженка... Я не могу... Не пара вам...

И зарыдала. Я опростоволосился... Всегда теряюсь, когда вижу плачущих женщин, а тут и подавно. Пока я думал, что предпринять, она заглушила рыдания и утерла слезы.

– Вы правы, – сказала она. – Если я пойду за вами, обману вас. Не мне быть вашей женой. Я богачка, неженка, езжу на извозчиках, кушаю бекасов и дорогие пирожки. Я никогда за обедом не ем супа и щей. Меня и мама стыдит постоянно... А не могу я без этого! Я не могу ходить пешком... Я утомляюсь... И потом платья... Всё это вам придется на свой счет шить... Нет! Прощайте!

И, сделав трагический жест рукой, она ни к селу ни к городу произнесла:

– Я недостойна вас! Прощайте!

Она произнесла, повернулась и пошла восвояси. А я? Я стоял, как дурак, ничего не думал, глядел ей вслед и чув-

ствовал, что земля колеблется подо мной. Когда я пришел в себя и вспомнил, где я и какую грандиозную пакость соорудил мне мой язык, я взвыл. Ее уже и след простыл, когда я захотел крикнуть ей: «Воротитесь!!.»

Посрамленный, не солоно хлебавший, отправился я домой. У заставы конки уже не было. Денег на извозчика у меня тоже не было. Пришлось домой отправляться пешком.

Дня через три поехал я в Сокольники. На даче мне сказали, что Варя чем-то больна и собирается с отцом в Петербург, к бабушке. Толку никакого не добился...

Теперь лежу я на кровати, кусаю подушку и бью себя по затылку. За душу скребут кошки... Читатель, как поправить дело? Как воротить свои слова назад? Что ей сказать или написать? Уму непостижимо! Пропало дело – и как глупо пропало!

Летающие острова

Соч. Жюль Верна перевод А. Чехонте

Глава I РЕЧЬ

– ...Я кончил, джентльмены! – сказал мистер Джон Лунд, молодой член королевского географического общества, и, утомленный, опустился в кресло. Зала заседания огласилась яростнейшими аплодисментами, криками «браво» и дрогнула. Джентльмены начали один за другим подходить к Джону Лунду и пожимать его руку. Семнадцать джентльменов в знак своего изумления сломали семнадцать стульев и свихнули восемь длинных шей, принадлежавших восьми джентльменам, из которых один был капитаном «Катавасии», яхты в 100 009 тонн...

– Джентльмены! – проговорил тронутый мистер Лунд. – Считаю священнейшим долгом благодарить вас за то адское терпение, с которым вы прослушали мою речь, продолжавшуюся 40 часов, 32 минуты и 14 секунд! Том Бекас, – обратился он к своему старому слуге, – разбудите меня через пять минут. Я буду спать в то время, когда джентльмены будут извинять меня за то, что я осмеливаюсь спать в их присутствии!!

– Слушаю, сэръ! – сказал старый Том Бекас.

Джон Лунд закинул назад голову и тотчас же заснул.

Джон Лунд был родом шотландец. Он нигде не воспитывался, ничему никогда не учился, но знал всё. Он принадлежал к числу тех счастливых натур, которые до познания всего прекрасного и великого доходят своим умом. Восторг, который произвел он своею речью, был им вполне заслужен. В продолжение 40 часов он предлагал на рассмотрение господам джентльменам великий проект, исполнение которого стяжало впоследствии великую славу для Англии и показало, как далеко может иногда хватать ум человеческий! *«Просверление луны колоссальным буравом»* – вот что служило предметом речи мистера Лунда!

Глава II

ТАИНСТВЕННЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ

Сэр Лунд не проспал и трех минут. Чья-то тяжелая рука опустилась на его плечо, и он проснулся. Перед ним стоял джентльмен 48½ вершков роста, тонкий, как пика, и худой, как засушенная змея. Он был совершенно лыс. Одетый во всё черное, он имел на носу четыре пары очков, а на груди и на спине по термометру.

– Идите за мной! – гробовым голосом произнес лысый джентльмен.

– Куда?

– Идите за мной, Джон Лунд!

– А если я не пойду?

– Тогда я буду принужден просверлить луну раньше вас!

– В таком случае, сэра, я к вашим услугам.

– Ваш слуга последует за нами!

Мистер Лунд, лысый джентльмен и Том Бекас оставили залу заседания и все трое зашагали по освещенным улицам Лондона. Шли они очень долго.

– Сэр, – обратился Бекас к мистеру Лунду, – если наш путь так же длинен, как и этот джентльмен, то на основании законов трения мы лишимся своих подошв!

Джентльмены подумали и, через десять минут нашедши, что слова Бекаса остроумны, громко засмеялись.

– С кем я имею честь смеяться, сэра? – спросил Лунд лысого джентльмена.

– Вы имеете честь идти, смеяться и говорить с членом всех географических, археологических и этнографических обществ, магистром всех существовавших и существующих наук, членом Московского артистического кружка, почетным попечителем школы коровьих акушеров в Саутгемптонне, подписчиком «Иллюстрированного беса», профессором желто-зеленой магии и начальной гастрономии в будущем Новозеландском университете, директором Безымянной обсерватории, Вильямом Болваниусом. Я веду вас, сэра, в...

Джон Лунд и Том Бекас преклонили свои колени перед великим человеком, о котором они так много слышали, и

почтительно опустили головы...

– Я веду вас, сэр, в свою обсерваторию, находящуюся в 20 милях отсюда. Сэр! Мне нужен товарищ в моем предприятии, значение которого вы в состоянии постигнуть только обоими полушариями вашего головного мозга. Мой выбор пал на вас... Вы после сорокачасовой речи навряд ли захотите вступать со мной в какие бы то ни было разговоры, а я, сэр, ничего так не люблю, как свой телескоп и продолжительное молчание. Язык вашего слуги, я надеюсь, свяжется вашим, сэр, приказанием. Да здравствует пауза!!! Я веду вас... Вы ничего не имеете против этого?

– Ничего, сэр! Мне остается пожалеть только о том, что мы не скороходы и что мы имеем под ступнями подошвы, которые стоят денег и...

– Я вам куплю новые сапоги.

– Благодарю вас, сэр.

Кто из читателей восплачет желанием ближе познакомиться с мистером Вильямом Болваниусом, тот пусть прочтет его замечательное сочинение *«Существовала ли луна до потопа? Если существовала, то почему же и она не утонула?»* При этом сочинении приложена и запрещенная брошюра, написанная им за год перед смертью: *«Способ стереть вселенную в порошок и не погибнуть в то же время»*. В этих сочинениях как нельзя лучше характеризуется личность этого замечательнейшего из людей.

Между прочим там описывается, как он прожил два года в

австралийских камышах, где питался раками, тиной и яйцами крокодилов и в эти два года не видел ни разу огня. Будучи в камышах, он изобрел микроскоп, совершенно сходный с нашим обыкновенным микроскопом, и нашел спинной хребет у рыб вида «Riba». Воротившись из своего долгого путешествия, он поселился в нескольких милях от Лондона и всецело посвятил себя астрономии. Будучи порядочным женоненавистником (он был три раза женат, а потому и имел три пары прекраснейших, ветвистых рогов) и не желая до поры до времени быть открытым, он жил аскетом. Обладая тонким, дипломатическим умом, он ухитрился сделать так, что обсерватория и труды его по астрономии были известны только одному ему. К сожалению и несчастью всех благомыслящих англичан, этот великий человек не дожил до нашего времени. В прошлом году он тихо скончался: купаясь в Ниле, он был проглочен тремя крокодилами.

Глава III

ТАИНСТВЕННЫЕ ПЯТНА

Обсерватория, в которую ввел он Лунда и старого Тома Бекаса (*следует длиннейшее и скучнейшее описание обсерватории, которое переводчик в видах экономии места и времени нашел нужным не переводить*)... стоял телескоп, усовершенствованный Болваниусом. Мистер Лунд подошел к телескопу и начал смотреть на луну.

– Что вы там видите, сэр?

– Луну, сэр.

– А возле луны что вы видите, мистер Лунд?

– Я имею честь видеть одну только луну.

– А не видите ли вы бледных пятен, движущихся возле луны?

– Черт возьми, сэр! Называйте меня ослом, если я не вижу этих пятен! Что это за пятна?

– Это пятна, которые видны в один только мой телескоп. Довольно! Оставьте телескоп! Мистер Лунд и Том Бекас! Я должен, я хочу узнать, что это за пятна! Я буду скоро там! Я иду к этим пятнам! Вы следуете за мной!

– Ура! Да здравствуют пятна! – крикнули Джон Лунд и Том Бекас.

Глава IV

СКАНДАЛ НА НЕБЕ

Через полчаса мистеры Вильям Болваниус, Джон Лунд и шотландец Том Бекас летели уже к таинственным пятнам на восемнадцати аэростатах. Они сидели в герметически закупоренном кубе, в котором находился сгущенный воздух и препараты для изготовления кислорода¹⁷⁰. Начало этого грандиозного, доселе небывалого полета было совершено в

¹⁷⁰ Химиками выдуманный дух. Говорят, что без него жить невозможно. Пу-
стыки. Без денег только жить невозможно. – *Примеч. переводчика.*

ночь под 13-е марта 1870 года. Дул юго-западный ветер. Магнитная стрелка показывала NWW (*следует скучнейшее описание куба и 18 аэростатов*)... В кубе царило глубокое молчание. Джентльмены кутались в плащи и курили сигары. Том Бекас, растянувшись на полу, спал, как у себя дома. Термометр¹⁷¹ показывал ниже 0. В продолжение первых 20 часов не было сказано ни одного слова и особенного ничего не произошло. Шары проникли в область облаков. Несколько молний погнались за шарами, но их не догнали, потому что они принадлежали англичанину. На третий день Джон Лунд заболел дифтеритом, а Тома Бекаса обуял сплин. Куб, столкнувшись с аэролитом, получил страшный толчок. Термометр показывал —76.

– Как ваше здоровье, сэр? – прервал наконец молчание Болваниус, обратясь на пятый день к сэру Лунду.

– Благодарю вас, сэр! – отвечал тронутый Лунд. – Ваше внимание трогает меня. Я ужасно страдаю! А где мой верный Том?

– Он сидит теперь в углу, жует табак и старается походить на человека, женившегося сразу на десятиерых.

– Ха, ха, ха, сэр Болваниус!

– Благодарю вас, сэр!

Не успел мистер Болваниус пожать руку молодому Лунду, как произошло нечто ужасное. Раздался страшный треск... Что-то треснуло, раздалась тысяча пушечных выстрелов,

¹⁷¹ Такой инструмент есть. – *Примеч. переводчика.*

пронесся гул, неистовый свист. Медный куб, попав в среду разреженную, не вынес внутреннего давления, треснул, и ключья его понеслись в бесконечное пространство.

Это была ужасная, единственная в истории вселенной минута!!

Мистер Болваниус ухватился за ноги Тома Бекаса, этот последний ухватился за ноги Джона Лунда, и все трое с быстротою молнии понеслись в неведомую бездну. Шары отделились от них и, освобожденные от тяжести, закружились и с треском полопались.

– Где мы, сэр?

– В эфире.

– Гм... Если в эфире, то чем же мы дышать будем?

– А где сила вашей воли, сэр Лунд?

– Мистеры! – крикнул Бекас. – Честь имею объявить вам, что мы почему-то летим не вниз, а вверх!

– Гм... Сто чертей! Значит, мы уже не находимся в области притяжения земли... Нас тянет к себе наша цель! Ураа! Сэр Лунд, как ваше здоровье?

– Благодарю вас, сэр! Я вижу наверху землю, сэр!

– Это не земля, а одно из наших пятен! Мы сейчас разобьемся о него!

Тррррах!!!!

Глава V

ОСТРОВ КНЯЗЯ МЕЩЕРСКОГО

Первый пришел в чувство Том Бекас. Он протер глаза и начал обзирать местность, на которой лежали он, Болваниус и Лунд. Он снял чулок и принялся тереть им джентльменов. Джентльмены не замедлили очнуться.

– Где мы? – спросил Лунд.

– Вы на острове, принадлежащем к группе летающих!

Ураа!

– Ураа! Посмотрите, сэ, вверх! Мы затмили Колумба!

Над островом летало еще несколько островов (*следует описание картины, понятной одним только англичанам*)...

Пошли осматривать остров. Он был шириной... длиной... (*цифры и цифры... Бог с ними!*) Тому Бекасу удалось найти

дерево, соком своим напоминающее русскую водку. Странно, что деревья были ниже травы (?). Остров был необитаем.

Ни одно живое существо не касалось доселе его почвы...

– Сэр, посмотрите, что это такое? – обратился мистер Лунд к сэру Болваниусу, поднимая какой-то сверток.

– Странно... Удивительно... Поразительно... – забормотал Болваниус.

Сверток оказался сочинениями какого-то князя Мещерского, писанными на одном из варварских языков, кажется, русском.

Как попали сюда эти сочинения?

– Пррроклятие! – закричал мистер Болваниус. – Здесь были раньше нас?!?!? Кто мог быть здесь?!... Скажите – кто, кто? Пррроклятие! Оооо! Размозжите, громы небесные, мои великие мозги! Дайте мне сюда его! Дайте мне его! Я проглочу его, с его сочинениями!

И мистер Болваниус, подняв вверх руки, страшно захохотал. В глазах его блеснул подозрительный огонек. Он сошел с ума.

Глава VI ВОЗВРАЩЕНИЕ

– Урааа!! – кричали жители Гавра, наполняя собою все гаврские набережные. Воздух оглашался радостными криками, звоном и музыкой. Черная масса, грозившая всем смертью, опускалась не на город, а в залив... Корабли поспешили убраться в открытое море. Черная масса, столько дней закрывавшая собою солнце, при торжественных кликах народа и при громе музыки важно (pesamment) шлепнулась в залив и обрызгала всю набережную. Упав на залив, она утонула. Через минуту залив был уже открытым. Волны бороздили его по всем направлениям... На середине залива барахтались три человека. То были безумный Болваниус, Джон Лунд и Том Бекас. Их поспешили принять на лодки.

– Мы пятьдесят семь дней не ели! – пробормотал худой,

как голодный художник, мистер Лунд и рассказал, в чем дело.

Остров князя Мещерского уже более не существует. Он, приняв на себя трех отважных людей, стал тяжелей и, вышедши из нейтральной полосы, был притянут землей и утонул в Гаврском заливе...

Заключение

Джон Лунд занят теперь вопросом о просверлении луны. Близко уже то время, когда луна украсится дырой. Дыра будет принадлежать англичанам. Том Бекас живет теперь в Ирландии и занимается сельским хозяйством. Он разводит кур и сечет свою единственную дочь, которую воспитывает по-спартански. Ему не чужды и вопросы науки: он страшно сердится на себя за то, что забыл взять с Летящего острова семян от дерева, соком напоминающего русскую водку.

Скверная история

Нечто романообразное

Дело завязалось еще зимой.

Был бал. Гремела музыка, горели люстры, не унывали кавалеры и наслаждались жизнью барышни. В залах были танцы, в кабинетах картеж, в буфете выпивка, в читальне отчаянные объяснения в любви.

Леля Асловская, кругленькая розовенькая блондинка, с большими голубыми глазами, с длинейшими волосами и с цифрой 26 в паспорте, назло всем, всему свету и себе, сидела особняком и злилась. Душу ее скребли кошки. Дело в том, что мужчины вели себя по отношению к ней больше чем по-свински. В последние два года в особенности поведение их было ужасное. Она заметила, что они перестали обращать на нее внимание. Они стали неохотно плясать с ней. Мало того. Идет, каналья, мимо – и не посмотрит даже, как будто бы она перестала уже быть красавицей. А если и взглянет какой-нибудь как-нибудь нечаянно, невзначай, то взглянет не с удивлением, не платонически, а так, как глядят перед обедом на сдобный расстегай или поросенка.

А между тем в былые годы...

– И этак каждый вечер, каждый бал!! – злилась Леля, кусая губы. – Я знаю, почему они не замечают меня, знаю! Они мстят! Мстят мне за то, что я их презираю! Но... но когда же,

наконец, замуж? Разве так выйдешь замуж? Время не ждет ведь, не ждет! Негодяи вы такие!

В описываемый вечер судьбе угодно было сжалиться над Лелей. Когда поручик Набрыдлов, вместо того чтобы плясать с нею обещанную третью кадрили, напился как стелька пьян и, проходя мимо нее, как-то глупо чмокнул губами и тем показал свое полное пренебрежение, она не вынесла... Злоба ее достигла апогея. Голубые глаза обволоклись влагой, губы задрожали. Слезы готовы были брызнуть... Чтобы не показать профанам своих слез, она отвернулась к темным вспотевшим окнам, и – о, чудный миг, это ты! – у одного из окон увидела прекрасного юношу, который не спускал с нее глаз. Юноша изображал из себя картину умиленную, колющую как раз в самое сердце. Поза его была – шик, глаза полны любви, удивления, вопросов, ответов; лицо грустное. Леля моментально ожила. Она приняла надлежащую позу и принялась за надлежащее наблюдение. Последнее показало, что юноша глядел не случайно, не так себе, а не спуская глаз, упиваясь и восхищаясь.

«Боже! – подумала Леля. – Хоть бы кто-нибудь догадался его представить! Что значит свежий мужчина! Сейчас заметил!»

Вскоре юноша завертелся, заходил по залам и начал приставать к мужчинам.

«Хочет познакомиться! Просит, чтоб представили!» – подумала, захлебываясь, Леля.

И подлинно. Минуток через десять актерик-любитель, с бритой шалопайской физиономией, внял просьбам юноши и, сильно шаркая ногами, представил его Леле. Юноша оказался «нашим», до чёртиков талантливым художником, Ногтевым. Ногтев – юноша лет 24-х, брюнет, с страстными грузинскими глазами, с красивыми усиками и с бледными щеками. Он никогда ничего не пишет, но он художник. У него длинные волосы, эспаньолка, есть золотая палитра на часовой цепочке, золотые палитры вместо запонок, перчатки до локтей и невероятно высокие каблуки. Малый добрый, но глупый, как гусь. Имеет благородного папашу, таковую же мамашу и богатую бабушку. Холост. Он несмело пожал Лелину руку, несмело сел и, севши, начал пожирать Лелю своими большими глазами. Заговорил он нескоро и несмело. Леля тарыхтела, а он говорил только: «Да... нет... я, знаете ли...», говорил чуть дыша, отвечая невпопад, и то и дело в смущении почесывая (свой, а не Лелин) левый глаз. Леля духовно аплодировала. Она порешила, что художник втюрился, и торжествовала.

На другой день, после бала, Леля сидела в своей комнате у окна и, торжествуя, глядела на улицу. По улице, перед ее окнами, взад и вперед блуждал Ногтев. Ногтев блуждал и запускал глазнапа на ее окна. Он глядел, точно помирать собирался: грустно, томно, нежно, огненно. На третий день – то же самое. На четвертый был дождь, и его под окнами не было. (Ногтева убедил кто-то, что к его фигуре не идет

зонтик.) На пятый день было сделано так, что он явился в дом Лелиных родителей с визитом. Знакомство затянулось гордиевым узлом: связалось до невозможности развязать.

Недели через четыре был опять бал. (Зри начало.)

Ногтев стоял у дверей, опершись плечами о косяк, и по-жирал Лелю глазами. Леля, желая возбудить в нем ревность, кокетничала вдали с поручиком Набрядловым, который был пьян, но не как стелька, а так, чуть-чуть, на первом взводе.

К Ногтеву боком подошел ее рара.

– Всё рисуете-с? – спросил рара. – Художеством занимаетесь?

– Да.

– Тэк-с... Хорошее дело... Дай бог, дай бог... Гм... Бог талант, значит, такой послал. Тэк... У всякого свой талант...

Рара помолчал и продолжал:

– А вот вы, молодой человек, знаете ли, вот что вы сделайте, коли вы того... всё рисуете. Вы весной к нам пожалуйте, в деревню. Презанимательные места там есть! Виды, я вам скажу, страсть! Рахваелю таких не доводилось рисовать. Очень рады будем. Да и дочка с вами так... сдружилась... Э-э-хме... хме... Ммолодые люди, ммолодые люди! Хе-хе-хе...

Художник поклонился и первого мая сего года, вместе со своими пожитками, покатыл в имение Асловских. Его пожитки состояли из ненужного ящика с красками, жилетки-пике, пустого портсигара и двух сорочек. Принят он был с объятиями самыми распростертыми. Дали в его распоря-

жение две комнаты, двух холуев, лошадь и всё, что пожелает, лишь бы только надежды подавал. Он воспользовался своим новым положением как нельзя лучше: ужасно много ел, много пил, долго спал, восхищался природой и не отрывал глаз от Лели. Леля была больше чем счастлива. Ей он был близок, был молод, хорош, был так робок... так любил! Он был так робок, что не умел подходить к ней, а глядел на нее всё больше издали, из-за портьера или из-за куста.

«Робкая любовь!» – думала Леля, вздыхая...

В одно прекрасное утро ее рара и Ногтев сидели в саду на скамье и беседовали. Рара прохаживался насчет прелестей семейного счастья, а Ногтев терпеливо внимал и глазами искал Лелиного торса.

– Вы у отца один сын? – спросил, между прочим, папа.

– Нет... У меня есть брат, Иван... Славный малый! Прелесть что за человек! Вы не знакомы с ним?

– Не имею чести...

– Жаль, что вы не знакомы. Он остряк такой, знаете ли, весельчак, душа человек! Литературой занимается. Все редакции его приглашают. В «Шуте» сотрудничает. Жаль, что не знакомы. Он рад был бы познакомиться... Вот что! Хотите, я напишу, чтоб он сюда приехал? А? Ей-богу! Веселей будет!

Сердце рара от такого предложения точно дверью прищемило, но – нечего делать! – нужно было сказать: «Очень рад!»

Ногтев подпрыгнул в знак своего хорошего расположения и немедленно написал брату приглашение.

Брат Иван не замедлил явиться. Явился он не один, а в купе со своим другом, поручиком Набрыдловым, и огромнейшим беззубым, старым псом Туркой. Прихватил он их с собой для того, чтобы, как он выражался, дорогой разбойники не напали и выпить было бы с кем. Им отведены были три комнаты, два холуя и одна лошадь на двоих.

– Вы, господа, – сказал Иван хозяевам, – не беспокойтесь о нас! Нам ваших беспокойств не нужно. Нам ни перин, ни соусов, ни фортепианов – ничего не нужно! А вот ежели помилосердствуете насчет пивка и водочки, ну... тогда другое дело!

Если вы вообразите себе огромнейшего тридцатилетнего мордастого малого, в парусинной блузе, с паршивенькой бородкой, опухшими глазами и с галстухом в сторону, то вы избавите меня от описания Ивана. Это был несноснейший в мире человек.

Когда он был трезв, он был еще сносен: на кровати лежал и молчал. Пьяный же был он невыносим, как репейник на голом теле. Когда он пьян, он говорит не умолкая, причем сквернословит, не стесняясь ни женским, ни детским присутствием. Говорит он о вшах, клопах, штанах и чёрт знает о чем. Других тем, более новых, у него не водится. Рара, тапан и Леля недоумевали и краснели, когда Иван, сидя за обедом, начинал острить.

К несчастью, во всё свое пребывание в имении Асловских ему ни разу не удалось быть трезвым. Набрыдлов же, маленький куценький поручик, во все лопатки старался походить на Ивана.

– Мы с ним не художники! – говорил он. – Куды нам! Мы мужички!

Иван и Набрыдлов первым делом из барских хором, где им показалось душно, перебрались во флигель к управляющему, который не прочь был выпить с порядочными людьми. Вторым делом, они поснимали сюртуки и защеголяли по двору и по саду без сюртуков. Леле то и дело приходилось в саду наталкиваться на валявшегося под деревом в дезабилье брата или поручика. Брат и поручик пили, ели, кормили пса печенкой, острили над хозяевами, гонялись по двору за кухарками, громко купались, мертвецки спали и благословляли судьбу, случайно загнавшую их в те места, где можно à la сыр в масле кататься.

– Послушай, ты! – сказал однажды Иван художнику, подмигивая пьяным глазом в сторону Лели. – Ежели ты за ней... то чёрт с тобой! Мы не тронем. Ты первый начал, тебе и книги в руки. Честь и место! Мы благородно... Желаем успеха!

– Отбивать не станем, нет! – подтвердил Набрыдлов. – Было бы свинством с нашей стороны.

Ногтев пожал плечами и устремил свои жадные очи на Лелю.

Когда надоедает тишина, хочется бури; когда надоедает

сидеть чинно и благородно, хочется дебош устроить. Когда Леле надоела робкая любовь, она начала злиться. Робкая любовь – это басня для соловья. К великой досаде, в июне художник был так же робок, как и в мае. В хоромах шили приданое; рара денно и ночью мечтал о займе денег для свадьбы, а между тем их отношения не вылились еще в определенную форму. Леля заставляла художника по целым дням удить с собой рыбу. Но это не помогло. Он стоял возле нее с удочкой, молчал, заикался, пожирал ее глазами – и только. Ни одного сладко-ужасного слова! Ни одного признания!

– Называй меня... – сказал ему однажды рара. – Называй меня... Ты извини... что я говорю тебе «ты»... Я любя, знаешь... Называй меня папой... Это я люблю.

Художник стал сдуру величать рара папой, но и это не помогло. Он по-прежнему был нем там, где следовало возроптать на богов за то, что они дали человеку один только язык, а не десять. Иван и Набрядлов скоро подметили тактику Ногтева.

– Чёрт тебя знает! – возроптали они. – Сам сена не жрешь и другим не даешь! Этакая скотина! Трескай же, дуб, коли кусок сам тебе в рот лезет! Не хочешь, так мы возьмем! Тото!

Но всему на этом свете бывает конец. Будет конец и этой повести. Кончилась и неопределенность отношений художника с Лелей.

Развязка романа произошла в середине июня.

Был тихий вечер. В воздухе пахло. Соловей пел во всю ивановскую. Деревья шептались. В воздухе, выражаясь длинным языком российских беллетристов, висела нега... Луна, разумеется, тоже была. Для полноты райской поэзии не хватало только г. Фета, который, стоя за кустом, во всеуслышание читал бы свои пленительные стихи.

Леля сидела на скамье, куталась в шаль и задумчиво глядела сквозь деревья на речку.

«Неужели я так неприступна?» – думала она, и воображению ее представлялась она сама, величественная, гордая, надменная... Размышления ее прервал подошедший рара.

– Ну, что? – спросил рара. – Всё то же?

– То же.

– Гм... Чёррт... Когда же всё это кончится? Ведь мне, матушка, прокормить этих лодырей дорого стоит! Пятьсот в месяц! Не шутка! На одного пса три гривенника в день на печенку сходит! Коли свататься, так свататься, а нет, так и к чёрту и с братцем и с псом! Что же он говорит, по крайней мере? Говорил он с тобой? Объяснялся?

– Нет. Он, папа, такой застенчивый!

– Застенчивый... Знаем мы их застенчивость! Глаза отводит. Подожди, я его сейчас пришлю сюда. Покончи с ним, матушка! Нечего церемониться... Пора. Изволь-ка, матушка, того... Не молоденькая... Фокусы, небось, все уже знаешь!

Рара исчез. Минут через десять, робко пробираясь куста-

ми сирени, показался художник.

– Вы меня звали? – спросил он Лелю.

– Звала. Подойдите сюда! Полно вам меня бегать! Садитесь!

Художник тихохонько подошел к Леле и тихохонько сел на краешек скамьи.

«Какой он хорошенький в темноте!» – подумала Леля и, обратясь к нему, сказала:

– Расскажите-ка что-нибудь! Отчего вы такой скрытный, Федор Пантелеич? Отчего вы всё молчите? Отчего вы никогда не откроете предо мной свою душу? Чем я заслужила у вас такое недоверие? Мне обидно, право... Можно подумать, что мы с вами не друзья... Начинайте же говорить!

Художник откашлялся, прерывисто вздохнул и сказал:

– Мне вам многое нужно сказать, очень многое!

– В чем же дело стало?

– Боюсь, чтоб вы не обиделись. Елена Тимофеевна, вы не обидитесь?

Леля захихикала.

«Настала минута! – подумала она. – Как дрожит! Как он дрожит! Поймался, голубчик?»

У Лели самой затряслись поджилки. Ее охватил столь любезный каждому романисту трепет.

«Минут через десять начнутся объятия, поцелуи, клятвы... Ах!» – замечтала она и, чтобы подлить масла в огонь, своим обнаженным горячим локтем коснулась художника.

– Ну? В чем же дело? – спросила она. – Я не такая недо-
трога, как вы думаете... (Пауза.) Говорите же!.. (Пауза.) Ско-
рей!!

– Видите ли... Я, Елена Тимофеевна, ничего в жизни так
не люблю, как художество... искусство, так сказать. Товари-
щи находят, что у меня талант и что из меня выйдет непло-
хой художник...

– О, это наверное! *Sans doute!*¹⁷²

– Ну, да... Так вот... Люблю я свое искусство... Значит...
Я предпочитаю жанр, Елена Тимофеевна! Искусство... Ис-
кусство, знаете ли... Чудная ночь!

– Да, редкая ночь! – сказала Леля и, извиваясь змеей, съе-
жилась в шали и полузакрыла глаза. (Молодцы женщины по
части амурных деталей, страсть, какие молодцы!)

– Я, знаете ли, – продолжал Ногтев, ломая свои белые
пальцы, – давно уже собирался поговорить с вами, да всё...
боялся. Думал, что вы рассердитесь... Но вы, если поймете
меня, то... не рассердитесь. Вы тоже любите искусство!

– О... Ну да... Как же! Искусство ведь!

– Елена Тимофеевна! Вы знаете, зачем я здесь? Вы не мо-
жете догадаться?

Леля сильно сконфузилась и, якобы нечаянно, положила
свою руку на его локоть...

– Это правда, – продолжал, помолчав, Ногтев. – Есть меж-
ду художниками свиньи... Это правда... Они ни в грош не

¹⁷² Без сомнения! (*франц.*)

ставят женскую стыдливость... Но ведь я... я ведь не такой! У меня есть чувство деликатности. Женская стыдливость есть такая... такая стыдливость, которой negliжировать нельзя!

«Для чего он говорит мне это?» – подумала Леля и спрятала в шаль свои локти.

– Я не похож на тех... Для меня женщина – святыня! Так что вам бояться нечего... Я не такой, я такой, что не позволю себе чепуху выделывать... Елена Тимофеевна! Вы позволите? Да выслушайте, я, ей-богу, ведь искренно, потому что я не для себя, а для искусства! У меня на первом плане искусство, а не удовлетворение скотских инстинктов!

Ногтев схватил ее за руку. Она подалась чуточку в его сторону.

– Елена Тимофеевна! Ангел мой! Счастье мое!

– Н... ну?

– Можно вас попросить?

Леля захихикала. Губы ее уже сложились для первого поцелуя.

– Можно вас попросить? Умоляю! Ей-богу, для искусства! Вы мне так понравились, так понравились! Вы та, которую именно мне и нужно! К чёрту других! Елена Тимофеевна! Друг мой! Будьте моей...

Леля вытянулась, готовая пасть в объятия. Сердце ее застучало.

– Будьте моей...

Художник схватил ее за другую руку. Она покорно склонила головку на его плечо. Слезы счастья блеснули на ее ресницах...

– Дорогая моя! Будьте моей... натурщицей!

Леля подняла голову.

– Что?!

– Будьте моей натурщицей!

Леля поднялась.

– Как? Кем?

– Натурщицей... Будьте!

– Гм... Только-то?

– Вы меня премного обяжете! Вы дадите мне возможность написать картину и... какую картину!

Леля побледнела. Слезы любви вдруг обратились в слезы отчаяния, злобы и других нехороших чувств.

– Так вот... что? – проговорила она, трясаясь всем телом.

Бедный художник! Ярко-красное зарево окрасило одну из его белых щек, когда звуки звонкой пощечины понеслись, мешаясь с собственным эхом, по темному саду. Ногтев почесал щеку и остолбенел. С ним приключился столбняк. Он почувствовал, что он проваливается сквозь всю вселенную... Из глаз посыпались молнии...

Леля, трепещущая, бледная как смерть, ошавевшая, сделала шаг вперед, покачнулась. По ней точно колесом проехали. Собравшись с силами, она неверной, больной походкой направилась к дому. Ноги ее подгибались, из глаз сыпались

искры, руки тянулись к волосам с явным намерением вцепиться в оные...

До дома оставалось только несколько сажен, когда ей еще раз пришлось побледнеть. На ее пути, около беседки, увитой диким виноградом, стоял, широко растопырив руки, пьяный, мордастый Иван, непричесанный, с расстегнутой жилеткой. Он глядел в Лелино лицо, сардонически ухмылялся и осквернял воздух мефистофелевским «ха-ха». Он схватил Лелю за руку.

– Подите прочь! – прошипела Леля и отдернула руку...
Скверная история!

Двадцать девятое июня

(Рассказ охотника, никогда в цель не попадающего)

Было четыре часа утра...

Степь обливалась золотом первых солнечных лучей и, покрытая росой, сверкала, точно усыпанная бриллиантовой пылью. Туман прогнало утренним ветром, и он остановился за рекой свинцовой стеной. Ржаные колосья, головки репейника и шиповника стояли тихо, смиренно, только изредка покланиваясь друг другу и пошептывая. Над травой и над нашими головами, плавно помахивая крыльями, носились коршуны, кобчики и совы. Они охотились...

Аким Петрович Отлетаев, мировой судья, земский врач, я, зять Отлетаева Предположенский и волостной старшина Козоедов ехали все шестеро на отлетаевской коляске-розвальне на охоту. За коляской, вывалив языки, бежали четыре пса. Я и земский врач народ худенький, остальные же толсты, как стоведерные бочки, а потому, несмотря на то, что дедовская коляска была и широка и глубока, нам было до чёртиков тесно. Я то и дело толкал локтем и ружейным прикладом в живот Козоедова. Все мы толкались, пыхтели, морщились, всей душой ненавидели друг друга и с нетерпением

ем ждали того времени, когда нам можно будет вылезть из коляски. Ехали мы подальше в степь пострелять куропаток, стрепетов, перепелов, болотной дичи и, если фортуна оглянется на нас, дрохв. Предводительствовал нами хозяин коляски и коней Отлетаев, по милости которого мы и ехали на охоту. Тела наши были сдавлены, но зато души были преисполнены радостями самого высшего качества!

Кто никогда не ездил и не шлялся на охоту, тому не понять этих радостей. Мы держали наши ружья и глядели на них так любовно, как маменьки глядят на своих сыночков, подающих большие надежды.

– А каков наш будет маршрут? – спросил я, когда мы отъехали от Отлетаевки верст на десять.

– Сейчас едем на Еланчик, – отвечал Отлетаев, – бекасов стрелять... Отсюда это верст восемь будет. Там же и перепелов на просе постреляем... Пострелявши перепелов, ночевать станем, а уж завтра чуть свет у нас самая-то настоящая стрельба начнется...

– А что, господа, как думаете, – спросил я, показывая пальцем на коршуна, который купался далеко в небесной синеве, – можно ли попасть отсюда? Попадете?

– Не попадешь! – сказал Отлетаев. – Далеко очень! Впрочем, из моего ружья попадешь...

– И из вашего ружья не попадешь, – заметил Предположенный.

– Попадешь. Дробью не попадешь, не достанет, а пулей

наверно...

– И пулей не попадешь.

– Уж это позвольте мне знать, попаду я или не попаду! Вы ружья моего не знаете, а я знаю... Вы отродясь не видали хороших ружей, а потому это вам и кажется таким странным... Я и дальше попадал...

Предположенский откинул назад голову и засмеялся...

– Чего же смеешься? – продолжал Отлетаев. – Не веришь, небось?

– Разумеется, не верю.

– Гм... Ружья моего, значит, не знаешь... Ружье замечательное! Недаром шестьсот целковых стоит...

– Сколь...ко?? – спросил Предположенский и вытянул шею... – Сколько? Повторите, папаша!

– Шестьсот рублей... Чего же ты смеешься? Ты погляди на ружье, да потом и скаль зубы!

– Я вижу... Чьей фабрики?

– Марсельское... Фабрики Лепелье...

– Лепелье? Не слыхал что-то такой фабрики... Ружье, как ружье... Рублей сто стоит... Не люблю, тещь, когда вы врете! Зачем врать? Я не понимаю, зачем врать?

– Ружье хорошее, – заметил мировой, – но шестисот не стоит. Вы переплатили, Аким Петрович!

– Он вовсе не переплачивал! – горячился Предположенский, – он врет! Врет, как школяр!

Отлетаев завертелся и покраснел.

– Не таковский, чтоб врать, – сказал он. – Так-то-с! Ты вот... ты вот так врешь! Ну да! Ты вот так и норовишь уколоть! С тобой ездить не следует. Я не знаю, зачем я с тобой поехал!..

– И не ездил бы... Зачем врать, не понимаю! Врет, как свинья!

– Сам свинья! Свинья и дурак вместе с тем...

Мы начали усовещевать Предположенского.

– Пусть он не врет! – оправдывался непокорный зять. – Моя душа возмущается, ежели кто врет... И свиньей пусть не бранится. Сам он свинья, вот что! А если ему неприятно, что я еду, так... шут с ним! Я могу и не ехать!

– Ну, полноте! Аким Петрович и не думал вас оскорблять! Стоит ли поднимать бурю из-за пустяков?

Предположенский надулся, как объевшийся индюк, и умолк.

– Нельзя-с! – обратился, немного погодя, к Предположенскому Козоедов. – Нельзя-с! Он вам теперь, можно сказать, вместо родителей, тесть он вам, а вы грубости наносите... А грешно!

Зять взглянул презрительно на старшину и сардонически усмехнулся...

– Тебя спрашивают нешто? – спросил он. – Спрашивают? Молчи, коли... Сиди, ежели сидишь!.. Вместо родителей... Говорить еще не умеешь, а тоже лезешь... Гм... Суконное ры... Мужлан!

– Вот видите-с, какие вы! Не любите, коли люди покойно сидят. Я хотя и из простого звания произошел, хотя, могу сказать, и никакого образования не проходил, но могу сказать, что имею в груди, и в сердце, и в душе всякие чувства, а вы вот так нет, хоть вы и науки проходили по всем степеням... Так-то-с!

– Перестаньте, господа! – вмешался я. – Полно вам друг другу мораль читать! Давайте молчать...

Отлетаев с сопеньем вытащил из бокового кармана объемистый, сильно потертый портсигар и запустил в него свои толстые пальцы. Доктор и мировой протянули руки к его портсигару.

– Нет-с, извините-с! – сказал внушительно Отлетаев. – Дружба дружбой, а табачок врозь. Мне самому не хватит... Дорога велика, а у меня папирос-то с собой только четыре десятка...

Доктор и мировой сильно сконфузились и, чтобы скрыть подальше от света белого свой конфуз, засвистали из «Мадам Анго»¹⁷³.

Отлетаев был глуп, как сорок тысяч братьев¹⁷⁴, и невежа

¹⁷³ ...из «Мадам Анго». – Оперетта Шарля Лекока (1832—1918) «Дочь мадам Анго».

¹⁷⁴ ...глуп, как сорок тысяч братьев... – Юмористическая перефразировка слов Гамлета: «Я любил Офелию, как сорок тысяч братьев любить не могут», часто встречающаяся в рассказах молодого Чехова. «...Пьян, как сорок тысяч братьев...» («Ненужная победа», стр. 275 этого тома); «...обрадовался сорока тысячам, как сорок тысяч братьев, взятых вместе» («Осколки московской жиз-

страшная...

Мы его терпеть не могли. Сконфуженный доктор закурил собственную папироску и начал рассказывать анекдоты. Рассказал он их штук двадцать; из них только один не был сальным, остальные же так и таяли в наших ушах.

– А вы, батенька, мастер! – похвалил я доктора. – Не знал я, что вы такой юморист!

– Да-с... Кое-что знаем, – сказал доктор. – Ежели б я захотел в журналах сотрудничать, то миллионы бы имел. Больше вашего зарабатывал бы.

– Не сомневаюсь... Чего же не сотрудничаете?

– Не хочу!

– Почему же?

– Не хочу, вот и всё! Совесть есть! Нешто человек с совестью может в ваших журналах писать? Никогда! Я даже не читаю никогда газет! Считаю болванами тех, кто выписывает их, тратит деньги...

– А я наоборот, – заметил мировой, – считаю тех болванами, кто не тратит деньги на газеты...

– Доктор не в духе сегодня, – сказал я. – Не будем его трогать...

– Кто вам сказал, что я не в духе? Я в духе... Вы потому

ни», 1883 – т. XVI); «Груб, неотесан и нелеп, как сорок тысяч нелепых братьев» («Дачница», 1884 – т. III); «Нализался, как сорок тысяч братьев» («Ночь на кладбище», 1886 – т. IV), а также: „... эффектен, как сорок тысяч шаферов, взятых вместе“ („Драма на охоте“, 1884—1885 – т. III); „... пьян, как сорок тысяч сапожников“ („То была она“, 1886 – т. V).

так заступаетесь за газеты, что в них пишете, а по-моему, они... тьфу! Яйца выеденного не стоят. Врут, врут и врут. Первые вруны и сплетники! Газетчики – те же адвокаты... Врут и не имеют совести!

– Я был адвокатом, – сказал мировой, – а совесть имел.

Предположенский и Козоедов переглянулись и ехидно улыбнулись.

– Я не про вас говорю... Я вообще... Вообще все мошенники... И газетчики, и адвокаты, и все...

Я, вместо того чтобы молчать, продолжал заступаться за газетчиков. Мировой продолжал заступаться за адвокатов... В коляске поднялся спор.

– А медицина-то ваша? – ухватился я. – Медицина? Что она стоит? Небось не врете? Только денежки берете! Что такое доктор? Доктор есть предисловие гробокопателя... вот что-с! Впрочем, я не знаю, для чего я с вами спорю? Разве у вас есть логика? Вы кончили университет, но рассуждаете, как банщик...

– Говорите хладнокровно! Можно, полагаю, и без оскорблений!

– Газетчиков и адвокатов ругаем, – забасил Предположенский, – а самой настоящей-то вдали и не видим... Потолкуйте-ка с тестюшкой, он любого адвоката по брехательной части за пояс заткнет...

И так далее... Слово за слово, гримаса за гримасой, сплетня за сплетней, и дело зашло чётр знает куда...

Мы начали рассказывать всё, что за зиму накопилось в наших душах друг против друга. Мы перещеголяли старых девок.

Между тем пока мы, не выспавшиеся, полупьяные, каверзили друг против друга, солнце поднималось всё выше и выше... Туман исчез окончательно, и начался летний день... Было кругом тихо, славно...

Только мы одни нарушали тишину...

Подъехав к первому попавшемуся болотцу, мы вылезли из коляски и, сердитые, надутые, побрели в разные стороны. Водворять среди нас согласие взялся Козоедов. Он подбросил высоко вверх трехкопеечную монету, выстрелил в нее и попал. Мы все вместе подняли монету, сосчитали на ней число следов от дробы и кое-как разговорились.

Предположенский согнал коростеля и убил. Мы его поздравили и крикнули «ура». Согласие было бы окончательно водворено, если бы не доктор. Доктор, пока мы поздравляли Предположенского с первым успехом, подошел к коляске, развязал кулек и принялся ублажать себя водочкой и закуской.

– Доктор! Что это вы там делаете? – крикнул Отлетаев.

– Ем и пью.

– Какое же вы имеете право распоряжаться?

– А что?

– Это для вас положено? Не понимаю этого, извините, свинства! Не мог подождать! Что это вы раскупили? Ба-

тюшки! Это моя настойка! Какое вы имеете право, милостивый государь?

– Не кричите, пожалуйста! Потихе!

– Ведь эту настойку я для себя взял! Слаб здоровьем, взял настойки, и... на поди! Раскупорили! Просили его! Заверните балык!

– Не заверну! Вам, неприличный и неделикатный человек, должно быть известно, что на охоте всё общее... Какой вы, извините, невежа!

Доктор выпил рюмку настойки и назло Отлетаеву отрезал себе огромный кусок балыка. Предположенный подскочил к коляске и, чтобы насолить тестю, выпил из горлышка половину настойки... У Отлетаева навернулись слезы.

– Это вы назло? – зашептал он, – хорошо же! Хорошо! Вот вы как... Мерси боку...¹⁷⁵

Мировой, не знавший, в чем дело, подошел к коляске.

– А-а-а?.. Закусываете? – спросил он. – А не рано ли? Впрочем, одну пропустить не мешает... За ваше здоровье!

Мировой налил себе рюмку настойки и выпил.

– Очень хорошо-с! Прекрасно-с! – крикнул уже Отлетаев.

– Что прекрасно? – спросил мировой.

– Ничего...

Отлетаев сел в коляску, бросил на траву кулек, иронически нам поклонился и ударил кучера Петра по спине.

– Поезжай! – крикнул он.

¹⁷⁵ Очень благодарен (*франц.* merci beaucoup).

– Куда это вы? – удивились мы...

– Ежели я вам противен... необразован... Козоедов! Иди садись, голубчик! Где нам, мужикам, с господами учеными охотиться? Освободим их от своего присутствия! Иди, милый!

– Куда же вы? Что вы дурака корчите?

– Ежели я дурак, то зачем вам беспокоиться?.. Пущай! Я и есть дурак... Прощайте-с... я домой...

– А мы же на чем поедем?

– На чем знаете... Коляска моя.

– Да ты, тестюшка, белены, что ли, объелся? – крикнул Предположенский.

Козоедов сел рядом с Отлетаевым и смиренно снял шляпу.

– Ты с ума сошел? – продолжал Предположенский. – Вылезай из коляски!

– Не вылезу. Прощай, зять! Ты человек образованный, гуманный, цивилизованный... А я... Что я?

– А ты – дурак! Господа, что же это такое? Кто его раздражил? Вы, доктор? Вы, чёрт вас возьми, вечно лезете со своим ученым носом не в свое дело!

– Я для вас не тесть... Прошу не орать, – обиделся доктор. – Коли будете орать, так и я уеду...

– И уезжайте! Велика потеря! Скажите пожалуйста!

Доктор пожал плечами, вздохнул и полез в коляску. Мировой махнул рукой и тоже полез в коляску.

– Мы вечно так, – вздохнул он. – Никогда у нас ничего не выходит...

– Погоняй! – крикнул Отлетаев.

Петр чмокнул губами, дернул вожжи, и коляска тронулась с места.

Я и Предположенский переглянулись.

– Стой! – крикнул я и побежал за коляской. – Стой!

– Стой! – заорал Предположенский. – Стой, скоты!

Коляска остановилась, и мы уселись.

– Я тебе всё это припомню! – сказал, сверкая глазами, Предположенский и погрозил тестю кулаком. – Всё! До смерти будешь помнить этот день!

До самого дома мы ехали молча. В душах наших радости высшего качества сменились самыми скверными чувствами. Мы готовы были слопать друг друга и не слопали только потому, что не знали, с какого конца начать лопать... Когда мы подъехали к отлетаевскому дому, на террасе сидела мадам Отлетаева и пила кофе...

– Вы приехали? – удивилась она. – Что так рано?

Мы вылезли из коляски и молча направились к воротам.

– Куда же вы, господа? – закричала мадам Отлетаева. – А кофе пить? А обедать? Куда вы?

Мы повернулись к крыльцу и молча, внушительно погрозили нашими огромными кулаками. Предположенский плюнул по направлению к крыльцу, выругался и отправился спать в конюшню.

Дня через два Отлетаев, Предположенский, Козоедов, мировой, земский врач и я сидели в доме Отлетаева и играли в стуколку. Мы играли в стуколку и по обыкновению грызли друг друга...

Дня через три мы поругались насмерть, а через пять пукали вместе фейерверк...

Мы ссоримся, сплетничаем, ненавидим, презираем друг друга, но разойтись мы не можем. Не удивляйтесь и не смейтесь, читатель! Поезжайте в Отлетаевку, поживите в ней зиму и лето, и вы узнаете, в чем дело...

Глушь – не столица... В Отлетаевке рак – рыба, Фома – человек и ссора – живое слово...

Который из трех?

(Старая, но вечно новая история)

На террасе роскошной старинной дачи статской советницы Марьи Ивановны Лангер стояли дочь Марьи Ивановны – Надя и сынок известного московского коммерсанта Иван Гаврилович.

Вечер был великолепный. Будь я мастер описывать природу, я описал бы и луну, которая ласково глядела из-за тучек и обливала своим хорошим светом лес, дачу, Надино личико... Описал бы и тихий шёпот деревьев, и песни соловья, и чуть слышный плеск фонтанчика... Надя стояла, опершись коленом о край кресла и держась рукой за перила. Глаза ее, томные, бархатные, глубокие, глядели неподвижно в темную зеленую чашу... На бледном, освещенном лунной личике играли темные тени – пятнышки: это румянец... Иван Гаврилович стоял позади нее и нервно, дрожащей рукой пощипывал свою жидкую бородку. Когда ему надоедало щипать бородку, он начинал поглаживать и трепать другой рукой свое высокое, некрасивое жабо. Иван Гаврилович некрасив. Он похож на свою маменьку, напоминающую собой деревенскую кухарку. Лоб у него маленький, узенький, точно

приплюснутый; нос вздернутый, тупой, с заметной выемкой вместо горбины, волос щетиной. Глаза его, маленькие, узкие, точно у молодого котенка, вопросительно глядели на Надю.

– Вы извините меня, – говорил он, заикаясь, судорожно вздыхая и повторяясь, – извините меня, что я рассказываю вам... про свои чувства... Но я вас так полюбил, что даже не знаю, в своем ли я уме нахожусь, или нет... В груди моей такие чувства к вам, что и выразить этого невозможно! Я, Надежда Петровна, как только вас увидел, так сразу и втюрился, полюбил то есть. Вы извините меня, конечно, но... ведь... (Пауза.) Приятная нонче природа!

– Да... Погода великолепная...

– И при такой самой природе как приятно, знаете ли-с, любить такую приятную особу, как вы... Но я несчастлив!

Иван Гаврилович вздохнул и дернул себя за бородку.

– Очень несчастлив-с! Я вас люблю, страдаю, а... вы? Нешто вы можете чувствовать ко мне чувства? Вы образованная, ученая... всё по-благородному... А я? Я купеческого звания и... больше ничего! Как есть ничего! Денег-то много, но что толку с тех денег, если нет настоящего счастья? Без счастья с этими самыми деньгами одно только окаянство да... пустоцвет. Ешь хорошо, ну... пешком не ходишь... пустая жизнь... Надежда Петровна!

– Ну?

– Ни... ничего-с! Я хотел, собственно говоря, вас побеспокоить...

– Что вам?

– Можете ли вы меня любить? (Пауза.) Я предлагал вашей маменьке... мамаше то есть, свое сердце и руку относительно вас, и оне сказали, что всё от вас зависит... Вы можете, говорит, и без родительской воли... Как вы мне ответите?

Надя молчала. Она взглянула в темную зеленую чашу, где еле-еле обрисовывались стволы и узорчатая листва... Ее занимали движущиеся черные тени от деревьев, которые слегка покачивались от ветерка своими верхушками. Молчание ее душило Ивана Гавриловича. На глазах его выступили слезы. Он страдал. «Ну что – ежели она откажет?» – думалось ему, и эта невеселая дума морозом резала по его широкой спине...

– Сделайте милость, Надежда Петровна, – проговорил он, – не терзайте мою душу... Ведь я, ежели лезу к вам, то от любви... Потому... (Пауза.) Ежели... (Пауза.) Ежели вы не ответите мне, то хоть умирай.

Надя повернула свое лицо к Ивану Гавриловичу и улыбнулась... Она протянула ему свою руку и заговорила голосом, который прозвучал в ушах московского коммерсанта песнью сирены:

– Очень вам благодарна, Иван Гаврилович... Я уже давно знаю, что вы меня любите, и знаю, как вы любите... Но я... я... Я вас тоже люблю, Жан... Вас нельзя не полюбить за ваше доброе сердце, за вашу преданность...

Иван Гаврилович раскрыл широко рот, засмеялся и,

счастливым, провел себя ладонью по лицу: не сон ли, мол?

– Я знаю, что если я выйду за вас замуж, – продолжала Надя, – то я буду самая счастливая... Но знаете что, Иван Гаврилович? Подождите немножко ответа... Ответить положительно сейчас я не могу... Я должна этот шаг обдумать хорошенько... Подумать надо... Потерпите немного.

– А долго ждать?

– Нет, немного... День, много два...

– Это можно-с...

– Вы сейчас уедете, а ответ я дам письмом... Уезжайте сейчас домой, а я пойду думать... Прощайте... Через день...

Надя протянула руку. Иван Гаврилович схватил ее и поцеловал. Надя кивнула головой, поцеловала воздух, спорхнула с крыльца и исчезла... Иван Гаврилович постоял минуты две-три, подумал и отправился через маленький цветник и рощу к своим лошадям, которые стояли на просеке. Он раскис и ослабел от счастья, точно его целый день продержали в горячей ванне... Он шел и смеялся от счастья.

– Трофим! – разбудил он спавшего кучера. – Вставай! Едем! На чай пять желтеньких! Понял? Ха-ха!

Между тем Надя прошмыгнула сквозь все комнаты на другую террасу, спустилась с этой террасы и, пробираясь сквозь деревья, кусты и кустики, побежала на другую просеку. На этой просеке ожидал ее друг ее детства, молодой человек лет двадцати шести, барон Владимир Штраль. Штраль – миленький толстенный немец-карапузик, с уже заметной

плешью на голове. Он в этом году кончил курс в университете, едет в свое харьковское имение и пришел в последний раз, проститься... Он был слегка пьян и, полулежа на скамье, насвистывал «Стрелочка»¹⁷⁶.

Надя подбежала к нему и, тяжело дышащая, утомленная бегом, повисла на его шее. Звонко хохоча и теребя его за шею, за волосы и воротник, она осыпала его жирное, потное лицо поцелуями...

– Я тебя уже целый час жду, – сказал барон, обнимая ее за талию...

– Ну что – здоров?

– Здоров...

– Едешь завтра?

– Еду...

– Противный... Возвратишься скоро?

– Не знаю...

Барон поцеловал Надю в щеку и ссадил ее с колен на скамью.

– Ну, будет целоваться, – сказала Надя. – После... Впереди еще много времени. Теперь потолкуем о деле. (Пауза.) Ты, Воля, подумал?

– Подумал...

– Ну что ж, как? Когда... свадьба?

¹⁷⁶ ...насвистывал «Стрелочка». – Песенка А. Франца «Стрелок» («Я хочу вам рассказать, рассказать, рассказать...»), пользовавшаяся большой популярностью в Москве в конце 1870-х – начале 1880-х годов. Упомянута у Чехова в рассказе «Брожение умов» (1884, т. III).

Барон поморщился.

– Ты опять о том же! – сказал он. – Ведь я тебе еще вчера дал... положительный ответ... Ни о какой свадьбе не может быть и речи! Я тебе еще вчера сказал... Зачем заводить разговор о том, что уже тысячу раз было пересказано?..

– Но, Воля, должны наши отношения чем-нибудь кончиться! Как ты это не поймешь? Ведь должны?

– Должны, но не свадьбой... Ты, Nadine, повторяю я в сотый раз, наивна, как трехлетнее дитя... Наивность к лицу хорошему женщинам, но не в данном случае, душа моя...

– Не хочешь жениться, значит! Не хочешь? Ты говори прямо, бессовестная твоя душа, говори прямо: не хочешь?

– Не хочу... С какой стати я буду себе портить карьеру? Я люблю тебя, но ведь ты сгубишь меня, если я на тебе женюсь... Ты мне не дашь ни состояния, ни имени... Женитьба должна, мой друг, быть половиной карьеры, а ты... Плакать нечего... Надо рассуждать здраво... Браки по любви никогда не бывают счастливы и оканчиваются обыкновенно пухом...

– Лжешь... Ты лжешь! Вот что!

– Женись, а потом с голоду умирай... Нищих плоды... Рассуждать нужно...

– А отчего ты тогда не рассуждал... помнишь? Ты тогда дал мне честное слово, что ты на мне женишься... Ведь дал?

– Дал... Но теперь изменились мои планы... Ведь ты не выйдешь за бедного человека? Зачем же ты заставляешь меня жениться на бедной? Я не имею желаний поступить с со-

бой по-свински. У меня есть будущее, за которое я должен ответить перед своею совестью.

Надя утерла платком глаза и вдруг неожиданно, нечаянно бросилась опять на шею к православному немцу. Она припала к нему и принялась осыпать его лицо поцелуями.

– Женись! – залепетала она. – Женись, голубчик! Ведь я люблю тебя! Ведь я жить без тебя не могу, моя прелесть! Ты меня убьешь, если расстанешься со мной! Женишься? Да?

Немец подумал и решительным тоном сказал:

– Не могу! Любовь хорошая вещь, но на этом свете она не прежде всего...

– Так не хочешь?

– Нет... Не могу...

– Не хочешь? Верно, что не хочешь?

– Не могу, Nadine!

– Подлец, негодяй... вот что! Мошенник! Немчура! Я тебя терпеть не могу, ненавижу, презираю! Ты гадок! Я тебя и не любила никогда! Если я в тот вечер и поддалась тебе, то только потому, что считала тебя честным человеком, думала, что ты женишься на мне... Я тебя и тогда терпеть не могла! Хотела выйти за тебя, потому что ты барон и богат!

Надя замахала руками и, отступив на несколько шагов от Штраля, пустила в него еще несколько колкостей и отправилась домой... «Напрасно я ходила сейчас к нему, – думала она, идя домой. – Ведь знала же я, что он не захочет жениться? Вот негодяй! Дура была я в тот вечер! Не поддайся

я ему тогда, теперь бы не было надобности унижаться перед этой... немчурой».

Придя во двор дачи, Надя не пошла в комнаты. Она походила по двору и остановилась у одного слабо освещенного окна. Окно это выходило из комнаты, в которой обитала на летнем положении молодая, только что выпущенная из консерватории, первая скрипка, Митя Гусев. Надя начала глядеть в окно. Митя, плечистый, курчавый блондин, недурной собой, был дома. Он без сюртука и жилетки лежал на кровати и читал роман. Надя постояла, подумала и постучала в окно. Первая скрипка подняла голову.

– Кто там?

– Это я, Дмитрий Иванович... Отворите-ка окно на минутку!..

Митя быстро надел сюртук и отворил окно.

– Идите сюда... Лезьте ко мне... – сказала Надя. Митя показался на окне и через секунду был уже возле Нади.

– Что вам угодно?

– Пойдемте! – сказала Надя и взяла Митю под руку.

– Вот что, Дмитрий Иванович, – сказала она. – Не пишите мне, голубчик, любовных писем! Пожалуйста, не пишите! Не любите меня и не говорите мне, что вы меня любите!

Слезы сверкнули на глазах Нади и полились струей по щекам, по рукам...

Слезы были самые настоящие, горячие, крупные...

– Не любите меня, Дмитрий! Не играйте для меня на

скрипке! Я гадкая, противная, нехорошая... Я такая, которую нужно презирать, ненавидеть, бить...

Надя зарыдала и положила свою головку на грудь Мити.

– И я самая гадкая, и мысли мои гадкие, и сердце...

Митя растерялся, забормотал какую-то ерунду и поцеловал Надю в голову...

– Вы добрый, хороший... Я, честное слово, люблю вас...

Ну, а вы не любите меня! Я люблю больше всего на свете деньги, наряды, коляски... Я умираю, когда думаю, что у меня нет денег... Я мерзкая, эгоистка... Не любите, душечка, Дмитрий Иванович! Не пишите мне писем! Я выхожу замуж... за Гаврилыча.. Видите – какая я! А вы еще... любите меня! Прощайте! Я вас буду любить и замужем... Прощай, Митя!

Надя быстро обняла Гусева, быстро поцеловала его в шею и побежала к воротам.

Придя к себе в комнату, Надя села за стол и, горько плача, написала следующее письмо: «Дорогой Иван Гаврилыч! Я ваша. Я вас люблю и хочу быть вашей женою... Ваша Н.»

Письмо было запечатано и сдано горничной для отправки по адресу.

«Завтра... что-нибудь привезет...» – подумала Надя и глубоко вздохнула.

Этот вздох был финалом ее плача. Посидев немного у окна и успокоившись, Надя быстро разделась, и ровно в полночь дорогое пуховое одеяло, с вышивками и вензелями, уже грело спящее, изредка вздрагивающее тело молодой, хоро-

шенькой, развратной гадины.

В полночь Иван Гаврилович шагал у себя по кабинету и мечтал вслух.

В кабинете сидели его родители и слушали его мечтания... Они радовались и были счастливы за счастливого сына...

– Девушка-то она хорошая, благородная, – говорил отец. – Советника дочь, да и красавица. Одна только беда: фамилия у нее немецкая! Подумают люди, что ты на немке женился...

Он и она

Они кочуют. Одному только Парижу дарят они месяцы, для Берлина же, Вены, Неаполя, Мадрида, Петербурга и других столиц они скупы. В Париже чувствуют они себя quasi-дома¹⁷⁷; для них Париж – столица, резиденция, остальная же Европа – скучная, бестолковая провинция, на которую можно смотреть только сквозь опущенные шторы grand-hôtel'ей или с авансены. Они не стары, но успели уже побывать по два, по три раза во всех европейских столицах. Им уже надоела Европа, и они стали поговаривать о поездке в Америку и будут поговаривать до тех пор, пока их не убедят, что у нее не такой уж замечательный голос, чтобы стоило показывать его обоим полушариям.

Увидеть их трудно. На улицах их видеть нельзя, потому что они ездят в каретах, ездят, когда темно, вечером и ночью. До обеда они спят. Просыпаются же обыкновенно в плохом расположении духа и никого не принимают. Принимают они только иногда, в неопределенное время, за кулисами или садясь за ужин.

Ее можно видеть на карточках, которые продаются. Но на карточках она – красавица, а красавицей она никогда не была. Карточкам ее не верьте: она урод. Большинство видит ее, глядя на сцену. Но на сцене она неузнаваема. Белила, румя-

¹⁷⁷ как бы дома (*лат.*)

на, тушь и чужие волосы покрывают ее лицо, как маска. На концертах то же самое.

Играя Маргариту, она, двадцатисемилетняя, морщинистая, неповоротливая, с носом, покрытым веснушками, выглядывает стройной, хорошенькой, семнадцатилетней девочкой. На сцене она менее всего напоминает самое себя.

Коли хотите их видеть, приобретите право присутствовать на обедах, которые даются ей и которые иногда она сама дает перед отъездом из одной столицы в другую. Приобрести это право легко только на первый взгляд, добраться же до обеденного стола могут только люди избранные... К последним относятся господа рецензенты, пролазы, выдающие себя за рецензентов, туземные певцы, дирижеры и капельмейстеры, любители и ценители с зализанными лысынами, попавшие в театральные завсегдатаи и блюдолизы благодаря злату, серебру и родству. Обеды эти выходят не скучные, для человека наблюдающего интересные... Раза два стоит пообедать.

Известные (между обедающими много таких) едят и говорят. Поза их вольная: шея на один бок, голова на другой, один локоть – на столе. Старички даже ковыряют в зубах.

Газетчики занимают стулья, ближайšie к ее стулу. Они почти все пьяны и держат себя весьма развязно, как будто бы они знакомы с ней уже сто лет. Возьми они градусом выше, дело дошло бы до фамильярности. Они громко острят, пьют, перебивают друг друга (причем не забывают сказать: «pardon!»), произносят трескучие тосты и, видимо, не боят-

ся сгруппировать; некоторые, джентльменски переваливаясь через угол стола, целуют ее ручку.

Выдающие себя за рецензентов менторски беседуют с любителями и ценителями. Любители и ценители молчат. Они завидуют газетчикам, блаженно улыбаются и пьют одно только красное, которое на этих обедах бывает особенно хорошо.

Она, царица обеда, одета простенько, но ужасно дорого. Крупный бриллиант выглядывает на шею из-под кружевной оборочки. На обеих руках – по массивному гладкому браслету. Прическа в высшей степени неопределенная: дамам – нравится, мужчинам – не нравится. Лицо ее сияет и льет на всю обедающую братию широчайшую улыбку. Она умеет улыбаться всем сразу, говорить сразу со всеми, мило кивать головой; кивок головы достается каждому обедающему. Посмотрите на ее лицо, и вам покажется, что вокруг нее сидят одни только друзья и что она к этим друзьям питает самое дружеское расположение. В конце обеда она кое-кому дарит свои карточки; сзади карточки она пишет тут же за столом имя и фамилию счастливого получателя и автограф. Говорит она, разумеется, по-французски, в конце же обеда и на других языках. По-английски и по-немецки она говорит плохо до смешного, но и эта плохость выходит у нее милой. Вообще она так мила, что вы надолго забываете, что она – урод.

А он? Он, *le mari d'elle*¹⁷⁸, сидит от нее за пять стульев, много пьет, много ест, много молчит, катает из хлеба шарики

¹⁷⁸ ее муж (франц.)

и перечитывает ярлыки на бутылках. Глядя на его фигуру, чувствуется, что ему нечего делать, скучно, лень, надоело...

Он белокур, с плешью, которая дорожками пробегает по его голове. Женщины, вино, бессонные ночи и таскание по белу свету бороздой проехали по его лицу и оставили глубокие морщины. Ему лет тридцать пять, не больше, но он старше на вид. Лицо как бы вымоченное в квасу. Глаза хорошие, но ленивые... Он когда-то не был уродом, но теперь урод. Ноги дугой, руки землистого цвета, шея волосистая. Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его дразнят в Европе почему-то «коляской». В своем фраке напоминает он мокрую галку с сухим хвостом. Обедающие его не замечают. Он платит тем же.

Попадите вы на обед, глядите на них, на этих супругов, наблюдайте и скажите мне, что связало и что связывает этих двух людей.

Глядя на них, вы ответите (разумеется, приблизительно) так:

– Она – известная певица, он – только муж известной певицы, или, выражаясь закулисным термином, муж своей жены. Она зарабатывает до восьмидесяти тысяч в год на русские деньги, он ничего не делает, стало быть, у него есть время быть ее слугой. Ей нужен кассир и человек, который возился бы с антрепренерами, контрактами, договорами... Она знается с одной только аплодирующей публикой, до кассы же, до прозаической стороны своей деятельности она не

снисходит, ей нет до нее дела. Следовательно, он ей нужен, нужен как прихвостень, слуга... Она прогнала бы его, если бы умела управляться сама. Он же, получая от нее солидное жалованье (она не знает цены деньгам!), как дважды два – четыре, обкрадывает ее заодно с горничными, сорит ее деньгами, кутит напропалую, быть может, даже прячет про черный день – и доволен своим положением, как червяк, забравшийся в хорошее яблоко. Он ушел бы от нее, если бы у нее не было денег.

Так думают и говорят все те, которые рассматривают их во время обедов. Думают так и говорят, потому что, не имея возможности проникнуть в глубь дела, могут судить только поверхностно. На нее глядят, как на диву, от него же сторонятся, как от пигмея, покрытого лягушечьею слизью; а между тем эта европейская дива связана с этим лягушонком завиднейшей, благороднейшей связью.

Вот что пишет он:

«Спрашивают меня, за что я люблю эту мегеру? Правда, эта женщина не стоит любви. Она не стоит и ненависти. Стоит она только того, чтобы на нее не обращали внимания, игнорировали ее существование. Чтобы любить ее, нужно быть или мной, или сумасшедшим, что, впрочем, одно и то же.

Она некрасива. Когда я женился на ней, она была уродом, а теперь и подавно. У нее нет лба; вместо бровей над глазами лежат две едва заметные полоски; вместо глаз у нее две неглубокие щели. В этих щелях ничего не светится: ни ума,

ни желаний, ни страсти. Нос – картофелем. Рот мал, красив, зато зубы ужасны. У нее нет груди и талии. Последний недостаток скрашивается, впрочем, ее чертовским умением как-то сверхъестественно искусно затягиваться в корсет. Она коротка и полна. Полнота ее обрюзгая. En masse¹⁷⁹, во всем ее теле есть недостаток, который я считаю наиважнейшим, – это полное отсутствие женственности. Бледность кожи и мышечное бессилие я не считаю за женственность и в этом отношении расхожусь во взгляде с очень многими. Она не дама, не барыня, а лавочница с угловатыми манерами: ходит – руками машет, сидит, положив ногу на ногу, покачиваясь взад и вперед всем корпусом, лежит, подняв ноги, и т. д. . .

Она неряшлива. Особенно характерны в этом отношении ее чемоданы. В них чистое белье перемешано с грязным, манжеты с туфлями и моими сапогами, новые корсеты с изломанными. Мы никогда никого не принимаем, потому что в наших номерах вечно присутствует грязный беспорядок. . . Ах, да что говорить? Посмотрите на нее в полдень, когда она просыпается и лениво выползает из-под своего одеяла, и вы не узнаете в ней женщину с соловьиным голосом. Непричесанная, с перепутавшимися волосами, с заспанными, заплывшими глазами, в сорочке с продранными плечами, босая, косая, окутанная облаком вчерашнего табачного дыма – похожа ли она на соловья?

Она пьет. Пьет она, как гусар, когда угодно и что угод-

¹⁷⁹ Вообще (франц.)

но. Пьет уже давно. Если бы она не пила, она была бы выше Патти¹⁸⁰ и во всяком случае не ниже. Она пропила половину своей карьеры и очень скоро пропьет другую. Негодяи немцы научили ее пить пиво, и она теперь не ложится спать, не выпив на сон грядущий двух-трех бутылок. Если бы она не пила, у нее не было бы катара желудка.

Она невежлива, чему свидетели студенты, которые иногда приглашают ее на свои концерты.

Она любит рекламу. Реклама обходится нам ежегодно в несколько тысяч франков. Я всей душой презираю рекламу. Как бы ни была дорога эта глупая реклама, она всегда будет дешевле ее голоса. Жена любит, чтобы ее гладили по головке, не любит, чтобы о ней говорили правду, не похожую на похвалу. Для нее купленный Иудин поцелуй милее некупленной критики. Полное отсутствие сознания собственного достоинства!

Она умна, но ум ее недовоспитан. Мозги ее давно уже потеряли свою эластичность; они покрылись жиром и спят.

Она капризна, непостоянна, не имеет ни одного прочного убеждения. Вчера она говорила, что деньги – ерунда, что вся суть не в них, сегодня же она дает концерты в четырех местах, потому что пришла к убеждению, что на этом свете нет ничего выше денег. Завтра она скажет то, что говорила

¹⁸⁰ ...она была бы выше Патти... – Аделина Патти (1843—1919) – знаменитая итальянская певица; гастролировала во всех европейских странах, неоднократно – в России.

вчера. Она не хочет знать отечества, у нее нет политических героев, нет любимой газеты, любимых авторов.

Она богата, но не помогает бедным. Мало того, она часто не доплачивает модисткам и парикмахерам. У нее нет сердца.

Тысячу раз испорченная женщина!

Но поглядите вы на эту мегеру, когда она, намазанная, зализанная, стянутая, приближается к рампе, чтобы начать соперничать с соловьями и жаворонком, приветствующим майскую зарю. Сколько достоинства и сколько прелести в этой лебединой походке! Приглядитесь и будьте, умоляю вас, внимательны. Когда она впервые поднимает руку и раскрывает рот, ее щелочки превращаются в большие глаза и наполняются блеском и страстью... Нигде в другом месте вы не найдете таких чудных глаз. Когда она, моя жена, начинает петь, когда по воздуху пробегают первые трели, когда я начинаю чувствовать, что под влиянием этих чудных звуков стихает моя взбаламученная душа, тогда поглядите на мое лицо и вам откроется тайна моей любви.

– Не правда ли, она прекрасна? – спрашиваю я тогда своих соседей.

Они говорят «да», но мне мало этого. Мне хочется уничтожить того, кто мог бы подумать, что эта необыкновенная женщина не моя жена. Я всё забываю, что было раньше, и живу только одним настоящим.

Посмотрите, какая она актриса! Сколько глубокого смыс-

ла кроется в каждом ее движении! Она понимает всё: и любовь, и ненависть, и человеческую душу... Недаром театр дрожит от аплодисментов.

По окончании последнего акта я веду ее из театра, бледную, изнеможенную, в один вечер пережившую целую жизнь. Я тоже бледен и изнурен. Мы садимся в карету и едем в отель. В отеле она молча, не раздеваясь, бросается в постель. Я молча сажусь на край кровати и целую ее руку. В этот вечер она не гонит меня от себя. Вместе мы и засыпаем, спим до утра и просыпаемся, чтобы послать к чёрту друг друга и...

Знаете, еще когда я люблю ее? Когда она присутствует на балах или обедах. И здесь я люблю в ней замечательную актрису. Какой, в самом деле, нужно быть актрисой, чтобы уметь перехитрить и пересилить свою природу так, как она умеет... Я не узнаю ее на этих глупых обедах... Из ошипанной утки она делает павлина...»

Это письмо написано пьяным, едва разборчивым почерком. Писано оно по-немецки и испещрено орфографическими ошибками.

Вот что пишет она:

«Вы спрашиваете меня, люблю ли я этого мальчика? Да, иногда... За что? Бог знает...»

Правда, он некрасив и несимпатичен. Такие, как он, не рождены для того, чтобы иметь право на взаимную любовь. Такие, как он, могут только покупать любовь, даром же она

им не дается. Судите сами.

Он день и ночь пьян как сапожник. Руки его трясутся, что очень некрасиво. Когда он пьян, он брюзжит и дерется. Он бьет и меня. Когда он трезв, он лежит на чем попало и молчит.

Он вечно оборван, хотя и не имеет недостатка в деньгах на платье. Половина моих сборов проскальзывает, неизвестно куда, сквозь его руки.

Никак не соберусь проконтролировать его. У несчастных замужних артисток ужасно дороги кассиры. Мужья получают за свои труды полкассы.

Тратит он не на женщин, я это знаю. Он презирает женщин.

Он – лентяй. Я не видала, чтобы он делал когда-нибудь что-нибудь. Он пьет, ест, спит – и только.

Он нигде не кончил курса. Его исключили из первого курса университета за дерзости.

Он не дворянин и, что ужаснее всего, немец.

Я не люблю господ немцев. На сто немцев приходится девяносто девять идиотов и один гений. Последнее я узнала от одного принца, немца на французской подкладке.

Он курит отвратительный табак.

Но у него есть хорошие стороны. Он более меня любит мое благородное искусство. Когда перед началом спектакля объявляют, что я по болезни петь не могу, т. е. капризничаю, он ходит как убитый и сжимает кулаки.

Он не трус и не боится людей. Это я люблю в людях больше всего. Я расскажу вам маленький эпизодик из моей жизни. Дело было в Париже, год спустя по выходе моем из консерватории. Я была тогда еще очень молода и училась пить. Кутила я каждый вечер, насколько хватало у меня моих молодых сил. Кутила я, разумеется, в компании. В один из таких кутежей, когда я чокалась со своими знатными почитателями, к столу подошел очень некрасивый и не знакомый мне мальчик и, глядя мне прямо в глаза, спросил:

– Для чего вы пьете?

Мы захохотали. Мой мальчик не смутился.

Второй вопрос был более дерзок и вылетел прямо из души:

– Чего вы смеетесь? Негодяи, которые спаивают вас теперь вином, не дадут вам ни гроша, когда вы пропьете голос и станете нищей!

Какова дерзость? Компания моя зашумела. Я же посадила мальчика возле себя и приказала подать ему вина. Оказалось, что поборник трезвости прекрасно пьет вино. А пронос¹⁸¹: мальчиком я называю его только потому, что у него очень маленькие усы.

За его дерзость я заплатила браком с ним.

Он больше молчит. Чаще всего говорит он одно слово. Это слово говорит он грудным голосом, с дрожью в горле, с судорогой на лице. Это слово случается произносить ему,

¹⁸¹ Кстати (франц.)

когда он сидит среди людей, на обеде, на балу... Когда кто-нибудь (кто бы то ни было) скажет ложь, он поднимает голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит:

– Неправда!

Это его любимое слово. Какая женщина устоит против блеска глаз, с которым произносится это слово? Я люблю это слово, и этот блеск, и эту судорогу на лице. Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда. Я люблю его иногда, и это «иногда», насколько я помню, совпадает с произнесением этого хорошего слова. Впрочем, бог знает, за что я его люблю. Я плохой психолог, а в данном случае затронут, кажется, психологический вопрос...»

Это письмо писано по-французски, прекрасным, почти мужским почерком. В нем вы не найдете ни одной грамматической ошибки.

Ярмарка

Маленький, еле видимый городишко. Называется городом, но на город столько же похож, сколько плохая деревня на город. Если вы хромой человек и ходите на костылях, то вы обойдете его кругом, взад и вперед, в десять – пятнадцать минут и того менее. Домики всё плохенькие, ветхие. Любой дом купите за пятиалтынный с рассрочкой по третям. Жителей его можно по пальцам пересчитать: голова, надзиратель, батюшка, учитель, дьякон, человек, ходящий на каланче, дьячок, два-три обывателя, два жандарма – и больше, кажется, никого... Женского пола много, но ведь женский пол статистами в большинстве случаев во внимание не принимается. (Статисты знают, что курица – не птица, кобыла – не лошадь, офицерская жена – не барыня...) Приезжих ужасно много: помещики-соседи, дачники, поручики временно прохлаждающейся здесь батарее, волосастый дьякон из соседнего села в лиловой рясе, с бегемотовой октавой, et cetera. Погода – так себе. То и дело дождь, что наводит на купующих и куплю деющих некоторое уныние. Воздух великолепен. Московские запахи отсутствуют. Пахнет лесом, ландышами, дегтем и как будто бы чуточку хлебом. Из всех закоулочков, щелочек и уголков веет меркантильным духом. Что ни шаг – то балаган. Два ряда балаганов тянутся по главной улице от начала до конца и загромождают собой всю пло-

щадь, в которую вливается главная улица. В церковной ограде продают бабы семена. Яблоку негде упасть. Обозов, лошадей, коров, телят, поросят ужас сколько! Мужиков мало, но баб... баб!! Всё наполнено бабами. Все они в красных платьях и черных плисовых кофтах. Их так много, и стоят они так тесно, что по головам их может смело проскакать на пожар «сбор всех частей».

Пьяных – увы! – почему-то мало. В воздухе стоит непрерывный гам, писк, визг, скрип, бляенье, мычанье. Шум такой, как будто строится вторая вавилонская башня.

Все окна обывательские настежь. Сквозь них виднеются самовары, чайники с отбитыми носиками и обывательские физиономии с красными носами. Под окнами торчат знакомые с покупками и жалуются на погоду. Дьякон в лиловой рясе, с соломой в волосах, пожимает всем руки и возглашает во всеуслышание: «Ммое почтение! С праздником честь имею! А... кгм!!?»

Мужеский пол группируется около лошадей и коров. Тут торговля производится на десятки и даже на сотни рублей. Главные воротилы по лошадиной части, разумеется, цыгане. Божатся, клянутся и желают себе всяких напастей во все лопатки. Проданная лошадь передается при помощи полы, из чего явствует, что бесполоый человек лошадей ни продавать, ни покупать не может. Лошади всё больше чернорабочие, плебеи.

Женский пол кружится вокруг красного товара и балага-

нов с пряниками. Неумолимое время наложило печать на эти пряники. Они покрыты сладкой ржавчиной и плесенью. Покупайте эти пряники, но держите их, пожалуйста, подальше ото рта, не то быть беде! То же можно сказать и о сушеных грушах, о карамели. Несчастные баранки покрыты рогожей, покрыты также и пылью. Бабам всё нипочем. Брюхо не зеркало.

Мухи не могут облепить так меда, как мальчишки облепили балаган с игрушками. Денег у них – ни-ни... Они стоят и только пожирают глазами лошадок, солдатиков и оловянные пистолетики. Видит око, да зуб неймет. Иной смельчак возьмет в руки пищик, подержит его, повертит, попищит, положит на место – и, довольный, вытрет нос. Нет того балагана, около которого не торчало бы десятка два-три мальчишек. Стоят и глядят часа по два, по три, поистине с адским терпением. Купите вы какому-нибудь Федюшке, Пётре, Васютке пистолетик или льва с коровьей мордой и черными полосами на спине – и вы наполните его сердце безграничайшею радостью.

Из-за локтей мальчиков выглядывают девочки. Внимание их приковано теми же лошадами и куклами в марлевых юбочках. Детей вы увидите около мороженщиков, которые продают «сахарное» и очень плохое мороженое. У кого есть копейка, тот ест из зеленой рюмочки, ест долго, с чувством, толком, расстановкою, боясь не уловить минуты блаженства, чавкая, облизываясь, облизывая пальцы. Один ест, а десятка

два не имущих копейки стоят «руки по швам» и с завистью заглядывают в рот счастливчика. А тот ест – и ломается...

– Пётра, дай... ложечку! – стонет девочка, следя за правой рукой счастливчика.

– Отстань! – говорит счастливчик и крепче сжимает в кулаке зеленую рюмочку.

– Пётра! – стонет мальчик в большом отцовском картузе. – Одолжи!

– Чего?

– Сахарного морожена. Немножко. (Пауза.) Дашь? Ты ложечку. Я тебе пять бабок дам.

– Отстань! – говорит счастливчик.

Счастливчик съедает свою порцию, долго облизывает губы и долго-долго живет воспоминаниями о сахарном мороженом.

Эх, кабы деньги!! Где вы, пятаки и пятиалтынные? Нет ничего хуже, томительнее и мучительнее, как ходить в отцовском картузе по ярмарке, видеть и слышать, осязать и обонять и в то же время не иметь за душой ни копейки. Сколь же счастлив тот Федюшка или Егорка, который может съесть на копейку мороженого, выстрелить во всеуслышание из пистолетика и купить за пятак лошадку! Маленькое счастье, еле видимое, а и того нет!

Зубоскалов, пьяных и шатающихся по ярмарке без дела тянет к балаганам с артистами. Театров два. Воздвигнуты они среди площади, стоят рядом и глядят серо. Состряпа-

ны они из дрючьев, плохих, мокрых, склизких досок и лохмотьев. На крышах латка на латке, шов на шве. Бедность страшная. На перекладинах и досках, изображающих наружную террасу, стоит человека два-три паяцов и потешают стоящую внизу публику. Публика самая невзыскательная. Хочет не потому, что смешно, а потому, что, глядя на паяца, хохотать надлежит. Паяцы подмигивают, корчат рожи, ломают комедь, но... увы! Прародители всех наших пушкинских и не пушкинских сцен давно уже отжили свой век и давным-давно уже сослужили свою службу. Во время оно головы их были носителями едкой сатиры и заморских истин, теперь же остроумие их приводит в недоумение, а бедность таланта соперничает с бедностью балаганной обстановки. Вы слушаете, и вам становится тошно. Не странствующие артисты перед вами, а голодные двуногие волки. Голодуха загнала их к музе, а не что-либо другое... Есть страшно хочется! Голодные, оборванные, истаскавшиеся, с болезненными, тощими физиономиями, они корчатся на террасе, стараются скорчить идиотскую рожу, чтобы зазвать в свой балаган лишнего зубоскала, получить лишний гривенник... Получается не идиотская рожа, а пошлая: смесь апатии с деланной, привычной, ничего не выражающей гримасой. Подмигивание глазом, пощечины, удары друг друга по спине, фамильярные заговаривания с толпой, заговаривания свысока... и больше ничего. Слов их не слушайте. Артисты по принуждению говорят не по вдохновению и не по заранее обдуман-

ной, цель имеющей, программе. Речь их не имеет смысла. Произносится она с кривляньем, а потому, вероятно, и вознаграждается смехом.

– Стой ровно!

– Я не Марья Петровна, а Иван Федосеев.

Это образец их остроумия. «Шуты и дети говорят иногда правду», но, надо полагать, и шутком нужно быть по призванию, чтобы не всегда говорить чепуху, а иногда и правду...

А публика почтенная глазееет и заливаеется. Ей простиительно, впрочем: лучшего не видала, да и позубоскалить хочется. К плохим пряникам, свободному времени, легкому «подшофе» недостает только смеха. Дайте толчок, и произойдет смех.

Балаганов числом два. В обоих каждые четверть часа даются блистательные представления. По вечерам даются особенные представления, выходящие из ряда вон. Я опишу одно из этих представлений.

Самое блистательное представление было дано перед отъездом артистов из города, в первое воскресенье после ярмарочного дня. За сутки до спектакля клоуны разносили по городу афиши (писанные). Принесли афишу и мне. Вот она, эта афиша:

«В Городе NN.

С дозволением начальства на N...ской площади там будет большое Приставление имнастическое и акрабатическое Приставление Трубой Артистов

Подуправление Н. Г. Б. состоящи из имнастических и акрабатических Искуст Куплетов таблиц и понтомин в двух оделениях.

1-е. Разные удивительные И увеселительные фокусы из белой Магий или Проворства и ловкость рук исполнено будет до 20 Предметов Клоуном уробертом.

2-е. Прышки и скачки сортале морталей воздух исполнет Клоун Доберт и малолетные Андрияс ивансон.

3-е. Английский человек бескостей или Каучук Мин у которава все члены гибки подобны резинки.

4-е. Камический куплет ивансон Тероха исполнит малолетний. (Далее в том же роде.)

9 часов вечера цена Местам

1 место – 50 к.

2 место – 40 к.

3 место – 30 к.

4 место – 20 к.

Галдарея – 10 к.»

Я укоротил афишу, но ничего не прибавил.

На описываемом спектакле присутствовала вся местная знать (становой с семьей, мировой с семьей, доктор, учитель – всего 17 человек). Интеллигенция поторговалась и заплатила за первые места только по четвертаку. Билеты продает сам хозяин, личность довольно типичная. Хозяин – тип во вкусе Грачевки и Дюковки¹⁸². Мы заплатили, вошли и заняли

¹⁸² ...Грачевки и Дюковки. – Московские улицы, где жило мещанство и мелкое купечество. На Грачевки, уехав из Таганрога, поселился П. Е. Чехов, а в 1879 г. и А. П. Чехов.

первые места. Публика ломит, балаган полнехонек. Внутренность балагана самая нероскошная. Вместо занавеси, служащей в то же время и кулисой, ситцевая тряпочка в квадратный сажень. Вместо люстры четыре свечи. Артисты благоклонно исполняют должность артистов, и капельдинеров, и полицейских. На все руки мастера. Лучше всего оркестр, который заседает направо на лавочке. Музыкантов четыре. Один пилит на скрипке, другой на гармонии, третий на виолончели (с 3 контрабасовыми струнами), четвертый на бубнах. Играют всё больше «Стрелочка», играют машинально, фальшивя на чем свет стоит. Игрок на бубнах восхитителен. Он бьет рукой, локтем, коленом и чуть ли не пяткой. Бьет, по-видимому, с наслаждением, с чувством, занимаясь собой. Рука его ходит по бубну как-то неестественно ловко, вытанцовывая пальцами такие нотки, какие не взять в толк и скрипачу. Кажется, что его рука движется вокруг продольной и поперечной оси.

Перед началом спектакля входит чуйка, крестится и садится на первое место. К нему подходит клоун.

– Извольте сесть в галерею, – просит клоун. – Здесь первые места.

– Отстань!

– И чиво вы уселись, как медведь какой-нибудь? Уходите! Это не ваше место!

Чуйка неумолима. Она надвигает на глаза фуражку и не хочет уступить своего места.

Начинаются фокусы. Клоун просит у публики шляпы. Публика отказывает.

– Ну, так и фокусов не будет! – говорит клоун. – Господа, нет ли у кого-нибудь пятака?

Чуйка предлагает свой пятак. Клоун проделывает фокус и, возвращая пятак, скрадывает его себе в рукав. Чуйка пугается.

– Да ты того... Постой! Фокусов ты, брат, не представляй! Ты пятак давай!

– Не желает ли кто-нибудь побриться, господа? – возглашает клоун.

Из толпы выходят два мальчика. Их покрывают грязным одеялом и измазывают их физиономии одному сажей, другому клейстером. Не церемонятся с публикой!

– Да разве это публика? – кричит хозяйка. – Это окаянные!

После фокусов – акробатия с неизвестными «сартальями-мортальями» и девицей-геркулесом, поднимающей на косях чёртову пропасть пудов. На середине спектакля происходит крушение одной стены балагана, а в конце – крушение всего балагана.

В общем впечатление неказистое. Купующие и куплю деющие немного потеряли бы, если бы не было на ярмарке балагана. Странствующий артист перестал быть артистом. Ныне он шарлатанит.

Возле балаганов с артистами – качели. За пятак вас

раз пять поднимут выше всех домов и раз пять опустят. С барышнями делается дурно, а девки вкушают блаженство. *Suum cuique!*¹⁸³

¹⁸³ Каждому свое! (*лат.*)

Барыня

I

К избе Максима Журкина, шурша и шелестя по высохшей, пыльной траве, подкатила коляска, запряженная парой хороших вятских лошадок. В коляске сидели барыня Елена Егоровна Стрелкова и ее управляющий Феликс Адамович Ржевецкий. Управляющий ловко выскочил из коляски, подошел к избе и указательным пальцем постучал по стеклу. В избе замелькал огонек.

– Кто там? – спросил старушечий голос, и в окне показалась голова Максимовой жены.

– Выйди, бабушка, на улицу! – крикнула барыня. Через минуту из избы вышли Максим и его жена.

Они остановились у ворот и молча поклонились барыне, а потом управляющему.

– Скажи на милость, – обратилась Елена Егоровна к старику, – что всё это значит?

– Что такое-с?

– Как что? Разве не знаешь? Степан дома?

– Никак нет. На мельницу уехал.

– Что он строит из себя? Я решительно не понимаю этого человека! Зачем он ушел от меня?

– Не знаем, барыня. Нешто мы знаем?

– Ужасно некрасиво с его стороны! Он оставил меня без кучера! По его милости Феликсу Адамовичу приходится самому запрягать лошадей и править. Ужасно глупо! Вы поймите, что это, наконец, глупо! Жалованья ему показалось мало, что ли?

– А Христос его знает! – отвечал старик, косясь на управляющего, который засматривал в окна. – Нам не говорит, а в голову к нему не залезешь. Ушел, говорит, да и шабаш! Своя воля! Должно полагать, жалованья мало показалось!

– А это кто под образами на лавке лежит? – спросил Феликс Адамович, глядя в окно.

– Семен, батюшка! А Степана нету.

– Дерзко с его стороны! – продолжала барыня, закуривая папиросу. – Мсье Ржевецкий, сколько получал он у нас жалованья?

– Десять рублей в месяц.

– Если ему показалось мало десяти, то я могла бы дать пятнадцать! Не сказал ни слова и ушел! Честно это? Добросовестно?

– Говорил ведь я, что никогда не следует церемониться с этим народом! – заговорил Ржевецкий, отчеканивая каждый слог и стараясь не делать ударения на предпоследнем слоге. – Вы разбаловали этих дармоедов! Никогда не следует заразом отдавать всего жалованья! К чему это? Да и зачем вы хотите прибавить жалованья? И так придет! Он догово-

рился, нанялся! Скажи ему, – обратился поляк к Максиму, – что он свинья и больше ничего.

– Finissez donc!¹⁸⁴

– Слышишь, мужик? Нанялся – так и служи, а не уходи, когда тебе вздумается, чёрт! Пусть только не придет завтра! Я покажу ему не слушаться! И вам достанется! Слышишь, старуха?

– Finissez, Ржевецкий!

– Всем достанется! Не являйся тогда ко мне в контору, старый собака! С вами церемониться?! Вы разве люди? Разве вы понимаете хорошие слова? Вы только тогда понимаете, ежели вас по шеям бьют и делают вам неприятности! Чтоб ходил завтра!

– Я скажу ему. Отчего не сказать? Сказать можно...

– Скажи ему, что прибавляю ему жалованья, – сказала Елена Егоровна. – Не могу же я быть без кучера. Когда найду другого, пусть тогда и уходит, если ему угодно. Завтра утром чтобы опять был у меня! Скажите ему, что я глубоко оскорблена его невежливым поступком! И вы, бабушка, скажите! Надеюсь, что он будет у меня и не заставит посылать за собой. Подойди сюда, бабушка! На тебе, милая! Что, небось, трудно управляться с такими большими детьми? Бери, милая!

Барыня вынула из кармана хорошенький портсигар, потянула из-под папирос желтую бумажку и подала ее старухе.

¹⁸⁴ Кончайте же! (франц.)

– Если же не придет, – прибавила барыня, – то нам придется поссориться, что было бы крайне нежелательно. Но я надеюсь... Вы ему посоветуете. Едемте, Феликс Адамыч! Прощайте!

Ржевецкий вскочил в коляску, взял в руки вожжи, и коляска покатила по мягкой дороге.

– Сколько дала? – спросил старик.

– Рупь.

– Дай сюда!

Старик взял рубль, погладил его обеими ладонями, бережно сложил и спрятал в карман.

– Степан, уехала! – сказал он, входя в избу. – Я ей сбрежал, что ты на мельницу уехал. Перепугалась страсть как!..

Как только отъехала коляска и скрылась из вида, в окне показался Степан. Бледный, как смерть, дрожащий, он выполз наполовину из окна и погрозил своим большим кулаком темневшему вдаль саду. Сад был барский. Погрозив раз шесть, он проворчал что-то, потянулся назад в избу и с шумом опустил раму.

Через полчаса после того, как уехала барыня, в избе Журкина ужинали. В кухне возле самой печи за засаленным столом сидели Журкин и его жена. Против них сидел старшин сын Максима – Семен, временноотпускной, с красным испитым лицом, длинным рябым носом и масляными глазками. Семен был похож лицом на отца, он не был только сед, лыс и не имел таких хитрых, цыганских глаз, какими обладал его

отец. Рядом с Семеном сидел второй сын Максима, Степан. Степан не ел, а, подперевши кулаком свою красивую белокурую голову, смотрел на закопченный потолок и о чем-то усердно мыслил. Ужин подавала жена Степана, Марья. Щи съели молча.

– Принимай! – сказал Максим, когда были съедены щи. Марья взяла со стола пустую чашку, но не донесла ее благополучно до печи, хотя и была печь близко. Она зашаталась и упала на скамью. Чашка выпала из ее рук и сползла с колен на пол. Послышались всхлипывания.

– Никак кто плачет? – спросил Максим.

Марья зарыдала громче. Прошло минуты две. Старуха поднялась и сама подала на стол кашу, Степан крякнул и встал.

– Замолчи! – пробормотал он.

Марья продолжала плакать.

– Замолчи, тебе говорят! – крикнул Степан.

– Смерть не люблю бабьего крику! – смело забормотал Семен, почесывая свой жесткий затылок. – Ревет и сама не знает, чего ревет! Сказано – баба! Ревела бы себе на дворе, коли угодно!

– Бабья слеза – капля воды! – сказал Максим. – Благо слез не покупать, даром дадены. Ну, чего реवेशь? Эка! Перестань! Не возьмут у тебя твоего Степку! Избаловалась! Нежная! Поди кашу трескай!

Степан нагнулся к Марье и слегка ударил ее по локтю.

– Ну чего? Замолчи! Тебе говорят! Э-э-э... сволочь!

Степан размахнулся и ударил кулаком по скамье, на которой лежала Марья. По его щеке поползла крупная сверкающая слеза. Он смахнул с лица слезу, сел за стол и принялся за кашу. Марья поднялась и, всхлипывая, села за печью, подальше от людей. Съели кашу.

– Марья, кваску! Знай свое дело, молодуха! стыдно сопلي распускать! – крикнул старик. – Не маленькая!

Марья с бледным, заплаканным лицом вышла и, ни на кого не глядя, подала старику ковш. Ковш заходил по рукам. Семен взял в руки ковш, перекрестился, хлебнул и поперхнулся.

– Чего смеешься?

– Ничего... Это я так. Смешное вспомнил.

Семен закинул назад голову, раскрыл свой большой рот и захихикал.

– Барыня приезжала? – спросил он, глядя искоса на Степана. – А? Что она говорила? а? Ха-ха!

Степан взглянул на Семена и густо покраснел.

– Пятнадцать целковых дает, – сказал старик.

– Ишь ты! И сто даст, лишь бы только захотел! Побей бог, даст!

Семен мигнул глазом и потянулся.

– Эх, кабы мне такую бабу! – продолжал он. – Высосал бы чертовку! Сок выжал! Ввв...

Семен съежился, ударил по плечу Степана и захохотал.

– Так-то, душа! Больно ты комфузлив! Нашему брату комфузиться не рука! Дурак ты, Степка! Ух, какой дурак!

– Вестимо дурак! – сказал отец.

Послышались опять всхлипывания.

– Опять твоя баба ревет! Знать, ревнива, щекотки боится! Не люблю бабьего визгу. Как ножом режет! Эх, бабы, бабы! И на какой предмет вас бог создал? Для какой такой стати? Мерси за ужин, господа почтенные! Теперь бы винца выпить, чтоб прекрасные сны снились! У барыни твоей, должно полагать, вина того тьма-тьмущая! Пей – не хочу!

– Скот ты бесчувственный, Сенька!

Сказавши это, Степан вздохнул, взял в охапку полсть и вышел из избы на двор. За ним следом отправился и Семен.

На дворе тихо, безмятежно наступала летняя русская ночь. Из-за далеких курганов всходила луна. Ей навстречу плыли растрепанные облачки с серебрившимися краями. Небосклон побледнел, и во всю ширь его разлилась бледная, приятная зелень. Звезды слабей замелькали и, как бы испугавшись луны, втянули в себя свои маленькие лучи. С реки во все стороны потянуло ночной, щеки ласкающей влагой. В избе отца Григория на всю деревню продребезжали часы девять. Жид-кабатчик с шумом запер окна и над дверью вывесил засаленный фонарик. На улице и во дворах ни души, ни звука... Степан разостлал на траве полсти, перекрестился и лег, подложив под голову локоть. Семен крикнул и сел у его ног.

– М-да... – проговорил он.

Помолчав немного, Семен сел поудобней, закурил маленькую трубочку и заговорил:

– Был сегодня у Трофима... Пиво пил. Три бутылки выпил. Хочешь покурить, Степа?

– Не желаю.

– Табак хороший. Чаю бы теперь выпить! Ты у барыни пивал чай? Хороший? Должно, очень хороший? Рублей пять за фунт стоит, должно быть. А есть такой чай, что за фунт сто рублей стоит. Ей-богу, есть. Хоть не пил, а знаю. Когда в городе в приказчиках служил, я видал... Одна барыня пила. Один запах чего стоит! Нюхал. Пойдем к барыне завтра?

– Отстань!

– Чего ж ты сердишься? Я не ругаюсь, говорю только. Сердиться не след. Только отчего же тебе не идти, чудак? Не понимаю! И денег много, и еда хорошая, и пей, сколько душа хочет... Цigarки ее курить станешь, чаю хорошего попьешь...

Семен помолчал немного и продолжал:

– И красивая она. Со старухой связаться беда, а с этой – счастье! (Семен сплюнул и помолчал.) Огонь баба! Огненный огонь! Шея у ней славная, пухлая такая...

– А ежели душе грех? – спросил вдруг Степан, повернувшись к Семену.

– Гре-ех? Откудова грех? Бедному человеку ничего не грех.

– В пекло к чёрту и бедный пойдет, ежели... А нешто я бедный? Я не бедный.

– Да какой тут грех? Ведь не ты к ней, а она к тебе! Пугало ты!

– Разбойник, и рассуждение разбойничье...

– Глупый ты человек! – сказал, вздыхая, Семен. – Глупый! Счастья своего не понимаешь! Не чувствуешь! Денег, должно быть, у тебя много... Не нужны, знать, тебе деньги.

– Нужны, да не чужие.

– Ты не украдешь, а она сама, собственной ручкой тебе даст. Да что с тобой, дураком, толковать! Как об стену горохом... Мантифолию на уксусе разводить с тобой только.

Семен встал и потянулся.

– Будешь каяться, да поздно будет! Я с тобой апосля этого и знаться не хочу. Не брат ты мне. Чёрт с тобою... Возись с своей дурой коровой...

– Марья-то корова?

– Марья.

– Гм... Ты этой самой корове и под башмак не годишься. Ступай!

– И тебе было бы хорошо, и... нам хорошо. Дуурак!!

– Ступай!

– И уйду... Бить тебя некому!

Семен повернулся и, посвистывая, поплелся к избе. Минут через пять около Степана зашуршала трава. Степан поднял голову. К нему шла Марья. Марья подошла, постояла и

легла рядом с Степаном.

– Не ходи, Степа! – зашептала она. – Не ходи, мой родной! Загубит тебя! Мало ей, окаянной, поляка, ты еще понадобился. Не ходи к ней, Степунька!

– Не лезь!

На лицо Степана мелким горячим дождем закапали Марьины слезы.

– Не губи ты меня, Степан! Не бери греха на душу. Люби меня одну, не ходи к другим! Со мной повенчал бог, со мной и живи. Сирота я... Только один ты у меня и есть.

– Отстань! Аа... ссатана! Сказал – не пойду!

– То-то... И не ходи, миленький! В тягости я, Степушка... Детки скоро будут... Не бросай нас, бог накажет! Отец-то с Семкой так и норовят, чтобы ты пошел к ней, а ты не ходи... Не гляди на них. Звери, а не люди.

– Спи!

– Сплю, Степа... Сплю.

– Марья! – послышался голос Максима. – Где ты? Поди, мать зовет!

Марья вскочила, поправила волосы и побежала в избу. К Степану медленно подошел Максим. Он уже разделся и в нижнем платье был похож на мертвеца. Луна играла на его лысине и светилась в его цыганских глазах.

– Идешь к барыне завтра аль послезавтра? – спросил он Степана.

Степан не отвечал.

– Коли идти, так идти завтра, да пораньше. Небось лошади не чищены. Да не забудь, что пятнадцать обещала. За десять не иди.

– Я никак не пойду, – сказал Степан.

– Чего так?

– Да так... Не желаю...

– Отчего же?

– Сами знаете.

– Так... Смотри, Степа, как бы мне не пришлось драть тебя на старости лет!

– Дерите.

– Можешь ли так родителям отвечать? Кому отвечаешь? Смотри ты! Молоко еще на губах не высохло, а грубости отцу говоришь.

– Не пойду, вот и всё! В церковь ходите, а греха не боитесь.

– Тебя же глупого отделить хочу! Избу новую надоть строить аль нет? Как по-твоему? К кому за лесом пойдешь? К Стрельчихе небось? У кого денег займы взять? У ней или не у ней? Она и лесу даст, и денег даст. Наградит!

– Пушай других награждает. Мне не нужно.

– Отдеру!

– Ну и дерите! Дерите!

Максим улыбнулся и протянул вперед руку. В его руке была плеть.

– Отдеру, Степан.

Степан повернулся на другой бок и сделал вид, что ему мешают спать.

– Так не пойдешь? Ты это верно говоришь?

– Верно. Побей бог мою душу, ежели пойду.

Максим поднял руку, и Степан почувствовал на плече и щеке сильную боль. Степан вскочил, как сумасшедший.

– Не дерись, тятка! – закричал он. – Не дерись! Слышишь? Ты не дерись!

– А что?

Максим подумал и еще раз ударил Степана. Ударил и в третий раз.

– Слушай отца, коли он велит! Пойдешь, прохвост!

– Не дерись! Слышишь?

Степан заревел и быстро опустился на полсть.

– Я пойду! Хорошо! Пойду... Только помни! Жизни рад не будешь! Проклянешь!

– Ладно. Для себя пойдешь, а не для меня. Не мне новая изба нужна, а тебе. Говорил – отдеру, ну и отодрал.

– По... пойду! Только... только помянешь эту плеть!

– Ладно. Стращай. Поговори ты мне еще!

– Хорошо... Пойду...

Степан перестал реветь, повернулся на живот и заплакал тише.

– Плечами задергал! Расхныкался! Реви больше! Завтра пораньше пойдешь. За месяц вперед возьми. Да и за четыре дня, что прослужил, возьми. Твоей же кобыле на платок

сгодится. А за плеть не серчай. Отец я... Хочу – бью, хочу – милую. Так-то-ся... Спи!

Максим погладил бороду и повернул к избе. Степану показалось, что Максим, вошедши в избу, сказал: «Отодрал!» Послышался смех Семена.

В избе отца Григория жалобно заиграл расстроенный фортепиано: в девятом часу поповна обыкновенно занималась музыкой. По деревне понеслись тихие странные звуки. Степан встал, перелез через плетень и пошел вдоль по улице. Он шел к реке. Река блестела, как ртуть, и отражала в себе небо с луной и со звездами. Тишина царила кругом гробовая. Ничто не шевелилось. Лишь изредка вскрикивал сверчок... Степан сел на берегу, над самой водой, и подпер голову кулаком. Мрачные думы, сменяя одна другую, закопошились в его голове.

На другой стороне реки высились высокие, стройные тополи, окружавшие барский сад. Сквозь деревья просвечивал огонек из барского окна. Барыня, должно быть, не спала. Думал Степан, сидя на берегу, до тех пор, пока ласточки не залетали над рекой. Он поднялся, когда уже светилась в реке не луна, а взошедшее солнце. Поднявшись, он умылся, помолился на восток и быстро, решительным шагом зашагал вдоль берега к броду. Перешедши неглубокий брод, он направился к барскому двору...

II

– Степан пришел? – спросила, проснувшись на другой день, Елена Егоровна.

– Пришел! – отвечала горничная.

Стрелкова улыбнулась.

– А-а-а... Хорошо. Где он теперь?

– На конюшне.

Барыня вскочила с кровати, быстро оделась и пошла в столовую пить кофе.

Стрелкова была на вид еще молода, моложе своих лет. Только глаза одни выдавали, что она успела уже прожить бо?льшую часть бабьего века, что ей уже за тридцать. Глаза у нее карие, глубокие, недоверчивые, скорей мужские, чем женские. Красива она не была, но нравиться могла. Лицо было полное, симпатичное, здоровое, а шея, о которой говорил Семен, и бюст были великолепны. Если бы Семен знал цену красивым ножкам и ручкам, то он, наверное, не молчал бы и о ножках и ручках помещицы. Одета она была во всё простенькое, легкое, летнее. Прическа самая незатейливая. Стрелкова была ленива и не любила возиться с туалетом. Имение, в котором она жила, принадлежало ее брату холостяку, который жил в Петербурге и очень редко думал о своем имении. Жила она в нем с тех пор, как разошлась с мужем. Муж ее, полковник Стрелков, очень порядочный

человек, жил тоже в Петербурге и думал о своей жене менее, чем ее брат о своем имении. Она разошлась с мужем, не проживши с ним и года. Она изменила ему на двадцатый день после свадьбы.

Севши пить кофе, Стрелкова приказала позвать Степана. Степан явился и стал у двери. Он был бледен, не причесан и глядел, как глядит пойманный волк: зло и мрачно. Барыня взглянула на него и слегка покраснела.

– Здравствуй, Степан! – сказала она, наливая себе кофе. – Скажи, пожалуйста, что это ты за фокусы строишь? С какой стати ты ушел! Пожил четыре дня и ушел! Ушел не спросясь. Ты должен был спроситься!

– Я спрашивался, – промычал Степан.

– У кого ты спрашивался?

– У Феликса Адамыча.

Стрелкова помолчала и спросила:

– Ты рассердился, что ли? Степан, отвечай! Я спрашиваю! Ты рассердился?

– Ежели бы вы не говорили таких слов, то я не ушел бы. Я для лошадей поставлен, а не для...

– Об этом не будем говорить... Ты меня не понял, вот и всё. Сердиться не следует. Я ничего не сказала такого особенного. А если и сказала что-нибудь такое, что ты находишь для себя обидным, то ты... то ты... Ведь я все-таки... Я имею право и сказать лишнее... Гм... Я тебе прибавляю жалованья. Надеюсь, что у нас с тобой теперь недоразумений ника-

ких не будет.

Степан повернулся и шагнул назад.

– Постой, постой! – остановила его Стрелкова. – Я еще не всё сказала. Вот что, Степан... У меня есть новая кучерская одежда. Возьмешь ее и наденешь, а та, что на тебе, никуда не годится. Одежда у меня есть красивая. Я пришлю тебе ее с Федором.

– Слушаю.

– Какое у тебя лицо... Всё еще дуешься? Неужто так обидно? Ну, полно... Я ведь ничего... У меня тебе хорошо будет жить... Всем будешь доволен. Не сердись... Не сердись?

– Да нешто нам можно сердиться?

Степан махнул рукой, замигал глазами и отвернулся.

– Что с тобой, Степан?

– Ничего... Нешто нам можно сердиться? Нам нельзя сердиться...

Барыня поднялась, сделала озабоченное лицо и подошла к Степану.

– Степан, ты... ты плачешь?

Барыня взяла Степана за рукав.

– Что с тобой, Степан? Что с тобой? Говори же наконец? Тебя кто обидел?

У барыни навернулись на глазах слезы.

– Да ну же!

Степан махнул рукой, усиленно замигал глазами и заревел.

– Барыня! – забормотал он. – Буду тебя любить... Буду всё, что хочешь! Согласен! Только не давай ты им, окаян-ным, ничего! Ни копейки, ни щепки! На всё согласен! Про-дам душу нечистому, не давай им только ничего!

– Кому им?

– Отцу и брату. Ни щепки! Пусть подохнут, окаянные, от злости!

Барыня улыбнулась, вытерла глаза и громко засмеялась.

– Хорошо, – сказала она. – Ну, ступай! Я тебе сейчас твою одежду пришлю.

Степан вышел.

«Как хорошо, что он глуп! – подумала барыня, глядя ему вслед и любуясь его широчайшими плечами. – Он избавил меня от объяснения... Он первый заговорил о „любви“»...

Под вечер, когда заходящее солнце обливало пурпуром небо, а золотом землю, по бесконечной степной дороге от села к далекому горизонту мчались, как бешеные, стрелков-ские кони... Коляска подпрыгивала, как мячик, и безжалост-но рвала на своем пути рожь, склонившую к дороге свои отя-желевшие колосья. На козлах сидел Степан, неистово стегал по лошадям и, казалось, старался перервать на тысячу частей вожжи. Он был одет с большим вкусом. Видно было, что на его туалет потрачено было немало времени и денег. Недеше-вый бархат и кумач плотно сидели на его крепкой фигуре. На груди висела цепочка с брелоками. Сапоги гармоникой были вычищены самой настоящей ваксой. Кучерская шляпа с пав-

линьим пером едва касалась его завитых белокурых волос. На лице его были написаны тупая покорность и в то же время ярое бешенство, жертвою которого были лошади... В коляске, развалиясь всеми членами, сидела барыня и широкой грудью вдыхала в себя здоровый воздух. На щеках ее играл молодой румянец... Она чувствовала, что она наслаждается жизнью...

– Важно, Степа! Важно! – покрикивала она. – Так его! Погоняй! Ветром!

Будь под колесами камни, камни б рассыпались в искры... Село удалялось от них всё более и более... Скрылись избы, скрылись барские амбары... Скоро не стало видно и колокольни... Наконец село обратилось в дымчатую полосу и потонуло в дали. А Степан всё гнал и гнал. Хотелось ему подалее умчаться от греха, которого он так боялся. Но нет, грех сидел за его плечами, в коляске. Не пришлось Степану улепетнуть. В этот вечер степь и небо были свидетелями, как он продавал свою душу.

Часу в одиннадцатом кони мчались обратно. Пристяжная хромала, а коренной был покрыт пеной. Барыня сидела в углу коляски и с полузакрытыми глазами ежилась в своей тальме. На губах ее играла довольная улыбка. Дышалось ей так легко, спокойно! Степан ехал и думал, что он умирает. В голове его было пусто, туманно, а в груди грызла тоска...

Каждый день под вечер из конюшни выводились свежие лошади. Степан впрягал их в коляску и ехал к садовой ка-

литке. Из калитки выходила сияющая барыня, садилась в коляску, и начиналась бешеная езда. Ни один день не был свободен от этой езды. К несчастью Степана, на его долю не выпало ни одного дождливого вечера, в который он мог бы не ехать.

После одной из таких поездок Степан, воротившись со степи, вышел со двора и пошел походить по берегу. В голове у него по обыкновению стоял туман, не было ни одной мысли, а в груди страшная тоска. Ночь была хорошая, тихая. Тонкие ароматы носились по воздуху и нежно заигрывали с его лицом. Вспомнил Степан деревню, которая темнела за рекой, перед его глазами. Вспомнил избу, огород, свою лошадь, скамью, на которой он спал с своей Марьей и был так доволен... Ему стало невыразимо больно...

– Степа! – услышал он слабый голос.

Степан оглянулся. К нему шла Марья. Она только что перешла брод и в руках держала башмаки.

– Степа, зачем ты ушел?

Степан тупо посмотрел на нее и отвернулся.

– Степушка, на кого же ты меня, сироту, оставил?

– Отстань!

– Ведь бог накажет, Степушка! Тебя же накажет! Пошлет тебе лютую смерть, без покаяния. Помянешь мое слово! Дядя Трофим жил с солдаткой – помнишь? – и как помер? И не дай господи!

– Чего пристала? Эх...

Степан сделал два шага вперед. Марья ухватилась обеими руками за кафтан.

– Жена ведь я твоя, Степан! Не можешь ты меня так бросить! Степушка!

Марья заголосила.

– Миленький! Буду ноги мыть и воду пить! Пойдем домой!

Степан рванулся и ударил Марью кулаком; ударил так, с горя. Удар пришелся как раз по животу. Марья ёкнула, ухватилась за живот и села на землю.

– Ох! – простонала она.

Степан замигал глазами, хватил себя по виску кулаком и, не оглядываясь, пошел ко двору.

Пришедши к себе в конюшню, он упал на скамью, положил подушку на голову и больно укусил себя за руку.

В это время барыня сидела у себя в спальней и гадала: будет ли завтра вечером хорошая погода или нет? Карты говорили, что будет хорошая.

III

Рано утром Ржевецкий ехал домой от соседа, у которого он был в гостях. Солнце еще не всходило. Было часа четыре утра, не больше. В голове Ржевецкого шумело. Он правил лошадью и слегка покачивался. Половину дороги пришлось ему ехать лесом.

«Что за чёрт? – подумал он, подъезжая к имению, в котором он был управляющим. – Никак кто лес рубит!»

Из чащи леса доносились до ушей Ржевецкого стук и треск ветвей. Ржевецкий наострил уши, подумал, выбранился, неловко слез с беговых дрожек и пошел в чащу.

Семен Журкин сидел на земле и топором обрубывал зеленые ветви. Около него лежали три срубленные ольхи. В стороне стояла лошадь, впряженная в дроги, и ела траву. Ржевецкий увидел Семена. Вмиг с него слетели и хмель и дремота. Он побледнел и подскочил к Семену.

– Ты что же это делаешь? а? – закричал он.

– Ты что же это делаешь? а? – ответило эхо.

Но Семен ничего не отвечал. Он закурил трубку и продолжал свою работу.

– Ты что делаешь, подлец, я тебя спрашиваю?

– Не видишь разве? Пovýлазило у тебя нешто?

– Что-о-о? Что ты сказал?! Повтори!

– То сказал, что ступай мимо!

– Что, что, что?

– Мимо ступай! Кричать нечего...

Ржевецкий покраснел и пожал плечами.

– Каков? Да как ты смеешь?

– Так вот и смею. Да ты-то что? Не испужался! Много вас!

Ежели каждого ублажать, так на это много нужно...

– Как ты смеешь лес рубить? Он твой?

– И не твой.

Ржевецкий поднял нагайку и не ударил Семена только потому, что тот указал ему на топор.

– Да знаешь ли ты, негодяй, чей это лес?

– Знаю, пане! Стрельчихин лес, с Стрельчихой и говорить буду. Ее лес, ей и отвечать стану. А ты-то что? Лакей! Фициант! Тебя не знаю. Проходи, прохожий! Марш!

Семен постучал трубкой о топор и язвительно улыбнулся.

Ржевецкий побежал к дрожкам, ударил вожжами и стрелой полетел к селу. В селе набрал он понятых и с ними помчался к месту преступления. Понятые застали Семена за его работой. Вмиг закипело дело. Явились староста, подстароста, писарь, сотские. Написали несколько бумаг. Расписался Ржевецкий, заставили расписаться и Семена. Семен только посмеивался...

Перед обедом Семен явился к барыне. Барыня уже знала о порубке. Не поздоровавшись, он начал с того, что жить нельзя, что поляк дерется, что он только три деревца и т. д.

– Как же ты смеешь чужой лес рубить? – вскипела барыня.

– Мучение от него одно только, – промычал Семен, любясь вспышкой барыни и желая во что бы то ни стало донять поляка. – Что ни слово – то тресь! Разве так возможно? Да норовит всё по лицу! Этак нельзя... Ведь и мы тоже люди.

– Как ты смеешь мой лес рубить, я тебя спрашиваю? Негодяй!

– Да он вам наврал, барыня! Я, подлинно... рубил... Со-знаю... Да зачем он дерется!

В барыне разыгралась барская кровь. Она забыла, что Семен брат Степана, забыла свою благовоспитанность, всё на свете и ударила по щеке Семена.

– Убери сейчас же свою мужицкую харю! – закричала она. – Вон! Сию минуту!

Семен сконфузился. Он ни в каком случае не ожидал такого скандала.

– Прощайте-с! – сказал он и глубоко вздохнул. – Что ж делать-с! Что ж!

Семен забормотал и вышел. Даже шапку забыл надеть, когда вышел на двор.

Часа через два к барыне явился Максим. Лицо его было вытянуто, глаза пасмурны. По лицу видно было, что он пришел наговорить или натворить что-нибудь дерзкое.

– Что тебе? – спросила барыня.

– Здравствуйте! Я, барыня, больше насчет того, чтоб вас попросить. Леску бы, барыня. Степану избу хочу строить, а лесу нету. Досочек бы дали.

– Что ж? Изволь.

Лицо Максима просияло.

– Избу строить нужно, а лесу нету. Последнее дело! Селши хлебать, а щей нету. Хе-хе. Досочек, тесу... Тут Семка дерзостей наговорил... Вы уж не сердчайте, барыня. Дурак дураком. Дурь еще из головы не вышла. Не чувствует. Народ такой. Так прикажете, барыня, за лесом приезжать?

– Приезжай.

– Так вы Феликсу Адамычу извольте сказать. Дай бог вам здоровья! Теперь у Степки изба будет.

– Только я дорого возьму, Журкин! Я леса, сам знаешь, не продаю, самой нужен, а если продаю, то дорого.

Лицо Максима вытянулось.

– То есть как?

– Да так. Во-первых, деньги сейчас же, а во-вторых...

– За деньги я не желаю.

– А как ты желаешь?

– Известно как... Сами знаете. Нонче какие у мужика деньги? Грош, да и того нет.

– Даром я не дам.

Максим сжал в кулаке шапку и начал глядеть в потолок.

– Вы это верно говорите? – спросил он, помолчав.

– Верно. Еще имеешь что сказать?

– Что мне говорить? Лесу не даете, так зачем я с вами говорить стану? Прощайте. Только напрасно вы лесу не даете... Жалеть будете... Мне наплевать, а вы пожалеете... Степан на конюшне?

– Не знаю.

Максим значительно поглядел на барыню, кашлянул, помялся и вышел. Его передернуло от злости.

«Так вот ты какая, шельма!» – подумал он и отправился в конюшню. В конюшне в это время Степан сидел на скамье и лениво, сидя, чистил бок стоящей перед ним лошади. Максим не вошел в конюшню, а стал у двери.

– Степан! – сказал он.

Степан не отвечал, не взглянул на отца. Лошадь пошатнулась.

– Собирайся домой! – сказал Максим.

– Не желаю.

– Можешь ли ты мне это говорить?

– Значит, могу, коли говорю.

– Я приказываю!

Степан вскочил и захлопнул конюшенную дверь перед носом Максима.

Вечером к Степану прибежал из деревни мальчик и рассказал ему, что Максим выгнал Марью из дома и что Марья не знает, где ей переночевать.

– Она теперь сидит около церкви и плачет, – рассказывал мальчишка, – а вокруг нее народ собрался да тебя ругает.

На другой день рано утром, когда в барском доме еще спали, Степан надел свою старую одежду и пошел в деревню. Звонили к обедне. Утро было воскресное, светлое, веселое – только бы жить да радоваться! Степан прошел мимо церкви, взглянул тупо на колокольню и зашагал к кабаку. Кабак открывается, к несчастью, раньше, чем церковь. Когда он вошел в кабак, у прилавка уже торчали пьющие.

– Водки! – скомандовал Степан. Ему налили водки. Он выпил, посидел и еще выпил. Степан опьянел и стал подносить. Началась шумная попойка.

– Много ты у Стрельчихи жалованья получаешь? – спро-

сил Сидор.

– Сколько следовает. Пей, осел!

– Доброе дело. С праздником, Степан Максимыч! С воскресным днем! А вы что же?

– И я... И я пью...

– Очень приятно... Всё это, собственно говоря, очень благополучно и обольстительно, Степан Максимыч! Так-с... А позвольте вас спросить, рублей десять получаете?

– Ха-ха! Разве можно барину на десять целковых прожить? Что ты? Он сто получает!

Степан посмотрел на сказавшего это и узнал в нем брата Семена, который сидел в углу на скамье и пил. Из-за Семена выглядывала пьянеющая физиономия дьячка Манафуилова и преехидно улыбалась.

– Позвольте вас спросить, господин, – заговорил Семен, снимая шапку, – у барыни хорошие лошади или нет? Вам нравятся?

Степан молча налил себе водки и молча выпил.

– Должно быть, очень хорошие, – продолжал Семен. – Только жаль, что кучера нет. Без кучера не того...

Манафуилов подошел к Степану и покачал головой.

– Ты... ты... свинья! – сказал он. – Свинья! И тебе не грех? Православные! Ему не грех! А что в писании сказано, а?

– Отстань! Дурь!

– Дурь... Ты зато умный. Кучер, а не при лошадях. Хе-

хе... Она вам и кофию дает?

Степан размахнулся и ударил бутылкой по большой голове Манафуилова. Манафуилов пошатнулся и продолжал:

– Любовь! Какое это чувство... Фф... Жаль, повенчаться нельзя. Баринომ был бы! А из него, ребята, славный барин вышел бы! Строгий барин, развитой!

Послышался хохот. Степан размахнулся и в другой раз ударил бутылкой по той же голове. Манафуилов пошатнулся и на этот раз упал.

– Ты чего же это дерешься? – закричал Семен, наступая на брата. – Повенчайся – тогда и дерись! Ребята, чего он дерется? Чего ты дерешься, я спрашиваю?

Семен прищурил глаза, взял Степана за грудь и ударил его под ложечку. Поднялся Манафуилов и замахал своими длинными пальцами перед глазами Степана.

– Ребята! Драка! Ей-богу, драка! Напирай!

В кабаке зашумели. Говор смешался со смехом.

У кабацких дверей столпился народ. Степан схватил Манафуилова за воротник и швырнул его в дверь. Дьячок взвизгнул и шаром покатился по ступеням. Захохотали сильней. Народу набилось в кабак полнехонько. Сидор вмешался не в свое дело и, сам не зная за что, ударил Степана по спине. Степан схватил Семена за плечо и швырнул его в дверь. Семен ударился головой о косяк, сбежал по ступенькам и упал мокрым лицом в пыль. К нему подскочил брат и заплясал на его животе. Он заплясал с остервенением, с наслаждением,

высоко подпрыгивая. Прыгал он долго...

Зазвонили к «Достойно». Степан посмотрел кругом. Вокруг него торчали смеющиеся рожи, одна другой пьяней и веселей. Множество рож! С земли поднимался растрепанный, окровавленный Семен с сжатыми кулаками, с зверским лицом. Манафуилов лежал в пыли и плакал. Пыль облепила его глаза. Кругом и около было чёт знает что!

Степан встrepенулся, побледнел и побежал, как сумасшедший. За ним погнались.

– Лови! Лови! – закричали ему вслед. – Держи! Убил!

Степана охватил ужас. Ему показалось, что если его догонят, то непременно убьют. Он побежал быстрей.

– Лови! Держи!

Он, сам того не замечая, добежал до отцовского дома. Ворота были открыты настежь, и обе половинки их покачивались от ветра... Он вбежал во двор.

На куче щепы и стружек в трех шагах от ворот сидела его Марья. Поджав под себя ноги и протянув вперед свои обессилевшие руки, она не отрывала глаз от земли. При виде Марьи в взбудораженных и опьяненных мозгах Степана вдруг мелькнула светлая мысль...

Бежать отсюда, бежать подальше с этой бледной, как смерть, забитой, горячо любимой женщиной. Бежать подальше от этих извергов, в Кубань, например... А как хороша Кубань! Если верить письмам дяди Петра, то какое чудное приволье на Кубанских степях! И жизнь там шире, и лето

длинней, и народ удалее... На первых порах они, Степан и Марья, в работниках будут жить, а потом и свою земельку заведут. Там не будет с ними ни лысого Максима с цыганскими глазами, ни ехидно и пьяно улыбающегося Семена...

С этой мыслью он подошел к Марье и остановился перед ней... А голова между тем кружилась от хмеля, в глазах мелькали цветные пятна, во всем теле чувствовалась боль... Он едва стоял на ногах...

– В Кубань... того... – проговорил он, чувствуя, что его язык теряет способность говорить... – В Кубань... К дядьке Петру... Знаешь? Что письма писал...

Но не тут-то было! Разлетелась в пух и прах Кубань... Марья подняла свои умоляющие глаза на его бледное, шальное лицо, наполовину закрытое давно уже нечесанными волосами, и поднялась... Губы ее задрожали...

– Это ты, разбойник? – заголосила она. – Ты? Рожу, знать, в кабаке раскроили? Проклятый! Мучитель ты мой! Пушай тебе на том свете так будет злодею, как ты высосал меня всю! Убил ты меня, сироту!

– Молчи!

– Лютые! Не жалеете вы души христианской! Замучили всю, разбойники... Душегубец ты, Степка! Матерь божия накажет тебя! Постой! Задаром тебе это самое не пройдет! Ты думаешь, что только одна я мучаюсь? И не думай... И ты помучишься...

Степан замигал глазами и пошатнулся.

– Молчи! Ну, Христа ради!

– Пьяница! Знаю, на чьи деньги ты пьян... Знаю, разбойник! От радости пьешь? Знать, весело?

– Молчи! Машка! Ну...

– А пришел чего? Чего надо? Похвастать пришел? И без хвастанья знаем... Весь мир знает... Глаза небось целый день тобой колот, окаянный...

Степан топнул ногой, пошатнулся и, сверкая глазами, толкнул локтем Марью...

– Молчи, говорят! Не хватай за сердце!

– Буду говорить! Ты драться? Ну что ж... Бей... Бей сироту. Один конец... Какой ласки ждешь? Знай бей... Добивай, разбойник! На что я нужна тебе? У тебе барыня есть... Богатая... Красивая... Я хамка, а она дворянка... Чего ж не бьешь, разбойник?

Степан размахнулся и изо всей силы ударил кулаком по исказившемуся от гнева лицу Марьи. Пьяный удар пришелся по виску. Марья пошатнулась и, не издав ни одного звука, повалилась на землю. В то время, когда она падала, Степан ударил ее еще раз по груди.

Муж нагнулся к теплому, но уже умершему телу жены, поглядел мутными глазами на ее исстрадавшееся лицо и, ничего не понимая, сел возле трупа.

Солнце поднялось уже над избами и жгло. Ветер стал горячим. В знойном воздухе повисла угнетающая тоска, когда дрожащий народ густой толпой окружил Степана и Марью...

Видели, понимали, что здесь убийство, и глазам не верили. Степан обводил мутными глазами толпу, скрежетал зубами и бормотал бессвязные слова. Никто не брался связать Степана. Максим, Семен и Манафуилов стояли в толпе и жались друг к другу.

– За что он ее? – спрашивали они, бледные, как смерть.

Мать бегала вокруг и голосила...

Доложили о случившемся барыне. Барыня ахнула, ухватилась за пузырек со спиртом, но без чувств не упала.

– Ужасный народ! – зашептала она. – Ах, какой народ! Негодяи! Хорошо же! Я им покажу! Они узнают теперь, что я за птица!

Утешать явился Ржевецкий. Он утешил барыню и занял опять свое место, отнятое у него капризной барыней для Степана. Место доходное, теплое и самое для него подходящее. Десять раз в год его прогоняли с этого места и десять раз платили ему отступного. Платили немало.

Ненужная победа (Рассказ)

Глава I

Солнце было на полдороге к западу, когда Цвибуш и Илька Собачьи Зубки свернули с большой дороги и направились к саду графов Гольдаугенов. Было жарко и душно.

В июне венгерская степь дает себя знать. Земля трескается, дорога обращается в реку, в которой вместо воды волнуется серая пыль. Ветер, если он и есть, горяч и сушит кожу. В воздухе тишина от утра до вечера. Тишина эта наводит на путника тоску. Одни только роскошные, всему свету известные, венгерские сады и виноградники не блекнут, не желтеют и не сохнут под жгучими лучами степного солнца. Они, разбросанные рукою культурного человека по сторонам многочисленных рек и речек, от ранней весны до середины осени щеголяют своею зеленью, манят к себе прохожего и служат убежищем всего живого, бегущего от солнца. В них царят тень, прохлада и чудный воздух.

Цвибуш и Илька пошли по длинной аллее. Эта аллея была кратчайшее расстояние между калиткой, выходящей в степь, и калиткой, глядящей в графский сад. Она пересекала сад на две равные части.

– Эта аллея напоминает мне линейку, которой во время оно, в школе, хлопали твоего отца по рукам, – сказал Цвибуш, стараясь увидеть конец аллеи. Конец ее пропал и сливался с зеленою далью. Солнце не касалось ее. Она была шириною не более сажени, а деревья, стоящие по ее сторонам, посылали свои ветви навстречу друг другу. Это был туннель, устроенный природой из масличных, дубовых, липовых и ольховых ветвей. Цвибуш и Илька вошли как под крышу. Толстый и коротконогий Цвибуш обливался потом. Лицо его было багрово, как вареная свекла. Он то и дело утирал полрой короткой куртки свой влажный подбородок. Он пыхтел и сопел, как плохо смазанный молотильный паровик.

– Это – божественная прохлада, мой зяблик! – бормотал он, расстегивая своими жирными пальцами жилетку и сорочку. – Клянусь моей скрипкой. Не находишь ли ты, что мы из ада попали в рай?

Лицо Ильки было не бледней ее розовых губок. На ее большом лбу и горбинке носа светились капельки пота. Бедная девочка страшно утомилась и едва держалась на ногах. Ремень от арфы давил ей плечо, а острый край неделикатно ерзал по боку. Тень заставила ее несколько раз улыбнуться и глубже вздохнуть. Она сняла башмаки и пошла босиком. Маленькие красивые босые ноги с удовольствием зашлепали по холодному песку.

– Не посидеть ли нам? – предложил Цвибуш. – Аллея длинна, как язык старой девки. Она тянется версты на три!

– Нет, папа! Если мы сядем, то трудно будет потом вставать. Лучше дойдем до конца и там уже отдохнем.

– Так... Сегодня, мой зяблик, день твоего рождения. Что-то подарит тебе судьба, какой подарочек?

– Я желала бы, чтобы судьба подарила мне сегодня обед...

– Ишь, чего захотела! Ха-ха! Много захотела! А не жирно ли будет, моя девочка? Не хочешь ли еще и поужинать?

– Давно уж я не ела ничего горячего... Ты не можешь вообразить себе, папа, как у меня пересохло в горле от сухого хлеба и копченой колбасы! Если бы судьба предложила сегодня мне в подарок что-нибудь на выбор: десять лет лишней жизни или чашку бульона, – я, не задумываясь, выбрала бы второе.

– И отлично бы сделала. Самый плохой бульон во много раз лучше нашей дурацкой жизни.

– Я выбрала бы второе и съела бы, и с каким аппетитом! Мне ужасно есть хочется.

Цвибуш с участием поглядел на Ильку, вздохнул и издал своими толстыми губами свистящий звук. Он всегда издавал отрывистые свистящие звуки, когда его что-нибудь тревожило или заставляло задумываться. Помолчав немного, он обратил на Ильку свои густые отвисшие брови, из-за которых выглядывали улыбающиеся глаза, и сказал:

– Ну подожди, потерпи... Я предчувствую, что подарок, который поднесет тебе сегодня судьба, будет достоин нашего внимания... Хе-хе... Я предчувствую, что мы не даром пле-

темся ко двору благородных графов Гольдаугенов! Хе-хе... Когда мы войдем во двор и заиграем, нас засыпят презренным металлом. Мы набьем наши карманы монетой. Ильку угостят обедом... Хе-хе... Мечтай, Илька! Чего не бывает на свете? Авань всё, что я говорю, правда!

Илька поправила на плече ремень от арфы и засмеялась.

– Нас послушает сам граф! – продолжал Цвибуш. – И вдруг, душа моя, ему, графу, залезет в голову мысль, что нас не следует гнать со двора! И вдруг Гольдауген послушает тебя, улыбнется... А если он пьян, то, клянусь тебе моею скрипкой, он бросит к твоим ногам золотую монету! Золотую! Хе-хе-хе. И вдруг, на наше счастье, он сидит теперь у окна и пьян, как сорок тысяч братьев! Золотая монета принадлежит тебе, Илька! Хо-хо-хо...

– Почему же непременно пьяный? – спросила Илька.

– Потому, что пьяный добрей и умней трезвого. Пьяный больше любит музыку, чем трезвый. О, моя сладкоголосая квинта! Не будь на этом свете пьяных, недалеко бы ушло искусство! Молись же, чтобы те, которые будут нас слушать, были пьяны!

Илька задумалась. Да, Цвибуш немножко прав! До сих пор монеты бросали ей большею частью одни пьяные. Не будь пьяных, ей и ее отцу пришлось бы голодать чаще, много чаще. Играть им чаще всего приходилось у трактиров и у кабаков, а не перед чистенькими крылечками трезвых бюргеров. Слушали их больше мужчины, отличительною чертою

которых служат обрюзгшее лицо, большой красный нос и бессвязные пошлые слова. Илька задумалась на эту невеселую тему, и ей стало горько, досадно. Ей стало понятно теперь, почему на козлиное пение и пошлые шуточки ее отца обращается больше внимания, чем на ее песни, – почему очень часто просят ее пение заменить пляской. Нередко песня ее прерывалась на середине и заменялась бессмысленной пляской под визжанье отцовской скрипки. До сих пор еще ни один слушатель не поинтересовался узнать, кто сочинил те песни, которые она поет с таким чувством. «Песня о трех рыцарях» и бессодержательная плясовая выслушивались с одинаковым интересом.

– Трезвые презирают нас с тобой, потому что видят в нас попрошайек, а пьяные допускают нас к себе, потому что мы своей музыкой заглушаем несколько их головную боль.

Этими словами Цвибуш довел досадующую Ильку до уныния. Ей захотелось заплакать и поломать себе что-нибудь... хоть пальцы, например. Но не ломаются пальцы, как ни крути и не верти их; пришлось ограничиться одними только слезами.

– Приветствую дом почтенных графов Гольдаугенов! – пробормотал Цвибуш.

Он увидел калитку, сотканную из тонкой проволоки, увитой цветущим горошком.

– Приветствую! Человек, не имеющий предков, вступает в логовище людей, имеющих предков, предков-негодяев! Луч-

ше ничто, чем подлое! В семнадцатом столетии граф Карл Гольдауген, женившись не на дворянке, умер от угрызения совести, а его брат, Мориц, плясал целый месяц от радости после того, как святой отец разрешил ему развестись с женщиной, которую он, Мориц, обокрал и вогнал в чахотку. Видишь ты, моя птичка, этот дом? Если бы можно было тебе раскрыть историю этого дома и взглянуть в нее, ты воскликнула бы: «Скотина человек!» – и ты, не знающая ни одного скверного слова, выбранилась бы так, как бранятся... разве одни только русские! Помнишь, милая, русских? Их слово так же крепко, как и их холод. Да будут наши инструменты настроены!

Цвибуш настроил скрипку. Илька фартуком отерла с арфы пыль.

– Судьба, делаем тебе вызов! Поднимай несуществующую перчатку!

Цвибуш и Илька вытянулись, приняли веселые физиономии и молодцами вошли в графский двор. Несмотря на жаркое время двор не был пуст. На нем кипели работы. Человек двадцать рабочих в синих блузах, запыленные, закопченные и вспотевшие, мостили асфальтом двор. Из трех чанов валил сизый дым.

Цвибуш и Илька бойко подошли к самому дому. Окинув взглядом окна, они увидели в самом большом окне большую человеческую физиономию... Физиономия была красна.

– Граф! – пробормотал Цвибуш. – Кажется, он! Сбывается

мое пророчество! И пьян к тому же... Начинай!

Илька ударила по арфе. Цвибуш топнул ногой и поднес к подбородку скрипку. Рабочие, услышав музыку, обернулись. Красная физиономия в окне открыла глаза, нахмурилась и поднялась выше. Позади красной рожи мелькнуло женское лицо, мелькнули руки... Окно распахнулось...

– Назад, назад! – послышалось с окна. – Прочь со двора! Вы! Музыканты, чтобы чёрт вас взял с вашей музыкой!

Красная физиономия высунулась из окна и замахала рукой.

– Играйте, играйте! – закричал женский голос. Рабочие оставили работу и, почесываясь, подошли к музыкантам. Они стали впереди, чтобы им было видно лицо Ильки.

«Есть на свете много стран, – запела Илька, перебирая пальцами струны, – прекрасных, и светлых, как солнце, и богатых; и лучше же их всех Венгрия с своими садами, пастбищами, климатом, вином и быками, которые имеют рога в сажень длиною. Илька любит эту страну. Она любит и людей, которые ее населяют».

Красная физиономия улыбнулась и масляными глазками уставилась на Ильку.

«Люди ее хороши, – продолжала петь Илька. – Они красивые, храбры, имеют красивых жен. Нет тех людей, которые могли бы победить их на войне или в словесных спорах. Народы завидуют им. Один только и есть у них недостаток: они не знают песни. Песнь их жалка и ничтожна. Она не имеет

задора. Звуки ее заставляют жалеть о Венгрии...»

– Господин Пихтерштай, главный управляющий его сиятельства, приказывает вам спеть что-нибудь повеселей! – пробасил подошедший к Ильке лакей в красной куртке.

Голос Ильки умолк. Девочке не удалось высказать до конца свою мысль.

– Повеселей? Гм... Скажите его сиятельству господину Пихтерштай, что его желание будет тщательно исполнено! Впрочем, я сам буду иметь честь объясняться с ним!

Сказавши это, Цвибуш снял шляпу, подошел к большому окну и шаркнул ногой.

– Вы приказываете, – спросил он, почтительно улыбаясь, – спеть что-нибудь повеселей?

– Да.

– Не прикажете ли спеть песню дипломатическую? Собственного моего сочинения! Эта песня решает один из существенных европейских, первой важности, вопросов. Вы имеете честь быть мадьяром, ваша светлость?

Красная физиономия выпустила из себя столб табачного дыма и милостиво кивнула губами.

– Приглашаю господ патриотов внимать! Могу ли я поручиться, господа, за скромность? Нет ли между вами...

Цвибуш окинул глазами рабочих. Те закивали головами и, заинтересованные, подошли ближе.

«Что такое Австрия? – запел козлиным голосом Цвибуш. – Люди политики, князя земли, скажите мне, что та-

кое Австрия? Не есть ли это винегрет, который готовы проглотить жадные соседи? Да, они проглотили бы, если бы в этом винегрете не было золотого ерша, которым можно подавиться. Этот ерш – Венгрия».

– Браво, браво! – забормотал толстяк.

«Австрия есть птица, выкрашенная во сто цветов! – продолжал петь Цвибуш. – Она состоит из сотни членов. У нее много ног, много крыльев, много желудков, но голова только одна. Эта голова – Венгрия. Нападет зверь на птицу, проглотит все члены, но не раскусить ему черепа! Череп плотен, как слоновая кость».

– Браво, браво!

«Есть язык французский, есть немецкий, есть русский, есть венгерский. Богатству венгерского языка удивляются все мудрецы. Поезжайте же, пожалуйста, в Вену и спросите: где живет тот сфинкс, который говорит по-австрийски?»

– Браво, браво! На тебе!

Крупная серебряная монета, сверкая, слетела с окна и со звоном покатила к ногам Цвибуша. Другая такая же монета ударила о башмак Ильки. Цвибуш поднял монету и закричал:

– Тысячу благодарностей! Пойду и выпью за здоровье вашей чести! Буду пить и, клянусь своей толстой мордой, не буду дышать! За ваше здоровье я буду пить двумя горлами: обыкновенным и дыхательным! Не до дыхания будет!

Цвибуш взмахнул шляпой. В это время в окне случи-

лось нечто неожиданное. Красная физиономия побагровела, девушка вскрикнула, и окно внезапно захлопнулось. Рабочие попятились назад и вытянулись в струнку. Цвибуш махнул шляпой назад и почувствовал за шляпой некоторое препятствие. Он оглянулся и присел. Около него стояла на дыбах, испуганная неделикатной шляпой, красивая вороная лошадь. На лошади сидела высокая, стройная, известная всей Венгрии красавица, жена графа Гольдаугена, урожденная баронесса фон Гейленштраль. Цвибуш увидел перед собой красивейшую женщину, полную красоты, молодости, достоинства и... гнева. Она усмирила лошадь и, бледная, дрожащая от гнева, пуская глазами молнии, взмахнула хлыстом.

– Негодяй! – прошептала она и чуть не слетела с седла, когда Цвибуш, оглушенный ударом, покачнулся и, падая на землю, своим большим, плотным телом ударился о передние ноги вороной лошади. Он не мог не упасть.

Удар пришелся по виску, щеке и верхней губе. Графиня била изо всей силы.

Другое женское лицо, лицо гётевской Гретхен и Ильки, окаймленное миллиардами белокурых волос, прекрасное и молодое, исказилось гневом и невыразимым отчаянием. Оно побледнело, искривилось... По нем пробежали судороги. Илька оскалила по-собачьи свои белые зубы, сделала шаг вперед и, не найдя на земле камня, пустила в графиню Гольдауген серебряной монетой. Монета коснулась только вью-

щейся по ветру вуали и полетела к дому. Наступило странное, тяжелое молчание. Графиня и белокурая головка впились друг в друга глазами. Молчание длилось минуту. Графиня подняла хлыст, но, увидев бледное, несчастное, искаженное лицо, опустила медленно руку и медленно поехала к дому. Подъехав к крыльцу, она два раза оглянулась.

– Пусть они уйдут! – крикнула она.

Цвибуш поднялся, отряхнул пыль и, улыбаясь сквозь кровь, струившуюся по лицу, подошел к окаменевшей Ильке.

– Ты удивляешься, мой друг? – заговорил он. – Хо-хо! Твоего отца побили? Не удивляйся! Его побили не в первый, а в сорок первый раз! Пора привыкнуть!

Илька схватила отца за руку и, дрожа всем телом, припала к нему.

– О, как я счастлив! – заговорил Цвибуш, стараясь, чтобы кровь с его лица не капала на голову Ильки. – Как я счастлив! Как мне благодарить ее сиятельство! Моя скрипка цела! Я не раздавил своей скрипки!

И, схватив в одну руку арфу, а другой обхватив плечи Ильки, Цвибуш быстро зашагал обратно к аллее.

Глава II

В ту самую минуту, когда покажется конец аллеи, выходящей в степь, нужно начать считать на левой стороне буко-

вые деревья. Между восьмым и девятым буком опытный глаз может заметить следы когда-то существовавшей, а теперь заброшенной тропинки. Эта тропинка вьется змейкой к часовне, около которой можно найти воду. Цвибуш знал о существовании этой тропинки. Он сосчитал восемь и повернул влево. Илька последовала за ним. Им пришлось продираться сквозь густую чащу репейника, дикой конопли, болиголова и крапивы. Крапива безжалостно кусала им руки, шеи и лица, а тяжелый запах конопли и болиголова не давал им дышать. Плечи Цвибуша и Ильки покрылись паутиной. В паутине карабкались и путались паучки, большие мухи и кузнечики. Большие пауки делали непривычные salto mortale с их плеч на траву. Нашим путникам пришлось нарушить покой тысячам жизней.

Часовня стояла на поляне, поросшей высокой травой, на четвертичасовом расстоянии от аллеи. Это была робко высившаяся над травой, облупившаяся, поросшая мохом, лебедой и плющом, церковочка. На порыжевшей от солнца, конусообразной гладкой крыше стоял высокий бронзовый крест. Этот крест и служил путеводной звездой для Цвибуша.

– Если ручей высох, – сказал Цвибуш, – то подарок судьбы будет много злее подарка, который поднесла нам ее сиятельство. Мои внутренности сухи, как пергамент.

Но ручей не высох. Когда Цвибуш и Илька подошли к часовне и сняли с своих плеч паутину, на них пахнуло свежестью и слышалось журчанье. Цвибуш широко улыбнулся,

положил арфу и скрипку на ступени часовни и быстро зашагал вокруг часовни, описывая своими короткими ногами спираль.

– Журчит... но в какой стороне, чёрт возьми? – захохотал он. – Ручей, где ты? Куда идти к тебе? О, память дурацкая! Пил из тебя раза два, ручей, и, неблагодарный, забыл, где ты! Узнаю в себе человека! Мы не забываем ничего, кроме наших благодетелей! О, люди! Ха-ха...

Илька, обладавшая более тонким слухом, могла бы указать, в какой стороне шумит ручей, если бы не то страшное оскорбление, которое так недавно нанесли ее старому и, по ее мнению, больному отцу. Она машинально следовала за шагавшим отцом, ничего не видя, не слыша и не понимая. Ей было не до утомления и не до жажды. Всё уступало место сильному, молодому, справедливому гневу. Она шла, глядела в землю и кусала верхнюю губу.

Глухой на одно ухо, Цвибуш описывал спираль до тех пор, пока не набрел на такое место, где уже ясно слышалось сердитое ворчанье и где под ногами чувствовалась мягкая, влажная земля.

– Ручей должен быть под липами! – сказал Цвибуш. – Вот она, одна липа! А где же еще две? Их было ровно три, когда я, десять лет назад, пил здесь воду... Вырубили! Бедные липочки! И они понадобились кому-то. А вот оно и искомое... Мое почтение! Пьем, Илька, за твое здоровье!

Цвибуш опустился на колени, бросил в сторону шляпу и

прильнул пылающим лицом к холодной сверкающей поверхности... Илька машинально опустилась на одно колено и последовала примеру отца. Цвибуш пил ртом и глазами. Он видел в воде свою, покрытую кровью, физиономию и, глядя на кровоподтеки и ссадины, готовил подходящую остроу. Но острота вылетела из головы, и вода полилась изо рта обратно, когда он на зеркальной поверхности, рядом с своим лицом, увидел лицо Ильки. Он перестал пить и поднял голову.

– Илька! – сказал он, хмурясь. – Слышишь, девочка? Перестань скалить зубы! Ты не собака! Я этого не люблю! Не будь дурой!

Илька подняла голову и влажной ладонью провела себе по лбу.

– Я не люблю этого! – продолжал Цвибуш. – Оставь свою глупую привычку скалить зубы от всякого пустяка! Будь умницей! Зачем сердиться? Ты бледна, как мертвец, и дрожишь! Смотри, глупая, как умрешь от злости, так будешь знать! Перестань! Ну!..

– Не могу... Никто не имеет права, папа Цвибуш, бить тебя по лицу. Никто!

– Неужели? А я этого не знал? И без тебя знаю! Ни по лицу, ни по спине, ни по животу... Но что же ты хочешь?

Илька провела еще раз ладонью по лбу и прошептала:

– Я хочу, чтобы никто не смел бить тебя. Я хочу... я хочу ей отомстить.

Цвибуш издал свистящий звук, нагнулся к воде и начал

мыть свое лицо. Умывшись, он утерся рукавами и сказал:

– Нелепость, Илька! Пей, если еще не напилась, и пойдем к нашим инструментам. Довольно болтать глупости!

Цвибуш поднял за руку Ильку и, поглаживая живот, направился к часовне.

– Давай-ка лучше, чем сердиться, часовню посмотрим! – предложил Цвибуш.

Множество зеленых и серых ящериц бросилось к щелям и в траву, когда Цвибуш и Илька подошли к часовне. Дверь часовни с заржавленными крючьями была наглухо забита досками. Над дверью, на гладкой деревянной доске, были прибиты медные буквы. Буквы были, разумеется, латинские. Цвибуш прочел и перевел Ильке следующее: «Франциск Гольдауген – 1806. Прохожий, молись, чтобы святые ангелы сохранили его душу для рая!» Стекла в двух окнах были разбиты. Осколки их, торчавшие в полусгнивших рамах, отливали радужные цвета. Третье окно было заткнуто ячменным снопом. Окна были царством паутины и пыли.

– Франциск Гольдауген! – крикнул в окно Цвибуш.

– Гольдауген! – ответило эхо.

– Франциск Гольдауген – это брат дедушки нынешнего графа, – сказал Цвибуш, обращаясь к Ильке. – В 1806 году он, возвращаясь со свидания, на этом самом месте был убит своим старым камердинером, который мстил за свою дочь. Так говорят одни; а другие говорят, что он подрался с своим племянником из-за какой-то девчонки и был убит. Как

бы там ни было, а камердинер был повешен на этом месте. «Не убивай», говорит заповедь господня, в домах же, лесах и садах Гольдаугенов не знали заповедей божиих. Погляди-ка, Илька, в окно... Видишь св. Франциска? Лицо желто-зеленое, страшное... Теперь это изображение погасло, во время же оно оно было отлично видно и на глупых людей и женщин наводило ужас. В особенности страшно было это лицо, когда перед ним горела, как теперь помню, синяя лампада... И меня мороз драл по спине, когда я смотрел на это лицо. Суть в том, моя девочка, что художник, писавший этот образ, бежал, не окончивши своей работы. Он не дописал левого глаза, а потому правый глаз и выделялся так сильно и резал наши суеверные глаза. Лицо было тоже не окончено. Была одна только подмалевка, как говорят художники. Художник бежал, потому что влюбился в графиню. Чудак видел в ней неприступную крепость. Болван! Стоило бы ему только дать ей понять, и она повисла бы на его шее. Женщины всегда были хрупки. Они не отступают от мужчин там, где дело касается того, чего тебе не следует знать, моя невинность.

Цвибуш умолк и посмотрел на Ильку. Илька его не слушала. Она глядела в землю, шептала что-то губами и шевелила пальцами, как бы рассуждая с собой. Цвибуш издал свистящий звук и задумался.

– Послушай, рыжая! – сказал он, нахмутив брови. – Не люблю я этого! Ты опять начинаешь скалить зубы! Пойдем, сядем!

Цвибуш и Илька сели на горячие ступени часовни.

– Где у тебя голова, девочка? – продолжал Цвибуш, глядя на бледное лицо дочери. – Отчего ты не рассуждаешь логично? Из дерева нельзя сделать стали, из тряпок не выльешь колокола. Крыса не может родить лебедя. От той женщины, родившейся от известного рода людей, нельзя ожидать ангельских поступков. Ее деды и отцы волки; может ли же она, вопреки законам природы, родиться ягненком? И она волк! Волк от головы до пяток! Будучи же волком, она не могла иначе поступить... Что же ты еще хочешь? А волков учить кушать сено – не наше дело... Рассуждай логично! Она урожденная баронесса Гейленштраль; а кто такие Гейленштрали? Это те же Гольдаугены. Первый Гейленштраль был побочным сыном Артура Гольдаугена. Баронство получил он во время Тридцатилетней войны, только благодаря своему родству с Гольдаугенами. Потом Гольдаугены женились на Гейленштралях, вторые выходили замуж за первых и т. д. В результате получились два рода, ничем не отличающиеся один от другого. Что же ты хочешь? Не хочешь ли ты, чтобы в то время, когда Гольдауген дерется, Гейленштраль полез к тебе целоваться? Гм... Нет, моя милая! Сердиться на волков за то, что им природа дала острые зубы, могут только такие малознайки, как ты.

Цвибуш помолчал и продолжал:

– А что здесь важную роль играет природа, прекрасно видно из истории Гольдаугенов. Первый Гольдауген появил-

ся в исходе крестовых походов. Звали его Золотоглазым вампиром. Волоса на его голове и бороде были черны, как уголь, а брови и ресницы были белокуры. Благодаря этой игре природы его и прозвали Гольдаугеном¹⁸⁵. В его золотых глазах, говорит история, рядом с замечательным умом светилась смесь лукавства и ловкости рыси с кровожадностью голодного барса. Это была бешеная собака в самом худшем смысле этого слова. Он жрал человеческую кровь так же легко, как мы воду, покупал и продавал людей с беззастенчивостью Иуды. Сжечь деревню для него было много легче, чем для нас выкурить сигару. Он жег и с восторгом глядел на пламя. Когда победители, с Готфридом Бульонским во главе¹⁸⁶, молились впервые у гроба господня, он рыскал по окрестностям Иерусалима и нанизывал на пики головы сарацин. И в эту великую минуту он не изменил себе! Ему, говорит архив, страстно хотелось помолиться, но инстинкт бешеной собаки потянул его в другую сторону, к разрушению, к крови. Это страшное уродство, моя милая! Нельзя думать, чтобы золотоокий человек был виноват в своем уродстве. Человеку не дойти самому до таких ужасающих мерзостей, как не додуматься ему до шестого пальца на руке. Природа виновата. Она дала ему волчий мозг. От золотоокого родился

¹⁸⁵ Гольдауген в переводе на русский язык значит – «Золотые глаза».

¹⁸⁶ ...с Готфридом Бульонским во главе... – Готфрид, герцог Бульонский (ок. 1060—1100), один из предводителей первого крестового похода. В 1099 г. его войска взяли Иерусалим.

сын, отличавшийся от отца только тем, что не имел золотых глаз... уродство перешло и к нему; внук имел золотые глаза и то же уродство. И так далее. Нынешний граф не имеет золотых глаз. В прошлом году умер его сын, мальчишка, который имел золотые глаза. Итак, золотые глаза передаются через человека, а уродство стало уделом каждого. Гольдаугенам, как видишь, моя милая, так же трудно отделаться от волчьих мозгов, как и от золотых глаз. Ну, теперь и посуди, моя милая, в силах ли была та красавица не хлестануть меня по губам? Природа взяла верх над рассудком, и ей иначе поступить было нельзя!

– Всё это ты врешь, отец! – взвизгнула Илька, топнув ногой. – Ты врешь! Твоим губам нет дела до ее уродства, до ее природы! Нам нет дела! Ты всё это говоришь только потому, что мне вредно сердиться. Но я ей покажу! Я ей не... не прощу! Пусть меня бог накажет, если я прощу ей эту обиду!

– Кому бы другому, а не тебе, ягненок, так храбриться! Ягненку храбриться против волка значит только терять напрасно слова... Замолчим лучше!

Илька поднялась, накинула на плечо ремень арфы и подбородком указала на тропинку.

– Отдохнуть разве не хочешь? – спросил отец.

Илька промолчала. Цвибуш встал, взял под мышку скрипку, крикнул и зашагал к аллее. Он привык слушаться Ильки.

Час спустя они шли уже, едва волоча свои утомленные ноги, по пыльной, горячей дороге. Впереди их, за полосой си-

невших роц и садов, белели колокольни и ратуша маленького венгерского городка. По левую руку пестрела красивая деревушка Гольдауген.

– Где есть суд? Здесь или там? – спросила Илька, указывая на город и деревню.

– Суд? Гм... Суд есть и в городе и в деревне. В городе судят, мое золото, городских, а в деревне гольдаугенских...

Илька остановилась и, после некоторого размышления, пошла по дороге, ведущей к деревне.

– Куда? Зачем ты? – спросил Цвибуш. – Что тебе там делать? Храни тебя бог ходить к этим мужикам!

– Я, папа Цвибуш, иду туда, где судят гольдаугенских.

– Для чего же? Ради бога! Ты сумасбродка, душа моя! В городе мы можем пообедать и выпить пива, а здесь же что мы будем делать?

– Что делать? Очень просто! Мы будем судиться с той бессовестной негодяйкой!

– Да ты дура, дочка! Ты с ума сошла! Ты потеряла всякое уменье соображать, голубушка! Или ты, может быть, шутишь?

– Не шучу я, отец! Я удивляюсь даже, как это ты, при всем своем самолюбию, можешь относиться так хладнокровно к этой обиде! Коли хочешь, ступай в город! Я сама пойду в суд и потребую, чтобы ее наказали!

Цвибуш взглянул на лицо Ильки, пожал плечами и пошел за непослушной дочкой, бормоча, жестикулируя руками и

издавая свистящие звуки.

– Дура ты, Илька! – сказал он, вздыхая, когда они переходили мост, переброшенный через реку. – Дура! Назови меня лысым чёртом, если только ты не выйдешь из этой деревни с носом! Извини меня, дочка, но, честное слово, ты сегодня глупа, как пескарь!

Они прошли мост и вступили в деревню. На улицах не было ни души. Всё было занято полевыми и садовыми работами. Долго пришлось им колесить по деревне и водить вокруг глазами, пока им не попалась навстречу маленькая, сморщенная, как высохшая дынная корка, старуха.

– Позвольте спросить, – обратилась Илька к старухе, – где живет здесь судья?

– Судья? У нас, барышня, три судьи, – отвечала старуха. – Один из них давно уж никого не судит. Он лежит, разбитый параличом, десять лет. Другой не занимается теперь делом, а живет помещиком. Он женился на богатой, взял в приданое землю, – до суда ли ему теперь? Но и он уже старик... Женился лет пятнадцать тому назад, когда у меня помер мой старший сын, помяни, господи, его душу...

– А третий? Где живет третий?

– Третий? Третий еще судит... Но тоже уже никуда не годится... Старичок! Ему бы спать теперь в могиле, а не драки разбирать... Живет он... Видите зеленое крыльцо? Видите? Ну, там он и живет...

Цвибуш и Илька поблагодарили старуху и направились к

зеленому крыльцу. Судью они застали дома. Он стоял у себя на дворе, под старой развесистой шелковицей и палкой сби-вал черные, переспелые ягоды. Губы его и подбородок были выкрашены в лиловый, синий и бакановый цвета. Рот был полон. Судья жевал ленивее быков, которым надоело жевать свою жвачку.

Цвибуш снял шляпу и поклонился судье.

– Осмеливаюсь обеспокоить вашу честь одним единствен-ным вопросом, – сказал он. – Вы изволите быть судьей?

Судья обвел глазами своих непрошенных гостей и, про-глотив жвачку, сказал:

– Я судья, но только до обеда.

– А вы изволили уже покушать?

– Ну да... Я обедаю в половине третьего... Это вам долж-но быть известно. По праздникам я обедаю в половине вто-рого.

– *Plenus venter non studet libenter*¹⁸⁷, ваша честь! Хе-хе-хе... Вы изволите говорить истину. Но, ваша честь, нет пра-вил без исключений!

– У меня есть... Я не признаю в данном случае исключе-ний. Я сужу людей только натошак, старина, когда я менее всего расположен сентиментальничать. Десять лет тому на-зад я пробовал судить после обеда... Я что же выходило? Знаешь, что выходило, старина? Я приговаривал к наказа-нию одной степенью ниже... А это не всегда справедливо!

¹⁸⁷ Сытое брюхо к учению глухо (*лат.*)

Однако ты толст, как стоведерная бочка! Ты, вероятно, ешь много? И тебе не жарко носить на себе столько лишнего мяса? А это что за девочка?

– Это, ваша честь, моя дочь... Она-то и является к вам просительницей.

– Гм... Так... Подойди поближе, красавица! Что тебе нужно?

Илька подошла к судье и дрожащим голосом рассказала ему всё то, что произошло во дворе графов Гольдаугенов. Судья выслушал ее, посмотрел на губы Цвибуша, улыбнулся и спросил:

– Так что же тебе, красавица, нужно?

– Я хочу, чтобы вы наказали эту женщину!..

– Так... Хорошо... С большим удовольствием! Сейчас же мы засадим ее в тюрьму... Послушай, старина, – обратился судья к Цвибушу. – Ты где породил эту красотку, на луне или на земле?

– На земле, ваша честь! На луне нет женщин, ваша честь, а потому там едва ли возможно выпить стакан вина за здоровье роженицы!

– Если на земле, то почему же она не знает, что... Какие же вы дураки, господа! Ах, какие дураки! Вы и дураки и чудаки!

– Почему же? – спросила Илька.

– Вероятно, потому, что мозгов нет... Гольдаугены меня кормят и поят, а я их судить стану!? Ха-ха-ха! Гольдаугены

графы, а она дочь цыгана, плохого скрипача, которого следует высечь за то, что он плохо играет на скрипке! Чудаки! Нет, не на земле вы родились! Да захочет ли она с тобой судиться? Она нарисует на повестке, которую я ей пошлю, рожу с большим носом и бросит ее под стол! А где твои свидетели? Рабочие? Держи карман! Они не такие миллионеры, чтобы отказываться от куска хлеба! Ха-ха-ха! Нашла с кем судиться! Чудачка! Нет, не ерунди, красавица! Обидно, это правда... но что же поделаешь? Света белого не переделаешь!

– Но что же мне делать?

– Дать тряпку своему отцу, чтобы он завязал себе губу. От мух ранка может прикинуться... Свинцовой примочки купи... Только это я и могу посоветовать... Дать тебе еще совет, красавица? Изволь! Возьми своего толстого папашу под ручку и уходи... Не могу видеть дураков! Избавьте себя от присутствия судьи несправедного, а мне дайте возможность не беседовать с вами.

– Но что же мне делать? – опять спросила Илька, ломая пальцы.

– Гм... Третьего совета хочешь? Изволь! Сделайся такой же графиней, как она. Тогда ты будешь иметь полное право судиться с ней! Полное право! Ха-ха-ха! Сделайся графиней! Честное слово! Ты тогда будешь судиться с ней сколько твоей душе угодно! Никто и ничто не помешает! Впрочем... прощайте! Мне некогда! Оставьте меня. Пока ты не графиня, я имею еще право гнать тебя так неделикатно подальше

от моего полного желудка и ленивого языка! Марш, старина! Свинцовой примочки не забудь купить!

Судья отвернулся и принялся за ягоды. Цвибуш и Илька вышли со двора и пошли к мосту. Цвибушу хотелось остаться отдохнуть в деревне, но не хотелось действовать наперекор Ильке... Он поплелся за ней, проклиная голод, щемивший его желудок. Голод мешал ему соображать...

– Мы, дочка, в город? – спросил он.

Илька не отвечала. Когда они вошли в рощу, принадлежавшую гольдаугенским крестьянам, Цвибуш спросил:

– Ты, Илька, сердисься? Отчего ты не отвечаешь на мой вопрос?

Вместо ответа Илька зашаталась и схватила себя за голову.

– Что с тобой, дочка?

Дочка остановилась и повернула к отцу свое лицо. Лицо было искажено скверной, злой улыбкой. Зубы были оскалены по-собачьи...

– Ради бога, что с тобой?

Илька подняла вверх руки, откинула назад голову и широко раскрыла рот... Резкий грудной крик понесся по роще. Крупные слезы ручьем полились из голубых глаз дочери оскорбленного отца... Илька зарыдала и захохотала.

– Что с тобой? Можно ли так сердиться?

Цвибуш заплакал и принялся целовать свою дочь.

– Можно ли так? Сядь, Илька! Ради бога, сядь! Ну, да са-

дись же!

Цвибуш положил свои большие потные руки на ее прыгающие плечи и подавил вниз.

– Сядь! Мы посидим в тени, и ты успокоишься! Идем под эту вербу! А вот и ручей! Хочешь водицы? Вербы всегда растут у воды. Где есть вербы, там следует искать воду! Сядем!

Цвибуш понес Ильку к вербе, согнул ее колена и посадил на траву. Рыдания становились всё сильнее и сильнее...

– Полно, дочь моя! Имеем ли мы право так оскорбляться? Разве мы никого не оскорбляем? Можешь ли ты поручиться, что твой отец никого никогда не оскорблял безнаказанно? Оскорблял я! Мне сегодня только заплатили.

Раздался выстрел. Цепляясь за ветви, шелестя и хлопая крыльями, слетела с вербы птица и упала на фартук Ильки. То была молодая орлица. Одна дробиная попала ей в глаз, а другая раздробила клюв...

– Посмотри, моя милая! В лице этой птицы сильно оскорблена природа... Это оскорбление много выше нашего... Терпит природа... Не наказывает же, не мстит...

Затрещали кусты, и Цвибуш увидел перед собой высокого, статного, в высшей степени красивого человека, с большой окладистой бородой и смуглым лицом. Он держал в одной руке ружье, а в другой соломенную шляпу с широкими полями. Увидев свою дичь на коленях хорошенькой рыдающей девушки, он остановился как вкопанный.

– Впрочем, этот человек уже наказан! – сказал Цвибуш. –

Сильно наказан! Его грехи бледнеют перед той карой, какую он несет! Рекомендую тебе, Илька, графа Вунича, барона Зайниц. Здравствуйте, граф и барон! Чего в вас больше, графства или баронства? В вашей чертовски красивой фигуре много того и другого... Вот она, ваша дичь! Моя дочь отпеваает ее.

Барон Артур фон Зайниц мужчина лет двадцати восьми – не более, но на вид ему за тридцать. Лицо его еще красиво, свежо, но на этом лице, у глаз и в углах рта, вы найдете морщинки, которые встречаются у людей уже поживших и многое перенесших. По прекрасному смуглому лицу бороздой проехала молодость с ее неудачами, радостями, горем, попойками, развратом. В глазах сытость, скука... Губы сложены в покорную и в то же время насмешливую улыбку, которая сделалась привычной... Черные волосы барона фон Зайниц длинные и вьются кудрями. Они напоминают собой волосы молоденькой институтки, еще не завивавшей своих волос в косы. Артур редко купается, а поэтому и волосы его и шея грязны и лоснятся на солнце. Одет он небогато и просто... Костюм его незатейлив и крайне неопределенен... Воротнички грязной сорочки выдают, что барон не следует моде. Такие воротнички носили четыре года тому назад. Галстух черный, потертый и ленточкой; его узел, связанный некрасиво и наскоро, сполз на сторону и грозит развязаться... Куртка и жилет роскошны; они покрыты пятнами, но они новы. Сшиты они из дорогой серой материи, пригото-

ленной из лучшего козьего пуха. Потертые, давно уже отживающие свой век, шёлковые панталоны плотно облегают его мускулистые бедра и очень красиво теряются выше колен в складках высоких блестящих голенищ. Каблуки на сапогах искривлены и наполовину стертые. На жилетке из козьего пуха покоится цепочка из нового металла. К цепочке прицеплено шесть золотых медальонов, золотой аист с бриллиантовыми глазами и маленькое, очень искусно сделанное, ружье с золотым дулом и платиновым прикладом. На прикладе этого ружья можно прочесть следующее: «Барону Артуру фон Зайниц. Общество вайстафских и соленогорских охотников». Не спрашивайте у барона, который час: к карманному концу цепочки прицеплены не часы, а ключ и оловянный свисток.

Род баронов Зайниц не может похвалиться своею древностью. Он ведет свое начало с первого десятилетия настоящего столетия, только. У Артура хранится «История баронов фон Зайниц», маленькая брошюрка, заказанная во время оно отцом Артура, Карлом, одному заезжему ученому шведскому пастору. Услужливый пастор взял большие деньги и, сочиняя родословное дерево милостивых баронов, не щадил ни бумаги, ни правды. Родословную повел он с одиннадцатого столетия. Брошюрке этой, разумеется, многие поверили; поверили в особенности те, которым не было надобности контролировать пастора. Но Зайницам пришлось покраснеть за свою брошюру, когда одна очень услужливая ил-

люстрированная газета, желая прислужиться, напечатала их герб и родословную, более похожую на правду, чем та, за которую было заплочено пастору. Первый барон Зайниц был простой дворянин, женатый на дочери банкира, выкрестившегося еврея. Это была личность ничтожная во всех отношениях, пресмыкающаяся, вечно голодная и любящая деньги больше всего на свете. Она невидимо прожила бы свой век и навсегда стусевалась бы в памяти людской, если бы не фортуна, которая улыбалась ей и милостиво и постоянно... У первого Зайница было два брата. Один из них был иезуитом, читал в каком-то университете физику и собственными руками пробил себе путь к кардинальству. Другой брат был придворным поэтом и зятем лейб-медика. Благодаря сильной протекции этих двух братьев и деньгам тестя-банкира, имевшего крупные денежные связи, грамота на баронство фон Зайниц досталась не так трудно, как тому первому Зайницу, о котором врал шведский пастор. Второй Зайниц, дед Артура, дрался под Аустерлицем и умер профессором военной академии. Этот Зайниц был портретом своего дяди-кардинала и, подобно ему, был более кабинетным человеком, чем солдатом или помещиком. Отец Артура напоминал собой первого Зайница. Это тоже ничтожная, невзрачная, ничего не стоящая личность. Малообразованный, ограниченный, слабый физически и нравственно, он задался целью расточить в пух и прах всё то, что улыбающаяся фортуна дала его деду и отцу. Задача, однако, оказалась не легкой.

Баронство Зайниц занимает не малое пространство. Железная дорога пересекает его в двух местах. Оно считается, благодаря своим садам, виноградникам и почве, одним из богатейших и роскошнейших поместий. Находящиеся на нем конский завод и суконная фабрика, вместе взятые, давали баронам две тысячи четыреста франков в день, а об остальном и говорить нечего. Расточить такое богатство – не легкая задача, но у Карла фон Зайниц были отличные помощники. Помогали ему его сластолюбие, неуменье рассуждать, доброта и его... сын. Он до конца дней своих не переставал любить женщин. Любил он отчаянно, бешено, не рассуждая и не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Женщины были его главной расходной статьёй, без которой ему едва ли бы удалось расточить всё. В Вене у него была некоторое время любовница. К этой любовнице ездил он на экстренном поезде с многочисленной толпой сластолюбивых прихлебателей, пивших одно только шампанское. С каждым поездом любовнице привозились подарки, которые поражали своею роскошью и слишком красноречиво говорили о безумстве барона. Подарки состояли из фамильных драгоценностей, дорогих лошадей, векселей... Горничная его венской любви получала тысячу франков в месяц и имела на всякий случай своих лошадей. По приходе и пред уходе экстренных поездов давались лукулловские обеды. В Праге была другая любовница, в Будапеште третья и т. д. Женщины обожали его и, разумеется, за щедрость больше,

чем за что-либо другое. Та масса анекдотов, которые рассказываются еще до сих пор о Карле фон Зайниц, как нельзя лучше характеризует это обожание. Из массы анекдотов приведем один.

В одном из лучших немецких театров дебютировала молоденькая, только что выпущенная из театрального училища, актриса. (Ныне она очень известная актриса на роли драматических и трагических матерей-старух.) Она была молода, хороша собой и играла великолепно. Театр дрожал от рукоплесканий. После первого же действия ей был поднесен букет, украшенный драгоценнейшим ожерельем покойной баронессы фон Зайниц, матери Карла. Барон отдал это ожерелье, потому что оно лежало в его боковом кармане и острым концом медальона кололо его в бок. После второго действия несколько высокопоставленных лиц, которые находились на этот раз в театре, отправились за кулисы выразить дебютантке свое удивление. Между высокопоставленными находился и фон Зайниц. За кулисами он чувствовал себя как дома. Выпив в уборной первого любовника стакан шампанского, он направился к уборной восходящего светила. Дверь уборной была заперта. Он постучал.

- Что вы делаете!? – изумились высокопоставленные... – Вы забываетесь! Вы забываете, что здесь не цирк, не оперетка... Не *salon madame Deleaux*! Вы чертовски дерзки, барон!
- Вы думаете? Я только нетерпелив... – отвечал барон.
- Но она сейчас выйдет! Неужели у вас не хватит терпения

на две, на три минуты?

– Не хватит.

– Но ведь это неприлично! Она, может быть, теперь одевается!

– Может быть, – отвечал нетерпеливый барон и постучал в дверь еще раз.

– Кто там? – послышался из уборной молодой женский голос.

– Я! – отвечал барон.

– Кто вы?

– Один из почитателей вашего таланта. Я, собственно говоря, в вашем таланте ни бельмеса не смыслю, но мне говорят, что вы прекрасно играете, а я привык верить на слово. Отоприте!

– Странно... Я в уборной! В уборную нельзя входить. Да вы кто такой?

– Я барон фон Зайниц. Имею к вам дело.

Голос из уборной заговорил потише и не так смело:

– Очень приятно, барон... Но я не одета... Подождите пять минут.

– Мне ждать некогда. Через две минуты я уезжаю. Сейчас или никогда!

– Нельзя!

– Ваше дело... Прощайте! Кто это, чёрт возьми, меня за рукав дергает?

Возле барона собралась толпа почитателей дебютантки.

Толпа была крайне возмущена дерзким поведением барона. Она потребовала от барона, чтобы он отошел от двери. Жених-дебютантки, находившийся тут же в толпе, дернул его за рукав.

– Извольте отойти от двери! – крикнули почитатели.

– А если я не отойду, то что будет? – спросил барон и уже не пальцем, а кулаком постучал в дверь.

– Вы, mademoiselle, вероятно, хотите, чтобы эти господа сделали со мной скандал! – сказал он сквозь дверь дебютантке. – Отворите! Через полторы минуты я уезжаю... Сейчас или никогда! Я, барон фон Зайниц, люблю всё делать сейчас или никогда! Угодно вам поговорить с бароном Зайниц, который имеет к вам дело?

Дебютантка, видимо, колебалась.

– Что вам угодно? – спросила она.

– Ах, чёрт возьми! Что может быть мне угодно!? Некогда мне разговаривать! Ну, я буду считать до трех раз. Если вы не отопрете, когда я скажу «три», то я уйду, и вы меня никогда не увидите... Как много, однако, у вас поклонников! Это я замечаю по тем щипкам, которые они задают мне сзади и с боков... Ну, я начинаю... раз... два... Ну... ну...

В уборной около двери послышались легкие шаги.

– Три! – сказал барон.

Щелкнул замок. Дверь тихо отворилась. Перед носом барона прошмыгнула из уборной хорошенькая, улыбающаяся горничная. Барон сделал шаг вперед, и его обоняние утонуло

в тонких запахах уборной. Она стояла у темного окна, закутавшись в шаль. Около нее лежало платье, которое ей предстояло надеть... Щеки ее были красны. Она сторала со стыда...

«Боже мой, как она еще невинна!» – подумал барон и, поклонившись, сказал:

– Прошу прощения! Я через минуту уезжаю, а потому...

Дебютантка подняла глаза на барона. Глаза ее были полны любопытства. Она видела его в первый раз, но она так много слышала о нем, находясь еще в театральном училище! Она его давно уже обожала понаслышке.

– Что вам угодно, барон? – спросила она после тяжелого, минутного молчания.

– Вы извините, mademoiselle, что я так настойчив, но... честное слово, вы мне нравитесь!

Дебютантка потупилась. Щеки ее еще больше покраснели.

– Я не люблю комплиментов, – сказала она.

«Боже, как она невинна!» – подумал барон и сказал:

– Сколько жалованья назначило вам ваше начальство?

– Еще не назначало, а назначит... Сколько – не знаю... На первых порах, вероятно, не более двух тысяч талеров...

– Гм... Цена хорошая... На первых порах достаточно.

Барон умолк и впился глазами в дебютантку. Дебютантка готова была провалиться сквозь землю от стыда и ожидания.

– Если вы ко мне приедете, – сказал, помолчав, фон Зайниц, – то вы получите в сто пятьдесят раз больше.

Розовые щеки дебютантки стали белы, как полотно сорочки барона... Дебютантка вскрикнула, всплеснула руками и, как оглушенная выстрелом из сотни пушек, сразу упала на обитое бархатом кресло. С ней сделался истерический припадок. Фон Зайниц поклонился и вышел. Когда в уборную вошла горничная, дебютантка рыдала. Рыдания были отрывистые, смешанные со смехом... Горничная испугалась, убежала из уборной, и чрез минуту вся сцена разделилась на кучки. Кучки шептались, искоса поглядывали на дверь уборной и не знали, что им делать: возмущаться дерзким поступком барона или же... завидовать счастью рыдающей дебютантки? Жених, как сумасшедший, вломился в уборную, пал к ее ногам и завопил:

– Не плачьте, моя милая! Это оскорбление не пройдет ему даром! Но... зачем, чёрт возьми, вы отперли дверь этому демону?

Дебютантка положила свое заплаканное лицо на белую манишку жениха, положила свои руки на его плечи и прошептала:

– О, Жорж! Как я счастлива! Как мы с тобой счастливы! Он пообещал в сто пятьдесят раз больше, а мы учили в театральном училище, что барон фон Зайниц умеет держать свое слово! Жаль только, что он некрасив! Но... В сто пятьдесят раз больше!! Пойди, мой друг, попроси, чтобы объявили публике, что я по болезни продолжать игру не могу!

На следующий день дебютантка получила от «обожаемо-

го» фон Зайниц жалование вперед за три месяца...

Этот анекдот правдоподобен, но насколько он правдив, я не знаю.

Второй расходной статьей барона были карты. Зайниц играл очень редко. Он скучал за картами. Но раз севши, от скуки проигрывал он громаднейшие куши. От скуки же он изобрел и свою собственную карточную игру. Его игра слишком проста. Она называлась «Черные и Красные».

– Красная или черная? – спрашивал Зайниц своего партнера, показывая ему сорочку карты. – Если угадаете, то вы выиграли, а если не угадаете, то я выиграл.

Умней этой игры едва ли мог изобрести что-нибудь Зайниц. Однако он сумел проиграть на ней в два вечера графство Вунич, купленное когда-то дедом Артура в Галиции. Графство Вунич было его первой чувствительной потерей.

Второй потерей была его жена, баронесса фон Зайниц, которую он убил своим поведением. Третьей потерей была дочь, ханжа и идиотка, которую, чтобы поправить расстроившиеся дела, пришлось выдать замуж за лезшего в дворяне банкира-жида. Баронство же Зайниц постигла самая плачевная участь. Оно было заложено за бесценнок зятю-банкиру, который на торгах и оставил его за собой. Карл кончил тем, что неудачно застрелился (пуля засела в плече), и умер на руках дочери и патеров, оставив банкиру «на всякий случай» несколько векселей на солидную сумму.

Сын его Артур после смерти матери, когда ему было две-

надцать лет, был отправлен в Вену, где и отдан в пансион. Вышедши из пансиона, где он выучился говорить на трех языках, он поступил в университет, на филологический факультет. Вскоре Артур оставил филологию и поступил на математический факультет. На этом факультете ему повезло. Он получил премию за лучшее студенческое сочинение по дифференциальному вычислению. Кончив курс на математическом факультете, он опять занялся филологическими науками. Это блуждание от одной пристани к другой, пожалуй, и кончилось бы чем-нибудь хорошим, если бы не те тысячи, которые ежемесячно приходилось ему получать на почте и от поверенных отца. Тысячи вскружили ему голову. Когда ему надоело собирать библиотеку, на которую он тратил большие деньги со дня своего поступления в университет, он потерял под собой почву и пошел по стопам отца... Он поехал в Париж. Тысячи писем полетело из Парижа в баронство Зайниц с требованием денег. Карл был добр, а потому ни одно письмо не осталось без ответа; каждый ответ состоял из чеков. К счастью Артура, денежные пакеты, которые он получал из родины, с каждым месяцем становились всё меньше и меньше, приходили в Париж всё реже и реже... Сотни постепенно вытесняли собой тысячи. Вместе с известием о смерти отца Артур получил тысячу франков и письмо зятя-банкира. Банкир писал, что посылаемая тысяча составляет всё состояние барона Артура фон Зайниц и что ему, Артуру, надеяться не на что... Артур прочитал письмо

и густо покраснел.

Ему стало ужасно стыдно за себя и за своего отца. Он серьезно задумался, и ему стало страшно за свою будущность, которую он так любил и жалел, когда сидел на университетской скамье. Он разорвал в клочки письмо зятя и изо всей силы ударил себя кулаком по лицу... Тысячу хотел он бросить в окно, но... не бросил. И хорошо сделал. Эта тысяча пригодилась ему. Она была потрачена на бегство из Парижа от долгов. Кредиторами его были содержатели отелей, ростовщики и, что постыднее всего, кокотки... Последние дни в Париже ему пришлось прожить на счет кокоток... Бежал он на родину испившийся, истаскавшийся и изовравшийся, но, к счастью, не до конца. Здоровье его еще не было надломлено, и заведомо подлецом он еще ни разу не был. К счастью, у Артура была упругая натура. В Вене он опять принялся за науки и с большим рвением, чем прежде. Чтобы иметь кусок хлеба и не лезть к родным за деньгами, он сделался преподавателем алгебры в одном из военных училищ и корреспондентом двух больших парижских газет. Зарабатывал он также немного и писанием стихов, которые помещал во французских журналах. (Подобно Фридриху Великому, он немецкого языка терпеть не мог.) Жизнь пошла тихая, скромная, сносная, диаметрально противоположная парижской, но недолго она была такой... Она была испорчена на самом интересном месте, именно в тот самый золотой год, когда Артур сделался доктором философии и магистром

математических наук. На широкой дороге судьба подставила ему ножку. Он, сам того не замечая, наделал долгов. Кто раньше был богат, а теперь беден, тот поймет это «не замечая». Артур к тому же еще женился на одной хорошенькой, влюбившейся в него бедной дворяночке. Женился он и по любви и из сострадания. Женильба увеличила его расходы. Волей-неволей нужно было обратиться к сестре. Артур написал сестре письмо, в котором просил ее сообщить ему, какая участь постигла имение их матери, и если оно не было продано за долги, то уделить ему частицу получаемых с него доходов. Тут же между прочим он попросил сестру прислать к нему в Вену его библиотеку, взятую ею когда-то на сохранение. В ответ на это письмо Артур получил от зятя телеграмму, в которой просили Артура немедленно приехать в Зайниц. Артур поехал. Когда он въехал в Зайниц, его попросили идти пешком.

– Госпожа Пельцер, – сказали ему, – не любит стука колес. Потрудитесь дойти до дома пешком.

Артура встретили в гостиной зять и сестра. Сестра сидела на кресле и плакала. Зять при входе его уткнул нос в газету...

– Это я! – сказал им Артур. – Не узнаете?..

– Видим, – отвечал банкир. – Недурно сделали, что нас послушали и приехали... Мы очень рады, барон, что вы еще не утратили способности послушания... От слова «послушный» пахнет чем-то рабским, но вы извините... Для таких господ, как вы, послушание необходимо...

– Я вас не понимаю, – сказал недоумевающий барон. – Сестра, о чем ты плачешь? Брат Артур приехал, а ты плачешь... Ответь же чем-нибудь на мое «здравствуй»! Полно плакать!

– Она, милостивый государь, – сказал банкир, – заплакала, как только нам доложили, что вы едете... Сядьте... У вашей сестры, слава богу, есть еще кресла. Не всё расточили вы с вашим отцом. Она, моя жена, плачет, потому что еще любит вас...

Артур сделал большие глаза и ладонью провел себе по лбу. Он не понимал.

– Да, – продолжал банкир, не спуская глаз с газеты, – она не может так скоро покончить с чувством, которое, надо сознаться, неестественно, потому что фактически она перестала уже быть вашей сестрой... Гм... Вы ей не брат. Она неизмеримо выше вас. Вы низки для того, чтобы быть братом этой женщины... Милостивый государь! Благодарите эту женщину! Если бы не она, вы не осмелились бы переступить порог этого дома!

– Объясни мне, сестра, – обратился побледневший Артур, – что я должен понимать под словами твоего мужа... Пельцера? Я решительно ничего не понимаю! Потом, твои слезы... Не понимаю!

Банкирша отняла от лица платок, вскочила и, шурша своим тяжелым платьем, заходила по гостиной. Слезы, самые настоящие, крупные, капали с ее глаз на пол.

– Не понимаешь? – закричала она визжащим голосом. – Пойми же наконец, что ты убиваешь нас своим поведением! Твоя безнравственность возмущает нас! Я возмущена, как сестра и христианка!..

– Объяснись, сестра! – сказал Артур. – Я не пойму никак, что вы хотите мне сказать?

– Молчи! Я не хочу слышать твоего голоса! На какой это дряни ты там женился?

– Да, барон! – подхватил банкир высоким дребезжащим тенором. – Женясь на этой ничтожной женщине, вы опозорили имя баронов фон Зайниц и тех, которые считают себя их родственниками!

Ручка кресла, за которую держался барон, затрещала. Артур задрожал от гнева.

– Сильвия! – сказал он, повернувшись к сестре. – Я тебе ни слова не сказал, когда ты выходила замуж за негодяя Пельцера. Я уважал твою волю, а ты? Ты позволяешь себе под диктовку Пельцера наносить мне тяжкие оскорбления! Не забывайся!

– Я негодяй? – крикнул Пельцер. – Прощаю вам это слово, барон! Прощаю!

Сильвия топнула ногой и сделала шаг к брату.

– Я всё про тебя знаю! – зашипела она, глотая слезы. – Всё! Мало того, что ты женился на бульварной дряни, оборвыше, мало того! Ты еще безбожник! Ты никогда не ходишь в церковь! Ты забыл бога! Ты забыл, что во всякую минуту душа

твоя готова расстаться с телом и отдаться в руки дьявола!

– Дай бог, чтобы все были такими негодьями, как я! – кричал между тем Пельцер. – О! Тогда бы на земле иначе было! Тогда бы не было на земле людей, которым всё нипочем: и имя и честь... Не было бы тех женщин, бульварных потаскушек, которые...

Пельцер вдруг замолчал. Он посмотрел на лицо Артура, и ему сделалось страшно.

– Так не поступают даже лютеране, как ты поступаешь! – кричала Сильвия. – Мы позвали тебя для того, чтобы дать тебе понять, как ты низок! Ты должен покаяться! Разойдись с ней и... перемени свой образ жизни! Немедля! Слышишь? Понимаешь?

– Коли вы придерживаетесь сословных традиций, – сказал глухим голосом Артур, – так знайте же, что барону Артуру фон Зайниц не к лицу входить в какие бы то ни было препирательства с еврейским выходцем из русской Польши и с его женой! Но... снисхожу к вам и задаю один вопрос. Задаю его и ухожу. Что вы скажете мне относительно имени моей покойной матери?

– Оно принадлежит Сильвии, – сказал Пельцер, – ей только одной.

– По какому праву?

– А разве вам неизвестно завещание вашей матушки?

– Что вы лжете? Не было никакого завещания! Я знаю это!

– Оно есть!

– А если есть, так оно подложное! Моя библиотека где?

– Она продана за тысячу франков, которые были посланы вам в Париж...

– Она стоит не тысячу, а двести тысяч франков!

Пельцер пожал плечами и усмехнулся.

– Несмотря на всё мое желание, я не мог продать ее дороже.

– Кто ее купил?

– Я, Борис Пельцер...

Артур почувствовал, что задыхается. Он схватил себя за голову и побежал из гостиной.

– Воротись, брат! Воротись! – закричала ему вслед Сильвия.

Артур хотел не ворочаться, но не смог. Он любил еще сестру.

– Покайся, Артур! – сказал Сильвия воротившемуся брату. – Покайся, пока еще есть время!

Артур выбежал из гостиной и через минуту, задыхаясь и дрожа от гнева, мчался к вокзалу железной дороги.

Запершись в купе второго класса, он лег на софу лицом вниз и доехал в таком положении вплоть до самой Вены. В Вене судьба подставила ему другую ножку. Приехав домой, он не застал жены дома. Его горячо любимая жена, во время его отсутствия, бежала к любовнику... Она оставила письмо, в котором просила прощения. Артур был поражен этой изменой, как громом...

Через неделю жена его, прогнанная любовником, вернулась к нему, чтобы отравиться и умереть у порога его квартиры... Когда Артур, похоронив жену, воротился с кладбища домой, его встретил лакей с письмом. Письмо было от сестры Сильвии и содержало в себе следующее:

«Мой дорогой брат! Мы всё знаем... Тайное убийство, которое ты совершил, чтобы сгладить с лица земли следы преступления, опозорившего наше имя, противно богу... Мы требовали только покаяния, но она, твоя жена, могла бы жить. Смерть ее не нужна. Нужно было только ее удаление. Но не отчаивайся. Мы молимся за тебя, и, поверь, наши молитвы не напрасны. Молись и ты.

Твоя Сильвия».

Артур разорвал это письмо на мелкие клочья. Ноги его заходили по клочьям, на которых святотатственной рукой было написано божие имя... Артур зарыдал и упал на землю без чувств...

Учительство, философия, математика, французские стихи – всё было брошено и забыто Артуром. Наконец, придя в себя, он напился страшно пьян и с тех пор, перекинув через плечо двухстволку, застранствовал «диким Зайнищем» по окрестностям Зайниц, Гольдауген и других деревень, выпивая баснословные количества вина и уничтожая дичь. Он зажил странную жизнь... Люди видели его только в трактирах и кабаках, которые украшают своею затейливою пест-

ротою перекрестки дорог. Его видели и знали все лесничие и большая часть пастухов.

Где он жил, чем питался, никому не было известно. Его считали бы сумасшедшим, если бы он так умно не заговаривал с теми людьми, с которыми ему приходилось встречаться. Не знали, как и что о нем думать. Называли его «диким Зайницем», странствующим отшельником и «несчастливым бароном Артуром». Бульварная пресса заговорила о нем, – о каком-то громаднейшем процессе, который намерен повести Зайниц против Пельцеров, о сестре, которая легально ограбила брата; начали печататься ни с того ни с сего анекдоты и маленькие романы из жизни Артура фон Зайниц или его отца. Нашлась даже газетка, которая пожалела об исчезании рода Зайниц...

Артур блуждал большею частью по садам и рощам. В садах и рощах было больше дичи, чем в поле и у рек. Хозяева садов не запрещали ему охотиться. Они ненавидели его сестру и в нем видели злейшего врага Пельцера. Хозяйки даже радовались тому, что их сады и рощи посещает фон Зайниц.

– Нельзя сказать, – говорили они, – чтобы он был лесным царем, нет! Он слишком молод для этого... Он скорее лесной кронпринц!

Встречаясь с людьми, лесной кронпринц обыкновенно очень вежливо раскланивался. Наткнувшись же на Цвибуша и Ильку, он остолбенел. Его, как художника, поразила красота и реальность группы, составленной из Цвибуша, Ильки,

арфы, скрипки и птицы.

Услышав рыдания, Артур нахмурился и сердито кашлянул.

– Чего она плачет? – спросил он.

Цвибуш усмехнулся и пожал плечами.

– Плачет, – сказал он, – вероятно, потому, что она женщина. Будь она мужчиной, она не плакала бы.

– Это ты ее обидел?

– Я, барон! Каюсь...

Барон с негодованием посмотрел на жирную, лоснящуюся физиономию Цвибуша и сжал правый кулак.

– Чем же ты ее обидел, старая скотина?

– Я обидел ее тем, ваше сиятельство, что имею морду, по которой можно безнаказанно бить хлыстом... Она моя дочь, барон, а при дочерях благовоспитанные люди не позволяют себе бранить отцов...

– За что ты ее обидел, каналья? Не плачь, девушка! Я сейчас его проэкзаменую, мерзавца! Ты ее бил, что ли?

– Вы угадали, барон, но только отчасти... Да, били, только не ее и не я... Ваше участие к моей дочери трогает меня, граф! Благодарю!

– Шут! – проговорил барон, махнул рукой и нагнулся к Ильеке.

– Что с тобой, милая? – спросил он. – О чем ты плачешь? Кто тебя обидел? Скажи мне, кто тебя обидел, и я... обижу его, обижу сильно!

Барон большой загорелой рукой провел по волосам Ильки. Глаза его затеплились хорошим огоньком.

– Мы, мужчины, должны заступаться за женщин, потому что сильные обязаны защищать слабых. Чего же ты плачешь?

И, засматривая в лицо, покрытое влажными пальчиками и распустившимися волосами, фон Зайниц опустил на колени и осторожно уселся около Ильки. Он заговорил голосом, каким давно не говорил. Илька услышала голос нежный, вытекавший прямо из души, – голос, которому смело можно было довериться...

– Чего плачешь? Поведай мне свое горе! Возле тебя сидит теперь не глупый шут, старик, а сильный мужчина. Можешь положиться на меня... Я силен и всё могу сделать... О чем же ты плачешь? Ну?

Дети, которых спрашивают о причине их плача, начинают плакать сильней. То же самое случается и с женщинами. Илька заплакала сильнее...

– Судя по тому, как ты сильно плачешь, у тебя должно быть большое горе... Ты расскажешь мне... Ведь расскажешь? Со мной можешь быть откровенна. Я спрашиваю тебя не из простого любопытства. Я хочу помочь тебе... Честное слово, девушка!

Артур нагнулся и поцеловал Ильку в темя.

– Не будешь плакать? Да? Да ну же, милая! Чтобы облегчить несколько свое горе, стоит только высказаться...

– Едва ли она скоро перестанет плакать, – сказал Цви-

буш. – Нервы ее слабы, как ниточки на рубаше, которую носили пять лет. Дадим ей, барон, выплакаться... Нехорошо, Илька! Много слез прольешь – скоро пить захочешь.

– Ах, да! Воды ей нужно дать! – сказал барон. – Вода здесь близко... – Барон встал и скрылся за густой листвой; сухие сучья и ветви затрещали под напором его тяжелого тела.

– Каков барон! – захихикал Цвибуш. – Нежен, вежлив, предупредителен! Ха-ха-ха! Можно подумать, что он и в самом-таки деле такой добряк. Верь ему, Илька, но слегка. Он славный малый, но палец в рот ему нельзя класть. Откусит руку до самого локтя. Про историю у Гольдаугенов не рассказывай ему. Он родня этим живодерам Гольдаугенам и посмеется над тобой, как над последней дурой. Скоро ты кончишь плакать?

Затрещали вновь сучья, и из-за листьев показался Артур с охотничьим серебряным стаканом в руках. Стакан был полон воды.

– Пей... Как тебя зовут? Илькой? Пей, Илька!

Барон опустил на колени и поднес к губам Ильки холодный стакан. Илька отняла от лица руки и отпила полстакана...

– Как я несчастна! Ах, как я несчастна! – пробормотала она.

– Верю, охотно верю! – сказал барон и помочил ей виски холодной водой. – Я назвал бы тебя, моя милая, лгуньей, если бы ты сказала, что ты счастлива. Пей еще!

– Ради бога, умоляю вас, не браните моего отца! – прошептала Илька. – Он тоже очень, очень несчастлив!

– Не буду бранить... Я побранил его, потому что погорячился. Я на первых порах думал, что он тебя обидел. Беру свои нехорошие слова назад. Но он так хладнокровно относится к твоему горю, как не подобает относиться порядочному отцу.

– Недоставало еще, чтоб вы и мне помочили водой виски! – засмеялся Цвибуш. – Я разучился реветь еще тогда, когда привык к отцовским розгам. Какой вы, однако, сегодня неженка, барон! Не узнаю в вас сегодня того барона Артура фон Зайниц, который шесть лет тому назад выбил два зуба маркеру в ресторане «Вороного коня» в Праге... Помните, ваше сиятельство? Один зуб изволили вы выбить кием, а другой кулаком...

– Мало ли чего не было шесть лет тому назад! – пробормотал фон Зайниц. – Многое было, и было такое, о чем неприлично упоминать теперь. Ну, Илька! Рассказывай! Ты теперь успокоилась немножко, а чтобы прийти в себя окончательно, тебе стоит только высказаться... Ну? Кто тебя обидел?

– Обидели не меня, а моего отца!

– Вот как! Так ты за отца плачешь?

– Его ужасно оскорбили! Вы ужаснулись бы, если бы увидели, как его, бедного, оскорбили!

– Так вот что! Гм... Какая же ты, однако, хорошая девочка! У тебя, старина, хорошая дочь! Редкость! Ну, всё одно,

рассказывай... И за него я так же охотно заступлюсь, как и за тебя.

– Не заступитесь, барон! – сказал Цвибуш.

– Почему?

– Потому что это невозможно... Я имел честь получить пощечину не от маленького человека, а от очень большого. Никакое ядро не в состоянии долететь до этого человека! Да и не следует заступаться! Моя дочь капризничает!

– Что за пустяки! Для меня одинаково, кто бы ни оскорбил! Мое ядро, если только нужно, долетит до всякого... Рассказывай, Илька. Я помогу тебе.

Заикаясь, глубоко вздыхая и то и дело повторяясь, Илька поведала Артуру фон Зайниц свое горе. Когда она, рассказывая, дошла до графини Гольдауген, поднявшей хлыст, барон нахмурился.

– Так это... была женщина? – спросил он.

– Да, графиня Гольдауген...

– Гм... Дальше...

Барон страшно побледнел и почесал себе лоб.

– Дальше, дальше... Я слушаю... Так женщина ударила его? Не мужчина?

– Женщина, барон!

– Гм... Так... Отчего же ты не продолжаешь?

Когда Илька рассказала о том, как упал под ноги лошади ее отец, как он потом обливался кровью, барон взглянул на Цвибуша...

– Губу это она тебе рассекла? – спросил он.

– Ну, стоит ли об этом говорить? Поговоримте лучше, господа, о политике!

– Я тебя, старый дурак, спрашиваю, она рассекла тебе губу или не она? – крикнул барон и ударил кулаком по траве. – Дочь страдает из-за него, а он шутит! Не люблю шутов!

– Она, она! – сказала Илька.

– Облекаю старого дурака в молодую шкуру и возвращаю его по принадлежности! – проворчал Цвибуш. – Я не шучу, а говорю правду! Политика много лучше разговоров, из которых не выйдет решительно ничего путного...

Илька показала руками, сколько приблизительно крови пролил ее отец, как он хромал, когда плелся к часовне. Когда она рассказала о судье и передала все до единого его слова, барон презрительно усмехнулся и плюнул в сторону. Плевков отлетел на две сажени.

– Скоты! – проворчал он... – Да, он прав! Эта каналья права! Он не мог ничего сделать. Этот гольдаугенский Аристид такой же раб Гольдаугенов, как и та лошадь, которая чуть было не раздавила этого шекспировского шута, твоего отца!

– Мне не бывает так досадно, – кончила Илька, – когда моего отца бьют пьяные мужики или полицейские. Полиция, барон, не позволяет нам играть в больших городах. Но мне досадно, обидно, оскорбительно... обидно, когда женщина, образованная, знатная, с нежным лицом... И какое она име-

ет право смотреть на нас так надменно, так презрительно? Никто не имеет права так смотреть на нас!

Илька поднесла пальцы к лицу и заплакала...

– Неужели ей это так и пройдет даром?.. Ах, боже мой, боже мой!! Если эта обида останется безнаказанной, то я умру... умру! Пусть тогда отец один играет! Пусть он тогда продаст мою арфу!

Илька уткнула лицо в фартук и продолжала тихо плакать. Цвибуш глядел в землю и издавал свистящие звуки. Барон задумался...

– Обида сильная, – сказал он после продолжительного раздумья. – Но... нужно сперва выслушать, в чем дело, а потом уже и обещать. Я солгал, моя милая. Я не так силен, как я час тому назад хвастал. Ничего я не могу для тебя сделать...

– Почему?

– Потому что она женщина... Не драться же мне с ней на дуэли! Дело скверное, моя милая. Следует покориться...

– Не могу я покориться! Откуда вы взяли, что я могу покориться?

– Твое бессилие заставит тебя покориться. Ты бессильна, потому что ты дочь музыканта-нищего, а я бессилён, потому что она, чёрт ее побери, женщина...

– Что же мне делать? – спросила Илька. – Вы не верьте, ради бога, моему отцу! Он и сам не перенесет этого оскорбления! Он показывает вид, что он хладнокровен, а в сущности... Я пойду в Будапешт или в Вену! Я найду суд.

– Не найдешь...

Илька вскочила и заходила вокруг барона и Цвибуша.

– Найду! – закричала Илька. – Ну, наконец, вы же барон, знатный, умный человек, всех знаете, все знатные люди вас знают... Вы не какой-нибудь простой человек! Отчего бы вам не написать письма к какому-нибудь судье, чтобы он осудил ее по законам? Вам стоит только сказать или написать, и всё будет сделано!

– Перестань, Илька! – сказал внушительно Цвибуш. – Господину барону скучно слушать твою непросветную чепуху! Ты злоупотребляешь его вниманием.

– Ты, Илька, рассуждаешь так, – сказал барон, – только потому, что ты не знаешь жизни. Ты недавно толковала мне, что ты несчастна, а между тем взгляд на жизнь у тебя точно у сибаритки, которая не умеет отличить меди от железа. Сколько тебе лет? Семнадцать? Пора жизнь знать, красавица! Жизнь – это такая отвратительная, мерзкая, тягучая ерунда, такая пошлая, бесцельная, необъяснимая чушь, которая не выносит сравнения даже с помойной ямой, которая выкопана для того, чтобы быть наполненной всякой гадостью. Пора знать! Что же ты хочешь от жизни? Хочешь, чтобы она улыбалась, сыпала тебе цветы, червонцы? Да? Так ты хочешь?

Фон Зайниц покраснел и запустил руку в свою большую охотничью сумку.

– Если так, то ты хочешь невозможного! Жизнь на зем-

ле возможна только невыносимая... Хочешь невыносимой жизни – живи, не хочешь – проваливай на тот свет. Отрава всегда к твоим услугам... Дитя ты, вот что! Глупа ты!

Из сумки показалась плетеная бутылка. Барон быстро поднес ее к губам и с жадностью сделал несколько глотков.

– Жизнь отвратительна! – продолжал он. – Мерзость ее есть ее закон, непоколебимый, постоянный!.. Она дана человеку в наказание за его пошлость... Милая красотка! Если бы я так глубоко не сознавал своей пошлости, я давно бы отправился на тот свет. Хватило бы пуль... Мучайся, говорю себе, Артур! Ты достоин этих мучений! Получи, Артур, должное! Научись и ты, девочка, философствовать сама с собой в таком роде... Легче жить при таком уменье...

Артур сделал еще два глотка.

– Есть во вселенной одна стихия, примиряющая несколько человека с его жизнью. Эта стихия, говорят, создана дьяволом, но... пусть так! Она снимает с души моей шипы... на время, разумеется. Эта стихия – в моей бутылке... Выпей, Илька! Сделай один глоток! Это хорошая водка...

Илька замотала головой. Цвибуш взглянул на бутылку, облизнулся и застенчиво опустил глаза.

– Да ну же, выпей, чудачка! – продолжал фон Зайниц. – Легче станет. Попробуй-ка!

– Выпей, Илька! – посоветовал Цвибуш.

Илька взяла в руки бутылку, сделала маленький глоток и поморщилась.

– Теперь ты выпей, – обратился Артур к Цвибушу. – Пей и ты, старый окорок!

Улыбаясь и гримасничая, Цвибуш засиял, как будто увидал давно невиданного друга... Он взял в обе руки бутылку и торжественно поднес ее к своим жирным губам. Сделав осторожно два-три глотка, он поставил бутылку на траву.

– Пей до дна! – сказал барон. – Не церемонься. У меня другая бутылка есть.

Толстяк в одну секунду исполнил это приказание.

– Где-то, когда-то я видел тебя, старина! – сказал фон Зайниц. – Физиономия твоя мне как будто бы знакома... Где я тебя видел?..

– Я, барон, тот несчастный маркер, которого вы, ваше сиятельство, в Праге изволили лишить двух зубов.

– Может быть, может быть... Так... Я был мастер на эти дела... Жалею, что я не могу тебе теперь их вставить...

Барон вытащил из своей сумки другую бутылку и бумажный сверток. В свертке были пирожки, сыр и колбаса. Фон Зайниц разрезал колбасу пополам; одну половину подал он Цвибушу, а другую разделил на две части, из которых одну подал Ильке, а другую оставил себе.

– Прошу, господи! – сказал он. – Ешьте и не церемоньтесь. Ешь, девочка! Сыр всецело принадлежит твоему желудку. Мы до него не коснемся.

Голодные Цвибуш и Илька не заставили долго просить себя. Они с жадностью голодных неблаговоспитанных детей

набросились на закуску и через пять минут уничтожили всё, кроме небольшого кусочка колбасы. Этот кусочек был пощажен Цвибушем для закусывания после водки.

Выпитая водка подействовала на Артура моментально. Лицо его покраснело и просветлело. Глаза забегали, как пойманные мыши, и заблестели. Он протянул ноги по земле, положил кулаки под голову и заулыбался. На Цвибуша водка не повлияла. Его голова осталась в таком же состоянии, как и была. На Ильку водка подействовала угнетающим образом. Она села особняком, в стороне, подперла голову ладонями и задумалась.

– Пей, старина! – угощал Артур. – Лучше быть пьяным и веселым, чем трезвым и скучным. Хорошая водка наше спасение... Не будь ее, пропал бы человек! Пьем за ее существование! За что я тебе зубы выбил? Ты не помнишь?

– Как не помнить? Помню... Вы были немножко под хмельком и потребовали от меня, чтобы я поймал ртом подброшенный бильярдный шар. Когда я не изъявил желания исполнить ваше приказание, вы и приняли строгие меры...

– Скотина! – проворчал Артур.

– Кто?

– Послушай, красавица! – вдруг обратился фон Зайниц к Ильке. – Ты мне ужасно напоминаешь одну девушку, в которую я был влюблен в детстве. Девочки этой не было, она не существовала, но мне про нее каждый вечер рассказывала моя няня. Я ее воображал себе именно такой, как ты. Эта

девочка, по словам моей няньки, жила в некотором царстве, в некотором государстве, в большом тюльпане. Она сидела на пестике и поглядывала из-за листьев тюльпана на мир божий. Занятия у нее были самые разнообразные. Она ухаживала за цветами, разливала в бутылки росу, которую употребляла для ванн и питья, пела песни. Девочка эта, забыл я тебе сказать, была ростом не более твоего мизинца. Ела она один только мед, который носили ей пчелы. Одевалась в пурпуровые листья маковых цветов. Специальность ее была медицина. Она заговаривала зубы, перевязывала раны, приготавливала капли и т. д. Одному кузнечнику, который в схватке с пауком сломал себе ногу, она сделала операцию с такою ловкостью и с таким знанием, какому может позавидовать даже Бильрот¹⁸⁸. Занимаясь медициной, она не брезговала и другими ремеслами. Она обшивала бедных насекомых, починала камергерские мундиры золотых жуков, душегрейки божьих коровок... Насекомые уважали ее, как мать родную, и любили ее больше всего на свете. Еще бы! Она совсем разорилась на нищих-червей, которые со всех сторон ползли к ней за подаяньем; она потеряла голос, читая проповеди насекомым. Проповеди ее были верхом ораторского искусства. Из достоверных источников известно, что десять трутней, прослушав ее проповедь «о лени», заплакали от угрызения совести и принялись собирать мед. Она выдавала бабо-

¹⁸⁸ ...*может позавидовать даже Бильрот.* – Теодор Бильрот (1829—1894), известный немецкий хирург, оперировавший в 1877 г. Н. А. Некрасова.

чек замуж, причем в приданое давала им прекраснейшие кисейные платья. Она женила сверчков, строго-настрого приказывая им, чтобы они по ночам не беспокоили жен своим криком... Настоящая была мать! Является однажды к этой девочке тарантул и просит ее, чтобы она заговорила ему зубы. Девочка заговорила ему зубы, и у паука моментально исчез с лица флюс. «Ладно, – сказал паук. – Спасибо. Я тебе за твою работу когда-нибудь соуса из мухи пришлю... Послушай, гениальная мысль пришла мне сейчас в голову! Выходи за меня замуж! А? Выйдешь?» Девочка засмеялась и сказала, что она ни в каком случае не может быть женой паука. «Я не люблю тебя, – сказал паук, – ты мне не нравишься, но я хочу брать дань с тех насекомых, которых ты лечишь, одеваешь и учишь читать... Мне нужны деньги. Не хочешь? Хорошо же! Если через три дня ты не дашь мне своего согласия, то я тебя убью вот этими самыми зубами!» Паук показал девочке свои страшные зубы и пошел домой. Девочка сообщила об угрозе паука всем своим протеже. Те слетелись, напоззли к ней со всех сторон и стали вокруг нее в оборонительную позицию: «Умрем, но не выдадим!» – воскликнули они. Явился паук. «Согласна?» – спросил он девочку. – «Не согласна. Не заводи, паук, неудовольствий! Посмотри, сколько у меня защитников!» Паук посмотрел и увидел не защитников, а трусов, которые были бледны и дрожали всем телом. Он громко засмеялся и на глазах всего насекомого мира зарезал своими скверными зубами бедную девочку. Убив ее, он

покойно отправился домой. Пчелы сделали из воска гроб и положили в него девочку... Муравьи взялись выкопать могилу. За гробом шли комары, которые превосходно пели и играли на трубах. Золотой жук прочел надгробное слово... Одним словом, похороны вышли шикарные. Поминки были еще лучше. Ели и пили все насекомые до боли в животах. После поминок насекомые выпались, поручили сороконожке собирать на памятник и разлетелись по домам...

– И конец? – спросил Цвибуш.

– Что же тебе еще нужно? – спросил барон. – Хочешь, чтобы паука в тюрьму посадили? Держи карман! Нянька моя была отличный педагог. Она мне не лгала даже в сказках. У нее не торжествовала добродетель. Паук и до сих пор сидит у себя в норе и кушает соус из мух, а подлые насекомые, больные и изорванные, небось чаще вспоминают о вкусных поминках, чем о девочке. Царство тебе небесное, няня! Ты отлично знала природу! Выпьем, старина! Ну, что, Илька? Нравится тебе моя сказка? Ты почему-то ужасно напоминаешь мне девочку... Неужели и тебя тарантул съест? Ха-ха-ха... Очень может быть... Отчего же и не съест, если можно? Зубы есть, и жрите... Однако ты меня не слушаешь. Илька! У тебя лицо такое, точно нас здесь нет!

Илька восторженно и умоляющими, вопросительными глазами поглядела на Артура.

– Не могу о ней забыть! – прошептала она.

– Ты всё о том же? Покориться нужно, дитя! Советы ка-

нальи-судьи остаются во всей своей силе. Лучшего ничего не выдумаешь. Купи отцу свинцовой примочки и сделайся графиней...

– Вы всё шутите! Боже мой! Графиней... Разве это возможно?

– Возможно, если сумеешь выйти замуж за какого-нибудь графа, и невозможно, если не сумеешь. Но ты едва ли сумеешь... Вот ежели бы к твоей рожице да прибавить презренного металла побольше – ну, тогда и сомневаться не было б надобности. И я бы, чёрт возьми, женился. Вышла бы за меня, Илька?

– Вы барон? Вышла бы... Я и за барона пошла бы...

– Я и граф... Ха-ха-ха... Не выкинуть ли мне разве штуки? Стой, стой... Штука вышла бы удивительная!

Барон на минуту задумался.

– Нет... – сказал он. – Это было бы уж слишком... Не стоит. Я люблю девочку в тюльпане, но увы! – женитьба должна дать мне не менее миллиона франков.

– Некрасиво жениться на деньгах, доктор! – сказал Цвибуш, на которого уже начинала действовать водка. – Женитьба на деньгах считается, доктор, низким поступком.

– Что ж делать! Я решусь на подлость. Мне миллион нужен во что бы то ни стало. С миллионом в руках... Впрочем, вам не следует этого знать. Я показал бы им!

– И на старухе женились бы?..

– Хоть на чёрте... За миллион всё! Миллион – это рычаг,

которым я переверну ад с его чертями и огнем. Я говорю не про будущий ад, а про тот, в котором я теперь нахожусь. Если я не сделаю подлости, то этим самым дам возможность другим натворить тысячу подлостей. Девочка в тюльпане, – обратился Артур к Ильке, – отчего у тебя нет миллиона? Будь у тебя миллион, у меня была бы хорошенькая жена, а ты была бы графиней, исполнила бы один из советов судьи...

– Вы всё шутите! – вздохнула Илька.

– Нисколько не шучу... Достань-ка миллион, попробуй! Непременно баронессой сделаю! Достань-ка!

– Не выпить ли нам, доктор? – предложил Цвибуш. – В нашу беседу начинает вкрадываться фантастический элемент... Бог с ней, с фантазией! Нам ли толковать о миллионах? Легче мне проглотить собственную голову, чем увидеть когда-нибудь миллион... Не будем же говорить о деньгах! Разговоры порождают зависть...

– Молчи, пожалуйста! Отчего же не помечтать, если делать нечего? А я тебе, старый окорок, повторяю, что, будь у тебя миллион, я отнял бы у тебя девочку и посадил бы ее в тюльпан... Я пьян? Хорошо! Она мне, ей-богу, нравится! Посмотри, какой у нее носик! Ах, чёрт возьми! Достань, Илька, миллион!

– А как достать миллион? – спросила Илька.

– О, наивность! *Sancta simplicitas!*¹⁸⁹ Как достать миллион? Достать его можно различными способами. Способы бы-

¹⁸⁹ Святая простота! (*лат.*)

вают тяжелые и легкие... Тяжелый способ заключается в бесконечном труде, труде свободном и разумном, при котором ночей не спят, недоедают и болеют. При таком способе миллион приходит только в старости, когда не стоит выходить замуж. Ты – женщина, не имеешь достаточно разума и хочешь замуж, а потому этот способ для тебя не годится. Второй способ, легкий по существу и иногда тяжелый по последствиям, состоит в забвении одной всем мешающей вещи – совести. Вору и грабю. Чем ты умней и беззастенчивее, тем раньше ты сделаешься баронессой фон Зайниц. Воровать и грабить можно не на одних только дорогах. Можно воровать и души, сидя у себя в кабинете. Этот способ я тебе не рекомендую. Если ты недостаточно умна, то он чреват последствиями: можешь угодить к чёрту. Третий способ – получи наследство... Какой же четвертый способ? Четвертый способ, наичаще употребляемый женщинами и не всегда пренебрегаемый мужчинами, заключается в умении пользоваться своим телом. Чем лучше у субъекта тело, тем ближе он к миллиону. Этот способ к тебе наиболее подходит, Илья!

– Наименее! – сказал Цвибуш. – Он не годится! Оставим его в покое, барон! От этого пикантного способа пахнет салом, а Илья...

– Молода? Ничего, пусть знает! Для чего скрывать от нее то, чего ей следует остерегаться? Итак, я продолжаю... Умей, Илья, со вкусом одеваться, вовремя показывать из-под платья свою хорошенькую ножку, лукавить, кокетничать... За

каждый поцелуй ты возьмешь минимум тысячу франков... При твоей теперешней обстановке тебе едва ли много дадут; но если бы ты сидела в ложе или в карете, то...

– Ну-ну... довольно! – забормотал Цвибуш. – Бог знает чем пичкаете вы голову этой девчонки!.. Оставим этот разговор! Прошу вас, доктор! Я переменяю разговор... Так... Правду ли говорят, что вы на прошлой неделе приняли лютеранство?

– Правда... Последний способ – самый легкий и не самый безобразный. Приобрети, Илька, великосветские манеры, научись болтать и, верь моему знанию, ты будешь иметь миллион. Этот способ употребляется слишком часто. Пользовались бы им семь восьмых женщин, если бы семь восьмых были красивы и имели цену на рынке. Попадись ты мне семь-восемь лет тому назад, я непременно купил бы тебя... Хорошенькая бестия.

– Тише, барон, ради бога тише! – проговорил Цвибуш. – Не будем языку давать волю! – Цвибуш с боязнью поглядел на дочь: Илька сидела и со вниманием слушала барона, по-видимому, несколько не стесняясь содержанием и формой его речи.

– Я понимаю, – сказала она. – Но неужели вы в состоянии жениться на женщине, которая продала себя?

– В состоянии. Ведь я, женись на приданом, тоже продаю себя! И так далее и так далее... У меня к тебе есть просьба, Илька...

Барон приподнялся и из жилетного кармана вынул золотую монету.

– Возьми, милая моя, эти деньги и в первом попавшемся городе сними с себя фотографический портрет. Понимаешь? Портрет ты пришлешь мне... вот по этому адресу...

Барон подал Ильке золотую монету и карточку, на которой был написан адрес.

– Мне хочется почаще видеть девочку в тюльпане... Я хочу носить ее постоянно в своем боковом кармане... Пришлешь?

– Да.

– Ну и отлично. А теперь, друзья, adieu!¹⁹⁰ Я спать хочу.

Барон растянулся на траве и положил охотничью сумку себе под голову.

– Прощайте. Очень рад знакомству. Буду ожидать портрет и женюсь, если достанешь миллион...

Цвибуш встал и поклонился.

– Благодарю вас, барон, – сказал он. – Вы нас покормили, не позволите ли вы нам поиграть вам за это? Под нашу скучную музыку отлично спится!

– Сделайте одолжение!

Цвибуш настроил скрипку и заиграл из «Боккачио»¹⁹¹ под аккомпанемент Илькиной арфы. Барон кивнул головой в

¹⁹⁰ прощайте (*франц.*)

¹⁹¹ ...заиграл из «Боккачио»... – Оперетта немецкого композитора Фр. Зуппе (1820—1895).

знак своего удовольствия и закрыл глаза... Когда музыканты кончили играть и хотели отойти от него, он открыл глаза и остановил свой мутный взгляд на Ильке.

– Так, так... Понимаю, – пробормотал он. – Это ты, Илька? На тебе на память!

Барон отстегнул от своей цепочки один из медальонов, подал его Ильке, упал головой на сумку и заснул как убитый.

Глава III

Когда проснулся фон Зайниц, был уже вечер. Верхушки деревьев и каменные постройки маленького, стоящего на возвышенности, городка купались в золоте заходившего светила. Золото это, слегка окрашенное в пурпур, парчой стлалось по небу от солнца к востоку и заволакивало собой добрую треть неба... Около солнца и над ним не было ни одного облачка; последнее обстоятельство обещало прекрасную ночь. Далеко за лесом играла свирель возвращавшегося пастуха. Она играла простую песенку, не имевшую имени: музыка машинальная, беспорядочная, но под эту незатейливую музыку каждый вечер богатырским сном засыпают и леса графов Гольдаугенов, и рожь, и ковыль, и река...

Артур увидел возле себя на траве две валявшиеся бутылки и газетную бумагу, оставшуюся после свертка. Старого толстяка и хорошенькой белокурой девочки возле него уже не было. Он вспомнил их, свою беседу с ними – и улыбнулся.

ся, даже засмеялся, когда, посмотрев себе на грудь, увидел прицепленную к одной из пуговиц бумажку. На этой бумажке карандашом было написано следующее:

«Милый барон! Вы первый человек, который обошелся с нами по-человечески. До вас о человеческом обращении мы знали только понаслышке... Зато – вы первый человек, о котором я буду вспоминать не с горьким чувством, а с наслаждением. Ваше внимание нас тронуло до глубины души. Прощайте! Дай бог вам счастья! Карточку вышлю.

Ваша слуга – Илька».

– Ни одной грамматической ошибки! – произнес вслух фон Зайниц, прочитав дважды это письмо, написанное симпатичным женским почерком. – Это удивительно! Ай да Илька!

Барон вынул из записной книжки оловянный карандашик и написал: «Получено от девочки в тюльпане 13-го июня». Сложив это письмо вдвое, он спрятал его в карман записной книжки.

– В путь! Обедать пора! – и, перекинувши ружье через плечо, барон пошел по лесу, направляясь к городку, с которого уже начала сходить позолота, на короткое время наложенная солнцем.

Ему пришлось идти длинной и неширокой просекой, усыпанной щебнем. Просека тянулась почти до самого город-

ка. На середине она пересекалась железной дорогой. Недалеко от перекрестка, образуемого просекой и полотном железной дороги, стоит дом лесничего Блаухера.

Подойдя к перекрестку, Артур повернул, снял шляпу и поклонился: на террасе домика сидела старая мадам Блаухер и вышивала скатерть. На ее крошечной голове сидел большой чепчик с широчайшими бантами, а из-под чепчика выглядывали стариннейшие, дедовские очки: они сидели на длинном тупом носу, напоминавшем большой палец ноги... На поклон Артура она ответила слащавой улыбкой.

– Добрый вечер, фрау Марта! – сказал барон. – Писем мне нет?

– Есть, но только одно. С гербом, барон...

– Адрес написан рукой Пельцера?

– Да...

– Ну, так бросьте его, Марта, в печь. Я знаю его содержание. Жид, под диктовку моей сестрицы, проклиняет меня за принятие лютеранства... И так знаю, без чтения. Муж ваш здоров? И фрейлейн Амалия, надеюсь, тоже?

– Благодарю вас... Мне придется, значит, сжечь шестое уже письмо... Занятие не особенно приятное, если знаешь, что над этим письмом трудились, чувствовали... Как вы жестоки! Теперь вы куда идете?

– Обедать... куда-нибудь...

– И к кому-нибудь?

– Да...

Старушка вздохнула и покачала головой.

– Не будь мой Блаухер так осторожен, – сказала она, – и я дала бы вам пообедать. Мой муж рвет на своей голове волосы, когда к нам ходят знатные господа. К нам ездит генерал Фрехтельзак; но ведь он старик – его нельзя бояться... За него и не боится мой Блаухер... Для него вы страшны. Вы пообедаете у нас, а соседи скажут, что вы ухаживаете за нашей дочерью, и бог знает чего ни наговорят. Знатный человек ходит ведь не затем, чтобы жениться, а известно зачем... Ну, Блаухер и боится... А генерал Фрехтельзак – совсем другое дело!

– Не беспокойтесь, Марта! Я пообедаю и в другом месте.

– Да, по правде сказать, у нас сегодня и обед никуда не годится. Беда в теперешнее время с прислугой – ничего с ней не поделаешь!

– Прощайте, Марта! Поклон вашим!

– Прощайте, барон!

Барон поклонился и пошел к просеке. Темные вечерние тени уже ложились на землю. В лесном воздухе становилось свежо. Позади Артура с шумом промчался вечерний дачный поезд, развозивший горожан по полям и лесам... В лесу вечер начинается раньше, чем в поле. В поле можно было продеть нитку в иглу... Когда стих шум от дачного поезда, Зайниц услышал позади себя конский топот. Он оглянулся и остановился: на прекрасном вороном коне неслась к нему амазонка. Она пронеслась мимо, заглянула на Артура и, про-

ехав несколько сажень, осадила лошадь.

– Фон Зайниц? – спросила громко всадница.

– Он самый...

Артур подошел к амазонке и поклонился. В лесу стемнело, но еще не настолько, чтобы нельзя было увидеть, как хороша была всадница. От всей ее фигуры так и веяло воистинну герцогским величием.

Будь здесь Цвибуш и Илька, они узнали бы в ней ту самую всадницу, которую мы, в первой главе нашего рассказа, вместе с Цвибушем, назвали графиней Гольдауген, урожденной Гейленштраль. В ее руках был тот самый хлыст, который в полдень рассек губу Цвибуша.

– Я узнала вас при первом взгляде, – сказала она, подавая Артуру руку. – Вы немного изменились... Впрочем... с вами можно говорить или нет? Последнее письмо ваше ко мне было полно ненависти, негодования, самого отчаянного презрения... Вы еще так же сильно ненавидите, как и ненавидели?

Барон пожал ее красивую руку и улыбнулся.

– Мое письмо, – сказал он, – преступление, которое можно простить мне за давностью лет. Оно писалось четыре года назад. В этом письме я ненавидел вас за ваше корыстолюбие, которое не позволило вам выйти замуж за любимого, влюбленного, но разорившегося человека. В настоящее время я менее всего склонен сердиться на вас за ваше корыстолюбие. Три часа назад я беседовал о своей будущей женитьбе

на деньгах... Я еще живу на этом свете и не отправляю себя на тот только потому, что имею цель в жизни... Эта цель – женитьба на миллионе...

– Вот как! За последние четыре года убеждения ваши, значит, сильно изменились. Однако я рада... Я встретила вас так неожиданно! Очень приятно, барон, ей-богу, приятно! Спасибо хоть за то, что встретились!

– Ни в каком случае я не мог ожидать, что когда-либо встречу вас в этих местах. Вы как сюда попали?

– Я... Разве вы не знаете? Я здешняя обитательница... И уже давно...

– Вы, баронесса? Каким образом?

– Я теперь уже не баронесса Гейленштраль, а графиня фон Гольдауген. Два года назад я вышла за вашего соседа, графа Гольдаугена...

– Не слыхал... Скажите, какие новости! За графа... Я его не знаю... Он красив?

– Нет...

– Странно... Вы любительница красивых мужчин, насколько я вас знаю. Любили вы меня потому, что я, как говорят, был чертовски красив. А он – молод, богат?

– Ему под сорок... Он очень богат...

– Счастливы, разумеется?

– Нисколько. Я тоже вышла замуж за миллион. Двухлетний опыт показал мне, что я сделала страшную ошибку. Счастье не в миллионе, как оказалось... Я теперь занимаюсь

только тем, что изобретаю способ, как бы удрать от миллиона!

Графиня засмеялась, и ее взгляд на некоторое время остановился на темнеющем небе. Помолчав немного, она со смехом продолжала:

– Значит, мы с вами теперь поменялись ролями, барон. Я теперь ненавижу то, что прежде любила, а вы – наоборот... Как, однако, странно меняются обстоятельства на этом скучном свете!

– Вы хотите бежать миллиона для счастья, а я ищу миллион не для того, чтобы записаться в счастливики... Цели, как видите, разные...

– Вам решительно ничего не известно о моей новой жизни?

– Ничего...

– Значит, толки ходят не особенно сильные... Я затеяла развод со своим мужем...

– Затея веселая... А живете – у него теперь?

– Ну, да... Странно немножко, это правда... Но мы, во избежание лишних сплетен, уедем друг от друга только тогда, когда наш разрыв окрасится в казенный сургуч... Я улечу отсюда, когда я буду официально свободна... Впрочем, всё это вам неинтересно... Я так обрадовалась встрече со старым знакомым и... другом, что готова бессовестно выболтать все свои тайны и не тайны... Поговорим о вас лучше... Вы как живете?

– Как видите. Живу где придется...

– Науки бросили? Совершенно?

– Бросил и, по всей вероятности, совершенно...

– И совесть ученого человека покойна?

– Ну... Наука во мне потеряла немного больше нуля...

Невелика потеря...

Графиня пожала плечами и покачала головой.

– Вы, Зайниц, оправдываетесь, как школьники, – сказала она. – Немного больше нуля... Молодые ученые не имеют настоящего, у них есть будущее. Кто знает: быть может, если бы вы продолжали ваши занятия науками, то вы были бы для науки в тысячу раз больше нуля!

– Вы неправильно выражаетесь, – засмеялся фон Зайниц, – нуль, помноженный на тысячу, равен нулю.

– Вы окончательно разорены? – спросила графиня, как бы не слушая фон Зайница.

– Окончательно. У вас есть с собой деньги?

– Немного есть. А что?

– Отдайте мне их.

Графиня быстро вынула из кармана маленький портмоне и подала его Артуру. Артур высыпал деньги себе в кулак, а портмоне подал графине.

– Мерси, – сказал он. – Беру займы. Отдам на другой день после свадьбы. Вы удивляетесь? Какие у вас удивленные глаза! Я не только прошу и беру, но даже еще жалею, что в вашем портмоне было так мало.

Графиня посмотрела в его глаза и подумала: «Он лжет».

– Я нисколько не удивляюсь, – сказала она. – Что странного и удивительного в том, что Артур фон Зайниц занимает немного денег у своего друга? Это дело житейское, обыкновенное...

– А кто вам сказал, что вы мой друг?

– Вы странны... Прощайте! С вами тяжело говорить.

Графиня кивнула головой, подняла хлыст и помчалась по просеке.

Глава IV

Когда она проехала всю просеку и выехала в поле, было уже темно... Город, горы были еще видны, но потеряли свои очертания. Бродящие люди и лошади имели вид силуэтов самой неопределенной формы. Кое-где зажглись огни. Графиня остановилась возле шалаша, построенного из камыша и соломы на одном из гольдаугенских огородов. Гольдаугены для своих огородов арендовали часть городской земли с незапамятных времен. Арендовали ради тщеславия. «Чем меньше вокруг моей земли чужих владений, – сказал когда-то один из Гольдаугенов, – тем более у меня причин держать высоко голову».

У шалаша стояли огородник и его сын. Увидев мчавшуюся к ним графиню, они сняли шапки.

– Здравствуйте, старый Фриц и молодой Фриц! – обрати-

лась графиня к огороднику и его сыну. – Очень рада, что застаю вас здесь. Если мне когда-нибудь скажут, что вы плохо исполняете свои обязанности, я буду иметь основание не поверить.

– Мы всегда находимся при своих обязанностях, – сказал старый Фриц, вытянувшись в струнку. – Ни на шаг не отходим от огорода. Но если, ваше сиятельство, господину управляющему или его холопам не понравится почему-либо моя рожа, то меня прогонят без ведома вашего сиятельства. Мы люди маленькие, и ради нас едва ли кто-нибудь станет беспокоить ваше сиятельство...

– Ты думаешь, Фриц? Нет, ты сильно ошибаешься... Я знаю всех наших слуг и, поверь, умею различить, кто хорош, кто плох, кого рассчитали. Я знаю, например, что старый Фриц порядочный слуга, и знаю, что молодой Фриц лентяй и зимой у пастора украл перчатки и трость... Мне всё известно.

– Вам известно, что у бедного пастора украли перчатки и трость, а неизвестно...

Старый Фриц замолчал и усмехнулся.

– Что неизвестно? – спросила графиня.

– Вашему сиятельству неизвестно, что собаки камердинера его сиятельства графа три недели назад искусали мою дочь и жену? Вашему сиятельству неизвестно, несмотря на то что вся деревня из кожи вон лезла, чтобы сделать это известным. Собаки камердинера терпеть не могут простой

одежды и рвут всякого, одетого по-мужицки. Господину камердинеру доставляет это удовольствие. Еще бы! Собаки валят женщину на землю, рвут ее одежду и... нагое тело, ваше сиятельство... Господин камердинер большой любитель бабьего мяса!

– Хорошо, хорошо... Ну, что ж ты хочешь?.. Этого я не знаю...

– Моя жена больна, а дочь стыдится показаться на улицу, потому что мужчины, по милости собак, видели ее в костюме Евы.

– Хорошо, хорошо... Разберу. Мне нужно вас спросить об одной вещи. Вы не видели сегодня по дороге к городу музыкантов, толстого старика и молодую девушку с арфой? Не проходили мимо?

– Не видел, ваше сиятельство! – сказал старый Фриц. – Может быть, проходили, а может быть, и не проходили. Много всякого народа проходит. Всех не увидишь и не запомнишь...

Графиня задумалась и впиалась глазами в темную даль.

– Это не они? – спросила она, указав хлыстом на два черневшиеся вдали человеческие силуэта.

– То оба мужчины, – сказал молодой Фриц.

– Очень возможно, что они остановились ночевать в деревне, – сказала графиня. – Они будут проходить здесь завтра в таком случае... Если вы их увидите, то немедленно пришлите их ко мне.

– Слушаю, – сказал старый Фриц. – Толстый старик и молодая девушка. Понимаю. А на что они вам, ваше сиятельство? Вероятно, украли что-нибудь?

– Почему же непременно украли?

– Да так, ваше сиятельство. В графстве Гольдауген только и занимаются тем, что воров ищут. Мода такая. В графстве Гольдауген воруют только главные, а ворами считаются все.

– Вот как! Гм... Завтра можешь искать себе другое место. Чтобы завтра в этом графстве не было ни одного Фрица!

Сказав это, графиня повернула лошадь и поскакала назад к просеке.

– Как она красива! – сказал молодой Фриц. – Как хороша!

– Да, очень красива, – сказал старый Фриц. – Но нам какое до этого дело?

– Чрезвычайно хороша! Клянусь тебе истинным богом, отец, что не я уворовал у пастора перчатки и трость! Я никогда не был вором! Если я лгу тебе, то пусть я ослепну сию же секунду. Меня оклеветали ни за что ни про что... И она поверила этой клевете! Подлые люди!

Молодой Фриц помолчал и продолжал:

– Но пусть же недаром клеветают эти подлые люди! Пусть недаром смеются они над нами... Я уворую. Когда она говорила с тобой, а я глядел на ее красивое лицо, я дал себе честное слово уворовать... И я украду! Я украду у графа Гольдаугена то, чего не сумею уворовать ни одному из его управляющих. И я сдержу честное слово.

Молодой Фриц сел и задумался. Новые, в высшей степени сладкие, не крестьянские, а бальзаковские мечты охватили его мозг и сердце. Грандиознейший воздушный замок в несколько минут был построен его разгоревшимся юношеским воображением... То, что час назад показалось бы ему безумным, несбыточным, и моментально было бы изгнано из головы, как нечто детски-сказочное, – теперь вдруг приняло образ задачи, которую явилось настоящее желание решить во что бы то ни стало. Воздушный замок понадобилось вдруг обратить в более прочный...

Когда у молодого Фрица закружилась его разгоряченная мечтами голова, он вскочил, протер пальцами глаза и с хохотом закричал отцу:

– Наверное украду! Пусть тогда обыскивают!

–

Графиня ехала домой. На пути попался ей навстречу барон фон Зайниц, который всё еще шел обедать.

– Мы, полагаю, еще увидимся? – крикнула ему графиня.

– Если хотите, то да.

– Мы найдем, о чем нам говорить. При той скуке, которую я теперь переживаю, вы для меня находка. Мне пришла в голову одна маленькая идейка. Не хотите ли отпраздновать вместе со мной день вашего рождения, который будет в четверг на будущей неделе? Видите, как я еще помню вас? Я не забыла даже день вашего рождения... Хотите?

– Извольте...

– Нам нужно будет сойтись где-нибудь... Вот что... Вам знакомо то место, где стоит «Бронзовый олень»?

– Да.

– Там нам никто не мешает вспомнить старину. Быть там в семь часов вечера.

– Вино мое.

– Отлично. Adieu! Кстати, барон. Будем вперед беседовать на французском языке. Я не забыла, что вы не любите немецкого. А насчет «шарлатана» и умных людей – подумайте. Adieu!

Графиня ударила по лошади и через минуту исчезла в темнеющем всё больше и больше лесном воздухе.

Баронесса Тереза фон Гейленштраль была тем «чистым, неземным существом», на котором впервые отдохнули глаза и чувства Артура после отвратительной парижской жизни. Артур сделал слишком резкий поворот от разгула к труду благодаря не одному только уважению к науке: этому повороту много способствовала и баронесса. Без нее не было бы полного обновления.

По приезде из Парижа в Вену Артур зажил отшельником. В одиночестве он мечтал об успокоивающем труде, проклинал этот свет с его людьми и, сам того не желая, вздыхал... о парижских кокотках. Неизвестно, чем бы кончилось это одиночество, если бы Артуру, вскоре после своего приезда, не пришлось попасть в число постоянных посетителей дома баронов Гейленштраль. В бытность Артура в Вене дом Гейлен-

штралей мог посещать всякий желающий. Собственно говоря, никого они и не приглашали, а ходили к ним все любители ходить в дома великих мира сего без приглашений, если только двери не заперты.

В последние годы дом этот напоминал благочестивого человека, который, узнав о приближении своей смерти, махнул на всё рукой и пустился во все тяжкие, чтобы хотя денек пожить по-человечески.

Бароны Гейленштрали, истаскавшиеся и разорившиеся, ищущие спасения и не находящие его, предчувствуя предсмертную агонию, махнули на всё рукой и потеряли всякую способность обращать на что-либо внимание. Всё было забыто, кроме приближающегося ужасного финала. Ужас пред приближающеюся развязкой был с успехом заглушаем вином, любовью и мечтами. Гейленштрали еще мечтали о возможности спасения. Спасение, они думали, было в руках Терезы, которая может выйти за очень богатого человека и замужеством поправить плохие дела своей семьи. Но и эта надежда была только мечтой. Тереза была в ссоре с отцом и клялась, что она, выйдя замуж за богатого человека, не даст своим родственникам ни гроша.

Гейленштрали махнули рукой и начали доедать то, что еще не было съедено. Доедали они не просто, а отчаянно, торжественно, с шумом и треском, точно раньше никогда не едали. Двери их дома отперлись сами собой, и в них хлынула полуголодная толпа пожирателей объедков. Пожирате-

ли явились в образе разорившихся аристократов, писателей, художников, артисток, музыкантов, с их великолепными костюмами, эффектными лицами, тонкими запахами, замечательными инструментами и голодными желудками. Пожиратели мигом завладели домом баронов, и Гейленштрали, беднеющие и жаждущие спасения, вдруг увидели себя на высоте меценатства. Дом их украсился кулисами, картинами, редкими акварелями. Квартал по вечерам оглашался звуками симфоний, ноктюрнов, вальсов и полек. Музыкально-литературные вечера, на которых играли и читали, приобрели себе известность, а за известностью и массу посетителей из всех слоев общества. На всех этих вечерах и спектаклях присутствовала и Тереза. Красивая, точно из мрамора высеченная, вся в черном, она слонялась в пестрой толпе пожирателей, от одного артиста к другому, всеми силами стараясь отделаться от своей томительной скуки. Люди, которые составляли толпу, были для нее новы. Они заинтересовывали ее. От скуки она принялась за их изучение. Она впивалась глазами в эффектные лица, слушала, говорила, читала сочинения в подносимых ей рукописях и путем долгого изучения пришла только к одному заключению: между ними есть порядочные малые, есть и шарлатаны. Это заключение было единственным результатом ее изучения. Не обладающая более тонким анализом, она не сумела отделить порядочных малых от шарлатанов. Она приблизила к себе некоторых, но и между этими некоторыми было много и светлых лично-

стей, были и шарлатаны. В числе избранных находился и фон Зайниц.

Попал он в дом Гейленштралей нечаянно. Его затащил туда один приятель-автор, желавший показать ему свою комедию, которая давалась на сцене баронов. Вскоре, не довольствуясь спектаклями и литературными вечерами, он начал посещать дом Гейленштралей и днем. Тереза, ездившая по вечерам верхом обыкновенно в сопровождении грума, вскоре начала делать свои вечерние прогулки в сообществе Артура. Каждый вечер Артур с увлечением рассказывал ей о том, что сделал он в истекший день, что прочитал, что написал. За отчетом следовали неизбежные мечты, надежды, предположения. Тереза слушала его и сама говорила. Она так и сыпала фамилиями известных ученых, которых она знала... понаслышке, от Артура. Они стали друзьями. Говорят, что от дружбы до любви один лишь шаг. Артур не думал о любви. Ему достаточно было только одного общества умной, свежей женщины. О любви заговорил он лишь тогда, когда Тереза в одну из вечерних прогулок призналась ему, что любит его... Она первая заговорила о любви. После этого признания потекли дни, которые, как говорят, бывают раз только в жизни. Никогда в другое время не был так счастлив и доволен жизнью Артур, как в эти дни, проведенные с любимой женщиной. Это счастье, однако, тянулось недолго. Оно было разрушено Терезой. Когда он потребовал от любимой и несомненно любящей девушки, чтобы она стала его

женой, баронессой и «докторшей» фон Зайниц, она отказала ему наотрез.

«Я не могу выйти за вас замуж, – писала она ему. – Вы бедны, и я бедна. Бедность уже отравила одну половину моей жизни. Не отравить ли мне и другую? Вы мужчина, а мужчинам не так понятны все ужасы нищеты, как женщинам. Нищая женщина – самое несчастное существо... Вы, Артур, напрасно заговорили о замужестве... Вы этим самым вызываете на объяснения, которые не могут пройти бесследно для наших теперешних отношений. Прекратим же эти тяжелые объяснения и будем жить по-прежнему».

Артур в клочки изорвал это письмо и написал ответ, в котором призывал на голову Терезы грома небесные. Он погорячился и написал «неземному существу» огромное письмо, в котором проклинал «дух времени» и воспитание... Трогательные письма, которые потом присылались в оправдание отказа, не читались и бросались в печь. Артур до того возненавидел Терезу, что всё, напоминающее ему ее, потеряло в его глазах всякую цену. Он возненавидел всё величественное, строгое, гордое и всей душой привязался ко всему мизерному, забитому, бедному...

Идя обедать, Артур припомнил всё это... Ему смешно был теперь его трактат «о духе времени», но старинная ненависть зашевелилась в нем. Он не успел еще расстаться с этою ненавистью.

В четверг, в день своего рождения, Артур вспомнил обе-

щение, данное Терезе, пообедать с нею вместе: он отправился к «Бронзовому оленю». Так называлась маленькая поляна, на которой был убит когда-то королем олень с шерстью бронзового цвета. Другие же говорят, что здесь во время оно стояла статуя «Охоты» – олень, вылитый из бронзы, заменявший собой Диану. Говорят, что король, по приказанию которого ставилась эта статуя, был целомудрен и на статуи классических женщин смотрел с отвращением.

Когда Артур пришел на поляну, Тереза уже была там. Она нетерпеливо шагала по траве и хлыстом сбивала головки цветов. Лошадь ее была привязана в стороне к дереву и лениво ела траву.

– Хорошо же вы принимаете своих гостей! – сказала графиня, идя навстречу Артуру. – Хорош вы хозяин! Вы гуляете, а гостья ожидает вас уже более часа...

– Я ходил за вином, – оправдался Артур. – Прошу садиться! Нам с вами не впервые приходится сидеть на траве. Помните былое время?

Графиня и Артур сели на траву и принялись вспоминать былое... Они вспоминали, но не касались ни любви, ни разрыва... Разговор вертелся около венского житья-бытья, дома Гейленштралей, артистов, вечерних прогулок... Барон говорил и пил. Графиня отказалась от вина. Выпив бутылку, Артур слегка опьянел; он начал хохотать, острить, говорить колкости.

– Вы чем теперь питаетесь? – спросил он между прочим.

– Чем? Гм... Известно чем... Гольдаугены не бедны...

– Вы едите и пьете, значит, графское?

– Не понимаю, для чего эти вопросы?!

– Но умоляю вас, ответьте, Тереза. Вы графское едите и пьете?

– Ну да!..

– Странно. Вы терпеть не можете графа и в то же время живете у него на хлебах... Ха-ха-ха... Каково? Каковы, чёрт возьми, правила? Меня ваши мудрые люди считают шарлатаном; какого же они мнения о вас? Ха-ха-ха!

По лицу графини пробежала туча.

– Не пейте больше, барон, – сказала она строго. – Вы делаетесь пьяны и начинаете говорить дерзости. Вы знаете, что обстоятельства заставляют меня жить еще у Гольдаугена.

– Какие обстоятельства? Боязнь злых языков? Стара песня! А скажите мне, пожалуйста, графиня, сколько обязуется давать вам ежегодно граф после развода?

– Ничего...

– А зачем вы говорите неправду? Да вы не сердитесь... Я по-дружески. Не теребите хлыста. Он не виноват. Ба!

Барон ударил себя по лбу и приподнялся.

– Позвольте... Как же это я раньше-то не обратил внимания?

– Что такое?

Глаза барона забегали. Они перебегали с лица графини на хлыст, с хлыста на ее лицо. Он нервно задвигался.

– Как же это я раньше не вспомнил! – забормотал он. – Так это вы изволили угостить старого толстяка и мою девочку в тюльпане?

Графиня сделала большие глаза и пожала плечами.

– В тюльпане... Толстяка... Что вы бормочете, фон Зайниц? Вы стали заговариваться. Пить не нужно!

– Драться не нужно, милостивая государыня!

Барон побледнел и ударил себя кулаком по груди.

– Драться не нужно, чтобы чёрт вас взял с вашими аристократическими замашками! Слышите?

Графиня вскочила. Ее глаза расширились и заблестали гневом.

– Не забывайте, барон! – сказала она. – Не угодно ли вам взять вашего чёрта обратно? Я не понимаю вас!

– Не угодно! К чёрту! Не думаете ли еще отказаться от вашего низкого поступка?

Глаза графини сделались еще больше. Она не понимала.

– Какого поступка? От чего мне отказываться? Я не понимаю вас, барон!

– А кто во дворе графа Гольдаугена вот этим самым хлыстом ударил по лицу старого скрипача? Кто повалил его под ноги вот этой самой лошади? Мне называли графиню Гольдауген, а графиня Гольдауген только одна?

Яркий, как зарево пожара, румянец выступил на лице графини. Начиная от висков, он разлился до самого кружевного воротничка. Графиня страшно смутилась. Она закашлялась.

– Я не понимаю вас, – забормотала она... – Какого скрипача? Что вы... болтаете? Образумьтесь, барон!

– Полноте! К чему лгать? В былые годы вы умели лгать, но не ради таких мелочей! За что вы его ударили?

– Кого? Про кого вы говорите?

Голос графини был тих и дрожал. Глаза бегали, точно пойманная муха. Ей было ужасно стыдно. А барон опять уже полулежал на траве, упорно глядя в ее прекрасные глаза и злобно, пьяно ухмыляясь. Губы его подергивались нехорошей улыбкой.

– За что вы его ударили? Вы видели, как плакала его дочь?

– Чья дочь? Объяснитесь, барон!

– Еще бы! Вы умеете давать волю своим белым рукам и длинному языку, но не умеете видеть слез! Она до сих пор плачет... Хорошенькая белокурая девочка до сих пор плачет... Она, слабая, нищая, не может отомстить графине за своего отца. Я просидел с ними три часа, и она в продолжение трех часов не отнимала рук от глаз... Бедная девочка! Она не выходит у меня из головы со своим плачущим благородным личиком. О, жестокие, сытые, небитые и никогда не оскорбляемые черти!

– Объяснитесь, барон! Кого я била?

– Ну, да! Вы думаете, по вашему лицу я не узнаю, где кошка, которая съела мышку? Стыдно!

Барон приподнялся и протянул руку к хлысту.

– Покажите!

Графиня покорно подала ему хлыст.

– Стыдно! – повторил он и, согнув спиралью хлыст, сломал его на три части и швырнул в сторону.

Графиня окончательно смешалась. Пристыженная, слушающая дерзкое слово первый раз в своей жизни, красная и не знающая, куда спрятать от судейских глаз барона лицо и руки, она не находила слов. Из этого неловкого положения несколько вывело ее одно маленькое обстоятельство. В то время когда Артур ломал хлыст, в стороне, за деревьями, послышались шаги. Через минуту графиня увидела Фрицев. Они вышли из-за деревьев и, с любопытством глядя на графиню и Артура, пошли через поляну. Впереди шел молодой Фриц с длинным удилищем через плечо. За ним, еле-еле передвигая ноги, тащился старый Фриц. В правой руке старого Фрица на веревочке болталась молодая щука.

– Господин Фриц, отчего же вы не в перчатках? – обратилась графиня к молодому Фрицу.

Фриц опустил глаза и, искоса поглядывая на графиню, зашевелил губами.

– Где ваша трость? Отчего вы не с тростью?

Молодой Фриц побледнел и зашагал быстро к деревьям. У деревьев он раз оглянулся и скрылся. Старый Фриц, молча и ни на кого не глядя, поплелся за ним.

– Вы извините меня, – заговорил барон после того, как скрылись за деревьями Фрицы. – Я не хочу вас оскорбить... Но, клянусь честью, я сумел бы отомстить за скрипача, ес-

ли бы вы не были женщиной... Стыдно, Тереза! Мне было стыдно за вас перед девочкой!

Барон поднялся и надел шляпу.

– Вы не находите слов для оправдания... И отлично! К чему лгать? Ваше оправдание – ложь.

– Я еще продолжаю не понимать вас, барон! – сказала графиня.

– Честное слово?

– Да... честное слово...

– Гм... Прощайте! Ваши красивые глаза полны лжи! Слава богу, что вы еще умеете краснеть, когда лжете.

Артур потянулся, кивнул головой и пошел через поляну, к лесной тропинке.

Лоб графини Гольдауген покрылся морщинами. Она мучительно думала, искала в своем мозгу слов и не находила... Ей страстно хотелось оправдать перед Артуром свой поступок, в котором стыдно было сознаться. Пока она думала, кусая свои розовые губы и ломая пальцы, Артур зашел за деревья.

– Барон! – крикнула Тереза. – Пойдите!

Вместо ответа графиня слышала только шум шагов удалявшегося Артура.

– Барон! – крикнула еще раз графиня, и ее голос задрожал от боязни, что барон уйдет. Шум от шагов затих.

Графиня постояла немного и опустила в раздумье на землю. Около нее валялись две пустые бутылки. Третья, со-

державшая в себе еще немного вина, стояла косо на траве и готова была упасть. Тереза допила вино из этой бутылки, поднялась и пошла к лошади.

Когда она выехала из поляны, она увидела в двух-трех шагах от деревьев, окружавших поляну, всадника, который садился на лошадь. Лошадь этого всадника, завидев графиню, весело заржала. Всадник был мужчина лет сорока пяти, высокий, тощий, бледный, с тщедушной бородкой. Севши на лошадь, он погнался за графиней.

– Пойдите! – сказал он тихим голосом. По тембру этого слабого, не мужского голоса можно было судить, что он вытекал из больной груди. – Пойдите! Я хочу сказать вам два слова! Только два слова!

Графиня не оглянулась...

– Вы шпионили? – сказала она. – Подсматривали?

– Но я люблю тебя! Я не могу прожить ни минуты, чтобы не видеть тебя. Два слова, только!!

Глава V

Графиня взглянула на своего мужа, графа Гольдауген (это был он), и поехала тише.

– Вам доктор запретил быстро ездить, – сказала она. – Поезжайте тише... Что вам нужно?

– Два слова, только.

– Ну?

– Кто он?

– Барон фон Зайниц.

– Фон Зайниц? Он? Так это фон Зайниц? Это тот человек, которого вы когда-то... любили?

– Может быть... Ну да, он. Так что же?

– Гм... Он и теперь красив... Зачем вы позволили ему кричать на себя? Какое он имеет право?

Граф помолчал, кашлянул и спросил:

– Пожалуй, вы его... можете и теперь полюбить? Ведь старая любовь может возвратиться?

– Дайте мне ваш хлыст! – сказала графиня и, взяв у мужа хлыст, сильно дернула за повод и помчалась по просеке. Граф тоже изо всей силы дернул за повод. Лошадь побежала, и он бессильно заболтался на седле. Бедра его ослабели; он поморщился от боли и осадил лошадь. Она пошла тише. Граф проводил глазами свою жену, опустил на грудь голову и задумался.

Дня через три Артур недалеко от домика лесничего Блаухера встретил Терезу. На этот раз она встретилась ему не амазонкой. Она гуляла в крестьянском платье. Платье имело вид обыкновенного, только что сшитого крестьянского платья, но было много дороже черной шёлковой амазонки. Вместо разноцветных грушевых гранат на шее ее висели бирюза, изумруды, кораллы и жемчуг. На каждой руке было по массивному браслету. Платье и венгерская куртка были сшиты из дорогой материи.

– Барон! – крикнула она, увидев Артура. – На минутку!
Когда он подошел к ней, она сказала ему:

– Вы вашими словами и уходом – помните? – задали мне задачу. Я вас поняла только после долгого размышления. Теперь я понимаю... Вы намекали на того старика... которого я ударила хлыстом! Да?

– Ну да... В чем же задача?

– Ну, вот! Понимаю теперь, про кого вы говорили... Мне нет надобности оправдываться перед вами, барон, но ради... ради удовлетворения нашего обоюдного чувства справедливости... Я его ударила за дело. Меня, по милости его, сбросила с седла лошадь... Я чуть не сломала себе ногу. И потом... он позволил себе смеяться...

Артур посмотрел в лицо графини и весело засмеялся.

– Полно лгать, ваше сиятельство! – сказал он. – К чему нам кормить друг друга ложью? Не нужно мне ваших оправданий... Да и к чему они? Я вижу первый раз в жизни ваши хорошенькие ножки, и для меня этого совершенно достаточно... Ножки ваши выше всякой критики! Пойдемте, погуляем. Прошу прощения за те дерзости, которыми я угостил вас около «Бронзового оленя». Пьян был...

Артур и Тереза гуляли долго. Беседовали они о самых обыкновенных вещах, много шутили, много смеялись... О старике-музыканте, его дочери, мудрых людях и «шарлатане» не было и помину. Барон не сказал ни одной колкости... Он был любезен, как в былые годы в Вене, в доме Гейлен-

штралей. Когда он проводил Терезу к ее кабриолету, стоявшему недалеко от домика Блаухер, было уже совершенно темно.

– Вы меня поучите стрелять? – спросила Тереза, садясь и кабриолет.

– Сколько хотите...

– Пожалуйста, барон. Я ужасно скучаю. Если вы уменьшите хоть немного мою скуку – вы мне сделаете благодеяние... Честное слово. Поможем друг другу.

Тереза пожала Артуру руку и уехала.

Через четыре дня они опять встретились, а через полмесяца не было уже ни одного дня, в который они не встречались бы. Барон научил Терезу стрелять, и Тереза приезжала на охоту каждый вечер, а иногда и рано утром. Отношения их были самые неопределенные. Трезвый фон Зайниц поражал Терезу своею любезностью. Трезвый он говорил тихо, ласково, видимо избегая жестких слов, ласково улыбался, предупредительно подавал свою большую руку и говорил не как «дикий», а как истый дамский кавалер. Пьяный же фон Зайниц поражал своею грубостью, цинизмом, нехорошим смехом... Когда он был пьян, Терезе приходилось выслушивать от него самые невозможные вещи. Он смеялся над ней, посылал ее ко всем чертям, говорил, что презирает, ненавидит.

– Извиняю вам, фон Зайниц, – сказала ему однажды Тереза, – только потому, что вы пьяны. Лежачих, сумасшедших и пьяных не бьют...

– А-а-а-а... Вот как! Так знайте же, – ответил со смехом фон Зайниц, – что я говорю вам правду только тогда, когда я пьян. Когда я трезвый, я держу себя по отношению к вам подлым фарисеем. Не верьте мне трезвому!

– Нам не следует встречаться...

– Почему не следует? Встречайтесь! Вам скучно и мне скучно... В ссорах и в войнах время быстрее течет, чем в мирное время. Ха-ха! Судьба хорошо сделала, что пустила между нами черную кошку и поселила в нас неуважение к добродетелям друг друга. Вы не уважаете меня, потому что видите во мне шарлатана, я не уважаю вас, потому что вижу в вас только кусок хорошего женского мяса! Ха-ха!

Тереза пустила из глаз молнию, не сказала ни одного слова и уехала. После этой беседы Артур не видал ее целую неделю. На восьмой день он встретил ее и извинился.

Артур был пьян нередко. Тереза то и дело уезжала от него оскорбленной. Она уезжала, давая себе честное слово не встречаться с ним более, но...

Прошло лето, и наступила осень. С деревьев посыпались на влажную холодную землю пожелтевшие, отжившие свой короткий век, листья... Начались дожди. Осенняя грязь – не летняя: она не высыхает, а если и высыхает, то не по часам, а по дням и неделям... Подул ветер, напоминающий о зиме. Почерневший от непогоды лес нахмурился и уже перестал манить под свою листву.

Куртку из козьего пуха фон Зайниц заменил коротким

драповым пальто на вате. Его сапоги потеряли свой блеск и покрылись грязью... На бледном лице его появился румянец от свежего, влажного ветра. Отношения его и Терезы не вылились еще в определенную форму. Беседы еще не окончились... Тереза чувствовала, что еще «не досказала», и ездил в лес по-прежнему.

Нужно было бежать от лесного холода, сырости и грязи... Судьба дала им убежище. Они стали встречаться в забытой, поросшей мохом и крапивою часовне, в саду графов Гольдаугенов. Страшные глаза недописанного святого Франциска каждый осенний вечер видели Артура и Терезу. При слабом мерцании фонаря они сидели на полусгнившей скамье и беседовали. Он, обыкновенно пьяный, сидел, зевал и злословил... Она, бледная, как мрамор, с высоко поднятой головой, уже успевшая привыкнуть к его языку, терпеливо выслушивала его и сама злословила. Когда он был трезв, пауки, приютившиеся по углам часовни, слушали сказания о былом, недалеком счастье и видели счастливую женщину. Он, как старик, любил говорить о прошлом. В его голосе звучала старческая струнка: он ни о чем не жалел и был доволен одними только воспоминаниями. Она же, полная сил, молодости и желаний, сожалела о минувшем, и голос ее звучал надеждой. Она еще страстно любила барона фон Зайница...

В один из самых ненастных осенних дней Артур зашел к мадам Блаухер переждать дождь. Мадам Блаухер с улыбочкой подала ему пакет.

Когда он распечатал пакет, он засмеялся, как дитя, которому показали новую игрушку. В пакете была фотографическая карточка и письмо.

То и другое было от Ильки. Барон взглянул на карточку и сделал большие глаза. На карточке была изображена Илька, но не та Илька, которую он видел несколько месяцев назад, – нет: на карточке не было и намека на то бедное платьишко, которое когда-то обливалось горючими слезами оскорбленной Ильки. Не было видно и той грошовой бархатной ленточки, которая придерживала белокурые волосы. Артур увидел на карточке молодую аристократку, одетую в роскошное модное платье. Волосы, причесанные умелой рукой, были украшены соломенной шляпой. На шляпе были цветы и, насколько это можно видеть в фотографии, недешевые; улыбка на хорошеньком личике была гордая, надменная, но деланная.

– Дурочка! – сказал со смехом Артур и поцеловал портрет Ильки. – Дурочка ты! Ворона в павлиньих перьях. Ты надела богатое платье и глядишь победительницей! Поноси-ка это платье подольше! Увидим, что ты запоешь!

Письмо было написано уже знакомым почерком.

«Милый барон! – писала Илька. – Посылаю вам карточку и уведомляю вас, что мы с отцом Цвибушем живы и здоровы. Еще уведомляю вас, что я непременно буду иметь миллион. Буду иметь его очень скоро. Мы живем теперь очень хорошо. При свидании расскажу

вам, что с нами случилось. Вы меня, наверное, уже забыли. Этим письмом я напоминаю вам о себе и прошу не забывать, что вы мне обещали. Я вас очень люблю. Я здесь вижу много баронов и графов, но вы лучше всех. Папа вам кланяется. Пишите мне по следующему адресу (следует длинный адрес). Пишите: надеяться мне или нет?

Ваша И.»

Барон, смеясь и не спуская глаз с карточки, попросил у мадам Блаухер бумаги и написал следующее:

«Здравствуй, Илька. Спасибо. Жду тебя с твоим миллионом. Не делай глупости. Будь умна и здорова. Поклон твоему старому, сто раз битому толстяку, которому выдай из твоего большого миллиона две-три золотые монетки на пропивку.

Твой жених – барон фон Зайниц».

Отдав это письмо мадам Блаухер для отсылки на почту, Артур сел за стол и принялся карандашом рисовать на портрете большой тюльпан. Карандаш был зачищен с обоих концов. Один конец был красный, другой синий. Ни тот ни другой цвет не ложились на эмаль карточки. Ильку не удалось посадить в тюльпане, несмотря на то, что Артур просидел за рисованием до тех пор, пока стало темно...

Глава VI

С Илькой же и ее отцом произошло нечто особенное...

Через неделю после встречи с бароном фон Зайниц, в один из самых жарких полудней, они сидели под навесом железнодорожной станции. Несмотря на сильный жар и духоту на станционной платформе было много публики: дачники, дачницы, помещики и пассажиры стоявшего на запасном пути поезда шныряли взад и вперед по платформе и наполняли собой все станционные постройки. Поезд, стоявший на запасном пути, был военный, а военные поезда стоят на станциях часа по два, по три... Зал первого класса был наполнен пьющими офицерами. В зале третьего класса гремел оркестр военной музыки, которая и привлекла на станцию массу публики.

Цвибуш и Илька сидели на площадке больших десятичных весов, отдыхали и поглядывали на публику: Цвибуш на солдат, пивших пиво, Илька рассматривала наряды. Возле них прохаживались пьяные офицеры и поглядывали на Ильку. Хорошенькая девочка им понравилась... Сначала вертелись возле нее младшие офицеры, после же попойки Илька увидела вблизи себя и старших... За полчаса до отхода поезда старшие и младшие офицеры сбились в кучу и, пуская в нее пьяные взоры, зашептались.

– Говорят о тебе, Илька! – сказал Цвибуш. – Давай сыграем им что-нибудь. Денег дадут. Кстати молчит тот скверный оркестр.

Цвибуш и Илька поднялись, настроили свои инструменты и заиграли. Илька запела. Офицерство заулыбалось... Иль-

ка пела, что нет никого на этом свете красивее и храбрее австрийских военных, которые в минуту сумеют завоевать весь свет.

– Прекрасно! Бесподобно! – забормотали офицеры. – Старик, ты не пой! Ты только мешаешь своим козлиным голосом! Бесподобно!

– Идея! – крикнул офицер с большими седыми усами и хлопнул себя по кепи. – Клянусь честью, что это идея!

И, обратясь к своим товарищам, он начал шептать им что-то... Товарищи утвердительно закивали головами. Заручившись согласием товарищей, офицер с седыми усами подошел, покачиваясь, к Ильке, взял ее за загоревшую руку и сказал:

– Послушай, птичка! Мы хотим взять тебя с собою в поезд... Ты будешь нам петь и играть всю дорогу. Мы дадим тебе за это много денег. Согласна? – И, не дожидаясь ответа, офицер потянул ее за руку и повел к товарищам.

– Да, да... – заговорили пьяные офицеры. – Мы дадим много денег... Ну да...

– А куда вы едете? – спросила Илька.

– В Боснию, кажется... Мы сами хорошо не знаем.

– Нельзя! – сказал Цвибуш улыбаясь.

Но офицеры не слышали Цвибуша. Они отвели в сторону улыбающуюся Ильку и принялись уверять ее, доказывать... Один взял ее за подбородок.

Цвибуш, уверенный, что Илька не согласится, стоял в

стороне и улыбался. Илька не согласится! На все подобные предложения она всегда отвечала до сих пор отказом. Она нравственная девушка. Но каковы были его испуг и удивление, когда Илька, звонко захохотав, вошла в вагон первого класса; она вошла и из окошка кивнула отцу... Отец побежал к ней.

– Я еду, отец! – сказала она. – Садись...

– Ты сумасшедшая! – сказал бледный Цвибуш, не решаясь войти в богатый вагон.

– Входи! – сказали ему офицеры.

Он, кланяясь и конфузясь, вошел в вагон и принялся убеждать Ильку. Но упрямая девчонка была неумолима.

– Я хочу иметь миллион! – шепнула она ему. – Если у меня не будет миллиона, я умру.

– Ты не получишь миллиона, сумасшедшая, но честь потеряешь! Ты потеряешь честь! Это безнравственно!..

– Не бойся, папа Цвибуш. Мужчины не увидят и не услышат от меня ничего, кроме музыки... Я решила.

Поезд двинулся с места, а старик всё убеждал ее, просил, умолял. Он даже заплакал раз.

– Это скучно, отец! – сказала она и отошла к офицерам.

Отец, бледный, вспотевший, с дрожащими пальцами и губами, забился в дальний угол вагона и, закрыв глаза, молился богу. Он не узнавал в этой веселой, слушающей офицерские пошлости Ильке свою кроткую, часто плачущую Ильку. Он не верил своим глазам и ушам... Непонятны, загадочны

эти глупые девчонки!

Ильке отвели отдельное купе. Ей и ее отцу предложили роскошный завтрак, но они не дотронулись до него. В ближайшем городе, в котором поезд стоял два часа, один из офицеров съездил в магазины и купил Ильке новое платье, браслет и ботинки...

– За здоровье дочери полка! – крикнули офицеры, когда она вышла из купе в своем новом наряде. – У-р-ра-а!

Офицеры выпили и заставили Ильку петь. Она запела и пела до тех пор, пока полк не доехал до границы...

Таков был первый шаг на новом поприще, от которого глупая Илька ждала миллион. Этот шаг был удачен. Когда Илька, месяц спустя, бежала с Цвибушем от полка, она была одета в платье, которое обошлось офицерам в полторы тысячи франков. Она бежала в вагоне первого класса в обществе пяти молодых девушек, старухи с большим орлиным носом и толстого немца с большой лысиной. На пути немец раздавал свои визитные карточки, на которых было написано: «Иосиф Кельтер, содержатель оркестра и венгерского хора в Триесте». Старуха с орлиным носом была его компаньонка.

Глава VII

Упрямая девчонка бежала и еще раз, и этот «раз» был по-

следним.

Была теплая апрельская ночь... Двенадцать часов давно уже пробило, а в летнем помещении театра m-me Бланшар представление еще не кончилось. На сцене m-lle Тюрьи, профессор черной магии, показывала фокусы. Она из женской ботинки выпустила стаю голубей и вытащила, при громе аплодисментов, большое женское платье... Из-под платья, когда оно было опущено на землю и приподнято, вышел маленький мальчик в костюме Мефистофеля. Фокусы были все старые, но их можно было смотреть «между прочим». В театре m-me Бланшар представления даются только для того, чтобы за рестораном сохранить название театра. Публика более ест и пьет, чем смотрит на сцену. За колоннами и в ложах стоят столики. Публика первого ряда сидит задом к сцене, потому что она лорнирует кокоток, которые занимают весь второй ряд. Вся публика скорее спит, чем сидит на месте... Она слишком подвижна, и никакое шипенье не в состоянии остановить ее хоть на секунду... Она двигается из партера в залу ресторана, из залы в сад... Сцену m-me Бланшар держит также и для того, чтобы показывать публике «новеньких». После фокусов m-lle Тюрьи должны были петь эти «новенькие». Публика в ожидании, пока кончатся фокусы, занимала места, волновалась и от нечего делать аплодировала женщине-фокуснику. В одной из лож сидела сама толстая Бланшар и, улыбаясь, играла букетом. Она убеждала «некоторых из публики», которые вертелись возле нее,

что ожидаемые «новенькие» восхитительны... Ее толстый супруг, сидевший vis-à-vis, читал газету, улыбался и утвердительно кивал головой.

– О да! – бормотал он. – Недаром нам так дорого стоит этот хор! Есть что послушать и есть на кого посмотреть...

– Послушайте, – обратился к толстой Бланшар полный седой господин, – отчего это у вас сегодня в афише нет венгерских песен?

Толстая Бланшар кокетливо погрозила вопрошающему пальцем.

– Знаю, виконт, для чего вам понадобились эти венгерские песни, – сказала она. – Та, которую вам хочется видеть, больна сегодня и не может петь...

– Бедняжка! – вздохнул виконт. – Чем же больна m-лe Илька?

Бланшар пожала плечами.

– Не знаю... Как, однако, хороша моя Илька! Вы сотый человек, который сегодня за вечер спрашивает меня о ней. Больна, виконт! Болезни не щадят и красавиц...

– Наша венгерская красавица страдает очень благородным недугом! – сказал стоящий тут же в ложе молодой человек в драгунском мундире. – Вчера она говорила этому шуту, д’Омарену, что она больна тоской по родине. Фи! Посмотрите, виконт Сези! Какая... какая... какая... Прелесть!

И драгун указал виконту Сези на сцену, где в это время становился на место хор «новеньких». Сези взглянул на се-

кунду, отвел от сцены глаза и заговорил опять с Бланшар об Ильке...

– Она смеется! – шептал он ей через четверть часа. – Она глупа! Вы знаете, что она требует с каждого за один миг любви? Знаете? Сто тысяч франков! Ха-ха-ха! Посмотрим, какой сумасшедший даст ей эти деньги! За сто тысяч я буду иметь таких десятков! Гм... Дочь вашей кузины, мадам, была красивее ее в тысячу раз и стоила мне сто тысяч, но стоила в продолжение трех лет! А эта? Капризная девчонка! Сто тысяч... Ваше дело, madame, объяснить ей, что это ужасно глупо с ее стороны... Она шутит, но... не всегда же можно шутить.

– А что скажет красавчик Альфред Дезире? – обратилась, смеясь, толстая Бланшар к драгуну.

– Девочка дразнит, – сказал Дезире. – Ей хочется подороже продать себя... Она расстроит наши нервы и, вместо тысячи, возьмет две тысячи франков. Девочка знает, что ничто так не напрягает и не расстраивает эти скверные нервы, как ожидание... Сто тысяч – это милая шуточка.

В разговор вмешалось четвертое лицо, затем пятое, и скоро заговорила об Ильке вся ложа. В ложе было человек десять...

Во время этого разговора в одной из множества комнаток, на которые разделено закулисное пространство, сидела Илька. Комната, пропитанная запахами духов, пудры и светильного газа, носила сразу три названия: уборной, приемной и

комнаты m-йе такой-то... У Ильки была самая лучшая комната. Она сидела на диване, обитом свежим пунцовым, режущим глаза, бархатом. Под ее ногами был разостлан прекрасный цветистый ковер. Вся комната была залита розовым светом, исходявшим от лампы с розовым абажуром...

Перед Илькой стоял молодой человек, лет двадцати пяти, красивый брюнет, в чистенькой черной паре. Это был репортер газеты «Фигаро»¹⁹² Андре д'Омарен. Он по службе был постоянным посетителем мест, подобных театру Бланшар. Его визитная карточка давала ему бесплатный вход во все подобные места, желающие, чтоб о их скандалах печатались репортички... Скандал, описанный в «Фигаро», – лучшая реклама.

Андре д'Омарен стоял перед Илькой, покусывая свои усики и бородку, и не отрывал глаз от хорошенькой девочки.

– Нет, Андре, – говорила Илька на ломаном французском языке, – не могу я быть вашей... Ни за что! Не клянитесь, не ходите за мной, не унижайтесь... Всё напрасно!

– Почему же?

– Почему же? Ха-ха-ха! Вы наивны, Андре... Значит, есть причина, если вам отказывают... Во-первых, вы бедны, а я вам уже тысячу раз говорила, что стою сто тысяч... Есть у вас сто тысяч?

– В настоящую минуту у меня нет и ста франков... По-

¹⁹² ...репортер газеты «Фигаро»... – «Figaro», ежедневная газета, издававшаяся в Париже с 1854 г.

слушайте, Илька... Ведь вы всё лжете... Зачем вы так безжалостно клеветеете на себя?

– А если я люблю другого?

– А этот другой знает, что вы его любите, и любит вас?

– Знает и любит...

– Гм... Каким же должен быть он скотиной, чтобы допустить вас до театра жирной Бланшар!

– Он не знает, что я в Париже. Не браните, Андре...

Илька поднялась и заходила по комнате.

– Вы, Андре, – сказала она, – не раз говорили, что готовы сделать для меня всё, что угодно... Ведь говорили? Ну, так сделайте вот что... Сделайте так, чтобы ко мне не приставали мои поклонники... Они не дают мне покоя... Их сто, а я одна. Судите сами... И каждому я должна отказывать... А разве мне приятно видеть людей, огорченных моим отказом? Устройте, пожалуйста... Мне все эти ухаживанья, просьбы и объяснения ужасно надоели.

– Я устрою так, – сказал д’Омарен, – что никто не будет надоедать вам, кроме меня... Кроме меня?

Илька отрицательно покачала головой.

Андре побледнел и, следя глазами за ходившей Илькой, стал на колени.

– Но я люблю ведь, – сказал он умоляющим голосом, – я люблю вас, Илька!

Илька вдруг вскрикнула. Медальон, которым она, вдруг каким-то образом открылся. Ранее он, несмотря на все ее

усилия, не мог быть открыт. Фон Зайниц, даря этот медальон, забыл сказать, что он имеет секретный замочек.

– Наконец-таки! – крикнула Илька, и лицо ее просияло радостью.

Теперь она может узнать, что в нем находится! Быть может, эта золотая вещичка украшается его портретом? И, надеясь увидеть благородное лицо с большой черной бородой, она подскочила к лампе, взглянула в медальон и побледнела: вместо бородатого лица она увидела женское, надменное, с величественной улыбкой. Илька узнала это лицо! На золотой рамочке, в которую был вделан портрет, было вырезано: «Тереза Гейленштраль любит тебя».

– Так вот как!?

Илька вспыхнула и бросила в сторону медальон.

– Так вот как!? Она любит его? Гм... Хорошо...

Илька упала на диван и нервно задвигалась.

– Она смеет его любить? – забормотала она. – Так нет же!

Андре! Ради бога!

Репортер поднялся, похлопал рукой по коленям и подошел к ней.

– Андре... Хорошо, я буду вас любить, только исполните одну мою просьбу...

– Какую хотите! Тысячу просьб, моя дорогая!

– Я не хотела до сих пор делать это, но... теперь вынуждена... Выбираю вас своим мстителем... Вы были хоть раз на моей родине?

И Илька, облокотившись о плечо репортера, принялась шептать ему на ухо. Шептала она очень долго, с жаром, жестикулируя руками. Он записал кое-что в свою репортерскую книжку.

– Исполните? – спросила она.

– Да... Я ее ненавижу после того, что услышал от вас...

– Поезжайте сейчас же...

– Как же вы узнаете, исполнил я поручение или нет?

– Я поверю вашему честному слову, – сказала Илька.

– В свою очередь, Илька, дайте мне честное слово, что вы... не обманете меня...

Илька на секунду задумалась. Еще бы! Ей приходилось низко солгать, солгать человеку преданному, честному и... первый раз в жизни.

– Честное слово, – сказала она.

Репортер поцеловал ее руку и вышел. Через час он уже сидел в вагоне, а на другой день был вне Франции.

Выпроводив репортера, Илька вышла из уборной в фойе, уставленное столиками. Бледная, встревоженная, забывшая, что она в этот вечер объявлена больной, она заходила по всем комнатам. Ей не хотелось думать, но самые ужасные, беспокойные думы сменяли одна другую в ее горячей головке. Мысль, что ее барон любит или любил эту женщину, терзала ее. Когда она вошла в партер, взоры публики обратились к ней и к ложе мадам Бланшар, которая сейчас только утверждала, что Илька больна и лежит в постели. «Новень-

кие», подвизавшиеся в это время на сцене, вдруг услышали шипенье, свист, аплодисменты и принялись кланяться... но публика не им шикала и аплодировала...

– На сцену! Венгерские песни! – закричала неистовавшая публика. – Марш на сцену! Илька! Bravo!

Илька улыбнулась, показала рукой на горло и вышла, предоставив толстой Бланшар самой ведаться с обманутой публикой. Она пошла в один из кабинетов ресторана, где обыкновенно ужинала с «друзьями». За ней последовали ее поклонники.

Ужин на этот раз вышел невеселый. Илька молчала и ничего не кушала. Вместо веселого смеха и ломаного французского языка, «друзьям» пришлось слушать одни только глубокие вздохи. Сези, главный заправила ужинов, тоже был угрюм.

– Чёрт бы побрал эти невинности с их невинными рожицами! – бормотал он, пожирая глазами Ильку. Дезире пил и молчал. В последнее время несчастный драгун стал задумываться... Ильке, которая требовала сто тысяч, он не мог предложить и двух. Его отец на днях умер, и имение поступило в распоряжение кредиторов. На бескорыстную любовь он не рассчитывал: он знал, что он некрасив и что эти девчонки корыстолюбивы...

Сын банкира Баха, Адольф, на обязанности которого лежало напавать всех шампанским, сидел рядом с Илькой и фамильярничал. Он, как самый богатый, имел на это пра-

во... Он пил из Илькиной рюмки, шептал Ильке на ухо и т. п. Это фамильярничанье наводило еще большую тоску на ужинавших, которые терпеть не могли Адольфа Баха за его богатство.

В нескольких шагах от стола, за которым пили, у окна сидели два старичка. Один из них – фабрикант из Лиона, Марк Луврер, другой... В другом вы не узнаете нашего старого знакомого, скрипача Цвибуша, хотя это и он. Он сильно изменился. Он похудел, побледнел, и лоб не блестит уже от пота. В глазах апатия, покорность судьбе... Старый Цвибуш махнул на всё рукой... Всё пропало для него с его Илькой. На нем уже нет рубища. Белая сорочка с золотыми запонками и черный фрак облекают его всё более и более худеющее тело... С Луврером, одним из самых ярых поклонников Ильки, он беседовал... о литературе.

К трем часам все, за исключением Цвибуша, его дочери и Луврера, были уже пьяны. Хмель несколько расшевелил невеселых, угрюмых кутил. Безданная любовь разгорячила их пьяные головы. Языки развязались...

В четыре Илька уходила с отцом домой. До ее ухода каждый старался на прощанье сказать ей наедине несколько слов...

– Я вас люблю! – говорил ей каждый, и каждый сулил ей рай.

– Сто тысяч! – коротко говорила она.

В мае, в один из тихих вечеров, нашелся-таки, наконец,

человек, который отдал ей сто тысяч и положил конец всей этой комедии. Человеком этим был драгун Дезире.

В три часа ночи, когда все были уже пьяны, в кабинет вошел драгун. Он был бледен и возбужден. Ни с кем не здороваясь, он подошел к Ильке, взял ее за руку и отвел в сторону.

– Я принес, – сказал он глухим голосом. – Бери...

Знаешь, что я сделал? Я ограбил своего дядю... Завтра же меня отдадут под суд... Возьми! Согласен!

Из груди Ильки вырвался крик радости. У нее было уже сто тысяч! И в то же время лицо ее покрылось мертвенной бледностью: настала пора заплатить за сто тысяч...

Адольф Бах, который следил за движением Дезире, подошел к Ильке и, услышав слово «согласен», побледнел.

– И я согласен! – быстро сказал он и схватился за свой карман... – И я дам сто тысяч!

Дезире насмешливо улыбнулся. В мальчишке Бахе он не видел теперь достойного соперника.

– Я первый согласился... Вам, Бах, не мешало бы идти спать. Вас няня ждет.

– Я не сплю с нянями. Мне, Дезире, ваше лицо не слишком нравится. Оно слишком напрашивается на пощечину! Даю сто десять тысяч!

– Даю сто двадцать!..

Дезире украл у дяди ровно сто двадцать тысяч.

Сези, пьяный, пожирающий своими глазами Ильку, как змея – кролика, вдруг встал и подошел к Баху и Дезире.

– Вы... вы... соглашаетесь? – забормотал он. – Вы с ума сошли! Вы... вы... с ума сошли, мальчишки! Сто тысяч! Ха-ха-ха! Pardon, mademoiselle, но все-таки... согласитесь сами...

– Даю сто двадцать! – повторил Дезире.

– Даю сто двадцать! – сказал мальчишка Бах и захохотал. – Даю сию минуту наличными деньгами!

Сези пошатнулся. Он не хотел верить своим ушам. Неужели найдутся такие дураки, которые купят за сто тысяч женщину, которую он во всякое время мог бы купить за пять тысяч? И неужели ее купит... не он?

– Это невозможно! – закричал он.

– Даю и я сто двадцать! – сказал подошедший четвертый мужчина. Это был рослый, здоровый помещик Арко из окрестностей Марсейля, очень богатый человек. Ему ничего не стоило бросить к ногам девчонки сотню тысяч. Недавно он лишился жены и единственного сына и теперь заливает свое горе вином и покупною любовью.

– И я согласен! – сказал серб Ботич, выдававший себя за секретаря какого-то посольства и прокучивавший ежедневно массы денег.

Сези принялся перелистывать свою записную книжку, записывать что-то, высчитывать. Карандаш так и ходил по бумаге.

– С какой же стати, господа? – бормотал он. – Неужели у вас деньги так дешевы? Почему же непременно сто двадцать,

а не ровно сто? Тридцать... шестьсот... Почему же не ровно сто?

– Сто двадцать пять! – крикнул Бах, победоносно глядя на своих соперников.

– Согласен! – крикнул Сези. – Согласен! И я согласен, говорят вам!

– Я не хочу вашей прибавки, – сказала Илька Баху. – Возьмите свои пять тысяч назад. Я согласна и на сто двадцать... Только, господа, не всех... Один кто-нибудь... А кто же именно?

– Я, – сказал драгун. – Я первый дал свое согласие...

– Это пустяки! – заговорили другие. – Пустяки! Не всё ли равно, первый или второй?

– Это пустяки, – сказала Илька. – Как же быть, господа? Все вы одинаково мне нравитесь... Все вы милы, любезны... Все вы одинаково меня любите... Как быть?

– Бросить жребий! – предложил молодой человек, не принимавший участия в купле и с завистью поглядывавший на покупателей...

– Хорошо, бросим жребий, – согласилась Илька. – Согласны, господа?

– Согласны! – сказали все, кроме драгуна, который сидел на подоконнике и безжалостно грыз свою большую нижнюю губу.

– Итак, господа, пишем билетики... Тот, которому попадет билет с моим именем, тот получает меня. Папа Цви-

буш, пиши билеты!

Послушный, как всегда, папа Цвибуш полез в карман своего нового фрака и достал оттуда лист бумаги. Бумага была изрезана на квадратики и на одном из квадратиков было написано «Илька».

– Кладите, господа, на стол деньги! – предложила Илька. – Билеты готовы!

– По сколько нам класть? – спросил Бах. – Сколько нас? Восемь? Сто двадцать, деленные на восемь, будет... будет...

– Кладите каждый по сто двадцать тысяч! – сказала Илька.

– По сколько?

– По сто двадцать тысяч!

– Вы плохо знаете арифметику, моя дорогая! – сказал серб. – Или вы шутите?

– По сто двадцать тысяч... Иначе я не могу, – сказала Илька.

Мужчины молча отошли от Ильки и сели за стол. Они были возмущены. Сези начал браниться и искать шляпу.

– Это уж будет надувательство! – сказал он. – Это называется шулерничеством! Пользоваться тем, что у нас, дураков, пьяных ослов, взбудоражена кровь!?

– Я не даю ни одного сантима! – сказал Бах.

– Я не требую, – сказала Илька. – Однако же пора ехать домой... Ты готов, папа Цвибуш? Едем! Спрячь на память билеты.

– Прощайте! – сказали мужчины. – Поезжайте к себе в

Венгрию и ищите там себе дураков, которые дадут вам миллион! Ведь вы хотите миллион? Поймите вы это, чудачка! За миллион можно купить весь Париж! Прощайте!..

Но всесильная страсть взяла свое... Когда Илька подала каждому свою горячую руку, когда она сумела сказать каждому на прощанье несколько теплых слов и спела «последнюю» песню, страсть достигла апогея...

В пять часов первый попавшийся навстречу официант вынимал из шляпы Баха бумажные квадратики... Когда взяты были все квадраты и развернуты, из всех мужских грудей вырвался смех. Этот смех был смехом отчаяния, смехом над безумством и сумасшествием судьбы.

Билет с именем «Илька» попался лионскому фабриканту, старому Марку Лувреру. Марк Луврер положил свои сто двадцать тысяч «шутя» и мог бы довольствоваться одним только поцелуем!

Глава VIII

Был морозный декабрьский вечер. На небе мерцали первые звездочки и плавала холодная луна. В воздухе было тихо – ни одного движения, ни одного звука.

Артур фон Зайниц шел по большой просеке «обедать». Шел он из часовни св. Франциска, где полчаса тому назад простился до следующего дня с Терезой Гольдауген. Зайдя по обыкновению в домик лесничего, он спросил письма.

Блаухер дала ему два конверта: один очень большой, другой очень маленький. Маленький был из Парижа от Ильки. Зайниц не стал читать это письмо и сунул его в карман. Он знал его содержание: «Я люблю вас!» Новее и умнее этого Илька ничего не могла бы придумать. Адрес на большом был написан рукою Пельцера. Зайниц сунул бы и это письмо, если бы ему не бросилась в глаза надпись: «Ценные бумаги». Артур подумал и распечатал этот конверт. В нем нашел он завещание матери. Он начал читать это завещание. Чем более он углублялся в чтение бумаги, внизу которой когда-то подписалась дорогая, лелеявшая барона рука, тем удивленнее делалось его лицо. Мать завещала в его пользу всё и ничего в пользу сестры... Но к чему же Пельцеры прислали ему это завещание?

«Ага! – подумал он. – Покаялись! Давно бы так...»

Имение матери было невелико. Оно давало дохода не более десяти тысяч талеров в год. Но и такой сумме рад был Артур. И такую сумму ему приятно было вырвать из когтей скряги Пельцера, который готов из-за талера сделать какую угодно подлость.

Артур попросил у Блаухер бумаги и, сев на стол, написал Пельцеру письмо. Он написал, что завещание получено и что желательно было бы знать, какая судьба постигла те деньги, которые получались до сих пор с имения, завещанного ему матерью? Письмо было отдано фрау Блаухер, которая на другой день и отослала его на почтовую станцию. Через неделю

был получен от Пельцера ответ. Ответ был довольно странный и загадочный: «Ничего я не знаю, – писал Пельцер. – Не знаю ни завещания, ни денег. Оставьте нас в покое...»

– Что это значит? – спросил себя Артур, прочитав ответ. – Довольно странно! Или он раскaiвается, что прислал мне завещание? Гм... Постой же, коли так!

И Артур на другой день после получения ответа отправился в город и протестовал там завещание. Загорелся процесс.

Артур стал часто отлучаться в город. Он ездил сначала в суд, а потом к своему адвокату. Терезе часто приходилось сидеть одной в часовне св. Франциска и томиться ожиданием и скукой. Она сидела в часовне, глядела на страшные глаза св. Франциска и прислушивалась к шуму ветра... Какое счастье начинало светиться в ее глазах, когда в шуме вне часовни можно было различить шаги барона, и как мертвенно-бледна была она, когда поздно вечером выходила из часовни, не повидавшись с ним! Он приходил в часовню только подразнить ее, посквернословить, похохотать... Тереза с нетерпением ждала весны, когда опять можно будет сходить под открытым небом.

Но весна принесла ей с собой несчастье...

Было тихое, теплое, весеннее «послеобед».

Тереза сидела у «Бронзового оленя» и ожидала Артура. Она сидела на молодой, только что показавшейся травке и прислушивалась к шуму ручейка, который журчал невдалеке

от нее... Солнце приятно грело ее красивые плечи.

«Придет или не придет?» – думала она. Артур весь отдался тяжбе и неохотно ходил к «Бронзовому оленю». Но в это «послеобед» он пришел. Пришел он по обыкновению слегка пьяный, нахмуренный, недовольный.

– Вы здесь? – спросил он обрадовавшуюся при виде его Терезу. – Мое почтенье! Хорошо не иметь никакого дела! Честное слово, хорошо! Бездельники всегда гуляют и посиживают на зеленой травке...

Сев рядом с Терезой, он принялся с остервенением плевать в сторону.

– Вы сердитесь? – спросила графиня.

– На подлецов Пельцеров. Вы знаете, что они со мной сделали? То завещание, которое они мне прислали, фальшивка, как женщина. Оно подложное. Я протестовал его, и меня будут судить за подлог... Пельцеры смастерили ехидную штуку! Они пожимают плечами при виде этого завещания и знать его не хотят. Они сделали подлог, а я буду под судом! Чёрт возьми! Взяли с меня подписку о невыезде, и скоро начнет мне надоедать судебный следователь. Каково? Ха-ха! Барон фон Зайниц подделал завещание! Нужно быть мошенником Пельцером, чтобы изобрести такую ловушку! Ну, ваше сиятельство, – а вы? Я вчера слышал, что вы разведены с графом. Между вами всё уже кончено. Чего же ради вы сидите здесь? Отчего не уходите от мужа и тех мест, которые напоминают вам этого ненавистного человека?

– Я не хочу уехать отсюда, – сказала Тереза.

– Гм... Можно узнать, почему?

– Вы не знаете?

– Почему я знаю!

Наступило минутное молчание. Оба знали, зачем она еще здесь, зачем не оставляет этих мест, но Артуру нужно было помучить...

– Я... Вам неизвестно?.. Я люблю вас, – сказала графиня, и по ее гордому, строгому лицу разлился румянец. – Люблю вас, Артур... Не будь этой любви, я далеко была бы теперь от «Бронзового оленя».

Графиня подняла глаза на лицо Артура. Это лицо, пьяное, насмешливое, сказало ей истину. Молчание подтвердило ту же истину. Он не любил ее.

– Зачем же вы приходили сюда? – спросила она тихо, ломая пальцы. – Отчего вы не ушли от меня еще тогда, когда начинались эти свидания?

– Вам скучно было, – сказал Артур. – Я еще не перестал быть дамским кавалером и делаю всё, что угодно милым дамам. Ха-ха!

– Как это неумно!

– Очень жаль, что не могу отвечать любовью на любовь. Я люблю другую...

Артур полез, смеясь, в боковой карман, достал оттуда карточку Ильки и поднес ее к самым глазам Терезы.

– Вот она, моя любовь. Узнаёте?

– Это дочь того старика? Но отчего она так одета?

– Одета очень прилично... Прелестное личико!

– Она где теперь?

Артур промолчал. Эффект, на который он рассчитывал, не удался. Графиня при виде карточки не побледнела и не покраснела... Она только вздохнула и – странно! – в ее глазах засветилось доброе чувство при виде хорошенького, почти детского личика.

– Прощайте! – сказал Артур. – Adieu! Пойду читать законы. О Пельцер, Пельцер! Скажи я на суде, что завещание получил от него, надо мной захохочут!

Артур повернулся к Терезе спиной и, жестикулируя руками, зашагал в чащу леса.

Тереза пошла к своей лошади, которая стояла в стороне и лениво щипала молодую травку.

– Уедем и не будем сюда более приезжать, – сказала Тереза, глядя лошадь по лбу. – Нас не любят. Не будем просить милостыни.

И, вскочив на лошадь, Тереза помчалась к опушке леса. В ее глазах светилась решимость. Когда она въехала в калитку, ведущую к длинной аллее, о которой мы говорили в первой главе нашего рассказа, она услышала за собой шаги. Она оглянулась. За ее лошадью бежал какой-то незнакомый молодой человек с хлыстом в руке.

– На минуту! – крикнул он ей по-французски.

Графиня осадилла лошадь и кивнула головой молодому че-

ловеку.

«Проситель, должно быть», – подумала она.

Репортер д'Омарен, улыбающийся и сияющий, подбежал к ней и, любуясь ее красотой, поднял хлыст.

– Вы так же жестоки, как и прекрасны! – сказал он... – Ничто не должно оставаться безнаказанным. Вспомните музыканта-старика и его дочь!

И графиня почувствовала на лице своем жгучую боль...

– Пусть будет так! – сказала она и дернула за повод.

Д'Омарен долго смотрел вслед прекрасной графине. Французу страстно захотелось поговорить с женщиной, которую он ударил и которая на удар ответила фразой: «Пусть будет так»; но, когда она скрылась с его глаз, он повернул назад и быстро зашагал к железнодорожной станции. Он исполнил данное ему поручение и ехал теперь за наградой...

Глава IX

– Вас ищет какая-то дама! – сказала однажды вечером фрау Блаухер Артуру, который зашел за письмами. – Она оставила записочку!

«Я остановилась в отеле „Большого якоря“, – прочел Артур в записке. – Скорее приходите. Илька».

Артур отправился в город и ровно в полночь увидался с Илькой. Он захохотал, когда увидел ее. Как изящно она была одета и как непохожа на ту певунью, которую он когда-то

встретил в лесу, всю в слезах!

– Есть миллион? – спросил он, смеясь.

– Есть. Вот он!

Артур вдруг перестал хохотать. Пред ним на столе разложили миллион, настоящий миллион.

– Чёрт возьми! – сказал он, не веря своим глазам. – Ты считаешь, дитя мое, на франки? Я забыл сказать тебе, чтобы ты считала на талеры... Но ничего... И эти деньги хороши! Где ты их взяла?

Илька села рядом с ним и рассказала ему всё, что произошло с ней после того, как она с ним рассталась.

– Ну? А что же ты сделала со стариком? – спросил Артур.

– Я напоила его морфием и в ту же ночь бежала без оглядки.

– Честно! – сказал Артур. – Ха-ха-ха! В другое время я высек бы тебя, но теперь будь баронессой фон Зайниц! Вот тебе моя рука! Завтра же идем к мэру!

На другой день фон Зайниц и Илька были у мэра. Илька сделалась баронессой фон Зайниц 2-го июня в половину десятого утра.

В два часа того же дня барон Артур фон Зайниц был лишен баронского достоинства: присяжные заседатели нашли его виновным в совершении подложного завещания... Пельцеры достигли своей цели.

На суде Илька увидела графиню Гольдауген.

Графиня сидела на одном из задних кресел в отдалении

от зрителей и не отрывала глаз от подсудимого. С черной шляпы ее спускался темный вуаль. Она, по-видимому, хотела сохранить инкогнито. И только тогда, когда она, выслушав речь прокурора, проговорила вслух: «Как это глупо!» – Илька узнала ее по ее мелодическому голосу.

«Какое она имеет право смотреть на моего мужа?» – подумала Илька, бледнея от ненависти и в то же время торжествуя свою победу. Она теперь верила в эту победу: у графини был отнят любимый человек.

Подсудимый держал себя на суде очень странно. Он был слегка пьян – злые остроты так и сыпались с его языка. Игнорируя судей и присяжных, он молчал, когда следовало говорить, и говорил, когда следовало молчать. Прокурор был его университетским товарищем, но не пощадил его в своей речи. Он беззастенчиво копался в его прошлом, которое знал как товарищ, описал парижскую жизнь, банкротство, безденежье, тягость, которую испытывал барон фон Зайниц благодаря этому безденежью, и кончил хвалебную песню госпоже Пельцер, которая пожертвовала чувством братской любви в пользу чувства справедливости, возмездия за проступок...

– Она поступила, как примерная гражданка! – сказал он.

– Стыдно тебе, – сказал Артур. – Прежде, когда ты курил в университете мои сигары, ты не умел так лгать!

Только это и было сказано серьезно и искренно, остальное же, что говорил Артур, вызывало смех и Председательские

звонки.

Публика обвинительный приговор встретила аплодисментами. Она почти вся состояла из холопов Пельцера. Людям, которые симпатизировали Артуру, не нашлось места в суде. Все места были заняты приверженцами банкира еще рано утром. Артур выслушал приговор хладнокровно.

– Я знаю дорогу к императору, – сказал он, – и когда мне вновь понадобится баронство, я побываю у него. Вена, знающая меня, посмеется над этим приговором!

Горькое чувство, чувство стыда за людей и омерзение наполняли душу графини, когда она, оставив залу суда, сядила в коляску. При ней обвиняли в мошенничестве и осудили неповинного человека. Как легко обмануть этих простоватых толстых присяжных и как мало нужно для того, чтобы погубить человека!

– Я возвращу ему имя! – решила она, негодуя. – Он сказал им, что знает дорогу в Вену, но он не станет хлопотать из-за такого, по его мнению, пустяка, как доброе имя... И к тому же он лентяй, тяжел на подъем... Я похлопочу за него...

«Я подам ему милостыню, – добавила она мысленно, – и он, против желания, должен будет принять ее!»

На другой день она была уже в городском клубе на благотворительном балу и продавала билеты. В саду под навесом, устроенным из флагов, выщегося винограда и живых цветов, стояло несколько столиков. На столиках стояли колеса с лотерейными билетами... Восемь очень красивых и очень

нарядных аристократок сидели за этими столиками и продавали билеты. Лучше всех торговала графиня Гольдауген. Она, не отдыхая, вращала колесо и сдавала сдачу. Пельцер, который был на балу, купил у нее две тысячи билетов.

– Как поживает брат вашей супруги? – спросила Пельцера графиня, получая с него деньги.

Пельцер вздохнул.

– С ним, бедняжкой, случилось два несчастья, – сказал он. – Он женился и... сегодня он уже не барон...

– Слышала... Где теперь его жена?

– Она здесь. Вы и не видели? Смешно! Ха-ха... Она баронесса... Повенчайся они несколькими часами позже, она была бы теперь только бюргерша Зайниц...

Графиня, взглядываясь в лица всех проходящих, начала искать глазами Ильку.

Илька была на балу. Она с высоко поднятой головой и гордой, надменной улыбкой уже прошла раз мимо графини. Графиня была занята торговлей и не заметила ее. Она прошла в другой раз, окруженная толпой любопытных, засматривавших ей прямо в хорошенькое лицо. Графиня вскинула на нее глаза и, по-видимому, не узнала ее. Когда она проходила третий раз, глаза их встретились.

Графиня смутилась и, к великому удовольствию Ильки, уронила на пол деньги. Несколько монет соскользнуло с ее задрожавших рук и со звоном покатилося по полу.

Илька подошла к столу графини и, глядя ей прямо в лицо,

взяла несколько билетов.

– Я хочу пожертвовать в пользу школы одну маленькую вещь, – сказала она и, не дожидаясь ответа, сунула в руки графини золотой медальон. Графиня взяла в руки знакомый ей медальон, раскрыла его и улыбнулась. Ее лицо было поцарапано булавкой.

– Обратитесь с этой вещью к администрации клуба, – сказала она, подавая Ильке медальон. – Наше дело только продавать билеты...

И, мило улыбаясь, графиня добавила:

– Pardon, мне некогда!

Улыбка и хладнокровие графини смутили Ильку. Она, не привыкшая к подобного рода стычкам, сконфузилась и отошла от столика. Ей стало досадно и стыдно: стоящие около столика графини заметили ее смущение, переглянулись и улыбнулись. Эти недоумевающие улыбки кольнули Ильку в самое сердце.

– Позвольте пройти, – сказала она молодым людям, которые стеной остановились перед ней и с любопытством смотрели на нее.

Молодые люди почему-то вдруг засмеялись. Послышался такой же смех и сзади. Илька оглянулась и увидела такую же толпу молодежи.

– Позвольте пройти! – повторила Илька.

Послышался вновь смех, и большая пивная пробка ударилась о розовый лоб Ильки. Другая пробка ударилась об ее

правое плечо...

– Ха-ха... Ура! Баронесса фон Зайниц, супруга разжалованного мошенника! – крикнул кто-то, и послышалось шиканье...

Третья и четвертая пробки, обе вместе, ударили ее по лицу. Она, униженная и оскорбленная, готовая упасть в обморок, посмотрела на графиню, и ей показалось, что графиня смеется... У Ильки помутилось в глазах. Закружившуюся голову сильно потянуло вниз.

– Артур! – крикнула она.

Никто не откликнулся на этот зов. Разжалованный барон был далеко. Он, пьяный, лежал под кустом, недалеко от домика Блаухер, и видел во сне свой миллион...

Графиня, которую не узнали помутившиеся глаза оскорбленной девушки, подошла к Ильке и, обхватив ее плечи, вывела ее из толпы.

– Пустите меня! Я хочу ее убить! – крикнула Илька и лишилась чувств.

Когда она очнулась, она увидела себя в маленькой комнате, обитой малиновым бархатом. Она лежала на диване. Возле нее сидела девушка с флаконом в руках...

– Где мы? – спросила Илька.

– В клубе, сударыня, – ответила девушка.

Звуки мазурки, донесшиеся до ушей Ильки, подтвердили слова девушки. Илька подняла свою отяжелевшую голову и, немного подумав, вспомнила всё происшедшее.

– Принесите мне маленькую рюмку рейнвейна, – сказала она девушке.

Девушка вышла. Илька быстро достала из кармана портмоне. Из портмоне Илька вынула маленький флакончик, в котором был морфий. Этим морфием она так недавно еще угостила старика Луврера! Теперь она угостит им себя за то, что так близко к сердцу принимает оскорбления, которые наносят ей люди... Морфий весь, сколько его было в флаконе, был принят. В ожидании вечного сна Илька склонилась на бархатную подушку и принялась думать... Ей не жалко было бесцветной жизни. Ей жаль было оставлять папу Цвибуша – только его одного! Артура, который любил вино больше, чем свою молодую жену, ей не жаль.

– Как вы себя чувствуете? – услышала она мелодический голос.

К ней наклонилась вошедшая графиня, ее злейший враг... Илька увидела пред своим лицом блестящие глаза и два розовых пятна на щеках.

– Д'Омарен! – прошептала она, увидев на левой щеке чуть заметную красную полосу.

– Те, которые вас обидели, будут наказаны, – сказала графиня. – Их нанял Пельцер, который ненавидит Артура... Я накажу негодя Пельцера... Я сильна... Вы еще сердитесь на меня?

Илька отвернула в сторону свое лицо.

– Ты еще сердишься, Илька? Ну... прости меня... Я ви-

новата... Я оскорбила и твоего отца и тебя... Каюсь в этом и прошу прощения.

И Илька почувствовала на голове своей поцелуй.

– Я тебя долго искала... Я не знала покоя ни днем ни ночью, встретившись с твоим взглядом в тот несчастный день... Твои глаза жгли меня во сне...

Илька вдруг заплакала.

– Я умираю, – прошептала она, засыпая под звуки нежного голоса своей кающейся соперницы.

– Прости же меня, Илька, как я простила тебя...

Илька протянула руку и коснулась шеи графини... Графиня нагнулась к ней и поцеловала ее в губы.

– Я умираю, – прошептала Илька. – Я приняла... мор... На ковре...

Графиня нагнулась и увидела на ковре флакон. Она поняла всё. Через минуту в клубе был отыскан врач и приведен к Ильке. Врачу удалось только, благодаря присутствию флакона, констатировать отравление, поднять же на ноги уснувшую Ильку не удалось...

Репортер д'Омарен прибыл из Венгрии в Париж как раз в ту ночь, когда была разыграна Илька. Не найдя в номере, в котором жила певица, никого, кроме крепко спавшего на кресле Луврера, он побежал к Баху. Бах рассказал ему всё, что произошло во время его отсутствия.

– Она бежала! – решил репортер и на другой день поехал опять в Венгрию, где надеялся получить плату за свою службу.

В Венгрии он узнал о смерти любимой женщины. Весть об этой смерти была жестокой платой, свалившей его на постель. Провалявшись в горячке, он поселился в гольдаугенском лесу и, собирая со всех сторон сведения, написал повесть о красавице Ильке. Проезжая в прошлом году чрез гольдаугенский лес, я познакомился с д’Омареном и читал его повесть.

Переведенная на русский язык, она и предлагается нашим читателям.

Живой товар

Посвящается Ф. Ф. Попудогло

I

Грохольский обнял Лизу, перецеловал все ее пальчики с отгрызенными розовыми ногтями и посадил ее на обитую дешевым бархатом кушетку. Лиза положила ногу на ногу, заложила руки под голову и легла.

Грохольский сел рядом на стул и нагнулся к ней. Он весь обратился в зрение.

Какой хорошенькой казалась она ему, освещенная лучами заходящего солнца!

Заходящее солнце, золотое, подернутое слегка пурпуром, всё целиком было видно в окно.

Всю гостиную и, в том числе, Лизу оно осветило ярким, не режущим глаза, светом и положило на короткое время позолоту...

Грохольский залюбовался. Лиза не бог весть какая красавица. Правда, ее маленькое кошачье личико, с карими глазами и с вздернутым носиком, свежо и даже пикантно, ее жидкие волосы черны, как сажа, и кудрявы, маленькое тело грациозно, подвижно и правильно, как тело электрического

угря, но в общем... Впрочем, в сторону мой вкус. Грохольский, избалованный женщинами, любивший и разлюбивший на своем веку сотни раз, видел в ней красавицу. Он любил ее, а слепая любовь везде находит идеальную красоту.

– Послушай, – начал он, глядя ей прямо в глаза. – Я пришел потолковать с тобой, моя прелесть. Любовь не терпит ничего неопределенного, бесформенного... Неопределенные отношения, знаешь ли... Я вчера говорил тебе, Лиза... Мы постараемся сегодня покончить поднятый вчера вопрос. Ну, давай решать сообща... Что делать?

Лиза зевнула и, сильно морщась, потащила из-под головы правую руку.

– Что делать? – повторила она за Грохольским чуть слышно.

– Ну да, что делать? Решай вот, мудрая головка... Я люблю тебя, а любящий человек не подельчив. Он более чем эгоист. Я не в силах делиться с твоим мужем. Я мысленно рву его на клочки, когда думаю, что и он любит тебя. Во-вторых, ты любишь меня... Для любви необходимым условием является полная свобода... А ты разве свободна? Тебя разве не терзает мысль, что над твоей душой вечно торчит этот человек? Человек, которого ты не любишь, быть может, что очень естественно, ненавидишь... Это во-вторых... В-третьих же... Что же в-третьих? А вот что... Мы обманываем его, а это... нечестно... Прежде всего, Лиза, правда. Прочь ложь!

– Ну, так что же делать?

– Ты можешь догадаться... Я нахожу нужным, обязательным объявить ему о нашей связи и оставить его, зажить на свободе. То и другое нужно сделать по возможности скорей... Например, хоть сегодня вечером ты... объяснишься с ним... Пора покончить... Разве тебе не надоело воровски любить?

– Объясниться? С Ваней?

– Ну да!

– Это невозможно! И вчера я говорила тебе, Мишель, что это невозможно!

– Почему же?

– Он обидится, раскричится, наделает разных неприятностей... Разве ты не знаешь, какой он? Боже сохрани! Не нужно объясняться! Выдумал еще!

Грохольский провел рукой по лбу и вздохнул.

– Да, – сказал он. – Он больше чем обидится... Я ведь отнимаю у него счастье. Он любит тебя?

– Любит. Очень.

– Вот еще комиссия! Не знаешь, с какого конца начать. Скрывать от него – подло, объясниться с ним – значит убить его... Чёрт знает что! Ну, как быть?

Грохольский задумался. Его бледное лицо нахмурилось.

– Будем всегда так, как теперь, – сказала Лиза. – Пусть сам узнает, если хочет.

– Но ведь это... это и грешно и... Наконец, ты моя, и ни-

кто не имеет права думать, что ты принадлежишь не мне, а другому! Ты моя! Никому не уступлю! Мне жаль его, видит бог, как жаль, Лиза! Когда я вижу его, мне больно делается! Но... но что ж делать, наконец? Ведь ты его не любишь? Чего же ради ты будешь с ним маяться? Объясниться надо! Объяснимся с ним и поедем ко мне. Ты моя жена, а не его. Пусть как знает. Как-нибудь перетерпит свое горе... Не он первый, не он и последний... Хочешь бежать? А? Говори скорей! Хочешь бежать?

Лиза поднялась и вопросительными глазами поглядела на Грохольского.

– Бежать?

– Ну да... В именье ко мне... В Крым потом... Объяснимся с ним письменно... Ночью можно. Поезд в половину второго. А? Хорошо?

Лиза почесала лениво переносье и задумалась.

– Хорошо, – сказала она и... заплакала.

На ее щечках заиграли красные пятнышки, глазки надулись, и по кошачьему личику потекли слезы...

– О чем ты? – встревожился Грохольский. – Лиза! Чего ты? Ну? Чего плачешь? Эка ведь! Ну чего? Голубчик! Мамочка!

Лиза протянула к Грохольскому руки и повисла на его шее. Послышались всхлипывания.

– Мне жаль его... – забормотала Лиза. – Ах, как мне его жаль!

– Кого?

– Ва... Ваню...

– А мне не жаль? Но что же делать? Мы причиним ему страдания... Он будет страдать, проклинать... Но чем же мы виноваты, что мы любим друг друга?

Сказавши это, Грохольский отскочил от Лизы, как ужаленный, и сел в кресло. Лиза спорхнула с его шеи и быстро, в мгновение ока, опустилась на кушетку.

Оба они страшно покраснели, опустили глаза и закашляли.

В гостиную вошел высокий широкоплечий малый, лет тридцати, в чиновничьем вицмундире. Он вошел незаметно. Только стук стула, за который он зацепился у двери, дал знать любовникам о его приходе и заставил их оглянуться. Это был муж.

Оглянулись они поздно. Он видел, как Грохольский держал за талию Лизу, и видел, как Лиза висела на белой, аристократической шее Грохольского.

«Он видел!» – подумали в одно и то же время Лиза и Грохольский, стараясь спрятать подальше свои отяжелевшие руки и сконфуженные глаза...

Розовое лицо остолбеневшего мужа побелело.

Мучительное, странное, душу возмущающее молчание длилось три минуты. О, эти три минуты! Их и до сих пор вспоминает Грохольский.

Первый задвигался и прервал молчание муж. Он зашагал

к Грохольскому и, строя на своем лице бессмысленную гримасу, похожую на улыбку, подал ему руку. Грохольский слегка пожал мягкую, потную руку и весь вздрогнул, точно раздавил в кулаке холодную лягушку.

– Здравствуйте, – пробормотал он.

– Здоровы-с? – чуть слышно прохрипел муж и сел против Грохольского, поправляя у себя сзади воротник...

Опять наступило томительное молчание... Но это молчание уже было не так глупо... Первый приступ, самый тяжелый и бесхарактерный, прошел.

Оставалось теперь только кому-нибудь из двух ретироваться за спичками или за другим каким-нибудь пустяком. Обоим сильно хотелось уйти. Они сидели и, не глядя друг на друга, подергивая себя за бородки, искали в своих взбодраженных мозгах выхода из ужасно неловкого положения. Оба были потны. Оба невыносимо страдали, и обоих пожирала ненависть. Хотелось вцепиться, но... как начать и кому первому начинать? Хоть бы она вышла!

– Я вас вчера в собрании видел, – пробормотал Бугров (так звали мужа).

– Я был там... был... Танцевали?

– Гм... да. С той... с Люкоцкой младшей... Тяжело пляшет... Невозможно пляшет. Болтать мастерица. (Пауза.) Болтает неумоимо.

– Да... скучно было. И я вас видел...

Грохольский нечаянно взглянул на Бугрова... Его глаза

встретились с блуждающим взглядом обманутого мужа, и он не вынес. Он быстро встал, быстро поймал руку Бугрова, пожал ее, схватил шляпу и пошел к двери, чувствуя за собой свою спину. Ему казалось, что на его спину смотрит тысяча глаз. То же чувствует освищенный актер, удаляясь с авансцены, то же самое чувствует и фат, которому дали подзатыльник и выводят с полицией...

Как только затихли шаги Грохольского и скрипнула дверь в передней, Бугров вскочил и, сделав по гостиной несколько кругов, зашагал к жене. Кошачье личико съежилось и замигало глазками, точно ожидало щелчка. Муж подошел к ней и, наступая ей на платье, толкая ее колени своими коленями, с искаженным, бледным лицом потряс руками, головой и плечами.

– Если ты, дрянь этакая, – заговорил он глухим, плачущим голосом, –пустишь его сюда еще хоть раз, то я тебя... Чтоб шага не смел! Убью! Понимаешь? А-а-а... Тварь негодная! Дрожишь! Мерр...зость!

Бугров схватил ее за локоть, потряс и швырнул ее, как резиновый мячик, к окну.

– Дрянь! Пошлая! Стыда нет!

Она полетела к окну, едва касаясь пола ногами, и ухватилась руками за занавески.

– Молчать! – крикнул супруг, подойдя к ней, и, сверкая глазами, топнул ногой.

Она молчала. Она глядела на потолок и всхлипывала,

имея на лице выражение кающейся девочки, которую хотят наказать.

– Так ты так? А? С хлыщом? Хорошо! А перед алтарем? Кто? Хороша жена и мать! Молчать!

И он ударил ее по ее хорошенькому хрупкому плечу.

– Молчать! Дрянь! Я тебя еще и не так! Если этот прохвост посмеет явиться сюда хоть еще раз, если я тебя хоть еще раз... (слушай!!) увижу с этим мерзавцем, то... не проси милости! В Сибирь пойду, а убью! И его! Ничего мне не стоит! Ступай! Не хочу я тебя видеть!

Бугров утер рукавом лоб и глаза и зашагал по гостинной. Лиза, всхлипывая всё громче и громче, подергивая плечами и вздернутым носиком, принялась рассматривать кружева на занавесках.

– Блажишь! – закричал супруг. – Глупостей в голове много у дуры! Прихоти всё! Я, брат, Лизавета, этого... не того! У меня не чичирк! Я не люблю! Хочешь свинством заниматься, так... гайда! В доме моем нет тебе места! Марш, коли... В жены пошла, так забудь, выкинь из дурной головы этих франтов! Глупости всё! Другой раз чтоб этого не было! Поговори еще! Мужа люби! Мужу дана, мужа и люби! Так-то! Одного мало? Ступай, пока... М-мучители!

Бугров помолчал и крикнул:

– Ступай, говорят! Иди в детскую! Чего реवेशь? Сама виновата и реवेशь! Эка! В прошлом году на Петьке Точкове висла, теперь на этого, прости господи, дьявола повисла...

Тьфу! Пора понимать, кто ты! Жена! Мать! В прошлом году неудовольствия вышли, теперь выйдут неудовольствия... Тьфу!

Бугров громко вздохнул, и в воздухе запахло хересом. Он возвратился с обеда и был слегка пьян...

– Обязанностей не знаешь? Нет!.. Вас учить надо! Вы еще не учены! И маменьки ваши потаскухи и вы... Реви! Да! Реви вот!

Бугров подошел к жене и потянул из ее рук занавеску.

– Не стой у окна... Людям видно, как ты реवेशь... Другой раз чтоб этого не было. От объятий до беды дойдешь... Влопаешься. Нешто мне приятно рога носить? А наставишь, коли возиться с ними, с хамами, будешь... Ну, полно... В другой раз ты... не того... Я ведь... Лиза... Оставь...

Бугров вздохнул и обдал Лизу хересовыми парами.

– Ты молоденькая, глупенькая, ничего не понимаешь... Меня дома никогда не бывает... Ну, а они и пользуются. Надо быть умной, рассудительной! Надуют! А уж тогда я не вынесу... Тогда я шабаш... Кончено! Тогда хоть и помирай ложись. За измену я... я, матушка, всё готов сделать. До смерти избить могу и... прогоню. Иди тогда к своим прохвостам.

И Бугров своей большой мягкой ладонью (*horribile dictu!*)¹⁹³ вытер мокрое, заплаканное лицо изменницы Лизы. Он обращался со своей двадцатилетней женой, как с ребенком!

¹⁹³ страшно сказать! (*лат.*)

– Ну, полно. Извиняю, только чтоб в другой раз... ни боже мой! Извиняю в пятый раз, а уж в шестой не извиню. Это как бог свят. За такие штуки и бог не прощает вашего брата.

Бугров нагнулся и потянулся своими лоснящимися губами к головке Лизы.

Но поцелуй не удался...

В передней, столовой, зале и гостиной захлопали двери, и в гостиную, как вихрь, влетел Грохольский. Он был бледен и дрожал. Руками он махал, мял свою дорогую шляпу. Сюртук болтался на нем, как на вешалке. Он олицетворял собою сильнейшую лихорадку. Увидев его, Бугров отошел от жены и стал смотреть в другое окно. Грохольский подлетел к нему и, махая руками, тяжело дыша и ни на кого не глядя, заговорил дрожащим голосом:

– Иван Петрович! Перестанем играть друг перед другом комедию! Довольно нам обманывать один другого! Довольно! Не в силах я! Что хотите делайте, а я не могу. Противно и подло, наконец! Возмутительно! Поймите вы, что возмутительно!

Грохольский захлебывался и задыхался.

– Не в моих правилах. И вы честный человек. Я люблю ее! Люблю ее больше всего на свете! Вы это заметили и... Обязан я это сказать!

«Что ему сказать?» – подумал Иван Петрович.

– Нужно покончить! Комедия эта не может так долго тянуться! Должно это всё чем-нибудь разрешиться.

Грохольский вдохнул в себя побольше воздуха и продолжал:

– Я жить без нее не могу. Она тоже. Вы ученый человек, вы поймете, что при таких условиях ваша семейная жизнь невозможна. Эта женщина не ваша. Ну да... Одним словом, я прошу взглянуть на это дело с снисходительной... гуманной точки. Иван Петрович! Поймите же наконец, что я люблю ее, люблю больше себя, больше всего на свете, и противиться этой любви выше сил моих!

– А она-с? – спросил угрюмым, несколько насмешливым тоном Бугров.

– Спросите ее! Ну вот, спросите ее! Жить ей с нелюбимым человеком, жить с вами, любя другого, ведь это... это... страдать значит!

– А она? – повторил уже не насмешливым тоном Бугров.

– Она... она любит меня! Мы полюбили друг друга... Иван Петрович! Убивайте нас, презирайте, гонитесь за нами, делайте что хотите... но мы больше не в силах скрывать от вас! Мы оба налицо! Судите нас со всею строгостью человека, у которого мы... судьба отняла счастье!

Бугров покраснел, как переваренный рак, и одним глазом поглядел на Лизу. Он замигал глазами. Пальцы, губы и веки его задрожали. Бедный он! Глаза плачущей Лизы говорили ему, что Грохольский прав, что дело серьезно...

– Ну что ж? – забормотал он. – Ежели вы... В нынешние времена... Вы все этак...

– Видит бог, – завизжал высоким тенором Грохольский, – что мы понимаем вас! Разве мы не понимаем, не чувствуем? Я знаю, какие страдания я причиняю вам. Видит бог! Но будьте снисходительны! Умоляю вас! Мы не виноваты! Любовь не есть вина. Никакая воля не может ей противиться... Отдайте мне ее, Иван Петрович! Отпустите ее со мной! Возьмите с меня что хотите за ваши муки, жизнь мою возьмите, но отдайте мне Лизу! Я на всё готов... Ну, укажите, чем я могу хоть отчасти заменить вам ее? Взамен этого потерянного счастья я могу вам дать другое счастье! Могу, Иван Петрович! Я на всё согласен! Подло было бы с моей стороны оставить вас не удовлетворенным... Я понимаю вас в настоящую минуту.

Бугров махнул рукой, как бы говоря: «Уйдите ради самого бога!» Глаза его начали заволакиваться предательской влагой... Сейчас увидят, что он плакса.

– Я понимаю вас, Иван Петрович! Я дам вам другое счастье, которого вы не испытали. Что вы хотите? Я богатый человек, я сын влиятельного человека... Хотите? Ну, сколько хотите?

У Бугрова вдруг заколотило сердце... Он обеими руками взялся за оконные занавески.

– Хотите... пятьдесят тысяч? Иван Петрович, умоляю... Это не подкуп, не купля... Я хочу только жертвой с своей стороны загладить хоть несколько вашу неизмеримую потерю... Хотите сто тысяч? Я готов! Сто тысяч хотите?

Боже мой! Два огромнейших молотка заколотили по вспотевшим вискам несчастного Ивана Петровича... В ушах со звонками и бубенчиками забегали русские тройки...

– Примите от меня эту жертву! – продолжал Грохольский. – Умоляю вас! Вы снимете с моей совести тяжесть. Прошу вас!

Боже мой! Мимо окна, в которое глядели влажные глаза Бугрова, по мостовой, слегка влажной от брызнувшего майского дождичка, прокатила шикарная четырехместная коляска. Кони лихие, лютые, с лоском, с манерой. В коляске сидели люди в соломенных шляпах, с довольными лицами, с длинными удилищами, сачками... Гимназист в белой фуражке держал в руках ружье. Они ехали на дачу удить рыбу, охотиться, пить на свежем воздухе чай. Ехали в те благодатные места, где во время оно бегал по полям, лесам и берегам босой, загорелый, но тысячу раз счастливый сын деревенского дьякона, мальчик Бугров. О, как чертовски соблазнителен этот май! Как счастливы те, которые, сняв свои тяжелые вицмундиры, могут сесть в коляску и полететь в поле, где кричат перепела и пахнет молодым сеном. Сердце Бугрова сжалось от приятного, охлаждающего чувства... Сто тысяч! Вместе с коляской пред ним пролетели все его заветные мечты, которыми он любил угощать себя в продолжение всего своего чиновничьего житья-бытья, сидя в губернском правлении или в своем тщедушном кабинетике... Река, глубокая, с рыбой, широкий сад с узенькими аллеями, фонтанчиками,

тениями, цветами, беседками, роскошная дача с террасами и башней, с Эоловой арфой и серебряными колокольчиками... (О существовании Эоловой арфы он узнал из немецких романов.) Небо чистое, голубое; воздух прозрачный, чистый, пропитанный запахами, напоминающими ему его босое, голодное и забитое детство... В пять часов вставать, в девять ложиться; днем ловить рыбу, охотиться, беседовать с мужчиной... Хорошо!

– Иван Петрович! Не мучайте! Хотите сто тысяч?

– Мм... Полтора ста тысяч! – промычал Бугров глухим голосом, голосом охрипшего быка... Промычал и нагнулся, стыдясь своих слов и ожидая ответа...

– Хорошо, – сказал Грохольский. – Согласен! Благодарю, Иван Петрович... Я сейчас... Не заставлю ждать...

Грохольский подпрыгнул, надел шляпу и, пятась задом, выбежал из гостиной.

Бугров крепче ухватился за оконные занавески... Ему было стыдно... На душе было подло, глупо, но зато какие красивые, блестящие надежды закопошились между его стучащими висками! Он богат!

Лиза, ничего не понимающая, боящаяся, чтобы он не подошел к ее окну и не отбросил ее в сторону, трепеща всем телом, шмыгнула в полуотворенную дверь. Она пошла в детскую, легла на нянину кровать и свернулась калачиком. Ее трясла лихорадка.

Бугров остался один. Ему стало душно, и он открыл окно.

Каким великолепным воздухом пахнуло на его лицо и шею! Таким воздухом хорошо дышать, развалиясь на подушках коляски... Там, далеко за городом, около деревень и дач воздух еще лучше... Бугров даже улыбнулся, мечтая о воздухе, который окутает его, когда он выйдет на террасу своей дачи и zalюбуется видом... Мечтал он долго... Солнце уже зашло, а он всё стоял и мечтал, стараясь всеми силами выбросить из своей головы образ Лизы, который неотступно следовал за ним во всех его мечтах.

– Я принес, Иван Петрович! – прошептал над его ухом вошедший Грохольский. – Я принес... Получите... Тут вот, в этой пачке сорок тысяч. По этому бланку потрудитесь получить послезавтра у Валентинова двадцать... Вексель вот... Чек... Остальные тридцать на днях... Управляющий мой вам привезет.

Грохольский, розовый, возбужденный, двигая всеми членами, выложил перед Бугровым кучу пачек, бумаг, пакетов. Куча была большая, разноцветная, пестрая. В жизнь свою никогда не видал Бугров такой кучи! Он растопырил свои жирные пальцы и, не глядя на Грохольского, принялся перебирать пачки кредиток и бланки...

Грохольский выложил все деньги и засеменял по комнате, отыскивая купленную и проданную Дульцинею.

Наполнив карманы и бумажник, Бугров спрятал бланки в стол и, выпив полграфина воды, выскочил на улицу.

– Извозчик! – крикнул он диким голосом.

Ночью, в половине двенадцатого, он подкатил к подъезду гостиницы «Париж». С шумом вошел он вверх по лестнице и постучался в номер, в котором жил Грохольский. Его впустили. Грохольский укладывал свои вещи в чемоданы. Лиза сидела за столом и примеряла браслеты. Оба они испугались, когда вошел к ним Бугров. Им показалось, что он пришел за Лизой и принес обратно деньги, которые он взял не по убеждению, а сгоряча. Но Бугров пришел не за Лизой. Стыдясь своей новой оболочки, чувствуя себя в ней ужасно неловко, он поклонился и стал у двери в позе лакея... Новая оболочка была восхитительна. Бугров был неузнаваем. Костюм свеженький, прямо с иголки, из французского трико, самый наимоднейший, облекал его большое тело, ничего доселе не носившее, кроме обыкновенного вицмундира. На ногах блестели полуштилеты с сверкающими пряжками. Он стоял, стыдился своей новой оболочки и правой рукой закрывал брелоки, за которые он, час тому назад, заплатил триста рублей.

– Я пришел насчет вот чего... – начал он. – Уговор лучше денег. Мишутку я не отдам...

– Какого Мишутку? – спросил Грохольский.

– Сына.

Грохольский и Лиза переглянулись. У Лизы надулись глаза, покраснели щеки и запрыгали губы...

– Хорошо, – сказала она.

Она вспомнила теплую постельку Мишутки. Жестоко бы-

ло бы эту теплую постельку променять на холодный номерной диван, и она согласилась.

– Я буду с ним видаться, – сказала она.

Бугров поклонился, вышел и, блестящий, полетел вниз по лестнице, рассекая воздух дорогою тростью.

– Домой! – сказал он извозчику. – Завтра утром, в пять часов, я поеду... Приедешь. Буду спать, разбудишь. За город поедем...

II

Был прекрасный августовский вечер. Солнце, окаймленное золотым фоном, слегка подернутое пурпуром, стояло над западным горизонтом, готовое опуститься за далекие курганы. В садах уже исчезли тени и полутени, воздух стал сер, но на верхушках деревьев играла еще позолота... Было тепло. Недавно шел дождь и еще более освежил и без того свежий, прозрачный, ароматный воздух.

Я описываю не столичный август, туманный, слезливый, темный, с его холодными, донельзя сырими зорями. Храни бог! Я описываю не наш северный, жесткий август. Я попрошу читателя перенестись в Крым, на один из его берегов, поближе к Феодосии, к тому именно месту, где стоит дача одного из моих героев. Дача хорошенькая, чистенькая, окруженная цветниками и стриженными кустами. Сзади, шагов на сто от нее, синееет фруктовый сад, в котором гуляют дачни-

ки... Грохольский дорого платит за эту дачу: тысячу рублей в год, кажется... Дача не стоит этой платы, но она хорошенькая... Высокая, тонкая, с тонкими стенами и очень тонкими перилами, хрупкая, нежная, выкрашенная в светло-голубой цвет, увешанная кругом занавесами, портьерами, драпри, — она напоминает собой милостивую, хрупкую, кисейную барышню.

В описываемый вечер на террасе этой дачи сидели Грохольский и Лиза. Грохольский читал «Новое время» и пил из зеленой кружки молоко. Перед ним на столе стоял сифон с сельтерской водой. Грохольский воображал себя больным катаром легких и, по совету доктора Дмитриева, истреблял огромное количество винограда, молока и сельтерской воды. Лиза сидела далеко от стола, на мягком кресле. Облокотившись на перила и подперевши свое маленькое лицо кулачками, она глядела на дачу vis-à-vis... В окнах дачи vis-à-vis играло солнце... Горящие стекла бросали в глаза Лизы ослепительные лучи... Из-за палисадника и редких деревьев, окружавших дачу, глядело море со своими волнами, синевой, бесконечностью, белеющимися мачтами... Было так хорошо! Грохольский читал фельетон Незнакомца и после каждых десяти строк взбрасывал свои голубые глаза на Лизину спину... Прежняя любовь, страстная, кипучая, светилась в этих глазах... Он был бесконечно счастлив, несмотря на воображаемый катар легких... Лиза чувствовала на своей спине его глаза, думала о блестящей будущности Мишутки,

и ей было так покойно, так славно на душе...

Ее не так занимали море и ослепительное мерцанье стекол дачи vis-à-vis, как те обозы, которые один за другим тянулись к этой даче.

Обозы были полны мебели и разной домашней утвари. Лиза видела, как на даче отворились решетчатые ворота и большие стеклянные двери, как с бесконечной перебранкой закопошились около мебели возницы. В стеклянные двери внесли большие кресла и диван, обитые темно-малиновым бархатом, столы для зала, гостиной и столовой, большую двуспальную кровать, детскую кровать... Внесли также что-то большое, увязанное в рогожи, тяжелое...

«Рояль», – подумала Лиза, и у ней забилося сердце.

Она давно уже не слыхала игры на рояле, а она так любила эту игру. У них на даче не было ни одного музыкального инструмента. Она и Грохольский были музыкантами только в душе, не более.

За роялью внесли много ящиков и тюков, на которых написано «Осторожно».

Это были ящики с зеркалами и посудой. В ворота ввезли богатую, блестящую коляску и ввели двух белых лошадей, похожих на лебедей.

«Боже мой! Какое богатство!» – подумала Лиза, припоминая своего старичка-пони, купленного Грохольским, не любящим ни езды, ни лошадей, за сто рублей. Ее пони сравнительно с этими конями-лебедами показался ей клопом. Гро-

хольский, боящийся быстрой езды, нарочно купил для Лизы плохую лошадь.

«Какое богатство!» – думала и шептала Лиза, глядя на шумевших возниц.

Солнце спряталось за курганы, воздух стал терять свою прозрачность и сухость, а мебель всё еще возили и таскали. Стало наконец темно до того, что Грохольский перестал читать газеты, а Лиза всё смотрела и смотрела.

– Не зажечь ли лампу? – спросил Грохольский, боявшийся, чтобы в молоко не упала муха и в темноте не была бы проглочена. – Лиза! Не зажечь ли лампу? В темноте посидим, мой ангел?

Лиза не отвечала. Ее занимал шарабан, подъехавший к воротам дачи *vis-à-vis*... Какая миленькая лошадка привезла этот шарабан! Среднего роста, небольшая, грациозная... В шарабане сидел какой-то господин в цилиндре. На коленях его, болтая ручонками, заседал ребенок лет трех, по-видимому мальчишка... Он болтал ручонками и покрикивал от восторга...

Лиза вдруг взвизгнула, поднялась и подалась всем корпусом вперед.

– Что с тобой? – спросил Грохольский.

– Ничего... Это я так... Показалось...

Высокий и широкоплечий господин в цилиндре соскочил с шарабана, взял на руки мальчишку и, подпрыгивая, весело побежал к стеклянной двери.

Дверь с шумом отворилась, и он исчез во мраке данных апартаментов.

Два холуя подскочили к лошади с шарабаном и почтительнейше повели ее в ворота. Скоро в даче *vis-à-vis* засветились огни и послышался стук тарелок, ножей и вилок. Господин в цилиндре сел ужинать и, судя по продолжительности звяканья посудой, ужинал долго. Лизе показалось, что запахло щами с курицей и жареной уткой. После ужина из дачи понеслись беспорядочные звуки рояля. По всей вероятности, господин в цилиндре хотел забавить чем-нибудь ребенка и позволил ему побрыцать.

Грохольский подошел к Лизе и взял ее за талию.

– Какая чудная погода! – сказал он. – Какой воздух! Чувствуешь? Я, Лиза, очень счастлив... даже очень. Счастье мое так велико, что я даже боюсь, чтоб и оно не рухнуло. Рушатся, обыкновенно, большие предметы... А знаешь ли, Лиза? Несмотря на всё мое счастье, я все-таки не абсолютно... покоен... Меня мучает одна неотвязчивая мысль... Ужасно мучает. Она мне не дает покоя ни днем, ни ночью...

– Какая мысль?

– Какая? Ужасная, душа моя. Меня мучает мысль о... твоём муже. Я молчал до сих пор, боялся потревожить твой внутренний покой. Но я не в силах молчать... Где он? Что с ним? Куда он делся со своими деньгами? Ужасно! Каждую ночь мне представляется его лицо, испитое, страдающее, умоляющее... Ну, посуди, мой ангел! Ведь мы отняли у

него его счастье! Разрушили, раздробили! Свое счастье мы построили на развалинах его счастья... Разве деньги, которые он великодушно принял, могут ему заменить тебя? Ведь он тебя очень любил?

– Очень!

– Ну, вот видишь! Он или запил теперь, или же... Боюсь за него! Ах, как боюсь! Написать бы ему, что ли? Его утешить нужно... Доброе слово, знаешь ли...

Грохольский глубоко вздохнул, покачал головой и, изнеможенный тяжелой думой, опустился в кресло. Подперев голову кулаками, он принялся думать. Судя по его лицу, дума была мучительная...

– Я пойду спать, – сказала Лиза. – Пора...

Лиза пошла к себе, разделась и порхнула под одеяло. Она ложилась в десять часов и вставала в десять. Сибаритничать она любила...

Морфей скоро принял ее в свои объятия. Сны ей снились, в продолжение всей ночи, самые обворожительные... Снились ей целые романы, повести, арабские сказки... Героем всех этих снов был... господин в цилиндре, заставивший ее сегодня вечером взвизгнуть.

Господин в цилиндре отнимал ее у Грохольского, пел, бил Грохольского и ее, сек под окном мальчишку, объяснялся в любви, катал ее на шарабане... О, сны! В одну ночь, с закрытыми глазами и лежа, можно иногда прожить не один десяток счастливых лет... Лиза в эту ночь прожила очень много

и очень счастливо, несмотря даже и на побои...

Проснувшись в восьмом часу, она накинула на себя платье, быстро поправила волосы и, не надев даже своих татарских остроносых туфель, опрометью побежала на террасу. Одной рукой закрывая от солнца глаза, а другой поддерживая спускающееся платье, она поглядела на дачу vis-à-vis... Лицо ее засияло.

Сомневаться более нельзя было. Это был он.

Под террасой дачи vis-à-vis, перед стеклянной дверью, стоял стол. На столе сиял, сверкал и блистал чайный сервиз с серебряным самоварчиком во главе. За столом сидел Иван Петрович. Он держал в руках серебряный подстаканник и пил чай. Пил с большим аппетитом. Последнее можно было заметить по тому чавканью, которое доносилось до ушей Лизы. Он был в коричневом халате с черными цветами. Массивные кисти спускались до самой земли. Лиза первый раз в жизни видела своего мужа в халате, да еще в таком дорогом... На одном колене его сидел Мишутка и мешал ему пить чай. Он подпрыгивал и старался схватить своего папашу за лоснящуюся губу. Папаша, после каждых трех-четырех глотков, наклонялся к сыну и целовал его в темя. Около одной из ножек стола, подняв высоко хвост, терся серый кот и жалобным мяуканьем изъяслял желание покушать.

Лиза спряталась за портьеру и впиалась глазами в членов своей бывшей семьи. На лице ее засветилась радость...

– Мишель! – зашептала она. – Миша! Ты здесь, Миша!

Голубчик! А как он любит Ваню! Господи!

И Лиза покатила со смеху, когда Мишутка помешал ложкой отцовский чай.

– А как Ваня любит Мишеля! Милые мои!

У Лизы от радости и от счастья забилося сердце и закружилась голова. Она опустилась в кресло и с кресла принялась за наблюдения.

«Как они попали сюда?! – спрашивала она себя, посылая Мишутке воздушные поцелуи. – Кто надоумил их приехать сюда? Господи! И неужели всё это богатство принадлежит им? Неужели те лошади-лебеди, которых ввели вчера в ворота, принадлежат Ивану Петровичу? Ах!»

Напившись чаю, Иван Петрович ушел в дом. Через десять минут он появился на крыльце и... поразил Лизу. Он, юноша, только семь лет тому назад переставший называться Ванькой и Ванюшкой, готовый за двугривенный своротить челюсть, поставить весь дом вверх дном, был одет чертовски хорошо. Он был в соломенной широкополой шляпе, в чудных блестящих ботфортах, жилетке пике... Тысяча больших и малых солнц светилось в его брелоках. В правой руке держал он с шиком перчатки и хлыстик...

А сколько фанаберии и амбиции было в его тяжеловесной фигуре, когда он грациозным манием руки велел лакею подавать лошадь!

Он важно сел в шарабан и велел подать себе Мишутку и удочки, с которыми стояли вокруг шарабана лакеи. Посадив

Мишутку рядом и обхватив его левой рукой, он дернул вожжи и покатил.

– Но-о-о-о! – крикнул Мишутка.

Лиза, сама того не замечая, махнула им вслед платком. Если бы она посмотрелась в зеркало, то она увидела бы покрасневшее, смеющееся и в то же время плачущее личико. Ей досадно было, что она не около ликующего Мишутки и что ей нельзя почему-то сейчас же расцеловать его.

Почему-то!.. Пропадай все вы пропадом, щепетильные чувства!

– Гриша! Гриша! – принялась Лиза будить Грохольского, вбежав в спальную. – Вставай! Приехали! Голубчик!

– Кто приехал? – спросил проснувшийся Грохольский.

– Наши... Ваня и Миша... Приехали! На даче, что напротив... Смотрю я, а они там... Чай пили... И Миша тоже... Какой ангельчик наш Миша стал, если б ты его только видел! Мать божия!

– Кого? Да ты того... Кто приехал? Куда?

– Ваня с Мишей... Смотрю я на дачу, что напротив, а они сидят и чай пьют. Миша уже умеет сам чай пить... Видел, что вчера перевозились? Это они приехали!

Грохольский нахмурился, потер себе лоб и побледнел.

– Приехал? Муж? – спросил он.

– Ну да...

– Зачем?

– Вероятно, жить здесь будут... Они не знают, что мы

здесь. Если бы знали, то смотрели бы на нашу дачу, а то пили чай и... не обращали никакого внимания...

– Где он теперь? Да говори ты, ради бога, толком! Ах! Ну, где он?

– Поехал с Мишей рыбу удить... На шарабане. Видел ты вчера лошадей? Это их лошади... Ванины... Ваня на них ездит. Знаешь что, Гриша? Мы Мишу к себе в гости возьмем... Возьмем ведь? Он такой хорошенький мальчик! Такой чудесный!

Грохольский задумался, а Лиза всё говорила, говорила...

– Вот так неожиданная встреча, – сказал Грохольский после долгого и, по обыкновению, мучительного размышления. – Ну, кто мог ожидать, что мы тут встретимся? Ну... так и быть... Пусть. Судьбе, значит, так угодно. Воображаю его неловкое положение, когда он с нами встретится!

– Мишу возьмем к себе в гости?

– Мишу-то возьмем... С ним-то вот неловко встречаться... Ну, что я с ним буду говорить? О чем? И ему неловко, и мне неловко... Встречаться не следует. Будем переговоры вести, если нужно будет, через прислугу... У меня, Лизочка, ужасно голова болит... Руки и ноги... Ломит всё. Голова у меня горячая?

Лиза провела ладонью по его лбу и нашла, что голова горячая.

– Всю ночь сны ужасные... Я не встану сегодня с постели, полежу... Надо будет хинину принять. Пришлешь мне чай

сюда, мамочка...

Грохольский принял хинину и провалялся на постели целый день. Он пил теплую воду, стонал, переменял белье, хныкал и наводил на всё окружающее томительнейшую скуку. Он был невыносим, когда воображал себя простудившимся. Лизе то и дело приходилось прерывать свои любопытные наблюдения и бегать с террасы в его комнату. Во время обеда ей пришлось ставить ему горчичники. Как всё это было бы скучно, читатель, если бы к услугам моей героини не было дачи *vis-à-vis*. Лиза целый день глядела на эту дачу и захлебывалась от счастья.

В десять часов Иван Петрович и Мишутка, возвратившись с рыбной ловли, завтракали. В два часа они обедали и в четыре уехали куда-то в коляске. Белые лошади понесли их с быстротою молнии. В семь часов к ним приехали гости, мужчины. До самой полночи на террасе играли на двух столах в карты. Один из мужчин играл превосходно на рояле. Гости играли, пили, ели, хохотали. Иван Петрович, хохоча во всё горло, рассказал им анекдот из армянского быта, рассказал во всю ивановскую, так, что всем дачам слышно было. Очень было весело! И Мишутка просидел с ними до полночи.

«Миша весел, не плачет, – подумала Лиза, – значит, не помнит свою маму. Забыл он, значит, меня!»

И на душе у Лизы стало ужасно горько. Она проплакала всю ночь. Ее мучила и маленькая совесть, и досада, и тоска, и страстное желание поговорить с Мишуткой, поцеловать

его... Утром поднялась она с постели с головной болью и с заплаканными глазами. Слезы эти записал Грохольский на свой счет.

– Не плачь, милая! – сказал он ей. – Сегодня я уж здоров... Грудь немножко побаливает, но это ничего.

Когда они пили чай, на даче vis-à-vis завтракали. Иван Петрович смотрел в тарелку и не видел ничего, кроме куска гуся, с которого тек жир.

– Я очень доволен, – шептал Грохольский, искоса поглядывая на Бугрова. – Очень доволен, что он живет так сносно! Пусть хоть порядочной обстановкой заглушит свое горе. Закройся, Лиза! Увидят... Сейчас я не расположен беседовать с ним... Бог с ним! Зачем нарушать его покой?

Зато обед не прошел так тихо... Во время обеда случилось именно то «неловкое положение», которого так боялся Грохольский. Когда были поданы к столу куропатки, самое любимое кушанье Грохольского, Лиза вдруг сконфузилась, и Грохольский принялся утирать лицо салфеткой. На террасе дачи vis-à-vis они увидели Бугрова. Он стоял, опершись руками о перила, и, выпучив глаза, глядел прямо на них.

– Выйди, Лиза... Выйди... – зашептал Грохольский. – Говорил ведь, чтоб в комнате обедать! Какая, право, ты...

Бугров глядел-глядел и вдруг заорал. Грохольский поглядел на него и увидел очень удивляющееся лицо...

– Это вы?! – заорал Иван Петрович. – Вы?! И вы здесь? Здравствуйте!

Грохольский провел пальцами от одного плеча до другого. Грудь, мол, слаба, а потому кричать на такое расстояние невозможно. У Лизы забилося сердце и помутилось в глазах... Бугров сбежал с своей террасы, перебежал дорогу и через несколько секунд стоял уже под террасой, на которой обедали Грохольский и Лиза. Пропали куропатки!

– Здравствуйте, – заговорил он, краснея и запихивая в карманы свои большие руки. – Вы здесь? И вы здесь?

– Да, и мы здесь.

– Каким образом вы здесь?

– А вы каким образом?

– Я? Целая история! Баллада целая, батенька! Да вы не беспокойтесь, кушайте! Жил я, знаете ли, с тех пор, как... в Орловской губернии... Именьице арендовал. Прекрасное имение! Да вы кушайте! Прожил там с самого конца мая, ну, а теперь бросил... Холодно там, ну да и доктор в Крым посоветовал ехать...

– А вы больны разве чем-нибудь? – спросил Грохольский.

– Да так... всё тут как будто бы... бурлит что-то...

И Иван Петрович, при слове «тут», провел ладонью от шеи до середины живота.

– Так и вы здесь... Так-с... Это очень приятно. Давно вы здесь?

– С июня.

– Ну, а ты, Лиза, как? Здорова?

– Здорова, – ответила Лиза и сконфузилась.

– За Мишуткой небось соскучилась? А? А он здесь, со мной... Я к вам его сейчас с Никифором пришлю. Это очень приятно! Ну, прощайте! Мне ехать сейчас нужно... Вчера я познакомился с князем Тер-Гаймазовым... Душа человек, хоть и армяшка! Так сегодня у него крокет... В крокет будем играть... Прощайте! Лошадь уже подана...

Иван Петрович завертелся на одном месте, замотал головой и, сделав ручкой «adieu», побежал к себе.

– Несчастный! – сказал Грохольский, проводив его глазами и глубоко вздохнув.

– Чем же он несчастный? – спросила Лиза.

– Видеть тебя и не иметь права назвать тебя своей!

«Дуррак! – осмелилась подумать Лиза. – Тряпка!»

Перед вечером Лиза обнимала и целовала Мишутку, которого принес Никифор. Мишутка на первых порах разревелся, но, когда ему предложили кизилового варенья, он дружелюбно заулыбался.

Три дня Грохольский и Лиза не видали Бугрова. Он где-то пропадал и только ночью бывал дома. На четвертый день он явился к ним опять во время обеда... Он пришел, подал обоим руки и сел за стол. Лицо его было серьезно...

– Я к вам по делу, – сказал он. – Прочтите!

И он подал Грохольскому письмо.

– Прочтите! Читайте вслух!

Грохольский прочел вслух следующее:

«Любезный и утешительный, незабвенный сын мой

Иоанн! Я получил почтительное и любвеобильное письмо твое, в котором ты приглашаешь престарелого отца своего в благорастворенный и благодушный Крым подышать благоприятным воздухом и повидать неведомые мне земли. На сие твое письмо отвечаю, что по взятии отпуска я к тебе прибуду, но ненадолго. Мой сослуживец, отец Герасим, человек хворый, расслабленный и не может один оставаться на долгое время. Мне очень чувствительно, что ты не забываешь родителей твоих, отца и мать твою... Отца ублаговляешь лаской, а мать поминаешь в молитвах своих; ибо сие так и подобает. В Феодосии встречай меня. Что это за город Феодосия? Какой? Очень приятно будет повидать. Твою крестную мать, воспринимавшую тебя от купели, зовут Феодосией. Ты пишешь, что бог сподобил тебя выиграть 200 000. Это мне обольстительно. Но не хвалю того случая, что ты, дослужившись до немаловажного чина, оставил втуне служение. Служить подобает и богачу. Благословляю тебя всегда, ныне и присно. Кланяется тебе Андронов Илья и Сережка. Ты бы им по десятке прислал. Бедствуют!

Твой любящий отец, священник Петр Бугров».

Грохольский прочитал вслух это письмо и вместе с Лизой вопросительно поглядел на Бугрова.

– Видите, в чем дело... – начал, заикаясь, Иван Петрович. – Я просил бы, Лиза, пока он будет здесь, не показываться ему на глаза, спрятаться. Я написал ему, что ты больна и уехала на Кавказ лечиться. Если встретишься ему, то...

сама знаешь... Неловко... Гм...

– Хорошо, – сказала Лиза.

«Это можно, – подумал Грохольский. – Если он жертвует, то почему же нам не жертвовать?»

– Пожалуйста... А то, как увидит, беда... Он у меня строгих правил. На семи соборах проклянет. Ты, Лиза, не выходи из комнаты, вот и всё... Он недолго здесь пробудет. Не беспокойся...

Отец Петр не заставил себя долго ждать. В одно прекрасное утро прибежал Иван Петрович и таинственным тоном прошипел:

– Приехал! Спит теперь! Так пожалуйста же!

И Лиза засела между четырьмя стенами. Она не позволяла себе выходить ни на двор, ни на террасу. Ей можно было видеть небо только из-за оконной занавески... К ее несчастью, папаша Ивана Петровича всё время был под открытым небом и спал даже на террасе. Обыкновенно отец Петр, маленький попик, в коричневой рясе и в цилиндре с поднятыми краями, медленно разгуливал вокруг дач и с любопытством поглядывал сквозь свои дедовские очки на «неведомые земли». Его сопровождал Иван Петрович с Станиславом в петличке. Ордена обыкновенно он не носил, но перед родней Иван Петрович любил поломаться. Находясь в обществе родни, он всегда надевал Станислава.

Лиза умирала от скуки. Грохольский тоже страдал. Ему приходилось гулять одному, без пары. Он чуть не плакал,

но... нужно было покориться судьбе. А тут еще каждое утро прибегал Бугров и, шипя, сообщал никому не нужный бюллетень о здоровье маленького отца Петра. Надоел он с этими бюллетенями.

– Ночь спал хорошо! – сообщал он. – Вчера обижался, что у меня соленых огурцов нет... Мишутку полюбил. Всё по голове гладит...

Наконец, недели через две, маленький отец Петр походил в последний раз вокруг дач и, к великому счастью Грохольского, уехал. Он нагулялся и уехал ужасно довольным... Грохольский и Лиза опять зажили по-старому. Грохольский опять заблагословлял свою судьбу... Но недолго продолжалось его счастье... Явилась новая беда, горшая отца Петра.

К ним повадился каждый день ходить Иван Петрович. Иван Петрович, откровенно говоря, славный малый, но очень тяжелый человек. Он приходил во время обеда, обедал у них и сидел у них очень долго. Это бы еще ничего. Но ему к обеду нужно было покупать водки, которую терпеть не мог Грохольский. Он выпивал рюмок пять и говорил весь обед. И это бы еще ничего... Но он просиживал до двух часов ночи и не давал им спать... А главное, он позволял себе говорить то, о чем следовало бы молчать... Когда он к двум часам ночи напивался водки и шампанского, он брал на руки Мишутку и, плача, говорил ему при Грохольском и Лизе:

– Сын мой! Михаил! Я что такое? Кто? Я... подлец! Продал мать твою! Продал за тридесять сребреников... Нака-

жи меня господь! Михаил Иванович! Поросеночек! Где твоя мать? Фюить! Нету! Продана в рабство! Ну, что ж? Подлец я... значит...

Эти слезы и слова выворачивали всю душу Грохольского. Он робко поглядывал на бледневшую Лизу и ломал себе руки.

– Идите спать, Иван Петрович! – говорил он робко.

– И пойду... Пойдем, Мишутка! Суди нас бог! Не могу я помышлять о сне, когда я знаю, что моя жена раба... Но Грохольский не виноват... Мой товар, его деньги... Вольному воля, спасенному рай...

Днем для Грохольского Иван Петрович был не менее невыносим. Он, к великому ужасу Грохольского, не отходил от Лизы. Удил с ней рыбу, рассказывал ей анекдоты, гулял с ней. И даже раз, воспользовавшись простудой Грохольского, он возил ее на своей коляске, бог знает где, до самой ночи.

«Это возмутительно! Нечеловечно!» – думал Грохольский, кусая губы.

Грохольский любил ежеминутно целовать Лизу. Без этих слащавых поцелуев он жить не мог, а при Иване Петровиче было как-то неловко целоваться... Мучение! Бедняжка почувствовал себя одиноким... Но судьба скоро сжалилась над ним... Иван Петрович вдруг пропал куда-то на целую неделю. Приехали гости и утащили его с собой. И Мишутку взяли.

В одно прекрасное утро Грохольский пришел к себе на

дачу с прогулки веселый, сияющий.

– Приехал, – сказал он Лизе, потирая руки. – Я очень рад, что он приехал... Ха-ха-ха!

– Чего ты смеешься?

– С ним женщины...

– Какие женщины?

– Не знаю... Это хорошо, что он завел себе женщин... Отлично даже... Он еще так молод, так свеж... Иди-ка сюда! Погляди...

Грохольский повел Лизу на террасу и указал ей на дачу vis-à-vis. Оба взялись за животы и захохотали. Смешно было. На террасе дачи vis-à-vis стоял Иван Петрович и улыбался. Внизу, под террасой, стояли какие-то две дамы-брюнетки и Мишутка. Дамы о чем-то громко говорили по-французски и хохотали.

– Француженки, – заметил Грохольский. – Та, что ближе к нам, очень недурна. Легкая кавалерия, но это ничего... И между такими бывают хорошие женщины... Однако как они... нахальны.

Смешно было то, что Иван Петрович переваливался через террасу и опускал вниз свои длинные руки, руками обхватывал плечи одной из француженок и, хохочущую, поднимал и ставил на террасу.

Поднявши обеих дам на террасу, он поднял и Мишутку. Дамы сбежали вниз, и опять началось то же поднятие...

– Здоровые, однако, мускулы! – бормотал Грохольский,

глядя на эту сцену.

Поднятие повторилось раз шесть. Дамы были так милы, что нисколько не конфузались, когда сильно дувший ветер во время поднятия, как хотел, распорядился их вздувшимися платьями. Грохольский стыдливо опускал глазки, когда дамы, достигши балкона, перекидывали ноги через перила. А Лиза глядела и хохотала! Ей какое было дело? Невежничали не мужчины, которых должна была она, женщина, стыдиться, а дамы!

Вечером прилетел Иван Петрович и, конфузясь, объявил, что он теперь семейный человек...

– Вы не подумайте, что они какие-нибудь, – сказал он. – Правда, они француженки, кричат всё, вино пьют... но известно! Воспитание такое французы получают! Ничего не поделаешь... Мне их, – добавил Иван Петрович, – князь уступил... Почти задаром... Возьми да возьми... Надо вас будет когда-нибудь познакомить с князем. Образованный человек! Всё пишет, пишет... А знаете, как их зовут? Одну Фанни, другую Изабеллой... Европа! Ха-ха-ха... Запад! Прощайте-с!

Иван Петрович оставил в покое Грохольского и Лизу и прилепился к своим дамам. Целый день слышался из его дачи говор, смех, звон посуды... До глубокой ночи не тушили огонь... Грохольский заблагодужествовал... Наконец таки, после долгого мучительного антракта, он почувствовал себя опять счастливым и покойным. Иван Петрович с дву-

мя не вкушал такого счастья, какое вкушал он с одной... Но – увы! У судьбы нет сердца. Она играет Грохольскими, Лизами, Иванами, Мишутками, как пешками... Грохольский опять потерял покой...

Однажды (недели полторы спустя), поздно проснувшись, он вышел на террасу и увидел картину, которая его поразила, возмутила и привела в сильнейшее негодование. Под террасой дачи *vis-à-vis* стояли француженки и между ними... Лиза. Она беседовала и искоса поглядывала на свою дачу: не проснулся ли, мол, тот тиран, деспот? (Так Грохольский объяснил себе эти взгляды.) Иван Петрович, стоящий на террасе, с засученными рукавами, поднял вверх Изабеллу, потом Фанни и потом... Лизу. Когда он поднимал Лизу, Грохольскому показалось, что он прижимал ее к себе... Лиза тоже перекинула одну ногу через перила... О, эти женщины! Они все до единой сфинксы!

Когда Лиза воротилась от мужа домой и, как ни в чем не бывало, на цыпочках вошла в спальную, Грохольский, бледный, с розовыми пятнами на щеках, лежал в позе совсем обессиленного человека и стонал.

Увидев Лизу, он спрыгнул с кровати и зашагал по спальней.

– Так вот вы как? – завизжал он высоким тенором. – Так вот вы как? Очень вам благодарен! Это возмутительно, милостивая государыня! Безнравственно, наконец! Поймите вы это!

Лиза побледнела и, разумеется, заплакала. Женщины, когда чувствуют себя правыми, бранятся и плачут, когда же сознают за собой вину, то только плачут.

– Заодно с этими развратницами?! Оно... Это... это... это ниже всякого неприличия! Да вы знаете, кто они? Это продажные-с! Кокотки! И вы, честная женщина, полезли туда же, куда и они?! А тот... тот! Что ему нужно? Что ему еще нужно от меня? Не понимаю! Я отдал ему половину своего состояния, отдал больше! Вы знаете сами! Я отдал ему то, чего у меня нет... Почти всё отдал... А он! Я выносил ваше с ним «ты», на которое он не имеет никакого права, выносил ваши прогулки, поцелуи после обеда... всё выносил, но этого не вынесу... Я или он! Пусть он уедет отсюда, или я уеду! Жить я так более не в состоянии... нет! Ты сама это понимаешь... Или я, или он... Полно! Чаша уже полна... Я и так уже многое выстрадал... Сейчас же пойду с ним переговорю... Сию минуту! Что он, в самом деле? Ишь ведь он какой! Ну, нет-с... Это он напрасно так много думает о себе...

Грохольский наговорил еще очень много храбрых и язвительных вещей, но «сейчас» не пошел: струсил и устыдился. Он пошел к Ивану Петровичу три дня спустя...

Вошедши в его апартаменты, он рот разинул. Его удивили роскошь и богатство, которыми окружил себя Бугров. Обои бархатные, стулья ужасно дорогие... ступить даже страшно. Грохольский видал на своем веку много богатых людей, но ни у одного не видел такой бешеной роскоши. А какую без-

алаберщину увидел он, когда с непонятым трепетом вошел в зал! На рояле валялись тарелки с кусочками хлеба, на стуле стоял стакан, под столом корзина с каким-то безобразным тряпьем. На окнах была рассыпана ореховая скорлупа... Сам Бугров, когда вошел Грохольский, тоже был не совсем в порядке. Он шагал по зале, розовый, непричесанный, в дезабилье, и говорил сам с собою... Он, видимо, был чем-то сильно встревожен. На диване, тут же в зале, сидел Мишутка и потрясал воздух пронзительным криком.

– Это ужасно, Григорий Васильич! – заговорил Бугров, увидев Грохольского. – Такие беспорядки, такие беспорядки... Садитесь, пожалуйста! Вы извините меня, что я в костюме Адама и Евы... Это ничего... Ужасные беспорядки! Не понимаю, как это люди могут здесь жить? Не понимаю! Прислуга непослушная, климат ужасный, всё дорого... Замолчи! – крикнул Бугров, вдруг остановившись перед Мишуткой. – Замолчи! Тебе говорят! Скот! Ты не замолчишь?

И Бугров дернул за ухо Мишутку.

– Это возмутительно, Иван Петрович! – заговорил плачущим голосом Грохольский. – Можно ли бить таких маленьких? Какой же вы, право...

– А пусть он не ревет... Замолчи! Высеку!

– Не плачь, Миша, голубчик... Папа тебя больше не тронет. Не бейте его, Иван Петрович! Ведь он еще дитя... Ну-ну... Хочешь лошадку? Я тебе лошадку пришлю... Какой же вы, право... жестокосердный...

Грохольский помолчал и спросил:

– А как поживают ваши дамы, Иван Петрович?

– Никак... Прогнал... Без церемонии. Я бы их еще подержал, да неловко: мальчишка подрастает... Пример с отца... Будь я один, ну, тогда другое дело. Да и к чему мне их держать? Пф... Одна только комедия! Я им по-русски, а они мне по-французски... Ничего не понимают, хоть кол теши на голове.

– Я к вам по делу, Иван Петрович, переговорить... Гм... Дело не особенное, а так... два-три слова... В сущности, я к вам просьбу имею.

– Какую?

– Не найдете ли вы, Иван Петрович, возможным уехать... отсюда? Мы очень рады, что вы здесь, нам очень приятно, но, знаете ли, неудобно... Вы меня поймете. Неловко как-то... Неопределенные отношения какие-то, вечная неловкость по отношению друг к другу... Расстаться нужно... Необходимо даже... Вы извините меня, но... вы сами, конечно, понимаете, что в подобных случаях совместное житье наводит на... размышления... То есть не на размышления, а является какое-то неловкое чувство.

– Да... Это так. Я сам об этом думал. Хорошо, уеду.

– Мы вам будем очень благодарны. Верьте, Иван Петрович, что воспоминание о вас мы сохраним самое лестное! Жертва, которую...

– Хорошо... Только куда же всё это я дену? Послушайте,

купите у меня эту мебель! Хотите? Она недорого стоит... Тысяч восемь... десять... Мебель, коляска, рояль...

– Хорошо... Я дам вам десять...

– Ну вот и отлично! Завтра же еду... В Москву поеду. А здесь жить невозможно! Дорого всё! Ужасно дорого! Деньги так и сыпятся... Что ни шаг – то и тысяча... Этак я не могу... У меня семья... Ну, слава богу, что вы у меня мебель покупаете. Денег все-таки больше будет, а то я совсем обанкрутился...

Грохольский встал, попрощался с Бугровым и, ликующий, отправился к себе. Вечером он прислал ему десять тысяч.

На другой день, рано утром, Бугров и Мишутка были уже в Феодосии.

III

Прошло несколько месяцев. Наступила весна.

С весной наступили и ясные, светлые дни, когда жизнь не так ненавистна и скучна и земля наиболее благообразна... Повеяло с моря и с поля теплом... Земля покрылась новой травой, на деревьях зазеленели новые листья. Природа воскресла и предстала в новой одежде...

Казалось бы, новые надежды и новые желания должны закопошиться в человеке, когда в природе всё обновлено, молодо, свежо... Но человека трудно воскресить.

Грохольский жил всё в той же даче... Надежды и желания его, маленькие, нетребовательные, сосредоточивались всё на той же Лизе, на одной ей, ни на чем другом! Он по-прежнему не отрывал от нее глаз и услаждал себя мыслью: «Как я счастлив!» Бедняга на самом таком деле чувствовал себя ужасно счастливым. Лиза по-прежнему сидела на террасе и скучно, непонятно глядела на дачу vis-à-vis и деревья около нее, сквозь которые видно было синее море... Она по-прежнему всё больше молчала, часто плакала и изредка ставила горчичники Грохольскому. Впрочем, ее можно поздравить с обновкой. Внутри ее завелся червь. Этот червь – тоска... Она сильно тосковала, тосковала за сыном, за прошлым житьем-бытьем, за весельем. Прежнее житье было не особенно веселое, но все-таки веселее теперешнего... Живя с мужем, она изредка хаживала в театр, в собрание, к знакомым. А здесь, с Грохольским? Здесь пусто, тихо... Возле есть один человек, да и тот, со своими недугами и ежеминутными слащавыми поцелуями, похож на старого, от радости вечно плачущего дедушку-тихоню. Скучно! Здесь нет Михея Сергеича, который любил с нею плясать мазурку, нет и Спиридона Николаича, сына редактора «Губернских ведомостей». Спиридон Николаич прекрасно поет и читает стихи. Нет стола с закуской, ни гостей, нет Герасимовны, няни, которая постоянно бурчала на нее за то, что она ела много варенья. Никого нет! Просто хоть ложись да умирай от тоски. Грохольский радовался своему одиночеству, но... напрасно он радовался.

Он раньше, чем следует, заплатил за свой эгоизм. В начале мая, когда, казалось, и сам воздух что-то любил и изнывал от счастья, Грохольский потерял всё: и любимую женщину, и...

Бугров и в этом году приехал в Крым. Дачи *vis-à-vis* он не нанял, а слонялся с Мишуткой по крымским городам. В городах он пил, ел, спал и в карты играл. К рыбной ловле, охоте, к француженкам, которые, между нас сказать, немножко обокрали его, он потерял всякую охоту. Он похудел, перестал сиять и широко улыбаться, нарядился в парусину. Иван Петрович изредка посещал и дачу Грохольского. Он привозил Лизе варенье, конфет, фрукт и как бы старался разогнать ее скуку. Грохольского не беспокоили эти посещения, тем более, что они были редки, кратковременны, и, по-видимому, делались ради Мишутки, которого нельзя уже было лишить ни за что ни про что права иметь свидания с матерью. Бугров приезжал, выкладывал гостинцы и, сказав несколько слов, уезжал. И говорил он эти несколько слов не с Лизой, а с Грохольским... С Лизой он молчал. И Грохольский был покоен... Но существует русская пословица, которую не мешало бы помнить Грохольскому: «Не бойся собаки, что лает, а бойся той, что молчит...» Пословица ехидная, но в практической жизни иногда весьма необходимая...

Однажды, гуляя по саду, Грохольский услышал говор двух голосов. Один голос был мужской, другой женский. Первый принадлежал Бугрову, второй Лизе. Грохольский прислушался и, побледнев, как смерть, тихо зашагал к беседо-

вавшим. Он остановился за сиреневым кустом и принялся наблюдать и слушать. Ноги и руки его похолодели. На лбу выступил холодный пот. Чтобы не шататься и не упасть, он обхватил руками несколько сиреневых ветвей. Всё кончено!

Бугров держал Лизу за талию и говорил ей:

– Милая моя! Ну что ж нам делать? Так, значит, богу угодно было... Подлец я... Я продал тебя. Польстился на иродово богатство, чтоб ему пусто было... А что толку с этого богатства? Одно только беспокойство да хвастовство! Ни покоя, ни счастья, ни чинов... Сидишь, как телепень, на одном месте, и ни шага вперед... Ты слышала? Андрюшка Маркузин в столоначальники вышел... Андрюшка, дурак этот! А я сижу... Господи, господи! Тебя лишился, счастья лишился. Подлец я! Мерзавец! Ты думаешь, хорошо мне будет на страшном суде?

– Уедем отсюда, Ваня! – заплакала Лиза. – Мне скучно... Я умираю от тоски.

– Нельзя... Деньги взяты.

– Ну, отдай их назад!

– Рад бы отдать, да... тпррр... Стой, кобыла! Всё прожил! Покориться надо, матушка... Это нас бог наказывает. Меня за корыстолюбие, а тебя за легкомыслие... Что ж? Будем терзаться... На том свете легче будет.

И в наплыве религиозных чувств Бугров поднял глаза к небу.

– Но я жить здесь не могу! Мне скучно!

– Что ж делать? А мне не скучно? Разве мне без тебя весело? Я весь изныл, иссох! И грудь болеть стала!.. Ты мне жена законная, моя плоть от плоти... едина плоть... Живи, терпи! Ну, а я... ездить буду, навещать...

И, нагнувшись к Лизе, Бугров прошептал, однако, так громко, что за несколько сажен было слышно:

– Я к тебе, Лизанька, и ночью приеду... Не беспокойся... Я в Феодосии, близко... Буду жить здесь около тебя, пока всего не профинчу... А профинчу скоро всё до копейки! Э-э-эх! И что это за жизнь? Скука, болен весь... и грудь болит и живот болит...

Бугров умолк. Настала очередь для Лизы... Боже мой, как жестока эта женщина! Она начала плакать, жаловаться, исчислять все недостатки своего любовника, свои мучения... Грохольский, слушая ее, почувствовал себя разбойником, злодеем, губителем...

– Он меня замучил! – кончила Лиза...

Поцеловавшись на прощанье с Лизой и выходя из садовой калитки, Бугров наткнулся на Грохольского, который стоял у калитки и поджидал его.

– Иван Петрович! – сказал Грохольский тоном умирающего. – Я всё слышал и видел... Это нечестно с вашей стороны, но я не виню вас... Вы ее тоже любите... Но поймите, что она моя! Моя! Я жить не могу без нее! Как вы этого не поймете? Ну, положим, вы любите ее, страдаете, но разве я не заплатил вам хотя отчасти за ваши страдания? Уезжайте,

ради бога! Уезжайте, ради бога! Уезжайте отсюда навсегда. Умоляю вас! Иначе вы убьете меня...

– Мне некуда ехать, – проговорил глухо Бугров...

– Гм... Вы уже всё растратили... Вы увлекающийся человек... Ну, хорошо... Поезжайте в мое имение, в Черниговскую губернию... Хотите? Я вам дарю это имение... Оно маленькое, но хорошее... Честное слово, хорошее!..

Бугров широко улыбнулся. Он вдруг почувствовал себя на седьмом небе.

– Я вам дарю... Сегодня же я напишу управляющему и пошлю ему доверенность на совершение купчей. Вы говорите везде, что вы купили... Поезжайте! Умоляю вас!

– Хорошо... Уеду. Я понимаю.

– Едемте к нотариусу... Сейчас, – проговорил повеселевший Грохольский и пошел приказать запрягать лошадей.

На другой день, вечером, когда Лиза сидела на скамье, на которой обыкновенно происходили ее rendez-vous с Иваном Петровичем, к ней тихо подошел Грохольский. Он сел рядом и взял ее за руку.

– Тебе скучно, Лизочка? – заговорил он после непродолжительного молчания. – Ты скучаешь? Отчего это мы не съездим куда-нибудь? Чего ради мы всё дома сидим? Надо ездить, веселиться, знакомиться... Ведь надо?

– Мне ничего не надо, – сказала Лиза и, бледная, худая, поглядела на ту дорожку, по которой приходил к ней Бугров.

Грохольский задумался. Он знал, кого она ждет и кого ей

надо.

– Пойдем, Лиза, домой, – сказал он. – Здесь сыро...

– Иди... Я сейчас приду.

Грохольский опять задумался.

– Ты его ждешь? – спросил он и сделал гримасу, точно его схватили за сердце раскаленными щипцами.

– Да... Мне хочется Мише чулочки передать...

– Он не придет.

– Почему ты знаешь?

– Он уехал...

Лиза сделала большие глаза...

– Он уехал... Уехал в Черниговскую губернию. Я подарил ему свое имение...

Лиза страшно побледнела и, чтобы не упасть, ухватилась за плечо Грохольского.

– Я проводил его на пароход... В три часа...

Лиза вдруг схватила себя за голову, задвигалась и, упав на скамью, затряслась всеми членами.

– Ваня! – заголосила она. – Ваня! И я еду, Ваня!.. Голубчик!

С ней приключился истерический припадок...

И с этого вечера вплоть до самого июля по саду, в котором гуляли дачники, можно было видеть две тени. Тени ходили с утра до вечера и наводили на дачников уныние. За тенью Лизы неотступно шагала тень Грохольского. Я называю их тенями, потому что они оба потеряли свой прежний образ.

Они похудели, побледнели, съжились и напоминали собой скорее тени, чем живых людей... Оба чахли, как блоха в классическом анекдоте об еврее, продающем порошки от блох.

В начале июля Лиза бежала от Грохольского, оставив записку, в которой она написала, что едет к «сыну» на время... На время! Бежала она ночью, когда спал Грохольский...

Прочитав ее письмо, Грохольский целую неделю слонялся вокруг дачи как безумный, не ел, не спал. В августе он перенес возвратный тиф, а в сентябре укатил за границу. За границей он запил. В вине и разврате думал он найти успокоение. Промотал он всё свое состояние, но не удалось ему, бедняге, выкинуть из головы образ любимой женщины с кошачьей мордочкой... От счастья не умирают, не умирают и от несчастья. Грохольский поседел, но не умер. Он жив и до сих пор... Из-за границы поехал он поглядеть «одним глазком» на Лизу. Бугров встретил его с распростертыми объятиями и оставил его гостить у себя на неопределенное время. Гостит он у Бугрова и до сих пор...

В этом году мне пришлось проезжать через Грохоловку, именье Бугрова. Хозяев я застал ужинавшими... Иван Петрович ужасно обрадовался мне и принялся угощать меня. Он потолстел и чуточку обрюзг. Лицо его по-прежнему сыто, лоснится и розово. Плеши еще нет. Лиза тоже потолстела. Полнота ей не к лицу. Ее личико начинает терять кошачий образ и, увы! приближается к тюленьему. Ее щеки полнеют

и вверх, и вперед, и в стороны. Живут Бугровы превосходно. Всего у них много. Прислуги и съестного полнехонький дом...

Когда мы поужинали, завязалась беседа. Я, забыв, что Лиза не играет, попросил ее сыграть что-нибудь на рояле.

– Она не играет! – сказал Бугров. – Она у меня не игрок... Эй! Кто там? Иван! Позови-ка сюда Григория Васильича! Что он там делает? – И, обратясь ко мне, Бугров добавил: – Сейчас придет игрок... На гитаре играет. А рояль мы для Мишутки держим, его учим...

Минут через пять в залу вошел Грохольский, заспанный, нечесаный, небритый... Он вошел, поклонился мне и сел в сторонке.

– Ну, кто же так рано ложится спать? – обратился к нему Бугров. – Какой же ты, братец! Всё спит, всё спит... Соня! Ну, сыграй-ка нам повеселее что-нибудь...

Грохольский настроил гитару, ударил по струнам и запел:

Вчера ожидала я друга...

Я слушал пение, глядел на сытую физиомордию Бугрова и думал: «Паскудная рожа!» Мне захотелось плакать... Окончив пение, Грохольский поклонился нам и вышел...

– И что мне с ним делать? – обратился ко мне, по уходе его, Бугров. – Беда мне с ним! Днем всё думает, думает... а ночью стонет. Спит, а сам стонет и охает... Болезнь

какая-то... Что мне с ним делать, ума не приложу! Спать не дает... Боюсь, чтоб не помешался. Подумают, что ему плохо у меня жить... а чем плохо? И ест с нами и пьет с нами... Денег только не даем... Дай ему, а он их пропьет или разбрасает... Вот еще попута на мою голову! Господи, прости меня грешного!

Меня оставили ночевать. Когда я проснулся на другой день утром, в соседней комнате Бугров читал кому-то нотацию:

– Заставь дурандаса богу молиться, а он и лоб разобьет! Ну, кто весла зеленой краской красит? Подумай ты, голова! Рассуди! Чего же молчишь?

– Я... я... ошибся... – оправдывался сиплый тенор...

Этот тенор принадлежал Грохольскому...

На вокзал провожал меня Грохольский...

– Он деспот, тиран, – шептал он мне всю дорогу. – Он благородный человек, но тиран! У него не развиты ни сердце, ни мозг... Мучает! Коли б не эта благородная женщина, я давно бы ушел от него... Мне ее жаль оставлять. Обоим терпеть как-то лучше.

Грохольский вздохнул и продолжал:

– Она беременна... Вы видели? Это, в сущности, мой ребенок... Мой-с... Она скоро сознала свою ошибку и опять отдалась мне. Она его терпеть не может...

– Тряпка вы! – не воздержался я, чтобы не сказать Грохольскому.

– Да, я слабохарактерный человек... Всё это верно. Уродился таким. Вы знаете, как я произошел? Мой покойный папаша сильно угнетал одного маленького чиновничка. Страсть как угнетал! Жизнь ему отравлял! Ну-с... А мамаша покойница была сердобольная, из народа она была, мещаночка... Из жалости взяла и приблизила к себе этого чиновничка... Ну-с... Я и произошел... От угнетенного... Где же тут характеру взяться? Откуда? Второй звонок, однако... Прощайте! Заезжайте еще к нам, да не говорите Ивану Петровичу того, что я о нем вам говорил!

Я пожал Грохольскому руку и вскочил в вагон. Он поклонился моему вагону и пошел к кадлушке с водой. Пить, знать, захотелось...

Цветы запоздалые

Посвящается Н. И. Коробову

I

Дело происходило в одно темное, осеннее «после обеда» в доме князей Приклонских.

Старая княгиня и княжна Маруся стояли в комнате молодого князя, ломали пальцы и умоляли. Умоляли они так, как только могут умолять несчастные, плачущие женщины: Христом-богом, честью, прахом отца.

Княгиня стояла перед ним неподвижно и плакала.

Давши волю слезам и речам, перебивая на каждом слове Марусю, она осыпала князя упреками, жесткими и даже бранными словами, ласками, просьбами... Тысячу раз вспомнила она о купце Фурове, который протестовал их вексель, о покойном отце, кости которого теперь переворачиваются в гробу, и т. д. Напомнила даже и о докторе Топоркове.

Доктор Топорков был спицей в глазу князей Приклонских. Отец его был крепостным, камердинером покойного князя, Сенькой. Никифор, его дядя по матери, еще до сих пор состоит камердинером при особе князя Егорушки. И сам он, доктор Топорков, в раннем детстве получал подзатыль-

ники за плохо вычищенные княжеские ножи, вилки, сапоги и самовары. А теперь он – ну, не глупо ли? – молодой, блестящий доктор, живет баринном, в чертовски большом доме, ездит на паре, как бы в «пику» Приклонским, которые ходят пешком и долго торгуются при найме экипажа.

– Он всеми уважаем, – сказала княгиня, плача и не утирая слез, – всеми любим, богат, красавец, везде принят... Твой-то слуга бывший, племянник Никифора! стыдно сказать! А почему? А потому, что он ведет себя хорошо, не кутит, с худыми людьми не знается... Работает от утра до ночи... А ты? Боже мой, господи!

Княжна Маруся, девушка лет двадцати, хорошенькая, как героиня английского романа, с чудными кудрями льняного цвета, с большими умными глазами цвета южного неба, умоляла брата Егорушку с наименьшей энергией.

Она говорила в одно и то же время с матерью и целовала брата в его колючие усы, от которых пахло прокисшим вином, гладила его по плечи, по щекам и жалась к нему, как перепуганная собачонка. Она не говорила ничего, кроме нежных слов. Княжна была не в состоянии говорить брату что-либо даже похожее на колкость. Она так любила брата! По ее мнению, ее развратный брат, отставной гусар, князь Егорушка, был выразителем самой высшей правды и образцом добродетели самого высшего качества! Она была уверена, уверена до фанатизма, что этот пьяный дурандас имеет сердце, которому могли бы позавидовать все сказочные феи.

Она видела в нем неудачника, человека непонятого, непризнанного. Его пьяное распутство извиняла она почти с восторгом. Еще бы! Егорушка давно уж убедил ее, что он пьет с горя: вином и водкой заливает он безнадежную любовь, которая жжет его душу, и в объятиях развратных девок он старается вытеснить из своей гусарской головы *ее* чудный образ. А какая Маруся, какая женщина не считает любовь тысячу раз уважительной, всё извиняющей причиной? Какая?

– Жорж! – говорила Маруся, прижимаясь к нему и целуя его испитое, красноносое лицо. – Ты с горя пьешь, это правда... Но забудь свое горе, если так! Неужели все несчастные должны пить? Ты терпи, мужайся, борись! Богатырем будь! При таком уме, как у тебя, с такой честной, любящей душой можно сносить удары судьбы! О! Вы, неудачники, все малодушны!..

И Маруся (простите ей, читатель!) вспомнила тургеневского Рудина и принялась толковать о нем Егорушке.

Князь Егорушка лежал на кровати и своими красными, кроличьими глазками глядел в потолок. В голове его слегка шумело, а в области желудка чувствовалась приятная сытость. Он только что пообедал, выпил бутылку красного и теперь, куря трехкопеечную сигарку, кейфствовал. Самые разнокалиберные чувства и помыслы копошились в его отуманенных мозгах и ноющей душонке. Ему было жаль плачущую мать и сестру, и в то же время ему сильно хотелось выгнать их из комнаты: они мешали ему вздремнуть, всхрап-

нуть... Он сердился за то, что ему осмеливаются читать нотации, и в то же время его мучили маленькие угрызения (вероятно, тоже очень маленькой) совести. Он был глуп, но не настолько, чтобы не сознавать, что дом Приклонских действительно погибает и отчасти по его милости...

Княгиня и Маруся умоляли очень долго. В гостиную зажгли огни, и пришла какая-то гостья, а они всё умоляли. Наконец Егорушке надоело валяться и не спать. Он с треском потянулся и сказал:

– Ладно, исправлюсь!

– Честное и благородное слово?

– Накажи меня бог!

Мать и сестра ухватились за него руками и заставили еще раз побожиться и поклясться честью. Егорушка еще раз побожился, поклялся честью и сказал, что пусть гром разразит его на этом самом месте, если он не перестанет вести беспорядочную жизнь. Княгиня заставила его поцеловать образ. Он поцеловал и образ, причем перекрестился три раза. Клятва была дана, одним словом, самая настоящая.

– Мы тебе верим! – сказали княгиня и Маруся и бросились обнимать Егорушку.

Они ему поверили. Ну как не поверить честнейшему слову, отчаянной божбе и целованию образа, взятым вместе? И к тому же где любовь – там и бесшабашная вера. Они ожили и обе, сияющие, подобно иудеям, праздновавшим обновление Иерусалима, пошли праздновать обновление Егорушки.

Выпроводив гостью, они сели в уголок и принялись шептаться о том, как исправится их Егорушка, как он поведет новую жизнь... Они порешили, что Егорушка далеко пойдет, что он скоро поправит обстоятельства и им не придется терпеть крайней бедности – этот постылый Рубикон, переход через который приходится переживать всем промотавшимся. Порешили даже, что Егорушка обязательно женится на богачке и красавице. Он так красив, умен и так знатен, что едва ли найдется такая женщина, которая осмелится не полюбить его! В заключение княгиня рассказала биографии предков, которым скоро начнет подражать Егорушка. Дед Приклонский был посланником и говорил на всех европейских языках, отец был командиром одного из известнейших полков, сын же будет... будет... чем он будет?

– Вот вы увидите, чем он будет! – порешила княжна. – Вот вы увидите!

Уложив друг друга в постель, они еще долго толковали о прекрасном будущем. Сны снились им, когда они уснули, самые восхитительные. Спящие, они улыбались от счастья, – так хороши были сны! Этими снами судьба, по всей вероятности, заплатила им за те ужасы, которые они пережили на следующий день. Судьба не всегда скупа: иногда и она платит вперед.

Часа в три ночи, как раз именно в то время, когда княгине снился ее bébé¹⁹⁴ в блестящем генеральском мундире, а

¹⁹⁴ малютка (франц.)

Маруся аплодировала во сне брату, сказавшему блестящую речь, к дому князей Приклонских подъехала простая извозчичья пролетка. В пролетке сидел официант из «Шато де Флер» и держал в своих объятиях благородное тело мертвецки пьяного князя Егорушки. Егорушка был в самом бесчувственном состоянии и в объятиях «челаэка» болтался, как гусь, которого только что зарезали и несут в кухню. Извозчик соскочил с козел и позвонил у подъезда. Вышли Никифор и повар, заплатили извозчику и понесли пьяное тело вверх по лестнице. Старый Никифор, не удивляясь и не ужасаясь, привычной рукою раздел неподвижное тело, уложил поглубже в перину и укрыл одеялом. Прислугой не было сказано ни одного слова. Она давным-давно уже привыкла видеть в своем барине нечто такое, что нужно носить, раздевать, укрывать, а потому она нимало не удивлялась и не ужасалась. Пьяный Егорушка был для нее нормой.

На другой день, утром, пришлось ужаснуться.

Часов в одиннадцать, когда княгиня и Маруся пили кофе, вошел в столовую Никифор и доложил их сиятельствам, что с князем Егорушкой творится что-то неладное.

– Должно полагать, помирают-с! – сказал Никифор. – Извольте посмотреть!

Лица княгини и Маруси стали белы, как полотно. Изо рта княгини выпал кусочек бисквита. Маруся опрокинула чашку и обеими руками ухватилась за грудь, в которую застучало врасплох застигнутое, встревоженное сердце.

– В три часа ночи приехали навеселе, стало быть, – докладывал Никифор дрожащим голосом. – Как обнаковенно... Ну, а теперь, господь их знает, от чего это, мечутся и стонут...

Княгиня и Маруся ухватились друг за друга и побежали в спальную Егорушки.

Егорушка, бледно-зеленый, растрепанный, сильно похудевший, лежал под тяжелым байковым одеялом, тяжело дышал, дрожал и метался. Голова и руки его ни на минуту не оставались в покое, двигались и вздрагивали. Из груди вырывались стоны. На усах висел маленький кусочек чего-то красного, по-видимому крови. Если бы Маруся нагнулась к его лицу, она увидела бы ранку на верхней губе и отсутствие двух зубов на верхней челюсти. От всего тела веяло жаром и спиртным запахом.

Княгиня и Маруся пали на колени и зарыдали.

– Это мы виноваты в его смерти! – сказала Маруся, хватая себя за голову. – Мы вчера огорчили его своими упреками, и... он не перенес этого! У него нежная душа! Мы виноваты, маман!

И в сознании своей виновности они обе широко раскрыли глаза и, дрожа всем телом, прижались друг к другу. Так дрожат и жмутся друг к другу видящие, что над ними сейчас с шумом и страшным треском обвалится потолок и раздавит их под своею тяжестью.

Повар догадался сбегать за доктором. Пришел доктор,

Иван Адольфович, маленький человечек, весь состоящий из очень большой лысины, глупых свиных глазок и круглого животика. Ему обрадовались, как отцу родному. Он понюхал воздух в спальне Егорушки, пощупал пульс, глубоко вздохнул и поморщился.

– Вы не беспокойтесь, ваше сиятельство! – сказал он княгине умоляющим голосом. – Я не знаю, но, по моему мнению, ваше сиятельство, я не нахожу, чтобы ваш сын был в большой, так сказать, опасности... Ничто!

Марусе же он сказал совершенно другое:

– Я не знаю, княжна, но, по моему мнению... У всякого свое мнение, княжна. По моему мнению, его сиятельство... пфф!.. швах, как говорит немец... Но всё зависит... зависит, так сказать, от кризиса.

– Опасно? – тихо спросила Маруся.

Иван Адольфович наморщил лоб и принялся доказывать, что у всякого свое мнение... Ему дали трехрублевку. Он поблагодарил, сконфузился, покашлял и улетучился.

Придя в себя, княгиня и Маруся решили послать за знаменитостью. Дороги знаменитости, но... что ж делать? Жизнь близкого человека дороже денег. Повар побежал к Топоркову. Дома, разумеется, он его не застал. Пришлось оставить записку.

Топорков не скоро отозвался на приглашение. Ждали его, с замиранием сердца, с тревогой, день, ждали всю ночь, утро... Хотели даже послать за другим доктором и порешили

назвать Топоркова невежей, когда он придет, назвать прямо в лицо, чтобы он не смел в другой раз заставлять других ожидать себя так долго. Обитатели дома князей Приклонских, несмотря на свое горе, были возмущены до глубины души. Наконец в два часа другого дня к подъезду подкатила коляска. Никифор стремительно засеменил к двери и через несколько секунд наипочтительнейше стаскивал с плеч своего племянника драповое пальто. Топорков кашлем дал знать о своем приходе и, никому не кланяясь, пошел в комнату больного. Пройдя он через зал, гостиную и столовую, ни на кого не глядя, важно, по-генеральски, на весь дом скрипя своими сияющими сапогами. Его огромная фигура внушала уважение. Он был статен, важен, представительен и чертовски правилен, точно из слоновой кости выточен. Золотые очки и до крайности серьезное, неподвижное лицо дополняли его горделивую осанку. По происхождению он плебей, но плебейского в нем, кроме сильно развитой мускулатуры, почти ничего нет. Всё – барское и даже джентльменское. Лицо розовое, красивое и даже, если верить его пациенткам, очень красивое. Шея белая, как у женщины. Волосы мягки, как шёлк, и красивы, но, к сожалению, подстрижены. Занимаясь Топорков своею наружностью, он не стриг бы этих волос, а дал бы им виться до самого воротника. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным. Оно, сухое, серьезное и неподвижное, ничего не выражало, кроме сильного утомления целодневным

тяжелым трудом.

Маруся пошла навстречу Топоркову и, ломая перед ним руки, начала просить. Ранее она никогда и ни у кого не просила.

– Спасите его, доктор! – сказала она, поднимая на него свои большие глаза. – Умоляю вас! На вас вся надежда!

Топорков обошел Марусю и направился к Егорушке.

– Открыть вентиляцию! – скомандовал он, войдя к больному. – Почему не открыты вентиляции? Дышать чем же?

Княгиня, Маруся и Никифор бросились к окнам и печи. В окнах, в которые уже были вставлены двойные рамы, вентиляций не оказалось. Печь не топилась.

– Вентиляций нет, – робко сказала княгиня.

– Странно... Гм... Лечи вот при таких условиях! Я лечить не стану!

И чуточку возвысив голос, Топорков прибавил:

– Несите его в зал! Там не так душно. Позовите людей!

Никифор бросился к кровати и стал у изголовья. Княгиня, краснея, что у нее, кроме Никифора, повара и полуслепой горничной, нет более прислуги, взялась за кровать. Маруся тоже взялась за кровать и потянула изо всех сил. Дряхлый старик и две слабые женщины с кряхтеньем подняли кровать и, не веря своим силам, спотыкаясь и боясь уронить, понесли. У княгини порвалось на плечах платье и что-то оторвалось в животе, у Маруси позеленело в глазах и страшно заболели руки, – так был тяжел Егорушка! А он, доктор медици-

ны Топорков, важно шагал за кроватью и сердито морщился, что у него отнимают время на такие пустяки. И даже пальца не протянул, чтобы помочь дамам! Этакая скотина!..

Кровать поставили рядом с роялью. Топорков сбросил одеяло и, задавая княгине вопросы, принялся раздевать мучащегося Егорушку. Сорочка была сдернута в одну секунду.

– Вы покороче, пожалуйста! Это к делу не относится! – отчеканивал Топорков, слушая княгиню. – Лишние могут уйти отсюда!

Постучав молоточком по Егорушкиной груди, он перевернул больного на живот и опять постукал; с сопеньем выслушал (доктора всегда сопят, когда выслушивают) и констатировал неосложненную пьянственную горячку.

– Не мешает надеть горячечную рубаху, – сказал он своим ровным, отчеканивающим каждое слово, голосом.

Давши еще несколько советов, он написал рецепт и быстро пошел к двери. Когда он писал рецепт, он спросил, между прочим, фамилию Егорушки.

– Князь Приклонский, – сказала княгиня.

– Приклонский? – переспросил Топорков.

«Как же скоро ты забыл фамилию своих бывших... помещиков!» – подумала княгиня.

Слово «господ» княгиня не сумела подумать: фигура бывшего крепостного была слишком внушительна!

В передней она подошла к нему и с замиранием сердца спросила:

– Доктор, он не опасен?

– Я думаю.

– По вашему мнению, выздоровеет?

– Полагаю, – ответил холодно доктор и, слегка кивнув головой, пошел вниз по лестнице к своим лошадям, таким же статным и важным, как и он сам.

По уходе доктора княгиня и Маруся, впервые после суточного томления, свободно вздохнули. Знаменитость Топорков подал им надежду.

– Как он внимателен, как мил! – сказала княгиня, в душе благословляя всех докторов на свете. Матери любят медицину и верят в нее, когда больны их дети!

– Ва-а-ажный господин! – заметил Никифор, давно уже не выдавший в барском доме никого, кроме забулдыг-кутил, товарищей Егорушки. Старикашке и не снилось, что этот важный господин был не кто иной, как тот самый запачканный Колька, которого ему не раз приходилось во время оно вытаскивать за ноги из-под водовозни и сечь.

Княгиня скрывала от него, что его племянник доктор.

Вечером, по заходе солнца, с изнемогшей от горя и усталости Марусей приключился вдруг сильный озноб; этот озноб свалил ее в постель. За ознобом последовали сильный жар и боль в боку. Всю ночь она пробредила и простонала:

– Я умираю, татан!

И Топоркову, приехавшему в десятом часу утра, пришлось лечить вместо одного двоих: князя Егорушку и Мару-

сю. У Маруси нашел он воспаление легкого.

В доме князей Приклонских запахло смертью. Она, невидимая, но страшная, замелькала у изголовья двух кроватей, грозя ежеминутно старухе-княгине отнять у нее ее детей. Княгиня обезумела с отчаяния.

– Не знаю-с! – говорил ей Топорков. – Не могу я знать-с, я не пророк. Ясно будет через несколько дней.

Говорил он эти слова сухо, холодно и резал ими несчастную старуху. Хоть бы одно слово надежды! К довершению ее несчастья, Топорков почти ничего не прописывал больным, а занимался одними только постукиваниями, выслушиваниями и выговорами за то, что воздух не чист, компресс поставлен не на месте и не вовремя. А все эти новомодные штуки считала старуха ни к чему не ведущими пустяками. День и ночь не переставая слонялась она от одной кровати к другой, забыв всё на свете, давая обеты и молясь.

Горячку и воспаление легких считала она самыми смертельными болезнями, и, когда в мокроте Маруси показалась кровь, она вообразила, что у княжны «последний градус чахотки», и упала в обморок.

Можете же вообразить себе ее радость, когда княжна на седьмой день болезни улыбнулась и сказала:

– Я здорова.

На седьмой день очнулся и Егорушка. Молясь, как на полубога, смеясь от счастья и плача, княгиня подошла к приехавшему Топоркову и сказала:

– Я обязана вам, доктор, спасением моих детей! Благодарю!

– Что-с?

– Я обязана вам многим! Вы спасли моих детей!

– А... Седьмые сутки! Я ожидал на пятые. Впрочем, всё равно. Давать этот порошок утром и вечером. Компресс продолжать. Это тяжелое одеяло можно заменить более легким. Сыну давайте кислое питье. Завтра вечером заеду.

И знаменитость, кивнув головой, мерным, генеральским шагом зашагала к лестнице.

II

День ясный, прозрачный, слегка морозный, один из тех осенних дней, в которые охотно миришься и с холодом, и с сыростью, и с тяжелыми калошами. Воздух прозрачен до того, что виден клюв у галки, сидящей на самой высокой колокольне; он весь пропитан запахом осени. Выйдите вы на улицу, и ваши щеки покроются здоровым, широким румянцем, напоминающим хорошее крымское яблоко. Давно опавшие желтые листья, терпеливо ожидающие первого снега и попираемые ногами, золотятся на солнце, испуская из себя лучи, как червонцы. Природа засыпает тихо, смирно. Ни ветра, ни звука. Она, неподвижная и немая, точно утомленная за весну и лето, нежится под греющими, ласкающими лучами солнца, и, глядя на этот начинающийся покой, вам самим хочется

ся успокоиться...

Таков был день, когда Маруся и Егорушка сидели у окна и в последний раз поджидали Топоркова. Свет, греющий, ласкающий, бил и в окна Приклонских; он играл на коврах, стульях, рояле. Всё было залито этим светом. Маруся и Егорушка глядели в окно на улицу и праздновали свое выздоровление. Выздоровливающие, в особенности если они молоды, всегда очень счастливы. Они чувствуют и понимают здоровье, чего не чувствует и не понимает обыкновенный здоровый человек. Здоровье есть свобода, а кто, кроме отпущенников, наслаждается сознанием свободы? Маруся и Егорушка каждую минуту чувствовали себя отпущенниками. Как им было хорошо! Им хотелось дышать, глядеть в окна, двигаться – жить, одним словом, и все эти желания исполнялись каждую секунду. Фуров, протестовавший векселя, сплетни, Егорушкино поведение, бедность – всё было забыто. Не забыты были одни только приятные, не волнующие вещи: хорошая погода, предстоящие балы, добрая татап и... доктор. Маруся смеялась и говорила без умолку. Главной темой разговора был доктор, которого ожидали каждую минуту.

– Удивительный человек, всемогущий человек! – говорила она. – Как всемогуще его искусство! Посуди, Жорж, какой высокий подвиг: бороться с природой и побороть!

И говорила она, ставя руками и глазами после каждой напыщенной, но искренно сказанной фразы большой восклицательный знак.

Егорушка слушал восторженную речь сестры, мигал глазами и поддакивал. Он сам уважал строгое лицо Топоркова и был уверен, что своим выздоровлением обязан одному только ему. Матан сидела возле и, сияющая, ликующая, разделяла восторги детей.

Ей нравилось в Топоркове не только умение лечить, но и «положительность», которую она успела прочесть на лице доктора.

Старым людям почему-то сильно нравится эта «положительность».

– Жаль только, что он... он такого низкого происхождения, – сказала княгиня, робко взглянув на дочь. – И ремесло его... не особенно чистое. Вечно в разной разности копаются... Фи!

Княжна вспыхнула и пересела на другое кресло, подальше от матери. Егорушку тоже покорило.

Он терпеть не мог барской спеси и важничанья.

Бедность хоть кого научит! Ему не раз приходилось испытать на самом себе важничанье людей, которые были богаче его.

– В нынешние времена, муттер, – сказал он, презрительно подергивая плечами, – у кого есть голова на плечах и большой карман в панталонах, тот и хорошего происхождения, а у кого вместо головы седалище тела человеческого, а вместо кармана мыльный пузырь, тот... нуль, вот что-с!

Говоря это, Егорушка попугайничал. Эти самые слова

слышал он два месяца тому назад от одного семинариста, с которым подрался в бильярдной.

– Я с удовольствием променял бы свое княжество на его голову и карман, – добавил Егорушка.

Маруся подняла на брата глаза, полные благодарности.

– Я сказала бы вам многое, татап, но вы не поймете, – вздохнула она. – Вас ничем не разубедишь... Очень жаль!

Княгиня, уличенная в рутинерстве, сконфузилась и принялась оправдываться.

– Впрочем, в Петербурге я знавала одного доктора – барона, – сказала она. – Да, да... И за границей тоже... Это правда... Образование много значит. Ну, да...

В первом часу приехал Топорков. Он вошел так же, как и в первый раз: вошел важно, ни на кого не глядя.

– Не употреблять спиртных напитков и избегать, по возможности, излишеств, – обратился он к Егорушке, положив шляпу. – Следить за печенью. Она у вас уже значительно увеличена. Увеличение ее следует всецело отнести на счет употребления напитков. Пить прописанные воды.

И, повернувшись к Марусе, он преподал и ей несколько заключительных советов.

Маруся выслушала со вниманием, точно интересную сказку, глядя прямо в глаза ученому человеку.

– Ну-с? Вы, полагаю, поняли? – спросил ее Топорков.

– О да! Merci.

Визит продолжался ровно четыре минуты.

Топорков кашлянул, взялся за шляпу и кивнул головой. Маруся и Егорушка впились глазами в мать. Маруся даже покраснела.

Княгиня, покачиваясь, как утка, и краснея, подошла к доктору и неловко всунула свою руку в его белый кулак.

– Позвольте вас поблагодарить! – сказала она.

Егорушка и Маруся опустили глаза. Топорков поднес кулак к очкам и узрел сверток. Не конфузясь и не опуская глаз, он помочил во рту палец и чуть слышно сосчитал кредитные билеты. Он насчитал двенадцать двадцатипятирублевых. Недаром Никифор бегал куда-то вчера с ее браслетами и серьгами! По лицу Топоркова пробежала светлая тучка, нечто вроде сияния, с которым пишут святых; рот слегка передернула улыбка. По-видимому, он остался очень доволен вознаграждением. Сосчитав деньги и положив их в карман, он еще раз кивнул головой и повернулся к двери.

Княгиня, Маруся и Егорушка впились глазами в докторскую спину, и все трое разом почувствовали, что у них сжимается сердце. Глаза их затеплились хорошим чувством: этот человек уходил и больше не придет, а они уже привыкли к его мерным шагам, отчеканивающему голосу и серьезно-умному лицу. В голове матери мелькнула маленькая идейка. Ей вдруг захотелось приласкать этого деревянного человека.

«Сирота он, бедный, – подумала она. – Одинокий».

– Доктор, – сказала она мягким, старушечьим голосом.

Доктор оглянулся.

– Что-с?

– Не выпьете ли вы с нами стакан кофе? Будьте так добры!

Топорков наморщил лоб и медленно потянул из кармана часы. Взглянув на часы и немного подумав, он сказал:

– Я выпью чаю.

– Садитесь, пожалуйста! Вот сюда!

Топорков положил шляпу и сел; сел прямо, как манекен, которому согнули колени и выпрямили плечи и шею. Княгиня и Маруся засуетились. У Маруси сделались большие глаза, озабоченные, точно ей задали неразрешимую задачу. Никифор, в черном поношенном фраке и серых перчатках, забегал по всем комнатам. Во всех концах дома застучала чайная посуда и посыпались со звоном чайные ложки. Егорушку зачем-то вызвали на минуту из залы, вызвали потихоньку, таинственно.

Топорков, в ожидании чая, просидел минут десять. Сидел он и глядел на педаль рояля, не двигаясь ни одним членом и не издавая ни звука. Наконец отворилась из гостиной дверь. Показался сияющий Никифор с большим подносом в руках. На подносе, в серебряных подстаканниках, стояли два стакана: один для доктора, другой для Егорушки. Вокруг стаканов, соблюдая строгую симметрию, стояли молочники с сырыми и топлеными сливками, сахар с щипчиками, кружки лимона с вилочкой и бисквиты.

За Никифором шел с притуплённой от важности физиономией Егорушка.

Шествие замыкали княгиня, с вспотевшим лбом, и Маруся, с большими глазами.

– Кушайте, пожалуйста! – обратилась княгиня к Топоркову.

Егорушка взял стакан, отошел в сторону и осторожно отхлебнул, Топорков взял стакан и тоже отхлебнул. Княгиня и княжна сели в стороне и занялись изучением докторской физиономии.

– Вам, может быть, не сладко? – спросила княгиня.

– Нет, достаточно сладко.

И, как и следовало ожидать, наступило молчание – жуткое, противное, во время которого почему-то чувствуется ужасно неловкое положение и желание сконфузиться. Докторпил и молчал. Видимо, он игнорировал окружающих и не видел перед собой ничего, кроме чая.

Княгиня и Маруся, которым ужасно хотелось поговорить с умным человеком, не знали, с чего начать; обе боялись показаться глупыми. Егорушка смотрел на доктора, и по глазам его видно было, что он собирается что-то спросить и никак не соберется. Тишина воцарилась гробовая, изредка нарушаемая глотательными звуками. Топорков глотал очень громко. Он, видимо, не стеснялся ипил, как хотел. Глотая, он издавал звуки, очень похожие на звук «глы». Глоток, казалось, изо рта падал в какую-то пропасть и там шлепался обо что-то большое, гладкое. Тишину нарушал изредка и Никифор; он то и дело чамкал губами и жевал, точно на вкус пробовал

доктора-гостя.

– Правду говорят, что курить вредно? – собрался наконец спросить Егорушка.

– Никотин, алкалоид табака, действует на организм как один из сильных ядов. Яд, который вводится в организм каждой папиросой, ничтожен количеством, но зато введение его продолжительно. Количество яда, как и энергия его, находится в обратном отношении с продолжительностью потребления.

Княгиня и Маруся переглянулись: какой он умница! Егорушка замигал глазами и вытянул свою рыбку физиономию. Он, бедняга, не понял доктора.

– У нас в полку, – начал он, желая ученый разговор свести на обыкновенный, – был один офицер. Некто Кошечкин, очень порядочный малый. Ужасно на вас похож! Ужасно! Как две капли воды. Отличить даже невозможно! Он вам не родственник?

Доктор вместо ответа издал громкий глотательный звук, и углы его губ слегка приподнялись и поморщились в презрительную улыбку. Он заметно презирал Егорушку.

– Скажите мне, доктор, я окончательно выздоровела? – спросила Маруся. – Могу я рассчитывать на полное выздоровление?

– Полагаю. Я рассчитываю на полное выздоровление, на основании...

И доктор, высоко держа голову и в упор глядя на Марусю,

начал толковать об исходах воспаления легких. Говорил он мерно, отчеканивая каждое слово, не возвышая и не понижая голоса. Его слушали более чем охотно, с наслаждением, но, к сожалению, этот сухой человек не умел популяризировать и не считал нужным подтасовываться под чужие мозги. Он упомянул несколько раз слово «абсцесс», «творожистое перерождение» и вообще говорил очень хорошо и красиво, но очень непонятно. Прочел целую лекцию, пересыпанную медицинскими терминами, и не сказал ни одной фразы, которую поняли бы слушатели. Однако это не помешало слушателям сидеть разинув рты и глядеть на ученого почти с благоговением. Маруся не отрывала глаз от его рта и ловила каждое слово. Она глядела на него и сравнивала его лицо с теми лицами, которые ей приходится каждый день видеть.

Как не похожи были на это ученое, утомленное лицо испытые, тупые лица ее ухаживателей, друзей Егорушки, которые ежедневно надоедают ей своими визитами! Лица кутил и забулдыг, от которых она, Маруся, ни разу не слыхала ни одного доброго, порядочного слова, и в подметки не годились этому холодному, бесстрастному, но умному, надменному лицу.

«Прелестное лицо! – думала Маруся, восхищаясь и лицом, и голосом, и словами. – Какой ум и сколько знаний! Зачем Жорж военный? И ему бы быть ученым».

Егорушка смотрел с умилением на доктора и думал:

«Если он говорит об умных вещах, то, значит, считает нас

умными. Это хорошо, что мы поставили себя так в обществе. Ужасно, однако, глупо я сделал, что соврал про Кошечкина».

Когда доктор кончил свою лекцию, слушатели глубоко вздохнули, точно совершили какой-нибудь славный подвиг.

– Как хорошо всё знать! – вздохнула княгиня.

Маруся поднялась и, как бы желая отблагодарить доктора за лекцию, села за рояль и ударила по клавишам. Ей сильно захотелось втянуть доктора в разговор, втянуть поглубже, почувствительней, а музыка всегда наводит на разговоры. Да и похвастать своими способностями захотелось перед умным, понимающим человеком...

– Это из Шопена, – заговорила княгиня, томно улыбаясь и держа руки, как институтка. – Прелестная вещь! Она у меня, доктор, смею похвастать, и певица прелестная. Моя ученица... Я в былые времена была обладательницей роскошного голоса. А вот эта... Вы ее знаете?

И княгиня назвала фамилию одной известной русской певицы.

– Она мне обязана... Да-с... Я давала ей уроки. Милая была девушка! Она была отчасти родственницей моего покойного князя... Вы любите пение? Впрочем, зачем я это спрашиваю? Кто не любит пения?

Маруся начала играть лучшее место в вальсе и обернулась с улыбкой. Ей нужно было прочесть на лице доктора: какое впечатление произвела на него ее игра?

Но не удалось ей ничего прочесть. Лицо доктора было по-

прежнему безмятежно и сухо. Он быстро допивал чай.

– Я влюблена в это место, – сказала Маруся.

– Благодарствую, – сказал доктор. – Больше не хочу.

Он сделал последний глоток, поднялся и взялся за шляпу, не выражая ни малейшего желания дослушать вальс до конца. Княгиня вскочила. Маруся сконфузилась и, обиженная, закрыла рояль.

– Вы уже уходите? – заговорила княгиня, сильно хмурясь. – Не хотите ли еще чего? Надеюсь, доктор... Дорогу вы теперь знаете. Вечерком, когда-нибудь... Не забывайте нас...

Доктор кивнул два раза головой, неловко пожал протянутую княжной руку и молча пошел к своей шубе.

– Лед! Дерево! – заговорила княгиня по уходе доктора. – Это ужасно! Смеяться не умеет, деревяшка этакая! Напрасно ты для него играла, Мари! Точно для чая одного остался! Выпил и ушел!

– Но как он умен, тамап! Очень умен! С кем же ему говорить у нас? Я неуч, Жорж скрытен и всё молчит... Разве мы можем поддерживать умный разговор? Нет!

– Вот вам и плебей! Вот вам и племянник Никифора! – сказал Егорушка, выпивая из молочников сливки. – Каков? Рационально, индифферентно, субъективно... Так и сыпит, шельма! Каков плебей? А коляска-то какая! Посмотрите! Шик!

И все трое посмотрели в окно на коляску, в которую сади-

лась знаменитость в большой медвежьей шубе. Княгиня покраснела от зависти, а Егорушка значительно подмигнул глазом и свистнул. Маруся не видела коляски. Ей некогда было видеть ее: она рассматривала доктора, который произвел на нее сильнейшее впечатление. На кого не действует новизна?

А Топорков для Маруси был слишком нов...

Выпал первый снег, за ним второй, третий, и затянулась надолго зима со своими трескучими морозами, сугробами и сосульками. Не люблю я зимы и не верю тому, кто говорит, что любит ее. Холодно на улице, дымно в комнатах, мокро в калошах. То суровая, как свекровь, то плаксивая, как старая дева, со своими волшебными лунными ночами, тройками, охотой, концертами и балами, зима надоедает очень быстро и слишком долго тянется, для того чтобы отравить не одну бесприютную, чахоточную жизнь.

Жизнь в доме князей Приклонских потекла своим чередом. Егорушка и Маруся совершенно уже выздоровели, и даже мать перестала считать их больными. Обстоятельства, как и прежде, не думали поправляться. Дела становились всё хуже и хуже, денег становилось всё меньше и меньше... Княгиня заложила и перезаложила все свои драгоценности, фамильные и благоприобретенные. Никифор по-прежнему болтал в лавочке, куда посылали его брать в кредит разную мелочь, что господа должны ему триста рублей и не думают платить. То же самое болтал и повар, которому, из сострадания, подарил лавочник свои старые сапоги. Фуров стал еще

настойчивее. Ни на какие отсрочки он более не соглашался и говорил княгине дерзости, когда та умоляла его подождать протестовать вексель. С легкой руки Фурова загалдели и другие кредиторы. Каждое утро княгине приходилось принимать нотариусов, судебных приставов и кредиторов. Затевался, кажется, конкурс по делам о несостоятельности.

Подушка княгини по-прежнему не высыхала от слез. Днем княгиня крепилась, ночью же давала полную свободу слезам и плакала всю ночь, вплоть до утра. Не нужно было ходить далеко, чтобы отыскать причину для такого плача. Причины были под самым носом: они резали глаза своей рельефностью и яркостью. Бедность, ежеминутно оскорбляемое самолюбие, оскорбляемое... кем? ничтожными людишками, разными Фуровыми, поварами, купчишками. Любимые вещи шли в заклад, разлука с ними резала княгиню в самое сердце. Егорушка по-прежнему вел беспорядочную жизнь, Маруся не была еще пристроена... Мало ли причин для того, чтобы плакать? Будущее было туманно, но и сквозь туман княгиня усматривала зловещие призраки. Плохая надежда была на это будущее. На него не надеялись, а его боялись...

Денег становилось всё меньше и меньше, а Егорушка кутил всё больше и больше; кутил он настойчиво, с ожесточением, как бы желая наверстать время, утерянное во время болезни. Он пропивал всё, что имел и чего не имел, свое и чужое. В своем распутстве он был дерзок и нахален до чёр-

тиков. Занять денег у первого встречного ему ничего не стоило. Садиться играть в карты, не имея в кармане ни гроша, было у него обыкновением, а попить и пожрать на чужой счет, прокатиться с шиком на чужом извозчике и не заплатить извозчику не считалось грехом. Изменился он очень мало: прежде он сердился, когда над ним смеялись, теперь же он только слегка конфузился, когда его выталкивали или выводили.

Изменилась одна только Маруся. У нее была новость, и новость самая ужасная. Она стала разочаровываться в брате. Ей почему-то вдруг стало казаться, что он не похож на человека непризнанного, непонятого, что он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже... Она перестала верить в его безнадежную любовь. Ужасная новость! Просиживая по целым часам у окна и глядя бесцельно на улицу, она воображала себе лицо брата и силилась прочесть на нем что-нибудь стройное, не допускающее разочарования, но ничего не удавалось прочесть ей на этом бесцветном лице, кроме: пустой человек! дрянь человек! Рядом с этим лицом мелькали в ее воображении лица его товарищей, гостей, старушек-утешительниц, женихов и плаксивое, тупое от горя, лицо самой княгини, и тоска сжимала бедное сердце Маруси. Как пошло, бесцветно и тупо, как глупо, скучно и лениво около этих родных, любимых, но ничтожных людей!

Тоска сжимала ее сердце, и дух захватывало от одного

страстного, еретического желания... Бывали минутки, когда ей страстно хотелось уйти, но куда? Туда, разумеется, где живут люди, которые не дрожат перед бедностью, не развратничают, работают, не беседуют по целым дням с глупыми старухами и пьяными дураками... И в воображении Маруси торчало гвоздем одно порядочное, разумное лицо; на этом лице она читала и ум, и массу знаний, и утомление. Лица этого нельзя было забыть. Она видела его каждый день и в самой счастливой обстановке, именно в то время, когда владелец его работал или делал вид, что работает.

Доктор Топорков каждый день пролетал мимо дома Приклонских на своих роскошных санках с медвежьим пологом и толстым кучером. Пациентов у него было очень много. Делал визиты он от раннего утра до позднего вечера и успевал за день изъездить все улицы и переулки. Сидел он в санях так же, как и в кресле: важно, держа прямо голову и плечи, не глядя по сторонам. Из-за пушистого воротника его медвежьей шубы ничего не было видно, кроме белого, гладкого лба и золотых очков, но Марусе достаточно было и этого. Ей казалось, что из глаз этого благодетеля человечества идут сквозь очки лучи холодные, гордые, презирающие.

«Этот человек имеет право презирать! – думала она. – Он мудр! А какие, однако, роскошные санки, какие чудные лошадки! И это бывший крепостной! Каким нужно быть силачом, чтобы родиться лакеем, а сделаться таким, как он, неприступным!»

Одна только Маруся помнила доктора, остальные же начали забывать его и скоро совершенно забыли бы, если бы он не напомнил о себе. Напомнил о себе он слишком чувствительно.

На второй день Рождества, в полдень, когда Приклонские были дома, в передней робко звякнул звонок. Никифор отворил дверь.

– Княгинюшка до-о-о-ма? – послышался из передней старушечий голос, и, не дожидаясь ответа, в гостиную вползла маленькая старушонка. – Здравствуйте, княгинюшка, ваше сиятельство... благодетельница! Как поживать изволите?

– Что вам угодно? – спросила княгиня, с любопытством глядя на старуху. Егорушка прыснул в кулак. Ему показалось, что голова старухи похожа на маленькую переспелую дыню, хвостиком вверх.

– Не признаете, матушка? Неужто не помните? А Прохоровну забыли? Князьенку вашего принимала!

И старушонка подползла к Егорушке и быстро чмокнула его в грудь и руку.

– Я не понимаю, – забормотал сердито Егорушка, утирая руку о сюртук. – Этот старый чёрт, Никифор, выпускает всякую дрр...

– Что вам угодно? – повторила княгиня, и ей показалось, что от старухи сильно пахнет деревянным маслом.

Старуха уселась в кресло и после длинейших предисловий, ухмыляясь и кокетничая (свахи всегда кокетничают),

заявила, что у княгини есть товар, а у нее, старухи, купец. Маруся вспыхнула. Егорушка фыркнул и, заинтересованный, подошел к старухе.

– Странно, – сказала княгиня. – Сватать, значит, пришли? Поздравляю тебя, Мари, с женихом! А кто он? Можно узнать?

Старуха запыхтела, полезла за пазуху и вытащила оттуда красный ситцевый платок. Развязав на платке узелки, она потрясла его над столом, и вместе с наперстком упала фотографическая карточка.

Все покрутили носом: от красного платка с желтыми цветами понесло табачным запахом.

Княгиня взяла карточку и лениво поднесла ее к глазам.

– Красавец, матушка! – принялась сваха пояснять изображение. – Богат, благородный... Чудесный человек, твердый...

Княгиня вспыхнула и подала карточку Марусе. Та побледнела.

– Странно, – сказала княгиня. – Если доктору угодно, то, полагаю, сам бы он мог... Посредничество тут менее всего нужно!.. Образованный человек, и вдруг... Он вас послал? Сам?

– Сами... Уж больно ему понравились вы... Семейство хорошее.

Маруся вдруг взвизгнула и, сжав в руках карточку, опрометью побежала из гостиной.

– Странно, – продолжала княгиня. – Удивительно... Не знаю даже, что и сказать вам... Я никак не ожидала этого от доктора... К чему было вам беспокоиться? Он и сам мог бы пожаловать... обидно даже... За кого он нас принимает? Мы не купцы какие-нибудь... Да и купцы теперь стали иначе жить.

– Тип! – промычал Егорушка, с презрением поглядывая на старухину головку.

Дорого дал бы отставной гусар, если бы ему позволено было хоть раз «щелкнуть» по этой головке! Он не любил старух, как большая собака не любит кошек, и приходил чисто в собачий восторг, когда видел голову, похожую на дыньку.

– Что ж, матушка? – сказала сваха, вздыхая. – Хоть он и не князевского достоинства, а могу сказать, что, матушка-княгинюшка... Благодетели ведь вы наши. Ох, грехи, грехи! А нешто он не благородный? И образование всякое получил, и богатый, и роскошью всякою господь его наделил, царица небесная... А ежели желаете, чтобы к вам пришел, то извольте... Препожалует. Отчего не прийти? Прийти можно...

И, взявши княгиню за плечо, старуха потянула ее к себе и прошептала ей на ухо:

– Шестьдесят тысяч просит... Известное дело! Жена женой, а деньги деньгами. Сами извольте знать... Я, говорит, жены не возьму без денег, потому она должна у меня всякие удовольствия получать... Чтoб свой капитал имела...

Княгиня побагровела и, шурша своим тяжелым платьем,

поднялась с кресла.

– Потрудитесь передать доктору, что мы крайне удивлены, – сказала она. – Обижены... Так нельзя. Больше я вам ничего не могу сказать... Чего же ты молчишь, Жорж? Пусть она уйдет! Всякое терпение может лопнуть!

По уходе свахи княгиня схватила себя за голову, упала на диван и застонала:

– Вот до чего мы дожили! – заголосила она. – Боже мой! Какой-нибудь лекаришка, дрянь, вчерашний лакей, делает нам предложение! Благородный!.. Благородный! Ха! ха! Скажите пожалуйста, какое благородство! Сваху прислал! Нет вашего отца! Он не оставил бы этого даром! Пошлый дурак! Хам!

Но не так обидно было княгине, что за ее дочь сватается плебей, как то, что у нее попросили шестьдесят тысяч, которых у нее нет. Ее оскорблял малейший намек на ее бедность. Проголосила она до позднего вечера и ночью просыпалась два раза, чтобы поплакать.

Но ни на кого не произвело такого впечатления посещение свахи, как на Марусю. Бедную девочку бросило в сильнейшую лихорадку. Дрожа всеми членами, она упала в постель, спрятала пылающую голову под подушку и начала, насколько хватало сил, решать вопрос:

«Неужели?!»

Вопрос головоломный. Маруся и не знала, что ответить себе на него. Он выражал и ее удивление, и смущение, и тай-

ную радость, в которой почему-то ей стыдно было сознаться и которую хотелось скрыть от себя самой.

«Неужели?! Он, Топорков... Не может быть! Что-нибудь да не так! Переврала старуха!»

И в то же время мечты, сладчайшие, заветные, волшебные мечты, от которых замирает душа и горит голова, закопошились в ее мозгах, и всем ее маленьким существом овладел неизъяснимый восторг. Он, Топорков, хочет ее сделать своей женой, а ведь он так статен, красив, умен! Он посвятил жизнь свою человечеству и... ездит в таких роскошных санях!

«Неужели?!»

«Его можно любить! – порешила Маруся к вечеру. – О, я согласна! Я свободна от всяких предрассудков и пойду за этим крепостным на край света! Пусть мать скажет хоть одно слово – и я уйду от нее! Я согласна!»

Другие вопросы, второстепенные и третьестепенные, ей некогда было решать. Не до них было! При чем тут сваха? За что и когда *он* полюбил *ее*? Почему сам не является, если любит? Какое ей было дело до этих и до многих других вопросов? Она была поражена, удивлена... счастлива... достаточно было с нее и этого.

– Я согласна! – шептала она, стараясь нарисовать в своем воображении его лицо, с золотыми очками, сквозь которые глядят разумные, солидные, утомленные глаза. – Пусть приходит! Я согласна.

И когда таким образом Маруся металась в постели и чувствовала всем своим существом, как жгло ее счастье, сваха ходила по купеческим домам и щедрою рукою рассыпала докторские фотографии. Ходя из одного богатого дома в другой, она искала товара, которому могла бы порекомендовать «благородного» купца. Топорков не посылал ее специально к Приклонским. Он послал ее «куда хочешь». К своему браку, в котором он почувствовал необходимость, он относился безразлично: для него было решительно всё одно, куда бы ни пошла сваха... Ему нужны были... шестьдесят тысяч. Шестьдесят тысяч, не менее! Дом, который он собирался купить, не уступали ему дешевле этой суммы. Занять же эту сумму ему было негде, на рассрочку платежа не соглашались. Оставалось только одно: жениться на деньгах, что он и делал. Маруся же в его желании опутать себя узами Гименея была, ей-богу, нисколько не виновата!

В первом часу ночи в спальную Маруси тихо вошел Егорушка. Маруся была уже раздета и старалась уснуть. Ее утомило ее неожиданное счастье: ей хотелось хоть чем-нибудь успокоить без умолку и, как ей казалось, на весь дом стучавшее сердце. В каждой морщинке Егорушкиного лица сидела тысяча тайн. Он таинственно кашлянул, значительно поглядел на Марусю и, как бы желая сообщить ей нечто ужасно важное и секретное, сел на ее ноги и нагнулся слегка к ее уху.

– Знаешь, что я скажу тебе, Маша? – начал он тихо. – Я

откровенно скажу... Взгляд свой, того... Потому что ведь я для твоего же счастья. Ты спишь? Я для твоего же счастья... Выходи за того... за Топоркова! Не ломайся, а выходи себе, да и... шабаш! Человек он во всех отношениях... И богат. Это ничего, что он низкого происхождения. Наплюй.

Маруся крепче закрыла глаза. Ей было стыдно. В то же время ей было очень приятно, что ее брат симпатизирует Топоркову.

– Зато он богат! Без хлеба сидеть не будешь, по крайней мере. А покудова князя или графа поджидать будешь, так и с голоду подохнешь чего доброго... У нас ведь нет ни копейки! Фюйть! Пусто! Да ты спишь, что ли? А? Молчанье – знак согласия?

Маруся улыбнулась. Егорушка засмеялся и крепко, первый раз в жизни, поцеловал ее руку.

– И выходи... Он образованный человек. А как нам хорошо будет! Старуха выть перестанет!

И Егорушка погрузился в мечты. Помечтав, он мотнул головой и сказал:

– Только вот что мне непонятно... За каким чёртом он эту сваху присылал? Отчего сам не пришел? Тут что-нибудь да не так... Он не такой человек, чтобы сваху присылать.

«Это правда, – подумала Маруся, почему-то вздрогнув. – Тут что-нибудь да не так... Сваху глупо посылать. В самом деле, что это значит?»

Егорушка, обыкновенно не обладавший умением сообра-

жать, на этот раз сообразил:

– Впрочем, ведь ему самому некогда шляться. Целый день занят. Как угорелый, по больным бегает.

Маруся успокоилась, но ненадолго. Егорушка помолчал немного и сказал:

– И вот что еще для меня непонятно: он велел сказать этой ведьме, чтобы приданого было не меньше шестидесяти тысяч. Ты слышала? «Иначе, говорит, нельзя».

Маруся вдруг открыла глаза, вздрогнула всем телом, быстро поднялась и села, забыв даже прикрыть свои плечи одеялом. Глаза ее заискрились и щеки запылали.

– Это старуха говорит? – сказала она, дернув Егорушку за руку. – Скажи ей, что это ложь! Эти люди, такие, то есть как он... не могут говорить этого. Он и... деньги?! Ха-ха! Эту низость могут подозревать только те, которые не знают, как он горд, как честен, некорыстолюбив! Да! Это прекраснейший человек! Его не хотят понять!

– И я так думаю, – сказал Егорушка. – Старуха наврала. Прислужиться ему, должно быть, захотела. Привыкла там у купцов!

Марусина головка утвердительно кивнула и юркнула под подушку. Егорушка поднялся и потянулся.

– Мать ревет, – сказал он. – Ну, да мы на нее не посмотрим. Итак, значит, того? Согласна? И отлично. Ломаться нечего. Докторша... Ха-ха! Докторша!

Егорушка похлопал Марусю по подошве и, очень доволь-

ный, вышел из ее спальни. Ложась спать, он составил в своей голове длинный список гостей, которых он пригласит на свадьбу.

«Шампанского нужно будет взять у Аболтухова, – думал он, засыпая. – Закуски брать у Корчатова... У него икра свежая. Ну, и омары...»

На другой день, утром, Маруся, одетая просто, но изысканно и не без кокетства, сидела у окна и поджидала. В одиннадцать часов Топорков промчался мимо, но не заехал. После обеда он еще раз промчался на своих вороных перед самыми окнами, но не только не заехал, но даже и не поглядел на окно, около которого сидела Маруся, с розовой ленточкой в волосах.

«Ему некогда, – думала Маруся, любуясь им. – В воскресенье приедет...»

Но не приехал он и в воскресенье. Не приехал и через месяц, и через два, через три... Он, разумеется, и не думал о Приклонских, а Маруся ждала и худела от ожидания... Кошки, не обыкновенные, а с длинными желтыми когтями, скребли ее за сердце.

«Отчего же он не едет? – спрашивала она себя. – Отчего? А... знаю... Он обижен за то, что... За что он обижен? За то, что мама так неделикатно обошлась со старушкой-свахой. Он думает теперь, что я не могу полюбить его...»

– С-с-с-скотина! – бормотал Егорушка, который уже раз десять заходил к Аболтухову и спрашивал его, не может ли

он выписать шампанского самого высшего сорта.

После Пасхи, которая была в конце марта, Маруся перестала ожидать.

Однажды Егорушка вошел к ней в спальную и, злобно хоча, сообщил ей, что ее «жених» женился на купчихе...

– Честь имеем поздравить-с! Честь имеем! Ха-ха-ха!

Это известие поступило слишком жестоко с моей маленькой героиней.

Она пала духом и не день, а месяцы олицетворяла собой невыразимую тоску и отчаяние. Она выдернула из своих волос розовую ленточку и возненавидела жизнь. Но как пристрастно и несправедливо чувство! Маруся и тут нашла оправдание *его* поступку. Она недаром начиталась романов, в которых женятся и выходят замуж назло любимым людям, назло, чтобы дать понять, уколоть, уязвить.

«Он назло женился на этой дуре, – думала Маруся. – О, как мы нехорошо сделали, что так оскорбительно отнеслись к его сватовству! Такие люди, как он, не забывают оскорблений!»

На щеках исчез здоровый румянец, губы разучились складываться в улыбку, мозги отказались мечтать о будущем – задурила Маруся! Ей казалось, что с Топорковым погибла для нее и цель ее жизни. На что ей теперь жизнь, если на ее долю остались одни только глупцы, тунеядцы, кутилы! Она захандрила. Ничего не замечая, не обращая ни на что внимания, ни к чему не прислушиваясь, затянула она скучную,

бесцветную жизнь, на которую так способны наши девы, старые и молодые... Она не замечала женихов, которых у нее было много, родных, знакомых. На плохие обстоятельства глядела она равнодушно, с апатией. Не заметила она даже, как банк продал дом князей Приклонских, со всем его историческим, родным для нее скарбом, и как ей пришлось перебираться на новую квартиру, скромную, дешевую, в мещанском вкусе. Это был длинный, тяжелый сон, не лишенный все-таки сновидений. Снился ей Топорков во всех своих видах: в санях, в шубе, без шубы, сидящий, важно шагающий. Вся жизнь заключалась во сне.

Но грянул гром – и слетел сон с голубых глаз с льняными ресницами... Княгиня-мать, не сумевшая перенести разорения, заболела на новой квартире и умерла, не оставив своим детям ничего, кроме благословения и нескольких платьев. Ее смерть была страшным несчастьем для княжны. Сон слетел для того, чтобы уступить свое место печали.

III

Наступила осень, такая же сырая и грязная, как и прошлогодняя.

На дворе стояло серое, слезливое утро. Темно-серые, точно грязью вымазанные, облака сплошную заволакивали небо и своею неподвижностью наводили тоску. Казалось, не существовало солнца; оно в продолжение целой недели ни

разу не взглянуло на землю, как бы боясь опачкать свои лучи в жидкой грязи...

Дождевые капли барабанили в окна с особенной силой, ветер плакал в трубах и выл, как собака, потерявшая хозяина... Не видно было ни одной физиономии, на которой нельзя было бы прочесть отчаянной скуки.

Лучше самая отчаянная скука, чем та непроходимая печаль, которая светилась в это утро на лице Маруси. Шлепая по жидкой грязи, моя героиня плелась к доктору Топоркову. Зачем она шла к нему?

«Я иду лечиться!» – думала она.

Но не верьте ей, читатель! На ее лице недаром читается борьба.

Княжна подошла к дому Топоркова и робко, с замиранием сердца, дернула за звонок. Через минуту за дверью послышались шаги. Маруся почувствовала, что у нее леденеют и подгибаются ноги. В двери щелкнул замок, и Маруся увидела перед собой вопросительное лицо смазливой горничной.

– Доктор дома?

– Мы сегодня не принимаем. Завтра! – отвечала горничная и, задрожав от пахнувшей на нее сырости, шагнула назад. Дверь хлопнула перед самым носом Маруси, задрожала и с шумом заперлась.

Княжна сконфузилась и лениво поплелась домой. Дома ожидал ее даровой, но давно уже надоевший ей спектакль. Спектакль далеко не княжеский!

В маленькой гостиной, на диване, обитом новым, лоснящимся ситцем, сидел князь Егорушка. Сидел он по-турецки, поджав под себя ноги. Около него, на полу, лежала его приятельница Калерия Ивановна. Оба играли в носки¹⁹⁵ и пили. Князь пил пиво, его Дульцинея мадеру. Выигравший, вместе с правом ударить противника по носу, получал и двугривенный. Калерии Ивановне, как даме, делалась маленькая уступка: вместо двугривенного она могла платить поцелуем. Эта игра доставляла обоим невыразимое наслаждение. Они покатывались со смеха, щипались, ежеминутно вскакивали со своих мест и гонялись друг за другом. Егорушка приходил в телячий восторг, когда выигрывал. Его восхищало то ломанье, с которым Калерия Ивановна отдавала проигранный поцелуй.

Калерия Ивановна, длинная и тонкая брюнетка, с ужасно черными бровями и выпуклыми рачьими глазами, ходила к Егорушке каждый день. Она приходила к Приклонским в десятом часу утра, у них пила чай, обедала, ужинала и в первом часу ночи уходила. Егорушка уверял свою сестру, что Калерия Ивановна певица, что она очень почтенная дама и т. д.

– Ты поговори-ка с ней! – убеждал сестру Егорушка. – Умница! Страсть!

Никифор, по моему мнению, был более прав, величая Калерию Ивановну шлюхой и Кавалерией Ивановной. Он ее ненавидел всей душой и выходил из себя, когда ему прихо-

¹⁹⁵ *Оба играли в носки...* – Карточная игра.

дилось прислуживать ей. Он чуял правду, и инстинкт старого преданного слуги говорил ему, что этой женщине не место около его господ... Калерия Ивановна глупа и пуста, но это не мешало ей уходить каждый день от Приклонских с полным желудком, с выигрышем в кармане и с уверенностью, что без нее жить не могут. Она жена клубного маркера, только всего, но это ей не мешало быть полной хозяйкой в доме Приклонских. Этой свинье нравилось класть ноги на стол.

Маруся жила на пенсию, которую она получала после отца. Пенсия отца была больше, чем обыкновенная генеральская, Марусина же доля была ничтожна. Но и этой доли было бы достаточно для безбедного жития, если бы Егорушка не имел столько прихотей.

Он, не хотевший и не умевший работать, не хотел верить тому, что он беден, и выходил из себя, если его заставляли мириться с обстоятельствами и по возможности умерять свои прихоти.

– Калерия Ивановна не любит телятины, – говорил он нередко Марусе. – Нужно для нее цыплят жарить. Чёрт вас знает! Беретесь хозяйничать, а не умеете! Чтоб не было завтра этой ерундистой телятины! Мы уморим с голоду эту женщину!

Маруся слегка противоречила, и чтобы не заводить неудовольствий, покупала цыпленка.

– Отчего сегодня жаркого не было? – кричал иногда Егорушка.

– Оттого, что мы вчера цыплят ели, – отвечала Маруся.

Но Егорушка плохо знал хозяйственную арифметику и знать ничего не хотел. За обедом он настойчиво требовал для себя пива, для Калерии Ивановны – вина.

– Может ли порядочный обед быть без вина? – спрашивал он Марусю, пожимая плечами и удивляясь человеческой глупости. – Никифор! Чтоб было вино! Твое дело смотреть за этим! А тебе, Маша, стыдно! Не браться же мне самому за хозяйство! Как вам нравится выводить меня из терпения!

Это был необузданный сибарит! Скоро Калерия Ивановна явилась ему на помощь.

– Вино для князя есть? – спрашивала она, когда накрывали стол для обеда. – А где пиво? Нужно сходить за пивом? Княжна, выдайте человеку на пиво! У вас есть мелкие?

Княжна говорила, что есть мелкие, и отдавала последнее. Егорушка и Калерия ели и пили, и не видели, как часы, кольца и серьги Маруси, вещь за вещью, уходили в ссуду, как продавались старьевщикам ее дорогие платья.

Они не видели и не слышали, с каким кряхтеньем и бормотаньем старый Никифор отпирал свой сундучок, когда Маруся занимала у него денег на завтрашний обед. Этим пошлым и тупым людям, князю и его мещанке, никакого дела не было до всего этого!

На другой день, в десятом часу утра, Маруся отправилась к Топоркову. Дверь отперла ей та же смазливая горничная. Введя княжну в переднюю и снимая с нее пальто, горничная

вздохнула и сказала:

– Вы ведь знаете, барышня? Доктор меньше пяти рублей за совет не берут-с. Это вы знайте-с.

«Для чего это она мне говорит? – подумала Маруся. – Какое нахальство! Он, бедный, и не знает, что у него такая нахальная прислуга!»

И в то же время у Маруси ёкнуло около сердца: у нее в кармане было только три рубля, но не станет же он гнать ее из-за каких-нибудь двух рублей.

Из передней Маруся вошла в приемную, где уже сидело множество больных. Большинство жаждущих исцеления составляли, разумеется, дамы. Они заняли всю находящуюся в приемном зале мебель, расселись группами и беседовали. Беседы велись самые оживленные о всем и обо всех: о погоде, о болезнях, о докторе, о детях... Говорили все вслух и хохотали, как у себя дома. Некоторые, в ожидании очереди, вязали и вышивали. Людей, просто и плохо одетых, в приемной не было. В соседней комнате принимал Топорков. Входили к нему по очереди. Входили с бледными лицами, серьезные, слегка дрожащие, выходили же от него красные, вспотевшие, как после исповеди, точно снявшие с себя какое-то непосильное бремя, осчастливленные. Каждую больной Топорков занимался не более десяти минут. Болезни, должно быть, были неважные.

«Как всё это похоже на шарлатанство!» – подумала бы Маруся, если бы не была занята своей думой.

Маруся вошла в докторский кабинет последней. Входя в этот кабинет, заваленный книгами с немецкими и французскими надписями на переплетах, она дрожала, как дрожит курица, которую окунули в холодную воду. Он стоял посреди комнаты, опершись левой рукой о письменный стол.

«Как он красив!» – прежде всего мелькнуло в голове его пациентки.

Топорков никогда не рисовался, да и едва ли он умел когда-нибудь рисоваться, но все позы, которые он когда-либо принимал, выходили у него как-то особенно величественны. Поза, в которой его застала Маруся, напоминала те позы величественных натурщиков, с которых художники пишут великих полководцев. Около руки его, упиравшейся о стол, валялись десяти- и пятирублевки, только что полученные от пациенток. Тут же лежали, в строгом порядке, инструменты, машинки, трубки – всё крайне непонятное, крайне «ученое» для Маруси. Это и кабинет с роскошной обстановкой, всё вместе взятое, дополняли величественную картину. Маруся затворила за собою дверь и остановилась... Топорков указал рукой на кресло. Моя героиня тихо подошла к креслу и села. Топорков величественно покачнулся, сел на другое кресло, *vis-a-vis*, и впился своими вопросительными глазами в лицо Маруси.

«Он не узнал меня! – подумала Маруся. – Иначе бы он не молчал... Боже мой, зачем он молчит? Ну, как мне начать?»
– Ну-с? – промычал Топорков.

– Кашель, – прошептала Маруся и, как бы в подтверждение своих слов, два раза кашлянула.

– Давно?

– Два месяца уж есть... По ночам больше.

– Угм... Лихорадка?

– Нет, лихорадки, кажется, нет...

– Вы лечились, кажется, у меня? Что у вас было раньше?

– Воспаление легких.

– Угм... Да, помню... Вы, кажется, Приклонская?

– Да... У меня и брат тогда же был нездоров.

– Будете принимать этот порошок... перед сном... избегать простуды...

Топорков быстро написал рецепт, поднялся и принял прежнюю позу. Маруся тоже поднялась.

– Больше ничего?

– Ничего.

Топорков устал на нее глаза. Глядел он на нее и на дверь. Ему было некогда, и он ждал, что она уйдет. А она стояла и глядела на него, любовалась и ждала, что он скажет ей что-нибудь. Как он был хорош! Прошла минута в молчании. Наконец она встрепенулась, прочла на его губах зевок и в глазах ожидание, подала ему трехрублевку и повернула к двери. Доктор бросил деньги на стол и запер за ней дверь.

Идя от доктора домой, Маруся страшно злилась:

«Ну, отчего я не поговорила с ним? Отчего? Трусиха я, вот что! Глупо как-то всё вышло... Только обеспокоила. За-

чем я держала эти подлые деньги в руках, точно напоказ? Деньги – это такая щекотливая вещь... Храни бог! Обидеть можно человека! Нужно платить так, чтоб незаметно это было. Ну, зачем я молчала?.. Он рассказал бы мне, объяснил... Видно было бы, для чего сваха приходила...»

Придя домой, Маруся легла в постель и спрятала голову под подушку, что она делала всегда, когда была возбуждена. Но не удалось ей успокоиться. В ее комнату вошел Егорушка и начал шагать из угла в угол, стуча и скрипя своими сапогами.

Лицо его было таинственно...

– Чего тебе? – спросила Маруся.

– А-а-а... А я думал, что ты спишь, не хотел беспокоить. Я хочу тебе кое-что сообщить... очень приятное. Калерия Ивановна хочет у нас жить. Я ее упросил.

– Это невозможно! *C'est impossible!* Кого ты просил?

– Отчего же невозможно? Она очень хорошая... Помогать тебе в хозяйстве будет. Мы ее в угольную комнату поместим.

– В угольной татап умерла! Это невозможно!

Маруся задвигалась, затряслась, точно ее укололи. Красные пятна выступили на ее щеках.

– Это невозможно! Ты убьешь меня, Жорж, если заставишь жить с этой женщиной! Голубчик, Жорж, не нужно! Не нужно! Милый мой! Ну, я прошу!

– Ну, чем она тебе не нравится? Не понимаю! Баба как баба... Умная, веселая.

– Я ее не люблю...

– Ну, а я люблю. Я люблю эту женщину и хочу, чтобы она жила со мной!

Маруся заплакала... Ее бледное лицо исказилось отчаянием...

– Я умру, если она будет жить здесь...

Егорушка засвистал что-то себе под нос и, пошагав немного, вышел из Марусиной комнаты. Через минуту он опять вошел.

– Займи мне рубль, – сказал он.

Маруся дала ему рубль. Надо же чем-нибудь смягчить печаль Егорушки, в котором, по ее мнению, происходила теперь ужасная борьба: любовь к Калерии боролась с чувством долга!

Вечером к княжне зашла Калерия.

– За что вы меня не любите? – спросила Калерия, обнимая княжну. – Ведь я несчастная!

Маруся освободилась от ее объятий и сказала:

– Мне не за что вас любить!

Дорого же она заплатила за эту фразу! Калерия, поместившись через неделю в комнате, в которой умерла татап, нашла нужным прежде всего отомстить за эту фразу. Месть выбрала она самую топорную.

– И чего вы так ломаетесь? – спрашивала она княжну за каждым обедом. – При такой бедности, как у вас, нужно не ломаться, а добрым людям кланяться. Если б я знала, что у

вас такие недостатки, то не пошла бы к вам жить. И зачем я полюбила вашего братца!?! – прибавила она со вздохом.

Упреки, намеки и улыбки оканчивались хохотом над бедностью Маруси. Егорушке нипочем был этот смех. Он считал себя должным Калерии и смирялся. Марусю же отравлял идиотский хохот супруги маркера и содержанки Егорушки.

По целым вечерам просиживала Маруся в кухне и, беспомощная, слабая, нерешительная, проливала слезы на широкие ладони Никифора. Никифор хныкал вместе с ней и разъедал Марусины раны воспоминаниями о прошлом.

– Бог их накажет! – утешал он ее. – А вы не плачьте.

Зимой Маруся еще раз пошла к Топоркову.

Когда она вошла к нему в кабинет, он сидел в кресле, по-прежнему красивый и величественный... На этот раз лицо его было сильно утомлено... Глаза мигали, как у человека, которому не дают спать. Он, не глядя на Марусю, указал подбородком на кресло *vis-a-vis*. Она села.

«У него печаль на лице, – подумала Маруся, глядя на него. – Он, должно быть, очень несчастлив со своей купчихой!»

Минуту просидели они молча. О, с каким наслаждением она пожаловалась бы ему на свою жизнь! Она поведала бы ему такое, чего он не мог бы вычитать ни из одной книги с французскими и немецкими надписями.

– Кашель, – прошептала она.

Доктор мельком взглянул на нее.

– Гм... Лихорадка?

– Да, по вечерам...

– Ночью потеете?

– Да...

– Разденьтесь...

– То есть как?..

Топорков нетерпеливым жестом указал себе на грудь. Маруся, краснея, медленно расстегнула на груди пуговицы.

– Разденьтесь. Поскорей, пожалуйста!.. – сказал Топорков и взял в руки молоточек.

Маруся потянула одну руку из рукава. Топорков быстро подошел к ней и в мгновение ока привычной рукой спустил до пояса ее платье.

– Расстегните сорочку! – сказал он и, не дожидаясь, пока это сделает сама Маруся, расстегнул у шеи сорочку и, к великому ужасу своей пациентки, принялся стучать молотком по белой исхудалой груди...

– Пустите руки... Не мешайте. Я вас не съем, – бормотал Топорков, а она краснела и страстно желала провалиться сквозь землю.

Постукав, Топорков начал выслушивать. Звук у верхушки левого легкого оказался сильно притупленным. Ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание.

– Оденьтесь, – сказал Топорков и начал задавать ей вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.

– Вам нужно ехать в Самару, – сказал он, прочитав ей це-

лую лекцию о правильном образе жизни. – Будете там кумыс пить. Я кончил. Вы свободны...

Маруся кое-как застегнула свои пуговики, неловко подала ему пять рублей и, немного постояв, вышла из ученого кабинета.

«Он держал меня целых полчаса, – думала она, идя домой, – а я молчала! Молчала! Отчего я не поговорила с ним?»

Она шла домой и думала не о Самаре, а о докторе Топоркове. К чему ей Самара? Там, правда, нет Калерии Ивановны, но зато же там нет и Топоркова!

Бог с ней, с этой Самарой! Она шла, злилась и в то же время торжествовала: он признал ее больной, и теперь она может ходить к нему без церемоний, сколько ей угодно, хоть каждую неделю! У него в кабинете так хорошо, так уютно! Особенно хорош диван, который стоит в глубине кабинета. На этом диване она желала бы посидеть с ним и потолковать о разных разностях, пожаловаться, посоветовать ему не брать так дорого с больных. С богатых, разумеется, можно и должно брать дорого, но бедным больным нужно делать уступку.

«Он не понимает жизни, не может отличить богатого от бедного, – думала Маруся. – Я научила бы его!»

И на этот раз дома ожидал ее даровой спектакль. Егорушка валялся на диване в истерическом припадке. Он рыдал, бранился, дрожал, как в лихорадке. По его пьяному лицу

текли слезы.

– Калерия ушла! – голосил он. – Уже две ночи дома не ночевала! Она рассердилась!

Но напрасно ревел Егорушка. Вечером пришла Калерия, простила его и увезла с собой в клуб.

Распутство Егорушки достигло апогея... Ему мало было Марусиной пенсии, и он начал «работать». Он занимал деньги у прислуги, шулерничал в картах, воровал у Маруси деньги и вещи. Однажды, идя рядом с Марусей, он вытащил из ее кармана два рубля, которые она скопила для того, чтобы купить себе башмаки. Один рубль он оставил себе, а на другой купил Калерии груш. Знакомые оставили его. Прежние посетители дома Приклонских, знакомые Маруси, теперь в глаза величали его «сиятельным шулером». Даже «девицы» в «Шато де Флер» недоверчиво глядели на него и смеялись, когда он, заняв у какого-нибудь нового знакомого денег, приглашал их с собою ужинать.

Маруся видела и понимала этот апогей распутства...

Бесцеремонность Калерии тоже шла crescendo.

– Не ройтесь, пожалуйста, в моих платьях, – сказала ей однажды Маруся.

– Ничего от этого вашим платьям не сделается, – ответила Калерия. – А ежели вы меня считаете воровкой, то... извольте. Я уйду.

И Егорушка, проклиная сестру, целую неделю провалялся у ног Калерии, прося ее не уходить.

Но недолго может продолжаться такая жизнь. Всякая повесть имеет конец, кончился и этот маленький роман.

Наступила масленица, и с нею наступили дни, предвестники весны. Дни стали больше, полилось с крыш, с полей повеяло свежестью, вдыхая которую, вы предчувствуете весну...

В один из масленичных вечеров Никифор сидел у постели Маруси... Егорушки и Калерии не было дома.

– Я горю, Никифор, – говорила Маруся.

А Никифор хныкал и разьедал ее раны воспоминаниями о прошлом... Он говорил о князе, о княгине, их житье-бытье... Описывал леса, в которых охотился покойный князь, поля, по которым он скакал за зайцами, Севастополь. В Севастополе покойный был ранен. Много рассказывал Никифор. Марусе в особенности понравилось описание усадьбы, пять лет тому назад проданной за долги.

– Выйдешь, бывало, на террасу... Весна это начинается. И боже мой! Глаз бы не отрывал от света божьего! Лес еще черный, а от него так и пышет удовольствием-с! Речка славная, глубокая... Маменька ваша во младости изволила рыбку ловить удочкой... Стоят над водой, бывалыча, по целым дням... Любили-с на воздухе быть... Природа!

Охрип Никифор, рассказывая. Маруся слушала его и не отпускала от себя. На лице старого лакея она читала всё то, что он ей говорил про отца, про мать, про усадьбу. Она слушала, всматривалась в его лицо, и ей хотелось жить, быть

счастливой, ловить рыбу в той самой реке, в какой ловила ее мать... Река, за рекой поле, за полем синеют леса, и над всем этим ласково сияет и греет солнце... Хорошо жить!

– Голубчик, Никифор, – проговорила Маруся, сжав его сухую руку, – миленький... Займи мне завтра пять рублей... В последний раз... Можно?

– Можно-с... У меня только и есть пять. Возьми-те-с, а там бог пошлет...

– Я отдам, голубчик. Ты займи...

На другой день, утром, Маруся оделась в лучшее платье, завязала волосы розовой ленточкой и пошла к Топоркову. Прежде чем выйти из дому, она десять раз взглянула на себя в зеркало. В передней Топоркова встретила ее новая горничная.

– Вы знаете? – спросила Марусю новая горничная, стаскивая с нее пальто. – Доктор меньше пяти рублей не берет за совет...

Пациенток на этот раз в приемной было особенно много. Вся мебель была занята. Один мужчина сидел даже на рояле. Прием больных начался в десять часов. В двенадцать доктор сделал перерыв для операции и начал снова прием в два. Марусина очередь настала только тогда, когда было четыре часа.

Не пившая чаю, утомленная ожиданием, дрожа от лихорадки и волнения, она и не заметила, как очутилась в кресле, против доктора. В голове ее была какая-то пустота, во рту

сухо, в глазах стоял туман. Сквозь этот туман она видела одни только мельканья... Мелькала его голова, мелькали руки, молоточек...

– Вы ездили в Самару? – спросил ее доктор. – Почему вы не ездили?

Она ничего не отвечала. Он постучал по ее груди и выслушал. Притупление на левой стороне захватывало уже область почти всего легкого. Тупой звук слышался и в верхушке правого легкого.

– Вам не нужно ехать в Самару. Не уезжайте, – сказал Топорков.

И Маруся сквозь туман прочла на сухом, серьезном лице нечто похожее на сострадание.

– Не поеду, – прошептала она.

– Скажите вашим родителям, чтобы они не пускали вас на воздух. Избегайте грубой, трудно варимой пищи...

Топорков начал советовать, увлекся и прочел целую лекцию.

Она сидела, ничего не слушала и сквозь туман глядела на егодвигающиеся губы. Ей показалось, что он говорил слишком долго. Наконец он умолк, поднялся и, ожидая ее ухода, оставил на нее свои очки.

Она не уходила. Ей нравилось сидеть в этом хорошем кресле и страшно было идти домой, к Калерии.

– Я кончил, – сказал доктор. – Вы свободны.

Она повернула к нему свое лицо и посмотрела на него.

«Не гоните меня!» – прочел бы доктор в ее глазах, если бы был хоть маленьким физиономистом.

Из глаз ее брызнули крупные слезы, руки бессильно опустились по сторонам кресла.

– Я люблю вас, доктор! – прошептала она.

И красное зарево, как следствие сильного душевного пожара, разлилось по ее лицу и шее.

– Я люблю вас! – прошептала она еще раз, и голова ее покачнулась два раза, бессильно опустилась и коснулась лбом стола.

А доктор? Доктор... покраснел первый раз за всё время своей практики. Глаза его замигали, как у мальчишки, которого ставят на колени. Ни от одной пациентки ни разу не слышал он таких слов и в такой форме! Ни от одной женщины! Не ослышался ли он?

Сердце беспокойно заворчалось и застучало... Он конфузливо закашлялся.

– Миколаша! – послышался голос из соседней комнаты, и в полуотворенной двери показались две розовые щеки его купчихи.

Доктор воспользовался этим зовом и быстро вышел из кабинета. Он рад был придраться хоть к чему-нибудь, лишь бы только выйти из неловкого положения.

Когда, через десять минут, он вошел в свой кабинет, Маруся лежала на диване. Лежала она на спине, лицом вверх. Одна рука спускалась до пола вместе с прядью волос. Мару-

ся была без чувств. Топорков, красный, с стучащим сердцем, тихо подошел к ней и расстегнул ее шнуровку. Он оторвал один крючок и, сам того не замечая, порвал ее платье. Из всех оборочек, щелочек и закоулочков платья посыпались на диван *его* рецепты, *его* карточки, визитные и фотографические...

Доктор брызнул водой в ее лицо... Она открыла глаза, приподнялась на локоть и, глядя на доктора, задумалась. Ее занимал вопрос: где я?

– Люблю вас! – простонала она, узнав доктора. И глаза, полные любви и мольбы, остановились на его лице. Она глядела, как подстреленный зверек.

– Что же я могу сделать? – спросил он, не зная, что делать... Спросил он голосом, который не узнала Маруся, не мерным, не отчеканивающим, а мягким, почти нежным...

Локоть ее подогнулся и голова опустилась на диван, но глаза всё еще продолжали смотреть на него...

Он стоял перед ней, читал в ее глазах мольбу и чувствовал себя в ужаснейшем положении. В груди стучало сердце, а в голове творилось нечто небывалое, незнакомое... Тысяча непрошенных воспоминаний закопошились в его горячей голове. Откуда взялись эти воспоминания? Неужели их вызвали эти глаза, с любовью и мольбой?

Он вспомнил раннее детство с чисткой барских самоваров. За самоварами и подзатыльниками замелькали в его памяти благодетели, благодетельницы в тяжелых салопах, ду-

ховное училище, куда отдали его за «голос». Духовное училище с розгами и кашей с песком уступило место семинарии. В семинарии латынь, голод, мечты, чтение, любовь с дочерью отца-эконома. Вспомнилось ему, как он, вопреки желаниям благодетелей, бежал из семинарии в университет. Бежал без гроша в кармане, в истоптанных сапогах. Сколько прелести в этом бегстве! В университете голод и холод ради труда... Трудная дорога!

Наконец он победил, лбом своим пробил туннель к жизни, прошел этот туннель и... что же? Он знает превосходно свое дело, много читает, много работает и готов работать день и ночь...

Топорков искоса поглядел на десяти- и пятирублевки, которые валялись у него на столе, вспомнил барынь, от которых только что взял эти деньги, и покраснел... Неужели только для пятирублевок и барынь он прошел ту трудовую дорогу? Да, только для них...

И под напором воспоминаний осунулась его величественная фигура, исчезла гордая осанка и поморщилось гладкое лицо.

– Что же я могу сделать? – прошептал он еще раз, глядя на Марусины глаза.

Ему стало стыдно этих глаз.

А что если она спросит: что ты сделал и что приобрел за всё время своей практики?

Пятирублевки и десятирублевки, и ничего больше! Наука,

жизнь, покой – всё отдано им. А они дали ему княжескую квартиру, изысканный стол, лошадей, всё то, одним словом, что называется комфортом.

Вспомнил Топорков свои семинарские «идеалы» и университетские мечты, и страшною, невылазною грязью показались ему эти кресла и диван, обитые дорогим бархатом, пол, устланный сплошным ковром, эти бра, эти трехсотрублевые часы!

Он подался вперед и поднял Марусю с грязи, на которой она лежала, поднял высоко, с руками и ногами...

– Не лежи здесь! – сказал он и отвернулся от дивана.

И, как бы в благодарность за это, целый водопад чудных льняных волос полился на его грудь... Около его золотых очков заблестали чужие глаза. И что за глаза! Так и хочется дотронуться до них пальцем!

– Дай мне чаю! – прошептала она.

На другой день Топорков сидел с ней в купе первого класса. Он вез ее в Южную Францию. Станный человек! Он знал, что нет надежды на выздоровление, знал отлично, как свои пять пальцев, но вез ее... Всю дорогу он постукивал, выслушивал, расспрашивал. Не хотел он верить своим знаниям и всеми силами старался выстукать и выслушать на ее груди хоть маленькую надежду!

Деньги, которые еще вчера он так усердно копил, в огром-

нейших дозах рассыпались теперь на пути.

Он всё отдал бы теперь, если бы хоть в одном легком этой девушки не слышались проклятые хрипы! Ему и ей так хотелось жить! Для них взошло солнце, и они ожидали дня... Но не спасло солнце от мрака и... не цвести цветам поздней осенью!

Княжна Маруся умерла, не прожив в Южной Франции и трех дней.

Топорков, по приезде из Франции, зажил по-прежнему. По-прежнему лечит барынь и копит пятирублевки. Впрочем, можно заметить в нем и перемену. Он, говоря с женщиной, глядит в сторону, в пространство... Почему-то ему страшно делается, когда он глядит на женское лицо...

Егорушка жив и здоров. Он бросил Калерию и живет теперь у Топоркова. Доктор взял его к себе в дом и души в нем не чаёт. Егорушкин подбородок напоминает ему подбородок Маруси, и за это позволяет он Егорушке прокучивать свои пятирублевки.

Егорушка очень доволен.

Речь и ремешок

Он собрал нас к себе в кабинет и голосом, дрожащим от слез, трогательным, нежным, приятельским, но не допускающим возражений, сказал нам речь.

– Я знаю всё, – сказал он. – Всё! Да! Насквозь вижу. Я давно уже заметил этот, так сказать, э... э... э... дух, атмосферу... дуновение. Ты, Цицольский, читаешь Щедрина, ты, Спичкин, читаешь тоже что-то такое... Всё знаю. Ты, Тупоносов, сочиняешь... тово... статьи, там, всякие... и вольно держишь себя. Господа! Прошу вас! Прошу вас не как начальник, а как человек... В наше время нельзя так. Либерализм этот должен исчезнуть.

Говорил он в таком роде очень долго. Пронял всех нас, пронял теперешнее направление, похвалил науки и искусства, с оговоркой о пределе и рамках, из коих наукам выходить нельзя, и упомянул о любви матерей... Мы бледнели, краснели и слушали. Душа наша мылась в его словах. Нам хотелось умереть от раскаяния. Нам хотелось облобызать его, пасть ниц... зарыдать... Я глядел в спину архивариуса, и мне казалось, что эта спина не плачет только потому, что боится нарушить общественную тишину.

– Идите! – кончил он. – Я всё забыл! Я не злопамятен.. Я... я... Господа! История говорит нам... Мне не верите, верьте истории... История говорит нам...

Но увы! Мы не узнали, что говорит нам история. Голос его задрожал, на глазах сверкнули слезы, вспотели очки. В тот же самый момент послышались всхлипывания: то рыдал Цицольский. Спичкин покраснел, как вареный рак. Мы полезли в карманы за платками. Он замигал глазками и тоже полез за платком.

– Идите! – залепетал он плачущим голосом. – Оставьте меня! Оставь... те... Ммда...

Но увы! Выньте вы из часов маленький винтик или бросьте вы в них ничтожную песчинку – и остановятся часы. Впечатление, произведенное речью, исчезло, как дым, у самых дверей своего апогея. Апофеоз не удался... и благодаря чему же? Ничтожеству!

Он полез в задний карман и вместе с платком вытащил оттуда какой-то ремешок. Нечаянно, разумеется. Ремешок, маленький, грязненький, закорузлый, поболтался в воздухе змейкой и упал к ногам архивариуса. Архивариус поднял его обеими руками и с почтительным содроганием во всех членах положил на стол.

– Ремешок-с, – прошептал он.

Цицольский улыбнулся. Заметив его улыбку, я, и сам того не желая, прыснул в кулак... как дурак, как мальчишка! За мной прыснул Спичкин, за ним Трехкапитанский – и всё погибло! Рухнуло здание.

– Ты чего же это смеешься? – услышал я громовой голос. Батюшки-светы! Гляжу: его глаза глядят на меня, только

на меня... в упор!

– Где ты находишься? А? Ты в портерной? А? Забываешь-ся? Подавай в отставку! Мне либералов не надо.

Нарвался

«Спать хочется! – думал я, сидя в банке. – Приду домой и завалюсь спать».

– Какое блаженство! – шептал я, наскоро пообедав и стоя перед своей кроватью. – Хорошо жить на этом свете! Важно!

Бесконечно улыбаясь, потягиваясь и нежась на кровати, как кот на солнце, я закрыл глаза и принялся засыпать. В закрытых глазах забегали мурашки; в голове завертелся туман, замахали крылья, полетели к небу из головы какие-то меха... с неба поползла в голову вата... Всё такое большое, мягкое, пушистое, туманное. В тумане забегали маленькие человечки. Они побегали, покрутились и скрылись за туманом... Когда исчез последний человечек и дело Морфея было уже в шляпе, я вздрогнул.

– Иван Осипыч, сюда! – гаркнули где-то.

Я открыл глаза. В соседнем номере стукнули и откупорили бутылку. Я повернулся на другой бок и укрыл голову одеялом.

«Я вас любил, любовь еще, быть может»...¹⁹⁶ – затянул баритон в соседнем номере.

– Отчего вы не заведете себе пианино? – спросил другой голос.

¹⁹⁶ «Я вас любил, любовь еще, быть может» – Романс А. С. Даргомыжского на слова Пушкина.

– Черрти, – проворчал я. – Не дадут уснуть!

Откупорили другую бутылку и зазвонили посудой. Зашагал кто-то, звеня шпорами. Хлопнули дверью.

– Тимофей, скоро же ты самовар? Живей, брат! Тарелочек еще! Ну-с, господа? По христианскому обычаю. По маленькой... Мадемуазель-стриказель, бараньи ножки, же ву при!¹⁹⁷

В соседнем номере начался кутеж. Я спрятал голову под подушку.

– Тимофей! Если придет высокий блондин в медвежьей шубе, то скажешь ему, что мы здесь...

Я плюнул, вскочил и постучал в стену. В соседнем номере притихли. Я опять закрыл глаза. Забегали мурашки, меха, вата... Но – увы! – через минуту опять заорали.

– Господа! – крикнул я умоляющим голосом. – Ведь это, наконец, свинство! Ведь вас просят! Я болен и спать хочу.

– Это вы нам??

– Вам.

– Что вам угодно?

– Не извольте кричать! Я спать хочу!

– Спице, вам никто не мешает; а если вы больны, так отправляйтесь к доктору! «У рыцарей любовь и честь»... – запел баритон.

– Как это глупо! – сказал я. – Очень глупо! Даже подло.

– Прошу не рассуждать! – послышался за стеной старче-

¹⁹⁷ прошу вас (*франц.* je vous prie).

ский голос.

– Удивительно! Повелитель какой нашелся! Птица важная! Да вы кто такой?

– Не рассуждать!!!

– Мужичье! Надулись водки и орут!

– Не рас-суж-дать!!! – раз десять повторил старческий, охрипший голос.

Я ворочался на кровати. Мысль, что я не сплю по милости праздных гуляк, приводила меня мало-помалу в ярость... Поднялась пляска...

– Если вы не замолчите, – крикнул я, захлебываясь от злости, – то я пошлю за полицией! Человек!! Тимофей!

– Не рассуждать!!! – еще раз крикнул старческий голосок.

Я вскочил и, как сумасшедший, побежал к соседям. Мне захотелось во что бы то ни стало настоять на своем.

Там кутили... На столе стояли бутылки. За столом сидели какие-то личности с выпуклыми, рачьими глазами. В глубине номера на диване полулежал лысый старичок... На его груди покоилась головка известной кокетки-блондинки. Он глядел на мою стену и дребезжал:

– Не рассуждать!!

Я раскрыл рот, чтобы начать ругаться и... о ужас!!! В старичке я узнал директора того банка, где я служу. Мигом слетели с меня и сон, и злость, и фанаберия... Я выбежал от соседей.

Целый месяц директор не глядел на меня и не сказал мне

ни единого слова... Мы избегали друг друга. Через месяц он боком подошел к моему столу и, нагнув голову, глядя на пол, проговорил:

– Я полагал... надеялся, что вы сами догадаетесь... Но вижу, что вы не намерены... Гм... Вы не волнуйтесь. Даже можете сесть... Я полагал, что... Нам двоим служить невозможно... Ваше поведение в номерах Бултыхина... Вы так испугали мою племянницу... Вы понимаете... Сдадите дела Ивану Никитичу...

И, подняв голову, он отошел от меня...

А я погиб.

Неудачный визит

Франт влетает в дом, в котором ранее никогда еще не был. С визитом приехал... В передней встречается ему девочка лет шестнадцати, в ситцевом платье и белом фартучке.

– Ваши дома? – обращается он развязно к девочке.

– Дома.

– Мм... Персик! И барыня дома?

– Дома, – говорит девочка и почему-то краснеет.

– Мм. Штучка! Шшшельмочка! Куда шапку положить?

– Куда угодно. Пустите! Странно...

– Ну, чего краснеешь? Эка! Не слопаю...

И франт бьет девочку перчаткой по талии.

– Эка! А ничего! Недурна! Поди доложи!

Девочка краснеет, как мак, и убегает.

– Молода еще! – заключает франт и идет в гостиную.

В гостиной встреча с хозяйкой. Садятся, болтают...

Минут через пять через гостиную проходит девочка в фартучке.

– Моя старшая дочь! – говорит хозяйка и указывает на ситцевое платье.

Картина.

Два скандала

– Стойте, чёрт вас возьми! Если эти козлы-тенора не перестанут рознить, то я уйду! Глядеть в ноты, рыжая! Вы, рыжая, третья с правой стороны! Я с вами говорю! Если не умеете петь, то за каким чёртом вы лезете на сцену со своим вороньим карканьем? Начинайте сначала!

Так кричал он и трещал по партитуре своей дирижерской палочкой. Этим косматым господам дирижерам многое прощается. Да иначе и нельзя. Ведь если он посылает к чёрту, бранится и рвет на себе волосы, то этим самым он заступается за святое искусство, с которым никто не смеет шутить. Он стоит настороже, а не будь его, кто бы не пускал в воздух этих отвратительных полутонов, которые то и дело расстраивают и убивают гармонию? Он бережет эту гармонию и за нее готов повесить весь свет и сам повеситься. На него нельзя сердиться. Заступайся он за себя, ну тогда другое дело!

Большая часть его желчи, горькой, пенящейся, доставалась на долю рыжей девочки, стоявшей третьей с правого фланга. Он готов был проглотить ее, провалить сквозь землю, поломать и выбросить в окно. Она рознила больше всех, и он ненавидел и презирал ее, рыжую, больше всех на свете. Если б она провалилась сквозь землю, умерла тут же на его глазах, если бы запачканный ламповщик зажег ее вместо лампы или побил ее публично, он захохотал бы от счастья.

– А, чёрт вас возьми! Поймите же, наконец, что вы столько же смыслите в пении и музыке, как я в китоловстве! Я с вами говорю, рыжая! Растолкуйте ей, что там не «фа диэз», а просто «фа»! Поучите этого неуча нотам! Ну, пойте одна! Начинайте! Вторая скрипка, убирайтесь вы к чёрту с вашим неподмазанным смычком!

Она, восемнадцатилетняя девочка, стояла, глядела в ноты и дрожала, как струна, которую сильно дернули пальцем. Ее маленькое лицо то и дело вспыхивало, как зарево. На глазах блестели слезы, готовые каждую минуту закапать на музыкальные значки с черными булавочными головками. Если бы шёлковые золотистые волосы, которые водопадом падали на ее плечи и спину, скрыли ее лицо от людей, она была бы счастлива.

Ее грудь вздымалась под корсажем, как волна. Там, под корсажем и грудью, происходила страшная возня: тоска, угрызения совести, презрение к самой себе, страх... Бедная девочка чувствовала себя виноватой, и совесть исцарапала все ее внутренности. Она виновата перед искусством, дирижером, товарищами, оркестром и, наверное, будет виновата и перед публикой... Если ее ошिकाют, то будут тысячу раз правы. Глаза ее боялись глядеть на людей, но она чувствовала, что на нее глядят все с ненавистью и презрением... В особенности он! Он готов швырнуть ее на край света, подальше от своих музыкальных ушей.

«Боже, прикажи мне петь как следует!» – думала она, и в

ее сильном дрожащем сопрано слышалась отчаянная нотка.

Он не хотел понять этой нотки, а бранился и хватал себя за длинные волосы. Плевать ему на страдания, если вечером спектакль!

– Это из рук вон! Эта девчонка готова сегодня зарезать меня своим козлиным голосом! Вы не примадонна, а прачка! Возьмите у рыжей ноты!

Она рада бы петь хорошо, не фальшивить... Она и умела не фальшивить, была мастером своего дела. Но разве виновата она была, что ее глаза не повиновались ей? Они, эти красивые, но недобросовестные глаза, которые она будет проклинать до самой смерти, они, вместо того чтобы глядеть в ноты и следить за движениями его палочки, смотрели в волосы и в глаза дирижера... Ее глазам нравились всклокоченные волосы и дирижерские глаза, из которых сыпались на нее искры и в которые страшно смотреть. Бедная девочка без памяти любила лицо, по которому бегали тучи и молнии. Разве виновата она была, что ее маленький ум, вместо того чтобы утонуть в репетиции, думал о посторонних вещах, которые мешают дело делать, жить, быть покойной...

Глаза ее устремлялись в ноты, с нот они перебежали на его палочку, с палочки на его белый галстух, подбородок, усики и так далее...

– Возьмите у нее ноты! Она больна! – крикнул наконец он. – Я не продолжаю!

– Да, я больна, – прошептала покорно она, готовая про-

силь тысячю извинений...

Ее отпустили домой, и ее место в спектакле было занято другой, у которой хуже голос, но которая умеет критически относиться к своему делу, работать честно, добросовестно, не думая о белом галстуке и усиках.

И дома он не давал ей покоя. Приехав из театра, она упала на постель. Спрятав голову под подушку, она видела во мраке своих закрытых глаз его физиономию, искаженную гневом, и ей казалось, что он бьет ее по вискам своей палочкой. Этот дерзкий был ее первою любовью!

И первый блин вышел комом.

На другой день после репетиции к ней приезжали ее товарищи по искусству, чтобы осведомиться об ее здоровье. В газетах и на афишах было напечатано, что она заболела. Приезжал директор театра, режиссер, и каждый засвидетельствовал ей свое почтительное участие. Приезжал и он.

Когда он не стоит во главе оркестра и не глядит на свою партитуру, он совсем другой человек. Тогда он вежлив, любезен и почтителен, как мальчик. По лицу его разлита почтительная, сладенькая улыбочка. Он не только не посылает к чёрту, но даже боится в присутствии дам курить и класть ногу на ногу. Тогда добрей и порядочней его трудно найти человека.

Он приехал с очень озабоченным лицом и сказал ей, что ее болезнь – большое несчастье для искусства, что все ее товарищи и он сам готовы всё отдать для того только, чтобы

«notre petit rossignol»¹⁹⁸ был здоров и покоен. О, эти болезни! Они многое отняли у искусства. Нужно сказать директору, что если на сцене будет по-прежнему сквозной ветер, то никто не согласится служить, всякий уйдет. Здоровье дороже всего на свете! Он с чувством пожал ее ручку, искренно вздохнул, попросил позволения побывать у нее еще раз и уехал, проклиная болезни.

Славный малый! Но зато, когда она сказала, что здорова и пожаловала на сцену, он опять послал ее к «самому черному» чёрту, и опять по лицу его забегали молнии.

В сущности он очень порядочный человек. Она стояла однажды за кулисами и, опершись о розовый куст с деревянными цветами, следила за его движениями. Дух ее захватывало от восторга при виде этого человека. Он стоял за кулисами и, громко хохоча, пил с Мефистофелем и Валентином шампанское. Остроты так и сыпались из его рта, привыкшего посылать к чёрту. Выпивши три стакана, он отошел от певцов и направился к выходу в оркестр, где уже настраивались скрипки и виолончели. Он прошел мимо нее, улыбаясь, сияя и махая руками. Лицо его горело довольством. Кто осмелится сказать, что он плохой дирижер? Никто! Она покраснела и улыбнулась ему. Он, пьяный, остановился около нее и заговорил:

– Я раскис... – сказал он. – Боже мой! Мне так хорошо сегодня! Ха! ха! Вы сегодня все такие хорошие! У вас чудные

¹⁹⁸ наш маленький соловей (франц.)

волосы! Боже мой, неужели я до сих пор не замечал, что у этого соловья такая чудная грива?

Он нагнулся и поцеловал ее плечо, на котором лежали волосы.

– Я раскис через это проклятое вино... Мой милый соловей, ведь мы не будем больше ошибаться? Будем со вниманием петь? Зачем вы так часто фальшивите? С вами этого не было прежде, золотая головка!

Дирижер совсем раскис и поцеловал ее руку. Она тоже заговорила...

– Не браните меня... Ведь я... я... Вы меня убиваете своей бранью... Я не перенесу... Клянусь вам!

И слезы навернулись на ее глазах. Она, сама того не замечая, оперлась о его локоть и почти повисла на нем.

– Ведь вы не знаете... Вы такой злой. Клянусь вам...

Он сел на куст и чуть не свалился с него... Чтобы не свалиться, он ухватился за ее талию.

– Звонок, моя крошка. До следующего антракта!

После спектакля она ехала домой не одна. С ней ехал пьяный, хохочущий от счастья, раскисший он! Как она счастлива! Боже мой! Она ехала, чувствовала его объятия и не верила своему счастью. Ей казалось, что лжет судьба! Но как бы там ни было, а целую неделю публика читала в афише, что дирижер и его она больны... Он не выходил от нее целую неделю, и эта неделя показалась обоим минутой. Девочка отпустила его от себя только тогда, когда уж неловко было

скрываться от людей и ничего не делать.

– Нужно проветрить нашу любовь, – сказал дирижер на седьмой день. – Я соскучился без своего оркестра.

На восьмой день он уже махал палочкой и посылал к чёрту всех, не исключая даже и «рыжей».

Эти женщины любят, как кошки. Моя героиня, сошедшись и начавши жить со своим пугалом, не отказалась от своих глупых привычек. Она по-прежнему, вместо того чтобы глядеть в ноты и на палочку, глядела на его галстух и лицо... На репетициях и во время спектакля она то и дело фальшивила и еще в большей степени, чем прежде. Зато же и бранил он ее! Прежде бранил он ее только на репетициях, теперь же мог это делать и дома, после спектакля, стоя перед ее постелью. Сентиментальная девчонка! Достаточно ей было, когда она пела, взглянуть на любимое лицо, чтобы отстать на целых четверть такта или вздрогнуть голосом. Когда она пела, она глядела на него со сцены, когда же не пела, она стояла за кулисами и не отрывала глаз от его длинной фигуры. Во время антракта они сходились в уборной, где оба пили шампанское и смеялись над ее поклонниками. Когда оркестр играл увертюру, она стояла на сцене и глядела на него в маленькое отверстие в занавесе. В это отверстие актеры смеются над плешью первого ряда и по количеству видимых голов определяют величину сбора.

Отверстие в занавесе погубило ее счастье. Случился скандал.

В одну масленицу, когда театр бывает наименее пуст, давали «Гугенотов»¹⁹⁹. Когда дирижер перед началом пробырался между пюпитрами к своему месту, она стояла уже у занавеса и с жадностью, с замиранием сердца глядела в отверстие.

Он состроил кисло-серьезную физиономию и замахал во все стороны своей палочкой. Заиграли увертюру. Красивое лицо его сначала было относительно покойно... Потом же, когда увертюра близилась к середине, по его правой щеке забегали молнии и правый глаз прищурился. Беспорядок слышался справа: там сфальшивила флейта и не вовремя закашлял фагот. Кашель может помешать начать вовремя. Потом покраснела и задвигалась левая щека. Сколько движения и огня в этом лице! Она глядела на него и чувствовала себя на седьмом небе, наверху блаженства.

– Виолончель к чертям! – пробормотал он сквозь зубы быстро, чуть слышно.

Эта виолончель знает ноты, но не хочет знать души! Можно ли поручать этот нежный и мягкозвучный инструмент людям, не умеющим чувствовать? По всему лицу дирижера забегали судороги, и свободная рука вцепилась в пюпитр, точно пюпитр виноват в том, что толстый виолончелист играет только ради денег, а не потому, что этого хочется его душе!

– Долой со сцены! – послышалось где-то вблизи...

Вдруг лицо дирижера просияло и засветилось счастьем.

¹⁹⁹ ...давали «Гугенотов». – Опера Дж. Мейербера (1791—1864).

Губы его улыбнулись. Одно из трудных мест было пройдено первыми скрипками более чем блистательно. Это приятно дирижерскому сердцу. У моей рыжеволосой героини стало на душе тоже приятно, как будто бы она играла на первых скрипках или имела дирижерское сердце. Но это сердце было не дирижерское, хотя и сидел в нем дирижер. «Рыжая чертовка», глядя на улыбающееся лицо, сама заулыбалась... но не время было улыбаться. Случилось нечто сверхъестественное и ужасно глупое...

Отверстие вдруг исчезло перед ее глазом. Куда оно девалось? Наверху что-то зашумело, точно подул ровный ветер... По ее лицу что-то поползло вверх... Что случилось? Она начала глазом искать отверстие, чтобы увидеть любимое лицо, но вместо отверстия она увидела вдруг целую массу света, высокую и глубокую... В массе света замелькало бесчисленное множество огней и голов, и между этими разнообразными головами она увидела дирижерскую голову... Дирижерская голова посмотрела на нее и замерла от изумления... Потом изумление уступило место невыразимому ужасу и отчаянию... Она, сама того не замечая, сделала полшага к рампе... Из второго яруса послышался смех, и скоро весь театр утонул в нескончаемом смехе и шиканье. Чёрт возьми! На «Гугенотах» будет петь барыня в перчатках, шляпе и платье самого новейшего времени!..

– Ха-ха-ха!

В первом ряду задвигались смеющиеся плечи... Поднял-

ся шум... А его лицо стало старо и морщинисто, как лицо Эзопа! Оно дышало ненавистью, проклятиями... Он топнул ногой и бросил под ноги свою дирижерскую палочку, которую он не променяет на фельдмаршальский жезл. Оркестр секунду понес чепуху и умолк... Она отступила назад и, пошатываясь, поглядела в сторону... В стороне были кулисы, из-за которых смотрели на нее бледные, злобные рыла... Эти звериные рыла шипели...

– Вы губите нас! – шипел антрепренер...

Занавес пополз вниз медленно, волнуясь, нерешительно, точно его спускали не туда, куда нужно... Она зашаталась и оперлась о кулису...

– Вы губите меня, развратная, сумасшедшая... о, чтобы чёрт тебя забрал, отвратительнейшая гадина!

Это говорил голос, который час тому назад, когда она собиралась в театр, шептал ей: «Тебя нельзя не любить, моя крошка! Ты мой добрый гений! Твой поцелуй стоит магомета рая!» А теперь? Она погибла, честное слово погибла!

Когда порядок в театре был водворен и взбешенный дирижер принялся во второй раз за увертюру, она была уже у себя дома. Она быстро разделась и прыгнула под одеяло. Лежа не так страшно умирать, как стоя или сидя, а она была уверена, что угрызения совести и тоска убьют ее... Она спрятала голову под подушку и, дрожа, боясь думать и задыхаясь от стыда, завертелась под одеялом... От одеяла пахло сигарями, которые курил он... Что-то он скажет, когда придет?

В третьем часу ночи пришел он. Дирижер был пьян. Он напился с горя и от бешенства. Ноги его подгибались, а руки и губы дрожали, как листья при слабом ветре. Он, не скидая шубы и шапки, подошел к постели и постоял минуту молча. Она притаила дыхание.

– Мы можем спать покойно после того, как осрамылись на весь свет! – прошипел он. – Мы, истинные артисты, умеем мириться со своею совестью! Истинная артистка! Ха! ха! Ведьма!

Он сдернул с нее одеяло и швырнул его к камину.

– Знаешь, что ты сделала? Ты посмеялась надо мной, чтоб чёрт забрал тебя! Ты знаешь это? Или ты не знаешь? Вставай!

Он рванул ее за руку. Она села на край кровати и спрятала свое лицо за спутавшимися волосами. Плечи ее дрожали.

– Прости меня!

– Ха! ха! Рыжая!

Он рванул ее за сорочку и увидел белое, как снег, чудное плечо. Но ему было не до плеч.

– Вон из моего дома! Одевайся! Ты отравила мою жизнь, ничтожная!

Она пошла к стулу, на котором беспорядочной кучей лежало ее платье, и начала одеваться. Она отравила его жизнь! Подло и гнусно с ее стороны отравлять жизнь этого великого человека! Она уйдет, чтобы не продолжать этой подлости. И без нее есть кому отравлять жизни...

– Вон отсюда! Сейчас же!

Он бросил ей в лицо кофточку и заскрежетал зубами. Она оделась и встала около двери. Он замолчал. Но недолго продолжалось молчание. Дирижер, покачиваясь, указал ей на дверь. Она вышла в переднюю. Он отворил дверь на улицу.

– Прочь, мерзкая!

И, взяв ее за маленькую спину, он вытолкал ее...

– Прощай! – прошептала она кающимся голосом и исчезла в темноте.

А было туманно и холодно... С неба моросил мелкий дождь...

– К чёрту! – крикнул ей вслед дирижер и, не прислушиваясь к ее шлепанью по грязи, запер дверь. Выгнав подругу в холодный туман, он улегся в теплую постель и захрапел.

– Так ей и следует! – сказал он утром, проснувшись, но... он лгал! Кошки скребли его музыкальную душу, и тоска по рыжей защемила его сердце. Неделю ходил он, как полупьяный, страдая, поджидая ее и терзаясь неизвестностью. Он думал, что она придет, верил в это... Но она не пришла. Отравление человека, которого она любит больше жизни, не входит в ее программу. Ее вычеркнули из списка артисток театра за «неприличное поведение». Ей не простили скандала. Об отставке ей не было сообщено, потому что никто не знал, куда она исчезла. Не знали ничего, но предполагали многое...

– Она замерзла или утопилась! – предполагал дирижер.

Через полгода забыли о ней. Забыл о ней и дирижер. На совести каждого красивого артиста много женщин, и чтобы помнить каждую, нужно иметь слишком большую память.

Всё наказывается на этом свете, если верить добродетельным и благочестивым людям. Был ли наказан дирижер?

Да, был.

Пять лет спустя дирижер проезжал через город X. В X. прекрасная опера, и он остался в нем на день, чтобы познакомиться с ее составом. Остановился он в лучшем Hôtel'e и в первое же утро после приезда получил письмо, которое ясно показывает, какую популярность пользовался мой длинноволосый герой. В письме просили его продирижировать «Фауста». Дирижер Н. внезапно заболел, и дирижерская палочка вакантна. Не пожелает ли он, мой герой (просили его в письме), взять на себя труд воспользоваться случаем и угостить своим искусством музыкальнейших обывателей города X.? Мой герой согласился.

Он взялся за палочку, и «чужие» музыканты увидели лицо с молниями и тучами. Молний было много. И немудрено: репетиций не было, и пришлось начинать блистать своим искусством прямо со спектакля.

Первое действие прошло благополучно. То же случилось и со вторым. Но во время третьего произошел маленький скандал. Дирижер не имеет привычки смотреть на сцену или куда бы то ни было. Всё его внимание обращено на партитуру.

Когда в третьем действии Маргарита, прекрасное, сильное сопрано, запела за прялкой свою песню, он улыбнулся от удовольствия: барыня пела прелестно. Но когда же эта самая барыня опоздала на осьмую такта, по лицу его пробежали молнии, и он с ненавистью поглядел на сцену. Но шах и мат молниям! Рот широко раскрылся от изумления, и глаза стали большими, как у теленка.

На сцене за прялкой сидела та рыжая, которую он когда-то выгнал из теплой постели и толкнул в темный, холодный туман. За прялкой сидела она, рыжая, но уже не совсем такая, какую он выгнал, а другая. Лицо было прежнее, но голос и тело не те. Тот и другое были изящнее, грациознее и смелее в своих движениях.

Дирижер разинул рот и побледнел. Палочка его нервно задвигалась, беспорядочно заболталась на одном месте и замерла в одном положении...

– Это она! – сказал он вслух и засмеялся.

Удивление, восторг и беспредельная радость овладели его душой. Его рыжая, которую он выгнал, не пропала, а стала великаном. Это приятно для его дирижерского сердца. Одним светилом больше, и искусство в его лице захлебывается от радости!

– Это она! Она!

Палочка замерла в одном положении, и когда он, желая поправить дело, махнул ею, она выпала из его рук и застучала по полу... Первая скрипка с удивлением поглядела на

него и нагнулась за палочкой. Виолончель подумала, что с дирижером дурно, замолкла и опять начала, но невпопад... Звуки завертелись, закружились в воздухе и, ища выхода из беспорядка, затаили возмутительную резь...

Она, рыжая Маргарита, вскочила и гневным взором измерила «этих пьяниц», которые... Она побледнела, и глаза ее забегали по дирижеру...

А публика, которой нет ни до чего дела, которая заплатила свои деньги, затрещала и засвистала...

К довершению скандала Маргарита взвизгнула на весь театр и, подняв вверх руки, подалась всем телом к рампе... Она узнала его и теперь ничего не видела, кроме молний и туч, опять появившихся на его лице.

– А, проклятая гадина! – крикнул он и ударил кулаком по партитуре.

Что сказал бы Гуно, если бы видел, как издеваются над его творением! О, Гуно убил бы его и был бы прав!

Он ошибся первый раз в жизни, и той ошибки, того скандала не простил он себе.

Он выбежал из театра с окровавленной нижней губой и, прибежав к себе в отель, заперся. Запершись, просидел он три дня и три ночи, занимаясь самосозерцанием и самобиением.

Музыканты рассказывают, что он посидел в эти трое суток и выдернул из своей головы половину волос...

– Я оскорбил ее! – плачет он теперь, когда бывает пьян. –

Я испортил ее партию! Я – не дирижер!

Отчего же он не говорил ничего подобного после того, как выгнал ее?

Идиллия – увы и ах!

– Дядя мой прекраснейший человек! – говорил мне не раз бедный племянник и единственный наследник капитана Насечкина, Гриша. – Я люблю его всей душой... Зайдемте к нему, голубчик! Он будет очень рад!

И слезы навертывались на глазах Гриши, когда он говорил о дядюшке. К чести его сказать, он не стыдился этих хороших слез и плакал публично! Я внял его просьбам и неделю тому назад зашел к капитану. Когда я вошел в переднюю и заглянул в залу, я увидел умильную картину. В большом кресле среди залы сидел старенький, худенький капитан и кушал чай. Перед ним на одном колене стоял Гриша и с умилением мешал ложечкой его чай.

Вокруг коричневой шеи старичка обвивалась хорошенькая ручка Гришиной невесты... Бедный племянник и невеста спорили о том, кто из них скорей поцелует дядюшку, и не жалели поцелуев для старичка.

– А теперь вы сами поцелуйтесь, наследники! – лепетал Насечкин, захлебываясь от счастья...

Между этими тремя созданиями существовала завиднейшая связь. Я, жестокий человек, замирал от счастья и зависти, глядя на них...

– Да-с! – говорил Насечкин. – Могу сказать: пожил на своем веку! Дай бог всякому. Одних осетров сколько поел!

Страсть! Например, взять бы хоть того осетра, что в Скопине съели... Гм! И теперь слюнки текут...

– Расскажите, расскажите! – говорит невеста.

– Приезжаю это я в Скопин со своими тысячами, детки, и прямо... гм... к Рыкову²⁰⁰... господину Рыкову. Человек... уу! Золотой господин! Джентльмен! Как родного принял... Какая, кажись бы, надобность ему, а... как с родным! Ей-богу! Кофеем потчевал... После кофею закуска... Стол... На столе распивочно и на вынос... Осетр... от угла до угла... Омары... икорка. Ресторант!

Я вошел в залу и прервал Насечкина. Это было аккурат в тот день, когда в Москве было получено первое телеграфическое известие²⁰¹ о том, что скопинский банк лопнул.

– Детками наслаждаюсь! – сказал мне Насечкин после первых приветствий и, обратясь к деткам, продолжал хвастливым тоном: – И общество благородное... Чиновничьи, духовенство... иеромонахи, иереи... После каждой рюмочки под благословение подходишь... Сам весь в орденах... Генералу нос утрет... Скушали осетра... Подали друтого... Съели... Потом уха с стерлядкой... фазаны...

²⁰⁰ ...господину Рыкову... – О директоре Скопинского банка Иване Гавриловиче Рыкове в 1884 г. Чехов написал репортаж «Дело Рыкова и комп. (от нашего корреспондента)».

²⁰¹ ...первое телеграфическое известие... – Первое сообщение о крахе Скопинского банка появилось в газете «Русский курьер» 30 октября 1882 г., № 272: «Свершилось! Скопинский банк покончил свое земное существование и покончил его воистину с треском...»

– На вашем месте я теперь икал и страдал бы изжогой от этих осетров, а вы хвастаетесь... – сказал я. – Много у вас пропало за Рыковым?

– Зачем пропало?

– Как зачем? Да ведь банк лопнул!

– Шутки! Стара песня... И прежде пугали...

– Так вам еще неизвестно? Батенька! Серапион Егорыч! Да ведь это... это... это... Читайте!

Я полез в карман и вытащил оттуда газетину. Насечкин надел очки и, недоверчиво улыбаясь, принялся читать. Чем более он читал, тем бледнее и длиннее делалась его физиономия.

– Ло... ло... лллопнул! – заголосил он и затрясся всеми членами. – Бедная моя головушка!

Гриша покраснел, прочитал газету, побледнел... Дрожащая рука его потянулась за шапкой... Невеста зашаталась...

– Господа! Да неужели вы только теперь об этом узнали? Ведь уж об этом вся Москва говорит. Господа! Успокойтесь!

Час спустя стоял я один-одинешенек перед капитаном и утешал его:

– Полно, Серапион Егорыч! Ну что ж? Деньги пропали, зато детки остались.

– Это правда... Деньги суета... Детки.... Это точно.

Но увы! Через неделю я встретился с Гришей.

– Сходите, батенька, к дядюшке! – обратился я к нему. – Отчего вы к нему не сходите? Совсем бросили старика!

– А ну его к чёрту! Очень он мне нужен, старый чёрт! Дурак! Не мог найти другого банка!

– Все-таки сходите. Ведь он ваш дядя!

– Он? Ха-ха!.. Вы смеетесь? Откуда вы это взяли? Он троюродный брат моей мачехи! Десятая вода на киселе! Нашему слесарю двоюродный кузнец!

– Ну хоть невесту пошлите к нему!

– Да! Чёрт вас дернул показывать газету до свадьбы! До свадьбы не могли подождать со своими новостями!.. Теперь она рожу воротит. Тоже ведь на дядюшкин каравай рот разевала! Дура чёртова... Разочарована теперь.

Так, сам того не желая, разрушил я теснейшее трио... за-виднейшее трио!

Барон

Барон – маленький, худенький старикашка лет шестидесяти. Его шея дает с позвоночником тупой угол, который скоро станет прямым. У него большая угловатая голова, кислые глаза, нос шишкой и лиловатый подбородок. По всему лицу его разлита слабая синюха, вероятно, потому, что спирт стоит в том шкафу, который редко запирается бутафором. Впрочем, кроме казенного спирта, барон употребляет иногда и шампанское, которое можно найти очень часто в уборных, на доньшках бутылок и стаканов. Его щеки и мешочки под глазами висят и дрожат, как тряпочки, повешенные для просушки. На лысине зеленоватый налет от зеленой подкладки ушастой меховой шапки, которую барон, когда не носит на голове, вешает на испортившийся газовый рожок за третьей кулисой. Голос его дребезжит, как треснувшая кастрюля. А костюм? Если вы смеетесь над этим костюмом, то вы, значит, не признаете авторитетов, что не делает вам чести. Коричневый сюртук без пуговиц, с лоснящимися локтями и подкладкой, обратившейся в бахрому, – замечательный сюртук. Он болтается на узких плечах барона, как на поломанной вешалке, но... что ж из этого следует? Зато он облакал когда-то гениальное тело величайшего из комиков. Бархатная жилетка с голубыми цветами имеет двадцать прорех и бесчисленное множество пятен, но нельзя же

бросить ее, если она найдена в том номере, в котором жил могучий Сальвини!²⁰² Кто может поручиться, что этой жилетки не носил сам трагик? А найдена она была на другой день после отъезда великана-артиста; следовательно, можно поклясться, что она не фальшивая. Галстух, греющий шею барона, не менее замечательный галстух. Им можно похвастать, хотя и следовало бы его в чисто гигиенических и эстетических видах заменить другим, более прочным и менее засаленным. Он выкроен из останков того великого плаща, которым покрывал когда-то свои плечи Эрнесто Росси²⁰³, беседуя в «Макбете» с ведьмами.

– От моего галстуха пахнет кровью короля Дункана! – говорит часто барон, ища в своем галстухе паразитов.

Над пестренькими, полосатыми брючками барона можете смеяться сколько вам угодно. Их не носило ранее ни одно авторитетное лицо, хотя актеры и шутят, что эти брючки сшиты из паруса парохода, на котором Сара Бернар ездила в Америку. Они куплены у капельдинера № 16.

Зиму и лето барон ходит в больших калошах, чтобы сапоги были целей и чтобы не простудить своих ревматических ног на сквозном ветру, гуляющем по полу его суфлерской

²⁰² ...могучий Сальвини... – Томмазо Сальвини (1829—1916), итальянский трагический актер, гастролировал в Москве в апреле 1882 г.

²⁰³ ...Эрнесто Росси... – Э. Росси (1827—1896), итальянский трагический актер. Гастролировал в России в 1877 и 1878 годах, с большим успехом выступая в ролях Дон-Гуана и Барона в трагедиях Пушкина «Каменный гость» и «Скупой рыцарь».

будки.

Барона можно видеть только в трех местах: в кассе, в суфлерской будке и за сценой в мужской уборной. Вне этих мест он не существует и едва ли мыслим. В кассе он ночью ночует, а днем записывает фамилии покупающих ложи и играет с кассиром в шашки. Старый и золотушный кассир – единственный человек, который слушает барона и отвечает на его вопросы. В суфлерской будке барон исполняет свои священные обязанности; там он зарабатывает себе кусок насущного хлеба. Эта будка выкрашена в блестящий, белый цвет только снаружи; внутри же стенки ее покрыты паутиной, щелями и занозами. В ней пахнет сыростью, копченой рыбой и спиртом. В антрактах барон торчит в мужской уборной. Новички, первый раз входящие в эту уборную, увидев барона, хохочут и аплодируют. Они принимают его за актера.

– Bravo, bravo! – говорят они. – Вы прелестно загримировались! Какая у вас смешная рожица! А где вы достали такой оригинальный костюм?

Бедный барон! Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!

В уборной он наслаждается созерцанием светил или же, если нет светил, осмеливается вставлять в чужие речи свои замечания, которых у него очень много. Замечаний его никто не слушает, потому что они всем надоели и попахивают рутинной; их пускают мимо ушей без всяких церемоний. С бароном вообще не любят церемониться. Если он вертит-

ся перед носом и мешает, ему говорят: убирайтесь! Если он шепчет из своей будки слишком тихо или слишком громко, его посылают к чёрту и грозят ему штрафом или отставкой. Он служит мишенью для большинства закулисных острот и каламбуров. На нем смело можно пробовать свое остроумие. он не ответит.

Прошло уже двадцать лет с тех пор, как его начали дразнить «бароном», но за все эти двадцать лет он ни разу не протестовал против этого прозвища.

Заставить его переписать роль и не заплатить ему – тоже можно. Всё можно! Он улыбается, извиняется и конфузится, когда наступают ему на ногу. Побейте его публично по морщинистым щекам, и, ручаюсь вам честным словом, он не пойдет с жалобой к мировому. Оторвите от его замечательного, горячо любимого сюртука кусок подкладки, как это сделал недавно *jeune premier*²⁰⁴, он только замигает глазками и покраснеет. Такова сила его забитости и смирения! Его никто не уважает. Пока он жив, его выносят, когда же умрет, его забудут немедленно. Жалкое он создание!

А между тем было когда-то время, когда он чуть было не сделался товарищем и братом людей, которым он поклонялся и которых любил больше жизни. (Он не мог не любить людей, которые бывают иногда Гамлетами и Францами Морор!) Он сам едва не стал артистом и, наверное, стал бы им, если бы не помешал ему один смешной пустяк. Таланта бы-

²⁰⁴ первый любовник (франц.)

ло много, желанья – тоже, была на первых порах и протекция, но не хватило пустяка: смелости. Ему вечно казалось, что они, эти головы, которыми усеяны все пять ярусов, низ и верх, захохочут и зашикают, если он позволит себе показаться на сцене. Он бледнел, краснел и немел от ужаса, когда предлагали ему подебютировать.

– Я подожду немного, – говорил он.

И он ждал до тех пор, пока не состарился, не разорился и не попал, по протекции, в суфлерскую будку.

Он стал суфлером, но это не беда. Теперь уж его не выгонят из театра за неимение билета: он должностное лицо. Он сидит впереди первого ряда, видит лучше всех и не платит за свое место ни копейки. Это хорошо. Он счастлив и доволен.

Обязанность свою исполняет он прекрасно. Перед спектаклем он несколько раз прочитывает пьесу, чтобы не ошибиться, а когда бьет первый звонок, он уже сидит в будке и перелистывает свою книжку. Усердней его трудно найти кого-либо во всем театре.

Но все-таки нужно выгнать его из театра.

Беспорядки не должны быть терпимы в театре, а барон производит иногда страшные беспорядки. Он скандалист.

Когда на сцене играют особенно хорошо, он отрывает глаза от своей книжки и перестает шептать. Очень часто он прерывает свое чтение криками: браво! превосходно! – и позволяет себе аплодировать в то время, когда не аплодирует публика. Раз даже он шикал, за что чуть было не потерял места.

Вообще поглядите на него, когда он сидит в своей вонючей будке и шепчет. Он краснеет, бледнеет, жестикулирует руками, шепчет громче, чем следует, задыхается. Иногда бывает его слышно даже в коридорах, где около платья зевают капельдинеры. Он позволяет себе даже браниться из будки и подавать актеру советы.

– Правую руку вверх! – шепчет он часто. – У вас горячие слова, но лицо – лед! Это не ваша роль! Вы молокосос для этой роли! Вы бы поглядели в этой роли Эрнесто Росси! К чему же шарж? О, боже мой! Он всё испортил своей мещанской манерой!

И подобные вещи шепчет он, вместо того чтобы шептать по книжке. Напрасно терпят этого чудака. Если бы его выгнали, то публике не пришлось бы быть свидетельницей скандала, который произошел на этих днях.

Скандал, состоял в следующем.

Давали «Гамлета». Театр был полон. В наши дни Шекспир слушается так же охотно, как и сто лет тому назад. Когда дают Шекспира, барон находится в самом возбужденном состоянии. Он много пьет, много говорит и не переставая трет кулаками свои виски. За висками кипит жестокая работа. Старческие мозги взбудораживаются бешеной завистью, отчаянием, ненавистью, мечтами... Ему самому следовало бы поиграть Гамлета, хоть Гамлет и плохо вяжется с горбом и со спиртом, который забывает запираить бутафор. Ему, а не этим пигмеям, играющим сегодня лакеев, завтра сводников,

послезавтра Гамлета! Сорок лет штудировал он этого датского принца, о котором мечтают все порядочные артисты и который дал лавровый венец не одному только Шекспиру. Сорок лет он штудировал, страдает, сгорает от мечты... Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра... Хоть бы раз в жизни ему посчастливилось пройтись по сцене в принцессиней куртке, вблизи моря, около скал, где одна пустыня места,

Сама собой, готова довести
К отчаянью, когда посмотришь в бездну
И слышишь в ней далекий плеск волны.

Если даже мечты заставляют таять не по дням, а по часам, то каким огнем сторел бы лысый барон, если бы мечта приняла форму действительности!

В описываемый вечер он готов был проглотить весь свет от зависти и злости. Гамлета дали играть мальчишке, говорящему жидким тенором, а главное – рыжему. Неужели Гамлет был рыж?

Барон сидел в своей будке, как на горячих углях. Когда Гамлета не было на сцене, он был еще относительно покоен, когда же на сцену появлялся жидкий рыжеволосый тенор, он начинал вертеться, метаться, ныть. Шёпот его походил больше на стон, чем на чтение. Руки его тряслись, страницы путались, подсвечники ставились то ближе, то дальше... Он впиался в лицо Гамлета и переставал шептать... Ему страшно

хотелось повыщипать из рыжей головы все волосы до единого. Пусть Гамлет будет лучше лыс, чем рыж! Шарж – так шарж, чёрт возьми!

Во втором действии он уж вовсе не шептал, а злобно хихикал, бранился и шикал. К его счастью, актеры хорошо знали свои роли и не замечали его молчания.

– Хорош Гамлет! – бранился он. – Нечего сказать! Ха-ха! Господа юнкера не знают своего места! Им следует за швейками бегать, а не на сцене играть! Если бы у Гамлета было такое глупое лицо, то едва ли Шекспир написал бы свою трагедию!

Когда ему надоело браниться, он начал учить рыжего актера. Жестикуюлируя руками и лицом, читая и стуча кулаками о книжку, он потребовал, чтобы актер следовал его советам. Ему нужно было спасти Шекспира от поругания, а для Шекспира он на всё готов: хоть на сто тысяч скандалов!

Беседуя с актерами, рыжий Гамлет был ужасен. Он ломался, как тот «дюжий длинноволосый молодец» – актер, о котором сам Гамлет говорит: «Такого актера я в состоянии бы высечь». Когда он начал декламировать, барон не вынес. Задышавшись и стуча лысиной по потолку будки, он положил левую руку на грудь, а правой зажестикуюлировал. Старческий, надорванный голос прервал рыжего актера и заставил его оглянуться на будку:

Распаленный гневом,

В крови, засохшей на его доспехах,
С огнем в очах, свирепый ищет Пирр
Отца Приама.

И, высунувшись наполовину из будки, барон кивнул головой первому актеру и прибавил уже не декламирующим, а небрежным, потухшим голосом:

– Продолжай!

Первый актер продолжал, но не тотчас. Минуту он промедлил, и минуту в театре царило глубокое молчание. Это молчание нарушил сам барон, когда, потянувшись назад, стукнулся головой о край будки. Послышался смех.

– Bravo, барабанщик! – крикнули из райка.

Думали, что прервал Гамлета не суфлер, а старый барабанщик, дремавший в оркестре. Барабанщик шутовски раскланялся с райком, и весь театр огласился смехом. Публика любит театральные недоразумения, и если бы вместо пьес давали недоразумения, она платила бы вдвое больше.

Первый актер продолжал, и тишина была мало-помалу водворена.

Чудак же барон, услышавши смех, побагровел от стыда и схватил себя за лысину, забыв, вероятно, что на ней уже нет тех волос, в которые влюблялись когда-то красивые женщины. Теперь мало того, что над ним будет смеяться весь город и все юмористические журналы, его еще выгонят из театра! Он горел от стыда, злился на себя, а между тем все члены

его дрожали от восторга: он сейчас декламировал!

«Не твое дело, старая, заржавленная щеколда! – думал он. – Твое дело быть только суфлером, если не хочешь, чтобы тебе дали по шее, как последнему лакею. Но это возмутительно, однако! Рыжий мальчишка решительно не хочет играть по-человечески! Разве это место так ведется?»

И, впившись глазами в актера, барон опять начал бормотать советы. Он еще раз не вынес и еще раз заставил смеяться публику. Этот чудак был слишком нервен. Когда актер, читая последний монолог второго действия, сделал маленькую передышку, чтобы молча покачать головой, из будки опять понесся голос, полный желчи, презрения, ненависти, но, увы! уже разбитый временем и бессильный:

Кровавый сластолюбец! Лицемер!

Бесчувственный, продажный, подлый изверг!

Помолчав секунд десять, барон глубоко вздохнул и прибавил уже не так громко:

Глупец, глупец! Куда как я отважен!

Этот голос был бы голосом Гамлета настоящего, не рыжего Гамлета, если бы на земле не было старости. Много портит и многому мешает старость.

Бедный барон! Впрочем, не он первый, не он и последний. Теперь его выгонят из театра. Согласитесь, что эта мера

необходима.

Добрый знакомый

По зеркальному льду скользят мужские ботфорты и женские ботинки с меховой опушкой. Скользящих ног так много, что, будь они в Китае, для них не хватило бы бамбуковых палок. Солнце светит особенно ярко, воздух особенно прозрачен, щечки горят ярче обыкновенного, глазки обещают больше, чем следует... Живи и наслаждайся, человек, одним словом! Но...

«Дудки!» – говорит судьба в лице моего... доброго знакомого.

Я вдали от катка сижу на скамье под голым деревом и беседую с «ней». Я готов ее скушать вместе с ее шляпкой, шубкой и ножками, на которых блестят коньки, – так хороша! Страдаю и в то же время наслаждаюсь! О, любовь! Но... дудки...

Мимо нас проходит наш департаментский «отворяйло и запирайло», наш Аргус и Меркурий, пирожник и рассыльный, Спевсип Макаров. В руках его чьи-то калоши, мужские и женские, должно быть превосходительные. Спевсип делает мне под козырек и, глядя на меня с умилением и любовью, останавливается около самой скамьи.

– Холодно, ваше высокобл... бл... На чайшко бы! Хе-хе-с...

Я даю ему двугривенный. Эта любезность трогает его до-

нельзя. Он усиленно мигает глазками, оглядывается и говорит шёпотом:

– Оченно мне жалко вас, обидно, ваше благородие!.. Страсть как жалко! Точно вы мне сынок... Человек вы золотой! Душа! Доброта! Смиреник наш! Когда намедни он, превосходительство то есь, накинулся на вас – тоска взяла! Ей-богу! Думаю, за что он его? Ты и лентяй, и молокосос, и тебя выгоню, то да се... За что? Когда вы вышли от него, так на вас лица вашего не было. Ей-богу... А я гляжу, и мне жалко... Ох, у меня всегда сердечность к чиновникам!

И, обратись к моей соседке, Спевсип прибавляет:

– Уж больно они плохи у нас насчет бумага-то. Не ихнее это дело в умственных бумагах... Шли бы по торговой части или... по духовной... Ей-богу! Ни одна бумага у них толком не выходит... Всё зря! Ну и достается на орехи... Сам заел его совсем... Турнуть хочет... А мне жалко. Их благородие добрые...

Она смотрит мне в глаза с самым обидным состраданием!

– Ступай! – говорю я Спевсипу, задыхаясь...

Я чувствую, что у меня даже калоши покраснели. Осрамил, каналья! А в стороне, за голыми кустами, сидит ее папенька, слушает и глазеет на нас, чтобы я впредь до «титлярного» не смел и думать о... На другой стороне, за другими кустами, прохаживается ее маменька и наблюдает за «ней». Я чувствую эти четыре глаза... и готов подохнуть...

Местъ

Был день бенефиса нашей ingénue²⁰⁵.

В десятом часу утра у ее двери стоял комик. Он прислушивался и стучал по обеим половинкам двери своими большими кулаками. Ему необходимо было видеть ingénue. Она должна была вылезть из-под своего одеяла во что бы то ни стало, как бы ей ни хотелось спать...

– Отворите же, чёрт возьми! Долго ли еще мне придется коченеть на этом сквозном ветру? Если б вы знали, что в вашем коридоре двадцать градусов мороза, вы не заставили бы меня ждать так долго! Или, быть может, у вас нет сердца?

В четверть одиннадцатого комик услышал глубокий вздох. За вздохом последовал скачок с кровати, а за скачком шлепанье туфель.

– Что вам угодно? Кто вы?

– Это я...

Комику не нужно было называть себя. Его легко можно было узнать по голосу, шипящему и дребезжащему, как у больного дифтеритом.

– Подождите, я оденусь...

Через три минуты его впустили. Он вошел, поцеловал у ingénue руку и сел на кровать.

– Я к вам по делу, – начал он, закуривая сигару. – Я хожу

²⁰⁵ инженерю (франц.)

к людям только по делу, ходить же в гости я предоставляю господам бездельникам. Но к делу... Сегодня я играю в вашей пьесе графа... Вы, конечно, это знаете?

– Да.

– Старого графа. Во втором действии я появляюсь на сцену в халате. Вы, надеюсь, и это знаете... Знаете?

– Да.

– Отлично. Если я буду не в халате, то я согрешу против истины. На сцене же, как и везде, прежде всего – истина! Впрочем, *mademoiselle*, к чему я говорю это? Ведь, в сущности говоря, человек и создан для того только, чтобы стремиться к истине...

– Да, это правда...

– Итак, после всего сказанного вы видите, что халат мне необходим. Но у меня нет халата, приличного графу. Если я покажусь публике в своем ситцевом халате, то вы много потеряете. На вашем бенефисе будет лежать пятно.

– Я вам могу помочь?

– Да. После *вашего* у вас остался прекрасный голубой халат с бархатным воротником и красными кистями. Прекрасный, чудный халат!

Наша *ingénue* вспыхнула... Глазки ее покраснели, замигали и заискрились, как стеклянные бусы, вынесенные на солнце.

– Вы мне одолжите этот халат на сегодняшний спектакль...

Ingénue заходила по комнате. Нечесанные волосы ее попадали беспорядочно на лицо и плечи... Она зашевелила губами и пальцами...

– Нет, не могу! – сказала она...

– Это странно... Гм... Можно узнать почему?

– Почему? Ах, боже мой, да ведь это так понятно! Могу ли я? Нет!.. нет! Никогда! Он нехорошо поступил со мной, он неправ... Это правда! Он поступил со мной, как последний негодяй... Я согласна с этим! Он бросил меня только потому, что я получаю мало жалованья и не умею обирать мужчин! Он хотел, чтобы я брала у этих господ деньги и носила эти подлые деньги к нему, – он хотел этого! Подло, гадко! На подобные притязания способны одни только бессовестные пошляки!

Ingénue повалилась в кресло, на котором лежала свежeweглаженная сорочка, и закрыла руками лицо. Сквозь ее маленькие пальчики комик увидел блестящие точки: то окно отражалось в слезинках...

– Он ограбил меня! – продолжала она всхлипывая. – Грабь, если хочешь, но зачем же бросать? Зачем? Что я ему сделала? Что я тебе сделала? Что?

Комик встал и подошел к ней.

– Не будем плакать, – сказал он. – Слезы есть малодушие. И к тому же мы можем найти утешение во всякую минуту... Утешьтесь!.. Искусство – самый радикальный утешитель!

Но ничего не поделал радикальный утешитель.

За всхлипыванием последовала истерика.

– Это пройдет! – сказал комик. – Я подожду.

Он в ожидании, пока она придет в себя, походил по комнате, зевнул и лег на кровать. Ее постель женская, но она не так мягка, как те постели, на которых спят ingénues порядочных театров. Комика заколола в бок какая-то пружина, и его лысину зачесали перья, кончики которых робко выглядывали из подушки, сквозь розовую наволочку. Края кровати были холодны, как лед. Но всё это не мешало нахалу сладко потянуться. Чёрт возьми, от этих бабьих кроватей так хорошо пахнет!

Он лежал и потягивался, а плечи ingénue прыгали, из груди ее вылетали отрывистые стоны, пальцы корчились и рвали на груди фланелевую кофточку... Комик напомнил ей самую несчастную страницу одного из несчастнейших романов! Истерика продолжалась минут десять. Очнувшись, ingénue откинула назад волосы, обвела комнату глазами и продолжала говорить.

Когда дама говорит с вами, неловко лежать на кровати. Вежливость прежде всего. Комик крикнул, поднялся и сел.

– Он поступил со мной нечестно, – продолжала она, – но из этого не следует, что я должна отдавать вам халат. Несмотря на его подлый поступок, я еще продолжаю любить его, и халат единственная вещь, оставшаяся у меня после него! Когда я вижу халат, я думаю о нем и... плачу...

– Я ничего не имею против этих похвальных чувств, – ска-

зал комик, – напротив, в наш реальный, чертовски практический век приятно встретить человека с таким сердцем и с такой душой. Если вы дадите мне на один вечер халат, то вы принесете жертву, согласен... Но, подумайте, как приятно жертвовать для искусства!

И, подумав немного, комик вздохнул и прибавил:

– Тем более, что я вам завтра же возвращу его...

– Ни за что!

– Но почему же? Ведь я же не съем его, возвращу! Какая вы, право...

– Нет, нет! Ни за что!

Ingénue забегала по комнате и замахала руками.

– Ни за что! Вы хотите лишить меня единственной дорогой для меня вещи! Я скорей умру, но не отдам! Я еще люблю этого человека!

– Вполне понимаю, но не постигаю только одного, сударыня: как можете вы менять халат на искусство?.. Вы – артистка!

– Ни за что! И не говорите!

Комик покраснел и поцарапал себя по лысине. Он помолчал немного и спросил:

– Не дадите?

– Ни за что!

– Гм... Тэкссс... Это по-товарищески... Так поступают только товарищи!

Комик вздохнул и продолжал:

– Жалко, чёрт возьми! Очень жаль, что мы товарищи только на словах, а не на деле. Впрочем, несогласие слова с делом очень характерно для нашего времени. Взгляните, например, на литературу! Очень жаль! В частности же нас, артистов, губит отсутствие солидарности, истинного товарищества... Ах, как нас губит это! Впрочем, нет! Это только показывает, что мы не артисты, не художники! Мы лакеи, а не артисты! Сцена дана нам только для того, чтобы показывать публике свои голые локти и плечи... чтобы глазки делать... щекотать инстинкты райка... Не дадите?

– Ни за какие деньги!

– Это последнее слово?

– Да...

– Прелестно...

Комик надел шапку, церемонно раскланялся и вышел из комнаты *ingénuе*. Красный как рак, дрожащий от гнева, шипящий ругательствами, пошел он по улице, прямо к театру. Он шел и стучал палкой по мерзлой мостовой. С каким наслаждением нанизал бы он своих подлых товарищей на эту сучковатую палку! Еще лучше, если бы он мог проколоть этой артистической палкой насквозь всю землю! Будь он астрономом, он сумел бы доказать, что это худшая из планет!

Театр стоит на конце улицы, в трехстах шагах от острога. Он выкрашен в краску кирпичного цвета. Краска всё замазала, кроме зияющих щелей, показывающих, что театр деревянный. Когда-то театр был амбаром, в котором склады-

вались кули с мукой. Амбар был произведен в театры не за какие-либо заслуги, а за то, что он самый высокий сарай в городе.

Комик пошел в кассу. Там, за грязным липовым столом, сидел его друг и приятель, кассир Штамм, немец, выдававший себя за англичанина. Кассир подслеповат, глуп и глух, но всё это, однако, не мешает ему с должным вниманием выслушивать своих товарищей.

Комик вошел в кассу, нахмурил брови и остановился перед кассиром в позе боксера, скрестившего на груди руки. Он помолчал немного, покачал головой и воскликнул:

– Как прикажете назвать этих людей, мистер Штамм?!

Комик стукнул кулаком по столу и, негодуя, опустился на деревянную скамью. Не поток, а океан ядовитых, отчаянных, бешеных слов полился из его рта, окруженного давно уже не бритым пространством. Пусть посочувствует ему хоть кассир! Девчонка, сентиментальная кислятина, не уважила просьбы того, без которого рухнул бы этот дрянный сарай! Не сделать одолжения (не говорю уж, оказать услугу) первому комику, которого десять лет тому назад приглашали в столичный театр! Возмутительно!

Но, однако, в этом бедняжке-театре более чем холодно. В собачьей конуре не холодней. Старый кассир умно делает, что сидит в шубе и валяных калошах. На окне – лед, а по полу гуляет ветер, которому позавидовал бы даже Северный полюс. Дверь плохо притворяется, и края ее белы от инея.

Чёрт знает что! И сердиться даже холодно.

– Она будет меня помнить! – закончил свою филиппику комик.

Он положил свои ноги на скамью и прикрыл их полрой своей шубы, оставшейся ему в наследство двенадцать лет тому назад от одного приятеля-актера, умершего от чахотки. Он плотнее завернулся в шубу, умолк и начал дышать в шубу себе на грудь.

Язык молчал, но зато действовали мозги. Эти мозги искали способа. Нужно же отомстить этой дерзкой, неуважительной девчонке!

Комик не завернул глаз в шубу, а пустил их на волю: гляди, коли хочешь... Они же, кстати, и не мерзнут. В кассе нет ничего интересного для глаз. У деревянной перегородки стол, перед столом скамья, на скамье – старый кассир в собачьей шубе и валенках. Всё серо, обыденно, старо. И грязь даже старая. На столе лежит еще не початая книга билетов. Покупатели не идут. Они начнут ходить во время обеда. Кроме стола, скамьи, билетов и кучи бумаг в углу – больше ничего нет. Ужасная бедность и ужасная скука!

Впрочем, виноват: в кассе есть один предмет роскоши. Этот предмет валяется под столом вместе с ненужной бумагой, которую не выметают вон только потому, что холодно. Да и веник куда-то запропал.

Под столом валяется большой картонный лист, запыленный и оборванный. Кассир топчет его своими валенками и

плюет на него без всякой церемонии. Этот-то лист и есть предмет роскоши. На нем крупными буквами написано: «*На сегодняшний спектакль все билеты распроданы*». Ему за всё время своего существования ни разу еще не приходилось висеть над окошком кассы, и никто из публики не может похвастать тем, что видел его. Хороший, но ехидный лист! Жаль, что он не находит себе употребления. Публика не любит его, но зато в него влюблены все артисты!

Глаза комика, гулявшие по стенам и по полу, не могли не натолкнуться на эту драгоценность. Комик не мастер сообщать, но на этот раз он сообразил. Увидев картонный лист, он ударил себя по лбу и воскликнул:

– Идея! Прелестно!

Он нагнулся и потянул к себе повесть о распроданных билетах.

– Прекрасно! Бесподобно! Это обойдется ей дороже голубого халата с красными кистями!

Через десять минут картонный лист первый и последний раз за всё время своего существования висел над окошечком и... лгал.

Он лгал, но ему поверили. Вечером наша ingénue лежала у себя в номере и рыдала на всю гостиницу.

– Меня не любит публика! – говорила она.

Один только ветер взял на себя труд посочувствовать ей. Он, этот добрый ветер, плакал в трубе и в вентиляциях, плакал на разные голоса и, вероятно, искренно. Вечером же в

портерной сидел комик и пил пиво. Пил пиво и – больше ничего.

Пережитое

(Психологический этюд)

Был Новый год. Я вышел в переднюю.

Там, кроме швейцара, стояло еще несколько наших: Иван Иванович, Петр Кузьмич, Егор Сидорыч... Все пришли расписаться на листе, который величаво возлегал на столе. (Бумага, впрочем, была из дешевых, № 8.)

Я взглянул на лист. Подписей слишком много и... о лицемерии! О двуличии! Где вы, росчерки, подчерки, закорючки, хвостики? Все буквы кругленькие, ровненькие, гладенькие, точно розовые щечки. Вижу знакомые имена, но не узнаю их. Не переменили ли эти господа свои почерки?

Я осторожно умокнул перо в чернильницу, неизвестно чего ради сконфузился, притаил дыхание и осторожно начертил свою фамилию. Обыкновенно я никогда в своей подписи не употреблял конечного «ера», теперь же употребил: начал его и закончил.

– Хочешь, я тебя погублю? – услышал я около своего уха голос и дыхание Петра Кузьмича.

– Каким образом?

– Возьму и погублю. Да. Хочешь? Хе-хе-хе...

– Здесь нельзя смеяться, Петр Кузьмич. Не забывайте, где вы находитесь. Улыбки менее чем уместны. Извините, но я полагаю... Это профанация, неуважение, так сказать...

– Хочешь, я тебя погублю?

– Каким образом? – спросил я.

– А таким... Как меня пять лет тому назад фон Кляузен погубил... Хе-хе-хе. Очень просто... Возьму около твоей фамилии и поставлю закорючку. Росчерк сделаю. Хе-хе-хе. Твою подпись неуважительной сделаю. Хочешь?

Я побледнел. Действительно, жизнь моя была в руках этого человека с сизым носом. Я поглядел с боязнью и с некоторым уважением на его зловещие глаза...

Как мало нужно для того, чтобы скovyрнуть человека!

– Или капну чернилами около твоей подписи. Кляксу сделаю... Хочешь?

Наступило молчание. Он с сознанием своей силы, величавый, гордый, с губительным ядом в руке, я с сознанием своего бессилия, жалкий, готовый погибнуть – оба молчали. Он впился в мое бледное лицо своими буркалами, я избегал его взгляда...

– Я пошутил, – сказал он наконец. – Не бойся.

– О, благодарю вас! – сказал я и, полный благодарности, пожал ему руку.

– Пошутил... А все-таки могу... Помни... Ступай... Покедова пошутил... А там что бог даст...

Философские определения жизни

Жизнь нашу можно уподобить лежанию в бане на верхней полочке. Жарко, душно и туманно. Веник делает свое дело, банный лист липнет, и глазам больно от мыла. Отовсюду слышны возгласы: поддай пару! Тебе мылят голову и перебирают все твои косточки. Хорошо! (Сара Бернар).

Жизнь нашу можно уподобить сапогу порванному: вечно каши просит, но никто ему одной не дает. (Ж. Занд).

Жизнь нашу можно уподобить князю Мещерскому, который вечно толчется, вечно снует, восклицает, стонет и машет руками, вечно рождается и умирает, но никогда не видит плодов от дел своих. Вечно родит, но всё рожаемое – мертворожденно. (Бокль).

Жизнь нашу можно уподобить безумцу, ведущему самого себя в квартал и пишущему на себя кляузу. (Коклен).

Жизнь наша подобна газете, которой уже объявлено второе предостережение. (Кант).

Жизнь нашу нельзя уподобить письму, которое не опасно читать вслух, но можно уподобить письму, боящемуся не

дойти по адресу. (Дрэпер).

Жизнь наша подобна ящику в наборной, наполненному знаками препинания. (Конфуций).

Жизнь наша подобна старой деве, не теряющей надежды выйти замуж, и морде, покрытой прыщами и морщинами: некрасивая морда, но обижается, когда бьют ее. (Араби-паша).

Жизнь нашу, наконец, можно уподобить уху от замороженному, которое не отрезают только потому, что

*Из разных философских сочинений повеичерпнул*²⁰⁶

Антоша Чехонте.

²⁰⁶ *Из разных философских сочинений повеичерпнул...* – Ссылка на философские сочинения разных авторов является, несомненно, пародийной. В числе авторов, которым якобы принадлежат «философские определения жизни», названы английский историк и социолог Г.-Т. Бокль (его книга «История цивилизации в Англии», переведенная на русский язык в 1863 г., была популярна среди русской студенческой молодежи); знаменитый актер французской драмы Бенуа Констан Коклен Старший (1841—1909), труппа которого гастролировала в московском Большом театре в конце 1882 г.; американский историк и естествоиспытатель Джон Уильям Дрэпер (1811—1882), автор книги «История умственного развития Европы»; египетский военный и государственный деятель Ахмед Араби-паша (1842—1910), начавший в 1879 г. борьбу против англичан за независимость Египта (попытка успеха не имела, Араби-паша был арестован; его действия и затем суд над ним широко освещались в русской печати); французский невропатолог Жан Шарко (1825—1893).

Мошенники поневоле

(Новогодняя побрехушка)

У Захара Кузьмича Дядечкина вечер. Встречают Новый год и поздравляют с днем ангела хозяйку Меланью Тихоновну.

Гостей много. Народ всё почтенный, солидный, трезвый и положительный. Прохвоста ни одного. На лицах умиление, приятность и чувство собственного достоинства. В зале на большом клеенчатом диване сидят квартирный хозяин Гусев и лавочник Размахалов, у которого Дядечкины забирают по книжке. Толкуют они о женихах и дочерях.

– Нонче трудно найти человека, – говорит Гусев. – Который непьющий и обстоятельный... человек, который работающий... Трудно!

– Главное в доме – порядок, Алексей Василич! Этого не будет, когда в доме не будет того... который... в доме порядок...

– Порядка коли нет в доме, тогда... всё этак... Глупостей много развелось на этом свете... Где быть тут порядку? Гм...

Около них на стульях сидят три старушки и с умилением глядят на их рты. В глазах у них написано удивление «уму-

разуму». В углу стоит кум Гурий Маркович и рассматривает образа. В хозяйской спальне шум. Там барышни и кавалеры играют в лото. Ставка – копейка. Около стола стоит гимназист первого класса Коля и плачет. Ему хочется поиграть в лото, а его не пускают за стол. Разве он виноват, что он маленький и что у него нет копейки?

– Не реви, дурак! – увещевают его. – Ну, чего реवेशь? Хочешь, чтоб мамаша высекла?

– Это кто ревет? Колька? – слышится из кухни голос маменьки. – Мало я его порола, пострела... Варвара Гурьевна, дерните его за ухо!

На хозяйской постели, покрытой полинялым ситцевым одеялом, сидят две барышни в розовых платьях. Перед ними стоит малый лет двадцати трех, служащий в страховом обществе, Копайский, en face очень похожий на кота. Он ухаживает.

– Я не намерен жениться, – говорит он, рисуясь и оттягивая пальцами от шеи высокие, режущие воротнички. – Женщина есть лучезарная точка в уме человеческого, но она может погубить человека. Злостное существо!

– А мужчины? Мужчина не может любить. Грубости всякие делает.

– Как вы наивны! Я не циник и не скептик, а все-таки понимаю, что мужчина завсегда будет стоять на высшей точке относительно чувств.

Из угла в угол, как волки в клетке, снуют сам Дядечкин и

его первенец Гриша. У них души горят. За обедом они сильно выпили и теперь страстно желают опохмелиться... Дядечкин идет в кухню. Там хозяйка посыпает пирог толченым сахаром.

– Малаша, – говорит Дядечкин. – Закуску бы подать. Гостям закусить бы...

– Подождут... Сейчас выпьете и съедите всё, а что я подам в двенадцать часов? Не помрете. Уходи... Не вертись перед носом!

– По рюмочке бы только, Малаша... Никакого тебе от этого дефицита не будет... Можно?

– Наказание! Уйди, тебе говорят! Ступай с гостями посиди! Чего в кухне толчешься?

Дядечкин глубоко вздыхает и выходит из кухни. Он идет поглядеть на часы. Стрелки показывают восемь минут двенадцатого. До желанного мига остается еще пятьдесят две минуты. Это ужасно! Ожидание выпивки самое тяжелое из ожиданий. Лучше пять часов прождать на морозе поезд, чем пять минут ожидать выпивки... Дядечкин с ненавистью смотрит на часы и, похаживая немного, подвигает большую стрелку дальше на пять минут... А Гриша? Если Грише не дадут сейчас выпить, то он уйдет в трактир и там выпьет. Умирать от тоски он не согласен...

– Маменька, – говорит он, – гости сердятся, что вы закуски не подаете! Свинство одно только... Голодом морить!.. Дали бы по рюмке!

– Подождите... Мало осталось... Скоро уж... Не толчись в кухне.

Гриша хлопает дверью и идет в сотый раз поглядеть на часы. Большая стрелка безжалостна! Она почти на прежнем месте.

– Отстают! – утешает себя Гриша и указательным пальцем подвигает стрелку вперед на семь минут.

Мимо часов бежит Коля. Он останавливается перед ними и начинает считать время... Ему ужасно хочется поскорей дожить до того момента, когда крикнут «ура!». Стрелка своею неподвижностью колет его в самое сердце. Он взбирается на стул, робко оглядывается и похищает у вечности пять минут.

– Подите, поглядите, келер этиль?²⁰⁷ – посылает одна из барышень Копайского. – Я умираю от нетерпения. Новый год ведь! Новое счастье!

Копайский шаркает обеими ногами и мчится к часам.

– Чёрт подери, – бормочет он, глядя на стрелки. – Как еще долго! А жрать страсть как хочется... Катку беспрерывно поцелую, когда ура крикнут.

Копайский отходит от часов, останавливается... Подумав немного, он ворочается и укорачивает старый год на шесть минут. Дядечкин выпивает два стакана воды, но... горит душа! Он ходит, ходит, ходит... Жена то и дело гонит его из кухни. Бутылки, стоящие на окне, рвут его за душу. Что де-

²⁰⁷ который час? (*франц.* quelle heure est-il).

лать! Нет сил терпеть! Он опять хватается за последнее средство. Часы к его услугам. Он идет в детскую, где висят часы, и наталкивается на картину, неприятную его родительскому сердцу: перед часами стоит Гриша и двигает стрелку.

– Ты... ты... ты что это делаешь? А? Зачем ты стрелку подвинул? Дурак ты этакий! А? Зачем это? А?

Дядечкин кашляет, мнетя, страшно морщится и машет рукой.

– Зачем? А-а-а... Да двигай же ее, чтоб она сдохла, подлая! – говорит он и, оттолкнув сына от часов, подвигает стрелку.

До Нового года остается одиннадцать минут. Папаша и Гриша идут в зал и начинают готовить стол.

– Малаша! – кричит Дядечкин. – Сейчас Новый год!

Меланья Тихоновна выбегает из кухни и идет проверить супруга... Она долго глядит на часы: муж не врет.

– Ну как тут быть? – шепчет она. – А ведь у меня еще горошек для ветчины не сварился! Гм. Наказание. Как я им подам?

И, подумав немного, Меланья Тихоновна дрожащей рукой двигает большую стрелку назад. Старый год обратно получает двадцать минут.

– Подождут! – говорит хозяйка и бежит в кухню.

Гадальщики и гадальщицы

(Подновогодние картинки)

Старуха-нянюшка гадает папаше-интенданту.

– Дорога, – говорит она.

– Куда?

Нянюшка машет рукой на север. Лицо папаши бледнеет.

– Вы едете, – добавляет старуха, – а у вас на коленях мешок с деньгами...

По лицу папаши пробегает сияние.

Чиноша сидит за столом и при свете двух свеч глядит в зеркало. Он гадает: какого роста, цвета и темперамента будет его новый, еще пока не назначенный начальник. Он глядит в зеркало час, другой, третий... В глазах его бегают мурашки, прыгают палочки, летают перья, а начальника нет как нет! Ничего не видно, ни начальников, ни подчиненных. Проходит четвертый час, пятый... Наконец ему надоедает ожидать нового начальника. Он встает, машет рукой и вздыхает.

– Место остается вакантным, значит, – говорит он. – А это нехорошо. Нет больше зла, чем безначалие!

Барышня стоит на дворе за воротами и ждет прохожего. Ей нужно узнать, как будут звать ее суженого. Идет кто-то. Она быстро отворяет калитку и спрашивает:

– Как вас звать?

В ответ на свой вопрос она слышит мычанье и сквозь полуотворенную калитку видит большую темную голову... На голове рога...

«Пожалуй, верно, – думает барышня. – Разница только в морде».

Редактор ежедневной газеты садится погадать о судьбах своего детища.

– Оставьте! – говорят ему. – Охота вам себя расстраивать! Бросьте!

Редактор не слушает и глядит в кофейную гущу.

– Рисунков много, – говорит он. – Да чёрт их разберет... Это рукавицы... Это на ежа похоже... А вот нос... Точно у моего Макара... Теленок вот... Ничего не разберу!

Докторша гадает перед зеркалом и видит... гробы.

«Что-нибудь из двух, – думает она. – Или кто-нибудь умрет, или у моего мужа в этом году будет большая практи-

ка...»

Кривое зеркало

(Святочный рассказ)

Я и жена вошли в гостиную. Там пахло мохом и сыростью. Миллионы крыс и мышей бросились в стороны, когда мы осветили стены, не выдавшие света в продолжение целого столетия. Когда мы затворили за собой дверь, пахнул ветер и зашевелил бумагу, стопами лежавшую в углах. Свет упал на эту бумагу, и мы увидели старинные письма и средневековые изображения. На позеленевших от времени стенах висели портреты предков. Предки глядели надменно, сурово, как будто хотели сказать:

– Выпороть бы тебя, братец!

Шаги наши раздавались по всему дому. Моему кашлю отвечало эхо, то самое эхо, которое когда-то отвечало моим предкам...

А ветер выл и стонал. В каминной трубе кто-то плакал, и в этом плаче слышалось отчаяние. Крупные капли дождя стучали в темные, тусклые окна, и их стук наводил тоску.

– О, предки, предки! – сказал я, вздыхая значительно. – Если бы я был писателем, то, глядя на портреты, написал бы длинный роман. Ведь каждый из этих старцев был когда-то

молод и у каждого, или у каждой, был роман... и какой роман! Взгляни, например, на эту старушку, мою прабабушку. Эта некрасивая, уродливая женщина имеет свою, в высшей степени интересную повесть. Видишь ли ты, – спросил я у жены, – видишь ли зеркало, которое висит там в углу?

И я указал жене на большое зеркало в черной бронзовой оправе, висевшее в углу около портрета моей прабабушки.

– Это зеркало обладает волшебными свойствами: оно погубило мою прабабушку. Она заплатила за него громадные деньги и не расставалась с ним до самой смерти. Она смотрелась в него дни и ночи, не переставая, смотрелась даже, когда пила и ела. Ложась спать, она всякий раз клала его с собой в постель и, умирая, просила положить его с ней вместе в гроб. Не исполнили ее желания только потому, что зеркало не влезло в гроб.

– Она была кокетка? – спросила жена.

– Положим. Но разве у нее не было других зеркал? Почему она так полюбила именно это зеркало, а не другое какое-нибудь? И разве у нее не было зеркал получше? Нет, тут, милая, кроется какая-то ужасная тайна. Не иначе. Предание говорит, что в зеркале сидит чёрт, и что у прабабушки-де была слабость к чертям. Конечно, это вздор, но несомненно, что зеркало в бронзовой оправе обладает таинственной силой.

Я смахнул с зеркала пыль, поглядел в него и захохотал. Хохоту моему глухо ответило эхо. Зеркало было криво и фи-

зиномию мою скривило во все стороны: нос очутился на левой щеке, а подбородок раздвоился и полез в сторону.

– Странный вкус у моей прабабушки! – сказал я.

Жена нерешительно подошла к зеркалу, тоже взглянула в него – и тотчас же произошло нечто ужасное. Она побледнела, затряслась всеми членами и вскрикнула. Подсвечник выпал у нее из рук, покатился по полу, и свеча потухла. Нас окутал мрак. Тотчас же я услышал падение на пол чего-то тяжелого: то упала без чувств моя жена.

Ветер застонал еще жалобней, забегали крысы, в бумагах зашуршали мыши. Волосы мои стали дыбом и зашевелились, когда с окна сорвалась ставня и полетела вниз. В окне показалась луна...

Я схватил жену, обнял и вынес ее из жилища предков. Очнулась она только на другой день вечером.

– Зеркало! Дайте мне зеркало! – сказала она, приходя в себя. – Где зеркало?

Целую неделю потом она не пила, не ела, не спала, а всё просила, чтобы ей принесли зеркало. Она рыдала, рвала волосы на голове, металась, и наконец, когда доктор объявил, что она может умереть от истощения и что положение ее в высшей степени опасно, я, пересиливая свой страх, опять спустился вниз и принес ей оттуда прабабушкино зеркало. Увидев его, она захохотала от счастья, потом схватила его, поцеловала и впилась в него глазами.

И вот прошло уже более десяти лет, а она всё еще глядится

в зеркало и не отрывается ни на одно мгновение.

– Неужели это я? – шепчет она, и на лице ее вместе с румянцем вспыхивает выражение блаженства и восторга. – Да, это я! Всё лжет, кроме этого зеркала! Лгут люди, лжет муж! О, если бы я раньше увидела себя, если бы я знала, какая я на самом деле, то не вышла бы за этого человека! Он не достоин меня! У ног моих должны лежать самые прекрасные, самые благородные рыцари!..

Однажды, стоя позади жены, я нечаянно поглядел в зеркало и – открыл страшную тайну. В зеркале я увидел женщину ослепительной красоты, какой я не встречал никогда в жизни. Это было чудо природы, гармония красоты, изящества и любви. Но в чем же дело? Что случилось? Отчего моя некрасивая, неуклюжая жена в зеркале казалась такую прекрасной? Отчего?

А оттого, что кривое зеркало покривило некрасивое лицо моей жены во все стороны, и от такого перемещения его черт оно стало случайно прекрасным. Минус на минус дало плюс.

И теперь мы оба, я и жена, сидим перед зеркалом и, не отрываясь ни на одну минуту, смотрим в него: нос мой лезет на левую щеку, подбородок раздвоился и сдвинулся в сторону, но лицо жены очаровательно – и бешеная, безумная страсть овладевает мною.

– Ха-ха-ха! – дико хохочу я.

А жена шепчет едва слышно:

– Как я прекрасна!

Два романа

I. Роман доктора

Если ты достиг возмужалости и кончил науки, то *resipere: feminam unam*²⁰⁸ и приданого *quantum satis*²⁰⁹.

Я так и сделал: взял *feminam unam* (двух брать не дозволяется) и приданого. Еще древние порицали тех, которые, женись, не берут приданого (Ихтиозавр, XII, 3).

Я прописал себе лошадей, бельэтаж, стал пить *vinum gallicum rubrum*²¹⁰ и купил себе шубу за 700 рублей. Одним словом, зажил *lege artis*²¹¹.

Ее *habitus*²¹² не плох. Рост средний. Окраска кожных покровов и слизистых оболочек нормальна, подкожно-клетчатый слой развит удовлетворительно. Грудь правильная, хрипов нет, дыхание везикулярное. Тоны сердца чисты.

В сфере психических явлений заметно только одно уклонение: она болтлива и криклива. Благодаря ее болтливости я страдаю гиперестезией правого слухового нерва. Когда я

²⁰⁸ бери: одну жену (*лат.*)

²⁰⁹ сколько хочешь (*лат.*)

²¹⁰ красное французское вино (*лат.*)

²¹¹ по правилам искусства (*лат.*)

²¹² Стан, осанка (*лат.*)

смотрю на язык больного, я вспоминаю жену, и это воспоминание производит во мне сердцебиение. Прав был тот философ, который сказал: «Lingua est hostis hominum amicusque diaboli et feminarum».²¹³ Тем же недостатком страдает и *mater feminae* – теща (из разряда *mammalia*²¹⁴).

И когда они обе кричат 23 часа в сутки, я страдаю наклонностью к умопомешательству и самоубийству. По свидетельству моих уважаемых товарищей, девять десятых женщин страдают болезнью, которую Шарко назвал гиперестезией центра, заведующего речью. Шарко предлагает ампутацию языка.

Этой операцией он обещает избавить человечество от одной из страшных болезней, но, увы! Бильрот, неоднократно делавший эту операцию, говорит в своих классических мемуарах, что женщины научались после операции говорить пальцами и этим образом речи действовали на мужей еще хуже: они гипнотизировали мужей (*Memor. Acad.*, 1878). Я предлагаю другое лечение (смотри мою диссертацию). Не отвергая ампутации языка, предложенной Шарко, и давая полную веру словам такого авторитета, как Бильрот, я предлагаю ампутацию языка соединить с ношением рукавиц. Мои наблюдения показали, что глухонемые, носящие рукавицы только с одним пальцем, бессловесны даже и тогда, когда бывают голодны.

²¹³ «Язык – враг людей и друг дьявола и женщин» (*лат.*)

²¹⁴ млекопитающих (*лат.*)

II. Роман репортера

Прямой носик, дивный бюстик, чудные волосы, прелестные глазки – ни одной опечатки! Прокорректировал и женился.

– Ты должна будешь принадлежать только одному мне! – сказал я ей, женясь. – Розничную продажу безусловно запрещаю! Помни!

На другой день после свадьбы я уже заметил в своей жене некоторую перемену. Волосы были жиже, щеки не так интересно-бледны, ресницы не адски черны, а рыжи. Движения уже были не так мягки, слова не так нежны. Увы! Жена есть невеста, наполовину зачеркнутая цензурой!

В первом полугодии я застал у нее фендрика, который лобызал ее (фендрики любят gratis²¹⁵ удовольствия). Я объявил ей первое предостережение и во второй раз, строго-на-строго, воспретил розничную продажу.

Во втором полугодии она подарила меня премией: у меня родился сынишка. Я поглядел на него, поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него и сказал жене:

– Сюжет заимствован, матушка! По роже вижу! Не обманешь!

Сказал и объявил ей второе предостережение с воспрещением попадаться мне на глаза в продолжение трех месяцев.

²¹⁵ даровые (лат.)

Но эти меры не подействовали. На втором году у моей жены был уже не один фендрик, а несколько. Видя ее нераскаяние и не желая делиться со своими сотрудниками, я объявил ей третье предостережение и выслал ее вместе с премией на родину под надзор родителей, где она находится доселе.

Гонорар родителям за кормление жены высылается ежемесячно.

Неопубликованное. Неоконченное

Роман

Женихи, где вы?!

Леля хлопнула дверью, послала ко всем чертям горничную, упала на постель и больно укусила подушку.

Письмо в редакцию

Милостивый государь г. Редактор!

Сейчас только я узнала, что в ноябрьской книжке «Отечественных записок» (я либеральна, но сознайтесь же, что эта газета опьянела от реализма!) пропечатали мой журнал «Друг дам», издающийся в Москве. (Подписная цена: в Москве 6 р., а в других городах 7. В Петербург мы не пошлем ни одного номера, ни за какие деньги! В Петербурге живут всё надсмешники.) Какой-то Н. М. (несомненно, мужчина) в своей статье «Забытая азбука» осмелился нападать на беззащитных женщин, издеваться над ними, страмить их, ненавистничать. – «Многие женщины и не подозревают, что в Москве у них есть друг», пишет он с эронией. Он смеется надо мной и над моими сотрудницами (бедные мои!) и над нашими открытиями, которые мы открыли в нашей редакции.

А между тем наши открытия достойны далеко не смеха. Мы, беззащитные, гордимся ими... Ах! Мы открыли, что эта черная земля, эти люди несчастны потому, что *опьянели от реализма*. Мы открыли, что червонные валеты есть не что иное, как представители *крайнего материализма*, погубившего мир. Разве это не правда? Мы боремся с реализмом и материализмом, хотя и не имеем понятия ни о том, ни о другом. Н. М. смеется над каждой статьей, глумится над каждым

словом... Ну положим, мы безграмотны, рутинерки, берем-ся не за свое дело... Положим! Но ведь он же кавалер, *chef redacteur!*²¹⁶ Он кавалер, а мы дамы и беззащитные дамы! Мы женщины. Если бы он позволил себе сделать эту дерзость на балу, то его вывели бы.

А «Отечественные записки»... Осмелились! Я либераль-на, но согласитесь же наконец, что этот журнал опьянел от реализма! Берегитесь, г. Щедрин! Настанет грозный час от-мщения, и не спасет Вас Ваш материализм. Мы восторже-ствуем, и «Друг дам» избавит эту несчастную землю, этих людей от реализма и материализма!

Редакторша Богуславская.

P.S. Сейчас я заглянула в словарь Бурдона «40 000 ино-странных слов»... Теперь я знаю, что значит реализм и ма-териализм.

Бедные, как мне вас жаль!

J'... Je dis que.²¹⁷

²¹⁶ милый редактор! (*франц.*)

²¹⁷ Я... Я говорю, что (*франц.*)

Рекламы и объявления

Принимается подписка на журнал «Друг дам»²¹⁸ (А propos: Зри «Отечеств. зап.», 82, 11, «Забытая азбука». Н. М.), издающийся в Москве. В будущем году будут напечатаны между прочим следующие статьи:

1) *Мы отъехали от реализма*. Фантазия странницы Баклушиной.

2) Червонные валеты как представители крайнего материализма. Рассуждение классной дамы А. К.

3) *Qui est ce que ce*²¹⁹ Щедрин? Полемическое одеколоно-толчение богомолки Хеврони... .

И многие другие. Вообще мы поставили себе задачей борьбу с реализмом, рационализмом, материализмом и индифферентизмом. Косметические средства, балет и воспитание детей занимают в нашей программе не последнее место. Во избежание ошибок и недоразумений, которыми испещрили мы истекший год, мы приобрели словарь Бурдона «40 000 иностранных слов». Теперь мы будем знать, что значит реализм и материализм!

Редакторша Богуславская.

²¹⁸ Мало известный, в Питере вовсе неизвестный, но тем не менее подленький журналишко. – Примеч. для ред.

²¹⁹ Кто такой (франц.)

Нужны ВОДОВОЗЫ для пополнения пустых мест. Москва, редакция «Будильника».

Вышли из печати новые книги.

Об отмене пошлины на бамбуковые палки, вывозимые из Китая. Брошюра. Ц. 40.

Искусственное разведение ежей. Для фабрикующих рукавицы. Соч. отставного прапорщика, ныне сельскохозяина Раздавилова. Ц. 15 к.

Путеводитель по Сибири и ее окраинам. Сод.: I. Лучшие рестораны. II. Портные, каретники и куаферы. III. Адресы «этих» дам. IV. Указатель богатых невест. V. Из памятной книжки Юханцева. Книга, необходимая для гг. интендантов и кассиров. Издание Буша и Макшеева. Ц. 3 р. 50.

Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь

(Огромнейший роман в сжатом виде)

Перевод с французского

Глава I

Была полночь. Природа капризничала, как старая дева. Месяц зарылся в черные тучи и не глядел на землю. Осенний дождь с остервенением стучал в окна... Гнулись дубы и ломались сосны. Ветер стонал, как озлобленный, и рвал всё и вся...

Стонущие и воюющие от ветра телеграфные проволоки несли из Таганрога в Скопин следующую телеграмму: «Скопин. Кавалеру ордена Льва и Солнца Рыкову. Всё погибло. Он донес. Я заключен в темницу. В таможене аресты. Ужасно! Напрасно Узембло не уступил ему этой женщины. Ответ не уплочен. М. Вальяно».

Прочитав эту телеграмму, Рыков побледнел, но пошагав немного, он улыбнулся. Лицо его прояснилось. Он позволил...

Вошел слуга.

– Свентицкий еще не уехал? – спросил Рыков.

– Никак нет-с!

– Позвать его!

Минут через десять в кабинет Рыкова вошел высокий статный мужчина лет сорока. На его лице рядом со следами когда-то бывшей красоты светились мужество, страдания и нежелание покориться судьбе. Вошедши в кабинет, он почтительно поклонился. Рыков подал ему телеграмму.

– Ну, что вы скажете? – сказал он, когда тот прочитал телеграмму. – По-видимому, дела наши очень плохи. По-видимому, и меня ожидает участь Вальяно. *Он* может донести и на меня. Как вы думаете?

– Пррроклятие! – пробормотал сквозь зубы Свентицкий. – Этот человек любит женщину, которую я люблю. Я настаиваю на том же, на чем и настаивал: он должен умереть!!!

– Bravo! Узнаю в вас моего храброго друга! Итак, действуйте. Его деньги в моем банке. Это заставляет его несколько бояться меня. Не так ли? Ха-ха! Его богатство в моих руках. Во-вторых, мы во всякое время можем донести на его дядю Свиридова, служащего в Киеве. Пригрозите ему этим доносом. У Свиридова на рыльце целая пуховая перина. В-третьих, мы знаем, где хранятся те деньги, которые стащил для него его другой дядя, казначей Московского воспитательного дома, Мельницкий. Эти деньги, триста тысяч, хранятся у одной из его... женщин. Дайте ему понять, что

нам всё известно. Крутые меры приберегите к концу. Поняли?

– О, нет! – застонал инженер. – Он должен умереть! Недостоин он Маргариты, которая – увы! – любит его! Умереть!! Крови!!!

– Родители насильно выдают ее за Узембло?

– Да. Но она не слушает родителей. Для меня не страшен Узембло.

– Вальяно погубила любовь. Он тоже домогался Маргариты и погиб, как видите... Но из принципа не нужно уступить нашему общему врагу, хотя бы всем нам грозила участь Вальяно. Итак, действуйте... Пошлите телеграмму Узембло и Казакову. Пусть будут готовы. Вот вам пятьсот тысяч на расходы. Денежки славные, монастырские. Хе-хе... Будьте храбры и не унывайте, мой друг! Маргарита будет ваша! Где теперь наш враг?

– Он едет из Таганрога в Петербург. На пути он заедет к ней. Но... мы не допустим!

– И отлично. Адью, мой друг! Кланяйтесь нашим друзьям!..

По уходе Свентицкого Рыков застонал и схватил себя за волосы. По бледному лицу потекли слезы, подогнулись колени...

– Боже мой! – простонал он. – Прости меня! Эти люди – орудие в моих руках. Их преступлениями я добуду себе Маргариту! Я люблю ее больше жизни!..

Через пять минут дом Рыкова огласился рыданиями хозяина... Через шесть минут инженер Свентицкий катил на экстренном поезде к станции «Аневризма», где должны были ждать его Узембло и другие сообщники.

Глава II

В четыре часа той же ночи я, сидя в купе второго класса, мчался от станции «Аневризма» к станции «И вы не погибли?!». Я ехал со свидания. Уверения в любви и клятвы Маргариты звучали еще в моих ушах... Сладкие думы и мечты навеяли на меня дремоту... Я задремал, но не успел уснуть... Когда я закрыл глаза, в мое купе вошли две темные фигуры... Они постояли около меня и сели... Одна возле меня, другая vis-a-vis. Я начал разглядывать их. То были двое мужчин с длинными черными бородами. Оба были вооружены с головы до ног. Из их карманов выглядывали револьверы, ножи и банки с ядами. На спинах покоились прекрасные винтовки. Из-за фалд пальто выглядывали топоры, привешенные к поясам. В руках обоих было по длинной казацкой пике. Я задрожал. Кто они? Рассматривая их, я скоро заметил, что бороды их фальшивы, и в носе одного из них узнал нос Узембло.

«Аааа... Вы убить меня пришли? – подумал я. – Постой же!»

– Пока суть да дело, – пробормотал Узембло другому на

ухо, – давайте развратим его нравы...

И подав мне номер «Гражданина», заложенный в номер «Шута», Узембло проворчал:

– Не желаете ли? Прелестные есть штучки!! Почитай-те-ка!

В купе было не особенно светло, но я сумел вкусить предложенные продукты. Нравов себе я не развратил чтением и после него ничего не почувствовал, кроме изжоги.

– Прелестные журналы! – сказал я. – Люблю прессу! Ужасно! И нельзя не любить... Карает! Однако, чёрт возьми, ужасно разит моими духами!.. Зашел я недавно к Брокеру, спрашиваю у него хороших духов, и он чёрт знает чего мне дал... Понюхайте-ка – какая гадость!

И я поднес к носу Узембло и его спутника, в котором я скоро узнал Свентицкого, флакон. Оба понюхали. Во флаконе был хлороформ. Мои враги задремали. Я дал им еще раз понюхать, и они оба крепко уснули. Скоро мы прибыли на станцию. На станции стоял встречный поезд, шедший к «Аневризме». Я взял в охапку моих врагов и снес их, уснувших, в один из вагонов встречного поезда... Злая насмешка! Узембло и Свентицкий уехали обратно. Утром я уже был в Петербурге. Гуляя по Невскому со своим другом Немировичем-Данченко, я встретился с отставным гвардии поручиком Миллером и инженером Казаковым. Увидев меня, Казаков захохотал от радости: уведомленный Свентицким, он шлялся по Невскому и искал погубить меня. Он нашел меня

и потирал руки. Шедший с ним под руку Миллер тоже обрадовался, увидев меня. Я связан с ним теснейшими узами дружбы. Десять раз я спасал ему жизнь, и он был предан мне всей душой.

– Вечером прошу ко мне, – пригласил меня Казаков.

– Вечером я в «Аркадии»...

– Гм... Ну, а если вы по какому-либо случаю не будете сегодня в «Аркадии», то обещаете быть у меня?

– Обещаю.

В глазах Казакова засветилась радость. Он быстро простился с нами. Через двадцать минут горела «Аркадия», подожженная Казаковым. Этому злодею страстно хотелось, чтобы я был вечером у него, и он не остановился перед преступлением! Проходя мимо горевшей «Аркадии», я вытащил из пламени Родона, который за спасение жизни заплатил мне дружбой.

– Берегитесь Казакова! – шепнул мне Немирович-Данченко. – Он замышляет что-то недоброе. Если не верите мне как другу, то поверьте как глубокому психологу и физиономисту... Однако будем говорить тише... Нас подслушивает Баталин.

Я оглянулся... Сзади нас шел Баталин и пронизывал нас насквозь своими взглядами.

– Меня гнетет страшное предчувствие! – прошептал Миллер.

Я поверил моим друзьям и вечером не пошел к Казакову.

Вечером я посетил в темнице моего друга и собутыльника, редактора Федорова. Я застал его молящимся... Этот человек нес кару за чужие преступления! Мы обнялись. От него я отправился с Миллером к князю Мещерскому. Почтенный князь за весьма умеренную плату отлично гадает на картах и кофейной гуще. Застали мы его за составлением мелочей для своего «Добряка». Взяв в руки карты, он предсказал нам победу. Казаков же в то время, когда мы гадали, метался у себя на кровати и голосил:

– Ну, постой же, Миллер! Я покажу тебе! Это ты подговорил мою жертву не приходить ко мне! Пропали деньги, которые заплатил я за синильную кислоту!

Глава III

«Москва, Страстной бульвар. Его полублагородию отставному портупей-юнкеру Эженю Львову-Кочетову. Поспешите прибыть на совещание. Он цел и невредим. Ждем. Продолжайте макать в разум. Ваш слог прелестен. Благодарный Свентицкий и Ко».

Кочетов, прочтя эту телеграмму, сел на поезд и покатил к «Аневризме». Ехал он в первом классе (билет был даровой) и утопал в мечтах. Он тоже любил Маргариту... Эта любовь погубила его. Прежде он был на «ты» с Рошфором и Араби-пашой, теперь же... благодаря этой любви, стоит в рядах моих врагов... О женщины, женщины!

На станции «Аневризма» был бал. Этот бал давался начальником станции, отцом моей Маргариты, для избранных друзей. Станция, будки, диски и сад, окружающий станцию, были иллюминированы. В комнатах гремела музыка. Она, моя Маргарита, прекрасная, чудная, дивная, прелестнейшая, как тысяча испанок, была царицей этого бала. Она освещала в тот вечер всю вселенную своей красотой и бриллиантами, которые сплошную покрывали ее упруго-гибкое тело... Я стоял в углу и пожирал ее глазами. Около меня стояли мой будущий посажёный отец Н. П. Ланин и редактор «Русских ведомостей» Соболевский, которого я имел в виду пригласить в шафера.

– Хорошо вам, ей-богу! – говорил я Ланину. – Газета своя, шампанское свое... Хочешь читать – читай хоть целый день, хочешь пить – пей сколько влезет... Хорошо!

– Мм-да... – говорил Ланин, самодовольно улыбаясь и любуясь моей Маргаритой.

Впереди нас Лентовский дергал за рукав Родона и говорил ему:

– Едемте! Вам нужно играть! Ведь это свинство!

– Не могу я ехать, – говорил Родон, вздыхая. – Я не могу оставить моего друга, который спас мне жизнь!

В другом углу Узембло, юноша с испанским лицом, с ужасно черными, густыми бровями, Свентицкий и Казаков шептались. Они пожирали ее глазами и держали совет. В третьем углу сидел Евгений Львов и, глядя на мое лицо, состав-

лял в уме своем передовую статью. Депутаты от Вальяно и Рыкова стояли около него и шептали ему что-то на ухо.

Посреди залы стоял Лютостанский и показывал нам фокусы: он делал из хлеба и колбасы маленьких еврейчиков и глотал их. С ней ходил Миллер. В полночь Миллер подошел ко мне и сказал, что она хочет говорить со мной. Я взял ее под руку, и мы пошли в сад. Мои враги бросились за нами, но друзья мои не дремали. Миллер, Ланин и Соболевский стали у дверей и не пустили моих врагов в сад. Они уперлись в дверь плечами, и никакая сила не была в состоянии сдвинуть их с места.

– Сделайте вы полшага, и вы погибли! – крикнул Родон моим врагам.

Узембло заскрежетал зубами. Казаков поклялся убить своего друга Миллера.

В саду было тихо... Пел соловей. Где-то вдали журчал ручей. В беседке Немирович-Данченко точил кинжал на врагов своих и моих. По аллеям, как тень, слонялся Баталин и подслушивал. Я взял ее за талию...

– Тебя Узембло хочет убить, – простонала она. – Беги! Все вина и закуски отравлены... Рыков прислал им миллион... Вальяно выпущен из тюрьмы и едет сюда... О, ужас! Мы погибли!

Я закутался в плащ, поцеловал ее и бежал.

Через три дня я ехал к дяде Свиридову – сказать ему, что на него доносят мои враги.

Была ночь. Наш поезд мчался к Курску. Я сидел в купе и глядел в темное окно.

Дождевые капли и ветер производили на моем окне музыку. Я глядел в окно и думал о *ней*... Сладкие мечты о счастье наполняли мою душу. О, я был счастлив! Я был любим, и я был победителем!

Но враги мои не дремали. Близ станции «Чернь» они вытащили из насыпи трубу. Дождь и болото размывили насыпь, и мой поезд полетел в бездну... Так мстили мне мои враги за то, что я был счастлив!

Гречневая каша сама себя хвалит

(Нечто спиритическое)

Слово *Осколки* состоит из *семи* слов. *Семь* на нашей планете играет такую же важную роль, как и *три* (семь смертных грехов, семь дней в неделе и т. д.). Вывод из сего понятен.

Слово «Осколки» дает материал для следующих слов:

Силок. Мы ловим, хапаем и цапаем ближних, хотя и не служили ни в дворниках, ни в урядниках. Каемся... Наш силок, наша кутузка – сатира. Места не столь отдаленные помещаются на первой странице, столь отдаленные на последней. Первые у нас страшней вторых. Сыщики больше тайные...

Кол. Колами гимназисты величают единицы; турки – колья. Первые мы ставим поэтам почтового ящика, на вторые сажаем наши жертвы.

Колки. Мы колки, как осы. Буслаев слово «осколки» производит от двух слов: «осы» и «колки». Нужно радоваться, что у нас в России еще есть порядочные ученые... Впрочем, осы разные бывают!

Кси. Имя буквы греческой ?, означающей число 600. Намек на 666 (число зверино). Ужасаемся! Оно же, 600, есть число постоянных сотрудников «Осколков» и число тысяч

подписчиков... (Если верить почтамтским чиновникам, у нас 600 000 подписчиков.)

Клико. Вдова, произведения которой известны всему свету... Бабенка шипучая, игристая и забористая... Знакома со сведущими людьми у нас на Руси. Пандан к ерофеичу. Ею лечат сытость, ерофеичем голод... Бичуем ее и ее поклонников.

Сокол. Герой соколиных охот. Бьет глупых уток, крыловских гусей и вообще дичь... Связан неволей, а потому дает иногда промахи и не бьет всё то, что ему хочется побить...

Икс. Большинство из нас – иксы. Никто не знает, кто мы, что мы, где мы... Можете ли вы поручиться,²²⁰

²²⁰ Конец рукописи не сохранился.

Примечания

Архивохранилища

ГБЛ – Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина (Москва).

ГЛМ – Государственный литературный музей (Москва).

ГПБ – Государственная публичная библиотека имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).

ТМЧ – Литературный музей А. П. Чехова (Таганрог).

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГАМ – Центральный государственный архив города Москвы.

Печатные источники

Вокруг Чехова – М. П. Чехов. Вокруг Чехова. Встречи и впечатления. 4-е издание, М., 1964.

ЛН – Литературное наследство. Чехов, т. 68, изд-во АН СССР. М., 1960.

Письма Ал. Чехова – Письма А. П. Чехову его брата Алек-

сандра Чехова. Подготовка текста писем к печати, вступительная статья и комментарии И. С. Ежова. Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина. Соцэргиз. М., 1939.

ПССП – А. П. Чехов. Полное собрание сочинений и писем, т. I—XX. М., Гослитиздат, 1944—1951.

СМ – Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте. М., 1884.

Чехов – А. П. Чехов. Рассказы. Издание А. Ф. Маркса, СПб., 1899. <Сочинения, т. 1>.

Чехов и наш край – А. П. Чехов и наш край. К 75-летию со дня рождения. Сборник под общей ред. А. М. Липина. Ростов н/Д., 1935.

В первый том Полного собрания сочинений и писем А. П. Чехова вошли рассказы, повести, юморески и литературные пародии 1880—1882 годов.

В большинстве своем они воспроизводятся по первым журнальным публикациям, с исправлением очевидных типографских погрешностей и опечаток.

«Жизнь в вопросах и восклицаниях», «Цветы запоздалые», «Идиллия – увы и ах!», «Философские определения жизни», «Кривое зеркало», «Два романа», «Письмо в редакцию», «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь» сверены с автографами, сохранившимися до наших дней в архивах Москвы и Таганрога.

К юношеской поре своего творчества Чехов возвращался много раз, редактируя первоначальные публикации для последующих изданий. Шестнадцать рассказов в этом томе печатаются по тексту, исправленному для сборников «Шалость» (М., 1882) и «Сказки Мельпомены» (М., 1884). «Кривое зеркало» дается по первому прижизненному собранию сочинений изд. А. Ф. Маркса, СПб., 1899—1902; «Суд» и «Нарвался» – по гранкам, подготовленным для этого издания в 1899 году.

В архиве (ЦГАЛИ, ГБЛ) хранятся многочисленные вырезки из журналов, писарские копии, подробные авторские перечни рассказов, составившиеся в том же 1899 году. Судя по их содержанию, первоначально в собрание сочинений предполагалось включить целый ряд юморесок и литературных пародий ранних лет, но затем Чехов отклонил их с пометой: «В собрание сочинений не войдет».

Все уточнения и поправки, внесенные в текст, в том числе коррективы, устраняющие цензурные искажения («Письмо к ученому соседу», «Жены артистов», «Грешник из Толедо»), оговорены в примечаниях. Авторская правка исчерпывающим образом отражена в разделе «Варианты».

1

Первый сборник рассказов Чехова был подготовлен к пе-

чати в середине 1882 года. В него входили рассказы: «Жены артистов», «Папаша», «Петров день», «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя», «Грешник из Толедо», «Темпераменты», «Летающие острова», «Перед свадьбой», «Письмо к ученому соседу», «В вагоне», «Тысяча одна страсть, или Страшная ночь».

В свет этот сборник не вышел. Сохранились два неполных его экземпляра – без обложек, титульных листов, последних страниц и оглавления (Московский дом-музей А. П. Чехова – 112 и 96 стр.). На одном экземпляре сделана помета: «Издание автора 188—»; в другом – указание И. П. Чехова: «Сохранившиеся листы первого сборника рассказов А. П., не вышедшего в свет. (Начала 80-х годов, до „Сказок Мельпомены“). И. Чехов. 31 марта 1913»; «Рисунки покойного брата Николая».

М. П. Чехов писал об этой книге весьма осторожно: «Она была уже напечатана, сброшюрована, и только недоставало ей обложки... Я не знаю, почему именно она не вышла в свет и вообще какова была ее дальнейшая судьба» (*Вокруг Чехова*, стр. 137).

Сам А. П. Чехов никаких сведений о первом своем сборнике не оставил.

По традиции с этой книгой связывался черновой эскиз обложки, сохранявшийся у М. М. Дюковского (в 1965 г. передан в Московский музей А. П. Чехова): «На досуге. Антоши

Чехонте. Рис. Н. П. Чехова».

Сборник датировался до сих пор 1883 годом на том основании, что хронологически позднейшая в нем пародия «Летающие острова» была напечатана в журнале «Будильник» в мае 1883 г.

При подготовке тома были обследованы дела московской цензуры, хранящиеся в Центральном гос. архиве г. Москвы. Среди бумаг 1882 г. обнаружены документы, объясняющие судьбу первой книги Чехова.

19 июня 1882 г. московская типография Н. Коди, издававшая, в частности, журнал «Зритель», обратилась в цензурный комитет с просьбой выдать ей «билет для представления в корректурных листах книги под названием „Шалопай и благодущные. Альманах Антоши Чехонте с рисунками Чехова“, в которой будет 7 печатных листов» (ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2251, л. 95). Цензурный комитет заседал в тот же день, но в просьбе было отказано «по неимению в виду закона для разрешения настоящего прошения» (там же, ед. хр. 2173, л. 125 об.). 30 июня 1882 г. типография вновь обратилась в цензурный комитет, прося «выдать ей билет для представления в корректурных листах книги „Шалость“ А. Чехонте, с рисунками Н. П. Чехова, книги, в состав которой входят статьи, уже печатавшиеся разновременно в подцензурных изданиях». «Статьи, – говорилось в этом прошении, написанном рукой самого Чехова, – которые еще не были напечатаны, будут доставлены в рукописи. Книга будет со-

стоять из 5—7 печатных листов» (там же, ед. хр. 2251, л. 155). На этот раз просьба была удовлетворена, и типография получила «билет» – право на представление книги цензору. Цензором был действительный статский советник В. Я. Федоров, весьма влиятельный чиновник, вскоре назначенный председателем Московского цензурного комитета.

Обнаруженные материалы позволили установить дату сборника – 1882 (пародия «Летающие острова» относится, таким образом, тоже к 1882 г.), его название – «Шалость» – и полный объем (7 печ. л.)¹.

Дальнейшая судьба первой книги Чехова в сохранившихся документах цензурного архива не отразилась. Но, начиная с Н. А. Лейкиным переговоры о «Пестрых рассказах», Чехов писал: «В Москве находятся издатели-типографы, но в Москве цензура книги не пустит, ибо все мои отборные рассказы, по московским понятиям, подрывают основы» (1 апреля 1885 г.).

Поскольку издание «Сказок Мельпомены» цензурных препятствий не встретило, замечание Чехова может быть отнесено только к первому его сборнику.

Из сборника «Сказки Мельпомены. Шесть рассказов А. Чехонте», М., 1884, в состав настоящего тома вошли: «Он и она», «Барон», «Мечь», «Два скандала», «Жены артистов» (рассказ 1883 г. «Трагик» см. в томе II).

Появление «Сказок Мельпомены» – первой увидевшей свет книги Чехова – вызвало ряд откликов в прессе. В част-

ности, П. А. Сергеевко писал: «...рассказы А. Чехонте живьем вырваны из артистического мирка. Все они небольшие, читаются легко, свободно и с невольной улыбкой. Написаны с диккенсовским юмором Всюду разлит юмор, юмор без надути, и Чехонте обращается с ним весьма осторожно, как и следует. А то за последнее время ужасно как все ударились в юмористику мы только и смеемся, когда начальство острит и нельзя не хихикать, или когда шкуру сдерем с ближнего. Здорового же, веселого, хорошего смеха и в помине у нас не имеется» (Яго. Летучие заметки. – «Новороссийский телеграф», 1884, № 2931, 1 декабря).

В еженедельной газете «Театральный мирок» (выходила под редакцией А. А. Плещеева) была помещена библиографическая заметка о сборнике: «Все шесть рассказов написаны бойким, живым языком и читаются с интересом. Автор обладает несомненным юмором» («Театральный мирок», 1884, № 25).

Отзывом о сборнике начал свой «Московский фельетон» в «Новом времени» А. Д. Курепин, подписавшийся инициалом К. «Напрасно Антоша Чехонте увлекся нашептываниями Мельпомены. Лучше бы ему обратиться к самой жизни и черпать в ней полную горстью материалы для всевозможных рассказов, и веселых и печальных» («Новое время», 1884, № 3022, 28 июля).

Журнал «Наблюдатель» (1885, № 4, стр. 68—68) также напечатал сочувственную рецензию. Здесь о «Сказках Мельпо-

мены» говорилось: «Автор этих рассказов придал им несоответственное название: все они взяты из мира театра, но к музе трагедии не имеют никакого отношения; их могла скорее передать муза комедии, веселая Талия, так как в них преобладает комический или юмористический элемент. Написаны эти рассказы недурно, читаются легко; содержание их и выведенные в них типы близки к действительной жизни».

В 1883 г. в Москве был издан юмористический сборник «Кукареку. Веселые и забавные рассказы, повести и стихотворения» – под ред. Трефоваго Короля (Л. И. Пальмина), где из журналов «Будильник» и «Москва» были перепечатаны, без участия автора, два рассказа Чехова: «Жизнь в вопросах и восклицаниях» и «Забыл!!».

В 1900 г. редакция петербургского журнала «Стрекоза» выпустила как «главную премию журнала» сборник «В мире смеха и шуток», куда вошли некоторые рассказы, стихи, юморески, карикатуры, увидевшие свет на страницах «Стрекозы». В их числе следующие рассказы и юморески Чехова, относящиеся к 1880 г.: «По-американски», «Папаша», «Перед свадьбой», «За яблочки», «Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?». Как показывает сопоставление текстов, это была простая перепечатка (рассказ «Папаша», выправленный Чеховым в 1882 г., здесь воспроизводился по журнальному тексту 1880 г.). Таким образом, сборники «Кукареку» и «В мире смеха и шуток» не могут считаться источниками текста.

Рассказы и юморески ранних лет, не публиковавшиеся при жизни Чехова и сохранившиеся в рукописях, собраны в разделе «Неопубликованное. Неоконченное». Здесь, в частности, впервые полностью помещена юмореска «Рекламы и объявления». Выяснено также, что пародийный «роман» «Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь», в предшествующих изданиях датированный 1884 г., в действительности относится к 1882 г.

2

Все рассказы и юморески, собранные в первом томе, появились в журналах и газетах 1880—1882 годов под псевдонимами или без подписи. Первая достоверно известная подпись Чехова в печати – «...въ» – находилась под «Письмом к ученому соседу». Затем широко применялся известный псевдоним «Антоша Чехонте» и его варианты: Антоша, Чехонте, Ан. Ч., Антоша Ч., Антоша Ч ***, А. Чехонте, Дон Антонио Чехонте. Под некоторыми текстами стояли подписи: Человек без селезенки, Прозаический поэт, Г. Балдастов I.

Готовя для книгоиздательства А. Ф. Маркса первое собрание своих сочинений, Чехов не смог разыскать всё, что было напечатано им за двадцать лет литературного труда, – своих «по всему свету разбросанных детищ». Некоторое число

рассказов и юморесок, опубликованных под нераскрытыми псевдонимами или анонимно, затерялось на страницах журналов и газет конца 70-х – начала 80-х годов и не собрано до сих пор.

При подготовке этого тома были обследованы следующие издания 1877—1883 годов.

Журналы: «Стрекоза», «Будильник», «Осколки», «Иллюстрированный бес», «Зритель», «Свет и тени», «Мирской толк», «Москва», «Развлечение», «Русский сатирический листок», «Колокольчик», «Маляр», «Шут», «Фаланга» (Тифлис), «Гусли» (Тифлис), «Маяк» (Одесса), «Пчелка» (Одесса), «Добряк», «Эхо», «Ребус», «Нувеллист», «Нива», «Нева», «Иллюстрированный мир», «Огонек», «Природа и охота», «Россия», «Кругозор», «Детский отдых», «Родник».

Газеты: «Московский листок», «Минута», «Петербургский листок», «Газета А. Гатцука», «Суфлер», «Театр», «Азовский вестник», «Азовские слухи», «Таганрогский вестник», «Русский курьер», «Московская неделя», «Россия», «Русская газета», «Донская пчела», «Южный край», «Улей», «Порядок», «Светоч», «Свет», «Отголоски», «Гласность», «Рассвет».

Альманахи и сборники: «Незабудка», М., 1878; «Стрелок», М., 1878; «Комар», М., 1878; «Юла», М., 1878; «Весельчак-каламбурист», М., 1879; «Живые струнки», СПб., 1879; «Забавник», СПб., 1879; «Наши смехотворы» («По-

тешная библиотека»), СПб., 1879; «Радуга», М., 1879; «Репертуар веселья, забавы и смеха», М., 1879; «Сверчок», Одесса, 1879; Альманахи «Будильника» на 1879—1882 годы; «Сверчок», М., 1880; «Ворона в павлиньих перьях», М., 1880; «Скоморох», М., 1880; «Смехотвор, или Шуты гороховые», СПб., 1880; «Шут гороховый», Одесса, 1881; «Юморист», М., 1881; «Веселый попутчик», СПб., 1881; «Букет», СПб., 1881; «Чудеса московской выставки», СПб., 1882; «Ей, ей, умру от смеха», СПб., 1882; «Художественный альманах журнала „Свет и тени“», М., 1882; «Обломки», СПб., 1882; «Возбудитель удовольствий жизни, веселья, любви и счастья», М., 1883; «Кукареку», М., 1883; «Живая струна», СПб., 1883; «Муха», СПб., 1883; «Весельчак», СПб., 1883; «Забубенные головушки», СПб., 1883; «Матушкины сынки», СПб., 1883; «Медные лбы», СПб., 1883; «Фонарик», СПб., 1883; «Зубоскал», СПб., 1883; «Мотылек», Киев, 1883.

При обследовании проверялись: свидетельства о первом выступлении Чехова в печати; предположения об авторстве Чехова в спорных текстах; публикации приписываемого Чехову. Удалось обнаружить рассказы, юморески и стихотворения, принадлежащие, вероятно, Чехову (помещены в отделе «Dubia» тома XVIII). В том XVIII отнесены и 12 строк из № 30 журнала «Стрекоза» за 1880 г. («Комары и мухи»), предположительно выделяемые из всей 35-строчной публикации.

А. Пазухину запомнилось участие Чехова в альманахе «Иллюстрированный бес» (см. А. Измайлов. Чехов. М., 1916, стр. 84—85). В единственном увидевшем свет номере (М., 1880; экземпляр хранится в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград) воспроизведены гравированные рисунки Н. П. Чехова; сопровождающий их текст не подписан. По документам архива Московского цензурного комитета установлен автор стихов и фельетонов «Иллюстрированного беса» – Александра Урвановна Соколова, работавшая в малой прессе под псевдонимом «Синее домино» (прошение А. У. Соколовой от 13 мая 1881 г., ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2250, л. 41).

Центральный гос. архив литературы и искусства (Москва) приобрел сохранявшиеся в бумагах книгоиздательства А. Ф. Маркса гранки – материал для дополнительных томов посмертного издания сочинений Чехова. На восемнадцати больших листах сделаны оттиски рассказов, юморесок и фельетонов 1881—1886 годов. В их числе входящие в настоящий том «И то, и се (Письма и телеграммы)», «Салон де варьете», «Темпераменты», «В вагоне»¹, «Свадебный сезон», «Философские определения жизни», «Встреча весны». Здесь же из журнала «Будильник» за 1882 год были перепечатаны три юморески: «Обиднейшие из заграничных уток», «К истории рекламы», «Женский костюм в Париже». Первая была опубликована в «Будильнике» с подписью А., две другие – без подписи. Анализ содержания и стиля этих юморе-

сок приводит к выводу, что они не принадлежат Чехову.

В разное время из старых юмористических журналов перепечатывались, с указаниями на принадлежность их Чехову, тексты неустановленного или спорного авторства. Из их числа в том не включены:

1. Юмореска «Нормальный контракт», перепечатанная за подписью «Человек без селезенки» в журнале «Поток», 1910, № 4, стр. 3. При подготовке тома было выяснено, что «Нормальный контракт» (впервые опубликован без подписи в журнале «Стрекоза», 1880, № 3, стр. 6) принадлежит В. В. Билибину и вошел в его книгу «Любовь и смех. Веселый сборник. Соч. И. Грэк», СПб., 1882, стр. 20—21.

2. Юмореска «Археологический рапорт городничего» («Стрекоза», 1879, № 51, стр. 7, подпись «Н. Г.»), перепечатанная в заметке М. Приваловой «О первом выступлении А. П. Чехова в печати» («Нева», 1964, № 5). Подпись «Н. Г.» принадлежит П. А. Сергеенко, постоянно сотрудничавшему в «Стрекозе» (сокращение обычного его псевдонима «Непризнанный гений»).

3

Утрачены следующие ранние стихи, рассказы, юморески и драматические сочинения Чехова, известные по упоминаниям в письмах, мемуарах современников и «почтовых ящи-

ках» юмористических журналов 1877—1882 годов.

1. «Тарас Бульба», трагедия (самый ранний литературный замысел Чехова; относится к 1873—1874 гг. Scriba. А. П. Чехов по воспоминаниям родственников. – «Приазовский край», 1904, № 180). Из воспоминаний не вполне ясно, была ли трагедия написана или существовала лишь в замысле.

2. Стихотворная сказка; стихотворения 1874—1876 годов. (М. П. Чехов. Антон Чехов на каникулах. В кн. «Чехов в воспоминаниях современников», М., 1954, стр. 66—67; *Чехов и наш край*, стр. 38).

3. «Заика», рукописный журнал 1875—1876 годов (*Письма Ал. Чехова*, стр. 32. Существовало во всяком случае более двух номеров «Заики»).

4. «Из семинарской жизни». Очерк, помещенный в 1877 г. в гимназическом журнале «Досуг» (М. Андреев-Туркин. Чехов в Таганроге. – *Чехов и наш край*, стр. 38—39, 42; П. И. Мессарош. Чехов и гимназический журнал «Досуг» – ЦГА-ЛИ).

5. «Сцена с натуры», 1877 (М. Андреев-Туркин, там же).

6. «Анекдоты», «остроты» и некие «длинные» вещи, предназначенные для журнала «Будильник» 1877 г. – в частности, юморески: «Какой пол преимущественно красится» и «Бог дал» (*Письма Ал. Чехова*, стр. 47—48).

7. Стихотворения, посланные в журнал «Будильник» («Будильник», 1877, № 9, 4 марта, стр. 10: «Не будут

напечатаны: стихотворения Крапивы»).²²¹

8. «Нашла коса на камень», водевиль. 1878 г. (*Письма Ал. Чехова*, стр. 51).

9. «Недаром курица пела», водевиль. Конец 70-х годов (*Вокруг Чехова*, стр. 74).

10. «Бритый секретарь с пистолетом», водевиль. Начало 80-х годов. (М. П. Чехов. Об А. П. Чехове. – В кн.: «О Чехове», М., 1910, стр. 267—268; также «Антон Чехов, театр, актеры и „Татьяна Репина“», Пг., 1924, стр. 8—9).

11. «Скучающие филантропы» («Не будут напечатаны „Скучающие филантропы“ Антоши Чехонте» – «Будильник», 1879, № 45).

12. «Прошение» («Грачевка²²², г. Ан. Че—ву. „Прошение“ длинно и натянуто...» – «Стрекоза», 1880, № 7).

13. «Ужасный сон» («Грачевка, А. Че—ву. „Ужасный сон“ тем только и ужасен, что невозмутимо повторяет всем надоевшие темы» – «Стрекоза», 1880, № 10).

14. «Письмо» («Грачевка, А. Ч—ву. Избитость эпистолярной формы не искупается новизною или юмором содержания» – «Стрекоза», 1880, № 14).

15. «Опыт изложения» («Грачевка, г. А. Ч—ву. „Опыт из-

²²¹ Псевдоним «Крапива» принадлежал Чехову: «Как-то мне приходилось подписываться кое-где Крапивой...» (письмо к Н. А. Лейкину, начало июня 1883 г.). Поскольку в периодической печати 1877—1882 годов этот псевдоним более не встречается, можно полагать, что в упомянутом случае «Будильник» подразумевал именно Чехова.

²²² В журнале – Драчевка и Грачевка. Бытовали оба эти названия.

ложения“ злоупотребляет очень старым мотивом» – «Стрекоза», 1880, № 15).

16. «Ничего не начинай» («Грачевка, 3. Ан. Ч—ву. Несколько острот не искупают непроходимо пустого слово-толчения. Мы говорим о „Ничего не начинай“» – «Стрекоза», 1880, № 18).

17. «Легенда» («...То же о „Легенде“. Кстати: что это за имя такое Фуня?» – там же).

18. «Портрет» («Грачевка, А. Че—ву. „Портрета“ не поместим; он до нас не касается. Вы, очевидно, писали его для другого журнала» – «Стрекоза», 1880, № 44).

19. Рассказ или рассказы («Сретенка, г. А. Ч. Очень длинно и бесцветно: нечто вроде белой бумажной ленты, китайцем изо рта вытянутой» – «Стрекоза», 1880, № 48).

20. Рассказ или рассказы («Сретенка, г. А. Ч—ву. Не расцветев – увядаете. Очень жаль. Нельзя ведь писать без критического отношения к своему делу» – «Стрекоза», 1880, № 51).

21. Рассказ («значительная по объему статья», упомянутая в письме И. Ф. Василевского к А. П. Чехову от 25 марта 1881 г., ГБЛ).

22. «Выучил», рассказ (рукопись была возвращена Чехову: письмо Н. А. Лейкина от 14 ноября 1882 г., ЦГАЛИ).

23. «Между прочим», рассказ (там же).

24. Рассказ или рассказы («Москва. А. П. Ч—ву. Сретенка. – Получили, но, к сожалению, всё это длинно. Форма пре-

красна. Сотрудничество ваше нам давно желательно. Пишите покороче, а мы вам будем платить пощедрее» – «Осколки», 1882, № 45).

Из-за скудости документальных данных пополнить этот список в настоящее время едва ли возможно. Однако не подлежит сомнению, что от ранних – особенно гимназических – лет до нас не дошло гораздо больше того, что известно по беглым упоминаниям в письмах и мемуарах.

Начиная в 1880 г. в петербургских и московских журналах свой профессиональный писательский путь, Чехов не был новичком в литературе: период ученичества и первоначальных опытов он преодолел в Таганроге.

Тексты первого тома подготовил и примечания к ним составил *М. П. Громов*.

Письмо к ученому соседу

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 10, 9 марта (ценз. разр. 6 марта), стр. 6, рубрика «Архив „Стрекозы“». Заглавие: Письмо донского помещика Степана Владимировича N к ученому соседу д-ру Фридриху. Подпись: вь.

Включено Чеховым в сборник «Шалость», отпечатанный в 1882 г. в московской типографии Н. Коди, но не увидевший света из-за цензурных препятствий (подробнее – выше, на стр. 550—552).

Печатается по тексту 1882 г. со следующими исправлениями по журнальной публикации:

Замена в сборнике 1882 г. «отца Герасима» нейтральным «соседом Герасимовым» существенно исказила авторский замысел и была несомненно сделана под давлением цензуры. Упоминания и намеки, связанные с духовенством и православием, последовательно устранялись по всему сборнику 1882 г. (см. об этом в комментариях к рассказам «В вагоне» и «Грешник из Толедо»).

«Письмо к ученому соседу» было написано до 1880 г. Относящаяся к нему заметка в «почтовом ящике» журнала появилась уже 13 января («Стрекоза», 1880, № 2, стр. 8): «Москва, Грачевка, г. А. Че—ву. Совсем недурно. Присланное поместим. Благословляем и на дальнейшее подвижничество». Сохранилось также письмо редактора «Стрекозы»

И. Василевского от 20 января 1880 г.: «Милостивый государь! Редакция честь имеет известить Вас, что присланный Вами рассказ написан недурно и будет помещен в журнале. Гонорар предлагается редакцией в размере 5 коп. со строки» (ЦГАЛИ).

Считая «Письмо...» первым печатным выступлением А. П. Чехова, его брат Михаил Павлович вспоминал: «Произведение его называлось в рукописи „Письмо к ученому соседу“ и представляло собой в письменной форме тот материал, с которым он выступал по вечерам у нас в семье, когда приходили гости и он представлял перед ними захудалого профессора, читавшего перед публикой лекцию о своих открытиях» (Вокруг Чехова, стр. 92—93). По мнению М. П. Чехова, «формой для этого письма послужило письмо его деда Егора Михайловича к его отцу Павлу Егоровичу» («Антон Чехов и его сюжеты», М., 1923, стр. 25).

Вслед за М. П. Чеховым С. Д. Балухатый в своем комментарии (Полн. собр. соч. А. П. Чехова, т. I, М. – Л., 1930, стр. 428—429) отметил, что «раннее обращение Чехова к писанию юмористических рассказов вытекало из комического, как бы „органического“, дара Чехова, который изливался не только в словесном творчестве, но и в письмах, беседах, в обыденной жизни писателя», и привел отрывок из послания неустановленного лица (датировано 6 августа 1825 г.), которое сохранялось в книжном шкафу ялтинского дома Чехова и «своими старинными оборотами» могло «послужить Че-

хову толчком к созданию стилистической пародии в своем первом печатном произведении».

В малой прессе конца 70-х – начала 80-х годов пародийный жанр «посланий» и «писем» был распространен широко.

С темой «Письма к ученому соседу» перекликается, например, анонимное послание писателя («Будильник», 1878, № 22, стр. 313): «Милостивый государь и землевладелец! Письменным визитом моим к особе вашей желательно мне только выяснить апробацию и симпатию мою к персоне, в столице первопрестольной местопребывание имеющей. Среди некультурной среды тенденциозных обывателей я испытываю муки апатического человека...» Отличительной чертой большинства таких «писем» был поверхностный, утрированный комизм. В газете «Минута», например, было напечатано «Письмо к предмету» Шайтан-бея (А. И. Сыщанко): «Милое, но капризное создание! Чувствуя к вам интегральные абстракты и увлекаясь манипуляцией поверхностных нервов, ввиду герметически-созерцаемого в торичеселлевой глубине вашего душевного электричества, я эксплуатирую душевный антагонизм перед вашим животворным пейзажем, который пополняет мой ум плантациями хлороформа» и т. д. («Минута», 1882, № 131).

Используя избитую жанровую форму, Чехов решал новую для юмористической журналистики задачу: языковой строй «письма» был подчинен характеру лица, от имени которого

оно сочинялось.

К 1880 году у Чехова был серьезный литературный опыт. Первые его пьесы – драма «Безотцовщина» и водевили 1877—1878 годов – были написаны «превосходным языком и очень характерным для каждого там выведенного лица» (Письма Ал. Чехова, стр. 51). Такой именно язык отличает и «Письмо к ученому соседу». В тонких акцентах его орфографии, витиеватости слога, в своеобразии «старческих иероглифов» раскрыт глубокий образ, предвещающий черты Хамелеона и унтера Пришибеева.

Что чаще всего встречается в романах, повестях и т. п.?

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 10, 9 марта (ценз. разр. 6 марта), стр. 7. Подпись: Антоша.

Печатается по журнальному тексту.

Источником пародии послужили романы и повести – в частности, переводные или написанные в подражание переводным – из так называемых семейных журналов («Нива», «Огонек», «Газета А. Гатцука» и др.). С кругом этого «семейного» чтения Чехов был хорошо знаком еще в гимназические годы: «...сразу видно, что я начитался немецких романов» (письмо к М. М. Чехову от 8 февраля 1877 г.).

Реестры литературных трюизмов и штампов Чехов составлял для себя и позднее. «Неверных жен, самоубийц, кулаков, добродетельных мужиков, преданных рабов, резонирующих старушек, добрых нянюшек, уездных остряков, красноносых капитанов и „новых“ людей постараюсь избежать» (письмо к А. С. Суворину от 11 марта 1889 г.). «Отставные капитаны с красными носами, пьющие репортеры, голодающие писатели, чахоточные жены-труженицы, честные молодые люди без единого пятнышка, возвышенные девицы, добродушные няни – всё это было уж описано и должно быть объезжаемо, как яма» (письмо к Ал. П. Чехову от 8 мая 1889 г.).

За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 19, 11 мая (ценз. разр. 7 мая), стр. 7—8, с подзаголовком: (Роман в одной части без пролога и эпилога). Подпись: Чехонте.

В 1882 г. включено, с небольшими исправлениями, в сборник «Шалость».

Печатается по тексту 1882 г.

Широко распространенная в малой прессе «семейная тема» трактовалась обычно как бытовой анекдот. Например: Полковник Скалозуб. Страстная любовь. – «Будильник», 1878, № 11, стр. 155—156; Педро Каникулярные работы институтки Наденьки N

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 24, 15 июня (ценз. разр. 12 июня), стр. 3. Подпись в тексте, стр. 26.

Печатается по журнальному тексту.

Пародийный жанр гимназических «сочинений» характерен для юмористики 80-х годов. Очевидным подражанием Чехову явилась, например, «Ваканционная работа Жени Тучкиной на тему: „О пользе каникул и как я провела оные“» А. Педро (А. П. Подурова), напечатанная в «Будильнике», 1881, № 47, стр. 719. Заимствуя сюжет, Подуров, однако, не поднялся выше словесной клоунады, обычной в журналах тех лет: «Знакомых у меня никого не было. С сыном священ-

ника, студентом, мы были знакомы. Это был высокий стройный юноша довольно низкого роста, отчасти похожий на гиганта. Он был глубокомыслен и умен, так как изобрел для мамы мышеловку...»

«Он ахнуть не успел, как на него медведь насел». – Неточная цитата из басни И. А. Крылова «Крестьянин и работник».

Папаша

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 26, 29 июня (ценз. разр. 26 июня), стр. 6—7. Подпись: Ан. Ч.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Печатается по тексту 1882 г. с исправлением: больше невыносим – вместо: больно невыносим (стр. 32, строка 12).

В архиве А. П. Чехова сохранилось письмо И. Василевского, относящееся, по-видимому, к рассказу «Папаша» (датируется 23 июня 1880 г., ЦГАЛИ):

«Милостивый государь Антон Павлович!

Присланное Вами в этот раз будет напечатано в „Стрекозе“. Вообще редакция относится с сочувствием к Вашему, не лишенному успешности, сотрудничеству.

Счеты с иногородними сотрудниками контора журнала сводит два раза в год – 1 января и 1 июля. После окончания первого полугодия благоволите выслать счет, с обозначением Ваших статей и номеров журнала, в которых они помещены. Гонорарная нормаль – 5 коп. со строки».

Включая рассказ в 1882 г. в сборник, Чехов провел небольшую стилистическую правку и внес существенное дополнение – описание взятки.

Прообразами учителя математики и его жены Ариадны могли послужить действительные лица.

П. П. Филевский в своих воспоминаниях писал об учи-

теле Владимире Дмитриевиче Старове и его жене Ариадне Черец: «Дальнейшая история В. Д. Старова очень грустная началась семейная драма. Молодая женщина любила бывать на балах в клубе, в театре Для балов и театра нужны были наряды, их доставать учитель не мог, хотя и старался, впадая в долги. Поклонники Ариадны Григорьевны, богатые греки, стали делать ей подарки, она их принимала, это повергало несчастного Старова в отчаяние, он стал манкировать службой, брал частные уроки с большою платою...» («Таганрогская гимназия в ученические годы А. П. Чехова», рукопись ТМЧ). В тексте рассказа характерны слова учителя: «Дорого ты стоишь мне, Ариадна!.. Прихоти твои не имеют пределов!»»

Мой юбилей

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 27, 6 июля (ценз. разр. 3 июля), стр. 6. Подпись в тексте, стр. 34.

Печатается по журнальному тексту.

Принадлежность юморески Чехову установлена по редакционному письму от 17 января 1881 г., опубликованному впервые А. В. Коротаевым (А. В. Коротаев. Неизвестная шутка А. П. Чехова. – «Литературный современник», 1938, № 4, стр. 150—151). В письме приведен гонорарный расчет с Чеховым за второе полугодие 1880 г.

Тысяча одна страсть, или Страшная ночь

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 30, 27 июля (ценз. разр. 24 июля), стр. 6—7. Подпись: Антоша Ч.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость». Последний лист сборника не сохранился; до нас дошла лишь одна страница рассказа («На башне св. Ста сорока шести мучеников ~ нехорошее предзнаменование! – пробормотал»).

Готовя текст для сборника, Чехов дал новый подзаголовок («Робкое подражание Виктору Гюго»), снял посвящение и в первой строке опустил слова «св. Ста сорока шести мучеников». Поскольку сохранившийся фрагмент не позволяет судить о характере и объеме дальнейшей правки. «Тысяча одна страсть...» печатается по журнальному тексту.

В «романе» Чехова пародируются характерные черты романтически приподнятого стиля В. Гюго: «Триста сорок восемь лет шесть месяцев и девятнадцать дней тому назад парижане проснулись под перезвон всех колоколов, которые неистовствовали за тремя оградами» (В. Гюго. Собор Парижской Богоматери. Собр. соч. в 15 т., т. 2, М., 1953, стр. 7).

«На башне св. Ста сорока шести мучеников пробило полночь. Я задрожал. Настало время. Я судорожно схватил Теодора за руку...» (Чехов).

В романе «Отверженные»:

«Эшафот – это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его мясо, пьет его кровь. Эшафот – это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв» (В. Гюго, т. 6, стр. 26).

«Дождь и снег – эти мокрые братья – страшно били в наши физиономии Ветер стонал, выл, рыдал... Стон ветра – стон совести, утонувшей в страшных преступлениях Луна – беспристрастный, молчаливый свидетель сладостных мгновений любви и мщения Жерло вулкана – пасть земли» (Чехов).

Чехов пародировал также популярный в малой прессе «роман ужасов» – псевдоромантическую прозу «Московского листка», романы и повести А. Пазухина, А. Соколовой и др.

За яблочки

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 33, 17 августа (ценз. разр. 14 августа), стр. 6—7. Подпись: Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Сюжет рассказа «За яблочки» был заимствован у Чехова А. Пазухиным, который повторил его на доступном ему литературном уровне (бытовой анекдот, освобожденный от каких бы то ни было сатирических и социально-психологических черт): А. Пазухин. Яблоки (рассказ). – «Новости дня», 1883, № 37, 3 августа, стр. 3.

Перед свадьбой

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 41, 12 октября (ценз. разр. 9 октября), стр. 8. В подзаголовке: (Посвящаю милой сердцу). Подпись: Антоша Чехонте.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Печатается по тексту 1882 г.

При переработке рассказа Чехов снял посвящение, сократил пространное вступление к «сезонной» теме и освободил текст от банальных острот, обычных в юмористической журналистике. Снято, например: «более счастливые барышни теряют букву ш и становятся барынями»; «что может быть теплее, судари мои, хорошего приданого?»

Фразы: «Как вы наивны!» и «Я ...не скептик и не циник...» (стр. 47 и 50) повторены позднее в рассказе «Мошенники поневоле», 1882 (см. стр. 473, строка 13).

По-американски

Впервые – «Стрекоза», 1880, № 49, 7 декабря (ценз. разр. 4 декабря), стр. 3. Подпись: Антоша Ч.

Перепечатано в журнале «Развлечение», 1886, № 4, 15 апреля.

Печатается по тексту журнала «Стрекоза».

Жены артистов

Впервые – «Минута», 1880, № 7, 7 декабря, под рубрикой «Воскресные очерки». Заглавие: Португальская легенда на русский манер о женах артистов. Подпись: Дон Антонио Чехонте. Переработано для «Альманаха „Будильника“», М., 1882 (ценз. разр. 5 декабря 1881 г.), где напечатано под заглавием «Жены артистов» (стр. 50—56). Подпись: Антоша Чехонте. В 1882 г. включено в сборник «Шалость», а в 1884 г. – в книгу «Сказки Мельпомены».

Печатается по тексту 1884 г. со следующими исправлениями по другим источникам:

Перерабатывая рассказ для «Альманаха „Будильника“», Чехов изменил заглавие и подпись, дал подзаголовок («Перевод ... с португальского»), обозначил дату и место написания («10-го марта 1881 года. Сант Яго-де-Компостелли») и провел сплошную стилистическую правку. Были устранены просторечия и стилевые вульгаризмы, изменены имена персонажей и названия. В конце введен эпизод с чтением «рассказца» о докторе Таннере и его жене, где в пародийном виде отразилась действительная история, происшедшая летом 1880 г. Как сообщил 26 июля петербургский еженедельник «Всемирная иллюстрация», американский доктор Таннер, «приехавший в Нью-Йорк из Минезотты, обрек себя, с научной целью, на полное голоданье в продолжение соро-

ка дней». 9 августа «Всемирная иллюстрация» рассказывала о том, как Таннер выдержал испытание. Из журнальных сообщений об американском докторе в рассказ «Жены артистов» перешли некоторые детали, в частности упоминание об «1/23 gr. венгерского вина» (когда окончилась голодовка, Таннер выпил с едой «одну унцию венгерского вина»).

В ряде случаев правка текста для «Альманаха „Будильника“» может быть объяснена вмешательством цензуры. Так, восклицание Амаранты: «Эта мне еще цензура! С тех пор, как я стала твоею, я ненавижу эту цензуру всею душою!» («Минута») в «Альманахе „Будильника“» было изменено на безобидное: «Это несчастье! С тех пор, как я стала твоей, я всей душой ненавижу редакторов!»

Для сборника «Шалость» Чехов внес в текст лишь несколько стилистических поправок. В «Сказках Мельпомены» редакция была более существенной: устранены некоторые подробности, связывавшие роман Зинзаги с Россией или допускавшие в начале 80-х годов злободневно-политическое истолкование («Его освобождает горсть студентов», «хотя подкупить и за отказ присуждают к смертной казни»).

Принято считать, что «Жены артистов» представляют собою литературную пародию на А. Додэ (см. комментарии к Полн. собр. соч. А. П. Чехова, т. I, 1930, стр. 431).

Рассказ, видимо, представляет собой не столько литературную пародию, сколько юмористическое повествование «на русский манер» о неустроенном быте молодых худож-

ников, литераторов и студентов, какими в 1880 г. были сам А. П. Чехов, его старшие братья, его друзья. К. А. Коровин вспоминал о жизни Н. П. Чехова в гостинице «Восточные номера», на втором этаже которой поселился И. Левитан, «бывший в то время еще учеником Училища живописи...». Здесь в комнате брата А. П. Чехов готовился к экзаменам, писал, встречался с московской артистической молодежью (К. А. Коровин. Из моих встреч с А. П. Чеховым. – ЛН, т. 68, стр. 550 и след.).

Петров день

Впервые – «Будильник», 1881, № 26, 29 июня (ценз. разр. 26 июня), стр. 404—405 и 408. Заглавие: Двадцать девятое июня (Шутка). (С удовольствием посвящается гг. охотникам, плохо стреляющим и не умеющим стрелять). Подпись: Антоша Чехонте.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Готовя рассказ для сборника, Чехов изменил заглавие и провел стилистическую правку, устранив очевидные погрешности журнальной редактуры.

Темпераменты

Впервые – «Зритель», 1881, № 5, 17 сентября (ценз. разр. 14 сентября), стр. 4—6. Подпись: Антоша Ч ***.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Печатается по тексту 1882 г. с восстановлением двух мест из журнальной редакции.

Не подлежит сомнению, что эти купюры были сделаны в 1882 г. если не по прямому требованию цензуры, то в предвидении цензурных изъятий.

Критика «Московских ведомостей» стала в то время совершенно невозможной. 20 января 1883 г. Н. А. Лейкин писал Чехову: «С тех пор, как в Главном управлении по делам печати засел Феоктистов, – услужливые цензора вымарывают отовсюду слова „Катков“ и „Московские ведомости“, если об них говорится без достодожного уважения» (ГБЛ). Между тем в строках об «известнейшем, бессмертнейшем соседе „Зрителя“» подразумевалась редакция «Московских ведомостей», располагавшаяся, как и «Зритель», на Страстном бульваре в Москве, а вся характеристика холерико-меланхолика являлась сатирическим выпадом против М. Н. Каткова.

Замысел чеховской юморески через несколько лет был бесталанно заимствован Н. М. Ежовым. Например, характеристика сангвиника и меланхолика дана у Ежова так: «Сангвиник. – Прекрасного, но не глубокого характера мужчинка.

Ветрен, любит выпить и объясниться в любви, но жениться не любит. Особые приметы: „чичиковский“ подбородок и всегда подмигивающий пикантным женщинам левый глаз. Меланхолик. – По ногам и шее напоминает жирафа. В движениях медлителен, как рак. В юности влюбляется, но не в женщин, а в „идеал“. В старости становится Плюшкиным и мечтает о Нирване. Смотрит невинным идиотиком» (Д. К. Л-й. Темпераменты (Руководство для невест). – «Осколки», 1888, № 44, 29 октября).

В вагоне

Впервые – «Зритель», 1881, № 9 (ценз. разр. 29 сентября), стр. 4—6. Заглавие: Извлечение из путевого журнала. Подпись: Антоша Ч.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Печатается по тексту 1882 г.

Готовя текст для сборника, Чехов устранил подробности, придававшие рассказу оттенок фельетона (дано новое заглавие, снята начальная фраза: «...Самая лучшая Поляковская железная дорога»). Из числа персонажей исключено духовное лицо («крестьянин» вместо «дьякон», «Соломенная шляпа ворочается» вместо «Дьякон ворочается»). Опущены также комические детали, примелькавшиеся в юмористической журналистике или перенесенные автором в другие рассказы: «Жену в прошлом году у друга отнял Тещу ненавижу... Прости меня, о моя теща! Не раз желал тебе погибели, не раз сыпал в твой кофе жженой пробки!» (использовано в рассказе «Перед свадьбой»: «Я сам не любил своей тещи, так не любил, что неоднократно позволял себе подсыпать в ее кофей жженой пробочки»).

Салон де варьете

Впервые – «Зритель», 1881, № 11 (ценз. разр. 4 октября), стр. 3—6. Подпись: Антоша Ч. Иллюстрации к тексту сделаны Н. П. Чеховым.

Печатается по журнальному тексту.

Популярное в Москве музыкально-увеселительное заведение «Салон де варьете» помещалось на Большой Дмитровке и усиленно рекламировалось московскими газетами (например, «Московским листком»). Содержателем Салона был Кузнецов.

Как вспоминает М. П. Чехов, братья Антон и Николай бывали в Салоне де варьете со своими шуйскими родственниками – купцами. Коля, Мухтар и Иван Иванович, выведенные в заключительных эпизодах очерка, – это Н. П. Чехов, крупный шуйский бакалейщик Ф. И. Гундобин и шуйский купец И. И. Лядов. Мухтаром (по имени турецкого генерала Мухтар-паши, главнокомандующего войсками Кавказско-го фронта в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг.) прозвал Гундобина А. П. Чехов, «и так сей почтенный шуянин именовался до своего восьмидесятилетнего возраста» (см. Вокруг Чехова, стр. 96, а также поздравительную надпись А. П. Чехова на фотографии, посланной шуйским родственникам к новому 1881 г. – ЛН, т. 68, стр. 279).

О Салоне де варьете Чехов писал в 1883 и 1884 годах в

«Осколках московской жизни».

Суд

Впервые – «Зритель», 1881, № 14 (ценз. разр. 23 октября), стр. 2—3. Заглавие: Сельские картинки. а) Суд. Подпись: Антоша Чехонте.

Текст рассказа был переработан Чеховым для издания А. Ф. Маркса и предназначался для второго тома (письмо к Ю. О. Грюнбергу, 21 мая 1899 г.). В ГБЛ хранятся гранки, набранные для этого издания, без правки. Каждая страница перечеркнута крест-накрест. На первой странице рукою Чехова написано: «Рассказ „Суд“ – исключить».

Печатается по тексту гранок ГБЛ.

Первоначальное заглавие показывает, что Чехов задумывал в 1881 г. серию «сельских картинок». Замысел этот осуществлен не был.

Готовя рассказ для собрания сочинений, Чехов заметно сократил его, устранил ряд побочных сюжетных мотивов и второстепенных персонажей (дьякона, лавочника Минаса Разбабая, приказчика, унтер-офицера, регента, урядника), изменил характеристику действующих лиц и провел значительную стилистическую правку текста.

Реплики исключенных персонажей были переданы другим, преимущественно – жандарму, фигура которого стала главенствующей.

Козьма Егоров превращен в лавочника (было – фельд-

шер), сын его Серапион – в парикмахера (было – Митрофан, писарь).

Язык персонажей освобожден от просторечных и искаженных форм: «Я рассуждений длинных не обожаю...», «Я от вас, кроме серебристых да медюги, ничего не видал», «Отвечай обществу!», «Надо в морда бить!»

Подчеркивая в образе «подсудимого» безропотное «страдание за правду», Чехов опустил его протестующий монолог: «Терзайте! Вот моя грудь! » и реплику: «А ваше дело, Глеб Глебыч... цыц!»

Финальные строки в тексте 1881 г. («Серапион богатырем выходит из избы») исчерпывали сюжет. Новая концовка обратила его резким сатирическим акцентом:

«А жандарм Фортунатов долго потом ходит по двору, красный, выпуча глаза и говорит:

– Еще! Еще! Так его!»

Контора объявлений Антоши Ч...

Впервые – «Зритель», 1881, № 15 (ценз. разр. 24 октября), стр. 7; № 19 (ценз. разр. 18 ноября), стр. 15. Имя автора – в заголовке.

Печатается по журнальному тексту.

Пародийный жанр «объявлений» – один из самых популярных в юмористической журналистике 1880-х годов. См., например, «Курьезные объявления», за подписью: «Украдулев», весьма близкие по содержанию и стилю юморескам Чехова («Развлечение», 1880, № 14, стр. 231).

И то и се (Поэзия и проза)

Впервые – «Зритель», 1881, № 16 (ценз. разр. 29 октября),
стр. 8. Подпись: Антоша Ч.

Печатается по журнальному тексту.

И то и се (Письма и телеграммы)

Впервые – «Зритель», 1881, № 23 и 24, сдвоенный (ценз. разр. 6 декабря), стр. 13—14. В оглавлении: И то и се: Письма и телеграммы. Антоши Ч.

Печатается по журнальному тексту.

Грешник из Толедо

Впервые – «Зритель», 1881, № 25 и 26, сдвоенный (ценз. разр. 23 декабря), стр. 9—10. Подпись: Антоша Ч.

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Печатается по тексту 1882 г. с восстановлением по журнальной публикации пропуска: «и хвалился любовью ко Христу. Но может ли, не раз думала Мария, любить тот Христа, кто не любит человека?» (стр. 111, строки 37—39). Это место было изъято при включении рассказа в сборник. Аналогичная цензурная вымарка была сделана в «Рассказе старшего садовника» (1894): «Веровать в бога не трудно. В него веровали и инквизиторы, и Бирон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуйте!» (письмо А. П. Чехова к И. И. Горбунову-Посадову, 31 декабря 1894 г.).

Как и в других «переводных» рассказах молодого Чехова, ссылка в подзаголовке на «перевод с испанского» носит условный характер.

«Грешник из Толедо» воспринимался как стилевая пародия, «стилизация, использующая экзотический испанский материал для раскрытия новеллы с неожиданным финалом» (Полн. собр. соч. А. П. Чехова, т. I. М. – Л., 1930, стр. 432) или «стилизация средневековых новелл» (ПССП, т. I, стр. 549).

Между тем, содержание рассказа (убийства и казни во

имя Христа и ради исполнения абстрактного «долга») явственно перекликается с событиями начала 80-х годов, временем резкого усиления реакции в России.

Особенную тревогу в эти годы передовым русским людям внушала судьба молодежи. В письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину из Швейцарии (1882) Г. З. Елисеев писал:

«Там, на родине, наступила новая полоса жизни как должны чувствовать себя молодые, которые, воспитав себя под другого рода веяниями и чаяниями, не видят теперь ничего около себя, кроме увеличивающейся кругом себя мерзости, и вместе с тем сознают свое полное бессилие сделать что-нибудь против нее?.. Можно скорее, судя по настоящему, думать, что мерзость, чем далее, тем более будет возрастать, а возможность действовать против нее – уменьшаться и дойти до нуля. Ужасное положение!» («Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину», М., 1935, стр. 94—95).

Конфликт между «возрастающей мерзостью» законов и догм и требованиями человеческой совести русская молодежь 80-х годов переживала с большой драматической силой:

«...законным властям дано опасное право, – право произвола, и жизнь доказала массой ужасающих фактов, что они злоупотребляли этим правом. Произвол отклоняет жизненные течения с пути идейной переработки и закона на путь личных столкновений. Он порождает тот разлад между законным требованием и требованием совести, который

я решаюсь выразить в настоящем случае» (В. Г. Короленко. Письмо пермскому губернатору, июнь 1881 г. – Собр. соч., т. 10, М., 1956, стр. 48).

Дополнительные вопросы к личным картам статистической переписи...

Впервые – «Будильник», 1882, № 5, (ценз. разр. 29 января), стр. 65. Имя автора – в заголовке.

Печатается по журнальному тексту.

«Статистическая перепись населения» была проведена в Москве 23—25 января 1882 г. и вызвала ряд откликов в малой прессе: П. А. Зухин. О переписи толкуют (сценка). – «Московский листок», 1882, № 12; А. Ед. На волчьей садке

Впервые – «Литературное приложение журнала „Москва“», 1882, к № 5 (ценз. разр. 3 февраля), стр. 32—33. Подпись: Антоша Ч.

Печатается по журнальному тексту.

Травля волков, организованная в январе 1882 г. на Ходынском поле в Москве, вызвала отклики в московских газетах и журналах. Фельетон «Травля волков на Ходынке (наброски и сценки)» опубликовал А. Пазухин, заключив его словами: «И уходит народ с садки волков с тяжелым чувством чего-то противного, крайне возмутительного...» («Московский листок», 1882, № 10; подпись «П. А. Зухин»), В № 7 той же газеты напечатан стихотворный фельетон „Волчья садка“ Фигаро из Сущева (Л. И. Гуляева):

...Да нельзя не лететь,

Есть на что посмотреть:
Затравляют волков по порядку.
А всё славный прогресс
В нас вселил интерес
Любоваться на волчью садку.

Эти отклики, среди которых очерк Чехова выделяется остротой типических зарисовок и резким осуждением кровавого зрелища, привели к тому, что в следующем 1883 году садка волков производилась уже без публики (см. заметку Н. Т-ого в журнале «Природа и охота», 1883, февраль, стр. 85—86).

Комические рекламы и объявления

Впервые – «Будильник», 1882, № 7 (ценз. разр. 12 февраля), стр. 81. Имя автора – в подзаголовке.

Печатается по журнальному тексту.

«Комические рекламы» Чехова пародируют содержание и стиль объявлений, заявлений и реклам, появлявшихся в московских газетах в 1881—1882 годах.

Задачи сумасшедшего математика

Впервые – «Будильник», 1882, № 8 (ценз. разр. 20 февраля), стр. 94. Подпись – в тексте, стр. 125.

Печатается по журнальному тексту.

Жанр «арифметической» пародии в малой прессе 70—80-х годов был представлен весьма широко. См., например, – ро (А. П. Подуров). Задачки житейской арифметики. – «Стрекоза», 1879, № 30, стр. 7; Фу-че-фу. Премированные задачи (великопостное упражнение мозга от скуки). – «Стрекоза», 1882, № 12, стр. 3.

Забыл!!

Впервые – «Москва», 1882, № 8 (ценз. разр. 25 февраля),
стр. 57—58. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Жизнь в вопросах и восклицаниях

Впервые – «Будильник», 1882, № 9 (ценз. разр. 26 февраля), стр. 106. Подпись: Антоша Чехонте.

В части тиража (комплекты журнала в ГБЛ и ГПБ) страница, на которой напечатан рассказ, помечена ошибочно 92, а текст отличается несколькими вариантами. После: «За что вы моего сына на второй год оставили?» (стр. 130, строка 31) – восклицание: «Бабушка пришла!»; вместо «дядюшка» (стр. 132, строки 7—8) – «votre excellence». Последний вариант – и в сохранившейся рукописи рассказа.

Черновой автограф (хранится в ГБЛ) – на обороте листа плотной, большого формата, белой бумаги с фабричным знаком в верхнем углу. На лицевой стороне листа – «Роман» (см. в этом томе стр. 485).

Сохранилась также (ЦГАЛИ) писарская копия рассказа, с пометкой: «NB. В полное собрание не войдет. Ант. Чехов».

Печатается по тексту «Будильника».

Как видно из сопоставления рукописного текста с печатным, Чехов, редактируя рассказ, поправил его стилистически, а также опустил некоторые бытовые подробности и намеки. Были устранены жаргонные формы («мейне либе...», «Шик!»), изменены реплики («Шям... шям... панского!» вместо «Шампанского!»).

В журнале текст юморески по сравнению с автографом

несколько расширен, изменены финальные строки.

Исповедь, или Оля, Женя, Зоя

Впервые – «Будильник», 1882, № 12 (ценз. разр. 20 марта), стр. 149—151. Без подписи (подпись: Г. Б—в – дана от имени персонажа).

В 1882 г. включено в сборник «Шалость».

Печатается по тексту сборника.

Перерабатывая «Исповедь...» для сборника, Чехов ввел подзаголовок «(Письмо)», изменил подпись на «Макар Балдастов» и сделал ряд стилистических поправок.

Имя «Г. Балдастов» было использовано в «Календаре „Будильника“ на 1882 год. – Апрель» (стр. 158).

Встреча весны

Впервые – «Москва», 1882, № 12 (ценз. разр. 23 марта), стр. 90—91. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

«Встреча весны» иллюстрирована в журнале цветным рисунком худ. И. Кланга.

Являясь «литературно-художественным», журнал «Москва» сопровождал иллюстрации пояснительным текстом. Тексты обычно снабжались подзаголовком: «К рисунку ». Как «подпись» была задумана и «Встреча весны» (см. в тексте, стр. 142): «У нас она изображена тоже дамочкой», но дать обычный подзаголовок редакция не решилась: литературный материал был значительно богаче иллюстрации.

Календарь «Будильника» на 1882 год

Впервые – «Будильник», 1882: № 10 (ценз. разр. 6 марта), стр. 118; № 11 (ценз. разр. 13 марта), стр. 130; № 12 (ценз. разр. 20 марта), стр. 142; № 14 (ценз. разр. 9 апреля), стр. 170. Подписи: в №№ 10, 11 и 12 – Антоша Чехонте; в № 14 – Г. Балдастов.

Печатается по журнальному тексту.

Среди «календарных» юморесок, весьма распространенных в малой прессе (например, «Брюсов календарь» – фельетонное обозрение текущих событий в «Стрекозе»), юмористическая публицистика Чехова выделялась тематической злободневностью, остротой сатирических подробностей и намеков, зашифрованных в своеобразной форме пародийного «календаря».

Постоянно затрагивалась в чеховском «календаре» тема «всеобщего недоумения», охватившего русское общество начала 80-х годов («в Карфагене всеобщее недоумение», «в Рыбинске недоумение...»). Значительнейшие события общественной жизни, о которых сообщалось читателю в календаре, – это ярмарки («валдайские колокольчики, бубенчики», «сильная продажа копеечных марок»), стихийные бедствия («в г. Житомире, по случаю грязи, приостановится движение... умов»); зачастую констатировалось полное отсутствие каких бы то ни было событий, абсолютный застой

(«...в остальных городах Российской империи, кроме понедельника, ничего не произойдет»).

В «календаре» критиковалось обывательское мелкотемье и неактуальность прессы («В „Донской пчеле“ горячая передовая статья по поводу перехода израильтян через Чермное море...»), убожество театрального репертуара (апрель – 1, 5 и след.).

«Календарь» осмеивал увлечение «черной магией», астрологией и спиритизмом, распространившееся в эти годы («...видна будет звезда с двумя хвостами и одним крылом: признак неурожая на картофель...»).

Остро парировал Чехов выпады против реалистической литературы и особенно против Салтыкова-Щедрина, участвовавшие в реакционной прессе 80-х годов. В заметке, отнесенной к 24 марта: «Зола, Щедрин и Боборыкин, разбитые архичудаком И. Н. Павловым, бросят писательство и займутся бакалейной торговлей» – подразумевалось состоявшееся 2 марта 1882 г. в Москве публичное чтение И. Н. Павлова, о котором «Московские ведомости» (5 марта, № 64) сообщали: «Третье чтение И. Н. Павлова о современной литературе было посвящено разбору ложных видов литературы, являющихся оттого, что в литературное, т. е. в поэтическое, художественное произведение вносятся чуждые ему политические, социальные и научные задачи Как на одного из главных представителей ложной политическо-социальной литературы г. Павлов указал на Щедрина, который направляет смех

на веру и нравственный закон и, исходя из частных, отрицает общее. Благодаря тому, что Щедрин обладает низшею формою таланта, состоящей в изобретении хлестких и курьезных слов, он имеет немало поклонников, принимающих грубо-нелепые фантазии сатирика за действительность...»

Сатирическая реплика Чехова появилась в журнале едва ли не вопреки редакционной линии, поскольку «Будильник» и сам участвовал в нападках на Салтыкова-Щедрина; в 1881 г. (№ 29, обложка) здесь была помещена карикатура на великого сатирика с грубым выпадом против него в подписи.

Множество саркастических намеков и пародийных упоминаний посвящено консервативной и реакционной прессе, ее вождям и идеологам (кн. В. П. Мещерскому, И. С. Аксакову, И. А. Баталину и др.). Например, редакцию «Руси» зав. календарем благодарил за рецепт кваса, «Новостям» напоминал: «Мясоед скоро. Плодите уток», а 30 марта сообщал о возникновении отделившейся от «Нового времени» газеты «Благонамеренные козлы».

Пародийные исторические имена и даты связаны с системой «классического» образования, насаждавшейся в России и противопоставлявшейся естественным наукам, материализму, традициям демократической культуры 60-х годов.

В 1899 г., готовя собрание сочинений, Чехов писал А. С. Лазареву-Грузинскому: «„Будильника“ за 1881 г. не ищите, „Календаря“ не велите переписывать» (письмо от 5 апреля 1899 г.).

Зеленая коса

Впервые – «Литературное приложение журнала „Москва“», 1882, к № 15 (ценз. разр. 23 апреля), стр. 108, к № 16 (ценз. разр. 30 апреля), стр. 109—112. Подпись: Антоша Чехонте.

«Маленький роман» Чехова иллюстрирован в журнале рисунком его брата Николая: «После свидания (к рассказу „Зеленая коса“)». Рисунок напечатан в красках, в разворот листа; рассылался как приложение к № 15 журнала. Текст: «На пороге, подняв голову ~ Мерзкая!» (стр. 171) был напечатан курсивом и сделано редакционное примечание: «См. в № 15-м рисунок „После свидания“».

Среди персонажей «Маленького романа» – реальные лица; Чехов сохранил в повествовании их подлинные имена.

«Свидание хотя и состоялось, но ...»

Впервые – «Москва», 1882, № 17 (ценз. разр. 7 мая), стр. 128—129, под рубрикой «Дачные рассказы». Рассказ А. П. Чехова помечен цифрой «I». Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

В предыдущем (16) номере журнала «Москва» был помещен рисунок Н. П. Чехова «Он выпил», иллюстрирующий тот эпизод рассказа, когда опьяневший Гвоздиков «машинально ставил пробку на горлышко бутылки и целился в нее щелчком» (стр. 176). Текст к рисунку в № 16 «Москвы» дан за подписью: М. Б—ов (М. Белобородов).

Корреспондент

Впервые – «Будильник», 1882, № 20 (ценз. разр. 20 мая), стр. 245—247, и № 21 (ценз. разр. 27 мая), стр. 258—259.

Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту со следующими поправками:

Сельские эскулапы

Впервые – «Свет и тени», 1882, № 178 (22), 18 июня, стр. 319—322. Подпись: Антоша (в оглавлении номера: Антоша Ч.).

Печатается по журнальному тексту.

Пропавшее дело

Впервые – «Спутник», 1882, № 11, 22 июня (ценз. разр. 19 июня), стр. 5—7. Имя автора – в подзаголовке.

Печатается по журнальному тексту.

Летающие острова

Впервые – «Будильник», 1883, № 19 (ценз. разр. 21 мая), стр. 148—149. Подпись: А. Чехонте.

В июне 1882 г., до публикации в журнале, «Летающие острова» были включены в сборник «Шалость», с подзаголовком «Соч. Жюль Верна. (Пародия)».

Сохранилась писарская копия журнального текста, с надписью: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГА-ЛИ).

Печатается по тексту журнала «Будильник».

В начале 1883 г. Чехов отправил пародию в журнал «Осколки». Н. А. Лейкин вернул рукопись, пояснив в письме от 1 марта 1883 г. мотивы отказа:

«Мерекал и так и сяк – но все-таки приходится мне возвратить Вам Ваши „Летающие острова“. Во-первых, вещь ничего иного не представляет, как пародию на манеру писания Ж. Верна, а во-вторых – и это главное, – длинна для „Осколков“. Вещица как пародия прекрасная, слов нет, Брет-Гарт составил себе славу пародиями, но для „Осколков“ длинна. Вы отлично пародируете. Вот если бы Вы когда-нибудь попробовали строчках на 200 написать несколько пародий на 4—5 писателей – дело другое. Можно бы взять Боборыкина, Каразина, Данченко, Лескова, Авсеенко, Маркевича – и, разумеется, утрировать до невозможности. Впро-

чем, это в будущем».

В «Будильнике» пародия была напечатана с теми же рисунками Н. П. Чехова, которые первоначально были помещены в сборнике «Шалость».

При подготовке текста для публикации в журнале Чехов провел небольшую стилистическую правку и внес изменение, публицистически заострившее пародию: остров Иоганна Гоффа (пивного заводчика) переименован в остров князя Мещерского и соответственно «объявления Иоганна Гоффа» заменены всюду «сочинениями князя Мещерского». Резко критические оценки и упоминания реакционного публициста, издателя «Гражданина» В. П. Мещерского особенно часты в юморесках и фельетонах Чехова 1883 г.

Скверная история

Впервые – «Свет и тени», 1882, № 179(23), 26 июня, стр. 336—337, и № 180(24), 4 июля, стр. 350—351. Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту с исправлением: Развязка романа – вместо: Завязка романа (стр. 220, строка 19).

С рассказом «Скверная история» связан сохранившийся в архиве Чехова (ГБЛ) набросок, озаглавленный «Роман» (см. стр. 485 наст. тома). В наброске намечена тема («Женихи, где вы?!»), обозначено имя героини (Леля; соответственно Леля Асловская в «Скверной истории»), кратко рассказано о ее переживаниях («...хлопнула дверью, послала ко всем чертям горничную, упала на постель и больно укусила подушку»); заголовок автографа – «Роман» – явно перекликается с подзаголовком рассказа.

В предыдущих изданиях Чехова к «Скверной истории» относилось письмо редакции журналов «Свет и тени», «Мирской толк» и «Европейская библиотека», неверно датированное 1882 годом. В действительности письмо написано в 1883 г. (дата в подлиннике) и касается публикации рассказа «В море» (т. II).

Двадцать девятое июня

Впервые: «Спутник», 1882, № 12, 29 июня (ценз. разр. 27 июня), стр. 1—4. Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту со следующими поправками (см. контекст):

Возвращаясь к сюжету, уже разработанному однажды на сходном материале («Петров день» – стр. 67—79), Чехов дал совершенно необычную трактовку «сезонной» охотничьей темы. Анекдотические ситуации самой охоты, комедийные черты охотничьих нравов и страстей, существенные в замысле «Петрова дня», а для тогдашней заурядной юмористики – единственно важные, в новом рассказе отошли на дальний план, уступив место повествованию о захолустных нравах и «каверзной» психологии обитателей Отлетаевки, где «рак – рыба, Фома – человек и ссора – живое слово».

Который из трех?

Впервые – «Спутник», 1882, № 14, 13 июля (ценз. разр. 10 июля), стр. 7—9. Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Заголовок рассказа и его сюжет варьируют мотив, распространенный в юмористической беллетристике 70—80-х годов. См., например: Г. В. Которая из двух? (Материал для романа). – «Стрекоза», 1877, № 41; Без. Которая из двух? (Фантастично-романтическое происшествие). – «Стрекоза», 1883, № 17.

«Тройной» любовный сюжет, уже использованный Чеховым в юмореске «Исповедь, или Оля, Женя, Зоя» (стр. 133—189), но решенный в юмористическом ключе (сюжетные линии обрываются на комических нечаянностях), в рассказе «Который из трех?» возобновлен на иной основе: характеры персонажей, их поведение, облик, речь, конфликты между ними получили здесь отчетливое социально-психологическое обоснование.

Он и она

Впервые – «Мирской толк», 1882, № 26, 23 июля, стр. 83—85. Подпись: А. Чехонте.

Вошло в сборник «Сказки Мельпомены», М., 1884.

Печатается по тексту 1884 г. с исправлением по журналу: вылетел – вместо: вылетал (стр. 246, строка 1).

Готовя текст для сборника, Чехов устранил ряд отрицательных суждений о певице, преимущественно в письме мужа. В ее характеристике было опущено: «обтесавшаяся, выдрессированная», «...эту мегеру, эту медузу», и в других случаях изменено: «тяжелая на подъем» на «неповоротливая», «в три погибели стянутая» на «стянутая», «она отвратительна» на «похожа ли она на соловья?». В рассказе повествователя о муже, напротив, появилось: «как червяк, забравшийся в хорошее яблоко», «пигмея, покрытого лягушачью слизью», «Благодаря этим кривым ногам и особенной странной походке его дразнят в Европе почему-то „коляской“». Были введены новые подробности артистического быта и осуществлена стилистическая правка, подчеркнувшая своеобразие персонажей.

«Он и она» – рассказ оригинальной и сложной формы; в нем есть элементы театрального фельетона, очерка, психологического повествования. Многочисленные упоминания о репортерах, рецензентах, театральных обедах, приемах сви-

детельствуют о пристальном интересе Чехова к театру, к психологии и быту кулис. Во второй половине 1882 г. были опубликованы также «Два скандала», «Барон» и «Мечь» – рассказы, указывающие на близкое знакомство автора с жизнью тогдашнего театра.

Ярмарка

Впервые – «Москва», 1882, № 28 (ценз. разр. 25 июля), стр. 232—233. Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Достоверность описания города и его обитателей, многочисленные – и, несомненно, реальные – подробности ярмарочного быта, наконец, текст афиши, подлинность которой Чехов оговорил специально («Я укоротил афишу, но ничего не прибавил») – всё это свидетельствует о том, что «Ярмарка» представляет собою очерк, в основу которого положены действительные впечатления от поездки в один из заштатных подмосковных городов. «Маленький, еле видимый городишко» – всего вероятнее, Воскресенск, где с 1879 г. учительствовал брат Чехова Иван Павлович (см. Вокруг Чехова, стр. 131—133).

Барыня

Впервые – «Москва», 1882, № 29 (ценз. разр. 30 июля), стр. 239—241; № 30 (ценз. разр. 7 августа), стр. 245—247; № 31 (ценз. разр. 17 августа), стр. 255—256. Подпись: Антоша Чехонте (в № 29 – без подписи).

Печатается по журнальному тексту.

Опубликование на страницах «Москвы» серьезного, далекого от юмористики рассказа обусловлено характером и своеобразным направлением, отличавшим этот журнал в ряду изданий малой прессы.

В «Москве» из номера в номер шли сценки, рассказы, романы с продолжением, так или иначе связанные с деревенской жизнью. Одним из самых плодовитых авторов «деревенской» темы был здесь М. Б—ов (М. Белобородов), напечатавший незадолго до Чехова рассказ «Гремячевские луга», по сюжету и теме близкий «Барыне», но представляющий собой характерный образец обычной для малой прессы нравоучительно-сентиментальной, точнее – жалостливой, прозы. Например, сцена возмездия за убийство выглядит в этом рассказе так: «От большого образа Казанской божией матери, стоящего прямо против входа и освещенного теперь горящими лампадами, отделилась вся в каком-то небесном сиянии фигура богоматери и, идя ему навстречу с поднятою рукою, проговорила, указывая на него перстом:

„Убийца, злодей, поджигатель!..“» («Москва», №№ 24—25, стр. 201).

Тема деревенской жизни, уже наметившаяся в ранней прозе Чехова («За яблочки», 1880), продолжена в «Барыне» в иной тональности. Строгий реализм бытовых описаний, психологическая достоверность образов, социальная острота драматического конфликта предвосхищают деревенские рассказы зрелых лет («Убийство», «Мужики», «В овраге»).

Ненужная победа

Впервые – «Будильник», 1882: № 24, 18 июня (ценз. разр. 17 июня), стр. 294—295; № 25, 25 июня (ценз. разр. 24 июня), стр. 309—310; № 26, 2 июля (ценз. разр. 1 июля), стр. 320—322; № 27, 9 июля (ценз. разр. 8 июля), стр. 331—333; № 29, 23 июля (ценз. разр. 23 июля), стр. 354—355; № 30, 30 июля (ценз. разр. 29 июля), стр. 367—369; № 31, 6 августа (ценз. разр. 5 августа), стр. 380—381; № 32, 13 августа (ценз. разр. 12 августа), стр. 391—393; № 33, 20 августа (ценз. разр. 19 августа), стр. 404—405; № 34, 27 августа (ценз. разр. 26 августа), стр. 417—418. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

О возникновении замысла «Ненужной победы» А. В. Амфитеатров вспоминал: «Однажды в моем присутствии он держал пари с редактором „Будильника“, А. Д. Курепиным, что напишет повесть, которую все читатели примут за повесть Мавра Иокая, – и выиграл пари, хотя о Венгрии не имел не малейшего представления, никогда в ней не бывал. Его молодой талант играл, как шампанское, тысячами искр» (сб. «Курганы», СПб., 1905, стр. 25).

М. П. Чехов сообщает, что А. Д. Курепин оговорил «право перестать печатать его в любой момент» (Вокруг Чехова, стр. 124). Журнальный текст сохраняет следы произвольных – по-видимому, редакторских – сокращений (так, например,

был опущен эпизод, где Тереза оскорбила Артура, назвав его «шарлатаном»; многочисленные упоминания об этой обиде не мотивированы в предшествующем повествовании). Уже 29 июля 1882 г. Курепин предложил Чехову закончить рассказ: «Сейчас прочел всё, доставленное Вами из „Победы“, и убедился, что пора кончать. Остановились Вы как раз на удобном пункте: в одном нумере – похождения Ильки в Париже, в другом – развязка, и punctum. Будем лучше печатать мелкие рассказы» (ГБЛ). По-видимому, Чехов не согласился с планом редактора, поскольку в следующем письме Курепин разрешил ему занять еще один номер: «Располагайте тремя номерами. На один есть, парижские похождения Ильки пусть займут другой, в третьем – развязка» (2 августа 1882 г., ГБЛ). Если считать, что слова «на один есть» относились к № 31 (вышел 6 августа), то продолжение «Ненужной победы» печаталось не в двух, как хотел того Курепин, а в трех номерах (№№ 32, 33, 34), и финал рассказа был, тем не менее, скомкан. Поэтому едва ли справедливо замечание М. П. Чехова о том, что «он благополучно был доведен до конца» (Вокруг Чехова, стр. 124).

Книги венгерского писателя Мавра Йокая (1825—1904), которому Чехов якобы подражал в «Ненужной победе», появились в русских переводах в конце 70-х годов (одно из первых изданий – роман «Немецкая гордость»; объявление в журнале «Свет и тени», 1879, № 43). Имя М. Йокая скоро завоевало широкую известность, его романы и повести

печатались в «семейных» журналах («Беглец» – «Иллюстрированный мир», 1880, №№ 21—24; «Король Духова дня» – «Нива», 1880, №№ 46—47; «Червонное золото» – «Нива», 1881, с № 23 до конца года) и выходили отдельными изданиями («Новый помещик», 1880; «Двойная смерть», 1881). Биографические очерки о Мавре Иокае появились в журналах «Иллюстрированный мир» (1880, № 21) и «Нива» (1881, № 27).

Однако прямых аналогий между «Ненужной победой» и переводами из М. Иокая, напечатанными в русских журналах начала 80-х годов, провести нельзя. Поэтому рассказ Чехова нет оснований считать ни литературной пародией, ни, тем более, подражанием.

«...в „Ненужной победе“ перед нами совсем иной мир: большие люди, большие страсти, резкие столкновения, социальные конфликты, – жизнь, богатая действием и событиями. Мелодраматические элементы сюжета и стиля настолько густо насыщают повесть, что невольно возникает предположение о ее пародийном характере. Однако для пародии здесь недостает карикатурности, нарочитости, подчеркнутой ироничности тона. Пародии здесь нет, но есть известная стилизация и, что самое интересное, есть в этой повести апофеоз сильных людей и благородных натур» (Г. А. Бялый. Чехов. В кн. «История русской литературы», т. IX, АН СССР, М. – Л., 1956, стр. 360).

По свидетельству современников, «роман» Чехова имел

большой успех (Вокруг Чехова, стр. 124). Своеобразное имя героини – Илька – в сознании тогдашнего читателя ассоциировалось, вероятно, с именем «венгерского соловья» – певицы Этельки Герстер-Гардини, гастролировавшей осенью 1882 г. в Москве.

В 1899 г., готовя собрание сочинений, Чехов просил А. С. Лазарева-Грузинского помочь в переписке «рассказов и мелочей», напечатанных в «Будильнике»: «Нельзя ли найти такого человека, который взялся бы переписать все, кроме романа „Ненужная победа“, и прислать мне?» (письмо 24 января 1899 г.).

На основе «Ненужной победы» несколько раз создавались киносценарии (фильмы «Карьера уличной певички», «Ненужная победа», «Илька», «Конец рода Вунич»).

Живой товар

Впервые – «Мирской толк», 1882: № 28, 6 августа, стр. 104—106; № 29, 14 августа, стр. 110—112; № 30, 22 августа, стр. 119—120; № 31, 27 августа, стр. 125—128. Подпись: А. Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Повесть посвящена Федору Федосеевичу Попудогло (1846—1883), журналисту, драматургу, с которым Чехов был в дружеских отношениях. В октябре 1883 г. он писал брату Александру: «14 октября умер мой друг и приятель Федор Федосеевич Попудогло. Для меня это незаменимая потеря Он был старожил литературный и имел прекрасный литературный нюх, а такие люди дороги для нашего брата, начинающего Неразумие, небрежность, халатное отношение к жизни своей и чужой – вот отчего он умер 37 лет от роду».

В некрологе «Будильника» (1883, № 42, обложка, стр. 2) отмечалось: «В „Будильнике“ он напечатал свою пятиактную драму „Вукол Бахрушин“ и небольшие бытовые сценки и рассказы, в которых проглядывали проблески несомненного таланта и глубокой наблюдательности. Особенно удавались Ф. Ф. сценки из купеческого быта».

М. П. Чехов вспоминал: «Библиотека Попудогло, по воле последнего, досталась Антону Павловичу, который оплатил ее стоимость его вдове» (Вокруг Чехова, стр. 108).

Цветы запоздалые

Впервые – «Мирской толк», 1882: № 37, 10 октября, стр. 197—199; № 38, 17 октября, стр. 212—214; № 39, 23 октября, стр. 225—228; № 41, 11 ноября, стр. 243—245. Подпись: А. Чехонте.

В архиве Л. П. Чехова (ЦГАЛИ) сохранились две авторские рукописи: одна содержит начало первой главы, другая соответствует всей первой главе рассказа (на обороте последнего листа цифровые подсчеты, росчерки, черновик личного письма – рукою М. П. Чеховой). В ГБЛ находится листок, на котором рукою Чехова написано: «Цветы запоздалые (Маленький роман)».

Печатается по журнальному тексту.

В сравнении с окончательной (журнальной) редакцией автографы дают много существенных различий. Так, князя Приклонские именовались первоначально Зебровыми. При публикации в журнале были опущены некоторые бытовые детали и подробности в характеристике старой княгини, Егорушки, Маруси; сокращены: рассказ о вечернем визите Топоркова, суждения Маруси о докторе, описание «душевных терзаний» Егорушки и т. д. Лирический вводный пейзаж (до слов: «Скучно было и в доме князей Приклонских») в измененном виде перенесен в начало третьей главы.

«Цветы запоздалые» посвящены Николаю Ивановичу Ко-

робову. В 1879 и начале 1880-х годов Н. И. Коробов, однокашник А. П. Чехова по университету, жил в доме Чеховых. «Он быстро сошелся с Антоном, и до самых последних дней оба они были близкими друзьями» (Вокруг Чехова, стр. 88). В архиве Чехова сохраняются письма Н. И. Коробова разных лет.

В «Цветах запоздалых» возобновлены некоторые мотивы, разработанные ранее в «Безотцовщине» (в пьесе реплика Осипа о Платонове: «Самый обыкновенный человек! Даже хуже...» и в размышлениях княжны о Егорушке: «он просто-напросто самый обыкновенный человек, такой же человек, как и все, даже еще хуже...»).

При жизни Чехова повесть была переведена на сербско-хорватский язык: Доцкан. – «Београдске новине», 1901, № 280, 281.

В 1959 г. Ю. К. Олеша инсценировал «Цветы запоздалые» для театра. В пьесе сохранены все основные образы и сюжетные мотивы чеховского текста (рукопись находится в архиве Ю. К. Олеша).

Речь и ремешок

Впервые: «Осколки», 1884, № 47, 24 ноября (ценз. разр. 23 ноября), стр. 5. Подпись: А. Чехонте.

Сохранилась вырезка из журнала, с пометой: «„Осколки“». НВ. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Из письма Н. А. Лейкина к Чехову от 14 ноября 1882 г. (см. ниже примечания к рассказу «Нарвался») явствует, что рассказ «Речь и ремешок» был написан до ноября 1882 г.

О судьбе рассказа Лейкин сообщил Чехову 3 декабря 1882 г.: «Ваша прекрасная статейка „Речь и ремешок“ не дозволена цензурой к напечатанию. Цензор по моей просьбе представлял ее в заседание цензурного комитета, но и там она не прошла» (ЦГАЛИ). 4 декабря 1882 г. в «Почтовом ящике» № 49 «Осколков» было напечатано по этому поводу: «А. П. Ч —ву. Головин пер. — Ваша прекрасная статейка — увы и ах!»

В 1884 г. Лейкин предпринял новую попытку провести рассказ через цензуру:

«Заметив, что в последнее время цензура стала как будто послабее, я послал в цензуру корректуру Вашего старого непропущенного рассказа „Речь и ремешок“ и, о диво! Корректурка прислана обратно с дозволением печатать. Но я боюсь, не поместили ли Вы „Речь и ремешок“ где-нибудь, кроме „Осколков“. Корректурочка лежала у меня с 1882 го-

да» (ГБЛ).

А. И. Чехов ответил: «Сей рассказ напечатан нигде не был. Суть его я припоминаю, исполнение забыто... Прочту с удовольствием, как нечто не мое...» (16 ноября 1884 г.).

Нарвался

Впервые – «Осколки», 1882, № 47, 20 ноября (ценз. разр. 19 ноября), стр. 4. В подзаголовке: (Из летописи Лиговско-Чернореченского банка). Подпись: Антоша Чехонте.

Текст был подготовлен для издания А. Ф. Маркса. Вырезка из журнала «Осколки» с правкой Чехова хранится в ГПБ. На полях пометки: «„Осколки“ 1882, № 47»; «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов».

Печатается по журнальному тексту с учетом авторских поправок.

При доработке был снят подзаголовок, придававший рассказу фельетонный характер, и после слов: «Я болен и спать хочу» – введены четыре строки диалога:

«– Это вы нам?

– Вам.

– Что вам угодно?

– Не извольте кричать! Я спать хочу!»

Сохранились относящиеся ко времени публикации рассказа в «Осколках» письма редактора Н. А. Лейкина, в которых оговорены условия работы Чехова в журнале:

«Милостивый государь! Имею честь Вас уведомить, что присланные Вами в два приема рассказы я получил и отобрал из них для помещения в журнал „Осколки“ три рассказа: „Речь и ремешок“, „Неудачный визит“ и „Нарвался“. За

присылку их приношу Вам мою благодарность. Два же рассказа „Выучил“ и „Между прочим“ спешу Вам при сем возвратить. Мне вообще приятно Ваше сотрудничество. Мелкие Ваши прозаические вещицы я всегда готов помещать, ежели они будут согласны с программой журнала. Ежели у Вас будут мелочишки для отдела „Осколочки“ или подписи к рисункам, то прошу присылать и таковые» (14 ноября 1882 г., ЦГАЛИ).

В письме от 3 декабря 1882 г. Лейкин сообщал Чехову, что гонорар в «Осколках» определен ему по 8 коп. со строки.

Неудачный визит

Впервые – «Осколки», 1882, № 48, 27 ноября (ценз. разр. 26 ноября), стр. 6. Подпись: Человек без селезенки.
Печатается по журнальному тексту.

Два скандала

Впервые – «Мирской толк», 1882, № 46, 16 декабря, стр. 302—305. В подзаголовке: (Посвящается Ф. О. Шехтель).
Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Сказки Мельпомены», М., 1884.

Печатается по тексту 1884 г.

При включении рассказа в сборник Чехов устранил в речи дирижера экспрессивные вульгаризмы, уточнил бытовые подробности и внес некоторые стилистические поправки.

Прообразом дирижера, по свидетельству М. П. Чехова, был П. А. Шостаковский, основатель Русского филармонического общества, известный дирижер и пианист, с которым братья Чеховы были хорошо знакомы и в доме которого «стали бывать запросто».

«Это был приятнейший, гуманнейший и воспитаннейший человек. Но если дело касалось музыки, которую он обожал, то он забывал обо всем на свете, превращался в льва и готов был разорвать в клочки каждого из своих музыкантов за малейшую ошибку в оркестре. Кажется, в своем рассказе „Два скандала“ Антон Чехов, описывая дирижера, взял за образец именно Шостаковского» (Вокруг Чехова, стр. 135—136).

Франц Осипович Шехтель (1859—1926), которому при публикации в журнале был посвящен рассказ, близкий друг Николая и Антона Чеховых, в 80-х годах художник-иллю-

стратор (работал в юмористических журналах под псевдонимами Финь-Шампань и Ф. Ш.) и декоратор (осуществил ряд постановок в театре М. В. Лентовского). Впоследствии – архитектор, академик архитектуры, строитель здания МХТ в Москве, Библиотеки им. А. П. Чехова в Таганроге. Дружба и переписка с Ф. О. Шехтелем не прерывалась у Чехова до конца жизни (подробно об отношениях семьи Чеховых с Ф. О. Шехтелем см. в т. I Писем и Вокруг Чехова, стр. 278 и след.).

Идиллия – увы и ах!

Впервые – «Осколки», 1882, № 51, 18 декабря (ценз. разр. 17 декабря), стр. 5. Подпись: Антоша Чехонте.

Сохранились черновой автограф и вырезка из журнала «Осколки» с пометой: «NB. В полное собрание не войдет. А. Чехов» (ЦГАЛИ).

Печатается по журнальному тексту.

Перед публикацией в журнале текст был несколько сокращен (описание обеда у Рыкова, речь Насечкина) и выправлен стилистически.

Барон

Впервые – «Мирской толк», 1882, № 47, 20 декабря, стр. 317—319. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Сказки Мельпомены», М., 1884.

Печатается по тексту 1884 г.

Перерабатывая рассказ для сборника, Чехов значительно сократил его, изменил трактовку образа барона, уточнил и исправил в связи с этим ряд деталей повествования. Была опущена вся история барона, занимавшая в журнале несколько столбцов (см. варианты, стр. 532). Эта история явно перекликалась с рассказом о бароне Карле фон-Зайнице в «Ненужной победе» и представляла собой вариант намеченного там сюжетного мотива (см. стр. 292—297 наст. тома). Образ барона был переосмыслен: «барон» не титул, а кличка, ироническое прозвище, происхождение и смысл которого в новом тексте оставлены без объяснений. Соответственно опущены или изменены подробности, объяснявшиеся в первоначальном тексте родовитостью барона.

В новом варианте рассказа усилена тема бескорыстной любви барона к театру («Смерть не за горами. Она скоро придет и навсегда возьмет его из театра...») и резче подчеркнута степень человеческого унижения («Люди не могут допустить, что он имеет собственную физиономию!») – вместо «Ему даже не позволено иметь собственной физионо-

мии!»).

Добрый знакомый

Впервые – «Осколки», 1882, № 52, 25 декабря (ценз. разр. 24 декабря), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

В рассказе получил развитие сюжетный мотив, намеченный в 1881 г. в юмореске «И то и се. Поэзия и проза» (см. в этом томе стр. 104).

Мечь

Впервые – «Мирской толк», 1882, № 50, 31 декабря, стр. 354—356. Подпись: А. Чехонте.

Включено в сборник «Сказки Мельпомены», М., 1884.

Печатается по тексту 1884 г. с исправлением по журнальной публикации: произведен в театры – вместо: произведен в театр (стр. 465, строка 2).

Перерабатывая рассказ для сборника, Чехов, помимо незначительной стилистической правки, уточнил речевую характеристику персонажей (см., например, варианты к стр. 462, строки 26—27, и к стр. 464, строки 17—19).

Конец рассказа изменен так, что совершившаяся «мечь» не вызывает у комика ни торжества, ни укоров совести, на которые намекали финальные фразы журнальной редакции; произошло обычное событие закулисной жизни: «Пил пиво и – больше ничего».

Пережитое

Впервые – «Зритель», 1883, № 1 (ценз. разр. 31 декабря 1882 г.), стр. 5—6. Подпись: Антоша Чехонте.

Печатается по журнальному тексту.

Философские определения жизни

Впервые – «Зритель», 1883, № 1 (ценз. разр. 31 декабря 1882 г.), стр. 7. Подпись: Антоша Чехонте.

Первоначальный вариант одного из «определений жизни» находится на листке с записью «Комических реклам и объявлений», как пародийное название недавно вышедшей книги «Рассуждение» (см. в этом томе стр. 544).

В ГБЛ сохранился черновой автограф юморески под заглавием «Философское определение жизни» и с подписью «Человек без селезенки». Текст близок к окончательному, однако нет последнего «определения жизни», а во всех остальных случаях отсутствуют ссылки на «авторов» изречений.

Печатается по журнальному тексту.

Мошенники поневоле

Впервые – «Зритель», 1883, № 1 (ценз. разр. 31 декабря 1882 г.), стр. 8. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Гадальщики и гадальщицы

Впервые – «Зритель», 1883, № 1 (ценз. разр. 31 декабря 1882 г.), стр. 8. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту.

Кривое зеркало

Впервые – «Зритель», 1883, № 2 (ценз. разр. 5 января), стр. 6. Подзаголовок: Святочный фантастический рассказ. Подпись: А. Чехонте.

Включено в издание А. Ф. Маркса.

Сохранились черновой и белой автографы рассказа (ГБЛ).

Печатается по тексту: Чехов, т. 1, стр. 299—303.

Рассказ «Кривое зеркало» был написан до 1883 г. Беловой автограф датирован Чеховым: «Зритель 82, 27/ХІІ». Повидимому, рассказ предназначался для святочного (предновогоднего) номера журнала, но публикация его по каким-то причинам была отложена. Иллюстрации к рассказу сделал Н. П. Чехов.

Для публикации в журнале рукопись перебелялась еще раз.

Перерабатывая текст для издания А. Ф. Маркса, Чехов изменил подзаголовок, исключив из него слово «фантастический», снял утрированно-комические обороты, экспрессивные вульгаризмы («старушенция» и др.), злободневные намеки и подробности – всё, что проникало в ранние его рассказы, печатавшиеся в юмористической журналистике. Опущено, например: «Я увидел женщину ослепительной красоты, столько же похожую на мою жену, сколько я на свой заты-

лок»; «Кривое зеркало покривило уродливую физиономию моей супруги и сделало из нее хорошенькую рожицу». После слов: «...и какой роман!» опущено: «Ничего подобного, душенька, не даст тебе ни „Заграничный вестник“, ни Ахматова, ни Пушкирев в своей „Европейской библиотеке“». Удалена финальная фраза «О женщины, женщины! – восклицаю я теперь, и восклицаю правду, хотя я не Шекспир и даже не Аверкиев».

При жизни Чехова рассказ был переведен на болгарский, сербо-хорватский и словацкий языки:

Кривото огледало. Прев. Хр. Калинов. – Българска сбирка, 1904, кн. 7.

Криво огледало (Коледен разказ). Прев. К. Т. Митишев. – А. Чехов. Съчинения. Т. I. София, 1904.

Криво огледало. С рус. Р. П. Лешјанин. – Народни Лист, I, 1901, № 8.

Varal se je. Piel. J. M. Mir. – Celovec, Ljubljana, Prevalje, 20/1901, br. 22.

Криво огледало. С рус. Б. Топаловић. – Јавност, I, 1903, № 36.

Varljivo zrcalo. Prel. Jaklic. – Slovenec, Ljubljana, 31/1903, br. 219.

Krive jrkadlo. – Slovenske noviny, 1901, с. 227.

Два романа

Впервые – «Осколки», 1883, № 2, 8 января (ценз. разр. 7 января), стр. 5. Подпись: Человек без селезенки.

Печатается по журнальному тексту, с исправлением по черновому автографу (ЦГАЛИ): Я поглядел на него, поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него – вместо: Я поглядел на себя в зеркало, опять поглядел на него (стр. 482—484, строки 39—1).

Как явствует из письма Н. А. Лейкина к Чехову, «Два романа» были написаны не позднее декабря 1882 г.: «Ваши прелестные вещички „Роман репортера“ и „Роман доктора“ пойдут в № 2 журнала» (31 декабря 1882 г., ГБЛ).

В автографе «Роман репортера» предшествует «Роману доктора». В сравнении с рукописью журнальный текст несколько изменен, внесены стилистические поправки (см. варианты); в финале «Романа доктора» появилось рассуждение о лечении женской болтливости со ссылкой на диссертацию, посвященную этой теме.

Роман

Впервые – А. П. Чехов. Забытое и несобранное. Составил А. И. Роскин. Биб-ка «Огонек», изд-во «Правда», М., 1940, стр. 13.

Автограф на лицевой стороне листа, оборот которого занят черновиком «Жизни в вопросах и восклицаниях» (ГБЛ).

Печатается по автографу.

Судя по содержанию, «Роман» связан с рассказом «Скверная история (Нечто романообразное» и, возможно, представляет собой первый черновой набросок замысла этого рассказа.

Письмо в редакцию

Впервые опубликовано С. Д. Балухатым в альманахе «Литературная мысль», Пг., 1923, II, стр. 211.

Черновой автограф хранится в ТМЧ; не датирован.

Печатается по автографу.

Пародийное «Письмо в редакцию» и связанная с ним юмореска «Рекламы и объявления» (см. в этом томе стр. 486) были написаны Чеховым не ранее ноября и не позднее декабря 1882 г. Их злободневно-публицистический смысл подтверждается прямой ссылкой на статью Н. К. Михайловского «Забывтая азбука») («Отечественные записки», 1882, № 11, ноябрь, стр. 102—123).

Статья была посвящена первым номерам ежемесячного журнала «Друг женщин», который издавался в Москве в 1882—1884 годах М. С. Богуславской (подлинное ее имя — «Редакторша Богуславская» — Чехов сохранил в своих юморесках). Программа журнала, который «ведется дурно, беспорядочно, смутно», ханжеский дух его религиозно-нравственных статей, «мистическая отсебятина», беспочвенные нападки на реализм и материализм, полное забвение реальных условий жизни русской женщины — всё это получило суровую критическую оценку в статье «Забывтая азбука».

Заканчивая статью, Н. К. Михайловский писал:

«Баснь эту можно бы и более пояснить, но вы видите во

всяком случае, что в духовных сферах „Друга женщин“ можно проводить время довольно весело, если только остерегаться опьянения реализмом...».

Чехов в своей юмореске высказывает, в сущности, полное согласие с критиком «Отечественных записок», перефразируя отдельные места его статьи.

Так, в «Забытой азбуке» сказано:

«Г-жа Елизавета Бабкина пишет в редакцию: „Совершенно верно сказал, забыла, какой-то немец, про настоящее время, что люди опьянели от реализма“».

У Чехова:

«Мы открыли, что эта черная земля, эти люди несчастны потому, что опьянели от реализма».

В «Забытой азбуке»:

«„Друг женщин“ просто валит в одну кучу всё, что ему не нравится, и называет ту кучу „реализмом“ или „материализмом“. Например, червонные валеты для всякого обыкновенного смертного просто мошенники... а для „Друга женщин“ это „представители крайнего материализма“».

У Чехова:

«Мы открыли, что червонные валеты есть не что иное, как представители крайнего материализма, погубившего мир».

Рекламы и объявления

Впервые опубликовано С. Д. Балухатым в альманахе «Литературная мысль», Пг., 1923, II, стр. 212.

Черновой автограф хранится в ТМЧ; не датирован.

Печатается по автографу.

Юмореска не была опубликована Чеховым; но часть ее была обработана в начале 1883 г. и составила «Библиографию», напечатанную в отделе «Винт» журнала «Мирской толк» (см. т. II наст. изд.), а заключительный абзац, зачеркнутый в рукописи (см. в этом томе стр. 544), вошел в измененном виде в «Философские определения жизни».

Тайны ста сорока четырех катастроф, или Русский Рокамболь

Впервые опубликовано С. Д. Балухатым в альманахе «Литературная мысль», Пг., 1923, кн. II, стр. 213—216.

Печатается по черновому автографу (ТМЧ).

Автограф – на четырех сложенных вдвое листах писчей бумаги, со множеством помарок, вставок, зачеркнутых строк. Без подписи и без даты.

Попытка датировать «роман» Чехова была предпринята в 1929 г. (А. П. Чехов. Несобранные рассказы. Собрал, подготовил к печати и снабдил примечаниями И. С. Зильберштейн. Academia, Л., 1929, стр. 165): «Датировать это произведение можно концом 1883 или началом 1884 года, когда в газетах начали появляться материалы о знаменитом „Деле Скопинского банка“. Нашу датировку можно считать наиболее вероятной, сопоставив упоминание о Мельницком – казначее Московского воспитательного дома – с заметкой Чехова о нем же, напечатанной в „Осколках московской жизни“ в первом номере „Осколков“ 1884 г.».

Эта датировка, принятая в последующих изданиях сочинений А. П. Чехова, основана на ошибочных предположениях.

Материалы о деле Скопинского банка «начали появляться» в газетах не в конце 1883 г., а уже в 1882 г. (первую телеграмму о крахе банка опубликовал «Русский курьер», 1882,

№ 272). В 1884 г., после затянувшегося следствия, состоялся судебный процесс над Рыковым и его помощниками; но в «Рокамболе» о процессе нет ни слова. Напротив, Рыков еще на свободе, и события, о которых Чехов пишет в связи с ним, соответствуют начальной стадии дела (попытка уйти от разоблачений, подкуп, доносы и пр.). Характерна деталь, использованная Чеховым в телеграмме (глава I), адресованной «кавалеру ордена Льва и Солнца Рыкову» и подписанной «М. Вальяно». В газете «Русский курьер» сообщалось в 1882 г.: «Иван Гаврилович Рыков, директор Скопинского банка, коммерции советник, потомственный почетный гражданин и кавалер многих орденов – между прочим, даже персидского ордена „Льва и Солнца“...».

Что касается авантюрного дела М. Вальяно, таганрогского контрабандиста-миллионера, то оно началось еще в 1881 г. («Московский листок», 1881, 24 декабря). Фраза «Вальяно выпущен из тюрьмы...» (глава III «Рокамболя») соответствует газетному сообщению: «Винovníк таможенных недоразумений, купец Вальяно, успел и свободу себе исходатайствовать, и тюрьму покинуть, и залог за себя внести. Правда – залог в миллион, но что значит миллион, если его состояние – 50 миллионов. Нечего и думать, конечно, о том, чтобы дело это дошло когда-нибудь до разбирательства» («Московский листок», 1882, № 38, 8 февраля). Никаких сообщений о деле Вальяно в газетах 1884 г., естественно, уже не появлялось.

Ссылка И. С. Зильберштейна на «дело Мельницкого» нуждается в уточнении. Известия о том, что казначей Московского воспитательного дома Федор Илиодорович Мельницкий потерял саквояж, в котором были уложены 300 000 казенных рублей, появились в газетах зимой 1881 г. («Московский листок», 1881, № 83 и след.). Репортеры собирали драматические подробности о ходе следствия над Мельницким и подготовке процесса над ним («Московский листок», 1882, №№ 14, 16 и т. д.), о ходе суда, на котором интересы Воспитательного дома защищал Ф. Н. Плевако (материалы о суде печатались во всех московских газетах начиная с 4 ноября 1882 г.). В «Осколках московской жизни» 1884 г. Чехов писал о повторном суде над Мельницким, во время которого дело его было пересмотрено по кассации.

Название и пометка «Перевод с французского» пародийно связывали чеховский «роман» с уголовными романами Понсон дю Террайля «Похождения Рокамболя» и «Воскресший Рокамболь». Но всё содержание «Русского Рокамболя» и большинство его персонажей, за которыми Чехов сохранил имена реальных лиц, заимствованы из газетной хроники 1882 г., из многочисленных сообщений о катастрофе на Московско-Курской железной дороге («кукуевское крушение»). Причина катастрофы, указанная у Чехова, соответствует техническому заключению, опубликованному в газетах в августе 1882 г.

«Кукуевка» вызвала бурную газетную полемику о поряд-

ках на русских железных дорогах. Полемику открыл в своей газете Н. П. Ланин («Русский курьер», 1882, № 180). В статьях «Русского курьера», обличавших Министерство путей сообщения, содержались и личные выпады против отдельных железнодорожных чинов. Задет был, в частности, Аркадий Владимирович Свентицкий, начальник 3-й дистанции Московско-Курской железной дороги (его «Письмо к редактору» напечатано в «Московском листке», 1882, № 208, 31 августа). Никакого отношения к катастрофе Свентицкий не имел, но, защищая честь мундира, 26 июля 1882 г. явился к Н. П. Ланину в сопровождении своего секунданта (студента института инженеров путей сообщения Юлия Мстиславовича Узембло) с вызовом на дуэль. Произошла стычка, которую «Русский курьер» квалифицировал в дальнейшем как покушение («О покушении на Ланина», 1882, № 204, 27 июля). Таинственные фигуры вооруженных до зубов злодеев (Узембло и Свентицкий, глава II «Рокамболя») и вся сюжетная ситуация второй главы, таким образом, напоминают действительное происшествие, интерес к которому искусно подогревался «Русским курьером». Верность реальным фактам Чехов сохранил даже в деталях, которые на первый взгляд кажутся вымышленными. Так, усыпление с помощью хлороформа (в главе II «Рокамболя»: «Во флаконе был хлороформ») было в обычае у железнодорожных грабителей (И. Вашков. Заметки незаметного. – «Московский листок», 1882, № 272, 3 октября).

Персонажи «Рокамболя» разделены на «друзей» и «врагов» героя, в зависимости от их отношения к делу о кукуевской катастрофе. Так, упомянутый среди друзей «отставной гвардии поручик Миллер» – реальное лицо, адвокат, действительно отставной поручик, поверенный потерпевших в крушении («Московский листок», 1882, № 199). Напротив, «врагом» героя оказался «отставной портупей-юнкер» Эжен Львов-Кочетов, т. е. корреспондент «Московских ведомостей» Евгений Львов. Опубликовав ряд материалов в защиту железнодорожного начальства, он упрочил за собой славу продажного журналиста. «Мирской толк», например, писал о нем в заметке «Курьез»: «„Газета г. Гатцука“ сообщает, говорят „Русские ведомости“, что сотрудник „Московских ведомостей“, подписывающийся „Евгений Львов“, есть не кто иной, как разжалованный портупей-юнкер, Евгений Львов-Кочетов, выдержанный в Вильно около года в арестантских ротах за какой-то, вероятно, очень патриотический подвиг это уже не первый сотрудник г. Каткова в таком роде. Теперь, конечно, каждому станет понятно, добавим мы, почему Евгений Львов так горячо принял сторону воротил московско-курской костоломки. Изведавший все прелести острога, он, по чувству христианского милосердия, не хочет, чтобы даже самые злейшие враги испытали ту же участь» («Мирской толк», 1882, № 29, стр. 116).

По-разному оценивали кукуевскую катастрофу и ее последствия издатели и редакторы русских газет, упомянутые

Чеховым в «Рокамболе». Н. П. Ланин и В. М. Соболевский, редактор «Русских ведомостей», оказались среди друзей – они защищали потерпевших и резко критиковали железнодорожных воротил. Напротив, в стан врагов отнесены кн. В. П. Мещерский (газета «Гражданин» и юмористический еженедельник «Добряк»), И. А. Баталин (газета «Минута»). В характерном контексте (глава II) упомянут М. П. Федоров: «Вечером я посетил в темнице моего друга и собутыльника, редактора Федорова. Я застал его молящимся...

Этот человек нес кару за чужие преступления!» М. П. Федоров действительно привлекался к ответственности, но должности официального редактора, за публикацию в «Новом времени» корреспонденции репортера А. Молчанова. Обстоятельства крушения в этих корреспонденциях освещались неверно, что и вызвало протест прокурора («Московский листок», 1882, № 197).

Только для 1882 г. злободневны имена других реальных лиц из «Рокамболя» Чехова. Так, один из руководителей национально-освободительного движения в Египте Араби-паша (глава III), очень популярный в русских газетах 1882 г. (подробнее – на стр. 597 этого тома), в 1884 г. уже не упоминался, поскольку суд над ним закончился в том же 1882 г. Католический ксендз Ипполит Лютостанский (глава III), на шумевший в 1881—1882 гг. рядом антисемитских выступлений, отмечен у Чехова еще лишь однажды («юдофоб Лютостанский», письмо к С. Крамареву от 8 мая 1881 г.).

И, наконец, последним по времени, но также в 1882 г. возникло дело М. Свиридова («дядя Свиридов», глава I «Рокамболя»): «Киев. В обществе взаимного кредита обнаружена растрата...» («Московский листок», 1882, № 350).

Сопоставление «романа» Чехова с русской прессой 1881—1882 гг. с очевидностью свидетельствует, что он написан не позднее декабря 1882 г.

Появиться в печати «роман» не мог, поскольку еще 14 августа 1882 г. последовало распоряжение министра внутренних дел «о непечатании статей агитационного характера против Министерства путей сообщения по поводу несчастных случаев на железных дорогах. Распоряжение это „было объявлено редакторам бесцензурных периодических изданий за подписками“ (Архив Московского цензурного комитета. ЦГАМ, ф. 31, оп. 3, ед. хр. 2173, л. 178).

Гречневая каша сама себя хвалит

Впервые – А. П. Чехов. Полн. собр. соч., т. IV, М. – Л., 1931, стр. 408.

Черновой автограф хранится в ГБЛ.

Печатается по автографу.

Юмореска предназначалась для журнала «Осколки» и представляла собой своеобразную рекламу журнала накануне подписки на 1883 г. Как явствует из письма Чехову от 9 января 1883 г., опубликовать юмореску Н. А. Лейкин не решился: «„Гречневая каша“ вещь остренькая, но я не решаюсь ее печатать просто из скромности. Ведь это значит восхвалять себя. У меня, правда, в этом духе проскользнуло несколько строчек в статейке И. Грека, но я потом долго каюсь» (ЦГАЛИ).

По-видимому, Чехов посылал в «Осколки» не черновик, сохранившийся в ГБЛ, а перебеленную рукопись, которая до нас не дошла.